

Вирджиния Вулф

Virginia Woolf.

По морю прочь
Годы

По морю прочь. Годы

Вирджиния Вулф

Аннотация
Вирджиния Вулф. По морю прочь; Годы (сборник)
По морю прочь
Годы

Аннотация

Первая книга Вирджинии Вулф – «По морю прочь» – это традиционный по форме роман, но уже в нем видны черты, прославившие писательницу: новаторский стиль повествования, проникновение во внутренний мир героев и изящная проза.

Юная Рэчел отправляется в морской круиз из Лондона на курорт на побережье Южной Америки. Она – свободный дух, далекий от предрассудков и условностей общества, мира политики и сильных чувств. И это путешествие станет для Рэчел полным открытий: о себе, других и жизни.

Роман «Годы» – это серия портретов и зарисовок из жизни трех поколений британской семьи на фоне меняющегося мира последних десятилетий века девятнадцатого и первых двадцатого, в которых переплетаются внешнее и внутреннее, общественное и личное. Бензиновые двигатели заменяют лошадей, электрические лампы – газовые, разгорается Первая мировая война и распадается Британская империя, а на фоне событий мировой

истории прослеживаются судьбы семьи Парджитер – моменты близости и отчуждения, тревог и триумфов. Этот роман стал самым известным при жизни писательницы, попав в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс».

Вирджиния Вулф
По морю прочь; Годы (сборник)

В оформлении обложки использован фрагмент картины С. Виноградова «Женщины у моря»

© Перевод. А. Осокин, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

По морю прочь

Посвящается Л. В.

Глава 1

По узким улицам, ведущим от Стрэнда к Набережной, не стоит ходить под руку. Если вы все-таки от этого не удержитесь, встречным клеркам придется прыгать в лужи, а молоденькие машинистки станут нетерпеливо топтаться у вас за спиной. На лондонских мостовых красоту никто не ценит, но необычность не проходит даром, поэтому там лучше не быть слишком высоким, не носить долгополый синий плащ и не размахивать в воздухе левой рукой.

Как-то в начале октября, в тот послеполуденный час, когда уличное движение становится особенно суетливым, по тротуару шли под руку высокий мужчина и дама. Гневные взгляды впивались им в спины. Украшенные авторучками и обремененные портфелями нервные маленькие люди — а по сравнению с этой четой все люди казались маленькими — боялись опоздать на деловые встречи, ни на минуту не оставляя мыс-

лей о своем еженедельном жалованье, так что легко можно было понять неприязнь, с которой они смотрели на долговязую фигуру мистера Эмброуза и длинный плащ миссис Эмброуз. Однако некая отрешенность отгораживала обоих от злобы и недоброжелательности внешнего мира. Что касается мужчины, то, судя по движениям губ, он был погружен в свои мысли; в глазах женщины, неподвижно уставившихся поверх взглядов толпы, блестела печаль. Только насмешливое презрение ко всему окружающему помогало ей удержаться от слез, но каждое прикосновение сновавших мимо людей явно причиняло страдание. Сделав над собою усилие, она минуту или две взирала на движение экипажей и машин по Набережной, а затем, выбрав короткий промежуток между автомобилями, дернула мужа за рукав, и они пересекли улицу. Когда они оказались в безопасности на другой стороне, она осторожно высвободила руку из-под его руки, одновременно позволив своим губам расслабиться и задрожать. Вслед за этим из глаз ее полились слезы, и она, облокотившись на балюстраду, скрыла лицо от посторонних взглядов. Мистер Эмброуз стал было утешать жену, похлопывая по плечу, но она не обратила на это никакого внимания. Тогда,

чувствуя, что неловко просто так стоять рядом с человеком, чье горе намного превосходит его собственное, он сцепил руки за спиной и стал не спеша прогуливаться по тротуару.

Во многих местах Набережная вдается в реку угловатыми выступами, похожими на церковные кафедры, однако вместо проповедников их занимают мальчишки, которые удят рыбу, швыряют камешки или пускают в дальнее плавание комья смятой бумаги. У них острый глаз на все экстравагантное, поэтому вид мистера Эмброуза, по их мнению — недопустимо странный, сразу привлек их внимание. Когда он проходил мимо, самый остроумный из них выкрикнул: «Синяя борода!» Мистер Эмброуз, боясь, что дальше они примутся за его жену, замахнулся на мальчишек тростью, отчего те окончательно уверились в его полной нелепости, и уже четверо хором закричали: «Синяя борода!»

Хотя миссис Эмброуз стояла не двигаясь неестественно долго, мальчишки не стали ее донимать. Около моста Ватерлоо всегда кто-нибудь смотрит на реку. Тихими вечерами там то и дело останавливаются парочки поворковать с полчаса, а просто любители прогулок не упускают задержаться минуты на три и полюбоваться видом;

сравнив представившуюся их взорам картину с виденными ранее и сделав подобающий вывод, они отправляются дальше. Иногда жилые дома, церкви и гостиницы Вестминстера напоминают очертания Константинополя в дымке; иногда река бывает темно-пурпурной, иногда просто цвета грязи, а порой — искристо-синей, как море. Всегда стоит взглянуть вниз и посмотреть, какая она сейчас. Но эта дама не любовалась ни далью, ни красотой вод — единственное, что она видела с тех пор, как замерла у балюстрады, было медленно проплывавшее мимо круглое радужное пятно с клоком соломы посередине. Пятно и солома все плыли и плыли в дрожащей прозрачности крупной слезы, которая наполнялась и капала в реку и сразу же сменялась другой. Тут женщина услышала — громко, будто декламировали ей на ухо:

Ларс Порсена Клузианский
Девятью богами клялся…

а потом все тише, как если бы чтец стал удаляться:

Что великий Дом Тарквиньев

Не постигнут больше беды…[1]

Она, конечно, понимала, что пора вернуться ко всему этому, но сейчас она должна была выплакаться. Закрыв лицо ладонями, она еще самоотверженнее отдалась рыданиям, и ее плечи стали вздыматься и опадать с четкой размеренностью. Такой увидел ее муж, когда, дойдя до сверкающего отполированной поверхностью сфинкса и столкнувшись с продавцом открыток, повернул обратно. Стихи оборвались. Он подошел к ней, положил руку ей на плечо и сказал:

— Дорогая…

В его голосе слышалась мольба, но она отвернулась, как бы говоря: «Тебе ни за что не понять!»

Однако он не оставил ее, и ей пришлось вытереть глаза и поднять голову и увидеть фабричные трубы на том берегу. А еще она увидела арки моста Ватерлоо и повозки, двигавшиеся в них, как звери-мишени в тире. Все это она едва могла разглядеть, но она это видела, а вторжение зримой реальности означало, что пора прекращать плач и идти дальше.

— Я бы лучше пошла пешком, — сказала она,

---

[1] Примечания: 1

Начальные строки стихотворения «Гораций» Томаса Бабингтона Маколея (1800–1859), который больше известен как историк, публицист и политический деятель. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

когда ее муж остановил экипаж, в котором уже сидели два дельца из Сити.

Ходьба постепенно рассеивала ее горестную сосредоточенность. Стреляющие выхлопами автомобили, более похожие на сверхъестественных пауков, чем на земные средства передвижения, громыхающие телеги, позвякивающие двуколки, маленькие черные кареты заставили ее обратить мысли к миру, в котором она жила. Где-то там, далеко, за шпилями, за вздымающимся горой дымом города, ее дети сейчас спрашивают о ней и получают уклончивый, успокаивающий ответ. К разделявшей их громаде из улиц, площадей, казенных зданий она испытывала, на удивление, мало теплых чувств, несмотря на тридцать из сорока лет ее жизни, проведенные в Лондоне. Она умела читать обличья людей, проходивших мимо: были среди них богачи, сновавшие в этот час между обиталищами себе подобных, были работяги, фанатически сосредоточенные только на своем деле, и ни на чем другом, — эти ровными рядами брели на работу; были и бедняки — несчастные и озлобленные, какими им и следовало быть. Хотя городская дымка еще пронизана была солнцем, оборванные старики и старухи клевали носом и засыпали на скамейках. Взгляд,

уставший высматривать красоту, окутывающую мир, обречен остановиться на уродливом остове, который всегда под ней.

Начавшийся мелкий дождь окрасил мир в глазах миссис Эмброуз в еще более мрачные тона; намалеванные на фургонах нелепые названия нелепых компаний выглядели пошло и вызывали досаду, как плоская шутка: «Спрулз, производитель опилок» или «Грабб — каждый клочок использованной бумаги — в дело!»; храбрые влюбленные, укрывшиеся под одним дождевиком, казались ей соединенными развратом, а не любовью; самодовольные цветочницы, чьи пересуды всегда так интересно послушать, были теперь просто сворой мокрых ведьм, а их красные, желтые и голубые цветы, тесно увязанные в букеты, всем своим видом говорили, что они уже никогда не расправят примятые лепестки. Даже ее муж, шедший быстрым размеренным шагом, иногда взмахивая свободной рукой, — на фоне летающих в небе чаек он преобразился то ли в викинга, то ли в раненого Нельсона.

— Ридли, может, поедем? Может, поедем, Ридли?

Миссис Эмброуз пришлось почти кричать — в этот момент мысли ее спутника унесли его ку-

да-то далеко.

Экипаж, мерно подрагивая, вскоре вывез их из Вест-Энда и окунул в Лондон. Ей представилось, что весь остальной Лондон — один необъятный завод, где все жители — рабочие, а Вест-Энд со своими электрическими фонарями, отражающими желтый свет зеркальными витринами, аккуратными домиками и маленькими подвижными фигурками — семенящими по тротуарам или колесящими по мостовым — и есть единственное изделие этого завода. А еще ей представилось, что Вест-Энд — это маленькая золотая кисть на краешке огромного черного плаща.

Заметив, что навстречу им не попалось ни одного двухколесного экипажа, но все только фургоны и телеги, а среди сотен увиденных ею мужчин и женщин ни разу не мелькнули ни джентльмен, ни леди, миссис Эмброуз подумала, что в бедности нет ничего необычного и что Лондон — город бесчисленных бедняков. Испуганная этим открытием, она осознала, что все дни своей жизни кружила возле площади Пикадилли, поэтому вид здания, построенного Советом Лондонского графства для Вечерних школ, принес ей большое облегчение.

— Господи, какое унылое строение! — провор-

чал ее муж. — Бедные создания!

На нее, терзаемую тоской по собственным детям, картинами бедности и дождем, эти слова подействовали, как щепотка соли, брошенная на открытую рану.

Тут экипаж встал, потому что, двигаясь дальше, он рисковал быть раздавленным, как яичная скорлупа. Широкая Набережная, где хватало места и для пушек, и для кавалерийских эскадронов, теперь сузилась до мощенного булыжником проезда, до отказа забитого телегами; в нос ударили запахи солода и растительного масла. Пока ее муж читал наклеенные на кирпичную стену объявления об отправке судов в Шотландию, миссис Эмброуз стала делать отчаянные усилия что-нибудь разузнать. Однако все окружающие, окутанные желтоватой дымкой, были целиком поглощены погрузкой мешков на телеги, и от них не удалось добиться ни помощи, ни внимания. Но тут свершилось чудо — к мистеру и миссис Эмброуз подошел старик, осведомился об их затруднениях и предложил подвезти их до корабля на своей лодке, пришвартованной у подножия лестницы. Недолго поколебавшись, они вверили себя старику, уселись в лодку и вскоре уже раскачивались на волнах, а Лондон превратился в два

ряда зданий по обе стороны, зданий квадратных и зданий длинных, вытянувшихся в линии, как игрушечная улица из детских кубиков.

В течении реки чувствовалась великая мощь; здесь и там в воде плескались блики желтого света; грузные баржи спускались вниз, опекаемые юркими буксирами; быстрее всех носились полицейские катера; ветер дул в сторону моря. Гребная лодчонка, в которой они сидели, подскакивала и проваливалась, пробираясь поперек линии движения. На середине реки старик сложил руки на веслах, отчего вода забурлила у их лопастей, и заметил, что раньше он переправлял через реку множество людей, а теперь — на тех же бойких местах — редко кто попадется. Казалось, он вспоминал времена, когда его лодка, отчалив от зарослей камыша, перевозила изящные ножки на луга Розерхайза[2].

— Теперь им мосты подавай, — сказал он, махнув в сторону причудливых очертаний Тауэрского моста. Хелен с грустью посмотрела на человека, водой отделявшего ее от детей. С грустью взглянула она и на корабль, к которому они

[2] Примечания: 2

Розерхайз (Rotherhithe) — исторический район Лондона, где в XVIII в. был увеселительный парк. Во время действия романа там помещались доки.

приближались; он стоял на якоре на самой середине течения, и, если напрячь глаза, уже можно было разглядеть его имя — «Евфросина».

В спускающихся сумерках они едва могли рассмотреть линии оснастки, мачты и темный флаг, расправленный ветром в обратную от них сторону.

Когда лодчонка подчалила к пароходу, старик втащил весла на борт и, еще раз указав наверх, заметил, что корабли всего мира поднимают такой флаг в день отплытия. В глазах обоих его пассажиров синий флаг представился зловещим знаком, души их наполнились мрачными предчувствиями, но тем не менее они встали, взяли свои вещи и взобрались на палубу.

Мисс Рэчел Винрэс, двадцати четырех лет, стояла в нижнем салоне корабля, принадлежавшего ее отцу, и нервничала в ожидании своих дяди и тети. Начать с того, что, хотя они и были ее близкими родственниками, она их почти не помнила; потом — они были пожилые; наконец, как дочь своего отца она была обязана развлекать их. От первой встречи с ними она ожидала того, что обычно ожидают современные люди от знакомства с себе подобными, относясь к нему как к очередному физическому неудобству —

вроде тесных туфель или сквозняка. Рэчел уже была неестественно напряжена. Она принялась укладывать вилки на обеденном столе строго параллельно ножам и тут услышала мужской голос, мрачно проговоривший:

— В темноте ничего не стоит упасть с этих ступенек вниз головой.

А женский голос добавил:

— И убиться насмерть.

На последнем слове женщина показалась в дверях. Высокая, большеглазая, закутанная в багровую шаль, миссис Эмброуз была необыкновенно хороша, хотя в ней не чувствовалось тепла — глаза ее смотрели прямо и оценивающе. Ее лицо было мягче античных лиц, но в то же время в нем было гораздо больше решительности, чем у обычной миловидной англичанки.

— Рэчел! Ну, здравствуй, — сказала она и протянула руку.

— Здравствуй, дорогая, — сказал мистер Эмброуз, склоняя голову для поцелуя. Его племяннице сразу и безотчетно понравились его угловатая фигура, большая голова, крупные черты лица и проницательные, но в то же время наивные глаза.

— Позовите мистера Пеппера, — велела Рэчел

слуге.

Сели: муж и жена по одну сторону стола, а их племянница — напротив.

— Отец попросил меня начать, — объяснила Рэчел. — Он очень занят там с командой… Вы знаете мистера Пеппера?

Тихо вошел невысокий человечек, похожий на деревце, перекошенное ураганом на одну сторону. Кивнув мистеру Эмброузу, он пожал руку Хелен.

— Сквозняки, — пожаловался он, поднимая воротник пиджака.

— Вы по-прежнему страдаете ревматизмом? — спросила Хелен. Голос у нее был низкий и чувственный, хотя сейчас она говорила с отсутствующим видом: перед ее глазами еще стояли картины города и реки.

— Кто раз встретился с ревматизмом, боюсь, не расстанется с ним никогда, — ответил человечек. — В некоторой степени это зависит от погоды, хотя не настолько, как принято считать.

— Во всяком случае, от этого не умирают, — сказала Хелен.

— Как правило — нет, — согласился мистер Пеппер.

— Суп, дядя Ридли? — спросила Рэчел.

— Спасибо, дорогая, — отозвался тот и, протягивая свою тарелку, вполне различимо прошептал со вздохом: — Она совсем не похожа на мать!

Хелен не успела вовремя грохнуть стаканом об стол, поэтому Рэчел все услышала и тут же густо покраснела.

— Как же эти слуги обращаются с цветами! — торопливо проговорила она. Поджав губы, она поставила перед собой вазу и стала вынимать из нее мелкие тугие хризантемки, аккуратно, одна к одной, раскладывая их на скатерти.

Последовала пауза.

— Вы ведь знали Дженкинсона, Эмброуз, не так ли? — спросил через стол мистер Пеппер.

— Дженкинсона из Питерхауза?[3]

— Умер, — сказал мистер Пеппер.

— Боже! Я знал его — лет сто назад. Он еще перевернулся на челноке, помните? Чудаковатый тип. Женился на юной табачнице и жил на Болотах[4]. Не слышал, что с ним потом стало.

---

[3] Примечания: 3

Беседуя между собой, Эмброуз и Пеппер упоминают названия, связанные с Кембриджским университетом, хотя некоторые из них вымышлены. *Питерхауз* — кембриджский колледж, *Кэтс* — кембриджский колледж Св. Екатерины. Джеллаби, коллекция Брюса — вымышлены.

[4] Примечания: 4

Болота (Фенз) — низменная местность в Восточной Англии.

— Виски, морфий… — со зловещей лаконичностью сообщил мистер Пеппер. — Написал комментарий. Говорят, безнадежный бред.

— А ведь у него были большие способности, — сказал Ридли.

— Его предисловие к Джеллаби до сих пор держится. Что удивительно, учитывая, как быстро сменяются учебники.

— Кажется, еще у него была какая-то теория насчет планет? — спросил Ридли.

— С мозгами у него было не все в порядке, это точно, — кивнул мистер Пеппер.

В этот момент по столу прошла дрожь, фонарь снаружи закачался. Сейчас же несколько раз пронзительно прозвенел электрический звонок.

— Отбываем, — сказал Ридли.

Затем пол будто приподняло волной — слегка, но ощутимо, — потом уронило вниз и опять приподняло, еще более ощутимо. Огни в незашторенном окне пошли назад. Корабль издал громкий тоскливый зов.

— Отбываем! — сказал мистер Пеппер.

Другие корабли так же печально ответили с реки. Ясно были слышны плеск и шелест воды, судно покачивалось, и стюарду, принесшему тарелки, пришлось удерживать равновесие, когда

он задергивал занавес. И снова беседу прервала пауза.

— А что Дженкинсон из Кэтса, вы еще поддерживаете с ним отношения? — спросил Эмброуз.

— Так же, как и все. Собираемся раз в год. В нынешнем году он имел несчастье потерять жену, поэтому встреча была довольно тягостной.

— Да, понимаю, — согласился Ридли.

— У него есть незамужняя дочь, которая вроде ведет его хозяйство, но это, разумеется, совсем уже не то, особенно для человека его возраста.

Оба джентльмена глубокомысленно покивали, очищая яблоки.

— Ведь он, сдается, написал книгу? — спросил Ридли.

— Написал, но больше уже не напишет! — заявил мистер Пеппер с такой свирепостью, что привлек внимание обеих дам. — Не напишет больше ни одной, потому что и ту за него написал кто-то другой, — продолжал мистер Пеппер, подпуская все больше яда. — Иначе и быть не может, если все постоянно откладывать на потом, собирать окаменелости и приделывать норманнские арки к свинарникам.

— Признаюсь, я ему сочувствую, — проговорил Ридли с меланхолическим вздохом. — Я испы-

тываю симпатию к людям, которые ничего не могут начать.

— Горы хлама, скопившегося за жизнь, прожитую зря, — не унимался мистер Пеппер. — У него столько хлама, что и в хороший сарай не влезет.

— А некоторым из нас этот порок не знаком, — сказал Ридли. — Только что вышла еще одна работа нашего общего друга Майлза.

Мистер Пеппер издал короткий едкий смешок.

— По моим подсчетам, он выпускает два с половиной тома ежегодно — что, если вычесть время, проведенное им в колыбели, и другие издержки, свидетельствует о похвальнейшей плодовитости.

— Да, вполне оправдалось то, что говорил о нем старый ректор.

— Они были в таких отношениях… — сказал мистер Пеппер. — Вы знаете о коллекции Брюса? Между нами, конечно.

— Еще бы, — со значением ответил Ридли. — Для богослова он был весьма фриволен.

— Водяная колонка в переулке Невилля?

— Именно.

Обе дамы, как и приличествует их полу, прекрасно умели поддерживать беседу мужчин, не прислушиваясь к ней, а тем временем, никак

не подавая виду, думать о чем-либо своем — о воспитании детей, об использовании противотуманных сирен в опере или о чем угодно еще. Хелен лишь показалось, что Рэчел для хозяйки не слишком-то хлопотлива, а еще — что ей следовало бы унять свои руки.

— А может?.. — предложила наконец Хелен, и они обе поднялись и вышли, к легкому удивлению джентльменов, которые либо полагали, что дамы внимательно их слушают, либо вообще забыли о присутствии женщин. Уже в дверях Рэчел и миссис Эмброуз услышали, что Ридли сказал, откидываясь в кресле: «Да, много странного случалось во время оно», — а оглянувшись, увидели, как вдруг переменился мистер Пеппер, — теперь одежда на нем будто сидела свободнее, а сам он стал похож на подвижную и проказливую старую обезьянку.

Укутав головы газовыми платками, женщины вышли на палубу. Теперь судно ровно шло вниз по реке, мимо темных силуэтов стоящих на якоре кораблей, а Лондон превратился в огненный рой, над которым мерцал бледно-желтый ореол. Горели огни больших театров, огни длинных улиц, светились бесчисленные соты домашнего уюта и одинокие огни в вышине. Тьма никогда не погло-

тит их, сотни лет уже тьма не опускалась на это место. Жутко было сознавать, что город обречен сверкать до конца времен все так же и все там же, по крайней мере, это было жутко сознавать людям, пустившимся в морские странствия. В их глазах город был подобен отделенному от остальной земли кургану, на котором человек оставил вечные рубцы и зажег на нем вечное пламя. С палубы корабля им показалось еще, что город похож на трусливо припавшего к земле, сидящего на корточках скрягу.

Они стояли рядом, облокотившись на перила, и Хелен спросила:

— Ты не замерзнешь?

Рэчел ответила:

— Нет, — и, немного помолчав, добавила: — Как красиво!

Уже мало что было видно: мачты, темные очертания берега, ряд сверкающих иллюминаторов невдалеке. Судно пыталось идти против ветра.

— Как дует… как дует! — Рэчел хватала ртом воздух, и ветер будто швырял слова обратно ей в горло. Рядом с ней ветру сопротивлялась и Хелен, но вдруг, словно подхваченная демоном движения, она понеслась по палубе, придерживая руками волосы и путаясь ногами в юбках.

Однако постепенно неистовый дух ослаб, и скоро от него остался лишь холодный резкий ветер. Через щель между шторами они увидели, что в столовой уже пошли в ход длинные сигары, что мистер Эмброуз резко откинулся в кресле, а мистер Пеппер собрал щеки в глубокие складки и его лицо стало похоже на вырезанное из дерева. Отзвук громкого смеха едва донесся до женщин, но тут же потонул в шуме ветра. Там, в тепле, в сухости, в ярком желтом свете, Пепперу и Эмброузу не было дела ни до грохота стихии, ни вообще до чего-либо нынешнего: они пребывали сейчас в Кембридже, году этак в 1875.

— Они старые знакомые, — улыбнулась Хелен, глядя на них. — Так, ну а нам найдется комната, чтобы посидеть?

Рэчел открыла дверь.

— Это скорее веранда, а не комната, — сказала она.

И правда, здесь было мало от замкнутого постоянства человеческого жилища на твердой земле. Посередине к полу был привинчен стол, а стулья прибиты к стенам. От тропического солнца настенная обивка выгорела и приобрела бледный зеленовато-голубой оттенок, зеркало в рамке из раковин — его смастерил стюард долгими

тягучими часами в южных морях, — хотя и грубо сработанное, привлекало глаз как затейливая диковина. Каминная доска была задрапирована плюшевой занавеской с кистями и украшена скрученными раковинами с красным нутром, похожими на рога единорогов. Два окна выходили на палубу; от лучей, бивших через них, когда корабль жарился под солнцем где-нибудь на Амазонке, гравюры на противоположной стене выцвели до блеклой желтизны, и теперь Колизей едва можно было отличить от королевы Александры[5], играющей со спаниелями. Пара плетеных стульев приглашала погреть руки у каминной решетки с облупившейся позолотой; над столом висел большой фонарь — из тех, что издалека возвещают путнику в темных полях о близости жилья.

— Странно, все оказываются старыми знакомыми мистера Пеппера, — нервно проговорила Рэчел. Она чувствовала себя неуютно из-за холода и странной молчаливости Хелен.

— Ты, наверное, к нему привыкла? — спросила ее тетка.

— Он похож на это. — Рэчел направила свет

[5] Примечания: 5

Королева Александра (1844–1925) — супруга Эдуарда VII (1841–1910), короля Англии с 1901 г.

фонаря на окаменелую рыбу в сухом аквариуме и взяла ее в руки.

— По-моему, ты слишком жестока, — заметила Хелен.

Рэчел тут же попыталась смягчить то, что вырвалось у нее против воли.

— Я не так хорошо его знаю, — сказала она и поспешила укрыться за фактами, поскольку ей казалось, что старшие всегда предпочитают их чувствам. Она поведала все, что знала об Уильяме Пеппере. Когда они жили дома, он навещал их каждое воскресенье; он разбирался во всем — в математике, истории, древнегреческом, зоологии, экономике и в исландских сагах. Он перелагал персидские стихи на английскую прозу и английскую прозу — на греческие ямбы; он также был специалистом по нумизматике и по чему-то еще, кажется по движению транспорта.

Он отправился с ними, то ли чтобы собирать какие-то морские диковины, то ли чтобы написать о возможном пути Одиссеевых странствий — его главным увлечением были древние греки.

— У меня есть все его брошюры, — сообщила Рэчел. — Такие маленькие. Тонкие желтые книжечки.

Судя по всему, она их не читала.

— Он когда-нибудь любил? — спросила Хелен, садясь.

Этот вопрос неожиданно оказался к месту.

— У него вместо сердца — старый башмак, — заявила Рэчел, забыв сравнение с окаменелой рыбой. Однако ей тут же пришлось признать, что она никогда не спрашивала об этом мистера Пеппера.

— Я спрошу его, — сказала Хелен. — Когда я в последний раз тебя видела, вы покупали рояль, — продолжила она. — Помнишь, рояль, комната в мансарде и высокие растения с колючками?

— Да, и мои тетки говорили, что рояль провалится сквозь пол, но в их возрасте оказаться однажды ночью придавленным насмерть уже не страшно.

— Я не так давно получила письмо от тети Бесси. Она боится, что ты испортишь себе руки, если и дальше будешь столько играть.

— Предплечья станут мускулистыми, и потом никто не женится, да?

— Она не так прямо выразилась, — ответила миссис Эмброуз.

— О, конечно, как можно, — вздохнула Рэчел.

Хелен посмотрела на нее. Черты ее лица были, пожалуй, слишком мягкими, однако вырази-

тельность ему придавали большие, немного удивленные глаза; красивой ее вряд ли можно было назвать, особенно когда она находилась в помещении, потому что ее внешности явно не хватало живого цвета и четкости линий. Нерешительность в разговоре и еще больше — неумение подбирать нужные слова наводили на мысль, что Рэчел не слишком развита для своих лет. Миссис Эмброуз до этого момента говорила с Рэчел, не особенно задумываясь, но сейчас ей пришло в голову, что не очень-то весело будет провести на борту корабля три или четыре недели, за которые ей волей-неволей придется сблизиться с племянницей. На Хелен и сверстницы нагоняли тоску, а уж юные девушки наверняка еще хуже. Она опять посмотрела на Рэчел. О да! Ей ясно представилось, какой та может быть вялой, бессмысленно-сентиментальной, и что ей ни скажешь — все будет, как камушек в воду: пойдут круги, а потом — ни следа. В этих девушках не за что зацепиться — в них нет ничего твердого, постоянного, надежного. Сколько же сказал Уиллоуби, три недели или все-таки четыре? Она попыталась припомнить.

В этот момент, однако, распахнулась дверь, и вошел высокий и дородный человек. Это был сам Уиллоуби, отец Рэчел и зять Хелен, он сразу

подошел к ней и сердечно пожал руку. Он не был толстяком — слишком много жира понадобилось бы, чтобы сделать такого гиганта действительно толстым; лицо у него тоже было большое, но с мелкими чертами и здоровым румянцем на щеках, оно явно было гораздо более приспособлено к солнцу и ветру, чем к выражению чувств или к тому, чтобы отвечать на чувства других.

— Как приятно, что ты поехала, — сказал он. — Нам обоим так приятно!

Рэчел что-то согласно шепнула в ответ на отцовский взгляд.

— Мы уж постараемся, чтобы тебе было удобно. И Ридли. Мы считаем, что для нас честь — позаботиться о таком человеке. Будет, кому поспорить с Пеппером, — я-то на это никогда не отваживаюсь. Ну, как тебе это дитя — выросла, правда? Совсем взрослая, да?

Все еще держа Хелен за руку, он обнял Рэчел за плечи, заставив обеих оказаться в несколько неловкой близости, но Хелен продолжала смотреть в сторону.

— Как думаешь, она не подкачает? — спросил Уиллоуби.

— Конечно, нет, — сказала Хелен.

— Ведь мы ожидаем от нее великих дел. — Он

сжал плечо дочери, а затем выпустил ее из объятий. — Ну, а теперь о тебе. — Они уселись рядом на диванчике. — Как твои дети, надеюсь, в добром здравии? Они уже, кажется, в школу пойдут, да? На кого похожи, на тебя или на Эмброуза? Готов поспорить, они у вас на редкость смышленые!

Тут Хелен заметно оживилась и рассказала, что ее сыну шесть лет, а дочери — десять. Все говорят, что мальчик похож на нее, а девочка — на Ридли. Что касается смышлености, то им палец в рот не клади, это точно; и она, немного смущаясь, позволила себе припомнить смешной случай со своим сыном, как он, на минуту оставленный без присмотра, схватил пальцами кусок масла и побежал с ним к камину, чтобы бросить масло в огонь, просто так, ради интереса, — и этот интерес был ей так понятен.

— Но ты дала сорванцу понять, что такие шутки никуда не годятся?

— Шестилетнему ребенку? Я не думаю, что это так серьезно.

— Ну, я старомодный отец.

— Вздор, Уиллоуби, вот Рэчел лучше меня поймет.

Уиллоуби явно ожидал от дочери поддержки, но не дождался; в ее глазах ничего нельзя было

рассмотреть, как в темной воде, руки по-прежнему играли с окаменелой рыбой, на лице застыло отсутствующее выражение. Старшие стали обсуждать, что необходимо сделать для удобства Ридли: стол поставить так, чтобы обязательно было видно море, но подальше от котлов, и чтобы мимо не ходили люди. Если он не отдохнет от работы сейчас, когда все его книги запакованы, то не отдохнет уже никогда; ведь там, в Санта-Марине, Хелен знала по опыту, он станет работать целые дни напролет; все его ящики, сказала она, битком набиты книгами.

— О, тут положись на меня — положись на меня! — воскликнул Уиллоуби, очевидно намереваясь сделать больше, чем она от него хотела. Тут, однако, в дверях показались Ридли и мистер Пеппер.

— Приветствую, Винрэс, — сказал Ридли, протягивая вялую руку, с таким видом, будто их встреча должна была нагнать тоску на них обоих, но больше, конечно, на него самого.

Уиллоуби проявил ту же сердечность, что и к Хелен, но несколько сдерживаемую почтением. Некоторое время никто ничего не говорил.

— Мы видели, как вы хохотали, — нарушила молчание Хелен. — Мистер Пеппер, должно быть,

рассказал хороший анекдот.

— Вздор. Все его анекдоты были плохи, — проворчал ее муж.

— Ты все так же строг в суждениях, Ридли? — вступил мистер Винрэс.

— Мы так вам надоели, что вы ушли, — сказал Ридли, обращаясь к жене.

Поскольку это было правдой, Хелен не стала спорить, только спросила:

— Но когда мы ушли, анекдоты стали лучше?

И это оказалось излишним, потому что ее муж еще больше помрачнел и сказал:

— Они стали еще хуже, если это возможно.

Теперь все присутствующие почувствовали изрядную неловкость, последовала длинная напряженная пауза. Обстановку разрядил мистер Пеппер, который вдруг бросился на стул и поджал под себя ноги, будто старая дева, увидевшая мышь, — все из-за того, что по его щиколоткам прошелся сквозняк. Так, нахохлившись, обняв колени руками, мистер Пеппер стал похож на статую Будды; с этого возвышения, посасывая сигару, ни к кому отдельно не обращаясь, потому что никто не просил его об этом, он принялся глубокомысленно рассуждать о неведомых глубинах океана. Он признался, что удивлен, как это у ми-

стера Винрэса целых десять кораблей регулярно курсируют между Лондоном и Буэнос-Айресом, и ни один из них не отряжен для изучения бледных глубоководных тварей.

— Ну уж нет! — засмеялся Уиллоуби. — С меня хватает и тварей земных.

— Бедные козочки! — вздохнула Рэчел.

— Без этих коз не было бы музыки, моя дорогая. Музыка тоже не может без коз, — довольно резко отозвался ее отец, а мистер Пеппер продолжил описание белых, скользких, слепых чудищ, свернувшихся кольцами на песчаных гребнях дна морского; вытащенные на поверхность, они лопаются — из-за разницы в давлении их тело разрывается на куски и внутренности выскакивают наружу; здесь он был особенно осведомлен и натуралистичен, так что Ридли, почувствовав отвращение, попросил его прекратить.

Из всего этого Хелен сделала свои выводы, которые оказались довольно мрачными. Пеппер — зануда; Рэчел — неотесанная девица, она, без сомнения, жаждет найти, кому бы излить свои секреты, и самым первым признанием, конечно, будет: «Знаете, мы с отцом совсем не понимаем друг друга». Уиллоуби, как всегда, интересуется только своим делом и занят по-

строением собственной империи. Да, среди этих людей ее неизбежно ждут скука и тоска. Будучи, однако, женщиной деятельной, она поднялась и объявила, что не знает, как другие, а она идет спать. В дверях она невольно оглянулась на Рэчел, полагая, что, если в комнате две женщины, им следует покидать ее вместе. Рэчел встала, без выражения поглядела на Хелен и проговорила, чуть заикаясь:

— Я выйду, п-потягаюсь с ветром.

Худшие подозрения миссис Эмброуз подтверждались; она пошла по коридору, пол под ногами ходил ходуном, приходилось отталкиваться руками то от одной стены, то от другой, и при каждом броске она с чувством восклицала: «О черт!»

Глава 2

В первую ночь болтало и сильно пахло солью, отчего, должно быть, всем вновь прибывшим пассажирам пришлось весьма неуютно, по крайней мере, мистеру Пепперу, — бедняге, ко всему прочему, достались слишком короткие простыни. Зато за завтраком все были вознаграждены открывшимся великолепием. Путешествие началось, и началось удачно — с ласкового голубого неба и спокойного моря. Дух нерастраченных

возможностей, невысказанности всего, что еще предстоит сказать друг другу, придавал особое значение этому часу, которым, наверное, и впредь станет вспоминаться все путешествие, да еще, пожалуй, с добавлением отголосков ночных сирен на реке.

Хлеб, яблоки и яйца, разложенные на столе, радовали глаз. Передавая Уиллоуби масло, Хелен посмотрела на него и подумала: «И все-таки она за тебя вышла, и была, вероятно, счастлива».

В ее голове потекла привычная цепь размышлений, происходивших всегда от одного и того же вопроса: «Почему все-таки Тереза вышла замуж за Уиллоуби?»

«В общем, все понятно, — продолжала рассуждать она, имея в виду его очевидные качества: он большой и сильный, у него громоподобный голос, тяжелые кулаки и твердая воля. — Но…» — И тут она углубилась в анализ потаенных черт его личности, главную из которых она называла «сентиментальностью», подразумевая, что он никогда не бывал открытым и никогда честно не выражал своих чувств. К примеру, он очень редко говорил об умерших, но все годовщины справлял с чрезвычайной торжественностью. Она подозревала его в тайных жестокостях по

отношению к дочери, так же как с давних пор подозревала, что он тиранил свою жену. Затем Хелен, как обычно, стала сравнивать свою судьбу с судьбой своей подруги, ведь жена Уиллоуби была, пожалуй, единственной, кого она могла так назвать; подобные сравнения часто составляли тему их бесед. Ридли был ученым, а Уиллоуби — человеком дела. Когда Ридли выпускал третий том Пиндара, Уиллоуби снаряжал свой первый корабль. Они построили фабрику в тот же год, когда издательство Университета опубликовало — так, что же это было? ах да — комментарии к Аристотелю. «И Рэчел», — Хелен поглядела на девушку, которая, по ее мнению, не шла ни в какое сравнение с ее собственными детьми, тем самым нарушая довольно строгое равновесие и решая этот старый спор. «Ей будто лет шесть, не больше», — подумала Хелен, однако это, скорее, относилось к мягким и нечетким очертаниям лица девушки, а не к каким-то ее способностям — если бы Рэчел могла думать, чувствовать, смеяться, выражать свои мысли и чувства вместо того, чтобы капать с высоты молоком в чашку, наблюдая за формой капель, ее, пожалуй, можно было бы назвать интересной, хотя красивой — вряд ли. На свою мать она походила, как отра-

жение в пруду тихим летним днем походит на живое румяное лицо, склонившееся над водой.

Тем временем Хелен тоже кое-кто оценивал, но не Уиллоуби и не Рэчел. Это был мистер Пеппер; размышления, посетившие его, пока он разрезал поджаренный хлебец на кусочки и аккуратно обмазывал их маслом, расшевелили целый ворох воспоминаний. Одного буравящего взгляда мистеру Пепперу было достаточно, чтобы убедиться: вчера вечером он был прав, Хелен — красавица. Он с учтивым видом передал ей джем. Она говорила чепуху, но не большую, чем обычно говорят люди за завтраком, ведь излишняя мозговая деятельность в этот час, как он знал по собственному опыту, до добра не доводит. Ни с одним из ее высказываний он не соглашался — из принципа, поскольку никогда не уступал женщинам. Тут-то, опустив глаза в тарелку, он и предался воспоминаниям. Он не женился по той веской причине, что так и не встретил женщину, которая вызвала бы у него уважение. Судьба обрекла его провести самую чувствительную пору юности на железнодорожной станции в Бомбее, где он встречал только цветных женщин, женщин-военных и женщин-чиновников, его же идеалом была та, что читала бы по-гречески, а

желательно — еще и по-персидски, обладала бы безупречной красотой и прощала бы ему всякие мелочи, вроде разбросанных при переодевании деталей туалета. Кроме того, он приобрел некоторые привычки, которых ни в малой мере не стыдился. Каждый день он выкраивал несколько минут для заучивания наизусть; он никогда не брал билета, не посмотрев на его номер; январь он посвящал Петронию, февраль — Катуллу, а март, ну, например, — этрусским вазам; так или иначе, в Индии он хорошо потрудился, и сожалеть ему в жизни было не о чем, если не считать кое-каких природных недостатков, о которых не сожалеет ни один здравомыслящий человек, держащий в руках свою судьбу. Придя к такому заключению, он вдруг поднял глаза и улыбнулся. Рэчел поймала его взгляд.

«Ну что, сделал свои тридцать семь жевательных движений?» — подумала она, но вслух вежливо спросила:

— Как ваши ноги, мистер Пеппер, сегодня не беспокоят?

— Вы хотите сказать, мои лопатки? — переспросил он, болезненно поводя плечами. — Красота не имеет действия на мочевую кислоту, о которой мне не дано забыть. — Он вздохнул и поглядел на

круглое окно напротив, за которым голубели небо и море. При этом он вытащил из кармана и положил на стол маленький томик в пергаментном переплете. Это действие явно было рассчитано на то, чтобы вызвать реакцию окружающих, и Хелен спросила, как называется книжка. Она получила ответ, но вместе с ним — пространный экскурс на тему, как следует строить дороги. Начав с греков, которым, по словам мистера Пеппера, приходилось преодолевать многочисленные трудности, он продолжил римлянами, а затем перешел к Англии и единственно правильному английскому методу, впрочем быстро превратившемуся в неправильный, и здесь мистер Пеппер обрушился на современных дорожных строителей вообще и в особенности — на тех, что работают в Ричмондском парке, где мистер Пеппер имеет обыкновение ежеутренне прогуливаться перед завтраком; обличения его были так свирепы, что даже ложечки зазвенели в кофейных чашках, а содержимое по меньшей мере четырех булочек образовало кучку около его тарелки.

— Галька! — заключил он, со злостью бросив на кучку очередной хлебный катышек. — В Англии дороги починяют галькой! Я им говорю: «После первого же дождя ваша дорога превратится в бо-

лото». Снова и снова мои слова подтверждаются. Но, вы думаете, они меня слушают, когда я это им говорю, когда я указываю на последствия, на последствия для общественного кошелька, когда я советую им почитать Корифея?[6] Ни секунды! У них другие интересы. Нет, миссис Эмброуз, вы не составите себе истинного представления о человеческой глупости, пока не побываете на заседании муниципального совета! — Человечек уставился на Хелен взглядом, полным неистовой энергии.

— У меня перебывало несколько слуг, — сказала миссис Эмброуз, придав лицу сосредоточенное выражение. — Сейчас у меня няня. Она хорошая женщина, не хуже других, но вот — далось ей заставлять моих детей молиться. До сих пор, благодаря моим усилиям, Бог для них был чем-то вроде экзотического зверя, но теперь — стоило мне потерять бдительность… Ридли, — она повернулась к мужу, — что делать, если, когда мы вернемся, они встретят нас чтением «Отче наш»?

Ридли издал неопределенный звук, что-то вроде: «Пфш!»

Но Уиллоуби, чье недовольство услышанным

---

[6] Примечания: 6
Корифей — вымышленный автор.

выразилось в каком-то переваливающемся движении его большого тела, проговорил с неловкостью:

— Ну, Хелен, уж верно, немного религии никому не повредит.

— Нет, по мне лучше, чтобы мои дети лгали! — ответила Хелен и, пока Уиллоуби отмечал про себя, что его невестка еще эксцентричнее, чем она ему запомнилась, резко отодвинула стул назад и взбежала наверх. Через мгновение оставшиеся за столом услышали ее голос:

— Ах, смотрите! Мы в открытом море!

Все последовали за ней на палубу. Дома и дым города пропали бесследно, вокруг лежало широкое пространство моря, свежего и чистого, только слегка бледного в свете раннего утра. А Лондон они оставили сидеть в его грязи. Тонкая сужающаяся линия суши тенью маячила на горизонте, казалось — слишком хрупкая, чтобы выдержать грузное бремя Парижа, который тем не менее где-то там на ней покоился. Они освободились от дорог, от всего человечества, и каждый теперь чувствовал приятное возбуждение. Судно прокладывало свой путь через мелкие волны, плескавшие и шипевшие у бортов, как игристое вино, и по обе стороны за кораблем тянулись тонкие шлейфы

пузырьков и пены. Выцветшее октябрьское небо было слегка подернуто облаками, похожими на остатки развеявшегося древесного дыма, кристальный воздух пах солью. Стоять без движения было холодно. Миссис Эмброуз взяла мужа под руку, и они двинулись прочь, и по тому, как ее щека приблизилась к его щеке, стало ясно, что Хелен хочет что-то сказать Ридли наедине. Рэчел увидела, как, отойдя немного, они поцеловались.

Она стала смотреть вниз, в глубину моря. «Евфросина», проходя, слегка тревожила его поверхность, но там, ниже, был покойный зеленый сумрак, и чем глубже, тем сумрачнее, до самого еле различимого песка на дне. Едва можно было разглядеть черные ребра затонувших кораблей, спиральные башни, которые оставляют гигантские угри, вбуравливаясь в песок, и гладкие, поблескивающие зелеными боками, неведомые создания.

— Так, Рэчел, а если я кому понадоблюсь, то я занят до часу дня, — сказал ее отец, по своему обыкновению при разговоре с дочерью подтверждая слова легким похлопыванием по ее плечу. — До часу, — повторил он. — Ты ведь найдешь себе занятие, правда? Гаммы, французский, немного немецкого, так? Тут у нас мистер Пеппер

— во всей Европе нет большего знатока отделяемых приставок, ведь так? — И он, смеясь, ушел. Рэчел тоже засмеялась, как смеялась, сколько себя помнила, не от чего-либо смешного, а просто потому, что восхищалась своим отцом.

Рэчел уже собралась пойти искать себе занятие, но тут путь ей преградила женщина столь толстая и необъятная, что если уж такая встанет на пути, то не перегородить его просто не сможет. Ее осторожность и робкая манера двигаться, а также строгое черное платье говорили о подчиненном положении. Тем не менее она приняла монументальную позу, огляделась и, убедившись, что больше никого из господ рядом нет, произнесла настоящую речь: она касалась состояния простыней и прозвучала весьма серьезно и даже торжественно.

— Как мы переживем это плавание, мисс Рэчел, я прямо даже и не знаю, — начала она, качая головой. — Белья и так едва хватает, а у господина простыня до того протерлась, что в дырки палец можно просунуть. Да и покрывала… Вы покрывала эти видели? Я тут подумала, даже бедняк постыдился бы таких. Тем, что я дала мистеру Пепперу, и собаку-то едва прикроешь… Нет, мисс Рэчел, починить их уже нельзя! Их теперь

только если на тряпки. Уж и так себе все пальцы исколола, а в следующую стирку мне ни за что не справиться.

Ее голос дрожал от обиды, будто она вот-вот заплачет.

Ничего не оставалось, как сойти вниз и заняться пересмотром белья, сваленного горой на столе. Миссис Чейли обращалась с простынями так, будто каждая из них была ее старой знакомой. На некоторых виднелись желтые пятна, попадались и ветхие места, но для стороннего глаза простыни выглядели, как обычно они и выглядят — очень свежими, белыми, прохладными и безупречно чистыми.

Внезапно миссис Чейли, сжав кулаки на вершине бельевой горы, но будто совершенно позабыв о простынях, заявила:

— И вообще, невозможно требовать от живого создания жить там, где поселили меня!

Миссис Чейли отвели каюту достаточного размера, но слишком близко от машинного отделения, так что через пять минут пребывания там несчастная почувствовала, что сердце ее «выскакивает»; тут она положила руку на это самое сердце и добавила, что такого миссис Винрэс, мать Рэчел, никогда бы не допустила, — миссис

Винрэс знала каждую простыню в своем доме и требовала от людей лучшего, на что они способны, но не больше.

Для Рэчел не было ничего легче, чем предоставить ей другую каюту, и тут же трагедия простыней чудесно разрешилась бы сама собой, а их пятна и дыры оказались не такими уж безнадежными, но…

— Ложь! Ложь! Ложь! — с негодованием воскликнула хозяйка, взбегая на палубу. — Только зачем лгать мне?

Ее гнев вызвало не само это происшествие, а то, что пятидесятилетняя женщина ведет себя, как ребенок, и заискивает перед девушкой только для того, чтобы переселиться, куда она хочет, не имея на то разрешения. Впрочем, разложив перед собой ноты, Рэчел очень скоро позабыла и о пожилой служанке, и о ее простынях.

Миссис Чейли сложила простыни, однако на лице ее были написаны тоска и уныние. В этом мире теперь никому до нее нет дела, на корабле — не дома. Вчера, когда зажглись фонари и матросы стали топать у нее над головой, она заплакала; и сегодня вечером она опять будет плакать, и завтра тоже. Ведь она так далеко от дома. А пока она начала расставлять свои без-

делушки в каюте, доставшейся ей так легко. Это были вещицы довольно странные для морского путешествия: китайские мопсики, миниатюрные чайные сервизы, чашки с красочным гербом города Бристоль, коробочки для булавок с инкрустациями в виде трилистника, головки антилоп из раскрашенного гипса, а также множество маленьких фотографий, запечатлевших простых рабочих в выходных костюмах и женщин, держащих младенцев в белоснежных кружевах. Был там еще один портрет в позолоченной раме, для которого требовался гвоздь, и, перед тем как начать поиски гвоздя, миссис Чейли надела очки и прочла то, что было написано на приклеенной сзади бумажной табличке.

«Этот портрет ее хозяйки подарен Эмме Чейли Уиллоуби Винрэсом в знак благодарности за тридцать лет преданной службы».

Слезы застлали ее глаза, смазав буквы и шляпку гвоздя.

— Сколько смогу быть полезной вашей семье, сколько смогу! — проговорила миссис Чейли, ударяя по гвоздю, и тут из коридора донесся мелодичный голос:

— Миссис Чейли! Миссис Чейли!

Чейли мгновенно одернула платье, привела в

порядок лицо и открыла дверь.

— Я в затруднении, — сказала миссис Эмброуз; она раскраснелась и запыхалась. — Вы знаете этих мужчин! Стулья слишком высоки, столы слишком низки, от двери до пола целых шесть дюймов. Что мне нужно: молоток, старое стеганое одеяло и — не найдется ли у вас обычного кухонного стола? Только никому ничего не говорите… — Тут она распахнула дверь в каюту, предназначенную для кабинета ее мужа, где, наморщив лоб и подняв воротник, взад-вперед ходил Ридли.

— Они будто специально задались целью издеваться надо мной! — выкрикнул он, внезапно остановившись. — Можно подумать, я пустился в это плавание лишь для того, чтобы подцепить ревматизм или воспаление легких! Да, следовало больше думать, слушая Винрэса. Дорогая, — Хелен в этот момент ползала на коленях под столом, — ты только перепачкаешься, нам лучше просто признать, что мы обречены на шесть недель невыразимых мучений. Поехать вообще было верхом глупости, но, раз уж мы здесь, полагаю, я смогу встретить это как мужчина. Конечно, недуги мои усугубятся, я уже чувствую себя хуже, чем вчера, но винить нам некого, кроме самих

себя, а дети благополучно…

— С дороги! С дороги! С дороги! — закричала на мужа Хелен, преследуя его из угла в угол со стулом наперевес, будто ловя курицу. — Не мешайся под ногами, Ридли, и через полчаса, увидишь, все будет готово.

Она выставила его из каюты, и его стоны и проклятия теперь доносились из коридора.

— Осмелюсь предположить, он, видно, не очень-то крепок здоровьем, — проговорила миссис Чейли, сочувственно глядя на миссис Эмброуз и помогая ей передвигать и переносить мебель.

— Всё книги, — вздохнула Хелен, поднимая с пола и расставляя на полке охапку угрюмых фолиантов. — Греческий с утра до ночи. Молитесь, Чейли, чтобы мисс Рэчел достался неграмотный муж.

Неудобства и суровости быта, которые обычно весьма досаждают в начале морского путешествия и делают его таким безрадостным, скоро были преодолены, и дальше дни потекли вполне приятной чередой. Октябрь был в самом разгаре, но он выдался таким ровно теплым, что по сравнению с ним даже первые месяцы лета казались ненадежными и капризными, как ветреная юность. Великие пути земли лежали под

осенним солнцем, и вся Англия, от вересковых пустошей до корнуэльских скал, с рассвета до заката купалась в его теплых лучах, подставляя им свои равнины — желтые, зеленые и пурпурные. Даже большие города радостно сверкали своими крышами. В тысячах маленьких садиков цвели миллионы темно-красных цветов, покуда старушки, так нежно за ними ухаживавшие, не подбирались к ним с ножницами, и не срезали их сочные стебли, и не укладывали их на холодные каменные плиты в деревенских церквах. Бесчисленные компании возвращались на закате с пикников, восклицая: «Есть ли на свете что прекраснее этого дня?!» «Это ты!» — шептали юноши. «Ах нет, это ты», — отвечали им девушки. Всех стариков и многих больных вытаскивали на воздух, быть может всего на шаг или два от крыльца, и они предсказывали этому миру доброе будущее. И уже вовсе было не счесть признаний и излияний любви, что слышались не только в полях среди ржи, но и в освещенных желтым светом комнатах, где перед окнами, широко открытыми в сад, мужчины с сигарами целовали женщин с проседью в волосах. Одни говорили, что это ясное небо похоже на жизнь, которую они прожили, а другие — что оно предвещает им ясную жизнь

впереди. Длиннохвостые птицы кричали и тараторили и перелетали с дерева на дерево, сверкая золотыми глазками в оперении.

И в это время на суше мало кто вспоминал о море. Само собой разумелось, что море спокойно; когда за окном бушует непогода и плющ хлещет листьями в окно спальни, во многих домах любящие перед поцелуем шепчут друг другу: «Вспомни о кораблях в ночи», — или: «Хвала небу, я не служу на маяке!» — но теперь в этом не было нужды. В их воображении корабли, уходящие за горизонт, исчезали, таяли, как снег на воде. Представления взрослых на этот счет на самом деле были не намного яснее, чем представления маленьких созданий в купальных костюмчиках, шлепавших по морской пене вдоль всего побережья Англии и зачерпывавших полные ведерки соленой воды. Они видели белые паруса и клочья дыма, проплывавшие над горизонтом, но скажи им, что это смерчи или лепестки белых морских цветов, — и они поверили бы.

Однако люди на кораблях не менее странно представляли себе Англию. Она казалась им не просто островом, маленьким островом, но островом стремительно уменьшающимся, где люди были пленниками, бесцельно снующими

муравьями, теснящими и едва не выталкивающими друг друга за край, производящими пустой, неразличимый гомон, который то походил на перебранку, то вовсе замолкал. В конце концов, когда земля скрылась из виду, стало ясно, что население Англии совершенно онемело. А затем тот же недуг начал поражать и другие части суши: Европа уменьшилась, съежились Азия, Африка и Америка, пока вообще не стало казаться маловероятным, что корабль когда-нибудь набредет на какой-либо из этих сморщенных кусочков земной тверди. Но зато само судно теперь преисполнилось особым достоинством, оно превратилось в самостоятельного обитателя великого мира, в котором были лишь единицы ему подобных, день за днем во всех направлениях бороздивших пустынную Вселенную. И все, что впереди, и все, что позади, скрывала непроницаемая завеса. Судно было теперь гораздо более одиноко, чем караван в песках, и тайна его была гораздо значительнее, ведь оно двигалось лишь благодаря собственной внутренней силе и собственным запасам. Море могло покарать его смертью или одарить несравненным счастьем, но ни о том, ни о другом никто не узнал бы. «Евфросина» была невестой, спешившей к суженому, девой, не знав-

шей мужа, в своей мощной силе и незапятнанной чистоте она могла быть уподоблена всему самому прекрасному на свете, ибо жила своей и только своей чудесной жизнью.

Конечно, если бы небеса не благословили путешественников такой прекрасной погодой и чередой ласковых, безупречных дней, когда ничто в обозримом пространстве не смущало гладкий круг океана, миссис Эмброуз затосковала бы очень скоро. А так она поставила на палубе свои пяльцы и рядом с ними — маленький столик, на котором лежал раскрытый философский том в черном переплете. Она выбирала нить из многоцветного клубка, который держала на коленях, и вплетала красный проблеск в кору дерева или желтый — в речной поток. Миссис Эмброуз вышивала большую картину — тропический лес, река, скоро там должны были появиться пятнистые олени, пасущиеся среди изобилия бананов, апельсинов и гигантских гранатов, и голые туземцы, швыряющие дротики. Между стежками она через плечо заглядывала в книгу и читала фразу-другую о Реальности Материи или о Естестве Добра. Вокруг нее люди в синих робах ползали на коленях и драили палубу или насвистывали, перегнувшись через поручни, а невдалеке сидел

мистер Пеппер и резал перочинным ножиком сушеные коренья. Остальные, кто — где, занимались каждый своим делом: Ридли — греческим, и уже он не мог представить себе лучшего места для занятий; Уиллоуби — бумагами, он всегда в плаваниях избавлялся от недоделок; а Рэчел… Хелен между философскими сентенциями не раз спрашивала себя, а что же все-таки делает Рэчел? Ей даже — правда, не очень сильно — хотелось пойти и посмотреть. С первого вечера они едва сказали друг другу несколько слов; встречаясь, бывали вежливы, но не было и намека на какое-то сближение между ними. Рэчел, судя по всему, была в очень хороших отношениях с отцом — даже, на взгляд Хелен, слишком хороших — и не выказывала никаких попыток нарушить покой Хелен, как и Хелен — ее.

А Рэчел в это время сидела в своей комнате, не делая совершенно ничего. Когда судно заполнялось пассажирами, этому помещению давали какое-нибудь величественное название, и оно становилось прибежищем для страдавших морской болезнью пожилых дам, а палуба предоставлялась молодому поколению. Поскольку в комнате стоял рояль и на полу горой лежали книги, Рэчел считала ее своей и просиживала здесь

часами — разыгрывала труднейшие музыкальные пассажи, немного читала по-немецки или, не больше, по-английски, смотря по настроению, а порой — как сейчас — просто бездельничала.

Кроме некоторой природной тяги к праздности, тому причиной было, конечно, и полученное ею образование, обычное для девушек конца девятнадцатого века. Кроткие пожилые учителя, невзыскательные доктора различных наук преподали ей начатки примерно десяти отраслей знаний, но заставить ее упорно заниматься было для них так же трудно, как упрекнуть ее в том, что у нее грязные руки. Час или два учения в неделю проходили с приятностью, отчасти благодаря другим ученицам, отчасти потому, что окна класса выходили на зады магазина — зимой так интересно было наблюдать за прохожими, сновавшими на фоне его красных окон, — а еще из-за смешных случаев, которые всегда происходят, если больше двух человек собираются вместе. Но ни одного предмета она не знала сколько-нибудь глубоко. Ее ум походил на ум интеллектуала в начале правления королевы Елизаветы: она верила практически во все, что ей говорили, и могла выдумать объяснение всему, что говорила сама. Форма Земли, мировая история, отчего двигаются

поезда, как следует обращаться с капиталом, каким законам подчиняется общество, что вообще людям нужно от жизни и зачем, самые простые представления о современном порядке вещей — ничему из этого не научили ее ни преподаватели, ни классные дамы. Впрочем, в этой системе образования было одно неоспоримое преимущество: она ничему не учила, но и не препятствовала развитию ни одного из дарований, которые ученику посчастливилось иметь от природы. Рэчел была музыкальна, поэтому ей было позволено не заниматься всерьез ничем, кроме музыки, и она погрузилась в нее с головой. Все силы, которые могли бы быть отданы языкам, науке, литературе, приобретению друзей, познанию мира, тратились только на музыку. Поняв ограниченность учителей, она практически училась сама. В двадцать четыре года она понимала в музыке столько, сколько обычно люди начинают понимать к тридцати, и могла играть в полную силу своего дара, и с каждым днем становилось яснее, что природа была к ней поистине щедра. Пусть этот один столь явный талант и сопровождался мыслями и грезами нелепыми, неразумными, какая мудрость могла бы его заменить?

Жизнь Рэчел, подобно ее образованию, также

ничем особенным не выделялась. Она была единственным ребенком в семье, и ей не пришлось переносить насмешки и притеснения братьев и сестер. Мать умерла, когда Рэчел было одиннадцать лет, и ее растили две тетки, сестры отца, жившие — ради свежего воздуха — в Ричмонде[7], в просторном и удобном доме. Ее, конечно, воспитывали с преувеличенным вниманием и заботой, что шло ей на пользу, пока она была ребенком, но сильно задержало развитие ее самосознания в пору взросления. Очень долго она и понятия не имела о таких вещах, как женская нравственность. Кое-что об этом она искала и находила в старых книгах, но всегда в невероятно неуклюжем виде, впрочем, книги ее мало интересовали, и поэтому она никогда не задумывалась о той цензуре, что проводили сначала тетки, а потом и отец. Кое-что можно было бы узнать от подруг, но их у нее почти не было — до Ричмонда слишком долго добираться, — а единственная более или менее близкая ей девушка была сверх всякой меры религиозна и в минуты откровенности могла говорить только о Боге да о том, как всякому следует нести свой крест, а эти темы мало волновали

---

[7] Примечания: 7

Ричмонд — в то время предместье Лондона.

Рэчел, чей ум был занят совсем иным.

Полулежа в кресле, одну руку положив под голову, а другою сжимая шарик на подлокотнике, Рэчел напряженно размышляла. Вообще, ее ненавязчивое учение оставляло ей довольно много времени для размышлений. Взгляд ее был прикован к шару на корабельных поручнях, и, если бы что-то его случайно загородило на мгновение, это испугало и встревожило бы девушку. Размышления начались с того, что она рассмеялась, прочитав строфу из перевода «Тристана»:

> *Робко съежась, весь дрожит,*
>
> *Тщетно скрыть пытаясь стыд.*
>
> *К августейшему дяде подходит*
>
> *И невесту обмершую подводит.*
>
> *Разве рассказ мой на бессмыслицу походит?*[8]

— Вот именно, походит! — воскликнула Рэчел и отшвырнула книжку. Затем она открыла «Письма» Каупера[9], предписанные ей отцом для чтения «из классики», но они нагоняли на нее

---

[8] Примечания: 8
Рихард Вагнер (1813–1883). Либретто оперы «Тристан и Изольда».

[9] Примечания: 9
Уильям Каупер (1731–1800) — английский поэт-сентименталист.

тоску, и, прочитав одно предложение, где говорилось об аромате ракитника в саду автора, она представила засыпанную цветами небольшую переднюю в Ричмонде в день похорон ее матери; цветы пахли так сильно, что с тех пор аромат любых цветов неизбежно вызывал у нее только это жуткое воспоминание. Затем, уже почти не видя и не слыша окружавшего ее настоящего, она пустилась один за другим перебирать образы прошлого. Тетя Люси расставляет цветы в гостиной.

— Тетя Люси, — набирается смелости Рэчел, — я не люблю запах ракитника. Сразу вспоминаю похороны.

— Ерунда, Рэчел, — отвечает тетя Люси. — Не говори глупостей, милая. По-моему, ракитник — растение особенно жизнерадостное.

Сидя под жаркими солнечными лучами, Рэчел сосредоточилась на характерах своих теток, на их взглядах, образе жизни. Этот мысленный путь она проделывала уже сотни раз, прогуливаясь по утрам в Ричмондском парке и за размышлениями не замечая ни деревьев, ни людей, ни оленей. Почему они живут так, а не иначе, и что они чувствуют, и какой во всем этом смысл? Опять она слышит голос тети Люси, которая обращается к тете Элинор. В это утро тете Люси вздумалось

обсудить поведение служанки:

— И конечно, в пол-одиннадцатого утра горничная должна подметать лестницу, а как же иначе?

Как странно! Как невыразимо странно! Но и сама себе она не может объяснить, почему, как только тетя Люси заговорила, вся картина их жизни вдруг показалась Рэчел чужой и непонятной, а сами тетки — вроде случайных вещей, стульев или зонтиков, разбросанных где попало, без всякого смысла. Однако вслух она только спрашивает, как всегда чуть заикаясь:

— Тетя Люси, в-вы любите тетю Элинор?

На что та отвечает со своим нервным квохчущим смешком:

— Милое дитя, что за вопросы ты задаешь?

— А как любите? Очень? — настаивает Рэчел.

— Пожалуй, я никогда и не задумывалась, очень или не очень, — говорит мисс Винрэс. — Кто любит, об этом не думает, Рэчел.

Это уже камешек в огород племянницы, от которой тетки никогда не получали столько тепла, сколько им хотелось бы.

— Но ты знаешь, как я тебя люблю, милая, правда? Ты дочь своей матери, хотя бы поэтому, но не только поэтому, не только. — Она притягивает к

себе Рэчел и целует ее, слегка расчувствовавшись, и суть их разговора сразу теряется, безвозвратно растекается в пространстве, словно пролитое на пол молоко.

Так Рэчел дошла до той стадии размышлений, если это еще можно назвать размышлениями, когда глаза уже не могут оторваться от шара на поручнях, а губы перестают шевелиться. Ее попытки понять своих теток только обижали их, из чего следовало, что лучше даже и не пытаться. Пусть эти странные мужчины и женщины — тетки, семейство Хантов, Ридли, Хелен, мистер Пеппер и все остальные — будут символами, безликими, но преисполненными достоинства и значительности, символами старости или юности, материнства или учености, пусть они будут даже красивы — красотою актеров на сцене. Получалось, что, произнося слова, люди не выражают ни своих мыслей, ни чувств, — но для этого как раз и существует музыка. Можно видеть и чувствовать реальность, но не говорить о ней, пусть жизнь течет сама по себе, как нравится другим, об этом можно вовсе не думать, просто отдавать себе отчет в том, что внешние формы жизни людей отчего-то странны и нелепы. Поглощенная музыкой, она принимала свой удел

вполне благосклонно, срываясь на раздражение не чаще раза-двух в месяц, всегда уступая, как она уступила сейчас. Мысли ее стали путаться, уже не в силах вырваться из паутины сна, а сознание будто стало шириться, шириться, чудесным образом сливаясь с духом всего, что ее окружало: белесых досок на палубе, духом моря, бетховенского опуса 112 и даже духом бедного Уильяма Каупера в далеком Олни. И вот оно уже клочком пуха летит над морем, то прикасаясь к воде, то поднимаясь в воздух, пока совсем не скрывается из виду. При его взлетах и падениях Рэчел начала клевать носом, а когда он исчез, она заснула.

Десять минут спустя миссис Эмброуз открыла дверь и посмотрела на Рэчел. Хелен не удивило, каким образом та проводит свои утренние часы. Она оглядела комнату: рояль, книги, беспорядок. Сначала Хелен оценила вид Рэчел с эстетической точки зрения: в своей беззащитности она походила на жертву, выпавшую из когтей хищной птицы; однако, если посмотреть на нее просто как на девушку двадцати четырех лет, — картина наводила на размышления. Миссис Эмброуз задумалась и простояла так не меньше двух минут. Затем она улыбнулась и бесшумно вышла; ей вовсе не хотелось разбудить спящую и оказаться

перед неловкой необходимостью с ней разговаривать.

Глава 3

Назавтра рано утром сверху донеслось громыхание, будто там протаскивали тяжелые цепи; мерное биение сердца «Евфросины» стало замедляться и умолкло, и Хелен, высунув нос на палубу, увидела замок, твердо стоящий на твердом, неподвижном холме. Они бросили якорь в устье Тежу, и, вместо того чтобы рассекать все новые и новые волны, борта судна теперь терпели набеги одних и тех же отступавших и возвращавшихся прибрежных волн.

Сразу после завтрака Уиллоуби, с коричневым кожаным чемоданчиком в руках, покинул корабль, прокричав через плечо, что все предоставляются самим себе и могут делать, что кому вздумается, поскольку дела продержат его в Лиссабоне до пяти вечера.

Он вернулся действительно около пяти, все с тем же чемоданчиком, жалуясь на усталость, раздражение, голод, жажду, холод, и потребовал немедленно подавать чай. Растирая руки, он стал всем рассказывать о приключениях минувшего дня: как он заявился к бедному старому Джексо-

ну, когда тот причесывал усы перед конторским зеркалом и совсем не ожидал его прихода, как заставил Джексона с утра повкалывать, что для того не очень-то привычно, а потом пригласил его пообедать, с шампанским и дичью; как затем нанес визит миссис Джексон, которая, бедняжка, еще растолстела и так любезно справлялась о Рэчел, а Джексону, бог ты мой, пришлось признаться, что он дал-таки слабину, — да нет, ничего, вреда особенного в том нет, но какой смысл делать распоряжения, если они тут же нарушаются? Ведь Уиллоуби ясно дал ему понять, что в этот рейс пассажиров не возьмет. Тут он стал шарить по карманам и, наконец выудив карточку, положил ее на стол перед Рэчел. Она прочитала: «Мистер и миссис Дэллоуэй, Мэйфэр, Браун-стрит, 23».

— Мистер Ричард Дэллоуэй, — продолжал Винрэс, — судя по всему, полагает, что, раз он когда-то был членом парламента, да еще женат на дочери пэра, то ему все подавай по первому требованию. Во всяком случае, они смогли уломать бедного старого Джексона. Заявили, что у них есть право требовать содействия, показали письмо от лорда Гленауэя, который просит меня взять их на борт как о личной услуге; в общем, все это пересилило возражения Джексона (хотя вряд ли их было так

уж много), и теперь, похоже, нам ничего не остается, кроме как уступить.

Между тем было очевидно, что Уиллоуби отчего-то по душе эта уступка, хотя он и ворчит для вида.

А дело было в том, что мистер и миссис Дэллоуэй оказались в Лиссабоне в довольно затруднительном положении. Они уже несколько недель путешествовали по континенту, главным образом — с целью расширить кругозор мистера Дэллоуэя. В этом году из-за политических превратностей мистер Дэллоуэй не мог послужить родине в парламенте, поэтому он изо всех сил старался сделать это вне парламента. Латинские страны для этого вполне подходили, хотя, конечно, Восток был бы куда предпочтительнее.

— Теперь ждите вестей обо мне из Петербурга или Тегерана, — сказал он, обернувшись на прощанье на ступенях клуба «Трэвеллерз». Однако на Востоке разразилась какая-то эпидемия, в России свирепствовала холера, и вести о нем, что, конечно, было уже не столь романтично, пришли из Лиссабона. Но сначала чета пересекла Францию, где останавливалась в промышленных городах, мистер Дэллоуэй представлял рекомендательные письма, и ему показывали фабрики и заводы, а

он делал записи в своем блокноте. В Испании они с миссис Дэллоуэй оседлали мулов, потому что хотели понять жизнь крестьян. Например, созрели они для бунта или нет? После этого миссис Дэллоуэй настояла на том, чтобы провести день-два в Мадриде и посмотреть картины. В конце концов, они добрались до Лиссабона, где прожили шесть дней, о которых впоследствии, в изданных для своего круга путевых заметках, отозвались как о днях «исключительно интересных». Ричарда принимали министры, и он предрекал скорый кризис, поскольку «столпы правительства погрязли в коррупции; но как можно винить…» и так далее; Кларисса же тем временем посетила королевские конюшни и сделала несколько снимков, на которых запечатлела людей, теперь изгнанных, и окна, теперь выбитые[10]. Еще она сфотографировала могилу Филдинга и там же освободила пташку, пойманную в силки каким-то негодяем, потому что, как гласили путевые записи, «омерзительна даже мысль о том, что там, где похоронены англичане, бьется в неволе живое существо». Путь их следования весьма отличался от общепринятых

[10] Примечания: 10

Имеется в виду Португальская революция 1910 г., свергувшая монархию и установившая республику.

маршрутов и не был должным образом продуман заранее. В значительной степени его определяли иностранные корреспонденты «Таймс». Мистер Дэллоуэй желал взглянуть на кое-какие пушки — он придерживался мнения, что берег Африки значительно менее колонизирован, чем принято считать на родине. Поэтому им нужно было неторопливое судно «для любопытных», комфортабельное, поскольку мореплаватели они были никудышные, но не роскошное, которое останавливалось бы на день-два то в одном порту, то в другом для заправки углем, давая Дэллоуэям возможность осмотреть, что им захочется. Но в Лиссабоне они застряли: все никак не находилось подходящего для них корабля, да такого, чтобы на него еще можно было проникнуть. Они прослышали о «Евфросине», но им сказали, что она была судном по преимуществу грузовым, возившим мануфактуру на Амазонку и обратно — каучук, а также, что пассажиров на ее борт брали только по особой договоренности. Однако слова «по особой договоренности» весьма вдохновили супругов, ведь они принадлежали к тому кругу, в котором почти все делалось или при необходимости могло быть сделано именно по особой договоренности. Ричард лишь написал краткое

письмо лорду Гленауэю, главе рода Гленауэев, да навестил бедного старого Джексона, которому поведал, что миссис Дэллоуэй — урожденная такая-то, что сам он тоже в свое время был тем-то и тем-то и что сейчас они нуждаются в том-то и том-то. Дело было сделано. Они расстались, обмениваясь любезностями и при полном взаимном расположении. И вот, неделю спустя, из сумерек показалась державшая курс на судно шлюпка с Дэллоуэями на борту, а через три минуты оба стояли на палубе «Евфросины». Разумеется, их прибытие вызвало некоторую суматоху, и уже несколько пар глаз приметили, что миссис Дэллоуэй — женщина высокая и тонкая, укутанная в меха и вуали, а мистер Дэллоуэй — джентльмен среднего роста и крепкого телосложения, одетый, как охотник в осенний сезон. Вскоре их окружило множество туго набитых кожаных чемоданов благородного темно-коричневого цвета; кроме того, мистер Дэллоуэй держал в руках портфель, а его жена — несессер, в котором, судя по всему, она хранила бриллиантовые ожерелья и уйму пузырьков с серебряными крышечками.

— Ах, прямо как у Уистлера! — воскликнула миссис Дэллоуэй, кивнув в сторону берега, одновременно здороваясь за руку с Рэчел; Рэчел

только успела глянуть на серые холмы сбоку, как Уиллоуби уже представил гостье миссис Чейли, которая увела леди в ее каюту.

Хотя вторжение Дэллоуэев будто бы прошло незаметно, оно всех вывело из равновесия, от стюарда мистера Грайса до самого Ридли. Через несколько минут Рэчел проходила мимо курительной комнаты, в которой увидела Хелен, двигавшую кресла. Та была поглощена перестановкой и, заметив Рэчел, доверительно сообщила:

— Главное — чтобы мужчинам было где посидеть. Кресла, вот что важно. — И она опять стала перекатывать их на колесиках с места на место. — Ну что, все еще похоже на вокзальный буфет?

Она сдернула со стола плюшевую скатерть. Комната на удивление преобразилась в лучшую сторону.

Прибытие чужаков окончательно убедило Рэчел в том, что надо переодеться к ужину, час которого приближался. Звон большого корабельного колокола застал ее сидящей на краю своей койки. Маленькое зеркало над умывальником отражало ее голову и плечи. Лицо, смотревшее из зеркала, было преисполнено болезненным

унынием — после прибытия Дэллоуэев Рэчел пришла к неутешительному выводу, что ее лицо совсем не такое, какого ей хотелось бы, и, скорее всего, никогда таким не станет.

Так или иначе, ей с детства внушали, что опаздывать нельзя, поэтому следовало выйти к ужину с тем лицом, какое было.

За эти несколько минут Уиллоуби, загибая пальцы на руке, вкратце описал Дэллоуэям всех, с кем им предстояло познакомиться.

— Здесь мой зять, Эмброуз, ученый (полагаю, вы о нем слышали), его жена, мой старый друг Пеппер, тихий малый, но, говорят, знает все на свете. Вот и все. Компания очень небольшая. Я их оставлю на побережье.

Миссис Дэллоуэй, чуть склонив голову набок, постаралась вспомнить, кто такой Эмброуз — это ведь фамилия? — но не смогла. После того что она услышала, она почувствовала себя самую малость не в своей тарелке. Она знала, что ученые женятся на ком попало — на девушках из деревень, где они читают популярные лекции, или на маленьких женщинах с окраин, которые всегда недовольно бурчат: «Знаю, я вам не нужна, вам муж мой нужен».

Но тут вошла Хелен, и миссис Дэллоуэй с об-

легчением отметила, что, хотя в облике миссис Эмброуз просматривается некоторая эксцентричность, она опрятна, хорошо держится, а в голосе ее звучит та особая струна, которую Кларисса считала признаком настоящей леди. Мистер Пеппер не побеспокоился сменить свой чистый, но гадкий нарядец.

«В конце концов, — думала Кларисса, входя вслед за Винрэсом в столовую, — любой человек безусловно интересен».

За столом эта уверенность пригодилась ей, особенно когда появился Ридли, который опоздал, выглядел откровенно неряшливо и тут же угрюмо уткнулся в тарелку с супом.

Муж и жена обменялись незаметными для посторонних сигналами, означавшими, что они владеют положением и намерены стойко держаться друг друга. Почти не допустив паузы, миссис Дэллоуэй повернулась к Уиллоуби и начала:

— Что на меня в море навевает тоску, так это отсутствие цветов. А представляете: поля роз и фиалок посреди океана! Это было бы божественно!

— Да, но чревато опасностями для мореплавания, — вступил басом Ричард, будто фагот после

изящной скрипичной трели. — Ведь водоросли порой доставляют большие неприятности, правда, Винрэс? Помню, как-то мы пересекали Атлантику на «Мавритании», и я спросил капитана Ричардса, вы знали его? — «Скажите, капитан Ричардс, каких опасностей для своего корабля вы страшитесь больше всего?» — ожидая услышать об айсбергах, «Летучем Голландце», о тумане и всяких таких штуках. Ничего подобного. Я навсегда запомнил его ответ. «Sedgius aquatici», — вот что он сказал; это, кажется, что-то вроде ряски.

Мистер Пеппер стрельнул своим быстрым взглядом и уже собирался задать какой-то вопрос, но беседу продолжил Уиллоуби:

— Да, нелегко им приходится, этим капитанам! Три тысячи душ на борту!

— Да-да, правда. — Кларисса со значительным видом повернулась к Хелен. — Не правы те, кто считает, что больше всего изнуряет труд. Ответственность — вот что действительно тяжело. Думаю, по той же причине повару всегда платят больше, чем горничной.

— Ну, тогда няням следует платить вдвойне, но не платят же, — сказала Хелен.

— Верно, но подумайте, какое удовольствие проводить все время с детьми, а не с кастрюля-

ми! — Миссис Дэллоуэй с бóльшим интересом посмотрела на Хелен, заподозрив, что у той есть дети.

— Я бы предпочла быть поваром, чем няней, — ответила Хелен. — Ни за что не возьму на себя ответственность за детей.

— Матери всегда преувеличивают, — вступил Ридли. — Хорошо воспитанный ребенок не требует никакой ответственности. Мы с нашим проехали всю Европу. И ничего, только пеленай потеплей да укладывай в люльку.

Хелен рассмеялась. Миссис Дэллоуэй воскликнула, глядя на Ридли:

— Вы настоящий отец! Мой муж точно такой же. И после этого еще говорят о равенстве полов.

— Кто говорит? — вставил мистер Пеппер.

— Да-да, есть такие! — прокричала Кларисса. — Во время прошлой сессии мужу приходилось каждый день проходить мимо одной гневной дамы, которая только об этом и вещала.

— Она сидела у здания парламента, было так неловко, — подтвердил Дэллоуэй. — В конце концов, я набрался смелости и сказал ей: «Милейшая, вы тут только мешаете. Мне не даете пройти и себе вред причиняете!»

— Тогда она ухватила его за пальто и чуть не

выцарапала ему глаза, — добавила миссис Дэллоуэй.

— Ну-у, это уж преувеличение, — сказал Ричард. — Нет, признаться, мне жаль этих людей. Сидеть на ступеньках, вероятно, страшно неудобно и утомительно.

— Так и поделом им, — коротко высказался Уиллоуби.

— О, здесь я с вами совершенно согласен, — отозвался Дэллоуэй. — Крайняя глупость и бессмысленность подобного поведения вряд ли у кого вызовут большее осуждение, чем у меня. А что касается этой шумихи, то, знаете ли, дай мне бог сойти в могилу раньше, чем женщины в Англии получат избирательное право! Это все, что я могу сказать.

Торжественность, с которой ее муж произнес последние слова, подействовала на Клариссу, и она приняла серьезный вид.

— Немыслимо! — сказала она. — Но вы ведь не сторонник равноправия, правда? — обратилась она к Ридли.

— Да мне абсолютно все равно, — ответил Эмброуз. — Если люди так наивны, что полагают, будто избирательное право хоть чем-то улучшит их жизнь, так пусть получат его. Тогда скоро сами

поймут, что к чему.

— Вижу, вы не политик, — улыбнулась Кларисса.

— Слава богу, нет.

— Боюсь, ваш муж меня не одобряет, — сказал Дэллоуэй в сторону, обращаясь к миссис Эмброуз. Тут она вдруг вспомнила, что он ведь раньше был членом парламента.

— Неужели это дело никогда не казалось вам скучным? — спросила она, толком не зная, что ей следует говорить.

Ричард простер перед собой руки, как будто ответ был начертан на его ладонях.

— Вы меня спрашиваете, казалось ли мне когда-нибудь это дело скучным, и я, пожалуй, отвечу: да, бывало. Если же вы меня спросите, какую из всевозможных карьер для мужчины я считаю, беря в целом, со всеми за и против, самой увлекательной, самой завидной, не говоря уже о более серьезных ее сторонах, то я, конечно, скажу: карьеру политика.

— Да, согласен, — кивнул Уиллоуби. — В адвокатуре и в политике усилия вознаграждаются как нигде.

— Реализуются все способности человека, — продолжал Ричард. — Может быть, я сейчас

затрону опасную тему, но что я, в общем, думаю о поэтах, художниках: когда речь идет о вашем деле — тут, конечно, с вами не потягаешься, но в любой другой области — увы, приходится делать скидки. А я вот ни за что не примирился бы с мыслью, что кто-то для меня делает скидку.

— Я не вполне с тобой согласна, Ричард, — сказала миссис Дэллоуэй. — Вспомни Шелли. В «Адонаисе», мне кажется, можно найти все и обо всем.

— Очень хорошо, читай «Адонаиса», — согласился Ричард. — Но всегда, услышав о Шелли, я повторяю про себя слова Мэтью Арнольда: «Что за круг! Что за круг!»

Это привлекло внимание Ридли.

— Мэтью Арнольд! Самонадеянный сноб! — фыркнул он.

— Пусть сноб, — отозвался Ричард, — но, с другой стороны, человек, живший в реальном мире. Мы, политики, несомненно, кажемся вам, — он с чего-то решил, что Хелен представляет искусство, — толпой пошлых обывателей, но мы-то видим и другую сторону, мы можем быть несколько неуклюжи, но мы стараемся охватить жизнь в целом, во всей ее полноте. Когда ваши художники видят, что мир погружен в хаос, они пожимают

плечами, отворачиваются и возвращаются в свой мир — возможно, прекрасный, — но хаос-то остается. Мне это кажется уходом от ответственности. Кроме того, не все рождаются с художественными способностями.

— Ужасно! — промолвила миссис Дэллоуэй, которая о чем-то размышляла, пока ее муж говорил. — Когда я общаюсь с художниками, я так остро чувствую, как это чудесно — отгородиться от всего в своем собственном маленьком мире, где картины и музыка и все так прекрасно, но потом я выхожу на улицу, и при виде первого же нищего ребенка с грязным и голодным личиком я встряхиваю головой и говорю себе: «Нет, не могу я отгородиться, не могу я жить в собственном мирке. Я бы отменила и живопись, и литературу, и музыку, пока такое не исчезнет навсегда». Вы не ощущаете, — она повернулась к Хелен, — что жизнь — это вечное противоречие?

Хелен на мгновение задумалась.

— Нет, — сказала она. — Едва ли.

Последовала довольно неловкая пауза. Миссис Дэллоуэй слегка поежилась и попросила принести ее меховую накидку. Кутая шею в мягкий коричневый мех, она решила сменить тему.

— Признаться, мне никогда не забыть «Антиго-

ну». Я видела ее в Кембридже много лет назад, и с тех пор она не оставляет меня. Вы согласны, нет произведения более современного? — спросила она Ридли. — Я знаю, пожалуй, не меньше двух десятков Клитемнестр. Например, престарелая леди Дитчлинг. Я ни слова не смыслю по-гречески, но слушать могу бесконечно…

Тут внезапно подал голос мистер Пеппер:

πολλὰ τὰ δεινά, κοὐδὲν ἀν —
θρώπου δεινότερον πέλει.
τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν
πόντου χειμερίῳ νότῳ
χωρεῖ, περιβρυχίοισι
περῶν ὑπ' οἴδμασι.[11]

Миссис Дэллоуэй смотрела на него, поджав губы. Когда он закончил, она сказала:

— Я бы отдала десять лет жизни, чтобы выучить

---

[11] Примечания: 11

В мире много сил великих,
Но сильнее человека
Нет в природе ничего.
Мчится он, непобедимый,
По волнам седого моря,
Сквозь ревущий ураган…

Софокл. Антигона.
(Пер. Д. Мережковского.)

греческий.

— Я могу обучить вас алфавиту за полчаса, — предложил Ридли. — А через месяц вы уже будете читать Гомера. Почел бы за честь позаниматься с вами.

Хелен была вовлечена мистером Дэллоуэем в беседу о том, что раньше в палате общин существовал обычай, теперь забытый, цитировать древних греков; про себя же она отметила — будто сделала запись в большой книге памяти, которая всегда, чем бы мы ни были заняты, лежит перед нами раскрытой, — что все мужчины, даже такие, как Ридли, питают слабость к роскошным женщинам.

Кларисса воскликнула, что не представляет большего удовольствия. Она тут же вообразила себя в своей гостиной на Браун-стрит с томиком Платона на коленях — Платона в греческом оригинале. Клариссе всегда казалось, что, если за нее серьезно возьмется истинный знаток, он сможет заложить древнегреческий ей в голову без особого труда.

Они договорились с Ридли приступить к занятиям завтра же.

— Но только если ваш корабль нас побережет! — воскликнула миссис Дэллоуэй, втягивая

в игру Уиллоуби. Тот кивнул головой — ради гостей, тем более таких почтенных, он был готов поручиться даже за волны.

— Я ужасно переношу качку. Муж тоже не очень, — вздохнула Кларисса.

— Я никогда по-настоящему не страдаю морской болезнью, — пояснил Ричард. — Если со мной это и случалось, то один раз, не больше, — поправился он. — Как-то по пути через Ла-Манш. Однако, честно говоря, при неспокойном море, особенно в сильное волнение, я чувствую себя довольно неуютно. Тут главное — не отказываться от еды. Смотришь на нее и говоришь себе: «Нет, не могу», но все-таки кладешь что-то в рот, хотя бог знает, как это проглотить, но надо заставить себя, и тогда обычно дурнота уходит безвозвратно. Моя жена трусиха.

Все начали отодвигать стулья. Женщины в нерешительности остановились у двери.

— Давайте-ка я вас поведу, — сказала Хелен, проходя вперед.

Рэчел последовала за ней. Она совсем не принимала участия в беседе, да никто к ней и не обращался, зато вот она ловила каждое слово. Она во все глаза смотрела то на мистера Дэллоуэя, то на его жену. Кларисса и в самом деле представ-

ляла собой пленительное зрелище. На ней было белое платье и длинные сверкающие бусы. Этот наряд и лицо, казавшееся особенно румяным в сочетании с седоватыми волосами, делали ее поразительно похожей на портрет восемнадцатого века — шедевр кисти Рейнольдса или Ромни. Рядом с ней Хелен и все остальные выглядели грубовато и неопрятно. Она сидела прямо, но непринужденно, и казалось, будто она управляет миром, как ей вздумается, будто огромный и тяжелый земной шар вертится туда, куда его направят ее пальчики. А ее муж! Мистер Дэллоуэй, игравший своим сочным, хорошо поставленным голосом, был уже совершенно неотразим. Он словно только что вышел из самого сердца гудящего, лоснящегося маслом великого механизма, где слаженно крутятся шестерни и дружно ходят туда-сюда поршни; он схватывал все так легко, но так цепко; остальные рядом с ним казались старомодными, никчемными, несерьезными. Рэчел завершала процессию дам, идя будто в трансе; необыкновенный запах фиалок, шедший от миссис Дэллоуэй, смешивался с легким шуршанием ее юбок и позвякиванием украшений. Рэчел с презрением думала о себе, обо всей своей жизни, о знакомых. «Она сказала, что мы живем в соб-

ственном мирке. Это так. Мы смешны, нелепы».

— Вот здесь мы сидим, — сказала Хелен, открывая дверь салона.

— Вы играете? — спросила миссис Дэллоуэй, подбирая со стола партитуру «Тристана».

— Племянница играет. — Хелен положила руку на плечо Рэчел.

— О, как я вам завидую! — Кларисса впервые обратилась к Рэчел. — Помните это? Не правда ли, божественно? — И она сыграла пару тактов согнутыми пальцами по странице. — А потом вступает Тристан — вот — и Изольда, ах, как это меня волнует! Вы были в Байрёйте?

— Нет, не была, — ответила Рэчел.

— Значит, побываете. Никогда не забуду моего первого «Парсифаля»: августовская жара, старые толстые немки в тесных роскошных платьях, темный театр, наконец начинает звучать музыка, и невозможно удержаться от слез. Помню, какой-то добряк вышел и принес мне воды, а я только и могла, что плакать у него на плече! Вот здесь перехватило. — Она показала на горло. — Ничто в мире с этим не сравнится! А где же ваше пианино?

— В другой комнате, — объяснила Рэчел.

— Но вы ведь нам поиграете? — с надеждой

спросила Кларисса. — Что может быть чудеснее, чем сидеть при луне и слушать музыку? Ах, я говорю, как школьница! А знаете, — она повернулась к Хелен, — думаю, музыка не так уж благотворна для человека, скорее — наоборот.

— Слишком большое напряжение? — спросила Хелен.

— Я бы сказала, слишком много чувств. Это сразу становится заметно, когда молодой человек или девушка избирают музыку своей профессией. Сэр Уильям Бродли мне говорил то же самое. Терпеть не могу, как некоторые напускают на себя при упоминании о Вагнере. — Кларисса воздела глаза к потолку, хлопнула в ладоши и изобразила на лице восторг и упоение. — При этом вовсе не обязательно, что они его понимают, мне всегда в таких случаях кажется, что как раз наоборот. Люди, действительно чувствующие искусство, меньше всех выставляют это напоказ. Вы знаете художника Генри Филипса?

— Видела, — ответила Хелен.

— Посмотреть на него, так он больше похож на преуспевающего биржевого маклера, чем на одного из величайших художников своего времени. Вот это мне по душе.

— На свете много действительно преуспева-

ющих маклеров, можно смотреть на них, если нравится, — сказала Хелен.

Рэчел неистово захотелось, чтобы ее тетка перестала быть такой колючей и упрямой.

— Когда вы видите музыканта с длинными волосами, разве интуиция не подсказывает вам, что музыкант он плохой? — спросила Кларисса, повернувшись к Рэчел. — Уоттс и Иоахим[12] на вид ничем не отличались от нас с вами.

— А как бы им пошли вьющиеся волосы! — сказала Хелен. — Вы, видимо, решили ополчиться на красоту?

— Опрятность! — провозгласила Кларисса. — Я хочу, чтобы мужчина выглядел опрятно!

— Под опрятностью вы понимаете хорошо скроенное платье.

— Джентльмена видно сразу, но трудно сказать, что тут главное.

— Ну а вот мой муж, он выглядит как джентльмен?

Такой вопрос для Клариссы был уже просто дурным тоном. «Вот уж чего не скажешь!» — подумала она, но, не найдя, что ответить вслух,

---

[12] Примечания: 12

Джордж Фредерик Уоттс (1817–1904) — английский художник. *Йозеф Иоахим* (1831–1907) — венгерский скрипач, жил и работал в Германии.

только рассмеялась.

— Во всяком случае, — обратилась она к Рэчел, — завтра я от вас не отстану, пока вы мне не поиграете.

В ней, в ее манерах было нечто такое, что сразу заставило Рэчел в нее влюбиться.

Миссис Дэллоуэй подавила зевок, выдав его лишь легким расширением ноздрей.

— Ах, знаете, — сказала она, — невероятно хочется спать! Это морской воздух. Пожалуй, я исчезну.

Спугнул ее резкий мужской голос, судя по всему, мистера Пеппера, который с кем-то ожесточенно спорил.

— Спокойной ночи, спокойной ночи! — попрощалась Кларисса. — Умоляю, не беспокойтесь, я знаю дорогу! Спокойной ночи!

Но зевок ее был, скорее, притворным. Придя к себе, она не дала волю зевоте, не сдернула с себя и не свалила кучей одежду, не растянулась блаженно во всю длину кровати, а вместо этого спокойно переоделась в пеньюар, украшенный бесчисленными оборками, и, обернув ноги пледом, уселась с блокнотом на коленях. Тесная каютка уже успела превратиться в будуар знатной дамы. Везде были расставлены и разложены

бутылочки, пузырьки, ящички, коробочки, щеточки, булавки. Судя по всему, ни один участок ее тела не обходился без специального инструментика. Воздух был напитан тем самым ароматом, что заворожил Рэчел. Удобно устроившись, миссис Дэллоуэй начала писать. Она делала это так, словно ласкала бумагу пером, словно гладила и нежно щекотала котенка.

«Вообрази нас, дорогая, в море, на борту самого странного корабля, какой ты только можешь себе представить. Хотя дело не в корабле, а в людях. Хозяин пароходства по фамилии Винрэс — большой, очень милый англичанин — говорит мало — ты, конечно, встречала таких. Что касается остальных — они все будто выползли из старого номера «Панча». Похожи на игроков в крокет шестидесятых годов. Не знаю уж, сколько они просидели, затворившись на этом корабле, сдается — многие годы, во всяком случае, поднявшись на борт, чувствуешь, что попал в обособленный мирок, кажется, они вообще никогда не сходили на берег и никогда не жили, как другие нормальные люди. Я всегда говорила: с литераторами найти общий язык труднее, чем с кем бы то ни было. Хуже всего то, что эти люди — муж, жена и их племянница — могли

бы быть как все, я это чувствую, если бы их не засосали Оксфорд, Кембридж и так далее, отчего они тронулись головой. Он — просто чудо (если б еще постриг ногти), у нее довольно приятное лицо, только одевается, конечно, в мешок из-под картофеля, и прическа у нее, как у продавщицы из «Либерти»[13]*. Они разговаривают об искусстве и считают нас болванами за то, что мы вечером переодеваемся. Ничего, однако, поделать не могу — я скорее умру, чем выйду к ужину, не переодевшись, ты тоже, правда? Ведь это гораздо важнее супа. (Даже странно, насколько эти вещи действительно важнее того, что всеми считается важным. Я охотнее дам отрубить себе голову, чем, например, надену фланель на голое тело.) Еще тут есть милая застенчивая девочка — бедное создание, так бы хотелось, чтобы кто-нибудь вытащил ее из этого болота, пока еще не поздно. У нее чудные глаза и волосы, но и она, конечно, со временем станет нелепой. Эстер, мы должны организовать общество просвещения молодежи — это было бы куда полезнее, чем миссионерство! Ах да, я забыла, здесь есть еще противный гном по имени Пеппер. Совершенно соответствует сво-*

---

[13] Примечания: 13

«Либерти» — лондонский магазин, открытый в 1875 г. и связанный с движением «Искусства и ремесла».

ему имени. Он невообразимо ничтожен и ведет себя непредсказуемо, бедный уродец! Это все равно что сидеть за одним столом с беспризорным фокстерьером, только вот, в отличие от собаки, его не причешешь и не обсыплешь порошком. Иногда жалеешь, что с людьми нельзя обращаться, как с собачками. Что здесь хорошо — нет газет, и Ричард может по-настоящему отдохнуть. В Испании было не до отдыха...»

— Ты струсила! — сказал Ричард, заполнивший своим плотным телом почти всю каюту.

— Я исполнила свой долг за ужином! — вскрикнула Кларисса.

— Так или иначе, ты ввязалась в историю с греческим алфавитом.

— О господи! Кто он такой, этот Эмброуз?

— Кажется, преподавал в Кембридже, а теперь живет в Лондоне, издает античных классиков.

— Ты видел когда-нибудь столько сумасшедших вместе? Эта женщина спросила меня, похож ли ее муж на джентльмена!

— Да, за обедом трудновато было поддерживать беседу. И почему в этом сословии женщины настолько чуднее мужчин?

— Вид у них, конечно, куда приличнее, только — какие они странные!

Оба засмеялись, подумав об одном и том же, — им даже ни к чему было обмениваться впечатлениями.

— Пожалуй, мне много о чем стоит поговорить с Винрэсом, — сказал Ричард. — Он знает Саттона и весь этот круг. Может многое порассказать о нашем кораблестроении на Севере.

— Ах, я рада. Мужчины действительно настолько лучше женщин!

— Конечно, с мужчиной всегда есть о чем поговорить. Но и ты, Кларисса, можешь очень даже бойко порассуждать о детях.

— А у нее есть дети? По виду не скажешь.

— Двое. Мальчик и девочка.

Зависть кольнула иголкой сердце миссис Дэллоуэй.

— Нам нужен сын, Дик, — проговорила она.

— Бог мой, сейчас у молодых людей столько возможностей! — Эта тема навела Дэллоуэя на размышления. — Полагаю, такого широкого поля для деятельности не было со времен Питта.

— И оно тебя ждет! — сказала Кларисса.

— Руководить людьми — прекрасное дело, — провозгласил Ричард. — Боже мой, что за дело!

Его грудь медленно выпятилась под жилетом.

— Знаешь, Дик, меня не оставляют мысли об

Англии, — раздумчиво произнесла Кларисса, положив голову на грудь мужу. — Отсюда, с этого корабля видится намного яснее, что на самом деле значит быть англичанином. Думаешь обо всем, чего мы достигли, о нашем военном флоте, о наших людях в Индии, в Африке, о том, как мы век за веком шли все дальше, посылая вперед наших деревенских ребят, и о таких, как ты, Дик, — и вдруг понимаешь, как это, наверное, невыносимо не быть англичанином! И свет, идущий от нашего парламента, Дик! Сейчас, стоя на палубе, я будто видела это зарево. Вот что значит для нас Лондон.

— Связь времен! — торжественно заключил Ричард. Слушая жену, он живо представил себе английскую историю, череду королей, премьер-министров, череду законов. Он окинул мысленным взором всю политику консерваторов, тянувшуюся, словно нить, от Альфреда к лорду Солсбери[14] и будто петлей захватывавшую один за другим внушительные куски обитаемой суши.

— Понадобилось много времени, но мы почти

---

[14] Примечания: 14

Альфред Великий (ок. 849 — ок. 900) — король англосаксонского королевства Уэссекс с 871 г. *Роберт Сесил, третий маркиз Солсбери* (1830–1903) — лидер консерваторов, премьер-министр Великобритании в 1886–1892 и 1895–1902 гг.

закончили; осталось только закрепить достигнутое.

— А эти люди не понимают! — воскликнула Кларисса.

— Бывают разные люди и разные мнения, — ответил ее муж. — Без оппозиции не было бы правительства.

— Дик, насколько ты лучше меня! Ты смотришь широко, а я вижу только то, что здесь. — Кларисса ткнула пальцем в тыл его кисти.

— В этом моя задача, что я и пытался растолковать за обедом.

— Что мне в тебе нравится, Дик, — продолжала она, — ты всегда одинаковый, а я — существо, целиком подвластное настроениям.

— Как бы то ни было, ты существо обворожительное, — сказал он, взглянув на нее потеплевшими глазами.

— Ты правда так думаешь? Тогда поцелуй меня.

Он поцеловал ее со всей страстью, так что ее недописанное письмо соскользнуло на пол. Ричард поднял его и, не спросив разрешения, прочитал.

— Где твое перо? — спросил он и приписал снизу своим мелким мужским почерком:

«P. D. loquitur[15]: Кларисса забыла упомянуть, что за обедом она выглядела особенно обворожительно и кое-кого завоевала, из-за чего ей теперь придется учить греческий алфавит. Пользуясь случаем, хочу добавить, что мы прекрасно проводим время в заморских краях, а для того, чтобы это путешествие стало настолько же приятным, насколько обещает быть полезным, нам не хватает лишь наших друзей (то есть тебя и Джона)…»

В конце коридора послышались голоса. Мистер Эмброуз говорил слишком тихо, зато Уильям Пеппер вполне отчетливо и едко произнес:

— К такого рода дамам я не испытываю ни малейшей симпатии. Она…

Но ни Ричард, ни Кларисса так и не узнали его приговора, потому что как раз в тот момент, когда стоило прислушаться, Ричард зашуршал бумагой.

«Я часто сомневаюсь, — размышляла Кларисса в постели над белым томиком Паскаля, который

---

[15] Примечания: 15
Говорит (*лат.*).

она всюду брала с собой, — действительно ли хорошо для женщины жить с человеком, который нравственно выше ее, ведь так и есть у нас с Ричардом. Становишься настолько зависимой. Кажется, я чувствую к нему то же, что моя мать и женщины ее поколения чувствовали к Христу. Это лишь доказывает, что человеку необходимо нечто…» Затем она погрузилась в сон, как всегда, очень здоровый, дарующий новые силы, разве что в эту ночь ее посещали фантастические видения греческих букв, кравшихся по каюте, — Кларисса проснулась и рассмеялась, вспомнив, что греческие буквы были одновременно теми самыми людьми, что спали сейчас совсем рядом. Потом, представив, как за бортом плещет под луной темное море, она поежилась и подумала, что и муж, и эти люди — ее спутники в плавании. Сны не были ее безраздельным достоянием, но кочевали из одной головы в другую. Этой ночью мореплаватели видели во сне друг друга, что было не удивительно — учитывая, какие тонкие разделяли их перегородки и как странно оказались они оторванными от земли, столь близкими друг к другу посреди океана и вынужденными пристально всматриваться друг другу в лицо и слышать любое случайно оброненное слово.

Глава 4

На следующее утро Кларисса встала раньше всех. Она оделась и вышла на палубу подышать свежим воздухом спокойного утра. Совершая второй круг по судну, она налетела на тощего стюарда мистера Грайса. Кларисса извинилась и тут же попросила просветить ее: что это за медные стойки, наполовину стеклянные сверху? Она гадала-гадала, но так и не догадалась. Когда он объяснил ей, она воскликнула с воодушевлением:

— Я искренне считаю, что на свете нет ничего лучше, чем быть моряком!

— А что вы знаете об этом? — спросил мистер Грайс, ни с того ни с сего рассердившись. — Извините, но что вообще знает о море любой человек, выросший в Англии? Он делает вид, что знает, но не более.

Горечь, с которой он говорил, оказалась предвестницей того, что затем последовало. Он завел миссис Дэллоуэй в свое обиталище, где она примостилась на краешке отделанного медью стола, став удивительно похожей на чайку — это впечатление усиливали белое платье, заостренные очертания фигуры и тревожное узкое лицо, — и

ей пришлось слушать тирады стюарда-фанатика. Для начала, понимает ли она, какую малую часть мира составляет суша? Как в сравнении с ней покойно, прекрасно и благодатно море? Если завтра все наземные животные падут от мора, водные глубины смогут полностью обеспечить Европу пищей. Мистер Грайс припомнил жуткие картины, которые он наблюдал в богатейшем городе мира: мужчины и женщины в многочасовых очередях за миской мерзкой похлебки. «А я думал о добротном мясе, которое плавает в море и ждет, чтобы его поймали. Я не то чтобы протестант, и не католик, конечно, но почти готов молиться о возвращении папства — ради постов».

Говоря, он выдвигал ящики и доставал стеклянные баночки. В них содержались сокровища, которыми одарил его великий океан — бледные рыбы в зеленоватых растворах, сгустки студня со струящимися щупальцами, глубоководные рыбины с фонариками на головах.

— Они плавали среди костей, — вздохнула Кларисса.

— Вы вспомнили Шекспира, — сказал мистер Грайс, снял томик с полки, тесно уставленной книгами, и прочитал гнусаво и многозначительно:

— «Отец твой спит на дне морском...»[16] Душа-человек был Шекспир, — добавил он, ставя книжку на место.

Клариссу это заявление обрадовало.

— Какая у вас любимая пьеса? Интересно, та же, что у меня?

— «Генрих Пятый», — ответил мистер Грайс.

— Надо же! — вскрикнула Кларисса. — Та же!

В «Гамлете» мистер Грайс видел слишком много самоанализа, сонеты были для него слишком страстными, зато Генриха Пятого он считал за образец английского джентльмена. Однако больше всего он любил Гексли, Герберта Спенсера и Генри Джорджа[17], тогда как Эмерсона и Томаса Харди читал для отдыха. Он принялся высказывать миссис Дэллоуэй свои взгляды на нынешнее состояние Англии, но тут колокол так властно позвал на завтрак, что ей пришлось удалиться, с обещанием прийти опять и посмотреть его коллекцию водорослей.

Компания людей, показавшихся ей такими нелепыми накануне, уже собралась за столом, сон еще не совсем отпустил их, поэтому они были

---

[16] Примечания: 16

Уильям Шекспир. Буря. Акт 1. Сцена 2. (*Пер. М. Донского.*)

[17] Примечания: 17

Генри Джордж (1839–1897) — американский социолог и политэконом.

необщительны. Впрочем, появление Клариссы заставило всех чуть встрепенуться, как от дуновения ветерка.

— У меня сейчас была интереснейшая беседа! — воскликнула она, садясь рядом с Уиллоуби. — Вы знаете, что один из ваших подчиненных — философ и поэт?

— Человек он очень интересный — я всегда это говорил, — отозвался Уиллоуби, поняв, что речь идет о мистере Грайсе. — Хотя Рэчел считает его занудой.

— Он и есть зануда, когда рассуждает о течениях, — сказала Рэчел. Ее глаза были полны сна, но миссис Дэллоуэй все равно казалась ей восхитительной.

— Еще ни разу в жизни не встречала зануду! — заявила Кларисса.

— А по-моему, в мире их полно! — воскликнула Хелен, но ее красота, которая лучилась в утреннем свете, противоречила ее словам.

— Я считаю, что человек не может отозваться о человеке хуже, — сказала Кларисса. — Насколько лучше быть убийцей, чем занудой! — добавила она со своей характерной многозначительностью. — Я могу представить, как можно симпатизировать убийце. С собаками — то же самое.

Некоторые собаки — такие зануды, бедняжки.

Рядом с Рэчел сидел Ричард. Его присутствие, его внешность вызывали у нее странное ощущение — ладно скроенная одежда, похрустывающая манишка, манжеты, перехваченные синими кольцами, очень чистые пальцы с квадратными кончиками, перстень с красным камнем на левом мизинце…

— У нас была собака-зануда, которая сознавала это, — сказал он, обращаясь к Рэчел прохладно-непринужденным тоном. — Скайтерьер — знаете, они такие длинные, с маленькими лапками, которые выглядывают из-под шерсти. На гусениц похожи — нет, скорее, на диванчики. Одновременно мы держали и другую собаку, черного живого пса. Кажется, эта порода называется шипперке. Большего контраста представить невозможно. Скайтерьер был медлителен, неторопливый, как престарелый джентльмен в клубе, будто говорил: «Неужели вы это серьезно?» А шипперке был стремителен, как нож. Признаюсь, мне скайтерьер нравился больше. В нем чувствовался какой-то пафос.

В рассказе вроде не было изюминки.

— И что с ним стало? — спросила Рэчел.

— Это очень печальная история, — тихо сказал

Ричард, очищая яблоко. — Моя жена поехала на автомобиле, он увязался за ней и был сбит жестоким велосипедистом.

— Он погиб? — спросила Рэчел.

Но это уже расслышала на своем конце стола Кларисса.

— Не говорите об этом! — закричала она. — Я до сих пор не могу об этом вспоминать.

Неужели в ее глазах действительно показались слезы?

— Это самое печальное в домашних животных, — сказал мистер Дэллоуэй. — Они умирают. Первым горем, которое я помню, была смерть сони. С прискорбием должен признаться, что я на нее сел. Хотя это печали вовсе не убавляет. «Здесь покоится утка, на которую Сэмюэл Джонсон сел»[18], помните? Я был крупным мальчиком. Потом были канарейки, — продолжил он, — пара вяхирей, лемур, однажды даже ласточка.

— Вы жили за городом? — спросила Рэчел.

— Мы жили за городом по шесть месяцев в году. Мы — это четыре сестры, брат и я. Нет ничего

---

[18] Примечания: 18

Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — английский писатель и лексикограф. Здесь неточная цитата из стихотворения, приписываемого молодому Джонсону («Здесь покоится утка, / Наступил на которую Сэмюэл Джонсон…»).

лучше, чем расти в большой семье. Особенную радость доставляют сестры.

— Дик, тебя страшно баловали! — прокричала Кларисса через стол.

— Нет, нет, ценили, — возразил Ричард.

У Рэчел на языке вертелись вопросы совсем о другом, точнее — один большой вопрос, хотя она не знала, как облечь его в слова. И беседа казалась для этого вопроса слишком легковесной.

«Пожалуйста, расскажите мне — всё!» — вот, что она хотела бы сказать. Ричард будто лишь чуть-чуть отодвинул занавес и показал ей изумительные сокровища. Ей казалось невероятным, чтобы такой человек пожелал говорить с ней. У него были сестры, домашние животные, когда-то он жил за городом. Она все размешивала и размешивала чай в своей чашке. Пузырьки кружились и собирались стайками, и ей представилось, что они олицетворяют родство человеческих душ.

Тем временем нить беседы ускользнула от нее, и, когда Ричард вдруг шутливо произнес:

— Я уверен, что мисс Винрэс тайно тяготеет к католицизму, — она понятия не имела, что ответить, а Хелен не удержалась от смешка над тем, как она вздрогнула.

Однако завтрак был окончен, и миссис Дэл-

лоуэй поднялась.

— Мне всегда казалось, что религия подобна коллекционированию жуков, — сказала она, подводя итог дискуссии, когда поднималась по лестнице вместе с Хелен. — Одному черные жуки нравятся, другому — нет, а спорить об этом без толку. Какой черный жук есть у вас?

— Наверное, мои дети, — сказала Хелен.

— Ах, это совсем другое, — возразила Кларисса с придыханием. — Расскажите. У вас мальчик, да? Разве не ужасно оставлять их?

Будто синяя тень легла на озеро. Их глаза стали глубже, голоса потеплели.

Рэчел не стала вместе с ними прогуливаться по палубе: благополучные матроны возмутили ее — она вдруг почувствовала себя сиротой, не допущенной к их миру. Рэчел резко повернулась и пошла прочь. Хлопнув дверью своей каюты, она достала ноты. Они были старые — Бах и Бетховен, Моцарт и Перселл — пожелтевшие страницы, с шероховатыми на ощупь гравюрами. Через три минуты она погрузилась в очень трудную, очень классическую фугу ля мажор, а ее лицо приняло странное выражение, в котором смешивались отрешенность, волнение и удовлетворенность. Иногда она и запиналась, и сбивалась, так что ей

приходилось проигрывать один такт дважды, но все же ноты были как будто пронизаны незримой нитью, из которой рождались форма и общая конструкция. Совсем не легко было понять, как эти звуки должны сочетаться между собой, работа требовала от Рэчел напряжения всех ее способностей, и она была поглощена ею настолько, что не услышала стука. Дверь распахнулась, в каюту вошла миссис Дэллоуэй. Она не затворила за собой дверь, и в проеме были видны кусок белой палубы и синего моря. Конструкция фуги рухнула.

— Не позволяйте мне мешать вам! — взмолилась Кларисса. — Я услышала вашу игру и не смогла устоять. Обожаю Баха!

Рэчел покраснела и неловко сложила руки на коленях, а затем так же неловко встала.

— Слишком трудная, — сказала она.

— Но вы играли блистательно! Зря я вошла.

— Нет, — сказала Рэчел.

Она убрала с кресла «Письма» Каупера и «Грозовой перевал»[19], тем самым приглашая Клариссу сесть.

— Какая милая комнатка! — сказала та, осматриваясь. — О, «Письма» Каупера! Никогда не

---

[19] Примечания: 19

«Грозовой перевал» (1847) — роман английской писательницы Эмили Бронте (1818–1848).

читала. Как они?

— Довольно скучны, — сказала Рэчел.

— Но писал он ужасно хорошо, правда? — спросила Кларисса. — Для тех, кто это любит, — как он заканчивал фразы и все такое. «Грозовой перевал»! Вот это мне ближе. Я жить не могу без сестер Бронте! Вы их любите? Хотя, вообще-то мне легче было бы прожить без них, чем без Джейн Остен.

Она говорила вроде бы вполне беспечно, первое, что придет в голову, но сама ее манера выражала огромную симпатию и желание подружиться.

— Джейн Остен? Не люблю Джейн Остен, — сказала Рэчел.

— Вы чудовище! — воскликнула Кларисса. — Могу лишь простить вас. Скажите, почему?

— Она такая… Она похожа на туго заплетенную косу, — с трудом нашла слова Рэчел.

— А, понимаю, о чем вы. Но я не согласна. И вы измените мнение с возрастом. В ваши годы я любила только Шелли. Помню, как рыдала над ним в саду.

Он выше нашей ночи заблужденья;

Терзанья, зависть, клевета, вражда…

Помните?

К нему не прикоснутся никогда.

Мирской заразы в вольном нет следа.[20]

Божественно! А с другой стороны, какой вздор! — Она мимолетно оглядела каюту. — Я всегда думала, что главное — это жить, а не умереть. Я отношусь с большим уважением к какому-нибудь надутому старому маклеру, который всю жизнь день за днем считает деньги в столбик, а потом едет на свою виллу в Брикстоне, где у него дряхлый мопс — объект поклонения — и нудная маленькая жена, сидящая на другом конце стола, а еще он ездит на пару недель в Маргит[21]. Поверьте, я знаю таких множество. Так вот, они мне кажутся гораздо благороднее, чем поэты, которых все боготворят только за то, что они гении и умерли молодыми. Но я не жду, что вы согласитесь со мной!

Она сжала плечо Рэчел.

— М-м… — цитирование продолжилось:

Тревога, что зовется – наслажденье…

---

[20] Примечания: 20

Перси Биши Шелли (1792–1822). Адонаис. (*Пер. К. Бальмонта.*)

[21] Примечания: 21

Маргит — курортный городок на юго-восточном побережье Англии, недалеко от Лондона.

В моем возрасте вы поймете, что мир *переполнен* вещами, доставляющими радость. Думаю, молодые так ошибаются, не позволяя себе быть счастливыми! Иногда мне кажется, что счастье — это единственное, что имеет смысл. Я недостаточно знаю вас, чтобы говорить, но я догадываюсь, что вам стоило бы — при вашей молодости и привлекательности — уделять чуть больше внимания — да, я скажу это! — *всему*, что дарит нам жизнь. — Она огляделась, как бы добавляя: «а не только нудным книжкам и Баху». — Мне так хочется порасспрашивать вас, — продолжила она. — Вы меня так интересуете! Если я несносна, скажите сразу!

— И у меня… У меня тоже есть вопросы, — сказала Рэчел с таким жаром, что миссис Дэллоуэй пришлось сдержать улыбку.

— Вы не против прогуляться? — сказала она. — Воздух восхитителен.

Когда они вышли на палубу и закрыли за собой дверь, Кларисса засопела, как беговая лошадь.

— Ну не прекрасно ли жить?! — воскликнула она и потянула Рэчел за руку. — Смотрите, смотрите! Какое великолепие!

Берега Португалии уже начали терять свою вещественность, хотя суша еще была сушей, только

далекой. Можно было разглядеть городки, рассыпанные в складках холмов, и тонкие пряди дыма. Селения казались очень маленькими по сравнению с огромными лиловыми горами позади них.

— Хотя, честно говоря, — сказала Кларисса, насмотревшись, — я не люблю виды. Они слишком бесчеловечны.

Они пошли дальше.

— Как странно! — с чувством продолжила Кларисса. — Вчера в это же время мы были не знакомы. Я собирала вещи в тесном гостиничном номере. Нам совершенно ничего не известно друг о друге, и все же — у меня такое чувство, будто я знаю вас!

— У вас есть дети, ваш муж был в парламенте?

— В школе вы не учились, а живете…

— С тетушками, в Ричмонде.

— В Ричмонде?

— Тетушки любят парк. Им нравится тишина.

— А вам — нет! Понимаю! — засмеялась Кларисса.

— Я люблю одна гулять в парке, но не с собаками, — сказала Рэчел.

— Конечно. Но некоторые люди — что собаки, да? — сказала Кларисса, будто угадывая какую-то тайну. — Но не все — о, не все!

— Не все, — сказала Рэчел и остановилась.

— Представляю, как вы гуляете в одиночестве. И думаете. Погруженная в свой маленький мир. Но будет иначе, вся радость впереди!

— Радость от прогулки с мужчиной? Вы об этом? — спросила Рэчел, испытующе глядя на миссис Дэллоуэй своими большими глазами.

— Я имела в виду не только мужчину, — сказала Кларисса. — Но и это будет.

— Нет. Я никогда не выйду замуж, — решительно заявила Рэчел.

— Не разделяю вашу уверенность, — сказала Кларисса. По ее взгляду, брошенному искоса, Рэчел поняла, что она находит ее привлекательной, хотя не без удивления.

— Зачем люди женятся? — спросила Рэчел.

— Вот это вам и предстоит узнать, — засмеялась Кларисса.

Рэчел проследила за ее взглядом и заметила, что он на секунду остановился на крепкой фигуре Ричарда Дэллоуэя, который пытался зажечь спичку о подошву своего ботинка, пока Уиллоуби пространно излагал что-то, по-видимому, весьма интересное им обоим.

— С этим ничто не сравнится, — заключила Кларисса. — Расскажите мне об Эмброузах. Или я

задаю слишком много вопросов?

— Мне легко с вами говорить, — сказала Рэчел.

Однако краткое описание четы Эмброузов получилось у нее довольно формальным и содержало практически один только факт, что мистер Эмброуз — ее дядя.

— Брат миссис Винрэс, вашей матери?

Когда имя человека не произносится долгое время, даже его мимолетное упоминание действует особенно сильно. Миссис Дэллоуэй продолжала:

— Вы похожи на мать?

— Нет, она была другая, — сказала Рэчел.

Ее охватило желание рассказать миссис Дэллоуэй то, что она никому еще не рассказывала и даже сама до сих пор не осознавала.

— Я одинока, — начала она. — Я хочу… — Она не знала, чего хочет, и поэтому не смогла закончить фразу. Но губы ее задрожали.

Однако казалось, что миссис Дэллоуэй способна все понимать без слов.

— Я знаю, — сказала она, беря Рэчел под руку. — В вашем возрасте мне тоже этого хотелось. Никто не понимал меня, пока я не встретила Ричарда. Он дал мне все, чего я хотела. В нем соединены и мужчина, и женщина. — Ее глаза опять остановились на мистере Дэллоуэе, который стоял,

прислонившись к перилам, и что-то говорил. — Не думайте, что я говорю так лишь потому, что я его жена. Я вижу его недостатки яснее, чем чьи бы то ни было. От человека, с которым живешь, ждешь прежде всего, чтобы он сделал тебя лучше. Я часто удивляюсь, чем я заслужила такое счастье! — По щеке Клариссы скатилась слеза. Она вытерла ее, сжала руку Рэчел и воскликнула: — Как хороша жизнь!

В это мгновение, глядя на сверкающие под солнцем волны, чувствуя на щеках свежий бриз и руку миссис Дэллоуэй на своей руке, Рэчел подумала, что, возможно, жизнь, которая раньше была ей неизвестна, и в самом деле бесконечно прекрасна, хотя в это так трудно поверить.

Мимо прошла Хелен. Она удивилась и почувствовала легкое раздражение, увидев, что Рэчел стоит об руку с мало знакомой ей женщиной и выглядит взволнованной. Но тут к ним присоединился Ричард, который получил удовольствие от очень интересной беседы с Уиллоуби и был в настроении пообщаться.

— Посмотрите на мою панаму, — сказал он, прикасаясь к полям своей шляпы. — Вы знаете, мисс Винрэс, как сильно можно улучшить погоду соответствующим головным убором? Я решил,

что сегодня жаркий летний день, и предупреждаю вас, что вы ничем не сможете поколебать моей уверенности. Посему я намереваюсь сесть. И советую вам последовать моему примеру. — Он указал на три кресла, стоящие в ряд.

Откинувшись на спинку, Ричард воззрился на волны.

— Чудесный синий цвет, — сказал он. — Хотя его многовато. Для красоты вида важнее всего разнообразие. Например, если холмы — должна быть река, если река — нужны холмы. На мой вкус, самый лучший вид в мире открывается в погожий день с Борз-Хиллз — повторяю, день должен быть *погожим*. Плед? Спасибо, дорогая. В этом случае вы также имеете возможность предаться воспоминаниям, погрузиться в прошлое…

— Дик, ты хочешь поговорить, или мне почитать вслух?

Вместе с пледами Кларисса принесла книгу.

— «Доводы рассудка»[22], — объявил Ричард, прочитав заглавие.

— Это для мисс Винрэс, — сказала Кларисса. — Она не выносит нашу любимую Джейн.

— Осмелюсь предположить, это оттого, что вы

---

[22] Примечания: 22

«Доводы рассудка» (1816) — роман Джейн Остен (1775–1817).

ее не читали, — сказал Ричард. — Она, безусловно, величайшая из наших писательниц. Да, она величайшая, — продолжил он, — и поэтому она не пытается писать, как мужчина. В отличие от остальных женщин, которых я из-за этого не читаю. Приведите свои доводы, мисс Винрэс, — он сложил руки палец к пальцу, — я готов обратиться в вашу веру.

Рэчел попыталась оправдать свой пол, но тщетно.

— Боюсь, он прав, — сказала Кларисса. — Он обычно бывает прав, негодяй! Я взяла «Доводы рассудка», решив, что они зачитаны меньше, чем остальные романы. А с твоей стороны, Дик, нехорошо делать вид, будто ты знаешь Джейн наизусть — учитывая, что ты всегда от нее засыпаешь!

— После трудов на ниве законодательства я имею право поспать, — сказал Ричард.

— О пушках ты думать не будешь, — заявила Кларисса, увидев, что его взгляд, поднявшись над волнами, задумчиво блуждает в поисках суши. — И о военном флоте, и об империях, и обо всем остальном. — Она открыла книгу и начала читать: — «Сэр Уолтер Эллиотт из Келлинч-Холла, что в Сомерсетшире, был человеком, который ра-

ди собственного удовольствия не читал никакой другой книги, кроме «Книги баронетов». Вы не знаете сэра Уолтера? «Она развлекала его в часы досуга, утешала в часы печали». Все-таки хорошо пишет, правда? «А еще…»

Она читала непринужденно и немного иронично. Она решила, что сэр Уолтер должен вытеснить из головы ее мужа мысли о пушках и Британии и увлечь его в изысканный, странный, жизнерадостный и слегка нелепый мир. Через некоторое время в реальном мире солнце скрылось, и очертания предметов стали мягче. Рэчел подняла глаза, чтобы посмотреть, чем вызвана такая перемена. Веки Ричарда опускались и поднимались. Громкое сопение возвестило, что он больше не властен над производимым им впечатлением, то есть спит.

— Победа! — прошептала Кларисса, дочитав фразу. Тут она резко подняла руку, останавливая матроса, который подошел к ним и теперь стоял в нерешительности. Кларисса отдала книгу Рэчел и тихонько отошла, чтобы выслушать послание: «Мистер Грайс спрашивает, удобно ли…» и так далее. Она последовала за матросом. Ридли, который прокрадывался мимо на цыпочках, пошел быстрее, вдруг остановился, а затем,

с жестом отвращения, удалился в направлении своего кабинета. Спящий политик остался на попечении Рэчел. Она прочла одно предложение и посмотрела на него. Во сне он был похож на одежду, брошенную на спинку кровати: складки, рукава, штанины — все выглядело так, будто уже не наполнено руками и ногами. В такой момент легче судить о состоянии и возрасте наряда. Рэчел смотрела на него, пока ей не показалось, что он был бы против, если бы знал об этом.

Ему было лет сорок; вокруг глаз собрались морщины, а по щекам проходили глубокие борозды. Он выглядел слегка потрепанным, но упрямо-крепким и в расцвете сил.

— Сестры, соня, канарейки… — шептала Рэчел, не отрывая от него глаз. — Интересно, интересно… — Она умолкла, положив подбородок на руку, но все так же смотрела на Ричарда. Затем он открыл глаза, которые еще несколько мгновений были похожи на глаза близорукого человека, затерявшего очки. Ему пришлось подавить в себе неловкость оттого, что он храпел, а возможно, и бормотал во сне при девушке. То, что он проснулся наедине с ней, его также слегка смутило.

— Кажется, я задремал, — сказал он. — А куда все делись? Где Кларисса?

— Миссис Дэллоуэй пошла посмотреть морскую коллекцию мистера Грайса, — ответила Рэчел.

— Я мог бы догадаться, — сказал Ричард. — Обычная история. Ну, а вы провели время с пользой? Обратились?

— Я не прочла ни строчки, — сказала Рэчел.

— Я всегда прихожу к тому же. Вокруг слишком много интересного. Я считаю, что природа отлично стимулирует работу мозга. Лучшие мысли приходят ко мне на воздухе.

— Когда вы гуляете?

— Гуляю, катаюсь верхом, на яхте. Пожалуй, самые важные беседы в моей жизни происходили во время прогулок по большому двору в Тринити-Колледже. Я учился в обоих университетах. Причуда моего отца. Он считал, что это способствует широте взглядов. Пожалуй, я с ним согласен. Помню — как давно это было! — мы закладывали будущие основы государства с нынешним министром по делам Индии. Мы казались себе очень мудрыми. Не уверен, что мы ошибались. Мы были счастливы, мисс Винрэс, и молоды — а это способствует мудрости.

— Вы сделали то, о чем говорили? — спросила Рэчел.

— Строгий вопрос. Отвечаю: и да и нет. С одной

стороны, я не совершил того, что намеревался совершить — а кто совершил? — с другой стороны, могу прямо заявить: я не уронил своих идеалов.

Он решительно посмотрел на чайку, как будто его идеалы располагались на ее крыльях.

— А *что такое* ваши идеалы? — спросила Рэчел.

— Вы хотите слишком многого, мисс Винрэс, — игриво сказал Ричард.

Она смогла лишь заметить, что ей просто интересно, и Ричард с видимым удовольствием ответил:

— Что тут сказать? Если одним словом — Единство. Единство цели, власти, прогресса. Распространение лучших идей на возможно большее пространство.

— Английских?

— Я признаю, что англичане в целом выглядят белее остальных людей, а их прошлое — чище. Но, бога ради, не думайте, что я не вижу изъянов, мерзостей, немыслимых вещей, имевших место в нашей среде! У меня нет иллюзий. Полагаю, что мало у кого иллюзий меньше, чем у меня. Вы бывали на каком-нибудь заводе, мисс Винрэс? Полагаю, нет — лучше сказать, надеюсь, что нет.

Рэчел действительно по бедной улице проходи-

ла всего несколько раз, и всегда в сопровождении отца, горничной или тетушек.

— Я хотел сказать, что, если бы вы хоть раз увидели, что творится вокруг вас, вы бы поняли, почему я и подобные мне становятся политиками. Вы вот спросили, сделал ли я то, что намеревался сделать. Обозревая мою жизнь, я вижу один факт, которым — признаю — горжусь: благодаря мне тысячи девушек в Ланкашире — и еще многие тысячи в будущем — могут каждый день находиться по часу на свежем воздухе, тогда как еще их матери должны были проводить и этот час над ткацкими станками. Честно говоря, я горжусь этим больше, чем гордился бы, напиши я все стихи Китса, да и Шелли в придачу!

Рэчел стало горько, что она принадлежит к тем, кто пишет стихи Китса и Шелли. Ричард Дэллоуэй был ей симпатичен, и все, что он говорил, находило в ней живой отклик. А говорил он, судя по всему, серьезно.

— Ничего-то я не знаю! — воскликнула она.

— Вам гораздо лучше ничего не знать, — отечески сказал он. — Кроме того, вы, конечно, ошибаетесь. Говорят, вы чудесно играете, и я не сомневаюсь, что вы прочли гору умных книжек.

Покровительственное подшучивание уже не

могло остановить ее.

— Вы говорите «единство», — сказала она. — Вы должны мне объяснить.

— Никогда не разрешаю моей жене говорить о политике, — серьезно заявил он. — Вот по какой причине. Для людей, какие они есть, невозможно одновременно иметь идеалы и бороться. Если я и сохранил мои идеалы — а это в значительной степени так, за что я благодарен судьбе, — то лишь потому, что вечером я мог прийти домой, к жене, которая весь день посвятила визитам, музицированию, играм с детьми, домашним заботам и так далее. Ее иллюзии не развеялись. Она дает мне мужество идти дальше. Общественное поприще — это тяжкое бремя, — добавил он.

Эта речь представила его изнуренным мучеником, который каждый день, служа человечеству, отрывает от себя и дарит ему чистейшее золото.

— Не могу вообразить, — воскликнула Рэчел, — как люди этим занимаются!

— Что вы имеете в виду, мисс Винрэс? — спросил Ричард. — Этот вопрос я хотел бы прояснить.

Он проявлял исключительную доброту, и Рэчел решилась не упустить возможность, которую он ей давал, хотя само то, что она говорит с таким заслуженным и влиятельным человеком, застав-

ляло ее сердце биться быстрее, чем обычно.

— Мне кажется так… — начала она, изо всех сил стараясь вспомнить и изложить свои зыбкие видения. — Старая вдова сидит в своей комнате, где-нибудь, ну, скажем, в предместьях Лидса.

Ричард кивнул, показывая, что вдову он допускает.

— Вы в Лондоне тратите жизнь на разговоры, составление документов, законопроектов, лишая себя того, что кажется естественным. В результате вдова подходит к своему буфету и обнаруживает в нем чуть больше чая, несколько кусочков сахара — или меньше чая и газету. Я думаю, так живут вдовы по всей стране. И все-таки душу вдовы, ее чувства вы оставляете незатронутыми. А свою душу тратите.

— Если вдова подойдет к буфету и он окажется пустым, — ответил Ричард, — ее мироощущение, скорее всего, будет затронуто. Если вы мне позволите, мисс Винрэс, указать на некоторые изъяны в вашей философии, которая не лишена и достоинств, то я замечу, что человек — это не набор ячеек, это организм. Воображение, мисс Винрэс, используйте ваше воображение. Вот где у вас, молодых либералов, слабое место. Представляйте мир в целом. Теперь ваш второй довод. Когда вы

утверждаете, что я, стараясь навести порядок в доме ради молодого поколения, зря трачу мои силы, годные на нечто большее, — я с вами совершенно не согласен. Не могу вообразить более возвышенной цели, чем быть гражданином империи. Посмотрите на это вот как, мисс Винрэс. Представьте, что государство — сложный механизм; мы, граждане, — детали этого механизма. Кто-то выполняет более важные функции, другие (возможно, я среди них) служат только для связи незначительных деталей, скрытых от глаз общества. И все же — если самый ничтожный винтик откажет, работа всего механизма будет поставлена под угрозу.

Образ худой вдовы в черном, которая выглядывает из окна и мечтает с кем-нибудь поговорить, никак не вязался с образом огромной машины, как ее видят в Южном Кенсингтоне[23], — с шестернями и поршнями в постоянном движении. Попытка общения не увенчалась успехом.

— Кажется, мы не понимаем друг друга, — сказала Рэчел.

— Позволите мне сказать то, что вас сильно рассердит? — спросил Ричард.

---

[23] Примечания: 23
Кенсингтон — фешенебельный район Лондона.

— Не рассердит.

— Так вот: ни одна женщина не обладает тем, что я называю политическим чутьем. У вас есть великие достоинства — я первый признаю это, — но я не встречал женщины, которая понимает, что такое государственная деятельность. Я рассержу вас еще больше. Надеюсь, я такой женщины никогда и не встречу. Ну что, мисс Винрэс, теперь мы враги на всю жизнь?

Самолюбие, раздражение и упорное желание быть понятой заставили ее сделать еще одну попытку.

— Под мостовыми, в трубах, в проводах, в телефонах есть какая-то своя жизнь — вы об этом? В мусорных фургонах, в дорожных ремонтниках… Это чувствуешь каждый раз, когда идешь по Лондону, когда отворачиваешь кран и течет вода?

— Конечно, — сказал Ричард. — Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что в основе современного общества лежат коллективные усилия. Если бы больше людей осознавало это, мисс Винрэс, было бы меньше одиноких старых вдов!

Рэчел задумалась.

— Вы либерал или консерватор? — спросила она.

— Я называю себя консерватором — ради удоб-

ства, — с улыбкой сказал Ричард. — Но между этими партиями больше общего, чем принято думать.

Последовала пауза, но не потому, что Рэчел было нечего сказать: как всегда, ей было трудно себя выразить, а сейчас ее к тому же смущало, что время беседы, скорее всего, истекает. Ее осаждали нелепые, сбивчивые мысли: если все всегда было разумно и обычно — как вышло, что мамонты, которые паслись на месте Хай-стрит в Ричмонде, сменились мостовыми, коробками с лентами и ее тетками?

— Вы говорили, что в детстве жили за городом? — спросила она.

Хотя ее манеры и казались Ричарду грубоватыми, он был польщен. Не было сомнений, что она испытывает к нему искренний интерес.

— Жил, — улыбнулся он.

— И что там было? Или я задаю слишком много вопросов?

— Я польщен, уверяю вас. А что там было? Дайте вспомнить. Ну, верховая езда, уроки, сестры. А еще, помню, там была пленительная куча мусора, богатая самыми диковинными штуками. Детей порой влекут такие странные вещи! Это место до сих пор стоит у меня перед глазами. Зря

многие думают, будто дети счастливы. Наоборот — они несчастны. Я никогда так не страдал, как в детстве.

— Почему? — спросила Рэчел.

— Я не ладил с отцом, — суховато ответил Ричард. — Он был человек замечательный, но жесткий. Такой пример убеждает побороть этот грех в себе. Дети никогда не забывают несправедливость. Они прощают многое, что взрослые не терпят, но этот грех — непростителен. Учтите — я признаю, что был нелегким ребенком. Однако как подумаю, сколь открыта была моя душа! Нет, я не так был перед другими грешен, как другие предо мной[24]. А потом я пошел в школу, где проявил себя недурно; затем, как я уже говорил, отец послал меня в оба университета… Знаете, мисс Винрэс, вы заставили меня задуматься. Как мало, в сущности, человек может рассказать другим о своей жизни! Вот сижу я, вот вы — не сомневаюсь, что мы оба пережили много интересного, полны мыслей, чувств — но как передать это другому? Я рассказал вам то же самое, что вы услышите от каждого второго.

— Не думаю, — сказала Рэчел. — Важно *как*

---

[24] Примечания: 24

Уильям Шекспир. Король Лир. Акт III, сц. 2. *(Пер. Б. Пастернака.)*

рассказывать, а не что, разве нет?

— Верно, — сказал Ричард. — Совершенно верно. — Он сделал паузу. — Оглядываясь на свою жизнь — а мне сорок два, — какие я вижу выдающиеся события? Какие прозрения, если можно так выразиться? Страдания бедных и… — Он помедлил, откидываясь на спинку кресла. — Любовь!

Это слово он произнес тише, но именно оно будто отверзло для Рэчел небеса.

— Неловко говорить это молодой девушке, — продолжил он, — но понимаете ли вы, что я хочу этим сказать? Нет, конечно нет. Я не применяю это слово в общепринятом смысле. Я имею в виду именно то, что имеют в виду молодые люди. Девушек держат в неведении, не так ли? Возможно, это разумно — возможно. Вы ведь не знаете, что это?

Он говорил так, словно перестал осознавать, ч*то* говорит.

— Нет, не знаю, — сказала Рэчел, едва способная произносить слова от участившегося дыхания.

— Военные корабли, Дик! Вон там! Смотри!

К ним, жестикулируя, спешила Кларисса, которая только что освободилась от мистера Грайса и была под впечатлением от его водорослей.

Она заметила два зловещих серых судна с

низкой посадкой, лишенных всякой внешней оснастки, отчего они казались лысыми. Корабли шли близко один за другим и были похожи на безглазых хищников в поисках добычи. Ричард мгновенно пришел в себя.

— Ух ты! — воскликнул он, загораживая глаза от солнца.

— Наши, Дик? — спросила Кларисса.

— Средиземноморский флот.

«Евфросина» медленно приспустила флаг, салютуя. Ричард снял шляпу. Кларисса судорожно сжала руку Рэчел.

— Вы рады, что вы англичанка? — спросила миссис Дэллоуэй.

Военные корабли прошли мимо, распространяя над водами атмосферу суровости и печали, и, лишь когда они скрылись из виду, люди снова смогли говорить друг с другом как обычно. За обедом речь шла о доблести, смерти и о блистательных качествах английских адмиралов. Кларисса процитировала одного поэта, Уиллоуби — другого. Они согласились, что жизнь на борту военного судна прекрасна, а моряки, когда их встречаешь, исключительно милы и просты в общении.

Поэтому никому не понравилось, когда Хелен

заметила, что, по ее мнению, вербовать и держать моряков так же дурно, как держать зоопарк, а что касается смерти на поле боя, то давно пора прекратить воспевание доблести. «И писать об этом плохие стихи», — буркнул Пеппер.

При этом Хелен была озадачена тем, что Рэчел за обедом сидела молча и с таким странным выражением на раскрасневшемся лице.

Глава 5

Впрочем, она не смогла продолжить свои наблюдения или прийти к каким-либо выводам, потому что течение их жизни было нарушено одним из тех происшествий, которые так обыкновенны в море.

Уже когда они пили чай, пол вздымался под ногами и проваливался слишком низко, а во время обеда судно стонало и напрягалось, как будто его стегали бичами. «Евфросина», напоминавшая широкозадую ломовую лошадь, на чьем крупе могут танцевать клоуны, — сейчас превратилась в жеребенка, скачущего по полю. Тарелки отъезжали от ножей, и лицо миссис Дэллоуэй на секунду побледнело, когда она захотела взять себе гарнир и увидела, что картофелины перекатываются туда-сюда. Уиллоуби, разумеется, превозносил

достоинства «Евфросины» и повторял то, что говорили о ней знатоки и всякие именитые пассажиры, — он очень любил свой корабль. Тем не менее ужин прошел напряженно, а как только дамы остались одни, Кларисса призналась, что ей гораздо лучше будет в постели, и ушла, храбро улыбаясь.

Наутро шторм бушевал вовсю, и против него были бессильны любые приличия. Миссис Дэллоуэй осталась в своей каюте. Ричард явился на три трапезы и каждый раз героически ел, но на третий раз вид скользкой спаржи, плававшей в масле, доконал его.

— Это выше моих сил, — сказал он и удалился.

— Ну вот, мы опять одни, — заметил Уильям Пеппер, оглядывая сидящих за столом; однако никто не проявил желания поддержать беседу, и обед завершился в молчании.

На следующий день люди встречались — но как летающие листья встречаются в воздухе. Их не мутило, но ветер загонял их в помещения, толкал вниз по лестницам. Видя друг друга на палубе, они проходили не останавливаясь, хватая ртом воздух, за столом им приходилось кричать. Они надели шубы, а Хелен нигде не появлялась без косынки на голове. Стремясь к удобству, они искали

убежища в своих каютах, где, получше упершись ногами, терпели толчки и броски корабля. Они чувствовали то же, что чувствует картофель в мешке, который привязан к седлу скачущей лошади. Мир за бортом превратился в бурную серую неразбериху. Два дня мореплаватели могли отдыхать от своих обычных ощущений. У Рэчел хватало сил лишь на то, чтобы представлять себя взъерошенным осликом на пустынном холме во время бури с градом; потом она превратилась в засохшее дерево, которое без устали клонит к земле соленый ветер с океана.

Хелен была настроена иначе: она добралась до каюты миссис Дэллоуэй, постучала, что было бесполезно из-за хлопанья дверей и воя ветра, и вошла.

Разумеется, там стояли тазики. Миссис Дэллоуэй полулежала на подушке, глаз она не открыла, а только пробормотала:

— Дик, это ты?

Хелен закричала — потому что в этот момент ее швырнуло на умывальник:

— Как вы?

Кларисса открыла один глаз, что придало ее лицу невероятно разгульное выражение.

— Ужасно! — выдохнула она. Ее губы побелели

изнутри.

Широко расставив ноги, Хелен изловчилась налить шампанского в бокал, из которого торчала зубная щетка.

— Шампанское, — сказала она.

— Там зубная щетка, — проговорила Кларисса и улыбнулась, хотя с такой же гримасой можно было бы и зарыдать.

Она выпила.

— Гадость, — прошептала она, указывая на тазики. Остатки юмора, словно блеклые лунные лучи, осветили ее лицо.

— Еще хотите?! — прокричала Хелен. Дар речи опять покинул Клариссу. Ветер заставил трепещущее судно лечь на борт. Дурнота волнами накатывала на миссис Дэллоуэй. Когда занавески приподнимались, ее фигуру озарял серый свет. Между ударами шторма Хелен закрепила занавески, взбила подушки, расправила простыни, смочила разгоряченные ноздри и лоб холодными духами.

— Вы так добры! — вздохнула Кларисса. — Здесь жуткий беспорядок.

Она попыталась извиниться за нижнее белье, разбросанное по полу. Открыв один глаз на секунду, она увидела, что в каюте прибрано, и сказала:

— Как это мило.

Хелен оставила ее. В глубине души она чувствовала что-то вроде симпатии к миссис Дэллоуэй. Она не могла не уважать ее присутствие духа и стремление к порядку в спальне даже в муках морской болезни. Ее нижние юбки, правда, задрались выше колен.

Довольно внезапно шторм ослабил напор. Это случилось во время чаепития: ожидаемый пароксизм бури достиг апогея и вдруг иссяк, выдохся, а судно, вместо того чтобы, как обычно, совершить нырок, пошло прямо. Нарушилась однообразная череда взлетов и падений, грохота и краткого затишья, и каждый из сидевших за столом поднял голову и почувствовал, как внутри что-то отпустило. Напряжение спало, и человеческие чувства начали понемногу входить в свои права, как бывает, когда в конце темного тоннеля покажется свет.

— Давай попробуем прогуляться, — предложил Ридли Рэчел.

— Это глупо! — крикнула Хелен, но они уже шли, борясь с качкой, вверх по лестнице. Едва не задушенные ветром, они воспряли сердцем: на горизонте среди серой мешанины виднелась туманная золотая прогалина. Мгновенно мир

обрел форму; они уже чувствовали себя не атомами, летающими в пустоте, но людьми, которые пересекают море на борту корабля-победителя. Пришло избавление от ветра и бездны; мир плавал, как яблоко в ведре, а человеческий разум, который тоже было сорвался с якоря, опять прикрепил себя к привычной вере.

С трудом сделав два круга по судну, получив от ветра немало безжалостных ударов, они заметили отчетливый золотой отсвет на лице матроса. Обернувшись, они увидели чистый и желтый солнечный диск. Через минуту его перечеркнули стремительные пряди облаков, а затем он и вовсе скрылся. Однако на следующее утро, к завтраку, небо совершенно очистилось, волны, хотя еще и высокие, стали синими, а люди, недавно походившие на призраки подземного мира, с утроенной энергией продолжили свою жизнь среди чайников и кусков хлеба.

Ричард и Кларисса, однако, все еще пребывали на грани бытия. Она лежала в постели и даже не пыталась сесть. Ее муж встал, посмотрел на свои жилет и брюки, покачал головой и лег обратно. У него в голове все по-прежнему вздымалось и падало — как бутафорское море на театральной сцене. В четыре часа он проснулся и увидел жи-

вой солнечный зигзаг на красных плюшевых занавесках и своих серых твидовых брюках. Привычный внешний мир проник в его сознание, и, когда Ричард оделся, он был уже опять английским джентльменом.

Ричард стоял рядом с лежащей женой. Она притянула его к себе за лацкан пиджака, поцеловала и минуту не отпускала.

— Иди подыши воздухом, Дик, — сказала она. — У тебя измотанный вид… Как хорошо ты пахнешь!.. И будь учтив с этой женщиной. Она была ко мне так добра.

Вслед за этим миссис Дэллоуэй передвинулась на прохладную часть своей подушки, до крайности сплющенной, но все-таки державшей форму.

Ричард застал Хелен беседующей с зятем; перед ними на двух тарелках лежали желтый кекс и куски хлеба, покрытые ровным слоем масла.

— Вы выглядите очень больным! — воскликнула она. — Садитесь и выпейте чаю.

Ричард отметил красоту рук, летавших над чашками.

— Я слышал, вы были очень добры к моей жене, — сказал он. — Ей пришлось тяжко. А вы навестили ее, напоили шампанским. Вы сами избавлены от этой муки?

— Я? О, меня не мутит уже лет двадцать. Я имею в виду, от морской болезни.

— Я всегда говорю, что есть три стадии выздоровления, — бодро вступил Уиллоуби. — Молочная стадия, стадия хлеба с маслом и стадия ростбифа. Думаю, вы сейчас в стадии хлеба с маслом. — Он протянул Ричарду тарелку. — Рекомендую как следует напиться чая и быстрым шагом пройтись по палубе. К обеду вы потребуете мяса! — Он засмеялся и ушел, сославшись на неотложные дела.

— Чудесный человек! — сказал Ричард. — Неизменно чем-то воодушевлен.

— Да, — согласилась Хелен. — Он всегда был таким.

— Его предприимчивость восхищает, — продолжил Ричард. — И, полагаю, дело не ограничится кораблями. Мы еще увидим его в парламенте, если я не ошибаюсь. Нам в парламенте нужны как раз такие люди — те, кто делает дело.

Но для Хелен зять был не слишком интересен.

— У вас, наверное, болит голова? — спросила она, наливая Ричарду вторую чашку.

— Болит, — сказал он. — Унизительно убеждаться, насколько мы в рабстве у своего тела. Знаете, я не могу работать без горячего чайника.

Чай я пью не так уж часто, но я должен знать, что смогу его выпить, если захочу.

— Это очень вредно, — сказала Хелен.

— Это укорачивает жизнь; но, думаю, миссис Эмброуз, мы, политики, не имеем права бояться этого. Политику приходится гореть на работе, иначе…

— У него ничего не выгорит! — сообразила Хелен.

— Мы не можем заставить вас принимать нас всерьез, миссис Эмброуз, — возразил Ричард. — Позвольте спросить, чему вы отдаете свое время? — Он взглянул на ее книгу. — Чтению, философии? — Затем он воскликнул: — Метафизика и рыбная ловля! Если бы начинать жизнь сначала, думаю, я посвятил бы себя тому или другому. — Он начал листать страницы.

— «Таким образом, добро неопределимо», — прочитал он вслух. — Как приятно сознавать, что все это продолжается! «До сих пор, насколько мне известно, лишь один автор, пишущий об этике — профессор Генри Сиджвик, — отчетливо признал и установил этот факт»[25]. Как раз о таких вещах

---

[25] Примечания: 25

Генри Сиджвик (1838–1900) — кембриджский философ-моралист. Книга, которую читает Хелен — «Principia Ethica», — написана другим философом из Кембриджа, Джорджем Эдуардом Муром (1873–1958).

мы любили поговорить в юности. Помню, мы с Даффи — теперь он министр по делам Индии — спорили до пяти утра, делая круг за кругом по галереям, пока не поняли, что спать ложиться уже не имеет смысла, и не поехали кататься верхом. Пришли мы к какому-либо заключению или нет — это уже другой вопрос. Ведь суть — в самом споре. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. Ничего более яркого у меня с тех пор не было. Да, философы, ученые, — продолжил он, — вот кто хранит огонь, поддерживает пламя, дающее всем нам жизнь. Не всякий политик к этому слеп, миссис Эмброуз.

— Разумеется, не всякий, — сказала Хелен. — Вы не помните, ваша жена пьет с сахаром?

Она взяла поднос и отправилась с ним к миссис Дэллоуэй.

Ричард дважды обернул шею шарфом и с усилием понес себя наверх, на палубу. Его тело, ставшее белым и нежным в темном помещении, все затрепетало на свежем воздухе. Ричард снова почувствовал себя мужчиной в расцвете сил. Он стоял, твердо снося порывы ветра, и в глазах его блестела гордость. Затем он наклонил голову, обогнул угол и пошел прямо против ветра. Тут случилось столкновение. Секунду он не мог

понять, на кого налетел. «Простите!» — «Простите!» Извинявшейся оказалась Рэчел. Они оба засмеялись, потому что говорить не давал ветер. Она открыла дверь своей каюты и вступила в ее спокойный мирок. Чтобы обратиться к Рэчел, Ричард был вынужден последовать за ней. Вокруг них завертелся вихрь, бумаги полетели по кругу, дверь громко хлопнула. Смеясь, они упали в кресла. Ричард сел на Баха.

— Боже мой! Ну и буря! — воскликнул он.

— Здорово, правда? — сказала Рэчел. Борьба со стихией определенно добавила ее облику решимости, которой ему недоставало: румянец заиграл на щеках, волосы растрепались.

— Надо же, как смешно! — закричал Ричард. — На чем это я сижу? Это ваша каюта? Чудесно!

— Сюда, сядьте сюда, — скомандовала Рэчел. Каупер опять упал.

— Как приятно снова встретиться, — сказал Ричард. — Кажется, сто лет прошло. «Письма» Каупера… Бах… «Грозовой перевал»… Значит, здесь вы размышляете о мире, чтобы потом выйти и задавать политикам вопросы? Когда морская болезнь слегка отпускала, я много думал о нашей беседе, поверьте — вы натолкнули меня на некоторые мысли.

— Я?! Каким образом?

— Я подумал, что мы — одинокие айсберги, мисс Винрэс! Как поверхностно наше общение! Я хотел бы так много рассказать вам, а потом узнать ваше мнение. Например, вы читали Бёрка?[26]

— Бёрка? — переспросила она. — Кто такой Бёрк?

— Не читали? Что ж, тогда я вам обязательно вышлю одну из его книг. «Речь о Французской революции», «Американский мятеж»? Что же лучше? — Он что-то пометил в своей записной книжке. — А потом вы должны написать мне, что вы думаете. Скрытность, разобщенность — вот что отличает современную жизнь! Ну, расскажите мне о себе. Какие у вас интересы, занятия? Я предполагаю, что вы человек с очень глубокими интересами. Ну, разумеется! Боже правый! Только подумать, в какой век мы живем, сколько он дает возможностей, сколько дорог открывает! Сколько можно сделать, сколько радостей испытать! И почему нам дается не десять жизней, а лишь одна? Но — давайте о вас.

— Видите ли, я женщина, — сказала Рэчел.

— Я понимаю, понимаю. — Ричард откинул

---

[26] Примечания: 26

Эдмунд Бёрк (1729–1797) — английский публицист и философ, один из лидеров партии вигов.

голову и потер пальцами глаза. — Как, наверное, странно быть женщиной! Молодой и красивой женщиной, — многозначительно продолжил он. — Весь мир — у ваших ног. Это правда, мисс Винрэс. Вы обладаете неизмеримой силой, годной и для добра, и для зла. Что вы не можете, так это… — Он осекся.

— Что? — спросила Рэчел.

Корабль накренился, отчего Рэчел немного подалась вперед. Ричард обнял ее и поцеловал. Объятия его были крепкими, поцелуй — страстным, Рэчел почувствовала, какое плотное у него тело и как шероховата щека, прижатая к ее щеке. Она откинулась назад, сердце забилось сильно и тяжело, и от каждого удара по глазам проходила черная волна. Ричард сжал руками свой лоб.

— Вы меня искушаете, — сказал он. Его голос звучал пугающе. Он задыхался, как после схватки. Обоих била дрожь. Рэчел встала и вышла. Ее сознание будто оцепенело, колени тряслись, а волнение причиняло ей такую физическую боль, что она могла идти только в перерывах между приступами сердцебиения. Облокотясь на палубное ограждение, она, по мере того как холод пронизывал ее тело и душу, постепенно приходила в себя. Вдалеке на волнах качались

небольшие черно-белые птицы. Изящно и плавно поднимаясь и опускаясь во впадины между волнами, они казались особенно отстраненными и безучастными.

— Вам-то спокойно, — сказала Рэчел. Ее тоже объял покой, смешанный с непривычным воодушевлением. Ей казалось, что жизнь полна неисчислимых возможностей, о которых она раньше не подозревала. Она перегнулась через леер и стала смотреть на неспокойные серые воды, на волны, исчерченные прерывистыми солнечными бликами, пока не замерзла и совершенно не успокоилась. И все-таки в ее жизни произошло что-то чудесное.

Однако за ужином она чувствовала не возбуждение, а лишь неловкость, как будто они с Ричардом увидели нечто скрываемое в обыденной жизни, и поэтому теперь им было неловко смотреть друг на друга. Один раз Ричард скользнул по ней смущенным взглядом и больше не смотрел на нее. Формальные банальности произносились с трудом, зато Уиллоуби был полон энтузиазма.

— Говядина для мистера Дэллоуэя! — крикнул он. — Прошу вас — после прогулки вы перешли в стадию мяса, Дэллоуэй!

Последовали чудные мужские рассказы о Брайте[27] и Дизраэли, о коалиционных правительствах — чудные рассказы, от которых присутствовавшие за столом люди предстали безликими и ничтожными. После ужина, сидя под большой висячей лампой рядом с Рэчел, Хелен была поражена ее бледностью. Опять она подумала, что в поведении девушки есть нечто странное.

— У тебя утомленный вид. Ты устала? — спросила Хелен.

— Нет, не устала, — сказала Рэчел. — А, да, наверное, устала.

Хелен посоветовала ей лечь в постель, и Рэчел ушла, так больше и не увидев Ричарда. Вероятно, она действительно была сильно утомлена, потому что заснула сразу, час или два проспала без сновидений, но потом все-таки увидела сон. Ей снилось, что она идет по длинному туннелю, который постепенно становится таким узким, что она может дотронуться до кирпичных стен по обе стороны. А потом туннель превратился в подземный зал, и Рэчел не могла найти из него выхода — куда бы она ни повернулась, везде на-

---

[27] Примечания: 27

Джон Брайт (1811–1889) — английский политик, член Либеральной партии.

тыкалась на кирпичную стену, к тому же наедине с ней в зале был уродливый коротышка с длинными ногтями, который сидел на корточках и бессвязно бормотал. Его рябое лицо было похоже на звериную морду. Стена за ним источала влагу, которая собиралась в капли и стекала вниз. Рэчел лежала, неподвижная и объятая мертвенным холодом, боясь пошевельнуться, пока наконец она не прервала эту муку, бросив свое тело поперек кровати, и не проснулась с криком.

Свет показал ей знакомые вещи: одежду, упавшую со стула, и блестящий белый кувшин с водой. Однако ужас оставил ее не сразу. Рэчел все еще казалось, что ее кто-то преследует, поэтому она встала и заперла дверь. Стонущий голос звал ее, глаза желали ее. Ночью рослые берберы заполонили судно; они шаркали по проходам, останавливались у ее двери и сопели. Ей опять не спалось.

Глава 6

— В этом трагедия жизни — я всегда говорю! — сказала миссис Дэллоуэй. — Все, что начинаешь, приходится заканчивать. И все же *этому* я не позволю закончиться, если вы не против.

Было утро, море было спокойно, и судно опять

стояло на якоре невдалеке от берега, хотя уже другого. Кларисса была одета в длинное меховое манто, ее лицо скрывала вуаль, и вновь рядом одна на другой стояли роскошные коробки — все выглядело так же, как несколько дней назад.

— Вы думаете, мы когда-нибудь встретимся в Лондоне? — с иронией спросил Ридли. — Вы забудете о моем существовании, как только окажетесь вон там.

И он указал на берег небольшой бухты, где были видны редкие деревья с качающимися ветками.

— Вы кошмарный человек! — засмеялась Кларисса. — В любом случае Рэчел меня навестит — сразу, как вы вернетесь, — сказала она, сжимая руку Рэчел. — И никаких отговорок!

Серебряным карандашом она написала свое имя и адрес на форзаце «Доводов рассудка» и подарила книгу Рэчел. Матросы подняли багаж на плечо, и люди стали собираться. На палубе еще стояли капитан Кобболд, мистер Грайс, Уиллоуби, Хелен и незаметный учтивый человек в синем шерстяном костюме.

— Ах, пора, — сказала Кларисса. — Ну, до свидания. Вы мне очень нравитесь, — шепнула она, целуя Рэчел. Люди, оказавшиеся между Рэчел и Ричардом, освободили его от необходимости по-

жать ей руку. Он сумел посмотреть на нее очень холодно за секунду до того, как последовал за своей женой вниз, прочь с борта корабля.

Отделившись от судна, шлюпка взяла курс на берег, и Хелен, Ридли и Рэчел еще несколько минут следили за ней, перегнувшись через ограждение. Один раз миссис Дэллоуэй обернулась и помахала, но шлюпка все уменьшалась и уменьшалась и, наконец, перестала скакать на волнах, и ничего уже не было видно, кроме двух прямых спин.

— Вот и все, — сказал Ридли после долгой паузы. — Мы никогда их больше не увидим, — добавил он, поворачиваясь, чтобы удалиться к своим книгам. Женщин охватили ощущение пустоты и печаль. В глубине души они знали, что действительно расстались с новыми знакомыми навсегда, и это угнетало их сильнее, чем следовало бы, учитывая, сколь непродолжительным было общение. Как только шлюпка отчалила, они почувствовали, что место Дэллоуэев занимают другие образы и звуки, и это ощущение было столь неприятно, что они попытались ему воспротивиться. Как будто иначе их самих ожидало бы такое же забвение.

После отъезда гостей Хелен твердо вознамери-

лась привести жизнь в прежний порядок — ею завладело почти то же настроение, что и миссис Чейли, которая внизу сметала с туалетного столика засохшие розовые лепестки. Рэчел была легкой добычей — из-за своей вялости и апатии, — и Хелен изобрела что-то вроде ловушки. Теперь она была вполне уверена, что произошло нечто важное; кроме того, она решила, что отчуждение между ними уже пора преодолеть. Она хотела узнать девушку поближе, в том числе и потому, что Рэчел не проявляла к этому никакого расположения. Когда они отвернулись от леера, Хелен сказала:

— Идем, поговорим, а позанимаешься потом, — и направилась на защищенную от ветра сторону, где под солнцем стояли шезлонги.

Рэчел безразлично пошла за ней. Ее голова была занята Ричардом, крайней странностью происшедшего и множеством дотоле незнакомых чувств. Она не слишком прислушивалась к словам Хелен, тем более что та позволила себе начать разговор с банальностей. Пока миссис Эмброуз расправляла вышивку и вставляла нитку в иголку, Рэчел смотрела на горизонт, откинувшись в шезлонге.

— Тебе понравились эти люди? — как бы между

делом спросила Хелен.

— Да, — безучастно ответила Рэчел.

— Ты с ним говорила?

Рэчел с минуту помолчала.

— Он поцеловал меня, — сказала она тем же тоном.

Хелен вздрогнула и посмотрела на Рэчел, но не смогла понять, что та чувствует.

— М-м-да, — вымолвила Хелен после паузы. — Я подозревала, что он из таких мужчин.

— Из каких?

— Из напыщенных и сентиментальных.

— Мне он понравился, — сказала Рэчел.

— Значит, ты была не против?

Впервые за все время, что Хелен знала Рэчел, в глазах девушки появился огонь.

— Я не была против, — горячо сказала она. — Мне снились сны, я не могла спать.

— Как это было? — спросила Хелен. Слушая Рэчел, ей приходилось сдерживать улыбку. Рассказ был изложен страстно, с величайшей серьезностью, без намека на юмор.

— Мы говорили о политике. Он рассказывал о том, что сделал для каких-то бедняков. Я задавала разные вопросы. Он вспоминал свою жизнь. Позавчера, после шторма, он зашел ко мне. Тогда это

и случилось, довольно внезапно. Он поцеловал меня. Не знаю почему. — Румянец на ее щеках становился все ярче. — Я была сильно взволнована. Но против я не была — до тех пор, пока… — она запнулась, вспомнив наглого уродца, — пока мне не стало страшно.

По ее взгляду было ясно, что ее опять охватил страх. Хелен, всерьез растерявшись, не знала, что и сказать. О воспитании Рэчел она знала немного, но могла предположить, что относительно вопросов пола ту держали в неведении. Хелен всегда стеснялась обсуждать эти темы именно с женщинами, поэтому она не могла все рассказать Рэчел прямо как есть. Она избрала другую тактику и постаралась умалить значимость события.

— Что ж, — сказала она. — Он глупец, и на твоем месте я об этом больше не думала бы.

— Нет, — ответила Рэчел, садясь прямо. — Наоборот. Я буду об этом думать весь день и всю ночь, пока не выясню точно, что это значит.

— Ты что, совсем не читала книг? — осторожно спросила Хелен.

— «Письма» Каупера и все в этом роде. Мне дают книги отец или тетушки.

Хелен едва сдержалась от того, чтобы ясно выразить свое отношение к человеку, который

вырастил двадцатичетырехлетнюю дочь, не знающую о влечении мужчины к женщине и поэтому пришедшую в ужас от поцелуя. Не исключено, что Рэчел при этом вела себя весьма нелепо.

— Среди твоих знакомых мало мужчин, да? — спросила Хелен.

— Мистер Пеппер, — с иронией сказала Рэчел.

— И никто не делал тебе предложения?

— Никто, — последовал простодушный ответ.

Хелен рассудила, что на основании сказанного ею Рэчел остальное додумает сама и это ей хоть как-то поможет.

— Не стоит пугаться, — начала Хелен. — Это самое естественное из всего, что есть на свете. Мужчины хотят целовать женщин так же, как жениться на них. Плохо, когда нарушается пропорция. Это все равно что обращать внимание на звуки, производимые людьми во время еды, или замечать, как они плюют — одним словом, замечать любую мелочь, действующую на нервы.

Но Рэчел как будто не слышала ее объяснений.

— Скажите, — вдруг спросила она, — а что это за женщины стоят на Пикадилли?

— На Пикадилли? Проститутки, — сказала Хелен.

— Это ужасно, это мерзко! — заявила Рэчел, как будто ее отвращение относилось и к Хелен.

— Да, — сказала Хелен, — но…

— Он мне правда нравился, — тихо и задумчиво, будто сама себе, сказала Рэчел. — Мне хотелось говорить с ним, хотелось узнать о его делах. Женщины в Ланкашире…

Она вспомнила ту беседу, и ей показалось, что в Ричарде было что-то милое, в попытке их дружбы — что-то хорошее, а в расставании — что-то странно-печальное.

Настроение Рэчел явно смягчилось, и Хелен это заметила.

— Видишь ли, — сказала она. — Надо принимать все как есть. Хочешь водить дружбу с мужчинами — будь готова к риску. Лично я, — она не сдержала улыбку, — думаю, что дело того стоит; я не против, чтобы меня целовали; и я, пожалуй, даже очень завидую, что мистер Дэллоуэй тебя поцеловал, а меня — нет. Хотя, — добавила она, — на меня он нагнал порядочную скуку.

Но Рэчел не улыбнулась в ответ и не выбросила всю историю из головы, как хотела бы Хелен. Ум девушки работал быстро, непоследовательно и мучительно. Слова Хелен будто обрушили привычные высокие ограждения, и все оказалось

залито новым холодным светом. Посидев какое-то время с остановившимся взглядом, Рэчел выпалила:

— Вот почему мне нельзя гулять одной!

В этом новом свете она впервые увидела свою жизнь как жалкое, прижатое к земле и отгороженное от всего мира создание, которое осторожно ведут между высоких стен, заставляя то свернуть в сторону, то погрузиться в темноту; убогое и уродливое существо — это ее жизнь, единственная, другой не будет… Тысячи слов и действий стали вдруг ей понятны.

— Потому что мужчины — животные! Ненавижу мужчин! — воскликнула она.

— Ты же сказала, что он тебе понравился, — сказала Хелен.

— Понравился, и, когда он меня целовал, мне тоже понравилось, — ответила Рэчел, с таким видом, как будто все это лишь еще больше затрудняло положение.

Потрясение и растерянность Рэчел были настолько искренни, что Хелен была немало удивлена, но не могла придумать иного способа разрешить ситуацию, кроме как с помощью беседы. Она хотела разговорить племянницу и понять, почему этот довольно скучный, благо-

душный, респектабельный политик произвел на нее такое глубокое впечатление, — ведь считать это естественным для двадцатичетырехлетнего возраста было нельзя.

— А миссис Дэллоуэй тебе тоже понравилась? — спросила она.

При этих словах Рэчел покраснела: она вспомнила все сказанные ею самой глупости, а еще ей пришло в голову, что она весьма дурно поступила с этой замечательной женщиной, ведь миссис Дэллоуэй говорила, что любит мужа.

— Она довольно мила, хотя мозги у нее куриные, — продолжила Хелен. — В жизни не слышала подобной чепухи! Щебечет, щебечет — рыба, греческий алфавит — других не слушает — ворох идиотских теорий, как надо воспитывать детей, — по мне куда лучше беседовать с ним. Он, конечно, надутый, но хоть понимает, что ему говорят.

Незаметно очарование и Ричарда, и Клариссы поблекло. Оказывается, в глазах зрелого человека они были вовсе не такими уж чудесными.

— Трудно понять, каковы люди на самом деле, — сказала Рэчел, и Хелен с удовольствием отметила, что она говорит уже естественнее. — Наверное, я обманулась.

В этом для Хелен не было никаких сомнений, но она сдержалась и громко сказала:

— Иногда надо экспериментировать.

— Все-таки они правда очень милые, — сказала Рэчел. — И очень интересные. — Она постаралась вызвать в памяти представленный Ричардом образ мира как живого организма, в котором трубы — вместо нервов, а дурные дома подобны лишаям на коже. Она вспомнила его слова-монументы — «Единство», «Воображение» — и стайку пузырьков в своей чашке, которые она видела, когда он рассказывал о сестрах, канарейках, детстве и о своем отце, от чего ее маленький мир так восхитительно расширялся.

— Но не все люди одинаково интересны, правда? — спросила миссис Эмброуз.

Рэчел объяснила, что до сих пор многие люди в ее представлении сводились к символам, но когда они начинали говорить с ней, то переставали быть символами и превращались…

— Я могла бы слушать их вечно! — воскликнула она. Затем вскочила, исчезла внизу и через минуту вернулась с толстой красной книгой. — «Кто есть кто», — сказала она, кладя книгу на колени Хелен и начиная листать страницы. — Тут краткие биографии разных людей. Например: «Сэр

Роланд Бил; родился в 1852; родители — из Моффатта; учился в Рагби; поступил в инженерные войска; женился в 1878 на дочери Т. Фишвика; в 1884-85 гг. принимал участие в Бечуаналендской экспедиционной кампании (заслуги отмечены). Клубы: «Юнайтед сервис», Военно-морской и Военный. Увлечения: заядлый игрок в керлинг».

Она села на палубу у ног Хелен и стала дальше переворачивать страницы и читать биографии банкиров, писателей, священнослужителей, моряков, врачей, судей, профессоров, государственных деятелей, издателей, филантропов, торговцев и актрис; кто в какие был записан клубы, где жил, в какие игры играл и сколькими акрами земли владел.

Книга увлекла ее.

Тем временем Хелен вышивала и думала о том, что они сказали друг другу. Вывод она сделала такой: ей очень хочется показать племяннице, если это будет возможно, как надо жить, или — ее словами — как быть разумным человеком. Ей казалось, что возникла досадная путаница между политикой и поцелуями политика, и тут необходима помощь старшего.

— Я совершенно согласна, — сказала Хелен, — что люди интересны, только… — Тут Рэчел,

заложив книгу пальцем, подняла голову и вопросительно посмотрела на Хелен. — Только я думаю, надо быть разборчивой, — закончила Хелен. — Обидно сблизиться с людьми, а потом понять, что они… ну, посредственны, как Дэллоуэи.

— Но как понять это сразу? — спросила Рэчел.

— Ох, не могу тебе сказать, — честно ответила Хелен, на мгновение задумавшись. — Это тебе придется выяснить самой. Но ты попробуй и… Может, будешь называть меня «Хелен»? — добавила она. — «Тетя» — неприятное обращение. Мои тетки никогда не вызывали у меня теплых чувств.

— Да, я хотела бы называть вас «Хелен», — ответила Рэчел.

— Ты считаешь меня очень черствой?

Рэчел припомнила моменты, когда Хелен была не способна что-то понять. Причиной, как правило, была почти двадцатилетняя разница между ними, из-за которой миссис Эмброуз относилась к некоторым важным вопросам слишком иронично и спокойно.

— Нет, — сказала Рэчел. — Кое-что вы не понимаете, конечно…

— Конечно, — согласилась Хелен. — Ну вот, теперь ты можешь быть сама собой, — добавила

она.

Образ своей собственной личности как чего-то существенного и постоянного, отличного от всего остального, непоглотимого, как море или ветер, — этот образ возник в сознании Рэчел, и ее охватили волнение и радость от мысли, что она живет на свете.

— Я м-могу быть сама с-собой, — заикаясь, начала она, — независимо от вас, от Дэллоуэев, и от мистера Пеппера, и от отца, и от моих тетушек, и от всех них? — И она провела рукой по странице, населенной политиками и военными.

— Независимо ни от кого, — серьезно сказала Хелен. Затем она воткнула иголку и изложила план, который пришел ей в голову во время разговора. Вместо того чтобы тащиться по Амазонке до какого-то раскаленного тропического порта, где надо лежать весь день взаперти и отгонять веером насекомых, было бы разумнее пожить с Эмброузами на их приморской вилле, где среди других преимуществ будет и сама миссис Эмброуз, которая окажется весьма кстати, чтобы… — В конце концов, Рэчел, — оборвала она сама себя, — глупо делать вид, что из-за этих двадцати лет разницы мы с тобой не можем разговаривать как люди.

— Можем, потому, что мы по душе друг другу, — сказала Рэчел.

— Да, — согласилась миссис Эмброуз.

Сей факт и еще несколько других стали ясными благодаря двадцатиминутной беседе, хотя из чего именно они вытекали, сказать было невозможно.

Но это было так, и через пару дней обе вполне серьезно решили, что миссис Эмброуз стоит разыскать зятя. Он сидел в своей каюте и работал — с важным видом водил толстым синим карандашом по тонкой бумаге. Стопки бумаги лежали повсюду — справа и слева от него, а огромные конверты были так набиты бумагой, что извергали ее на стол. Над Уиллоуби висела фотография — голова женщины. Из-за того, что ей пришлось неподвижно сидеть перед фотографом-кокни, она собрала губы в смешной сморщенный кружочек, а глаза по той же причине смотрели так, будто все происходившее казалось ей нелепым. Тем не менее это было лицо интересной женщины с ярко выраженной индивидуальностью, и она, несомненно, отвернулась бы и посмеялась бы над Уиллоуби, если бы могла встретиться с ним взглядом. Он, однако, посмотрев на фотографию, тяжело вздохнул. Всю свою деятельность

— большие заводы в Халле, которые ночью были похожи на горы, корабли, точно по расписанию, пересекавшие океан, хитроумные замыслы, как соединить одно с другим, чтобы наладить надежное и мощное дело, — все свои успехи он считал приношением ей; кроме того, он постоянно думал, как воспитать дочь, чтобы это понравилось Терезе. Он был очень честолюбивым человеком, и, хотя при жизни жены, как думала Хелен, был не слишком добр к ней, теперь он верил, что Тереза смотрит на него с небес и пробуждает все хорошее, что в нем есть.

Миссис Эмброуз извинилась за вторжение и спросила, нельзя ли обсудить с ним кое-какой план. Разрешит ли он дочери остаться с ними на побережье вместо того, чтобы брать ее на Амазонку?

— Мы о ней позаботимся, — добавила Хелен, — и будем очень рады.

Уиллоуби с торжественно-серьезным видом аккуратно отодвинул в сторону свои бумаги.

— Она славная девочка, — наконец сказал он. — Сходство есть? — Он со вздохом кивнул на фотографию Терезы.

Хелен посмотрела на Терезу, поджавшую губы перед фотографом-кокни. У нее был неуместно

живой и забавный вид, и Хелен вдруг очень захотелось пошутить.

— У меня никого нет, кроме нее, — вздохнул Уиллоуби. — Год за годом мы избегаем разговоров на эти темы… — Он замолчал. — Но так лучше. Только тяжеловато.

Хелен стало жаль Уиллоуби, и она похлопала его по плечу, но ей всегда бывало неловко, когда зять выражал свои чувства, поэтому она нашла убежище в похвалах по адресу Рэчел и объяснениях, почему план кажется ей удачным.

— Верно, — сказал Уиллоуби, когда она закончила. — Бытовые условия будут, скорее всего, убогие. Я буду часто отсутствовать. Я согласился, потому что она этого хотела. И потом, я, разумеется, полностью доверяю тебе… Видишь ли, Хелен, — продолжил он, переходя на конфиденциальный тон, — я хочу воспитать ее так, как пожелала бы ее мать. Я не поддерживаю этих современных взглядов — как и ты, правда? Она милая тихая девушка, погруженная в свою музыку — хотя *этого* было бы не вредно чуть поменьше. Но музыка доставляет ей радость, мы ведь в Ричмонде ведем жизнь очень тихую. Я хочу, чтобы она начала больше общаться с людьми. Вернемся домой — буду чаще брать ее

с собой. Даже подумываю снять дом в Лондоне, сестер оставить в Ричмонде, а ее вывезти, чтобы она познакомилась с людьми, которые будут к ней добры. Я начинаю понимать, — продолжил он, потягиваясь, — что все идет к парламенту, Хелен. Это единственный способ добиться того, что считаешь нужным. Я говорил об этом с Дэллоуэем. Если это будет, я, конечно, захочу, чтобы Рэчел принимала большее участие в жизни. Придется что-то устраивать — званые ужины, а иногда и увеселительный вечер. Избирателей надо подкармливать, я полагаю. В этих делах Рэчел может оказать мне большую помощь. Так что, — заключил он, — я буду очень рад, если мы договоримся об этом визите (на деловой основе, конечно), если ты как-то поможешь моей девочке преодолеть застенчивость — сейчас она немного робкая, — пробудить в ней женщину — такую, какой Рэчел хотела бы видеть ее мать. — Он опять качнул головой в сторону фотографии.

Эгоизм Уиллоуби, хотя и соединенный с искренней любовью к дочери, добавил Хелен решимости оставить девушку при себе — даже если придется пообещать, что она преподаст ей полный курс женских добродетелей. Рэчел — хозяйка в доме политика-тори! Хелен не могла без смеха это себе

представить, и она ушла, удивляясь поразительной слепоте отца.

После разговора с Рэчел стало ясно, что та воодушевлена идеей меньше, чем хотелось бы Хелен. Сейчас она выражала готовность, а через минуту сомневалась. Ее пленяли образы великой реки, то синей, то желтой под тропическим солнцем, с пролетающими над ней яркими птицами, то белой в лунном свете, то погруженной в тень, с качающимися деревьями и каноэ, которые отделяются от береговых зарослей. Реку Хелен ей пообещала. Тогда Рэчел не захотела расставаться с отцом. Это чувство тоже казалось вполне искренним, но в конце концов Хелен победила, хотя после этого уже она преисполнилась сомнениями и опять пожалела, что связала себя с судьбой другого человека.

Глава 7

Издалека «Евфросина» казалась очень маленькой. Люди, стоявшие на палубах огромных рейсовых кораблей, наводили на нее подзорные трубы и бинокли и говорили, что это грузовое суденышко-бродяга или один из тех жалких пароходов, на которых пассажиры теснятся вперемешку со скотом. Муравьиные фигурки

Дэллоуэев, Эмброузов и Винрэсов также подвергались насмешкам, и в силу своей малости, и в силу сомнения, которое могли рассеять лишь самые сильные оптические приборы, — действительно ли это живые существа или просто детали оснастки. Мистера Пеппера, со всей его ученостью, принимали за баклана, а потом, столь же несправедливо, превращали в корову. Вечером, когда в кают-компаниях гремели вальсы, а одаренные пассажиры декламировали стихи, кораблик — съежившийся до нескольких точек света среди темных волн и одной — чуть повыше, на мачте — казался разгоряченным парам, отдыхавшим от танца, чем-то пленительным и таинственным. «Евфросина» становилась кораблем, плывущим в ночи, — символом человеческого одиночества, поводом для странных признаний и внезапных излияний симпатии.

Судно шло и шло вперед, днем и ночью, следуя своей стезей, пока не забрезжило утро, открывшее землю на его пути. Постепенно берег потерял свою призрачность, стал изрезанным и скалистым, затем окрасился в серый и лиловый цвета, потом на нем обозначилась россыпь белых кубиков, они медленно отделились друг от друга и превратились в дома и улицы — зрелище было

похоже на то, что увидел бы человек, смотрящий в бинокль, у которого непрерывно растет увеличение. К девяти часам «Евфросина» встала посреди большой бухты и бросила якорь; тут же, как будто она была лежащим великаном, которого надо изучить, вокруг нее зароились лодчонки. Она громко подала голос; на борт стали взбираться люди, по палубе затопотали ноги. Одинокий островок подвергся вторжению одновременно со всех сторон; после четырехнедельной тишины человеческая речь звучала непривычно. Одна миссис Эмброуз не обращала на все это внимания. Она побледнела от тревоги, когда к судну приближалась шлюпка с почтовыми мешками. Поглощенная письмами, Хелен не заметила, как покинула борт «Евфросины», и не почувствовала никакой грусти, когда судно подало голос и трижды проревело, точно корова, разлученная с теленком.

— Дети здоровы! — воскликнула Хелен. Мистер Пеппер, сидевший напротив нее с горой сумок и свертков на коленях, сказал:

— Приятно слышать.

Рэчел, для которой конец плавания оказался связан с полной переменой планов, была слишком озадачена приближающимся берегом, чтобы

осознать, какие дети здоровы и о чем приятно слышать. Хелен продолжила чтение.

Маленькая шлюпка продвигалась вперед очень медленно, взлетая до смешного высоко на каждой волне, но наконец она все-таки подошла к полукругу белого песка. За ним простиралась вдаль зеленая долина, с довольно высокими холмами по обе стороны. Справа на склоне холма лепились белые домики с коричневыми крышами, напоминавшие морских птиц на гнездах, промежутки между ними были расчерчены черными вертикалями кипарисов. На заднем плане, заслоняя друг друга, вздымались краснобокие горы с голыми остроконечными вершинами. Поскольку час был еще ранний, весь вид дышал светом и воздушной легкостью; голубизна неба и зелень деревьев были сочны, но не знойны. Чем ближе становился берег, тем больше можно было различить на нем подробностей, — после четырех недель в море суша с ее бесчисленными мелочами, разнообразием цветов и форм захватила все внимание людей, и поэтому они молчали.

— Три сотни с лишним лет, — наконец задумчиво проговорил мистер Пеппер.

Поскольку никто не спросил: «Что?» — он лишь достал пузырек и проглотил пилюлю. Зачахший

в зародыше рассказ должен был поведать о том, что триста лет назад там, где теперь стояла «Евфросина», бросили якорь пять елизаветинских барков. Испанские галеоны, в том же количестве, лежали наполовину вытащенными на берег, без присмотра, потому что край этот еще был девствен и неизведан. Подобравшись к ним с воды, английские моряки забрали серебряные слитки, кипы льняной ткани, кедровую древесину и золотые распятия, инкрустированные изумрудами. Когда испанцы, закончив попойку, вернулись к своим кораблям, завязалась драка; оба отряда, вспахивая песок, пытались столкнуть противника в прибойные волны. Испанцы, разжиревшие от легкой жизни среди плодов чудесной страны, гибли один за другим, а закаленные англичане, смуглые от долгого плавания, волосатые из-за отсутствия бритв, с железными мышцами, с клыками, жадными до плоти, и руками, алчными до золота, добили раненых, утопили умирающих и вскоре привели туземцев в суеверное изумление. Было основано поселение; из-за моря доставили женщин; пошли дети. Вроде бы все благоприятствовало расширению Британской империи, и, будь во времена Карла Первого люди, подобные Ричарду Дэллоуэю, карта, несомненно, стала бы

красной там, где теперь она неприятно зеленого цвета. Но видимо, политическим умам той эпохи не хватало воображения, и та искра, из которой должен был разгореться великий пожар, потухла из-за нехватки всего нескольких тысяч фунтов и нескольких тысяч людей. С континента пришли голые индейцы с коварными ядами и раскрашенными идолами; с моря нагрянули мстительные испанцы и хищные португальцы; осаждаемое этими врагами (хотя климат оказался действительно ласковым, а почва плодородной), английское поселение стало таять, а потом и совсем исчезло. Где-то в середине семнадцатого века одинокий шлюп выбрал момент, чтобы подойти, а к ночи ускользнуть обратно, унося на борту все, что осталось от большой британской колонии: нескольких мужчин, нескольких женщин и дюжину смуглых детей. В английской истории отсутствуют всякие упоминания об этом месте. По каким-то причинам цивилизация сместила свой центр на четыре-пять миль к югу, и теперь Санта-Марина имеет не намного больший размер, чем триста лет назад. В жилах здешнего населения течет смешанная кровь: португальские мужчины женились на индейских женщинах, а их дети вступали в браки с испан-

цами и испанками. Хотя плуги поставляют сюда из Манчестера, одежда производится из шерсти местных овец, шелк — из местных шелковичных червей, а мебель — из местных кедров, так что в смысле ремесел и промышленности дело недалеко ушло от елизаветинских времен.

Причины, по которым англичане в течение последних десяти лет потянулись за море в маленькую колонию, не так просто выявить, и вряд ли они будут описаны в учебнике истории. По-видимому, среди англичан, имевших возможность покойно путешествовать, выгодно торговать и тому подобное, зародилась некоторая неудовлетворенность давно известными странами, которые предлагали туристам горы резного камня, крашеного стекла и броских коричневых картин. Движение в поисках нового было, конечно, ничтожно и вовлекло в себя лишь горстку обеспеченных людей. Началось с нескольких школьных учителей, которые отправились в Южную Америку, нанявшись казначеями на бродячие грузовые пароходы. Учителя вернулись к летнему семестру, и тогда их рассказы о великолепии и трудностях морской жизни, об уморительности капитанов, о чудесах ночей и рассветов и о заморских прелестях подействова-

ли на несведущих слушателей и даже проникли в печать. Описание самой страны требовало от рассказчиков всего красноречия, на которое они были способны: по их словам, она была больше Италии и благороднее Греции. Также они утверждали, что туземцы отличаются необычной красотой, высоким ростом, смуглы, страстны и скоры на поножовщину. Создавалось впечатление, что этот край богат новизной вообще и новыми формами красоты, в доказательство чего рассказчики демонстрировали платки, которые тамошние женщины носят на голове, и примитивную резьбу по дереву, ярко раскрашенную в зеленый и синий цвета. Так или иначе, пошла мода. Старый монастырь был быстро переделан в гостиницу, а знаменитое пароходство изменило свои маршруты для удобства пассажиров.

Случилось так, что самый непутевый из братьев Хелен Эмброуз за несколько лет до того был послан на заработки — во всяком случае, подальше от скачек — в то самое место, которое ныне приобрело столь большую популярность. Часто, прислонившись к колонне веранды, он наблюдал, как в бухту заходили английские пароходы со школьными учителями в роли стюардов. Поскольку Санта-Марина надоела ему до тош-

ноты, он, заработав себе на отпуск, предложил сестре свою виллу на склоне холма. Хелен тоже заинтриговали рассказы о новом мире, где всегда солнце, а тумана вообще не бывает, и, когда речь зашла о поездке на зиму за границу, представившаяся возможность показалась слишком удачной, чтобы ее упустить. Поэтому, когда Уиллоуби предложил ей даровое путешествие на его судне, она решила согласиться, детей оставить с дедом и бабкой и провести все предприятие продуманно и тщательно, раз уж она за него взялась.

Усевшись в повозку, запряженную длиннохвостыми лошадьми с фазаньими перьями между ушей, Эмброузы, мистер Пеппер и Рэчел потряслись прочь от гавани. По мере того как они поднимались по склону холма, дневная жара набирала силу. Дорога пролегала через город; там они увидели мужчин, бивших в медные тарелки и кричавших: «Вода!», мулов, загородивших проезд и разогнанных бичами и проклятиями, босых женщин с корзинами на головах и калек, торопливо выставлявших обрубки своих конечностей; дальше пошли зеленые поля на крутых склонах — впрочем, не слишком зеленые, потому что сквозь всходы проглядывала земля. Боль-

шие деревья бросали тень на всю дорогу, кроме самой середины; горный ручей — такой мелкий и быстрый, что он разделялся на несколько струй, — бежал вдоль обочины. Повозка поднималась все выше; Ридли и Рэчел слезли и пошли за ней пешком; последовал поворот в переулок, усыпанный камнями, где мистер Пеппер поднял свою трость и молча указал на куст, в негустой листве которого виднелся крупный лиловый цветок; наконец шаткое громыхание и подпрыгивание завершило последний этап пути.

Вилла оказалась просторным белым домом, который, как это обычно бывает с континентальными постройками, представлялся английскому глазу ненадежным, хлипким, нелепо легкомысленным, больше похожим на чайный павильон, чем на здание, где люди должны спать. Сад решительно нуждался в услугах садовника. Кусты простирали ветки над дорожками, а редкие травинки, между которыми проглядывала голая почва, можно было пересчитать. На круглой земляной площадке перед верандой стояли две потрескавшиеся вазы, из которых свешивались красные цветы, между вазами был каменный фонтан, сейчас раскаленный от солнца. Круглый сад переходил в длинный сад, где ножницы са-

довника бывали и вовсе редко — лишь когда ему требовалось срезать цветок для возлюбленной. Несколько высоких деревьев создавали тень, шарообразные кусты с цветами будто из воска стояли в ряд. Сад, ровно выстланный дерном, разделенный густыми живыми изгородями, с приподнятыми клумбами ярких цветов — вроде тех, что мы пестуем в пределах Англии, — был бы неуместен на склоне этого диковатого холма. Здесь не надо было отгораживаться от окружающего уродства — с виллы, поверх поросшего оливами гребня, открывался вид на море.

Неухоженность жилища произвела на миссис Чейли тяжелое впечатление. На окнах не было штор, правда, не было и сколько-нибудь приличной мебели, которая могла бы пострадать от солнца. Стоя посреди голой каменной передней, оглядывая широкую, но потрескавшуюся и лишенную ковра лестницу, она предположила, что здесь есть и крысы — не меньше английских терьеров, наверное, — и если как следует топнуть, то пробьешь пол. Что касается горячей воды — тут ее находки и вовсе лишили ее дара речи.

— Бедняжка! — прошептала она, когда желтокожая креольская девушка-служанка вышла навстречу вместе с курами и свиньями. — Неуди-

вительно, что она едва похожа на человека!

Мария приняла комплимент с изысканным испанским тактом. По мнению миссис Чейли, было бы куда разумнее, если бы они остались на борту английского корабля, но никто лучше ее не понимал, что долг приказывает ей присоединиться.

Когда они устроились и начали искать себе повседневные занятия, имело место некоторое непонимание причин, заставивших мистера Пеппера остаться на берегу и поселиться в доме Эмброузов. Еще за несколько дней до высадки были предприняты определенные усилия с целью очаровать его перспективой путешествия по Амазонке.

— Великий поток! — начинала Хелен, смотря вдаль, будто перед ней вставало видение водопада. — Я сама очень хотела бы поехать с тобой, Уиллоуби, жаль, не могу. Представляю: вечерние зори, восходы луны, — наверное, цвета невообразимые.

— Там есть дикие павлины, — отваживалась вставить Рэчел.

— И удивительные водяные твари, — уверенно продолжала Хелен.

— Там можно открыть новое пресмыкающееся, — поддерживала Рэчел.

— Это будет революция в биологии — точно, — убеждала Хелен.

Действенность этих уловок была слегка ослаблена Ридли, который, оглядев мистера Пеппера, громко вздохнул и сказал: «Бедняга!» — а про себя посетовал на безжалостность женщин.

Однако мистер Пеппер шесть дней пребывал в довольстве, забавляясь с микроскопом и тетрадью в одной из скупо обставленных мебелью гостиных, на седьмой же день за ужином проявил большее беспокойство, чем обычно. Стол был установлен между двух окон, которые, по распоряжению Хелен, остались не занавешенными. Тьма, как и полагается на этой широте, сваливалась на мир внезапно, и город проступал внизу окружностями и прямыми линиями светящихся точек. Здания, незаметные днем, ночью заявляли о себе, и море наступало на сушу, судя по колеблющимся огням пароходов. Вид из окна выполнял ту же задачу, что и оркестр в лондонском ресторане, — служил оправой для тишины. Уильям Пеппер некоторое время созерцал его, даже надел очки, чтобы рассмотреть получше.

— Я узнал большой дом слева, — заметил он, указывая вилкой на ряды огней в форме квадрата, и добавил: — Полагаю, можно надеяться, что

они умеют готовить овощи.

— Гостиница? — спросила Хелен.

— Раньше там был монастырь, — сказал мистер Пеппер.

В тот раз больше ничего сказано не было, но на следующий день после полуденной прогулки мистер Пеппер молча остановился перед Хелен, которая читала на веранде.

— Я снял там номер, — сказал он.

— Вы что, серьезно? — воскликнула она.

— В целом — да. Ни один частный повар не умеет готовить овощи.

Зная о его нелюбви к расспросам, которую Хелен до некоторой степени разделяла, она не стала его пытать. И все же в ней шевельнулось неприятное подозрение, что Уильям скрывает рану. Хелен покраснела при мысли о том, что слова, сказанные ею самой, ее мужем или Рэчел, могли задеть его за живое. Она чуть было не закричала: «Не надо, Уильям! Объясните!» — и вернулась бы к этой теме за обедом, если бы Уильям не вел себя непроницаемо и холодно. Он поддел кончиком вилки немного салата, с таким видом, будто это водоросли, на которых можно разглядеть песок и заподозрить микробов.

— Если вы все умрете от тифа, я не отвечаю. — В

тоне его слышалось раздражение.

«Я тоже — если ты умрешь от скуки», — ответила Хелен про себя.

Она вспомнила, что так и не спросила его, любил ли он когда-нибудь. Они отходили от этой темы все дальше и дальше, вместо того, чтобы приближаться к ней, и Хелен не могла скрыть от себя облегчение, когда Уильям Пеппер, со всеми его знаниями, микроскопом, тетрадями, искренним добросердечием и развитым здравым смыслом, хотя и с некоторой душевной сухостью, удалился прочь. А еще она не смогла избежать грусти от того, что дружеские отношения всегда заканчиваются именно так, хотя в этом случае освободившаяся комната добавила удобства, и Хелен попыталась утешить себя мыслями, что никогда не известно, насколько глубоко люди чувствуют то, что им чувствовать вроде бы полагается.

Глава 8

Минуло несколько месяцев, как, бывает, минуют годы, — без определенных событий, и все-таки, если происходит резкий поворот, становится ясно, что эти месяцы или годы имели свой, неповторимый характер. Три прошедших месяца

подвели людей к началу марта. Климат оправдал ожидания, и переход от зимы к весне был едва заметен, так что Хелен, сидевшая в гостиной с пером в руке, могла не закрывать окон, хотя рядом с ней в камине жарко пылали дрова. Море внизу было еще синим, а крыши бело-коричневыми, несмотря на то что день быстро угасал. В комнате было сумрачно, от чего она казалась еще более просторной и пустой, чем обычно. Фигура Хелен с блокнотом на коленях также производила впечатление чего-то обобщенного, лишенного деталей, — потому что пламя, которое бегало по веткам, внезапно набрасывалось на пучки зеленых иголок, горело неровно, лишь иногда высвечивая лицо женщины и оштукатуренные стены. На них не было картин, зато здесь и там висели ветви, усыпанные тяжелыми цветами. На полу лежали книги, на большом столе они были свалены кучей, но в этом свете можно было разглядеть лишь их общие очертания.

Миссис Эмброуз писала очень длинное письмо. Начинаясь словами «Дорогой Бернард», оно рассказывало обо всем, что случилось с обитателями виллы Сан-Хервасио за последние три месяца, например, что у них ужинал британский консул, что их водили на испанский военный корабль,

что они видели множество торжественных процессий и религиозных праздников, которые были так красивы, что миссис Эмброуз не могла понять: если уж людям так необходима религия, почему они все не становятся католиками. Было проведено и несколько экспедиций, хотя все — недалеко. Бродить по окрестностям стоило хотя бы ради цветущих деревьев, которые росли совсем рядом с домом, и ради удивительных красок моря и земли. Почва была не коричневой, а красной, лиловой, зеленой. «Ты не поверишь, — писала Хелен, — таких красок в Англии просто нет». Она уже усвоила высокомерный тон по отношению к острову, на котором в это время всходили озябшие крокусы и чахлые фиалки — в укромных уголках, среди зарослей — и над ними тряслись обмотанные шарфами румяные садовники, которые имеют обыкновение приподнимать шляпу и подобострастно кланяться. Да и вообще всех островитян Хелен подвергала насмешкам. Слухи о том, что Лондон бурлит в преддверии всеобщих выборов, дошли даже до Санта-Марины. «Кажется невероятным, — продолжала Хелен, — беспокойство людей по поводу того, что Асквита выберут,

а Остина Чемберлена[28] — нет; вы до хрипоты кричите о политике, а тем людям, кто только и пытается сделать что-то хорошее, позволяете голодать или просто смеетесь над ними. Вы хоть раз поддержали живого художника? Купили его лучшую работу? Почему вы все так вздорны и раболепны? Здесь слуги — это люди. Они говорят с нами как равные. Насколько я знаю, здесь вообще нет аристократов».

Возможно, упоминание об аристократах навело ее на мысли о Ричарде Дэллоуэе и Рэчел, потому что она тут же принялась описывать свою племянницу.

«Как ни странно, я приняла на себя ответственность за одну девушку, — писала Хелен. — Ведь я никогда особенно не ладила с женщинами и с трудом находила с ними точки соприкосновения. Однако теперь мне приходится взять назад некоторые свои отрицательные высказывания о них. Если бы им давали должное образование, не вижу, почему они не могли бы становиться тем же, что и мужчины — в смысле уровня

---

[28] Примечания: 28

Герберт Генри, граф Оксфорд и Асквит (1852–1928) — премьер-министр Великобритании в 1908–1916 гг., лидер Либеральной партии. *Остин Чемберлен* (1863–1937) — английский политический деятель, консерватор, занимал различные министерские посты, но премьер-министром не был.

достижений; хотя, конечно, женщины сильно отличаются от мужчин. Вопрос в том, как следует их воспитывать. Этой девушке уже двадцать четыре года, но она никогда даже не слыхала о влечении мужчины к женщине и, пока я не объяснила, не знала, как рождаются дети. Ее невежество в не менее важных вопросах… (здесь письмо миссис Эмброуз не стоит цитировать) …было полным. Мне кажется, что так воспитывать людей не только глупо, но и преступно. Не говоря уже об их страданиях, это объясняет, отчего женщины таковы, каковы они есть, — странно, почему они не хуже. Я взялась просвещать ее, и теперь, хотя и не совсем еще освободившись от предрассудков и преувеличений, она стала более или менее разумным человеком. Безусловно, неведение, в котором их держат, совсем не приводит к задуманным благим целям, и когда они что-то начинают осознавать, то принимают это слишком всерьез. Мой зять заслужил беду — которая его минует. Теперь я мечтаю, чтобы ко мне на помощь пришел молодой человек — такой, чтобы поговорил с ней открыто и показал ей, как нелепы ее представления о жизни. К несчастью, такие мужчины, видимо, столь же редки, как и женщины. В английской колонии их уж точно

нет: художники, коммерсанты, образованные люди — все они глупы, косны, склонны к флирту…» Хелен прервалась и, сидя с пером в руке, смотрела на огонь и представляла, что горящие дрова — это горы с пещерами: стало слишком темно, чтобы писать. Кроме того, дом начал оживать, потому что приближалось время ужина: Хелен услышала, как в столовой за стеной звякают тарелки и Чейли скороговоркой дает креольской девушке указания, куда что ставить. Прозвенел звонок; Хелен встала, встретила в коридоре Ридли и Рэчел, и они вместе пошли ужинать.

Три месяца мало отразились на внешности и Ридли, и Рэчел. И все же внимательный наблюдатель заметил бы, что в поведении девушки добавилось определенности и уверенности. Она загорела, глаза явно стали ярче, и разговоры она слушала так, будто собиралась возразить. Трапеза началась в непринужденном молчании, какое бывает между людьми, которым легко друг с другом. Затем Ридли, облокотившись на стол, посмотрел в окно и заметил, что вечер очень хорош.

— Да, — сказала Хелен и добавила, глядя на огни внизу: — Сезон начался. — Она по-испански спросила у Марии, много ли в гостинице постояльцев.

Мария с гордостью сообщила, что придет время, когда будет немыслимо трудно купить яйца — лавочники совершенно перестанут стесняться в цене, поскольку англичане заплатят им любую.

— В бухте стоит английский пароход, — сказала Рэчел, имея в виду треугольник огней. — Он пришел рано утром.

— Значит, есть надежда получить письма и отправить наши, — сказала Хелен.

По определенным причинам упоминание о письмах всегда вызывало у Ридли стон, и до конца ужина между мужем и женой шел оживленный спор о том, полностью о нем забыл весь цивилизованный мир или еще нет.

— Если вспомнить последнюю пачку писем, — сказала Хелен, — ты заслуживаешь порки. Тебя пригласили читать лекции, тебе предложили степень, а какая-то дура вознесла хвалы не только твоим книгам, но и твоей красоте — она сказала, что так выглядел бы Шелли, если бы он дожил до пятидесяти пяти лет и отрастил бороду. Серьезно, Ридли, ты, пожалуй, самый тщеславный из всех, кого я знаю. — Она поднялась из-за стола. — А знаю я, между прочим, многих.

Найдя у камина свое письмо, она добавила пару строчек, после чего объявила, что идет от-

правлять письма, и пусть Ридли принесет свои и — Рэчел?..

— Надеюсь, ты написала тетушкам? Давно пора.

Женщины надели пальто и шляпы, предложили Ридли присоединиться — он решительно отказался, заявив, что от Рэчел он ожидал подобной глупости, но Хелен должна быть умнее — и собрались уходить. Ридли стоял у огня, вглядываясь в глубины зеркала и морща лицо так, что стал похож на военачальника, обозревающего поле битвы, или на мученика, взирающего на пламя, которое лижет его ступни, но никак не на удалившегося от мира профессора.

Хелен схватила его за бороду.

— Отпусти, Хелен.

— Так я *глупа*? — напомнила она.

— Порочная женщина, — сказал он и поцеловал ее.

— Оставляем тебя при твоем тщеславии! — крикнула она уже из-за двери.

Стоял чудесный вечер, света хватало, чтобы видеть дорогу далеко вперед, хотя на небе уже появлялись звезды. Почтовый ящик был вделан в высокую желтую стену на углу переулка и улицы; опустив в него письма, Хелен высказалась за

возвращение домой.

— Нет уж, нет уж, — сказала Рэчел, сжимая ее запястье. — Мы пойдем смотреть жизнь. Ты обещала.

«Смотреть жизнь» у них означало гулять по городу после того, как стемнеет. Общественная жизнь Санта-Марины протекала почти исключительно при искусственном свете, чему благоприятствовали теплые ночи и ароматы, источаемые цветами. Девушки с роскошно завитыми волосами и красным цветком за ухом сидели на ступеньках перед дверьми своих домов или выходили на балконы, а молодые люди прохаживались туда-сюда, время от времени выкрикивая приветствия или останавливаясь для амурной беседы. Через открытые окна можно было увидеть торговцев, подсчитывающих дневную выручку, и пожилых женщин, переставляющих кувшины с полки на полку. Улицы были полны людей, по большей части мужчин, которые гуляли, обмениваясь впечатлениями о жизни, или собирались вокруг винных столиков на углах, где какой-нибудь калека дергал струны гитары, а нищая девочка тянула страстную песнь. Две англичанки возбуждали некоторое добродушное любопытство, но никто к ним не приставал.

Хелен шла неторопливо, оглядывая людей в поношенной одежде, которые казались такими беззаботными, естественными, умиротворенными.

— Представь, каково сейчас на Мэлле! — воскликнула она наконец. — Сегодня пятнадцатое марта. Наверное, при дворе прием. — Она представила толпу, ожидающую на весеннем холоде, когда проедут роскошные кареты. — Очень холодно, дождя нет. Во-первых, там ходят торговцы, предлагающие открытки, стоят несчастного вида юные продавщицы с круглыми картонными коробками, банковские служащие во фраках, ну и, конечно, много портних. Люди из Южного Кенсингтона подъезжают в наемных пролетках, у каждого чиновника — своя пара гнедых, графам разрешается иметь по одному лакею на запятках, герцогам — по два, королевским герцогам — как мне говорили — по три, а королю, наверное, — сколько он пожелает. И люди относятся ко всему этому всерьез!

Отсюда казалось, что жители Англии даже выглядят, как шахматные короли, ферзи, пешки, — так нелепы, так подчеркнуты и так безоговорочно почитаются различия между ними.

Хелен и Рэчел пришлось разделиться, чтобы

обойти толпу.

— Они верят в Бога, — сказала Рэчел, когда они вновь встретились. Она имела в виду, что люди в толпе верят в Него, потому что вспомнила кресты с окровавленными гипсовыми фигурами, стоявшие на пересечениях тропинок, и необъяснимую таинственность католической службы. — Мы никогда этого не поймем! — вздохнула она.

Они ушли довольно далеко, уже совсем стемнело, но впереди слева были видны большие железные ворота.

— Ты хотела дойти до гостиницы? — спросила Хелен.

Рэчел толкнула ворота, и они распахнулись. Поскольку вокруг никого не было, и, рассудив, что в этой стране запретов для посторонних не существует, Хелен и Рэчел вошли. Совершенно прямая дорога была обсажена деревьями. Внезапно деревья кончились, дорога сделала поворот, и женщины очутились перед большим прямоугольным зданием. Они поднялись на широкую веранду, окружавшую гостиницу, и оказались всего в нескольких футах от ряда широких окон почти на уровне земли. Окна были не завешены и ярко освещены, поэтому все происходящее внутри было ясно видно. Каждое окно открыва-

ло какую-то часть гостиничной жизни. Хелен и Рэчел спрятались в широкой полосе тени от простенка и заглянули внутрь. Они находились около столовой. Там подметали пол; официант ел виноград, положив ноги на угол стола. Дверь вела в кухню, где мыли посуду; повара в белом погружали руки в котлы, а официанты жадно поглощали остатки трапезы, макая куски хлеба в подливку. Пройдя дальше, женщины попали в заросли кустарника, а потом вдруг оказались у окон гостиной, где дамы и мужчины после плотного ужина отдыхали в глубоких креслах, изредка переговариваясь и листая журналы. Худая женщина импровизировала на рояле.

— Что такое дахабие[29], Чарльз? — ясно слышимым голосом спросила своего сына вдова, сидевшая в кресле у окна.

Музыкальная пьеса кончилась, и ответ потонул в кашле и хлопках.

— Тут все такие старые, — прошептала Рэчел.

Они пробрались к следующему окну и увидели двух мужчин без пиджаков, игравших в бильярд с двумя девушками.

— Он ущипнул меня за руку! — воскликнула

---

[29] Примечания: 29

Дахабие — египетское речное судно с жилым помещением.

пухленькая, ударив мимо лузы.

— Так, не скандалить, — строго вступил молодой человек с красным лицом, выполнявший обязанности маркера.

— Осторожно, нас увидят, — шепнула Хелен, дергая Рэчел за локоть. Та беспечно высунулась до середины окна.

Обогнув угол, они оказались у самого большого помещения в гостинице, в котором было целых четыре окна. Оно называлось «Салоном», хотя на самом деле это был просто холл. Украшенный оружием и местными вышивками, обставленный диванами и ширмами, которые отгораживали укромные уголки, этот зал, очевидно, был пристанищем молодежи. Синьор Родригес, известный Хелен и Рэчел как управляющий гостиницей, стоял совсем недалеко от них, в дверях, обозревая сцену — мужчин, отдыхающих в креслах, пары, пьющие кофе за столиками, и — в самом центре — группу играющих в карты под гроздьями ярких электрических светильников. Он гордился своей предприимчивостью, которая превратила монастырскую трапезную — холодный каменный зал с котлами на треногах — в самое уютное помещение дома. Гостиница была заполнена, и это доказывало, как мудро он рассудил, решив,

что ни одна гостиница не может процветать без салона.

Люди сидели парами и группами по четыре человека: то ли они были уже знакомы, то ли непринужденная обстановка облегчала общение. Через открытое окно доносилось неровное гудение, подобное звуку, идущему в сумерках от овечьей отары, собранной в загоне. На переднем плане шла карточная игра.

Хелен и Рэчел несколько минут наблюдали за играющими, не различая ни слова. Один из мужчин, сидевший в профиль, привлек особенное внимание Хелен. Это был ее ровесник, худой и бледный, а его партнершей была румяная девушка, типичная англичанка.

Вдруг, по непонятной причине, несколько слов, произнесенных им, отделились от общего фона:

— Вам не хватает лишь опыта, мисс Уоррингтон. Смелость и опыт — одно без другого не действует.

— Хьюлинг Эллиот! Ну конечно! — воскликнула Хелен и тут же присела, потому что мужчина обернулся, услышав свое имя. Игра продолжалась еще несколько минут, а затем была прервана появлением тучной престарелой дамы в инвалидном кресле, которая подъехала к столу и

спросила:

— Сегодня тебе везет больше, Сьюзен?

— Все везение на нашей стороне, — сказал молодой человек, который до сих пор сидел спиной к окну. Он был довольно плотного телосложения, с густой шевелюрой.

— Везение, мистер Хьюит? — вступила его партнерша, женщина средних лет в очках. — Уверяю вас, миссис Пейли, успехом мы обязаны лишь своей искусной игре.

— Если я сейчас не отправлюсь спать, то не засну вообще, — сообщила миссис Пейли, как будто оправдывая то, что она уводит Сьюзен, которая встала и покатила кресло к выходу.

— Они найдут мне замену, — бодро сказала девушка. Но она ошиблась. Никто даже не попытался найти другого игрока, и, после того, как молодой человек построил трехэтажный карточный домик, который тут же рухнул, все разошлись в разные стороны.

Мистер Хьюит повернул свое полное лицо к окну. Хелен и Рэчел увидели, что у него большие глаза, загороженные очками, что он румян и гладко выбрит и что, в сравнении с другими, его лицо кажется интересным. Он пошел прямо на подглядывающих, но взгляд его был направлен

не на них, а на то место, где свисала собранная в складки штора.

— Спишь? — спросил он.

Хелен и Рэчел поняли, что совсем рядом с ними все это время сидел некто незамеченный. Из-за шторы были видны его ноги. Сверху прозвучал меланхоличный голос:

— Две женщины.

Послышался шорох гравия. Женщины убежали.

Они не останавливались, пока не решили, что ничьи глаза не смогут разглядеть их в темноте, а гостиница не превратилась в далекую прямоугольную тень с ровным рядом красных пятен.

Глава 9

Прошел час, нижние помещения гостиницы померкли и почти обезлюдели, зато в маленьких квадратных ячейках над ними зажегся яркий свет. Человек сорок — пятьдесят укладывались спать. Слышались стук кувшинов, опускаемых на пол, и звон тазов: перегородки между номерами были тоньше, чем хотелось бы, — как решила, легонько постучав по стене костяшками пальцев, мисс Аллан, немолодая женщина, одна из игравших в бридж. Она определила, что стены

были сделаны из тонких досок, чтобы превратить один большой зал во много маленьких комнат. Ее серые юбки соскользнули на пол, она наклонилась и заботливо, даже с любовью, сложила свою одежду; заплела волосы в косу, завела большие золотые часы, доставшиеся ей от отца, и открыла полное собрание Вордсворта. Она читала «Прелюдию» — и потому, что всегда читала «Прелюдию» за границей, и потому, что взялась писать краткое «Введение в английскую литературу» — от «Беовульфа» до Суинберна — и там полагалось быть абзацу, посвященному Вордсворту. Она углубилась в пятый том и даже хотела сделать на полях карандашную пометку, когда этажом выше на пол один за другим упали два ботинка. Мисс Аллан оторвалась от книги и стала гадать, кому они могли принадлежать. Тут из соседнего номера послышался шелест — определенно, женщина снимала платье. Затем оттуда же донеслись легкие звуки, которые производит всякая женщина, приводя в порядок свои волосы. Сосредоточить внимание на «Прелюдии» было трудно. Не Сьюзен ли Уоррингтон это причесывается? Все же мисс Аллан заставила себя дочитать до конца, заложила книгу, удовлетворенно вздохнула и выключила свет.

Номер за стеной выглядел совсем иначе, хотя по форме он и соседний были одинаковы, как пчелиные соты. Когда мисс Аллан читала свою книгу, Сьюзен Уоррингтон расчесывала волосы. Веками этот час и это самое величавое домашнее занятие посвящались женским разговорам о любви, но мисс Уоррингтон было сейчас не с кем говорить, она могла только озабоченно глядеть на собственное отражение в зеркале. Она повернула голову из стороны в сторону, перебрасывая тяжелые локоны, потом отошла на шаг-другой и посмотрела на себя строгим оценивающим взглядом.

— Я миловидна, — решила она. — Может быть, не красива… — Она слегка подобралась. — Да, многие сказали бы, что я интересная женщина.

Особенно ее волновало, что мог бы сказать о ней Артур Веннинг. Она испытывала к нему решительно странные чувства. Сьюзен не признавалась себе в том, что влюблена или хочет выйти за него замуж, однако наедине с собой только и гадала, что он о ней думает, и сравнивала то, что они делали сегодня, с тем, что они делали накануне.

— Он не пригласил меня играть, но явно последовал за мной в зал, — размышляла Сьюзен,

подводя итоги вечера. Ей было тридцать лет, и, в силу многочисленности ее сестер, а также ввиду уединенности жизни в сельском приходе, ей ни разу еще не делали предложения. Час откровенностей нередко был наполнен грустью, и она, бывало, бросалась на кровать, жестоко обращаясь со своими волосами и чувствуя себя обойденной судьбой по сравнению с другими. Она была высокой, хорошо сложенной женщиной, румянец лежал на ее щеках слишком яркими пятнами, но искренняя взволнованность сообщала ей своеобразную красоту.

Она уже собиралась разобрать постель, как вдруг воскликнула:

— Я же забыла! — и отправилась к письменному столу. Там лежал коричневый томик с годом на обложке. Сьюзен начала писать угловатым некрасивым почерком взрослого ребенка, как делала ежедневно, год за годом ведя дневники, хотя редко читая их.

«УТРО. Говорили с миссис Х. Эллиот о сельских соседях. Она знает Мэннов, Селби-Кэрроуэев — тоже. Как тесен мир! Она мне нравится. Прочла тете Э. главу из «Приключений мисс Эпплби». ДЕНЬ И ВЕЧЕР. Играла в теннис с мистером Перроттом и Эвелин М. Мистер П. не нравится.

Чувствую, что он «не вполне», хотя, конечно, умен. Выиграла у них. День великолепный, вид чудесный. Что нет деревьев, привыкаешь, хотя сначала слишком голо. После ужина — карты. Тетя Э. бодра, хотя были боли, по ее словам. Не забыть: спросить о влажных простынях».

Она встала на колени, прочла молитву, а потом улеглась в постель, со всех сторон уютно подоткнула одеяло, и через несколько минут по ее дыханию можно было понять, что она спит. Дыхание было редкое, с глубокими размеренными вдохами, и напоминало дыхание коровы, которая стоит всю ночь по колено в высокой траве.

Заглянувший в следующий номер обнаружил бы лишь один нос, торчащий над простынями. Привыкнув к темноте — поскольку окна были открыты и выглядели как серые квадраты, усыпанные звездными блестками, — можно было бы различить очертания худого тела, позой зловеще напоминавшего покойника, которое на самом деле принадлежало Уильяму Пепперу, также погруженному в сон. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь — в этих номерах жили португальские дельцы, вероятно, спавшие, поскольку оттуда доносилось храпение — размеренное, как тиканье часов. Тридцать девятый

номер располагался на углу, в конце коридора, и, хотя было поздно — внизу негромко пробило час ночи, — полоса света под дверью показывала, что кто-то еще бодрствует.

— Как ты поздно, Хью! — раздраженным, но заботливым голосом сказала женщина, лежавшая в постели. Ее муж чистил зубы и ответил не сразу.

— Зря ты не спишь, — наконец отозвался он. — Я разговаривал с Торнбери.

— Ты же знаешь, я не могу заснуть, когда жду тебя.

На это он ничего не ответил, а лишь сказал:

— Что ж, выключаем свет, — за чем последовала тишина.

В коридоре послышался тихий, но пронзительный электрический звонок. Престарелая миссис Пейли проснулась голодной, но у нее не было очков, поэтому она вызвала свою горничную, чтобы та нашла ей коробку с печеньем. Горничная пришла, сонно-почтительная даже в такой час, хотя и закутанная в макинтош; коридор погрузился в тишину. Внизу было пусто и темно, зато этажом выше, в том номере, где над головой мисс Аллан так громко стукнули об пол ботинки, горел свет. Здесь обитал человек, который за несколько часов до того, скрываясь за шторой,

состоял, казалось, из одних только ног. Сейчас он сидел глубоко в кресле и при свечах читал третий том книги Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». При этом он то и дело машинально стряхивал пепел с сигареты и переворачивал страницу, а тем временем целое шествие блистательных фраз проходило через его высокий лоб и парадным порядком маршировало по его мозгу. Судя по всему, этот процесс мог продолжаться еще час или больше, пока весь полк не сменил бы дислокацию, но вдруг открылась дверь и в номер вошел босой молодой человек, явно склонный к полноте.

— Хёрст, я забыл сказать, что…

— Две минуты, — сказал Хёрст, поднимая палец.

Он благополучно перенес в себя последние слова абзаца.

— Что ты забыл сказать? — спросил он.

— По-твоему, ты уделяешь достаточное место для чувств? — спросил мистер Хьюит. Он опять забыл, что хотел сказать.

Пристально посмотрев на безупречного Гиббона, мистер Хёрст улыбнулся вопросу своего друга. Он отложил книгу и стал рассуждать.

— Я считаю, что ты человек исключительно

беспорядочного ума. Чувства? А чему еще мы уделяем место? Любовь мы ставим выше всего, а остальное — где-то под ней. — Левой рукой он указал на вершину пирамиды, а правой — на ее основание. — Но ты ведь встал с постели не для того, чтобы сказать мне это? — добавил он со строгим видом.

— Я встал с постели, — рассеянно сказал Хьюит, — чтобы просто поговорить, наверное.

— Я пока разденусь, — сказал Хёрст. Оставшись в одной сорочке, склоненный над тазом, мистер Хёрст поражал уже не величием своего интеллекта, а жалким видом молодого, но безобразного тела: он был сутул и настолько тощ, что кости его шеи и плеч были разделены темными желобками.

— Женщины вызывают у меня интерес, — сказал Хьюит, который сидел на кровати, положив подбородок на согнутые колени и не обращая внимания на раздевание мистера Хёрста.

— Они же так глупы, — отозвался Хёрст. — Ты сидишь на моей пижаме.

— Неужели правда глупы? — спросил Хьюит.

— Думаю, на этот счет не может быть двух мнений, — сказал Хёрст, резво перебегая через комнату. — Если, конечно, ты не влюблен — в эту

толстуху Уоррингтон?

— Не в одну толстуху, а во всех толстух, — вздохнул Хьюит.

— Те, что я видел сегодня, не толстые, — сказал Хёрст, взявшийся стричь ногти на ногах, несмотря на присутствие Хьюита.

— Опиши их, — попросил Хьюит.

— Ты же знаешь, что я не умею описывать! — сказал Хёрст. — По-моему, женщины как женщины. Они все одинаковы.

— Нет, вот здесь мы с тобой не сходимся, — заметил Хьюит. — Я вижу различия повсюду. Нет двух человек, хоть в чем-нибудь одинаковых. Взять нас с тобой, к примеру.

— Я тоже так думал когда-то, — сказал Хёрст. — Но теперь все люди распределились на типы. Не бери нас, возьми эту гостиницу. Всех здешних обитателей можно очертить кругами, за которые они никогда не выйдут.

(– Говорят, куры от этого дохнут, — пробормотал Хьюит.)

— Мистер Хьюлинг Эллиот, миссис Хьюлинг Эллиот, мисс Аллан, мистер и миссис Торнбери — один круг, — продолжал Хёрст. — Мисс Уоррингтон, мистер Артур Веннинг, мистер Перротт, Эвелин М. — другой; затем — местные, наконец

— мы.

— Мы в своем круге одиноки? — спросил Хьюит.

— Вполне, — сказал Хёрст. — Если и пытаться из него выйти, ничего не получится. Эти попытки лишь вносят неразбериху.

— Я не курица в круге, — сказал Хьюит. — Я голубь на вершине дерева.

— Интересно, не это ли называется вросшим ногтем? — сказал Хёрст, осматривая большой палец на левой ноге.

— Я перелетаю с ветки на ветку, — продолжил Хьюит. — Мир прекрасен. — Он лег на спину, подложив руки под затылок.

— Неужели действительно приятно жить с таким туманом в голове? — спросил Хёрст, посмотрев на друга. — Отсутствие цельности — вот что в тебе удивляет, — продолжал он. — К двадцати семи годам, а это почти тридцать, ты, похоже, не сделал никаких выводов. Компания старушенций воодушевляет тебя так, будто тебе три года.

Хьюит окинул взглядом костлявого юношу, который, замолкнув на минуту, аккуратно сметал обрезки ногтей в камин.

— Я тебя уважаю, Хёрст, — заметил Хьюит.

— А я тебе завидую — кое в чем, — сказал

Хёрст. — Во-первых, завидую твоей способности не думать; во-вторых, ты нравишься людям больше, чем я. Женщины тебя любят, наверное.

— Вот это, наверное, самое главное, да? — спросил Хьюит. Теперь он лежал на спине, рукой чертя в воздухе неровные круги.

— Конечно, — сказал Хёрст. — Но трудность не в этом. Трудность в том, чтобы найти подходящий предмет.

— В твоем круге нет кур?

— Ни намека, — сказал Хёрст.

Хотя они были знакомы уже три года, Хёрст ни разу не слышал истинную историю любовных привязанностей Хьюита. В обычных разговорах само собой подразумевалось, что их было много, но в откровенных беседах молодые люди этой темы избегали. У Хьюита было достаточно денег, чтобы не работать, он оставил Кембридж после двух семестров — из-за разногласий с университетским начальством, — после чего стал путешествовать, ничем особенно не занимаясь, — поэтому его жизнь во многом не походила на жизнь большинства его знакомых.

— Я не могу себе представить эти твои круги, не могу, — продолжал Хьюит. — Мне скорее видится крутящийся волчок для игры в «вертушку»,

который двигается туда-сюда, наталкивается на предметы, накреняется то на одну сторону, то на другую, набирает фишки — все больше и больше, пока стол не будет завален ими. А волчок все крутится и бегает и падает со стола, и вот уже нет его, он исчез из виду.

Он показал пальцами на покрывале, как волчки несутся по нему, падают с кровати и пропадают в бесконечности.

— Ты можешь вообразить три недели в этой гостинице? — спросил Хёрст после минутной паузы.

Хьюит продолжал размышлять вслух.

— Суть в том, что человек никогда не бывает один, но и никогда — с кем-то, — заключил он.

— В каком смысле?

— В каком смысле? В смысле таких оболочек, вроде пузырей, — кажется, их называют аурами. Ты мой пузырь не видишь, я твой тоже. Мы как фитильки посреди невидимого пламени. Это пламя сопровождает нас повсюду, но оно — это не мы сами, а то, что мы чувствуем. Вот, каков наш мир, точнее, люди — причем самые разные.

— Жирненький у тебя, наверное, пузырь! — сказал Хёрст.

— И если мой пузырь встретится с чьим-то

еще…

— Оба лопнут? — вставил Хёрст.

— Тогда, тогда, тогда… — рассуждал Хьюит, как будто сам с собою, — мир получится ог-ромный. — Он широко развел руки в стороны, как бы пытаясь крепко обнять громадную Вселенную, потому что рядом с Хёрстом он всегда приходил в необычайно жизнерадостное и романтичное настроение.

— Раньше я думал, что ты совсем глуп, теперь — нет, — сказал Хёрст. — Ты не понимаешь, о чем говоришь, но хотя бы пытаешься что-то сказать.

— Разве тебе здесь не хорошо? — спросил Хьюит.

— В целом — хорошо. Я люблю наблюдать за людьми. Люблю смотреть на мир. Этот край удивительно красив. Ты заметил, что вершина горы вечером пожелтела? Нам очень стоило бы взять с собой закусок и провести день на природе. Ты ужасно растолстел. — Он указал на голую икру Хьюита.

— Мы устроим экспедицию, — энергично заявил Хьюит. — Пригласим всю гостиницу. Арендуем ослов и…

— О господи! — воскликнул Хёрст. — Замолчи! Представляю: мисс Уоррингтон, мисс Аллан,

миссис Эллиот и все остальные сидят на камнях и галдят: «Какая прелесть!»

— Мы позовем Веннинга, Перротта и мисс Мёргатройд — всех, кого найдем, — продолжал Хьюит. — Как фамилия этого старого кузнечика в очках? Пеппер? Пеппер нас поведет.

— Слава богу, ослов вы раздобыть не сможете, — сказал Хёрст.

— Это надо записать, — сказал Хьюит, спуская ноги на пол. — Хёрст сопровождает мисс Уоррингтон, Пеппер выступает в одиночку на белом ишаке; провизия распределяется поровну… Или взять мула? Матроны — есть же еще миссис Пейли, черт бы ее побрал! — едут в повозке.

— Вот эта ошибка тебя подведет, — сказал Хёрст. — Девиц с матронами мешать нельзя.

— Сколько времени, по-твоему, займет такая экспедиция, Хёрст? — спросил Хьюит.

— Я думаю, часов двенадцать — шестнадцать. Обычно столько продолжаются первые роды.

— Потребуется серьезная организация, — сказал Хьюит. Походив по комнате мягкими шагами, он остановился у стола и переложил с места на место несколько книг, которые были сложены неровной стопкой. — А еще нам понадобятся поэты, — заметил он. — Не Гиббон, конечно. У тебя

есть «Современная любовь»[30] или Джон Донн? Я предполагаю, что будут паузы, когда людям надоест наслаждаться пейзажем, и тогда хорошо бы почитать вслух что-нибудь потруднее.

— Миссис Пейли точно будет довольна, — сказал Хёрст.

— Миссис Пейли будет довольна несомненно, — подтвердил Хьюит. — Нет ничего печальнее, чем когда престарелая дама прочтет стихотворение и замолчит. И все же, как это было бы уместно:

Я говорю, как тот,
Кто жизни мрак прозрел,
Кто понял свой удел
И ясно видеть стал.
Любовь, сгорев, пройдет,
На сцене – мгла и тишь,
Тоска осталась лишь
И – занавес, финал.[31]

Осмелюсь утверждать, что одна только миссис

---

[30] Примечания: 30

«Современная любовь» (1862) — книга стихов Джорджа Мередита (1828–1909).

[31] Примечания: 31

Последняя строфа из стихотворения Томаса Харди (1840–1928) «Он отвергает любовь». (*Пер. А. Финогеновой.*)

Пейли способна понять это по-настоящему.

— Мы ее спросим, — сказал Хёрст. — Пожалуйста, Хьюит, если пойдешь спать, задерни мой занавес. Мало что терзает меня больше, чем лунный свет.

Хьюит удалился, зажав под мышкой книгу стихов Томаса Харди, и вскоре оба молодых человека уже спали в своих постелях, разделенных лишь одной стеной.

Всего несколько часов тишины отделяло момент, когда погасла свеча Хьюита, от момента, когда смуглый местный мальчик проснулся и первым прошел по оцепеневшей утренней гостинице. Было почти слышно глубокое дыхание сотни человек; в этом сонном царстве никакая бессонница, никакая тревога не смогли бы избавить от сна. За окнами была лишь тьма. В половине мира, погруженной в тень, люди лежали распростершись, и лишь редкие мерцающие огни пустых улиц отмечали места, где были построены их города. На Пикадилли собрались гурьбой красные и желтые омнибусы; разукрашенные женщины прохаживались без дела; а здесь во мраке сова перелетала с дерева на дерево, бриз шевелил ветви, и от этого луна мигала, как светильник. Покуда люди не проснут-

лись, бездомные животные бродили свободно — олени, тигры и слоны спускались в темноте к водопою. Ветер, дувший над холмами и лесами, был чище и свежее, чем днем, и ночная земля, лишенная мелких деталей, заключала в себе больше тайны, чем дневная, разделенная дорогами и полями, окрашенная в разные цвета. Эта совершенная красота жила шесть часов, а затем, по мере того как на востоке становилось все светлее и светлее, дно пространства поднялось на поверхность, проступили дороги, полетел дым, люди зашевелились, и солнце ударило в окна гостиницы в Санта-Марине, после чего занавесы были раздвинуты и по всему дому пронесся звон гонга, возвестивший завтрак.

Сразу после завтрака дамы, как всегда, томно слонялись по холлу, подбирая газеты и кладя их обратно.

— А вы что сегодня собираетесь делать? — спросила миссис Эллиот, приближаясь к мисс Уоррингтон. Миссис Эллиот, жена Хьюлинга, оксфордского преподавателя, была невысокой женщиной с привычно-жалобным выражением лица. Ее взгляд перебегал с предмета на предмет, как будто не мог найти достаточно приятного зрелища, чтобы успокоиться хоть ненадолго.

— Попробую вытащить тетю Эмму из города, — сказала Сьюзен. — Она еще ничего не видела.

— В ее возрасте это подвиг, — сказала миссис Эллиот. — Уехать так далеко от родного очага.

— Да, мы всегда говорим ей, что она умрет на борту корабля, — отозвалась Сьюзен. — Она и родилась на корабле, — добавила она.

— В старое время, — сказала миссис Эллиот, — это было обычным делом. Я всегда так сострадаю бедным женщинам! Нам есть на что жаловаться! — Она покачала головой, обвела взглядом стол и заметила ни с того ни с сего: — Бедняжка королева Голландии! Газетчики, можно сказать, заглядывают к ней в спальню![32]

— Вы говорите о королеве Голландии? — прозвучал приятный голос мисс Аллан, которая среди вороха тощих иностранных газеток искала увесистую «Таймс». — Я всегда завидую тем, кто живет в такой плоской стране, — заметила она.

— Как странно! — сказала мисс Эллиот. — На меня плоская местность наводит тоску.

— Тогда, боюсь, вам здесь не слишком хорошо, мисс Аллан, — сказала Сьюзен.

---

[32] Примечания: 32

Вильгельмина (1880–1968), королева Нидерландов в 1890–1948 гг. В 1901 г. вышла замуж, но восемь лет оставалась бездетной; в 1909 г. рождение ее дочери отмечалось как национальный праздник.

— Наоборот, — ответила мисс Аллан. — Горы я тоже очень люблю. — Высмотрев «Таймс» в отдалении, она направилась за газетой.

— Ну, мне надо найти своего мужа, — сказала миссис Эллиот и засеменила прочь.

— А мне надо к тете, — отозвалась мисс Уоррингтон и тоже удалилась исполнять свои дневные обязанности.

Иностранные газеты тонки, печать их груба, — возможно, это и свидетельствует о легковесности и невежестве, — во всяком случае, англичане редко считают публикуемые в них новости настоящими новостями, доверяя им не больше, чем программкам, купленным на улице с рук. Весьма респектабельная пожилая чета, обозрев длинные столы с газетами, удостоила их лишь прочтением заголовков.

— Дебаты от пятнадцатого числа должны бы уже дойти до нас, — проговорила миссис Торнбери. Мистер Торнбери, чистенький господин, на чьем поношенном, но симпатичном лице проступал румянец, подобный следам краски на обветренной деревянной статуе, посмотрел поверх очков и увидел, что «Таймс» — у мисс Аллан.

Супруги уселись в кресла и стали ждать.

— А вот и мистер Хьюит, — сказала миссис Торнбери. — Мистер Хьюит, идите, посидите с нами. Я говорила мужу, как вы мне напоминаете мою старую любимую подругу — Мэри Амплби. Поверьте, она была чудесной женщиной. Выращивала розы. В былое время мы любили погостить у нее.

— Молодому человеку не может понравиться, что его сравнивают со старой девой, — сказал мистер Торнбери.

— Наоборот, — сказал мистер Хьюит. — Я всегда считаю за комплимент, если мне говорят, что я кого-то напоминаю. А почему мисс Амплби выращивала розы?

— Ах, бедняжка, — сказала миссис Торнбери. — Это длинная история. Она пережила ужасные горести. Одно время я думала, что она лишилась бы рассудка, если бы не ее сад. Земля сопротивлялась ей — и в этом было скрытое благо. Ей приходилось вставать на рассвете и выходить в любую погоду. Потом еще эти твари, которые поедают розы. Но она побеждала. Она всегда побеждала. У нее было храброе сердце. — Миссис Торнбери глубоко вздохнула, изобразив на лице смирение.

— Я не подумала, что завладела газетой едино-

лично, — сказала мисс Аллан, подходя к ним.

— Мы так хотим почитать о дебатах, — ответила миссис Торнбери за мужа. — Они по-настоящему интересны лишь тем, чьи сыновья служат во флоте. Впрочем, меня все волнует: мои сыновья служат и в армии; а один выступает в Кембриджском союзе[33] — мой мальчик!

— Наверное, Хёрст его знает, — сказал Хьюит.

— У мистера Хёрста такое интересное лицо, — заметила миссис Торнбери. — Но, мне кажется, чтобы с ним говорить, надо быть очень умным. Что, Уильям? — спросила она у мистера Торнбери, который что-то пробурчал.

— Они все ставят с ног на голову, — сказал мистер Торнбери. Он дошел до второй колонки статьи, где довольно резко описывалось, как ирландские члены парламента три недели назад скандалили в Вестминстере по вопросу о боеспособности военно-морского флота. Через абзац-другой возмущение улеглось, после чего изложение пошло более плавно.

— Вы читали? — спросила миссис Торнбери у мисс Аллан.

— Нет, к моему стыду, должна признать, что

---

[33] Примечания: 33

Кембриджский союз — дискуссионное студенческое общество.

прочла лишь об открытиях на Крите[34], — сказала мисс Аллан.

— Ах, я столько бы отдала, чтобы постигнуть древний мир! — воскликнула миссис Торнбери. — Теперь, когда мы, старики, предоставлены сами себе — у нас сейчас второй медовый месяц, — я всерьез намерена опять приняться за образование. В конце концов, наши основы лежат в прошлом, не так ли, мистер Хьюит? Мой сын-военный говорит, что мы еще многому можем поучиться у Ганнибала. Как мы все-таки мало знаем! Газету я всегда начинаю читать с дебатов, и каждый раз, не успею закончить, как открывается дверь — а мы живем очень большой семьей — и никогда не остается времени поразмышлять как следует о древних и всем, чем мы им обязаны. Вот вы начинаете с начала, мисс Аллан.

— Греков я себе представляю голыми темнокожими людьми, — сказала мисс Аллан. — Что, конечно, неправильно.

— А вы, мистер Хёрст? — спросила миссис Торнбери, заметив, что костлявый юноша стоит поблизости. — Вы наверняка читаете все.

— Я ограничиваюсь крикетом и уголовной

---

[34] Примечания: 34

Имеются в виду археологические находки сэра Артура Эванса (1851–1941) в Кноссе, где он проводил раскопки с 1899 г.

хроникой, — сказал Хёрст. — В происхождении из высшего слоя хуже всего то, — продолжил он, — что знакомые никогда не погибают в железнодорожных катастрофах.

Мистер Торнбери бросил газету на пол и подчеркнуто резко снял очки. Газетные листы упали посреди группы и привлекли к себе взгляды людей.

— Что, плохо? — участливо спросила его жена.

Хьюит подобрал один лист и прочитал:

— «Вчера дама, гулявшая по одной из улиц Вестминстера, заметила в окне заброшенного дома кошку. Истощенное животное…»

— С меня хватит, — брюзгливо перебил мистер Торнбери.

— Кошек часто забывают, — заметила мисс Аллан.

— Помни, Уильям, премьер-министр оставил ответ за собой, — сказала миссис Торнбери.

— «Мистер Джошуа Харрис из Илз-Парка, что в Брондзбери, в восемьдесят лет произвел на свет сына», — прочитал Хёрст. — «…Истощенное животное, которое рабочие видели уже несколько дней, было спасено, но — надо же! — искусало в кровь руку спасителя!»

— Одичала от голода, наверное, — прокоммен-

тировала мисс Аллан.

— Вы все упускаете главное преимущество пребывания за границей, — сказал мистер Хьюлинг Эллиот, присоединяясь к компании. — Вы могли бы читать новости по-французски, что все равно как не читать их вовсе.

Мистер Эллиот в совершенстве знал коптский язык, хотя старался по возможности скрыть это, и столь изысканно цитировал французские изречения, что было трудно поверить в его способность изъясняться на обычный манер. Он питал глубокое почтение к французам.

— Идете? — спросил он молодых людей. — Надо выйти, пока не стало очень жарко.

— Прошу тебя, не гуляй на жаре, Хью! — взмолилась его жена, вручая ему угловатый сверток, заключавший в себе полкурицы и пакетик изюма.

— Хьюит будет нашим барометром, — сказал мистер Эллиот. — Его растопит раньше, чем меня.

Действительно, если бы из мистера Эллиота удалось вытопить хоть каплю, то остались бы лишь голые ребра. Дамы оказались одни, между ними на полу лежала «Таймс». Мисс Аллан взглянула на отцовские часы.

— Без десяти одиннадцать, — заметила она.

— Работать? — спросила миссис Торнбери.

— Работать, — ответила мисс Аллан.

— Что за милое создание! — прошептала миссис Торнбери вслед удаляющейся прямоугольной фигуре в мужском пиджаке.

— Жизнь у нее наверняка нелегкая, — вздохнула миссис Эллиот.

— О, совсем не легкая, — сказала миссис Торнбери. — Незамужним женщинам приходится зарабатывать — тяжелее некуда.

— А на вид она вполне бодра, — сказала миссис Эллиот.

— Наверное, это очень интересно, — сказала миссис Торнбери. — Завидую ее знаниям.

— Но женщине нужно не это, — сказала миссис Эллиот.

— Боюсь, очень многие могут надеяться лишь на это, — вздохнула миссис Торнбери. — Думаю, их больше, чем мы думаем. Только на днях сэр Харли Летбридж говорил мне, как трудно подобрать юношей для армии — в том числе из-за зубов, конечно. И я слышала, как молодые женщины вполне открыто обсуждают…

— Ужасно, ужасно! — воскликнула миссис Эллиот. — Ведь это, можно сказать, венец жизни

женщины. Я, знающая, что такое быть бездетной… — Она вздохнула и умолкла.

— Но мы не должны быть слишком строги, — сказала миссис Торнбери. — Жизнь так изменилась с тех пор, как я была молодой.

— Ну, *материнство-то* не меняется, — сказала миссис Эллиот.

— В каком-то смысле мы многому можем поучиться у молодежи, — сказала миссис Торнбери. — Я столько узнаю от собственных дочерей!

— Думаю, Хьюлинга это не очень огорчает, — сказала миссис Эллиот. — Но ведь у него есть работа.

— Бездетные женщины могут многое делать для чужих детей, — мягко заметила миссис Торнбери.

— Я пишу довольно много этюдов, — сказала миссис Эллиот. — Но это не настоящее занятие. Так обидно видеть, что у начинающих девушек получается лучше! А работать с натуры трудно — очень трудно!

— А нет ли каких-то учреждений, клубов, которым вы могли бы помогать? — спросила миссис Торнбери.

— Это так изнурительно, — сказала миссис Эллиот. — Я только на вид крепкая — из-за цвета

лица, — но это не так: младшая из одиннадцати детей не может быть крепкой.

— Если мать благоразумна, — рассудительно заметила миссис Торнбери, — размер семьи ничего не определяет. И ничто не сравнится с воспитанием, которое дают друг другу братья и сестры. Я в этом уверена. Я убеждалась на собственных детях. Мой старший сын Ральф, например…

Но миссис Эллиот не была склонна внимать опыту старших, ее взгляд блуждал по залу.

— Я знаю, что у моей матери было два выкидыша, — вдруг сказала она. — Первый раз — когда ей встретился огромный танцующий медведь, — их следует запретить, а второй — ужасный случай — наша повариха родила, а у нас был званый ужин. Мое несварение я объясняю этим.

— Выкидыш куда тяжелее, чем роды, — рассеянно пробормотала миссис Торнбери, устраивая на носу очки и подбирая «Таймс». Миссис Эллиот встала и торопливо ушла.

Один из миллиона голосов, вещавших со страниц газеты, донес до миссис Торнбери, что ее родственница вышла замуж за священника в Майнхеде. Не удостоив вниманием ни пьяных женщин, ни золотых критских зверей, ни перемещения войск, ни приемы, ни реформы, ни

пожары, ни возмущенных, ни просвещенных, ни великодушных граждан, она поднялась наверх, чтобы написать письмо.

Газета лежала прямо под часами, и вместе они олицетворяли постоянство в переменчивом мире. Мимо прошел мистер Перротт; мистер Веннинг задержался на секунду у стола. Провезли миссис Пейли. Следом прошла Сьюзен. Мистер Веннинг побрел за ней. Прошествовали жены и дети португальских военных — по их одежде было видно, что встали они поздно, в неприбранных спальнях; их сопровождали пользующиеся особым доверием няни с крикливыми младенцами на руках. Настал полдень; прямые солнечные лучи били в крышу; стайка больших мух, гудя, кружила на одном месте; под пальмами подавали напитки со льдом; со скрежетом опустили длинные шторы, и помещение окрасилось в желтый цвет. Часы тикали в безмолвном холле, довольствуясь в качестве слушателей лишь четырьмя-пятью сонными коммерсантами. Иногда снаружи входили белые фигуры в широкополых шляпах, впуская вместе с собой клин жаркого летнего дня, а затем опять изгоняя его дверью. Отдохнув минуту в полумраке, они поднимались наверх. Часы прохрипели один раз, и одновре-

менно зазвучал гонг — сначала тихо, потом все неистовее, а потом опять затихая. Последовала пауза. Затем все, кто поднялся наверх, стали спускаться: калеки, ставившие обе ноги на одну ступеньку, чтобы не упасть; нарядные девочки, державшие няню за палец; толстые старики, на ходу застегивавшие жилетные пуговицы. Гонг прозвенел и в саду; лежавшие люди постепенно начали подниматься и побрели есть, поскольку опять настало время питать свое тело. Даже в полдень в саду были большие пятна и полосы тени, где двое-трое постояльцев могли непринужденно лежать, работая или разговаривая.

Из-за жары обед проходил по преимуществу в молчании; каждый наблюдал за соседями, примечая новые лица и строя догадки о том, кто такие и чем занимаются новые постояльцы. Миссис Пейли, хотя ей было далеко за семьдесят и ноги у нее не ходили, получала большое удовольствие от пищи и от странностей окружающих. Она сидела за маленьким столиком вместе со Сьюзен.

— О том, кто *она*, я лучше промолчу, — усмехнулась миссис Пейли, окидывая взглядом высокую женщину, одетую подчеркнуто во все белое, с яркими румянами под скулами; она всегда опаздывала и везде появлялась в сопровождении

жалкого вида спутницы. При этом замечании Сьюзен покраснела, удивляясь, зачем тетя говорит такие вещи.

Обед продолжался своим чередом, пока все семь блюд не были превращены в объедки и фрукты не стали предметом забавы: их чистили и резали так, как ребенок, лепесток за лепестком, обрывает маргаритку. Пища окончательно потушила пламя человеческого духа, которое могло еще сохраниться в полуденной жаре. Впрочем, Сьюзен, сидя потом в своем номере, так и эдак обдумывала приятный факт, заключавшийся в том, что мистер Веннинг подошел к ней в саду и просидел рядом не меньше получаса, пока она читала тете вслух. Мужчины и женщины стремились скрыться друг от друга в разных уголках, где можно было лежать, не стесняясь чьих-либо взглядов, и с двух до четырех гостиница была практически населена бездушными телами. Если бы внезапно случился пожар или другая смертельная опасность потребовала бы от людей героических усилий, последствия были бы ужасающими, однако — бедствия не происходят в часы сытости. Ближе к четырем дух опять взялся за тело, как огонь начинает лизать черную массу каменного угля. Миссис Пейли широко зевнула

беззубым ртом и осудила себя за это, хотя поблизости никого не было, в то время как миссис Эллиот пристально изучала в зеркале свое круглое раскрасневшееся лицо.

Через полчаса, сбросив остатки сна, они встретились в холле, и миссис Пейли сообщила, что собирается выпить чаю.

— Вы тоже любите чай, правда? — спросила она и пригласила миссис Эллиот, чей муж еще не вернулся, за маленький столик, который миссис Пейли специально попросила установить под деревом.

— В этой стране несколько монет могут делать чудеса, — усмехнулась она и послала Сьюзен за еще одной чашкой. — У них тут превосходное печенье, — продолжила она, глядя на полную тарелку крекера. — Не сладкое — я его не люблю, — а сухое печенье… Вы сегодня рисовали?

— А, сделала два-три наброска, — ответила миссис Эллиот, гораздо громче, чем обычно. — Но мне так трудно после Оксфордшира, где много деревьев. Здесь такой яркий свет. Я знаю, некоторых он приводит в восторг, но я нахожу его очень утомительным.

— Я не горю желанием поджариться, Сьюзен, — сказала миссис Пейли, когда вернулась ее

племянница. — Сделай одолжение, передвинь меня.

Передвигать пришлось все. Наконец престарелая дама была помещена туда, где свет вперемешку с тенью стал колыхаться и дрожать на ней, придавая ей подобие рыбы в сети. Сьюзен разлила чай и как раз говорила, что у них в Уилтшире тоже бывает жаркая погода, когда мистер Веннинг попросил разрешения присоединиться к ним.

— Как приятно найти молодого человека, который не презирает чай, — сказала миссис Пейли, возвращаясь в хорошее настроение. — Недавно один из моих племянников попросил бокал хереса — в пять часов! Я сказала, что он может получить его в пивной за углом, но не в моей гостиной.

— Мне легче обойтись без обеда, чем без чая, — сказал мистер Веннинг. — Хотя это не совсем правда. Мне нужно и то и другое.

Мистер Веннинг был темноволосым молодым человеком лет тридцати двух, весьма развязным и уверенным в себе, хотя в данный момент он явно был слегка взволнован. Его друг мистер Перротт был адвокатом, и поскольку мистер Перротт отказывался куда-либо ездить без мистера

Веннинга, когда мистер Перротт отправился в Санта-Марину по делам одной компании, мистеру Веннингу тоже пришлось ехать. Он тоже был адвокатом, но ненавидел эту профессию, которая держала его взаперти над книгами, и сразу после смерти своей давно овдовевшей матери, как он признался Сьюзен, решил всерьез заняться летным делом и стать компаньоном в крупной фирме, строившей аэропланы. Беседа перескакивала с предмета на предмет. Она коснулась, конечно, местных красот и достопримечательностей, улиц, людей и количества бездомных желтых собак.

— Вам не кажется, что в этой стране ужасно жестоко обращаются с собаками? — спросила миссис Пейли.

— Я бы их всех перестрелял, — сказал мистер Веннинг.

— А как же милые щеночки? — возразила Сьюзен.

— Славные малыши, — сказал мистер Веннинг. — Глядите, вам нечего есть. — И он протянул Сьюзен большой кусок кекса на кончике дрожащего ножа. Ее рука, взявшая кекс, тоже дрожала.

— У меня дома такой очаровательный песик, —

сказала миссис Эллиот.

— Мой попугай не выносит собак, — отозвалась миссис Пейли с таким видом, как будто выдала секрет. — Я давно подозреваю, что его (или ее) донимала какая-то собака, когда я была за границей.

— Вы сегодня ушли недалеко, мисс Уоррингтон, — сказал мистер Веннинг.

— Было жарко, — ответила Сьюзен. Получилось, что они говорят только между собой, поскольку миссис Пейли была глуховата, а миссис Эллиот взялась рассказывать о жесткошерстном терьере ее дяди, белом, лишь с одним черным пятнышком, который покончил с собой. «Животные совершают самоубийства», — вздохнула она, как будто утверждая печальный факт.

— Может быть, вечером исследуем город? — предложил мистер Веннинг.

— Моя тетя… — начала Сьюзен.

— Вы заслужили отдых. Вы постоянно что-то делаете для других.

— Но в этом состоит моя жизнь, — сказала она, шумно доливая кипяток в чайник.

— Это не жизнь, — возразил мистер Веннинг. — Вы же молоды. Пойдете?

— Я хотела бы пойти, — шепнула Сьюзен.

В этот момент миссис Эллиот, подняв взгляд, воскликнула:

— Хью! — и добавила: — Он кого-то ведет.

— Он хочет чаю, — сказала миссис Пейли. — Сьюзен, сбегай за чашками, там еще двое молодых людей.

— Мы жаждем чая, — сказал мистер Эллиот. — Ты знакома с мистером Эмброузом, Хильда? Мы встретились на холме.

— Он притащил меня силком, — сказал Ридли. — Иначе я постыдился бы. Я весь пыльный и грязный и противный. — Он указал на свои ботинки, белые от пыли; увядший цветок свисал из его петлицы, как измученное животное, усиливая впечатление долговязой нескладности и неаккуратности. Ридли был представлен окружающим. Мистер Хьюит и мистер Хёрст принесли стулья, и чаепитие продолжилось. Сьюзен щедро переливала воду из чайника в чайник, с неизменно жизнерадостным выражением лица и сноровкой, свидетельствовавшей о большом опыте.

— У брата моей жены, — объяснял Ридли Хильде, которую так и не вспомнил, — здесь дом, он нам его предоставил. Сижу я на скале, ни о чем не думаю, и тут появляется Эллиот, как волшебник

в сказочной пьесе.

— Мы попали, как кур в ощип, — страдальчески сказал Хьюит Сьюзен. — Неправда, что бананы содержат воду, как и то, что они питательны.

Хёрст уже пил чай.

— Мы проклинаем вас, — ответил Ридли на любезные расспросы миссис Эллиот о его жене. — Хелен говорит, что вы, туристы, съели все яйца. И это все мозолит глаза. — Он кивнул на гостиницу. — Отвратительная роскошь, я считаю. У нас в гостиной гуляют свиньи.

— Пища оставляет желать лучшего, учитывая цену, — серьезно сказала миссис Пейли. — Но куда людям деться, если не в гостиницу?

— Оставались бы дома, — посоветовал Ридли. — Я часто жалею, что не поступил так. Все должны жить дома. Но конечно, никто не хочет.

Миссис Пейли почувствовала некоторое раздражение против Ридли, который взялся критиковать ее привычки через пять минут после знакомства.

— Я убеждена, что за границу стоит ездить, — заявила она, — если уже хорошо знаешь свою родную страну, что я вполне могу сказать о себе. Я не позволила бы путешествовать людям, которые еще не посетили Кент и Дорсетшир — Кент

ради зарослей хмеля, а Дорсетшир — ради старинных каменных домиков. Здесь с ними ничто не сравнится.

— Да, мне всегда казалось, что одни люди любят равнины, а другие — холмистую местность, — непонятно к чему сказала миссис Эллиот.

Хёрст, который до этого момента не отрываясь ел и пил, закурил сигарету и произнес:

— Но теперь уже всем ясно, что природа — это ошибка. Она либо уродлива, чудовищно неудобна, либо наводит ужас. Не знаю, что меня пугает больше — корова или дерево. Однажды ночью я встретил корову в поле. Эта тварь посмотрела на меня! Уверяю вас, я поседел. Возмутительно, что животным позволяют разгуливать на свободе.

— А что корова подумала о нем? — шепнул Веннинг Сьюзен, которая тут же решила про себя, что мистер Хёрст — неприятный молодой человек, и, хотя у него такой умный вид, Артур, вероятно, умнее — в том, что действительно важно.

— Это не Уайльд установил, что природа не учитывает тазовых костей? — осведомился Хьюлинг Эллиот. Он уже узнал, какие стипендии и отличия получал Хёрст, и составил очень высокое мнение о его способностях.

Но Хёрст лишь крепко поджал губы и не от-

ветил.

Ридли рассудил, что теперь ему можно удалиться. Вежливость требовала, чтобы он поблагодарил миссис Эллиот за чай, к чему он добавил, помахав рукой:

— Вы должны навестить нас.

Прощание относилось и к Хёрсту с Хьюитом, поэтому Хьюит отозвался:

— С огромным удовольствием.

Компания разошлась, и Сьюзен, которая никогда в жизни не чувствовала себя такой счастливой, уже было собралась на прогулку по городу вместе с Артуром, когда ее опять позвала миссис Пейли. Она не могла понять из книжки, как раскладывается пасьянс «Двойной демон», и предложила сесть вместе и разобраться, чтобы таким образом приятно провести время до ужина.

Глава 10

Уговаривая свою племянницу пожить на вилле, миссис Эмброуз дала ей несколько обещаний, в том числе — предоставить комнату, отделенную от всего остального дома, большую, тихую, где Рэчел сможет играть, читать, думать, уединяться от мира, — чтобы это была одновременно и крепость, и обитель. Хелен знала, что в возрасте

двадцати четырех лет своя комната — это не просто комната, а целая Вселенная. Она рассудила верно, и, когда Рэчел закрывала за собой дверь, она оказывалась в очарованной стране, где пели поэты и царила гармония. Через несколько дней после вечернего посещения гостиницы Рэчел сидела одна в глубоком кресле и читала книгу в яркой обложке с заглавием «Сочинения Генрика Ибсена». На рояле лежали открытые ноты, и еще две неровные высокие стопки книг с нотами стояли на полу. Но музыка пока что была отодвинута в сторону.

В глазах Рэчел не было ни следа скуки или рассеянности, они сосредоточенно, почти сердито, смотрели на страницу, и по дыханию девушки, нечастому, но сдерживаемому, можно было понять, что все ее тело напряжено от интенсивной мыслительной работы. Наконец она резко закрыла книгу, откинулась на спинку и сделала глубокий вдох, который всегда отмечает удивление при переходе от воображаемого мира к реальности.

— Я хочу знать, — сказала она вслух, — вот что: в чем правда? Какая правда стоит за всем этим? — Она говорила и за себя, и за героиню только что прочитанной пьесы. Поскольку она уже два часа

не видела ничего, кроме печатного текста, пейзаж за окном показался ей поразительно вещественным и четким, но, хотя на холме три человека омывали белой жидкостью стволы оливковых деревьев, какое-то время она ощущала себя самой живой частью пейзажа — героической фигурой в центре картины, которая служила ей лишь фоном. Пьесы Ибсена всегда приводили ее в такое состояние. Она разыгрывала их по нескольку дней, к большому удовольствию Хелен, а затем наступала очередь Мередита, и она превращалась в Диану на перепутье[35]. Однако Хелен сознавала: это не только игра — в племяннице происходят какие-то важные перемены. Устав сидеть в одной позе, Рэчел повернулась, сползла ниже и, устроившись поудобнее, стала смотреть поверх спинки кресла в противоположное окно, выходившее в сад. (Она уже не думала о Норе, но продолжала размышлять о том, что было навеяно книгой — о женщинах и жизни вообще.)

За три месяца, проведенные здесь, она, как того и хотелось Хелен, сильно наверстала упущенное во время бесконечных прогулок по огороженным садам под домашние сплетни тетушек. Но миссис

---

[35] Примечания: 35

«Диана на перепутье» (1885) — роман Джорджа Мередита (1828–1909).

Эмброуз первая стала бы отрицать, что она оказывает или может оказывать какое-либо влияние на Рэчел. Хелен видела, что девушка теперь менее застенчива, менее серьезна, что было, конечно, к лучшему, но она и не подозревала, какие резкие душевные перепады и долгие мучительные раздумья дали такой результат. Хелен верила в одно средство — в беседу, беседу обо всем, свободную, ничем не ограниченную, такую же откровенную, как разговоры, которые она сама привыкла вести с мужчинами, делая это совершенно естественно. Она порицала основанную на неискренности привычку к мягкости и самоотречению, которая так высоко ценится в семьях, состоящих из мужчин и женщин. Ей хотелось, чтобы Рэчел размышляла, и поэтому советовала ей читать, не одобряя слишком сильную зависимость от Баха, Бетховена и Вагнера. Но когда миссис Эмброуз предлагала Дефо, Мопассана или какую-нибудь объемистую семейную хронику, Рэчел предпочитала современные книги в глянцевых желтых обложках с большим количеством позолоты. Ее тетушки полагали, что подобная литература отражает ожесточенные споры о предметах, которые не столь важны, как теперь принято считать. Но Хелен не вмешивалась. Рэчел читала

по своему выбору, воспринимая прочитанное до странности буквально, как люди, для которых печатный текст — нечто новое и незнакомое, и обращаясь со словами, будто каждое из них сделано из дерева, очень важно само по себе и обладает своей формой, подобно столу или стулу. Таким путем Рэчел приходила к выводам, которые повседневная жизнь заставляла ее перекраивать, что она делала не стесняясь, и в результате в ее душе откладывались зерна новых убеждений.

За Ибсеном последовал роман — из тех, к которым миссис Эмброуз питала отвращение. Его задачей было переложить ответственность за падение женщины на истинных виновников, и задача эта была выполнена, чему должна была служить доказательством досада в душе читателя. Рэчел бросила книгу на пол, посмотрела в окно, отвернулась и опять откинулась в кресле.

Утро было жарким, и напряженное чтение заставило сознание Рэчел сжиматься и разжиматься, подобно часовой пружине. Звуки, доносившиеся из сада, тиканье часов, легкие полуденные шумы, источники которых невозможно определить, смешивались в мерный ритм. Он был очень реальным, всеобъемлющим, безразличным, и вскоре Рэчел начала постуки-

вать указательным пальцем по подлокотнику кресла, чтобы напомнить себе о собственном существовании. Затем ее захватила невыразимая странность того, что она сидит в кресле, утром, посреди мира. Кто эти люди, которые ходят по дому и передвигают предметы с места на место? И что такое жизнь? Всего лишь свет, скользящий по поверхности и исчезающий, как и она сама со временем исчезнет, хотя мебель в комнате останется. Она впала в такую прострацию, что не могла уже даже пошевелить пальцами и сидела совершенно неподвижно, уставившись в одну точку. Реальность казалась ей все более странной и чуждой. Ей стало страшно — а вдруг предметы вокруг вообще не существуют… Она забыла, что у нее есть руки, которыми можно управлять… Вещественный мир столь огромен и бесприютен… Так, ощущая тяжесть огромных масс материи, под тиканье часов среди вселенского безмолвия, она сидела очень долго.

— Войдите, — сказала она машинально: настойчивый стук в дверь как будто дернул за какую-то ниточку в ее мозгу. Дверь очень медленно отворилась, высокое человеческое существо подошло к Рэчел, протянуло руку и произнесло:

— Как мне на это реагировать?

Рэчел поразила крайняя абсурдность того, что в комнату вошла женщина с листком бумаги.

— Я не знаю, что ответить и кто такой Теренс Хьюит, — продолжила Хелен монотонным голосом призрака. Она положила перед Рэчел листок, на котором были начертаны невероятные слова:

> «Уважаемая миссис Эмброуз!
>
> В следующую пятницу я организую пикник; если погода будет хорошей, мы собираемся выйти в одиннадцать-тридцать и совершить восхождение на Монте-Розу. Это потребует некоторого времени, но вид обещает быть великолепным. Буду чрезвычайно рад, если Вы и мисс Винрэс согласитесь присоединиться к нам.
>
> ***Искренне Ваш, Теренс Хьюит».***

Рэчел прочла слова вслух, чтобы заставить себя поверить в них. С той же целью она прикоснулась рукой к плечу Хелен.

— Книги, книги, книги… — сказала Хелен с характерным для нее рассеянным видом. — Опять новые книги. И что ты в них находишь?

Рэчел перечитала письмо, но уже про себя. На этот раз слова не показались ей расплывчатыми призраками, — наоборот, каждое из них

выглядело удивительно выпуклым, как бы выдавалось вперед; они были похожи на вершины гор, проступающие сквозь туман. *В пятницу… одиннадцать-тридцать… мисс Винрэс…* Кровь в ее жилах побежала быстрее, и она сама почувствовала, как заблестели ее глаза.

— Мы должны пойти, — сказала Рэчел, удивив Хелен решимостью. — Обязательно должны. — Просто она ощутила облегчение, поняв, что в мире по-прежнему происходят события, которые показались ей еще ярче из-за окружающего их тумана.

— Монте-Роза — это вон та гора, кажется, — сказала Хелен. — Но кто такой Хьюит? Наверное, один из тех молодых людей, с которыми познакомился Ридли. Так, значит, дать согласие? Это может оказаться жутко скучно.

Она взяла письмо и вышла, поскольку принесший его посыльный ждал ответа.

Мероприятие, задуманное в спальне мистера Хёрста, начало приобретать формы, став источником большого удовольствия для мистера Хьюита, который редко использовал свои практические способности, но любил испытать их и убедиться, что поставленная перед ним задача ему по силам. Все его приглашения принимались,

и это воодушевляло тем более, что они были разосланы против советов Хёрста «людям скучным, совершенно не подходящим друг другу, которые, безусловно, откажутся».

— Несомненно, — сказал Хьюит, сворачивая в трубочку и опять разворачивая записку от Хелен Эмброуз, — что таланты, необходимые великому полководцу, сильно преувеличены. Чтобы написать рецензию на сборник современной поэзии, нужно приложить вдвое больше усилий, чем я потратил, собирая семь или восемь человек обоего пола в одном месте в одно время. А что еще делает военачальник, Хёрст? Что, как не то же самое, сделал Веллингтон при Ватерлоо? Это все равно как считать камешки на дороге — утомительно, но не трудно.

Он сидел в своей спальне, положив одну ногу на подлокотник кресла. Хёрст, который напротив него писал письмо, не преминул заметить, что все трудности еще впереди.

— Например, эти две женщины, которых ты ни разу не видел. Вдруг, одна из них страдает боязнью высоты, как моя сестра, а вторая…

— Женщины — это для тебя, — перебил Хьюит. — Я пригласил их исключительно ради твоего блага. Видишь ли, Хёрст, тебе не хватает обще-

ства девушек — твоих ровесниц. Ты не умеешь с ними общаться, а это большой недостаток, учитывая, что человечество наполовину состоит из женщин.

Хёрст простонал, что он это вполне осознает.

Однако благодушие Хьюита немного ослабело, когда они с Хёрстом пришли на место, где была назначена встреча. Хьюит уже спрашивал себя, зачем вообще он пригласил всех этих людей и чего ради они соберутся здесь все вместе?

— Коровы, — размышлял он, — сбиваются вместе на поле, корабли — в спокойном море; и мы ничем от них не отличаемся, когда нам больше нечего делать. Но зачем это нам? Чтобы отвлечь себя от мыслей о природе вещей? — Он остановился у ручья и начал мутить воду своей тростью. — Чтобы не городить из ничего города, и горы, и целые вселенные? Или мы действительно любим друг друга? Или, наоборот, живем в постоянной неопределенности, ничего не знаем, перескакивая от мгновения к мгновению, как из мира в мир? В целом я склоняюсь к последнему.

Он перепрыгнул через ручей; Хёрст пошел в обход и присоединился к нему, заметив, что давно уже отчаялся искать разумные причины человеческих действий.

Через полминуты они подошли к розовато-оранжевому крестьянскому дому, стоявшему среди платанов у ручья. Место было тенистое и удобное — прямо от него начинался склон горы. Среди тонких платанов молодые люди увидели группки пасущихся ослов; высокая женщина гладила по носу одного из них, вторая стояла на коленях у ручья и пила воду, зачерпывая ее ладонями.

Когда мужчины вошли в тень, Хелен увидела их и протянула руку.

— Я должна представиться, — сказала она. — Хелен Эмброуз.

Пожав руки, она добавила:

— А это моя племянница.

Смущаясь, подошла Рэчел. Она тоже протянула руку, но тут же отдернула ее, объяснив:

— Она мокрая.

До появления первой повозки было едва ли сказано несколько слов.

Ослов быстро привели в готовность; прибыла вторая повозка. Рощицу постепенно наполняли люди: супруги Эллиот, супруги Торнбери, мистер Веннинг и Сьюзен, мисс Аллан, Эвелин Мёргатройд и мистер Перротт. Мистер Хёрст взял на себя роль сварливой, но энергичной овчарки. С

помощью нескольких язвительных латинских слов он построил животных и, подставляя свое костлявое плечо, рассадил дам.

— Одного Хьюит не понимает, — заметил Хёрст. — Мы должны пройти большую часть пути до полудня, — говоря это, он помогал девушке по имени Эвелин Мёргатройд, которая взлетела в седло так легко, будто ничего не весила. В широкополой шляпе со свисающим пером, вся с головы до ног в белом, она была похожа на благородную даму времен Карла Первого, ведущую в бой войска роялистов.

— Поезжайте рядом со мной, — скомандовала она, и, когда Хёрст взобрался на мула, они двинулись вперед, возглавив кавалькаду.

— Не называйте меня мисс Мёргатройд. Я этого терпеть не могу, — сказала она. — Меня зовут Эвелин. А вас?

— Сент-Джон.

— Мне нравится, — сказала Эвелин. — А как зовут вашего друга?

— Его инициалы — Р. С. Т., но мы называем его Монахом, — ответил Хёрст.

— Вы все слишком умные. Куда ехать? Найдите мне ветку. Поскачем быстрее.

Она стеганула мула прутиком и устремилась

вперед. Ее богатая романтическая биография лучше всего выражалась ее собственными словами: «Называйте меня Эвелин, а я буду называть вас Сент-Джоном». Она говорила это очень легко — стоило человеку обратиться к ней по фамилии, но, хотя многие молодые люди отвечали ей горячим сердечным порывом, она продолжала говорить это другим, ни на ком не останавливая свой выбор. Ее осел перешел на легкую рысь, и ей пришлось ехать впереди одной, поскольку тропа, начав подъем на один из гребней холма, стала узкой и каменистой. Процессия извивалась, как длинная гусеница, украшенная белыми дамскими зонтиками от солнца и мужскими панамами. В одном месте, где подъем был слишком крут, Эвелин М. спрыгнула на землю, передала поводья местному мальчишке и призвала спешиться Сент-Джона. Их примеру последовали те, кому пришла охота размять ноги.

— Не вижу необходимости слезать, — сказала мисс Аллан ехавшей за ней миссис Эллиот, — учитывая, как трудно мне было сесть в седло.

— Эти ослы могут вынести все, что угодно, n'est-ce pas?[36] — спросила та у проводника, который с

---

[36] Примечания: 36
Не правда ли? (*фр.*)

готовностью кивнул в ответ.

— Цветы, — сказала Хелен, наклоняясь, чтобы нарвать ярких красивых цветов, здесь и там попадавшихся по пути. — Если потереть листочки, они пахнут, — добавила она, кладя цветок на колено мисс Аллан.

— Мы с вами раньше не встречались? — спросила мисс Аллан, посмотрев на нее.

— Я решила, что это подразумевается, — засмеялась Хелен, потому что в суматохе они не были представлены друг другу.

— Как это удачно придумано! — щебетала миссис Эллиот. — Чего-нибудь такого всегда хочется, жаль, это не всегда возможно.

— Невозможно? — удивилась Хелен. — Все возможно. Кто знает, что еще может случиться до вечера? — Ей захотелось подразнить пугливость бедной женщины, которая так зависела от заведенного порядка вещей, что даже мысль о пропущенном ужине или столе, передвинутом на дюйм с привычного места, наполняла ее страхом за прочность собственного положения.

Чем выше поднимались путники, тем сильнее они отрывались от мира, который, когда они смотрели назад, казался им все более плоским, разделенным на зеленые и серые квадраты.

— Городки такие маленькие, — сказала Рэчел, закрывая ладонью всю Санта-Марину с предместьями. Море плавно заполняло береговые изгибы, заканчиваясь белой кромкой; здесь и там в синюю гладь были влеплены корабли. Синеву разнообразили лиловые и зеленые пятна, а границу между морем и небом прочерчивала сверкающая линия. Воздух был кристально чист, тишину нарушали только резкое стрекотанье кузнечиков и жужжание пчел, которые гудели особенно громко, когда проносились мимо уха. Компания устроила привал в каменоломне на склоне.

— Какая четкость! — воскликнул Сент-Джон, сразу определив возраст нескольких геологических срезов.

Эвелин М. села рядом с ним и, опершись подбородком на руку, с победным видом оглядела панораму.

— Как вы думаете, Гарибальди здесь бывал? — спросила она мистера Хёрста. Ах, если бы она была невестой Гарибальди! Если бы пришла сюда не на пикник, а с отрядом патриотов, как они — в красной рубашке, и, распластавшись прямо на земле среди суровых мужчин, целилась бы в белые башенки внизу, заслоняя глаза от солнца,

чтобы взглядом пронзать клубы дыма! Фантазируя, она беспокойно постукивала ногой по земле и наконец воскликнула: — Я считаю, что это не жизнь, а вы?

— А что вы считаете жизнью? — спросил Сент-Джон.

— Борьбу, революцию, — сказала она, все так же взирая на обреченный город. — Вас интересуют только книги, я знаю.

— Вы глубоко ошибаетесь, — сказал Сент-Джон.

— Объясните, — потребовала она. Поскольку под рукой не было винтовок, чтобы стрелять по людям, она обратилось к другому виду оружия.

— Что меня интересует? Люди.

— Неужели?! — воскликнула Эвелин. — У вас ужасно серьезный вид. Давайте будем друзьями и расскажем друг другу о себе. Я терпеть не могу осторожность, а вы?

Но Сент-Джон явно предпочитал осторожность, что она поняла по тому, как он вдруг поджал губы, не выказав ни малейшей готовности откровенничать с девушкой.

— Осел ест мою шляпу, — вместо ответа заметил он и протянул руку за шляпой. Эвелин едва заметно покраснела и несколько порывисто пе-

реключилась на мистера Перротта; когда пришло время садиться в седла, помогал ей уже он.

— Отложив яйца, надо есть омлет, — сказал Хьюлинг Эллиот, подразумевая изысканное французское выражение, которое, видимо, тонко намекало на то, что пора ехать дальше.

Полуденное солнце, как и предсказывал Хёрст, начинало палить нещадно. Чем выше поднимались люди, тем шире раскрывалось небо, пока гора не превратилась в небольшой земляной купол на фоне необъятной сини. Англичане умолкли, а местные жители, шедшие рядом с ослами, принялись петь странными дрожащими голосами и перебрасываться шутками. Склон стал очень крутым, и каждый мог видеть впереди лишь ковылявшего осла и всадника на нем. Путешествие требовало гораздо большего напряжения сил, чем простая увеселительная прогулка, и до ушей Хьюита уже донеслось однодва ворчливых замечания.

— Поездки на такой жаре, возможно, не слишком разумны, — тихо сказала миссис Эллиот мисс Аллан.

Но та ответила лишь:

— Я люблю доводить начатое до конца. — И это была правда; женщина она была крупная,

не очень поворотливая и непривычная к езде на ослах, но ей редко удавалось поехать в отпуск, поэтому она старалась использовать его сполна.

Подвижная белая фигурка Эвелин М. маячила далеко впереди; девушка где-то раздобыла ветку с листьями и обернула ее вокруг шляпы на манер венка. Несколько минут шествие продолжалось в молчании.

— Вид будет чудесный, — уверил своих спутников Хьюит, повернувшись в седле с ободряющей улыбкой. Рэчел поймала его взгляд и улыбнулась в ответ. Они карабкались вверх еще некоторое время, и при этом был слышен лишь перестук копыт и выкатывавшихся из-под них камней. Наконец путники увидели, что Эвелин слезла с осла, а мистер Перротт стоит с видом политика на Парламентской площади, указывая рукой на открывшийся пейзаж. Чуть левее вздымались руины елизаветинской сторожевой башни.

— Еще немного — и я бы не выдержала, — призналась миссис Эллиот миссис Торнбери, но ответа не дождалась, поскольку всех уже наполнил восторг от того, что через мгновение они окажутся на вершине и будут любоваться видом. Один за другим люди выходили на площадку и останавливались в восхищении. Их взорам

открылось огромное пространство: серые пески сменялись лесами, леса переходили в горы, а горы омывались массами воздуха, — бесконечные дали Южной Америки предстали во всей красе. Равнину пересекала река — такая же плоская, как земля, и столь же неподвижная на вид. Первое впечатление от такой необъятности было довольно-таки пугающим. Люди почувствовали себя очень маленькими, и какое-то время никто ничего не говорил. Затем Эвелин воскликнула:

— Великолепно! — и схватилась за то, что оказалось рядом. Это была рука мисс Аллан.

— Север, юг, восток, запад, — сказала мисс Аллан, слегка кивая по сторонам, на которые указывали отметки на компасе.

Хьюит, вышедший немного вперед, посмотрел на остальных, как будто ища подтверждения, что он не зря их пригласил. Люди стояли в ряд, слегка наклонившись против ветра, который прилепил одежды к их телам, и Хьюит заметил про себя, как странно они походят на обнаженные статуи. На пьедестале-горе они выглядели незнакомо и благородно. Однако через секунду ряд распался, а Хьюит начал руководить извлечением съестных припасов. К нему на помощь пришел Хёрст, и они стали передавать из рук в руки пакеты с

курятиной и хлебом.

Получив от Сент-Джона свой пакет, Хелен взглянула ему в глаза и спросила:

— Помните двух женщин?

Он пристально посмотрел на нее и ответил:

— Помню.

— Так те две женщины — это вы! — воскликнул Хьюит, переводя взгляд с Хелен на Рэчел.

— Нас соблазнили освещенные окна, — сказала Хелен. — Мы смотрели, как вы играете в карты, но не подозревали, что за нами тоже наблюдают.

— Это было что-то вроде игры, — добавила Рэчел.

Казалось странным, что кто-то мог увидеть Хелен и не заметить в ней ничего характерного.

Хьюлинг Эллиот надел очки и взял инициативу на себя.

— По-моему, нет ничего ужаснее, — сказал он, отрывая куриную ножку, — чем когда на тебя смотрят, а ты об этом не знаешь. Человек потом всегда бывает уверен, что его застали за каким-нибудь смешным действием: например, за разглядыванием своего языка в зеркале одноколки.

— И все-таки эти маленькие зеркальца в одноколках так и тянут к себе, — сказала миссис

Торнбери. — Черты лица выглядят совсем иначе, когда рассматриваешь его по частям.

— Скоро одноколок почти не останется, — заметила миссис Эллиот. — А четырехколесные экипажи… Уверяю вас, теперь даже в Оксфорде почти невозможно нанять четырехколесный экипаж.

— Интересно, куда деваются лошади? — сказала Сьюзен.

— Пирог с телятиной, — вставил Артур.

— Лошадям пора исчезнуть с лица земли, — сказал Хёрст. — Они омерзительно уродливы и к тому же злобны.

Однако Сьюзен, которая с детства усвоила, что лошадь — благороднейшее из Божьих созданий, не могла с ним согласиться, а Веннинг про себя назвал Хёрста отъявленным болваном, но из вежливости продолжил разговор.

— Наверное, они чувствуют, что отмщены, видя, как падают наши аэропланы, — заметил он.

— Вы летаете? — спросил престарелый мистер Торнбери, надевая очки, чтобы рассмотреть Артура.

— Надеюсь, буду со временем.

Перешли на тему авиации, и миссис Торнбери высказала мнение, а точнее, прочитала неболь-

шую речь о том, что во время войны аэропланы будут весьма необходимы, тогда как Англия в этом смысле страшно отстает.

— Будь я молодым человеком, — заключила она, — я обязательно выучилась бы на пилота.

Странно было видеть маленькую пожилую даму в сером костюме, с бутербродом в руке и глазами, горящими от того, что она представила себя юношей-авиатором. Однако потом беседа почему-то застопорилась, и дальше речь шла только о напитках, соли и красивом виде. Внезапно мисс Аллан, которая сидела, прислонившись спиной к руинам, положила свой бутерброд, сняла что-то с шеи и заявила:

— По мне ползают какие-то мелкие твари.

Это была правда, и сделанное мисс Аллан открытие оказалось очень кстати. Промежутки между камнями руин были заполнены рыхлой землей — оттуда и ползли крупные бурые муравьи с блестящими тельцами. Мисс Аллан сняла одного с тыльной стороны своей кисти и показала Хелен.

— А вдруг они кусаются? — сказала Хелен.

— Они не кусаются, но они могут заползти в еду, — ответила мисс Аллан. Были приняты меры, чтобы отклонить курс движения муравьев.

По предложению Хьюита, была использована современная военная тактика, используемая против армии захватчиков. Осажденную страну представляла скатерть; вокруг нее были возведены укрепления из корзин, бастионы из винных бутылок, крепостные стены из хлеба и вырыты рвы, которые заполнили солью. По муравью, прорвавшемуся через все заслоны, открыли стрельбу хлебными шариками, но Сьюзен заявила, что это жестоко, воздав, впрочем, должное храбрости защитников. Играя, люди избавились от скованности и даже на удивление осмелели: робкий мистер Перротт, сказав: «Позвольте», — снял муравья с шеи Эвелин.

— Было бы не до смеха, — шепнула миссис Эллиот миссис Торнбери, — если бы муравей заполз под нижнюю сорочку.

Вдруг гам усилился: было обнаружено, что длинная вереница муравьев нашла обходной путь на скатерть. Если бы успех измерялся шумом, то Хьюит имел бы все основания считать своих солдат полными победителями. Однако, без всякой причины, он впал в крайнее уныние.

«Они никуда не годятся, они ничтожны», — думал он, собирая посуду на некотором отдалении и оглядывая оттуда своих спутников, которые,

сосредоточенно склонившись над скатертью, суетились и жестикулировали. Они были скромны и любезны, во многих смыслах достойны уважения, даже милы в своем самодовольстве и стремлении быть добродетельными, но при этом — столь заурядны, столь способны на бесчувственную жестокость по отношению друг к другу! Вот миссис Торнбери, приветливая, но банальная в своем материнском эгоизме; миссис Эллиот, с бесконечными жалобами на судьбу; ее муж, будто отлитый по шаблону; и Сьюзен — она вообще лишена индивидуальности, и хорошей, и плохой; Веннинг простодушен и груб, как школяр; бедный старый Торнбери безропотно бредет по своему кругу, как лошадь на мельнице; а о характере Эвелин — предположил Хьюит — чем меньше знаешь, тем лучше. Однако это были люди при деньгах, и они больше, чем кто бы то ни было, управляли этим миром. Попади в их среду кто-то более одухотворенный, небезразличный к жизни и красоте — какие муки они причинят ему, какие раны нанесут, если он попытается не злословить, а поделиться с ними своими чувствами!

«Есть, конечно, Хёрст, — заключил он, переведя взгляд на фигуру своего друга. Тот, по обыкновению сосредоточенно нахмурив лоб, чистил

банан. — А он страшен, как смертный грех».

Как-то у него получалось, что в уродстве Сент-Джона Хёрста и тех издержках, которые оно влечет, виноваты все остальные. По их вине ему приходится жить одному. Затем Хьюит посмотрел на Хелен, привлеченный ее смехом. Она смеялась над мисс Аллан.

— Вы носите комбинацию в такую жару? — спросила она, понизив голос, чтобы никто не услышал. Она очень нравилась Хьюиту — ему нравилась не столько ее красота, сколько то, как просто она себя ведет, какая она большая, — этим она отличалась от других, напоминая огромную каменную женщину. Настроение у Хьюита поднялось, и тут ему на глаза попалась Рэчел. Она лежала в стороне, опершись на локоть. Возможно, ее посещали те же самые мысли, что и Хьюита. Она смотрела на ряд людей перед собой — печально, но без напряжения. Хьюит подполз к ней на коленях, держа в руке кусок хлеба.

— На что вы смотрите? — спросил он.

Она слегка вздрогнула от неожиданности, но ответила прямо:

— На людей.

Глава 11

Один за другим они вставали, потягиваясь, и вскоре разделились на две более или менее очерченные компании. В одной верховодили Хьюлинг Эллиот и миссис Торнбери: они читали одни и те же книги, их волновали одни и те же вопросы, и сейчас они с жаром называли места, лежавшие внизу, сопровождая это подробными сведениями о военном флоте, армии, политических партиях, коренном населении и полезных ископаемых, — и все это вместе, по их утверждению, доказывало, что Южная Америка — край с большим будущим.

Эвелин М. слушала, уставившись на прорицателей широко открытыми голубыми глазами.

— Из-за всего этого так хочется быть мужчиной! — воскликнула она.

Мистер Перротт ответил, окидывая взглядом равнину, что край с большим будущим — это хорошо.

— На вашем месте, — сказала Эвелин, поворачиваясь к нему и яростно растягивая перчатку, — я собрала бы войско и завоевала бы какие-нибудь обширные земли, чтобы устроить там все по-хорошему. Вам для этого понадобились бы

и женщины. Я с радостью начала бы жизнь с самого начала, чтобы в ней все было, как надо — никаких мерзостей, — только просторные залы, сады и прекрасные люди. Но вам — вам нравятся только суды!

— А вас действительно устроила бы жизнь без модных платьев, сладостей и всего остального, что вы, молодые дамы, так любите? — спросил мистер Перротт, скрывая за иронией некоторую душевную боль.

— Я не молодая дама! — Эвелин покраснела и закусила нижнюю губу. — Просто я люблю все прекрасное, а вы надо мной за это смеетесь. Почему теперь нет таких мужчин, как Гарибальди?!

— Погодите, — сказал мистер Перротт. — Вы не даете мне шансов. Вы считаете, что нам стоит начать все заново. Хорошо. Но я не совсем понимаю, зачем завоевывать земли. Они вроде все уже завоеваны, разве нет?

— Дело не в землях, — объяснила Эвелин. — Дело в идее, неужели не понятно? Мы живем так пресно! А я уверена, у вас есть прекрасные качества.

Хьюит увидел, как трогательно разгладились рубцы и борозды на понятливом лице мистера Перротта. Можно было легко представить, как

он в этот момент про себя прикидывает, стоит ли делать женщине предложение, учитывая, что он зарабатывает своим адвокатским ремеслом не более пяти сотен в год, состояния не имеет и должен заботиться о больной сестре. Кроме того, мистер Перротт сознавал, что он «не вполне», как в своем дневнике выразилась Сьюзен. Она имела в виду, что он не вполне джентльмен: сын бакалейщика из Лидса, начал карьеру с корзиной на спине и теперь, будучи практически неотличим от джентльмена по рождению, проницательному наблюдателю выдавал себя безупречной аккуратностью костюма, отсутствием свободы в манерах, крайней чистоплотностью и особой, не поддающейся описанию, робостью и скрупулезностью в обращении с ножом и вилкой, что, возможно, было отголоском тех времен, когда мясо на столе было редкостью и съедалось моментально.

Две компании, разбредшиеся было порознь, опять соединились и вместе долго любовались пейзажем, который источал жар и был будто скроен из зеленых и желтых кусков. В потоках горячего воздуха смутно виднелись крыши домов на равнине. Даже на вершине горы, где играл легкий бриз, было настоящее пекло; жара, съеденная пища, необъятный простор, а возможно, и еще

какие-то не столь определенные причины привели людей в состояние приятной сонливости и расслабленности. Они почти ничего не говорили, но в их молчании не чувствовалось напряжения.

— Не пойти ли нам посмотреть, что есть интересного вон там? — предложил Артур Сьюзен, и оба удалились, причем их уход вызвал у оставшихся определенные мысли.

— Странный народ, правда? — сказал Артур. — Я уж было думал, на вершину всех не дотащишь. Но я рад, что мы пошли, ей-богу! Ни на что не променял бы это.

— Мне не нравится мистер Хёрст, — вдруг сказала Сьюзен. — Он вроде очень умный, но почему умные люди такие… Впрочем, наверное, он очень мил, — поправилась она, чувствуя, что ее замечание может показаться слишком резким.

— Хёрст? А, он из этих ученых малых, — безразлично сказал Артур. — По нему не скажешь, что это его особо радует. Вы бы слышали, как он говорил с Эллиотом. Я и понимал-то их едва-едва… В книгах я никогда не был силен.

Перемежая эти замечания паузами, они добрели до небольшого холмика, на котором росло несколько тонких деревьев.

— Вы не против тут посидеть? — спросил Артур,

осматриваясь. — В тени хорошо, да и вид… — Они сели и некоторое время молча смотрели перед собой. — Хотя иногда я этим умникам завидую, — продолжил Артур. — Они, наверное, никогда… — Он не закончил фразу.

— Не понимаю, чему вы можете завидовать, — с большой искренностью сказала Сьюзен.

— Странные вещи творятся с людьми, — заметил Артур. — Вроде жизнь идет гладко, одно следует за другим, все хорошо, как по маслу, кажется, все ты уже знаешь и понимаешь, но вдруг — раз — и ничего не знаешь, ничего не понимаешь, все не так, как было. Сегодня, когда я ехал по той тропинке за вами, мне показалось, будто всё… — Он замолчал, вырвал с корнем пучок травы и стряхнул застрявшие в корешках комки земли. — Будто всё это неспроста. Вы для меня не то, что другие, — вдруг выпалил он. — Не знаю, почему я должен это скрывать. Я это чувствую с тех пор, как узнал вас… Потому что я люблю вас.

Уже во время обмена банальностями Сьюзен охватило волнение оттого, что они оказались наедине, и это состояние открыло нечто новое не только в ней самой, но и в деревьях, и в небе; казалось, речь Артура текла каким-то неизбежным порядком, что причиняло ей острую душевную

боль, поскольку еще ни один человек не был к ней так близок.

Слушая его, она оцепенела, а на последних словах ее сердце чуть не выскочило из груди. Она крепко сжимала в руках камень и смотрела прямо перед собой, на равнину, простиравшуюся внизу. Итак, это произошло с ней, ей сделали предложение.

Артур обернулся к ней, его лицо было странно перекошено. Сьюзен дышала с таким трудом, что едва ли могла ответить.

— Вы, наверное, знали! — Он обнял ее. Они прижимались друг к другу еще и еще, бормоча что-то нечленораздельное. — Да… — вздохнул Артур, откидываясь на землю. — Это самое чудесное из всего, что было в моей жизни. — У него был такой вид, будто он старается отделить сон от яви.

Последовала долгая пауза.

— Лучшее из всего, что есть в мире, — провозгласила Сьюзен, очень мягко, но с глубоким убеждением. Это было уже не просто предложение выйти замуж, но выйти за Артура, которого она любила.

Опять помолчали, и она, держа свою руку в его руках, молилась Богу о том, чтобы стать Артуру хорошей женой.

— А что скажет мистер Перротт? — наконец спросила она.

— Старый добрый друг… — сказал Артур. Теперь, когда первое волнение улеглось, он отдался исключительно приятному чувству расслабленности и удовлетворения. — Мы должны быть с ним поласковее, Сьюзен.

Он рассказал ей, какие тяготы пришлось пережить Перротту и какой он преданный друг. Затем — о своей матери, вдове с сильным характером. В ответ Сьюзен описала ему своих близких, особенно Эдит, младшую сестру, которую она любила больше всех.

— Кроме тебя, Артур… Артур, — продолжила она, — чем я тебе понравилась при нашей первой встрече?

— Пряжкой, которая была на тебе тем вечером, у моря, — поразмыслив, ответил Артур. — Помню, я еще заметил, — как это ни смешно! — что ты не ешь горох, потому что я сам его никогда не ем.

Затем они стали сравнивать свои более серьезные вкусы, а точнее, Сьюзен выясняла, что любит Артур, и признавалась в тех же самых пристрастиях. Они будут жить в Лондоне, возможно, у них еще будет домик в провинции, поближе к родным Сьюзен, потому что им поначалу будет

без нее не по себе. Ее воображение, оправившись от шока, начало рисовать перемены, которые повлечет за собой помолвка: как восхитительно будет вступить в ряды замужних женщин, больше не тосковать среди девушек намного моложе себя, избежать нескончаемого одиночества старой девы. Опять и опять ее захватывало чувство, что ей выпало удивительное счастье, и она обращалась к Артуру с любовными восклицаниями.

Лежа в объятиях друг друга, они и не думали, что их кто-то может увидеть. Внезапно среди деревьев над ними появились двое.

— Вот тут есть тень… — начал Хьюит, но Рэчел вдруг замерла как вкопанная. Чуть ниже они увидели мужчину и женщину на земле, которые слегка катались из стороны в сторону, то ослабляя, то опять усиливая объятия. Мужчина сел прямо, а женщина, оказавшаяся Сьюзен Уоррингтон, осталась лежать на спине с закрытыми глазами и таким отсутствующим выражением лица, будто она была без сознания. По ее лицу также нельзя было понять, хорошо ей или она страдает. Когда Артур опять повернулся к ней и ткнулся в нее головой, как ягненок тыкается в овцу, Хьюит и Рэчел безмолвно ретировались. Хьюит чувствовал неловкость.

— Мне это не нравится, — через какое-то время сказала Рэчел.

— Мне, по-видимому, тоже, — сказал Хьюит. — По-видимому… — но передумал и продолжил нормальным тоном: — Вообще-то мы вполне можем предположить, что они помолвлены. Как по-вашему, он будет летать или она этому помешает?

Но Рэчел все еще была взволнована: она не могла забыть только что увиденное. Не ответив Хьюиту, она продолжила свою тему:

— Странная вещь любовь. От нее так бьется сердце.

— Просто она очень важна, — ответил Хьюит. — Теперь их жизнь изменится бесповоротно.

— И поэтому их становится жаль, — сказала Рэчел, как будто прослеживая нить своих ощущений. — Я с ними не знакома, но почти готова расплакаться от жалости. Глупо, правда?

— Только потому, что они влюблены? — спросил Хьюит. — Да, — согласился он, подумав, — в этом есть нечто ужасно жалкое.

Они уже отошли довольно далеко от рощицы и набрели на закругленный овражек, очень соблазнительный для спины. Они сели, и впечатление от любовной сцены слегка потеряло

свою силу, хотя их восприятие действительности осталось обостренным, что было, вероятно, тоже результатом увиденного. Бывают дни, которые отличаются от других тем, что какое-то сильное чувство подавляет все остальные; для Рэчел и Хьюита необычным стал этот день — просто оттого, что они увидели двух человек в кульминационный момент их жизни.

— Похоже на лагерь из громадных палаток, — сказал Хьюит, глядя на горы. — И еще на акварель, правда? Знаете, как акварель высыхает на бумаге, такими гребнями? А я все никак не мог понять, на что это похоже.

Его глаза приняли задумчивое выражение, будто он что-то сравнивал в уме. Рэчел подумала, что цветом они похожи на зеленую плоть улитки. Она сидела рядом с ним и тоже смотрела на горы. Вид необъятного пространства как будто заставлял глаза Рэчел расширяться сверх их естественного размера, отчего они заболели, и она перевела взгляд на то, что было рядом. Ей было приятно пристально разглядывать кусочек южноамериканской земли: она видела каждую ее крупицу, представляя в ней целый мир, над которым она, Рэчел, имела верховную власть. Она наклонила травинку, посадила насекомое на самый кончик

ее метелки и стала гадать, осознает ли оно странность своего приключения; а еще она подумала, как странно, что она наклонила именно эту, а не какую-нибудь другую из миллиона травинок.

— Вы не сказали, как вас зовут, — вдруг произнес Хьюит. — Мисс Кто-то Винрэс… Одной фамилии мне мало.

— Рэчел.

— Рэчел, — повторил он. — У меня есть тетя по имени Рэчел, которая переложила на стихи биографию отца Дамьена[37]. Она религиозная фанатичка — результат воспитания, — выросла в Нортгемптоншире, в полном безлюдье. У вас есть тети?

— Я с ними живу, — сказала Рэчел.

— Вот интересно, что-то они сейчас делают?

— Наверное, покупают шерсть, — предположила Рэчел и попыталась описать их: — Они такие маленькие, довольно бледные дамы. Чистюли. Мы живем в Ричмонде. Еще у них есть старая собака, которая ест только костный мозг… Они все время ходят в церковь. И очень часто наводят порядок в комодах. — Однако тут она сдалась

[37] Примечания: 37

Отец Жозеф Дамьен (1841–1889) — бельгийский священник, работавший в лепрозории на о. Молокаи (Гавайские острова) с 1873 г. и там же умерший от проказы.

перед трудностью описания людей и воскликнула: — Невозможно представить, что это все так и продолжается!

Солнце светило им в спины, и на земле перед ними вдруг появились две длинных тени: одна колыхалась, потому что это была тень юбки, а другая стояла неподвижно, поскольку ее отбрасывали ноги в брюках.

— Вы удобно устроились! — донесся сверху голос Хелен.

— Хёрст, — сообщил Хьюит, указав на тень в форме ножниц, обернулся к пришедшим и сказал: — Тут хватит места на всех.

Усевшись, Хёрст спросил:

— Вы поздравили молодую чету?

Оказалось, что Хелен и Хёрст побывали в том же месте через несколько минут после Хьюита и Рэчел и видели то же самое.

— Нет, не поздравили, — сказал Хьюит. — У них был такой счастливый вид.

— Что ж, — Хёрст поджал губы, — поскольку мне не надо жениться ни на ком из них…

— Мы были весьма тронуты, — сказал Хьюит.

— В этом я не сомневаюсь, — отозвался Хёрст. — Что именно тебя тронуло, Монах? Мысль о бессмертной страсти или о новорожденных маль-

чиках, которые защитят страну от католиков? Уверяю вас, — сказал он Хелен, — его может тронуть и то и другое.

Его подшучивание сильно уязвило Рэчел, поскольку она приняла его и на свой счет, но придумать ответную колкость не могла.

— А Хёрста ничего не трогает, — засмеялся Хьюит. Его, по всей видимости, шутки друга совсем не обижали. — Разве что, если бесконечное число влюбится в конечное — такое, думаю, случается даже в математике.

— Наоборот, — сказал Хёрст с легким раздражением. — Я считаю себя человеком очень сильных страстей.

Судя по его тону, он говорил всерьез. Сказанное предназначалось, конечно, дамам.

— Кстати, Хёрст, — начал Хьюит после паузы. — Я должен сделать ужасное признание. Твоя книга, стихи Вордсворта — если помнишь, я взял ее с твоего стола, когда мы выходили, и совершенно точно положил в этот карман…

— Потеряна, — закончил за него Хёрст.

— Надеюсь, — попытался утешить его Хьюит, хлопая себя справа и слева, — что я вообще не взял ее с собой.

— Взял, — сказал Хёрст. — Вот она. — Он указал

на его грудь.

— Слава богу! — воскликнул Хьюит. — Теперь не придется чувствовать себя убийцей младенцев!

— Вы, наверное, постоянно что-то теряете, — предположила Хелен, задумчиво глядя на него.

— Я не теряю. Просто кладу не туда. Поэтому Хёрст отказался пересекать океан в одной каюте со мной.

— Вы отплыли вместе? — спросила Хелен.

— Предлагаю, чтобы каждый из присутствующих сейчас кратко изложил свою биографию, — сказал Хёрст, садясь прямо. — Мисс Винрэс, вы первая. Начинайте.

Рэчел рассказала, что ей двадцать четыре года, она дочь судовладельца, настоящего образования не получила, играет на фортепьяно, братьев и сестер нет, живет в Ричмонде с тетками, мать ее умерла.

— Следующий, — сказал Хёрст, усвоив эти факты. Он указал на Хьюита.

— Я сын английского дворянина. Мне двадцать семь лет, — начал Хьюит. — Мой отец был сквайром, охотился на лис. Он погиб на охоте, когда мне было десять лет. Помню, домой принесли его тело — на ставне, кажется, — как раз, когда

я спускался пить чай, и я заметил, что на столе все равно был джем, и удивился — неужели мне разрешат…

— Да-да, но только факты, — вставил Хёрст.

— Я учился в Винчестере[38] и Кембридже, откуда через некоторое время мне пришлось уйти. С тех пор я много чем занимался…

— Профессия?

— Никакой — по крайней мере…

— Склонности?

— Литературные. Пишу роман.

— Братья и сестры?

— Три сестры, братьев нет, есть мать.

— Это все, что мы о вас услышим? — спросила Хелен. В свою очередь, она поведала, что очень стара — в октябре ей минуло сорок, ее отец был поверенным в Сити, но разорился, поэтому она толком не получила образования — они часто переезжали, — но старший брат давал ей читать книги. — Если бы я стала рассказывать вам все… — Она умолкла и улыбнулась. — Это заняло бы слишком много времени. Я вышла замуж тридцати лет, у меня двое детей. Муж — ученый. Теперь ваша очередь, — кивнула она Хёрсту.

---

[38] Примечания: 38

Винчестерский колледж — одна из девяти самых престижных мужских средних школ (основана в 1382 г.).

— Вы многое опустили, — упрекнул он ее и бодро начал: — Меня зовут Сент-Джон Аларик Хёрст. Мне двадцать четыре года, я сын преподобного Сидни Хёрста, приходского священника в Грейт-Вэппинге, в Норфолке. Э-э, везде был стипендиатом — в Вестминстере, в Кингз-Колледже[39]. Сейчас в аспирантуре в Кингз-Колледже. Скучновато, да? Оба родителя живы (увы). Два брата, одна сестра. Я весьма незаурядный молодой человек, — добавил он.

— Один из трех — ну, пяти — самых незаурядных людей в Англии, — заметил Хьюит.

— Совершенно верно, — сказал Хёрст.

— Это все очень интересно, — сказала Хелен после паузы, — но все действительно важные вопросы мы обошли. Например, мы христиане?

— Я — нет, — почти хором сказали молодые люди.

— Я — да, — сообщила Рэчел.

— Вы верите в Бога как личность? — изумился Хёрст, поворачиваясь и наводя на нее свои очки.

— Я верю… Я верю… — Рэчел начала заикаться. — Верю, что есть нечто, о чем мы не знаем,

---

[39] Примечания: 39

Вестминстерская школа — еще одна из тех же девяти привилегированных школ (основана в 1560 г.). *Кингз-Колледж* — один из крупных колледжей Кембриджского университета.

верю, что мир может измениться за одну минуту и стать каким угодно.

На это Хелен откровенно рассмеялась.

— Чепуха, — сказала она. — Ты не христианка. Ты даже не задумывалась, кто ты. Есть много других вопросов. Однако их, наверное, пока задавать нельзя.

Хотя они беседовали так свободно, им было несколько неловко от того, что они на самом деле ничего не знают друг о друге.

— А это важные вопросы, — задумчиво заметил Хьюит. — Самые интересные. Только вот люди, пожалуй, не задают их друг другу.

Рэчел было трудно смириться с тем, что даже близкие друзья могут обсуждать лишь очень немногие темы, поэтому она потребовала у Хьюита объяснений:

— Была ли в нашей жизни любовь? Вы говорите о таких вопросах?

Хелен опять засмеялась над ее простодушной смелостью и шутя обсыпала травой.

— Ах, Рэчел! — воскликнула она. — Ты как щенок, который, играя, вытаскивает в прихожую нижнее белье хозяев.

И вновь на залитую солнцем землю перед ними легли колышущиеся фантомы — тени людей.

— Вот они! — прокричала миссис Эллиот. В ее голосе слышалось легкое раздражение. — А мы с ног сбились, разыскивая вас. Вы знаете, сколько времени?

Над ними стояли миссис Эллиот и чета Торнбери. Миссис Эллиот держала часы, демонстративно постукивая пальцем по циферблату. Хьюиту напомнили, что он — ответственный за путешествие, и он немедленно повел всех обратно к сторожевой башне, где перед отправлением домой планировалось выпить чаю. Подходя к месту, они увидели, что на вершине стены развевается яркий малиновый шарф, а мистер Перротт и Эвелин пытаются укрепить его камнями. Жара немного спала, но зато тень ушла в сторону, и поэтому им пришлось сидеть на солнце, которое окрасило их лица в красные и желтые оттенки и ярко высветило большие куски земли за ними.

— Ничего нет прекраснее чая! — сказала миссис Торнбери, беря свою чашку.

— Ничего, — согласилась Хелен. — Помните, в детстве, режешь сухую траву, — она говорила намного быстрее, чем обычно, не отрывая глаз от миссис Торнбери, — и делаешь вид, будто это чай, а няньки тебя за это ругают — почему, не понимаю, — может, оттого, что все няньки такие

грубые создания — не разрешают сыпать перец вместо соли, хотя в нем нет ни малейшего вреда. Ваши няньки были такие же?

Во время этой тирады появилась Сьюзен и села рядом с Хелен. Через несколько минут с противоположной стороны вышел мистер Веннинг. Он слегка раскраснелся и на все, что ему говорили, отвечал с особенной веселостью.

— Что это вы сделали с могилой старика? — спросил он, указывая на красный флаг, реявший над руинами.

— Мы хотели, чтобы он забыл, как ему не повезло умереть триста лет назад, — сказал мистер Перротт.

— Как это ужасно — быть мертвым! — выпалила Эвелин М.

— Быть мертвым? — переспросил Хьюит. — По-моему, ничего ужасного. Это довольно легко вообразить. Когда сегодня ляжете в постель, сложите руки вот так и дышите — все медленнее и медленнее. — Он лег спиной на землю, закрыл глаза и сложил руки на груди. — А теперь… — Он забормотал монотонным голосом: — Я больше никогда, никогда, никогда не буду двигаться. — Его тело, ровно лежащее между ними, на мгновение действительно показалось им мертвым.

— Что за жуткая игра, мистер Хьюит! — закричала миссис Торнбери.

— Нам еще кекса, — сказал Артур.

— Уверяю вас, в ней нет ничего жуткого, — ответил Хьюит, садясь и беря в руки кекс. — Это так естественно. Родители должны заставлять детей делать это упражнение каждый вечер… Это не значит, что я хочу поскорее умереть.

— Говоря «могила», — сказал мистер Торнбери, который до этого почти не раскрывал рта, — вы что, имеете какие-либо основания называть эти руины могилой? Я с вами совершенно согласен, если вы, вопреки общепринятому мнению, отказываетесь признать в них елизаветинскую сторожевую башню, — так же, как я не верю, что кольцевидные насыпи или валы, которые мы находим на вершинах известковых холмов у нас в Англии, — это следы стоянок. Археологи все называют стоянками. А где, по-вашему, наши предки держали скот? Половина английских стоянок — это просто древние загоны или скотные дворы, как говорят в наших краях. Довод, что никто не станет держать скот на таких видных, но труднодоступных местах, в моих глазах силы не имеет — следует вспомнить, что в те времена скот был главным достоянием человека, его

капиталом, приданым его дочери. Без скота он был крепостным, чьей-то собственностью… — Глаза мистера Торнбери постепенно потухли, и несколько заключительных слов он пробормотал уже совсем неслышно, выглядя очень старым и жалким.

Хьюлинг Эллиот, которому полагалось вступить в спор со стариком, в этот момент отсутствовал. Однако вскоре он подошел, демонстрируя большой хлопчатобумажный платок с затейливым рисунком. На фоне ярких красок рука мистера Эллиота казалась бледной.

— Выгодная покупка, — объявил он, кладя платок на скатерть. — Приобрел у того здоровяка с серьгами. Хорош, правда? Подойдет он, конечно, не каждой, но в том-то и штука — верно, Хильда? Это для миссис Рэймонд Перри.

— Миссис Рэймонд Перри! — хором вскрикнули Хелен и миссис Торнбери и посмотрели друг на друга, как будто туман, дотоле скрывавший их лица, сдуло ветром.

— А, вы тоже бывали на этих чудесных приемах? — с интересом спросила миссис Эллиот.

Гостиная миссис Перри тут же возникла у них перед глазами, хотя она находилась за несколько тысяч миль, за огромной полосой воды, на ут-

лом клочке суши. Словно до этого у них не было опоры, за которую можно было бы зацепиться, а теперь они обрели ее и вместе с нею — определенность в глазах друг друга. Возможно, они бывали в этой гостиной одновременно или встречались, проходя по лестнице. Во всяком случае, у них были общие знакомые. Женщины оглядывали друг друга с новым интересом. Впрочем, им пришлось ограничиться взглядами, потому что вкусить плоды открытия времени не было. Их уже ждали ослы — следовало побыстрее начинать спуск, поскольку в этих краях вечерело так быстро, что они могли не успеть домой дотемна.

По очереди усаживаясь в седла, люди двинулись вереницей вниз по склону. Изредка они перебрасывались репликами, иногда шутили и смеялись. Кто-то часть пути шел пешком, собирая цветы и пиная камни, которые, подскакивая, катились вперед.

— Кто в вашем колледже лучше всех пишет латинские стихи, Хёрст? — без повода спросил мистер Эллиот, и мистер Хёрст ответил, что не имеет никакого представления.

Сумерки сгустились внезапно — как и предупреждали местные проводники. Впадины горы по обе стороны заполнились мраком, и тропу

стало почти не видно — было даже странно слышать, что ослиные копыта все так же стучат по камням. Люди по одному затихали, пока наконец не погрузились в полное молчание, как будто густая синь окружающего пространства пробрала их до глубины души. В темноте путь показался короче, чем днем, и вскоре на равнине внизу забрезжили огни городка.

Вдруг кто-то вскрикнул: «Ах!»

Через мгновение снизу опять медленно поднялась в небо яркая желтая капля. Она остановилась, распустилась, как цветок, и рассыпалась дождем.

— Фейерверк! — закричали путники.

Еще одна шутиха взлетела быстрее, а потом еще одна. Казалось, что даже слышно, как они шипят, вертясь в воздухе.

— Наверное, день какого-нибудь святого, — раздался чей-то голос.

Ракеты взмывали в воздух и сливались между собой с таким экстазом, что напоминали любовников, соединяющихся во внезапном приступе страсти на глазах толпы, которая наблюдает за ними с вытянутыми бледными лицами. Но Сьюзен и Артур, съезжая по склону горы, не сказали друг другу ни слова и предусмотрительно держа-

лись порознь.

Постепенно вспышки фейерверка стали реже, а вскоре вовсе прекратились, и остаток пути был преодолен в почти полной темноте. Гора нависала сзади огромной тенью, а маленькие тени кустов и деревьев выплескивали мрак на дорогу. Под платанами путники спешно расселись по своим повозкам и отбыли, не попрощавшись друг с другом или сделав это глухо и нечленораздельно.

Было так поздно, что между прибытием в гостиницу и отправкой ко сну уже не нашлось времени для обмена впечатлениями. Однако Хёрст все-таки забрел в номер Хьюита, держа в руке свой воротничок.

— Что ж, Хьюит, — заметил он, широко зевнув, — успех потрясающий, я считаю. — Он опять зевнул. — Только смотри, чтобы тебя не заарканила эта девица… Не люблю девиц.

Хьюита так клонило в сон после многочасовой прогулки, что он не смог произнести ни слова в ответ. Да и все остальные участники вылазки через десять минут уже спали, как убитые, — за исключением Сьюзен Уоррингтон. У ее кровати горела лампа, и она довольно долго лежала, уставившись в стену напротив и сложив руки на

груди. Все оформленные мысли давно ее покинули; ее сердце как будто разрослось до размеров солнца и освещало изнутри все тело, излучая ровное солнечное тепло.

— Я счастлива, я счастлива, я счастлива, — повторяла она. — Я всех люблю. Я счастлива.

Глава 12

Когда помолвка Сьюзен была одобрена ее домашними и в гостинице о ней смогли узнать все, кому это было интересно, — а к тому времени гостиничное сообщество разделилось как раз на те группки, которые описал мистер Хёрст, говоря о воображаемых меловых кругах, — возникла идея, что новость стоит отметить. Экспедицией? Но она уже была проведена. Тогда — танцы. Танцы хороши были тем, что они заняли бы один из долгих вечеров, чреватых скукой, которая не лечится бриджем и немыслимо рано загоняет в постель.

Два или три человека, стоявшие в холле под вздыбленным чучелом леопарда, решили дело очень быстро. Эвелин протанцевала шажок-другой туда-сюда и объявила, что пол превосходный. Синьор Родригес сообщил о старом испанце-скрипаче, который играет на свадьбах, причем так,

что даже черепаху заставит вальсировать; а еще у него есть дочь — она, хотя и наделена черными, как смоль, глазами, имеет ту же власть над роялем. А если найдутся такие, кто предпочтет сидячие развлечения пляскам и наблюдению за ними — в силу недомогания либо природной угрюмости, то им будут предоставлены гостиная и бильярдная. Хьюит взялся по возможности умиротворить неприсоединившихся. Теорию Хёрста о невидимых меловых кругах он полностью игнорировал. Ему, конечно, пришлось выслушать одну-две сварливые отповеди, зато он нашел несколько одиноких неприметных господ, которые были рады случаю побеседовать с себе подобным, а также даму сомнительного свойства — она, судя по всему, намеревалась в ближайшем будущем поведать ему свою историю. Он понял, что два-три часа между ужином и отходом ко сну для многих были наполнены тоской, потому что они не смогли найти себе друзей, и это было печально.

Танцы условились устроить в пятницу, через неделю после помолвки, и в этот день за ужином Хьюит объявил, что удовлетворен.

— Они все придут! — сказал он Хёрсту.

Он увидел, что вслед за официантом, несшим

суп, проскользнул Уильям Пеппер с брошюрой под мышкой.

— Пеппер! Мы надеемся, что вы откроете бал.

— Заснуть вы точно никому не дадите, — отозвался Пеппер.

— Вы танцуете с мисс Аллан, — продолжил Хьюит, справившись в своем списке.

Пеппер остановился и начал лекцию о круговых танцах, контрдансах, моррисах и кадрилях, которые стоят неизмеримо выше, чем ублюдочный вальс и шельмовская полька, самым возмутительным образом завладевшие любовью современной публики… Но тут официанты бережно подтолкнули оратора в угол, к его столу.

В это время столовая удивительно напоминала двор фермы, на котором рассыпано зерно и куда слетаются яркие голуби. Почти все дамы были в платьях, впервые представляемых на суд местной публики, а прически их вздымались волнами и спиралями, походя более на резное дерево в готических храмах, чем на волосы. Ужин был короче и менее формальным, чем обычно, казалось, даже официанты заражены всеобщим волнением. За десять минут до того, как часы пробили девять, комитет устроителей прошествовал через бальный зал. Холл, очищенный от

мебели, ярко освещенный, украшенный цветами, которые источали аромат, чудесно преобразился в воплощение возвышенной веселости.

— Как звездное небо в безоблачную ночь, — прошептал Хьюит, окидывая взглядом просторное и пока пустое помещение.

— Пол, во всяком случае, божественный, — добавила Эвелин, слегка разбежавшись и проскользив несколько футов.

— А как насчет портьер? — спросил Хёрст. Малиновые портьеры полностью скрывали широкие окна. — Там чудесный вечер.

— Да, но портьеры придают уверенности, — сказала мисс Аллан. — Когда бал будет в разгаре, можно будет их раздвинуть. Даже окна слегка приоткрыть… А если сделать это сейчас, пожилые люди испугаются сквозняков.

Ее доводы были признаны разумными. Пока шла эта беседа, музыканты доставали свои инструменты, а скрипка еще и еще раз повторяла ноту, извлеченную из рояля. Все было готово.

После нескольких минут тишины отец, дочь и ее муж, игравший на рожке, выдали один аккорд. Словно крысы на зов дудочки, в дверях сразу же появились люди. Последовал еще один аккорд, а затем трио разразилось победоносным вальсом.

В зал как будто хлынул поток воды. Секунду поколебавшись, сначала одна пара, затем другая бросились на середину течения и закружились в водоворотах. Ритмичный шелестящий свист платьев напоминал журчание быстрой реки. Постепенно стало ощутимо жарче. Запах лайковых перчаток смешивался с пряным ароматом цветов. Водовороты крутились все быстрее и быстрее, пока музыка, сделав последний взлет, не рухнула в тишину, отчего танцевальные круги распались на отдельные фрагменты. Пары разбрелись в разных направлениях, обнажив тонкий ряд пожилых людей, прилипших к стенам; на полу остались лежать где кусочек кружева, где носовой платок или цветок. Выдержав паузу, музыка зазвучала вновь, водовороты закружились, затянули в себя танцующие пары, и опять — финальный удар, от которого круги разлетелись на части.

Когда это повторилось раз пять, Хёрст, который стоял, прислонившись к оконной раме и походя на одинокую химеру, заметил в дверях Хелен Эмброуз и Рэчел. Там было так тесно, что они не могли пошевелиться, но Хёрст узнал их, разглядев плечо Хелен и вертящуюся по сторонам голову Рэчел. Он пробрался к ним и был встречен при-

ветствиями, в которых слышалось облегчение.

— Мы испытываем адские муки, — сказала Хелен.

— Именно так я и представляла себе ад, — поддержала ее Рэчел.

Ее глаза ярко блестели, и она выглядела растерянной.

Хьюит и мисс Аллан, которые усердно вытанцовывали, остановились, чтобы поздороваться с пришедшими.

— Очень приятно вас видеть, — сказал Хьюит. — А где мистер Эмброуз?

— Пиндар, — ответила Хелен. — Может замужняя женщина, которой в октябре минуло сорок, потанцевать? Мне не терпится. — Она как будто перетекла к Хьюиту, и они оба исчезли в толпе.

— Мы должны последовать их примеру, — сказал Хёрст Рэчел и решительно взял ее под локоть. Рэчел, не будучи искушенной плясуньей, танцевала тем не менее хорошо, поскольку обладала чувством ритма, зато Хёрст не имел никакой склонности к музыке. За несколько танцевальных уроков в Кембридже он усвоил анатомию вальса, но духом его нисколько не проникся. После первого же тура они поняли, что их подходы несовместимы: вместо того, чтобы составить

одно целое, их тела существовали по отдельности, выступали неуклюжими углами, отчего было невозможно совершить плавный поворот, и все время случались столкновения с другими танцующими.

— Остановимся? — предложил Хёрст. Рэчел поняла по его лицу, что он раздражен.

Они побрели к стульям в углу, от которых был виден весь зал. В нем все еще колыхались желто-зеленые волны, расчерченные черными полосами мужских костюмов.

— Занятное зрелище, — заметил Хёрст. — Вы в Лондоне танцуете? — И он, и она дышали учащенно, оба были слегка взволнованы, хотя каждый старался этого не показывать.

— Почти нет. А вы?

— Мои родители дают бал каждое Рождество.

— Здесь совсем не плохой пол, — сказала Рэчел. Хёрст не сделал даже попытки ответить на эту банальность. Он сидел молча и смотрел на танцующих. Через три минуты молчание стало настолько невыносимо для Рэчел, что она просто вынуждена была сделать еще одно пошлое замечание о том, как чудесен вечер. Хёрст безжалостно оборвал ее.

— Что за ерунду вы на днях говорили насчет

своего христианства и необразованности? — спросил он.

— Фактически это правда. Но зато я очень хорошо играю на рояле. Наверное, лучше, чем любой в этом зале. А вы самый незаурядный человек в Англии, да? — робко спросила она.

— Один из трех, — поправил Хёрст.

Хелен, крутясь, пролетела мимо и бросила веер на колени Рэчел.

— Она очень красива, — заметил Хёрст.

Они вновь умолкли. Рэчел гадала, находит ли он ее миловидной; Сент-Джон думал, как все-таки трудно беседовать с девушками, лишенными жизненного опыта. Ведь Рэчел наверняка ничего не видела, ничего не перечувствовала, не передумала, она может быть и умной, и такой же, как все. Но в его памяти, как заноза, сидел упрек Хьюита: «Ты не умеешь общаться с женщинами», — поэтому теперь он твердо решился не упустить возможность. Вечерний наряд Рэчел сообщал ей некоторую нереальность и необычность — как раз в той мере, какая придает беседе с женщиной романтический ореол и возбуждает желание с ней говорить, и это раздражало Хёрста, поскольку он не знал, с чего начать. Он взглянул на нее, и она показалась ему очень далекой и

непонятной, очень юной и целомудренной. Вздохнув, он начал:

— Теперь о книгах. Что вы читали? Только Шекспира и Библию?

— Из классики я прочла мало, — сообщила Рэчел. Ее немного тревожила его довольно натужно бодрая манера общения, а его личные достижения заставляли ее весьма скромно оценивать свои способности.

— Вы хотите сказать, что дожили до двадцати четырех лет, не прочитав Гиббона? — возмутился он.

— Да.

— Mon dieu! — всплеснул руками Хёрст. — Завтра же начинайте читать. Я вышлю вам книгу. Вот что я хотел бы понять… — Он посмотрел на нее критически. — Видите ли, вопрос в том, можно ли вообще с вами говорить по-настоящему? Есть ли у вас ум или вы такая же, как остальные представительницы вашего пола? Вы кажетесь мне до смешного юной в сравнении с мужчинами вашего возраста.

Рэчел взглянула на него, но ничего не сказала.

— Итак, Гиббон, — продолжил Хёрст. — Как думаете, вы способны понять его? С другой стороны — это проверка. Судить о женщинах ужасно

трудно. Что можно отнести за счет недостатка образования, а что — за счет природной неспособности? Сам я не вижу причин, почему вы могли бы его не понять, — но ведь вы, наверное, вели до сих пор довольно нелепое существование. Представляю, как вы чинно гуляете парами, с распущенными волосами.

Музыка опять заиграла. Взгляд Хёрста блуждал по залу в поисках миссис Эмброуз. Как бы ему ни хотелось завязать дружбу с Рэчел, он понимал, что дело не клеится.

— Я очень хочу дать вам книги, — сказал он, застегивая перчатки и поднимаясь со стула. — Мы еще встретимся. А сейчас я ухожу.

Он встал и покинул ее.

Рэчел огляделась. Она чувствовала себя, как ребенок на празднике, окруженный враждебными незнакомыми лицами с крючковатыми носами и ехидными безразличными глазами. Рядом была застекленная дверь, Рэчел толчком открыла ее и вышла в сад. Ее глаза наполнились слезами гнева.

— Будь он проклят! — воскликнула она с интонацией Хелен. — Проклятый наглец!

Она стояла в бледном прямоугольнике света, который бросала на траву открытая ею дверь.

Перед ней вздымались темные массы деревьев. Она стояла и смотрела на них, слегка дрожа от гнева и волнения. Позади себя она слышала топот и шарканье танцующих и ритмичные наплывы вальса.

— Вот деревья, — сказала она вслух. Могут ли деревья возместить урон, причиненный ей Сент-Джоном Хёрстом? Она представила, что она персидская принцесса, живущая вдали от цивилизации, что она в одиночку катается на лошади по горам, а вечером приказывает служанкам петь для нее — подальше от всего этого, от борьбы мужчин и женщин… Тут из тьмы вышла фигура; на фоне ее черноты горел красный огонек.

— Мисс Винрэс, это вы? — спросил Хьюит, всматриваясь в нее. — Вы танцевали с Хёрстом?

— Он вывел меня из себя! — яростно крикнула Рэчел. — Никто не имеет права на такую наглость!

— Наглость? — переспросил Хьюит, удивленно вынимая сигару изо рта. — Хёрст — наглец?

— Какая наглость… — начала Рэчел и замолчала. Она точно не знала, что ее так разозлило. С огромным усилием девушке удалось взять себя в руки. — Что ж, — сказала она, представив Хелен и ее насмешки, — наверное, я дура. — Она сдела-

ла движение в сторону танцевального зала, но Хьюит остановил ее.

— Прошу вас, объясните, что произошло, — попросил он. — Уверен, что Хёрст не хотел вас обидеть.

Рэчел попыталась это сделать, но обнаружила, что не может. В том, что она гуляла с распущенными волосами, она не видела ничего несправедливого и ужасного, как и не могла объяснить, почему уверенность Хёрста в своем превосходстве, в том, что он больше ее умудрен жизнью, казалась ей не только досадной, но и отвратительной — как будто у нее перед носом захлопнули дверь. Прохаживаясь туда-сюда по террасе, она сказала Хьюиту с горечью:

— Это ни к чему хорошему не приводит; мы должны жить отдельно; мы не можем понять друг друга; мы пробуждаем друг в друге самое плохое.

Хьюит отверг ее обобщения о природе полов, поскольку они нагоняли на него скуку и казались в корне неверными. Однако, зная Хёрста, он вполне мог догадаться, что случилось, и, хотя в глубине души это было ему приятно, он считал, что Рэчел не должна строить на этом происшествии свои представления о жизни.

— Теперь вы его невзлюбите, — сказал он. — И зря. Бедняга Хёрст в плену у своих теорий. Поверьте, мисс Винрэс, он старался, как мог. Он сделал вам комплимент, он пытался… Он пытался… — Хьюит не смог договорить, потому что его душил смех.

Рэчел внезапно обернулась и тоже расхохоталась. Она поняла, что в Хёрсте есть что-то смешное, а возможно, и в ней самой.

— Наверное, у него такой способ заводить друзей, — смеясь, проговорила она. — Тогда и я сыграю свою роль. Начну так: «Хотя внешность у вас уродливая, а образ мыслей гадкий, мистер Хёрст…»

— Правильно! — вскричал Хьюит. — Так с ним и надо. Поймите, мисс Винрэс, вы должны быть к Хёрсту снисходительны. Он всю жизнь провел, можно сказать, перед зеркалом, в прекрасной комнате, отделанной панелями, увешанной японскими гравюрами, обставленной чудесными старинными стульями и столиками, — и только одно цветовое пятно, на нужном месте, между окнами, скорее всего, он сидит там часами, положив ноги на каминную решетку, рассуждая о философии, о Боге, о своих печени и сердце и о сердцах своих друзей. Они все разбиты. Нельзя

требовать от него совершенства в танцевальном зале. Ему нужно уютное, накуренное, мужское пристанище, где он может вытянуть ноги и говорить лишь тогда, когда ему есть что сказать. По мне это довольно тоскливо. Но я это уважаю. Юмор — не их стезя. И серьезные вещи они воспринимают очень серьезно.

Описание образа жизни Хёрста так заинтересовало Рэчел, что она почти забыла личные претензии и опять почувствовала к нему уважение.

— Значит, они очень умные? — спросила она.

— Разумеется. Что касается мозгов, я думаю, он тогда сказал правду: они умнейшие люди в Англии. Но — за него надо взяться. В нем очень много нераскрытого. Над ним кто-то должен смеяться… Представляю, как Хёрст говорит вам, что у вас нет опыта! Бедолага!

Пока они, беседуя, прогуливались по террасе, невидимая рука раздвинула портьеры по очереди на всех окнах, и прямоугольники света через равные промежутки легли на траву. Хьюит и Рэчел остановились и, заглянув в гостиную, увидели, что там в одиночестве за столом сидит мистер Пеппер и что-то пишет.

— Сочиняет письмо своей тетке, — сказал Хью-

ит. — Вероятно, замечательная престарелая дама. Он рассказывал, что ей восемьдесят пять лет и он возит ее гулять в Нью-Форест…[40] Пеппер! — крикнул он, стуча по окну. — Идите исполнить свой долг! Мисс Аллан ждет.

Подойдя к окнам бального зала, они почувствовали, что танцевальный вихрь и ритмичная музыка непреодолимо тянут их к себе.

— Вы не против? — спросил Хьюит, и они, взявшись за руки, с упоением окунулись в водоворот. Это была лишь вторая их встреча, но во время первой они видели целующихся мужчину и женщину, а сейчас мистер Хьюит обнаружил, что молодая женщина в гневе очень похожа на ребенка. Поэтому, соединив руки в танце, они чувствовали себя необычайно легко.

Была полночь, бал достиг кульминации. Слуги подглядывали в окна; в саду здесь и там виднелись белые пятна — фигуры отдыхающих на воздухе парочек. Миссис Торнбери и миссис Эллиот сидели рядом под пальмой, держа на коленях веера, носовые платки и брошки, отданные им на хранение раскрасневшимися девицами. Время от времени они обменивались

---

[40] Примечания: 40

Нью-Форест — живописный лесистый район в Южной Англии.

замечаниями.

— Мисс Уоррингтон действительно выглядит счастливой, — сказала миссис Эллиот. Обе улыбнулись, и обе вздохнули.

— Он человек с характером, — сказала миссис Торнбери, имея в виду Артура.

— А характер — это как раз то, что нужно, — рассудила миссис Эллиот. — А этот молодой человек довольно умен, — добавила она, кивнув на Хёрста, проходившего мимо под руку с мисс Аллан.

— На вид он не слишком крепок, — сказала миссис Торнбери. — Телосложение не очень. Оторвать? — спросила она у Рэчел, которая остановилась, почувствовав, что за ней волочится длинная кружевная лента.

— Надеюсь, вам хорошо? — осведомился Хьюит.

— Мне все это так знакомо! — улыбнулась миссис Торнбери. — Я вырастила пять дочерей, и все они обожали танцы! Вы тоже любите, мисс Винрэс? — Она посмотрела на Рэчел материнским взглядом. — Я в вашем возрасте очень любила. Как я выпрашивала у мамы разрешение остаться подольше! А теперь я сочувствую бедным матерям, но и дочерей тоже вполне понимаю!

Она улыбнулась Рэчел — сочувственно, но с

хитрецой.

— Похоже, им есть о чем поговорить, — сказала миссис Эллиот, со значением посмотрев вслед удаляющейся парочке. — Вы заметили тогда, на пикнике? Только он и сумел разговорить ее.

— Ее отец — очень интересный человек, — сообщила миссис Торнбери. — У него одна из крупнейших судовых компаний в Халле. Он весьма разумно ответил мистеру Асквиту на последних выборах, помните? Примечательно, что человек с его опытом — убежденный протекционист.

Она хотела бы поговорить о политике, которая интересовала ее больше, чем чья-то личная жизнь, но миссис Эллиот предпочитала обсуждать дела империи только в менее абстрактной форме.

— До меня доходят жуткие сообщения из Англии о крысах, — сказала она. — Моя золовка живет в Норидже, так она пишет, что стало небезопасно покупать птицу. Из-за чумы — ею болеют крысы, а от них заражаются и другие животные.

— И местные власти не принимают должные меры? — спросила миссис Торнбери.

— Об этом она умалчивает. Но пишет, что образованные люди ведут себя крайне безраз-

лично, — а уж они-то должны понимать, что к чему. Конечно, моя золовка из этих современных женщин, которые во всем принимают участие, знаете — многие ими восхищаются, хотя не понимают их, во всяком случае, я — не понимаю. Впрочем, у нее железное здоровье.

Миссис Эллиот вздохнула, вспомнив о собственной болезненности.

— Какое подвижное лицо, — сказала миссис Торнбери, взглянув на Эвелин М., которая остановилась недалеко от них, чтобы приколоть к груди алый цветок. Он не хотел держаться, и Эвелин с жестом нетерпения воткнула его в петлицу своего кавалера. Это был высокий меланхолический юноша, принявший подарок, как рыцарь принял бы талисман от своей дамы.

— Очень утомительно для глаз, — пожаловалась миссис Эллиот, понаблюдав несколько минут за желтым кружением, почти все участники которого были ей неизвестны ни по имени, ни в лицо. Вырвавшись из толпы, к дамам подошла Хелен и подвинула свободный стул.

— Можно посидеть с вами? — спросила она, улыбаясь и часто дыша. — Наверное, мне должно быть стыдно, — продолжила она, садясь, — в моем-то возрасте.

Она была румяна и оживлена, поэтому ее красота казалась особенно яркой, и обеим дамам захотелось прикоснуться к Хелен.

— Я просто наслаждаюсь. — Она никак не могла отдышаться. — Движение — это так прекрасно, не правда ли?

— Я много раз слышала, что для хорошего танцора ничто не может сравниться с танцем, — сказала миссис Торнбери, глядя на нее с улыбкой.

Хелен слегка раскачивалась, будто сидела на пружинах.

— Я могла бы танцевать вечно! — воскликнула она. — Зря они себя сдерживают! Надо прыгать, скакать, летать! Только посмотрите, как они топчутся!

— Вы видели этих чудесных русских танцоров? — начала миссис Эллиот, но Хелен заметила, что к ней идет ее кавалер, и встала, как встает луна. Она уже протанцевала половину зала, когда дамы оторвали от нее взгляды, поскольку не могли не восхищаться ею, хотя им и казалось немного странным, что женщине ее возраста так нравится плясать.

Как только Хелен на минуту осталась одна, к ней тут же подошел Сент-Джон Хёрст, выжидавший такой момент.

— Вы не могли бы посидеть со мной? — спросил он. — Я совершенно не способен к танцам. — Он увел Хелен в угол, где стояли два кресла, создававшие некое подобие интимности. Еще несколько минут после того, как они сели, Хелен не могла говорить, находясь под влиянием танца.

— Поразительно! — воскликнула она наконец. — Как она представляет собственное тело? — Замечание касалось проходившей мимо дамы, которая скорее ковыляла, чем шла, опираясь на руку толстяка с пухлым белым лицом и зелеными глазами навыкате. Поддержка была ей необходима, поскольку она была очень полной и так затянута, что верхняя часть тела значительно выдавалась вперед, а ноги могли только семенить маленькими шажками из-за крайней узости юбки. Само же платье состояло из небольшого куска блестящего желтого шелка, беспорядочно украшенного круглыми бляшками из бисера голубого и зеленого цвета, и должно было имитировать грудь павлина. На вершине прически, напоминавшей средневековый замок, торчало лиловое перо, а короткая шея была обхвачена черной бархатной лентой, усеянной драгоценными камнями; золотые браслеты врезались в плоть ее жирных рук, облаченных в перчатки.

У нее было лицо нахального и жизнерадостного поросенка, усеянное красными пятнышками, которые проступали сквозь пудру.

Сент-Джон не мог рассмеяться вместе с Хелен.

— Отвратительно, — сказал он. — Меня от всего этого тошнит… Представьте, что в головах у этих людей, что они чувствуют. Вы не согласны?

— Каждый раз даю себе клятву не ходить ни на какие сборища, — ответила Хелен. — И всегда нарушаю.

Она откинулась на спинку кресла и насмешливо посмотрела на молодого человека. Она видела, что он искренне рассержен, но в то же время слегка взволнован.

— Впрочем, — сказал он, возвращаясь к своему бодрому тону, — наверное, с этим надо просто смириться.

— С чем?

— На свете никогда не будет больше пяти человек, с которыми стоит общаться.

Постепенно румянец и оживление сошли с лица Хелен, и она стала спокойной и внимательной, как всегда.

— Пять человек? Признаюсь, я встречала больше.

— Вам очень повезло, — сказал Хёрст. — Или

мне очень не повезло. — Он помолчал, а потом вдруг спросил: — По-вашему, со мною очень трудно общаться?

— Это можно сказать обо всех умных людях, когда они молоды, — ответила Хелен.

— Да, конечно, умен я исключительно, — сказал Хёрст. — Я бесконечно умнее Хьюита. Возможно, — продолжил он, как будто говоря о ком-то другом, — я стану одним из тех, кто действительно определяет жизнь общества. Это, конечно, совсем другое, чем быть умным, но нельзя ожидать от близких, чтобы они это понимали, — добавил он с горечью.

Хелен решила, что имеет право на вопрос:

— А с близкими вам тоже трудно?

— Невыносимо… Они хотят, что бы я стал пэром и членом Тайного совета. Я уехал сюда отчасти и для того, чтобы это как-то утряслось. Я должен решить: либо пойти в адвокатуру, либо остаться в Кембридже. Конечно, и то и другое меня не совсем устраивает, но, пожалуй, Кембридж все-таки предпочтительнее. Вот из-за этого всего. — Он указал рукой на переполненный зал. — Отвратительно. Я понимаю, какую огромную силу имеют личные привязанности людей. Конечно, я не так этому подвержен, как Хьюит. К некоторым людям

я, признаться, испытываю большую симпатию. Ну, например, моя мать достойна каких-то добрых слов, хотя во многих отношениях она весьма удручает… В Кембридже, разумеется, я неизбежно стану одним из самых видных людей, но есть кое-какие причины, по которым Кембридж меня ужасает… — Хёрст умолк, а потом спросил: — Я кажусь вам кошмарным занудой? — Только что он был другом, изливающим душу, но внезапно превратился в любезного молодого человека на светском приеме.

— Нисколько, — сказала Хелен. — Мне очень интересно.

— Вы не можете представить, — воскликнул он, чуть ли не со слезой в голосе, — что такое найти человека, с которым можно говорить! Увидев вас, я сразу почувствовал, что вы сможете понять меня. Мне очень симпатичен Хьюит, хотя он не имеет ни малейшего представления обо мне. До вас я не встречал ни одной женщины, которая хоть сколько-нибудь воспринимала то, что я говорю.

Начинался следующий танец. Заиграли баркаролу из «Сказок Гофмана»[41], Хелен не удержа-

---

[41] Примечания: 41

«Сказки Гофмана» (1880) — опера Жака Оффенбаха (1819–1880).

лась и стала постукивать носком в такт музыке, хотя понимала, что после такого комплимента нельзя подняться и уйти танцевать. Ей было не только интересно, но и лестно, и ее привлекала его искренняя вера в свою исключительность. Она чувствовала, что, несмотря на столь высокое самомнение, он несчастлив, и у нее хватало душевного тепла, чтобы выслушать его исповедь.

— Я очень старая, — вздохнула она.

— Удивительно, мне вы совсем не кажетесь старой, — сказал Хёрст. — Такое ощущение, будто мы с вами одного возраста. Более того… — Тут он заколебался, но, взглянув на Хелен, почувствовал себя смелее: — Мне кажется, я могу говорить с вами так же свободно, как с мужчиной, — об отношениях между полами, и… о…

Несмотря на всю его уверенность в себе, он слегка покраснел.

Она сразу же развеяла его сомнения смехом и восклицанием:

— Надеюсь!

Он посмотрел на нее с благодарностью, и морщинки около его носа и рта впервые разгладились.

— Слава богу! — воскликнул он. — Теперь мы можем вести себя как цивилизованные люди.

Было очевидно, что пал обычно нерушимый барьер и стало можно обсуждать те деликатные вопросы, на которые мужчины и женщины лишь намекают в разговорах между собой, да и то, когда рядом врачи или над кем-то нависла тень смерти. Через пять минут он уже излагал ей историю своей жизни. Рассказ был долгий, полный слишком подробных описаний, за ним последовала дискуссия о принципах, лежащих в основе морали, а затем они коснулись и таких весьма волнующих тем, которые даже в этом шумном зале можно было обсуждать только шепотом — не дай бог, подслушает кто-нибудь из расфуфыренных дам или ослепительных коммерсантов и потребует, чтобы они покинули помещение. Когда беседа иссякла, или — если выразиться точнее — когда Хелен дала понять небольшим ослаблением внимания, что сидят они уже достаточно долго, Хёрст встал и воскликнул:

— Значит, для всей этой секретности нет никаких причин!

— Никаких, кроме той, что мы англичане, — последовал ответ. Она взяла его под руку, и они пересекли зал, с трудом петляя между вертящимися парами, которые выглядели уже порядком растрепанными, — критический взгляд не усмот-

рел бы в них ни капли очарования. Долгий разговор и волнение оттого, что каждый из них обрел нового друга, вызвали у Хелен и Хёрста острый голод, и они направились в столовую, где уже было много людей, подкреплявшихся за маленькими столиками. В дверях они встретили Рэчел, которая уже не в первый раз шла танцевать с Артуром Веннингом. Она была румяна, выглядела очень счастливой, и Хелен пришло в голову, что в таком настроении она гораздо привлекательнее, чем большинство девушек. Никогда раньше Хелен не видела этого с такой ясностью.

— Тебе хорошо? — спросила она, когда они на секунду оказались рядом.

— Мисс Винрэс, — ответил за Рэчел Артур, — только что призналась мне: она даже не представляла, что танцы могут доставлять столько радости.

— Да! — воскликнула Рэчел. — Я полностью изменила свой взгляд на жизнь.

— Неужели? — насмешливо спросила Хелен, и они разошлись.

— Очень характерно для Рэчел, — сказала Хелен. — Она меняет взгляды на жизнь почти каждый день. А знаете, мне кажется, вы именно

тот, кто мне нужен в помощники, — продолжила она, когда они сели, — чтобы завершить ее образование. Она воспитывалась практически в женском монастыре. Ее отец слишком нелеп. Я делаю, что могу, но я слишком стара, к тому же я женщина. Вы бы с ней поговорили, объяснили ей кое-что. Поговорите с ней так, как говорите со мной, а?

— Сегодня вечером я уже сделал одну попытку, — сказал Сент-Джон. — Сомневаюсь, что она была успешной. Она кажется мне такой юной, такой неопытной… Я обещал дать ей Гиббона.

— Ей нужен не совсем Гиббон, — задумчиво сказала Хелен. — Ей нужно что-нибудь о жизни, мне кажется. Вы меня понимаете? Что на самом деле происходит, что люди чувствуют, хотя обычно стараются это скрыть… Здесь нечего бояться. Это намного красивее, чем притворство, — и всегда гораздо интереснее, всегда лучше, я бы сказала, чем вон то. — Она кивнула в сторону стола, за которым две девушки и два молодых человека громко подшучивали друг над другом, ведя игривый и полный намеков диалог; в нем часто встречались восторженные отзывы то о паре чулок, то о паре ног. Одна из девушек быстро обмахивалась веером и делала вид, будто шоки-

рована. Смотреть на это было неприятно, в том числе и потому, что девушки, судя по всему, испытывали друг к другу скрытую враждебность. — К своему почтенному возрасту я, однако, начала понимать, — вздохнула Хелен, — что в конечном счете в подобных попытках нет особенного толка: человек всегда идет своим путем, на него ничто не может повлиять. — И она опять кивнула в сторону ужинающей компании.

Но Сент-Джон не согласился. Он сказал, что, по его мнению, очень многое могут изменить точка зрения, книги и тому подобное, и добавил, что в настоящее время мало что так важно, как просвещение женщин. Иногда ему кажется, что почти все определяется образованием.

В зале тем временем танцующие выстраивались квадратами для лансье. Артур и Рэчел, Сьюзен и Хьюит, мисс Аллан и Хьюлинг Эллиот составили пары.

Мисс Аллан взглянула на свои часы.

— Полвторого, — сообщила она. — А мне надо завтра закончить Александра Попа.

— Поп! — фыркнул мистер Эллиот. — Кто теперь читает Попа, интересно? А уж читать *о нем*... Нет-нет, мисс Аллан, поверьте, вы принесете миру гораздо больше пользы, танцуя, чем занимаясь

писаниной. — Это была очередная поза мистера Эллиота, она состояла в том, что ничего на свете не может сравниться с прелестью танца и нет ничего скучнее, чем литература. Таким образом он отчаянно пытался снискать расположение молодежи и доказать ей, что, хотя он женат на простушке, изможден и согбен бременем своей учености, все-таки в нем не меньше жизнелюбия, чем в самом юном из присутствующих.

— Это вопрос насущного хлеба с маслом, — спокойно сказала мисс Аллан. — Однако, кажется, все ждут меня. — Она заняла позицию и выставила черную туфлю с квадратным носком. — Мистер Хьюит, вы кланяетесь мне. — Сразу стало очевидно, что мисс Аллан — единственная, кто сносно знает движения танца.

После лансье был вальс, после вальса — полька, а потом случилось нечто ужасное: музыка, которая исправно звучала с пятиминутными перерывами, вдруг прекратилась. Женщина с большими черными глазами начала пеленать скрипку в шелковую ткань, а мужчина аккуратно уложил свой рожок в футляр. Их окружили пары, которые по-английски, по-французски и по-испански стали вымаливать у них еще один танец, всего один. Но старик пианист просто показал

на свои часы и отрицательно покачал головой. Он поднял воротник пиджака и достал красный шелковый шарф, который окончательно смазал его щегольскую внешность. Казалось странным, что музыканты бледны и глаза их тяжелы от усталости; всем своим видом они олицетворяли скуку и обыденность, как будто вершиной их желаний были кусок холодного мяса и пиво, а затем сразу постель.

Среди тех, кто упрашивал их продолжить, была и Рэчел. Когда они отказались, она стала переворачивать страницы танцевальных нот, лежавших на рояле. Почти все пьесы были в цветных обложках с изображениями романтических сцен: гондольеры, стоящие на лунном серпе; монашки, выглядывающие из-за решетки монастырского окна, или девушки с распущенными волосами, наставляющие пистолет на звезды. Рэчел вспомнила, что музыка, под которую они так весело плясали, как правило, навевала некие страстные сожаления по загубленной любви и невинным годам юности, отделяя танцующих от былого счастья горькой печалью.

— Понятно, почему они так затосковали, играя эти вещи, — рассудила она, прочитав несколько пассажей. — Это же на самом деле мелодии

церковных гимнов, только исполненные очень быстро, с кусочками из Вагнера и Бетховена.

— Вы играете? Вы сыграете? Что угодно, лишь бы под это можно было танцевать! — На нее со всех сторон посыпались требования проявить свой дар пианистки, и ей пришлось согласиться. Очень скоро она исчерпала все танцевальные пьесы, которые смогла вспомнить, и продолжила мелодией из сонаты Моцарта.

— Но это не танец, — сказал кто-то, остановившись у рояля.

— Танец, — ответила Рэчел, уверенно кивнув головой. — А движения изобретите сами. — Не сомневаясь в мотиве, она стала просто подчеркивать ритм, чтобы облегчить задачу. Хелен поняла ее мысль: схватив за руку мисс Аллан, она понеслась по залу, то останавливаясь для реверанса, то крутясь, то делая шажки из стороны в сторону, как ребенок, прыгающий по лужайке.

— Это танец для тех, кто не умеет танцевать! — прокричала она.

Мотив сменился менуэтом, и Сент-Джон с невероятным проворством начал скакать то на левой ноге, то на правой; музыка полилась мелодично, и Хьюит, ухватив фалды своего пиджака и раскачивая руками, проплыл по залу,

изображая чувственный фантастический танец индийской девушки, которая услаждает взор своего раджи. Далее последовал марш, и вперед выступила мисс Аллан; взявшись руками за юбку, она низко поклонилась помолвленной паре. Как только ноги танцующих улавливали ритм, с них слетала всякая скованность. От Моцарта Рэчел, не останавливаясь, перешла к старинным английским охотничьим и рождественским песням, к церковным гимнам, поскольку, как она заметила, любой хороший мотив, при некоторой обработке, вполне годится для танца. Постепенно все присутствующие пустились в пляс — кто парами, кто в одиночку. Мистер Пеппер резво показал оригинальный быстрый танец, почерпнутый из фигурного катания на коньках, по которому он некогда одержал победу на каких-то местных соревнованиях; а миссис Торнбери попыталась вспомнить старинный сельский танец, виденный ею давным-давно в Дорсетшире, в исполнении арендаторов ее отца. Что касается мистера и миссис Эллиот, то они галопировали по залу кругами с такой стремительностью, что другие танцоры содрогались при их приближении. Кое-кто брюзжал, что танцы превратились в бедлам; для других это была самая приятная

часть вечера.

— А теперь — большой хоровод! — прокричал Хьюит. Тут же составился огромный круг; танцующие, держась за руки и горланя «Кто знает Джона Пила»[42], кружились все быстрее, быстрее и быстрее, пока напряжение не возросло настолько, что одно звено цепи — миссис Торнбери — дало слабину, отчего участники разлетелись по залу во всех направлениях и оказались кто на полу, кто на стульях, а кто друг у друга в объятиях — кому как было удобнее.

Приходя в себя, запыхавшиеся и взъерошенные, они вдруг обнаружили, что у электрического света не стало хватать силы, чтобы наполнять собою пространство, и тут же инстинктивно множество глаз обратилось к окнам. Да — уже был рассвет. Пока они танцевали, ночь прошла и занялся новый день. Горы выглядели безмятежно и отрешенно, на траве искрилась роса, а небо было залито голубизной — лишь восток окрасился в бледно-желтые и розовые тона. Танцоры толпой ринулись к окнам, распахнули их и стали один за другим ступать на траву.

— Как глупо выглядят эти несчастные люст-

[42] Примечания: 42

«Кто знает Джона Пила» — популярная песня на стихи Джона Вудстока Грейвза (1795–1886).

ры, — сказала Эвелин М. странно приглушенным голосом. — И мы сами. Даже неприлично.

Это была правда: прически растрепались, зеленые и желтые драгоценные камни, которые час назад смотрелись так празднично, теперь приобрели дешевый и неряшливый вид. Лица немолодых дам пострадали особенно сильно, и они, будто чувствуя на себе критический взгляд, стали желать всем спокойной ночи и отправляться ко сну.

Хотя Рэчел лишилась публики, она продолжала играть для самой себя. От «Джона Пила» она перешла к Баху, которым в то время была особенно увлечена. Молодежь постепенно вернулась из сада и расселась по беспорядочно брошенным вокруг рояля позолоченным стульям. В зале стало так светло, что люстры были выключены. Люди сидели, слушали музыку, и нервы их успокаивались, жар и сухость их губ — следствие беспрестанного смеха и разговоров — мало-помалу прошли. Они сидели очень тихо, и перед их глазами будто росло в пустом пространстве огромное здание с колоннами и этажами — все выше и выше. Потом они увидели себя и свою жизнь и вообще жизнь всех людей, величественно шествующей под водительством музыки. Их

наполнило чувство собственной значимости, но, когда Рэчел перестала играть, у всех было лишь одно желание — спать.

Сьюзен встала.

— Мне кажется, это была самая счастливая ночь в моей жизни! — воскликнула она. — Обожаю музыку, — добавила она, пылко благодаря Рэчел. — Она как будто говорит то, что мы сами сказать не можем. — Сьюзен нервически хохотнула и посмотрела на окружающих с особой сердечностью, точно хотела что-то сказать, но не находила слов. — Все так добры, так добры… — произнесла она и тоже ушла спать.

Веселье кончилось внезапно — как это всегда бывает. Хелен и Рэчел в плащах стояли у подъезда, высматривая экипаж.

— Полагаю, вы понимаете, что экипажей не осталось, — сказал Сент-Джон, который выходил на поиски. — Поспите здесь.

— Нет-нет, — возразила Хелен. — Мы пойдем пешком.

— Можно и нам с вами? — спросил Хьюит. — Мы не можем лечь спать. Представьте, каково лежать среди подушек и смотреть на умывальник в такое утро. Вы вон там живете?

Они уже шли по аллее, и Хьюит, повернувшись,

указал на бело-зеленую виллу на склоне холма, которая стояла как будто с закрытыми глазами.

— Это там не свет горит? — встревоженно спросила Хелен.

— Это солнце, — сказал Сент-Джон. На каждом окне в верхнем ряду пылал золотой блик.

— Я испугалась, что это мой муж до сих пор читает греков. Все это время он редактировал Пиндара.

Они прошли через город и свернули на дорогу, круто поднимавшуюся вверх, — она была видна уже совсем ясно, только обочины терялись в тени. Говорили они мало — и от усталости, и оттого, что в утреннем свете чувствовали себя немного потерянно, — зато они глубоко вдыхали восхитительно свежий воздух, который, казалось, происходил из совсем другого мира, чем воздух полудня. Когда они подошли к высокой желтой стене, где от дороги ответвлялась аллея, Хелен выступила за то, чтобы отпустить молодых людей.

— Вы уже и так ушли слишком далеко, — сказала она. — Идите спать.

Но им явно не хотелось никуда идти.

— Давайте немного посидим, — предложил Хьюит. Он расстелил свой пиджак на земле. —

Посидим, поразмышляем.

Они сели и стали смотреть на бухту. Было очень тихо. Море подернула легкая рябь, на нем начинали проступать полосы зеленого и синего цвета. Кораблей пока видно не было, только пароход стоял в бухте на якоре, похожий в тумане на призрак; он издал один истошный вопль, и опять воцарилась тишина.

Рэчел заняла себя тем, что собирала один за другим серые камешки и складывала их в пирамидку. Она делала это очень спокойно и сосредоточенно.

— Так ты изменила свой взгляд на жизнь, Рэчел? — спросила Хелен.

Рэчел добавила очередной камешек и зевнула.

— Не помню, — сказала она. — Я чувствую себя, как рыба на дне моря. — Она опять зевнула. Никто из этих людей не был в силах испугать ее здесь, на рассвете, даже мистер Хёрст не вызывал у нее никакого напряжения.

— Мой мозг, наоборот, — заявил Хёрст, — находится в состоянии необычной активности. — Он сел в свою любимую позу — обхватив руками согнутые ноги и положив подбородок на колени. — Я все вижу насквозь, все без исключения. Для меня в жизни тайн больше нет. — Он говорил

с убеждением, но явно без расчета на отклик. Сидя рядом и чувствуя себя столь непринужденно, они все равно казались друг другу лишь тенями.

— А там внизу все эти люди сейчас ложатся спать, — мечтательно начал Хьюит, — думая каждый о своем. Мисс Уоррингтон, наверное, стоит на коленях; Эллиоты слегка встревожены: для них запыхаться — большая редкость, поэтому они хотят как можно скорее заснуть; потом еще этот тощий юноша, всю ночь танцевавший с Эвелин, он ставит свой цветок в воду и спрашивает себя: «Это любовь?» — а бедный Перротт, скорее всего, вообще не может заснуть и для утешения читает свою любимую греческую книжку; остальные же… Нет, Хёрст, — заключил он, — никакой простоты я не вижу.

— Я знаю, в чем секрет, — загадочно сказал Хёрст. Он все так же держал подбородок на коленях и неподвижно смотрел перед собой.

Последовала пауза. Затем Хелен встала и пожелала мужчинам спокойной ночи.

— Но, — сказала она, — помните, что вы непременно должны навестить нас.

Пожелав друг другу спокойной ночи, они расстались, но молодые люди не пошли сразу в гостиницу, а предпочли прогулку, во время ко-

торой они почти не разговаривали и ни разу не упомянули двух женщин, почти полностью занимавших их мысли. Им не хотелось делиться впечатлениями. В гостиницу они вернулись к завтраку.

Глава 13

На вилле было много комнат, но одна отличалась от всех остальных, потому что ее дверь была всегда закрыта и оттуда никогда не доносилось ни музыки, ни смеха. Все в доме смутно сознавали, что за этой дверью происходит нечто важное, и, не имея ни малейшего представления, что именно, неизменно помнили: если они пройдут мимо этой двери, она всегда будет закрыта, а если они станут шуметь, то это потревожит мистера Эмброуза. Одни действия считались похвальными, а другие — дурными, поэтому жизнь стала бы менее гармоничной, в ней добавилось бы хаоса, если бы мистер Эмброуз бросил редактировать Пиндара и начал кочевать по всем комнатам. Если же придерживаться определенных правил: соблюдать пунктуальность и тишину, хорошо готовить, выполнять другие необременительные обязанности, то оды одна за другой будут благополучно возвращены миру, — таким образом, все

принимали участие в жизни ученого. К сожалению, поскольку возраст возводит между людьми один барьер, ученость — другой, а пол — третий, мистер Эмброуз в своем кабинете находился все равно что за тысячу миль от самого близкого ему человека, который в этом доме не мог быть никем иным, как женщиной. Долгими часами Ридли сидел, окруженный белыми страницами книг, одинокий, как идол в пустом храме, неподвижный — если не считать перемещения его руки от одной стороны листа к другой — в полной тишине, которая лишь изредка нарушалась кашлем, заставлявшим его вынуть изо рта трубку и некоторое время держать ее на весу. Чем дальше он углублялся в сокровенные творения поэта, тем теснее его осаждали книги, лежавшие открытыми на полу; пройти через них можно было, лишь ступая очень осторожно, и это было настолько затруднительно, что посетители обычно останавливались и обращались к нему издалека.

На следующее утро после танцев Рэчел, однако, зашла в комнату дяди. Ей пришлось дважды позвать его: «Дядя Ридли!» — прежде чем он обратил на нее внимание.

Наконец, глянув поверх очков, он произнес:

— Ну?

— Мне нужна одна книга, — ответила Рэчел. — «История Римской империи» Гиббона. Можно взять?

Она увидела, как после ее вопроса постепенно изменился рисунок морщин на дядином лице. До того, как он начал говорить, лицо походило на гладкую маску.

— Пожалуйста, повтори, — сказал Ридли, то ли не расслышав, то ли не поняв.

Она повторила те же слова и при этом слегка покраснела.

— Гиббон! Зачем он тебе понадобился?

— Один человек посоветовал прочитать, — заикаясь, ответила Рэчел.

— Но я не вожу с собой разношерстную коллекцию историков восемнадцатого века! — воскликнул ее дядя. — Гиббон! Десять томов, как минимум.

Рэчел извинилась, что помешала, и повернулась, чтобы уйти.

— Стой! — крикнул дядя. Он положил трубку, отодвинул книгу в сторону, встал и медленно повел Рэчел по комнате, держа ее под руку.

— Платон, — сказал он, прикоснувшись пальцем к первой книжке в ряду небольших темных

томиков. — Рядом — Джорроксе[43], которому здесь не место. Софокл, Свифт. Немецкие комментаторы тебе ни к чему, я полагаю. Далее — французы. Ты читаешь по-французски? Почитай Бальзака. Затем — Вордсворт и Кольридж. Поп, Джонсон, Аддисон, Вордсворт, Шелли, Китс. Одно ведет к другому. С какой стати здесь Марло? Миссис Чейли, видимо. Но что пользы читать, если ты не читаешь по-гречески? С другой стороны, тому, кто читает по-гречески, не стоит читать ничего больше — чистейшая потеря времени. — Рассуждая таким образом — наполовину сам с собой — и делая быстрые движения руками, он, сопровождаемый Рэчел, замкнул круг и вернулся к баррикаде из книг на полу. Оба остановились. — Ну, — спросил он, — что ты выберешь?

— Бальзака, — сказала Рэчел. — А нет ли у вас «Речи об Американской революции», дядя Ридли?

— «Речи об Американской революции»? — переспросил он и опять пристально посмотрел на нее. — Еще один молодой человек на танцах?

— Нет, мистер Дэллоуэй, — призналась Рэчел.

— Боже правый! — Ридли откинул голову,

---

[43] Примечания: 43

«Прогулки и развлечения Джорроксе» — сборник охотничьих очерков английского писателя Роберта Смита Сертиза (1803–1864).

вспомнив мистера Дэллоуэя.

Рэчел наугад выбрала книгу и показала ее дяде, который, увидев, что это «Кузина Бетта»[44], посоветовал бросить, если роман покажется ей слишком противным. Она уже собралась уходить, но тут он спросил, понравились ли ей танцы.

Затем он пожелал узнать, что делают люди на балах, поскольку сам был на подобном мероприятии лишь однажды, тридцать пять лет назад, и тогда оно показалось ему до крайности бессмысленным и глупым. Неужели им по душе крутиться под пиликанье скрипки? А если они беседуют, говорят друг другу приятные вещи, то почему не делают этого в более подходящих условиях? Что касается его самого… Он вздохнул и указал на атрибуты своей деятельности, лежащие повсюду, и при этом, несмотря на вздох, на лице его отразилось такое удовлетворение, что его племянница заторопилась уходить. Это было ей позволено лишь после поцелуя и обещания выучить греческий алфавит, а также вернуть французский роман, когда она его прочитает, вслед за чем для нее будет найдено что-нибудь более подходящее.

---

[44] Примечания: 44

«Кузина Бетта» (1847) — роман Оноре де Бальзака (1799–1850).

Комнаты, в которых живут люди, производят не менее сильное впечатление, чем их лица, увиденные впервые, поэтому Рэчел спускалась по лестнице медленно, полная недоумения по поводу своего дяди, его книг, его пренебрежения к танцам и его странного, совершенно непонятного, но, видимо, вполне цельного, взгляда на жизнь. Тут внимание девушки привлекла записка с ее именем, лежавшая в передней. Адрес был написан убористым и четким почерком, ей незнакомым, а само послание, в котором отсутствовало обращение, гласило:

«Посылаю, как обещал, первый том Гиббона. Лично я считаю, что современные авторы не заслуживают серьезного обсуждения, но все-таки вышлю Вам Ведекинда[45], когда сам его дочитаю. Донн? Вы читали Вебстера[46] и всю эту компанию? Завидую, что Вы будете читать их впервые. Совершенно изнурен прошлой ночью. А Вы?»

Письмо завершалось витиеватой подписью, в которой Рэчел разобрала инициалы «С.-Дж. А. Х.».

---

[45] Примечания: 45

Франк Ведекинд (1864–1918) — немецкий писатель, предшественник экспрессионизма.

[46] Примечания: 46

Джон Вебстер (ок. 1580 — ок. 1625) — английский драматург.

Ей весьма польстило, что мистер Хёрст запомнил ее и так быстро выполнил свое обещание.

До обеда оставался еще час, и Рэчел, с Гиббоном в одной руке и Бальзаком в другой, миновав калитку, пошла по утоптанной грунтовой тропинке, сбегавшей с холма среди олив. Для того чтобы карабкаться в гору, было слишком жарко, зато в долине росли деревья, а вдоль русла реки пролегала поросшая травой тропа. В этом краю, где все население было сосредоточено в городах, можно было быстро оказаться вне цивилизации и потом лишь случайно набрести на ферму, во дворе которой женщины чистят красные коренья, или на мальчишку, окруженного стадом черных пахучих коз. Река представляла собой глубокую ложбину из сухих желтых камней с тонкой нитью воды на самом дне. На берегу росли те деревья, о которых Хелен сказала, что стоило плыть за море хотя бы ради того, чтобы их увидеть. Апрель заставил их бутоны распуститься, и среди глянцевых зеленых листьев виднелись крупные цветы с толстыми, будто вылепленными из воска лепестками удивительных кремовых, розовых и ярко-алых тонов. Но Рэчел шла, ничего не видя, поскольку была в том восторженном состоянии, какое обычно возникает безо всякой

видимой причины и преображает все вокруг — и землю, и небо. Ночь вышла за свои пределы и подчинила день. В ушах Рэчел звучали мелодии, которые она играла накануне; она стала напевать и от этого шла все быстрее и быстрее. Она не отдавала себе отчета, куда идет: деревья и весь пейзаж превратились в зеленые и синие массы, среди которых лишь небо выделялось цветом. Перед ее глазами стояли лица людей, которых она видела ночью; она слышала их голоса. Петь она перестала и начала повторять то, что говорила им, или говорить то же самое, но по-другому, или то, что могло быть, но не было сказано. После скованности, порожденной обществом незнакомых людей и длинным шелковым платьем, было необычайно приятно вот так идти одной. Хьюит, Хёрст, мистер Веннинг, мисс Аллан, музыка, свет, темные деревья в саду, рассвет кружились в ее голове, создавая шумный и пестрый фон, по сравнению с которым это утро, с возможностью делать, что хочется, казалось еще прекраснее и ярче, чем даже прошедшая ночь.

Так бы она и шла и совсем заблудилась бы, если бы не дерево, которое, хотя росло и не посреди тропы, заставило ее внезапно остановиться, будто его ветви хлестнули ее по лицу. Дерево было

вполне обыкновенным, но ей оно показалось таким странным, точно это было единственное дерево в мире. В середине рос темный ствол, от которого здесь и там отходили ветви, а между ними виднелись неровные промежутки света, такие четкие, словно дерево за мгновение до того восстало с земли. Она поняла, что увиденное сейчас запечатлеется в ее памяти на всю жизнь, а вместе с ним сохранится и это мгновение. После этого дерево заняло свое место в ряду обычных деревьев, и Рэчел смогла сесть в его тени и нарвать красных цветов с узкими зелеными листьями, которые росли под ним. Она сложила их цветок к цветку, стебелек к стебельку, нежно лаская их, поскольку во время одиноких прогулок в ее глазах цветы и даже камешки на земле жили своей жизнью, обладали своим нравом и возрождали ощущения детства, когда они были не просто предметами, но друзьями. Подняв голову, Рэчел остановила взгляд на границе гор, резко перечеркивавшей небо, как извилистый след от кнута. Она посмотрела на высокое бледное небо и залитые солнцем плешины на верхушках гор. Садясь, она бросила книги на землю у своих ног, и теперь они лежали в траве, такие странно-прямоугольные; высокий склонившийся стебелек

щекотал гладкую коричневую обложку Гиббона, а пестрый синий Бальзак беззащитно пекся под солнцем. Чувствуя, что сейчас чтение окажет на нее какое-то особенное действие, она открыла исторический труд и прочла:

«В начале его правления его полководцы попытались покорить Эфиопию и Счастливую Аравию. Они прошли на тысячу миль южнее тропика, но вскоре жаркий климат прогнал захватчиков обратно, защитив невоинственных обитателей этого глухого края… Области на севере Европы едва ли стоили затрат и усилий, необходимых для их завоевания. Леса и болота Германии были населены отважными варварами, которые презирали жизнь, лишенную свободы».

Еще никогда ей не встречались такие яркие и прекрасные слова — Счастливая Аравия, Эфиопия… И окружали их слова не менее благородные — отважные варвары, леса, болота. Казалось, они прокладывают дороги к самому началу мира, а по сторонам этих дорог стоят народы всех эпох и стран, и если она пройдет по ним, то завладеет всеми знаниями и пролистает назад историю человечества до самой первой страницы. Открывшаяся возможность постигнуть эти знания

вызвала у нее такой восторг, что она перестала читать, ветерок легко зашелестел страницами, и обложка Гиббона сама собой закрылась. Рэчел встала и пошла дальше. Постепенно неразбериха в ее голове улеглась, и она задумалась о причинах своего волнения. Их, при некотором усилии, можно было свести к двум людям — мистеру Хёрсту и мистеру Хьюиту. Думать о них трезво и ясно было невозможно, поскольку обоих окутывал какой-то волшебный туман. Она не могла рассуждать о них, как о других людях, чьи чувства подчиняются тем же законам, что ее собственные, поэтому она просто мысленно созерцала их образы, и это доставляло такое же физическое наслаждение, как если бы она смотрела на яркие предметы, освещенные солнцем. Казалось, что их сияние распространяется на все, даже слова в книге были им пропитаны. Затем ее посетило некое подозрение, которое было так нежелательно, что она была рада споткнуться, запутавшись ногой в траве, потому что это отвлекло ее внимание, которое, однако, рассеялось лишь на секунду. Рэчел неосознанно все ускоряла шаг: ее тело старалось опередить мысли, но вскоре она оказалась на вершине небольшого холмика, приподнятого над рекой, с которого была хорошо видна долина.

Рэчел больше не могла жонглировать несколькими мыслями; с одной из них, самой настойчивой, следовало разобраться, и волнение сменилось унынием. Она опустилась на землю и обхватила колени, безучастно глядя вперед. Какое-то время она наблюдала за крупной желтой бабочкой, которая очень медленно раскрывала и складывала крылья, сидя на небольшом плоском камне.

— Что значит быть влюбленной? — спросила себя Рэчел после долгого молчания. Каждое слово, рождаясь, как будто падало в неведомое море. Загипнотизированная бабочкой, испуганная возможностью жизненных перемен, она сидела так довольно долго. Когда бабочка улетела, Рэчел встала и с двумя книгами под мышкой вернулась домой, чувствуя себя солдатом, готовым к битве.

Глава 14

В тот день заход солнца и сумерки были, как обычно, встречены в гостинице дружным салютом электрических огней. Время между ужином и отходом ко сну и всегда-то было трудно убить, а в этот вечер оно было еще омрачено раздражительностью — следствием вчерашнего разгула. Поэтому Хёрст и Хьюит, полулежавшие в длинных креслах посреди холла с чашками кофе и

сигаретами в руках, сходились во мнении, что вечер уж очень тосклив, женщины как никогда дурно одеты, а мужчины — глупы. Мало того, когда через полчаса принесли почту, там не оказалось ничего для обоих молодых людей. Между тем почти каждый постоялец получил из Англии по два-три пухлых письма, чтением которых все теперь и были заняты. Это выглядело просто отвратительно, и Хёрст едко заметил, что зверям задали корм. Тишина в холле, сказал он, напоминает ему тишину в клетке со львами, когда каждый хищник держит в лапах кусок сырого мяса. Он стал развивать метафору и сравнил — кого с бегемотами, кого с канарейками, со свиньями, с попугаями, а кого и с отвратительными удавами, которые обвили полуразложившиеся овечьи трупы. Время от времени люди кашляли, сопели, прочищали глотку или тихо перебрасывались несколькими фразами, и эти звуки, по мнению Хёрста, точно повторяли то, что можно услышать у львиной клетки, когда ее обитатели расправляются с костями. Но эти сравнения не расшевелили Хьюита — тот, обведя зал безучастным взором, остановил его на индейских копьях, которые были укреплены так искусно, что, с какой стороны к ним ни подойди, обязательно

уткнешься в острия. Хьюита явно не интересовало происходящее, поэтому Хёрст, заключив, что сознание того отключено, еще больше сосредоточил внимание на присутствующих. Он сидел слишком далеко, чтобы расслышать их слова, но ему было приятно строить различные версии на основании их жестов и облика.

Миссис Торнбери получила целый ворох писем и была полностью поглощена ими. Дочитав листок, она протягивала его мужу или передавала суть прочитанного несколькими короткими цитатами, соединяя одну с другой каким-то гортанным звуком.

— Иви пишет, что Джордж уехал в Глазго. «Ему очень нравится работать с мистером Чедбурном, и мы надеемся встретить Рождество вместе, правда, мне не хотелось бы везти Бетти и Альфреда так далеко (еще бы), хотя в такую жару трудно даже представить себе холодную погоду… Элинор и Роджер заезжали в новой двуколке… Элинор впервые после зимы стала похожа на себя. Она перевела малыша на три бутылочки, что я считаю вполне разумным (я тоже), и ночи стали поспокойнее… У меня по-прежнему выпадают волосы. Я нахожу их на подушке! Но меня приободряют вести от Тотти Холл-Грин… Мюриел в

Торки, весьма увлечена танцами. Она все-таки покажет мне своего черного мопса…» Строчка от Герберта — он так занят, бедняжка! Ох! Маргарет пишет: «Бедная старая миссис Фэрбенк умерла восьмого числа — внезапно, в оранжерее. В доме была только прислуга, которой не хватило ума поднять хозяйку, что, говорят, могло ее спасти, но доктор считает, что миссис Фэрбенк могла умереть в любую минуту, и надо сказать спасибо, что это случилось дома, а не на улице (вот именно!). Голуби страшно расплодились, как пять лет назад кролики…» — Пока миссис Торнбери читала, ее муж легонько, но очень размеренно кивал в знак одобрения.

Недалеко от них мисс Аллан тоже читала свои письма. Не все они доставляли ей радость, что можно было заключить по несколько напряженному выражению ее широкого симпатичного лица, когда она, прочитав письмо, аккуратно возвращала его в конверт. Забота и чувство ответственности отпечатывались на этом лице глубокими морщинами, из-за которых оно походило скорее на лицо пожилого мужчины, чем женщины. Письма принесли ей весть о прошлогоднем неурожае фруктов в Новой Зеландии — это была серьезная неприятность, поскольку ее един-

ственный брат Хьюберт зарабатывал на жизнь плодовым садом, и, если у него опять ничего не выйдет, он, конечно, снимется с места и вернется в Англию, и что они тогда будут с ним делать? И поездка сюда, из-за которой она лишилась работы на семестр, теперь выглядела причудой, а не просто приятным и заслуженным отдыхом после того, как она пятнадцать лет читала лекции и проверяла сочинения по английской литературе. Ее сестра Эмили, тоже преподаватель, писала: «Нам надо быть готовыми, хотя не сомневаюсь, что Хьюберт на этот раз будет разумнее». Затем она с присущей ей тактичностью сообщала, как чудесно она проводит время на озерах: «Сейчас они особенно прекрасны. Я давно не видела, чтобы листья на деревьях уже так распустились в это время года. Мы несколько раз обедали на природе. Старушка Элис молода, как всегда, и обо всех заботливо расспрашивает. Дни летят, скоро начнется семестр. Политические перспективы не блещут, как я про себя думаю, но мне не хочется лишать Эллен энтузиазма. Ллойд-Джордж внес законопроект[47], но это делали уже многие, а

[47] Примечания: 47

Речь идет о законопроекте об избирательных правах для женщин, внесенном в 1910 г. на волне движения суфражисток. Однако женщины Великобритании получили избирательное право лишь в 1918 г.

мы не сдвинулись ни на шаг. Надеюсь, однако, что ошибаюсь. Так или иначе, нас ждет работа… Правда, у Мередита нет той нотки человечности, за которую так любят У. В.?[48]» — заключила она и перешла к обсуждению тех вопросов английской литературы, которые мисс Аллан подняла в своем последнем письме.

Поблизости от мисс Аллан, под сенью нескольких пальм, которые тесно росли в одной кадке и создавали некоторую интимность, Артур и Сьюзен читали письма друг друга. На колене у Артура лежали страницы, покрытые размашистым почерком молодых хоккеисток из Уилтшира, а Сьюзен разбирала убористые письмена адвокатов, редко занимавшие больше страницы и всегда оставлявшие впечатление шутливой и жизнерадостной доброжелательности.

— Надеюсь, я понравлюсь мистеру Хатчинсону, Артур, — сказала она, поднимая голову.

— А кто эта «с любовью Фло»? — спросил Артур.

— Фло Грейвз, та девушка, о которой я тебе рассказывала, она еще была помолвлена с этим жутким мистером Винсентом. А мистер Хатчин-

---

[48] Примечания: 48
Уильям Вордсворт.

сон женат?

Ее мысли уже были заняты человеколюбивыми планами по поводу подруг, точнее, одним блестящим планом, притом очень простым: все они должны выйти замуж — сразу, как она вернется. Брак, брак, вот что всем нужно, и это единственное, что всем нужно, он просто необходим для всех, кого она знает. И она стала перебирать в уме примеры неустроенности, одиночества, слабого здоровья, неутоленного честолюбия, беспокойства, эксцентричности, неспособности окончить начатое, тяги к публичным выступлениям и филантропической деятельности как у мужчин, так в особенности у женщин, объясняя все это стремлением к семейной жизни и попыткам вступить в брак, причем безуспешным. А если эти симптомы остаются и после свадьбы, то приходится признать, что виной тому суровый закон природы, согласно которому в мире существует лишь один Артур Веннинг и лишь одна Сьюзен, его суженая. Достоинством ее теории было то, что она полностью подтверждалась ее собственным случаем. Уже два-три года она смутно сознавала, что жить дома становится все тягостнее, и это заморское путешествие со старой эгоистичной теткой, которая, оплачивая

транспортные расходы, обращалась с ней как с прислугой и компаньонкой в одном лице, было типичным примером того, что люди от нее ожидали. Зато сразу после помолвки миссис Пейли инстинктивно стала к ней почтительнее и с жаром протестовала, когда Сьюзен, по обыкновению, вставала на колени, чтобы завязать ей шнурки, и выражала искреннюю благодарность за час в обществе Сьюзен, хотя раньше считала себя вправе отнять у нее и два, и три часа. Сьюзен, предвкушая жизнь гораздо более приятную, чем та, к которой она привыкла, стала относиться к людям намного теплее.

Уже почти двадцать лет миссис Пейли не могла ни завязывать шнурки на ботинках, ни даже видеть их. Ноги отказались ей служить примерно тогда же, когда умер ее муж, который был предпринимателем. Вскоре после этого она стала полнеть. Она была эгоистичной, независимой старухой с весомым доходом, который она тратила на содержание своих домов — одного в Ланкастер-Гейт, нуждавшегося в семерых слугах и одной приходящей уборщице, и второго — в Суррее, с садом и выездными лошадьми. Помолвка Сьюзен освободила ее от одной из главных тревог ее жизни — что ее сын Кристофер «свяжет

себя» с кузиной. Теперь, когда этот источник внутрисемейной напряженности иссяк, она чувствовала себя несколько неловко и испытывала желание видеть Сьюзен чаще, чем раньше. Она решила преподнести ей весьма ценный свадебный подарок — чек на двести, двести пятьдесят, а возможно — это зависело от младшего садовника и счета от Хатов за ремонт гостиной, — и все триста фунтов стерлингов.

Она обдумывала этот вопрос и делала вычисления, сидя в своем инвалидном кресле, рядом с которым на столике были разложены карты. Пасьянс никак не сходился, но ей не хотелось призывать на помощь Сьюзен, поскольку та, судя по всему, была занята с Артуром.

«Она, конечно, имеет все основания ожидать от меня ценного подарка, — размышляла миссис Пейли, безразлично взирая на вздыбленного леопарда. — И ожидает, несомненно! Деньги всем нужны. Молодежь очень эгоистична. Если я умру, никто не будет меня оплакивать, кроме Дэйкинс, да и ее утешит завещание. Впрочем, мне не на что жаловаться… Я пока могу и сама радоваться жизни. Я никого не обременяю… У меня много приятных занятий, несмотря на ноги».

И все-таки настроение у нее было слегка подав-

ленное, и она подумала, что на свете было всего два человека, которые казались ей полностью лишенными эгоизма и корысти; она считала их лучше всех остальных людей, даже с готовностью признавала, что они были лучше ее самой. Один из них был ее брат, утонувший у нее на глазах, а вторая — ее ближайшая подруга, которая умерла, производя на свет своего первенца. Все это случилось лет пятьдесят назад.

«Они не должны были умереть, — думала миссис Пейли. — Однако они умерли, а мы, старые себялюбцы, всё живем и живем». На ее глазах показались слезы, она искренне жалела об ушедших, испытывая нечто вроде почтения к их молодости и красоте и нечто вроде стыда за себя. Однако слезы не пролились. Она открыла один из бесчисленных романов, тех, которые обычно оценивала как хорошие, плохие, вполне сносные или просто чудесные. «Не могу представить, как люди выдумывают такое», — говорила она, сняв очки и подняв старые потускневшие глаза, вокруг которых все больше проступали белесые круги.

За чучелом леопарда мистер Эллиот и мистер Пеппер играли в шахматы. Мистер Эллиот, разумеется, проигрывал, поскольку мистер Пеппер почти неотрывно смотрел на доску, а мистер

Эллиот, откинувшись в кресле, беседовал с прибывшим накануне господином, высоким, ладным на вид, с головой, напоминавшей голову умного барана. Обменявшись несколькими банальными замечаниями, они обнаружили, что у них есть общие знакомые, правда, это стало им ясно, как только они друг друга увидели.

— Да, старина Труфит, — сказал мистер Эллиот. — У него сын в Оксфорде. Я часто у них останавливался. Чудный старый дом эпохи Якова. Несколько изысканных полотен Грёза, одна-две голландские картины, которые старик держит в подвале. И горы гравюр. А сколько грязи в доме! Он ведь скряга, знаете ли. Парень женился на дочери лорда Пинвелла. Их я тоже знаю. Мания коллекционирования рушит семьи. Этот собирает застежки — мужские обувные застежки, бывшие в ходу между тысяча пятьсот восьмидесятым и тысяча шестьсот шестидесятым годами; в датах я могу ошибиться, но суть та же. Любой настоящий коллекционер — человек с причудами. А во всем остальном Труфит рассудителен, как скотопромышленник, кем он, собственно, и является. И Пинвеллы, как вам, думаю, известно, не лишены чудачеств. Леди Мод, например… — Тут он прервался, чтобы обдумать ход. — Леди

Мод страшится кошек и священников, а также людей с крупными передними зубами. Я однажды слышал, как она крикнула через стол: «Закройте рот, мистер Смит! Они у вас цвета моркови!» — через стол, повторяю. А со мной она всегда — сама любезность. Она балуется литературой, любит собирать нашего брата у себя в гостиной, но — стоит упомянуть священника, даже епископа, да самого архиепископа — начинает кулдыкать, как индюк. Я слышал, что это семейная вражда, восходящая к какой-то истории времен Карла Первого. Да, — продолжал он, терпя шах за шахом, — мне всегда интересны бабушки наших блестящих молодых людей. Я считаю, что они сохранили все, чем нас восхищает восемнадцатый век, с тем преимуществом, что они соблюдают личную гигиену. Нет, конечно, леди Барборо никто не оскорбит обвинением в гигиеничности. Хильда, как часто, по-твоему, — обратился он к жене, — их светлость принимают ванну?

— Мне трудно сказать, Хью, — хихикнула миссис Эллиот. — Но поскольку она носит розовый бархат даже в самый жаркий августовский день, это в глаза не бросается.

— Пеппер, ваша взяла, — сказал мистер Эллиот. — Я играю даже хуже, чем думал. — Он

принял поражение с полной невозмутимостью, потому что на самом деле ему хотелось поговорить.

Он подвинул кресло к мистеру Уилфреду Флашингу — новому постояльцу.

— Интересуетесь? — спросил мистер Эллиот, указывая на шкаф, в котором для соблазнения гостей были разложены отполированные до блеска кресты, ювелирные украшения и вышивка — творения местных мастеров.

— Одни подделки, — коротко ответил мистер Флашинг. — Хотя этот коврик недурен. — Он наклонился и взял с нижней полки кусок ковровой материи. — Не старый, конечно, но рисунок выдержан в традиции. Элис, одолжи мне свою брошь. Сейчас вы увидите разницу между старинной работой и новой.

Сосредоточенно читавшая дама отстегнула брошь и передала ее мужу, не глядя на него и не обращая никакого внимания на мистера Эллиота, желавшего отвесить ей поклон. Если бы она прислушалась к разговору, то была бы весьма удивлена упоминанием леди Барборо, ее двоюродной бабки, но она продолжала читать, совершенно безразличная к тому, что ее окружает.

Часы, посипев пару минут, как старик, гото-

вящийся раскашляться, пробили девять. Этот звук слегка потревожил нескольких сонных торговцев, правительственных чиновников и рантье, которые расслабленно, полуприкрыв глаза, сидели в креслах, курили и переговаривались, переминая свою деловую жвачку. Во время боя часов они лишь подняли веки, а потом опять опустили. Они походили на сытых крокодилов — наевшись за последней трапезой, они теперь нисколько не волновались за будущее мира. Единственным источником беспокойства в этой обители света и безмятежности была крупная ночная бабочка, которая перелетала от лампы к лампе, шелестя крыльями над замысловатыми прическами, и несколько молодых женщин уже поднимали руки с возгласом: «Кто-нибудь, ну убейте же ее!»

Погруженные в свои мысли, Хьюит и Хёрст долго молчали.

Когда часы пробили, Хёрст сказал:

— А, твари зашевелились… — Он увидел, что некоторые приподнялись, огляделись и опять успокоились. — К чему я испытываю особое омерзение, — заключил он, — так это к женской груди. Представь себя на месте Веннинга, которому надо ложиться в постель со Сьюзен! Но самое отврати-

тельное, что они ничего не чувствуют, — почти как я, когда лежу в горячей ванне. Они грубы, нелепы, они совершенно невыносимы!

Сказав это и не дождавшись ответа от Хьюита, он опять стал размышлять о самом себе, о науке, о Кембридже, об адвокатуре, о Хелен и о том, что она думает о нем, пока наконец усталость не одолела его и он не начал клевать носом.

Внезапно его разбудил Хьюит.

— Как человеку понять, что он чувствует, Хёрст?

— Ты что, влюбился? — спросил Хёрст и надел очки.

— Не валяй дурака.

— Что ж, я посижу и подумаю над этим, — сказал Хёрст. — Дело очень полезное. Если бы эти люди хоть иногда думали, жить было бы намного приятнее. Ты пытаешься думать?

Именно этим Хьюит и занимался последние полчаса, но сейчас он не находил в Хёрсте сочувствия.

— Пойду прогуляюсь, — сказал он.

— Помни, что в прошлую ночь мы не спали, — проговорил Хёрст, зевая до ушей.

Хьюит встал и потянулся.

— Хочу подышать свежим воздухом.

Весь вечер его тревожило странное ощущение, которое не позволяло ему отдаться какому-то определенному ходу мыслей. Как будто он вел беседу и ему было очень интересно, и вдруг кто-то прервал ее посередине. Он не договорил, и чем дольше он сидел в холле, тем больше ему хотелось договорить. Поскольку это был разговор с Рэчел, он спрашивал себя, почему он так чувствует и отчего ему хочется снова ее видеть. Хёрст сказал бы, что он просто влюблен в нее. Но он не был в нее влюблен. Разве любовь начинается с желания говорить с человеком? Нет. У него она всегда начиналась с физических ощущений, которых сейчас не было, он даже не находил эту девушку физически привлекательной. Чем-то она, конечно, отличалась от всех остальных — молода, неопытна и любознательна, к тому же их беседы были гораздо откровеннее, чем это бывало у Хьюита с другими. Впрочем, ему всегда было интересно говорить с девушками, — наверное, поэтому он и хочет продолжить разговор с ней, а вчера, среди этой толпы и неразберихи, он мог только начать… Чем она теперь занята? Лежит на диване и смотрит в потолок, вероятно. Он легко представил ее в таком положении. А Хелен — рядом, в кресле, руки на подлокотниках, смотрит

перед собой своими огромными глазами… Нет, они, конечно, обсуждают танцы. А если Рэчел уедет через день-другой, если ее пребывание здесь закончится, если отец ее уже прибыл на одном из пароходов, стоящих в бухте, — было бы невыносимо расстаться, узнав о ней так мало. Поэтому он и воскликнул: «Как человеку понять, что он чувствует, Хёрст?» — чтобы прервать собственные мысли.

Но Хёрст не помог ему, а другие люди, с их бесцельными движениями и неизвестными судьбами лишь раздражали его, поэтому он захотел оказаться в безлюдной темноте. Выйдя наружу, он сразу стал искать глазами виллу Эмброузов. Решив, что один из огоньков на холме, выше всех остальных, принадлежит именно ей, он успокоился. Хоть какое-то постоянство во всей этой путанице. Не обдумав заранее свой маршрут, он просто свернул направо, прошел через город и остановился у стены на скрещенье дорог. Отсюда было слышно шум моря. Иссиня-черные горы вздымались на фоне более светлой синевы неба. Луны не было, зато небо покрывал сплошной ковер звезд, и темные волны земли были усеяны огнями. Хьюит уже думал вернуться, но тут яркая точка виллы Эмброузов разделилась

на три огонька, и он не устоял перед соблазном пойти дальше. Можно, например, убедиться, что Рэчел все еще там. Он шел быстрым шагом и очень скоро оказался у железной калитки их сада. Хьюит толкнул ее. Очертания дома внезапно четко прорисовались перед его глазами, тонкая колонна веранды выделялась на фоне бледно освещенного гравия. Хьюит заколебался. В глубине дома кто-то гремел кастрюлями. Он подошел к фасаду. По свету, падавшему на террасу, он понял, что гостиные с этой стороны. Он встал около угла дома, как можно ближе к свету. Листья ползучего растения щекотали ему лицо. Вскоре он расслышал голос. Голос звучал ровно, это был не разговор — по монотонности было понятно, что это чтение вслух. Хьюит подобрался чуть ближе. Он сгреб рукой несколько листьев, чтобы они не шуршали над ухом. Возможно, это читает Рэчел… Он вышел из тени в полосу света и отчетливо услышал целую фразу:

«И жили мы там с 1860 по 1895 год — самые счастливые годы моих родителей; а в 1862 году родился мой брат Морис — к радости отца и матери, поскольку ему было суждено доставлять радость всем, кто его знал».

Темп чтения ускорился, голос стал чуть выше

— по интонации чувствовалось, что это конец главы. Хьюит опять отошел в тень. Последовала долгая пауза. Он только слышал, что в доме задвигали стульями. Он уже почти решил идти обратно, как вдруг в окне появились две фигуры — не более чем в шести футах от него.

— Это был Морис Филдинг, конечно, с которым твоя мама была помолвлена, — прозвучал голос Хелен. Она говорила задумчиво, глядя в темный сад, — ее внимание было явно занято не только предметом разговора, но и ночным видом.

— Мама? — переспросила Рэчел. У Хьюита заколотилось сердце, и он это отметил. Ее голос, хотя и тихий, был полон удивления.

— Ты об этом не знала?

— Я даже не предполагала, что существовал кто-то другой, — сказала Рэчел. Она была, несомненно, изумлена, но слова, произносимые обеими женщинами, звучали приглушенно и бесстрастно, потому что они говорили, стоя лицом к лицу с прохладной ночной тьмой.

— Я не знала женщины, в которую влюблялось больше мужчин, чем в нее, — призналась Хелен. — В ней была эта сила… Она умела радоваться. Она не была красавицей, но… Я думала о ней вчера во время танцев. Она умела располо-

жить к себе любого человека, причем делала это как-то удивительно… весело.

Хелен погружалась в прошлое, тщательно подбирая слова, сравнивая Терезу с людьми, которых Хелен узнала после ее смерти.

— Не знаю, как это у нее получалось, — продолжила она, но умолкла. Во время долгой паузы было слышно, как ухнул сыч — сначала в одном месте, потом в другом, как будто он перелетал с дерева на дерево.

— Тетя Люси и тетя Кэти, как обычно, все исказили, — проговорила наконец Рэчел. — По их словам, она всегда была очень грустной и очень добродетельной.

— Тогда почему же, интересно, они только критиковали ее, когда она была жива? — сказала Хелен. Их голоса звучали очень тихо, как будто они качались на волнах в отдалении. — Если бы я завтра умерла… — начала Хелен.

Обрывки фраз казались Хьюиту необычайно красивыми, отвлеченными, даже таинственными, как то, что человек говорит во сне.

— Нет, Рэчел, — продолжил голос Хелен, — я не пойду гулять, в саду наверняка сыро, кроме того, я вижу не меньше дюжины жаб.

— Жаб? Это камни, Хелен. Пойдем. Там лучше.

Цветы пахнут, — отозвалась Рэчел.

Хьюит отошел еще дальше. Его сердце билось очень часто. Судя по всему, Рэчел старалась вытянуть Хелен на террасу, а та сопротивлялась. Были слышны шарканье, уговоры, отказы и смех обеих женщин. Затем появился силуэт мужчины. Хьюит не мог разобрать, что они говорили. Через минуту все вошли в дом. Последовала мертвая тишина, и свет погас.

Он повернулся, все так же переминая в руке листья, сорванные со стены. Им овладело удивительное чувство радости и облегчения; после бала в гостинице все опять было надежно и спокойно, влюблен он в них или нет, а он в них не влюблен… Не влюблен, но как хорошо, что они есть на свете.

Постояв минуту-другую, он пошел к калитке. Во время движения чувства восторга, очарованности жизнью, ее полнотой теснились в его душе. Он начал громко читать стихи, но слова ускользали от него, и он запутался в строках и обрывках строк, в которых не было никакого смысла, кроме красоты слов. Он затворил калитку и побежал вниз по склону холма, петляя из стороны в сторону, выкрикивая всякую чепуху, которая приходила ему в голову. «Вот он я, — ритмично

декламировал он, выбрасывая ноги то влево, то вправо, — несусь вперед, как в джунглях слон, срывая ветки по пути (он стал хватать побеги кустов, росших вдоль дороги), крича слова, много слов, чу́дных слов, про все на свете, бегу под гору, плету всякий бред сам для себя о дорогах, листьях, огнях и женщинах, выходящих в темноту… О женщинах! О Рэчел! О Рэчел!» — Он остановился и сделал глубокий вдох. Ночь казалась огромной и доброй, и, несмотря на тьму, внизу, в гавани и в море, как будто что-то двигалось и шевелилось. Он вглядывался, пока мрак не ввел его в оцепенение, и тогда он быстро пошел дальше, бормоча себе под нос: «А должен я быть в постели, сопеть и видеть сны, сны, сны… Сны и реальность, сны и реальность, сны и реальность», — повторял он на протяжении всей аллеи, едва ли осознавая, что говорит, и наконец очутился перед входной дверью. Здесь он на секунду задержался, чтобы прийти в себя перед тем, как войти.

Его глаза были широко распахнуты в изумлении, руки — холодны, мозг возбужден и одновременно жаждал сна. За дверью все оказалось точно так, как было, когда он уходил, с одним отличием — в холле не осталось ни души. Стулья стояли повернутыми один к другому, как их покинули

ушедшие собеседники, пустые бокалы стояли на столиках, газеты лежали разбросанными на полу. Закрыв за собой дверь, Хьюит почувствовал себя так, будто оказался в прямоугольном ящике, и от этого он сразу немного сник. Здесь все было таким четким и таким маленьким… Он остановился у длинного стола, чтобы найти газету, которую собирался почитать, но ночной мрак и свежий воздух были еще слишком живы в его воображении, чтобы он мог спокойно вспомнить, какая это была газета и где он ее видел.

Вяло перебирая газеты, он увидел краем глаза, что кто-то спускается по лестнице. Послышалось шелестение юбок, и, к его большому удивлению, к нему подошла Эвелин Мёргатройд и, положив на стол руку, будто чтобы помешать ему взять газету, сказала:

— Вот как раз с вами-то я и хотела поговорить. — Голос у нее был немного резкий, с металлическим оттенком, а глаза — очень ясные, и она смотрела ими на Хьюита не отрываясь.

— Поговорить со мной? — переспросил он. — Но я сплю на ходу.

— Мне просто кажется, что вы понятливее большинства людей, — объяснила она и села на стульчик, стоявший у большого кожаного кресла,

так что и Хьюиту пришлось сесть рядом с ней.

— Итак? — сказал он, недвусмысленно зевнул и зажег сигарету. Ему не верилось, что все это с ним действительно происходит. — О чем пойдет речь?

— Вы действительно чуткий человек или это просто поза? — спросила Эвелин.

— Об этом вам судить. Я думаю, мне интересно. — Он все-таки чувствовал оцепенение во всем теле, как будто она сидела к нему слишком близко.

— Интересно может быть кому угодно! — нетерпеливо воскликнула она. — Вашему другу мистеру Хёрсту тоже интересно, полагаю. Однако я верю в вас. Вы как-то так выглядите, будто у вас есть очень милая сестра. — Она помолчала, перебирая блестки на подоле платья, а потом, словно решившись, начала: — Так или иначе, я спрошу у вас совета. С вами бывает, что вы сами не понимаете, что у вас на душе? Со мной это сейчас. Понимаете, вчера на танцах Рэймонд Оливер — это высокий смуглый юноша, который выглядит, как будто в нем течет индийская кровь, хотя он говорит, что это не так, — в общем, мы с ним сидели в саду, и он все мне о себе рассказал, как плохо ему жилось дома и как противно

ему здесь. Его запихнули в какое-то гадкое горнодобывающее дело. Это он так говорит: «Оно гадкое; оно должно мне нравиться, я знаю, но мне оно совершенно некстати». И мне стало его ужасно жаль — никто не смог бы удержаться от жалости к нему, — и когда он попросил разрешения поцеловать меня, я разрешила. В этом ведь нет никакого вреда, правда? А сегодня утром он сказал, что подумал, что я имела в виду нечто большее и что я не разрешаю себя целовать кому попало. И мы говорили, говорили. Наверное, я вела себя очень глупо, но, когда жалеешь человека, он неизбежно начинает тебе нравиться. А он мне ужасно нравится… — Она сделала паузу. — Ну, и я частично обнадежила его, а ведь, понимаете, есть еще Альфред Перротт…

— А, Перротт, — сказал Хьюит.

— Мы познакомились во время того пикника, — продолжила Эвелин. — Он казался таким одиноким, особенно когда Артур ушел со Сьюзен, — конечно, любому стало бы интересно, что он переживает. Мы долго беседовали, пока вы осматривали развалины, и он рассказал мне о своей жизни, о своих тяготах, как страшно трудно ему приходилось. Вы знаете, он в детстве служил посыльным в бакалейной лавке и разносил по

домам свертки в корзине. Меня это ужасно заинтересовало, потому что я всегда говорю: не важно, кем ты родился, если ты правильно устроен внутри. Еще он рассказал, что у него сестра парализована, бедняжка, и, конечно, сразу понятно, какое это испытание, хотя он явно ей искренне предан. Должна сказать, что я восхищаюсь такими людьми! Вы — вряд ли, потому что вы такой умный. А вчера вечером мы сидели вместе в саду, и я не могла не понять, что он хочет сказать, и, чтобы утешить его хоть немножко, я сказала, что он мне небезразличен — и это правда, — только ведь есть еще Рэймонд Оливер… И вот я хочу вас спросить: можно любить двух человек сразу или нельзя?

Она умолкла и положила подбородок на руки, с таким видом, как будто перед ней стояла настоящая проблема, которую обязательно надо обсудить.

— Я думаю, это зависит от того, что вы за человек, — сказал Хьюит.

Он посмотрел на нее. Она была миниатюрна и хороша собой, лет двадцати восьми — двадцати девяти, но, несмотря на эффектную внешность, ее черты не выражали ничего определенного, кроме того, что она очень энергична и обладает

крепким здоровьем.

— Кто вы, что собой представляете, я ведь ничего о вас не знаю, — продолжал он.

— Я собиралась к этому перейти, — сказала Эвелин М. Она все так же опиралась подбородком на руки и пристально смотрела перед собой. — Меня вырастила мать, без отца, если вам интересно. Ничего особенно хорошего в этом нет. Такое часто случается в деревнях. Она была дочерью фермера, а он — аристократом, красавцем из богатого особняка. Он так и не устроил ее жизнь, так и не женился на ней, хотя денег нам давал много. Ему не позволяли родители. Бедный папа! Я все равно люблю его. Мама была не такой женщиной, которая могла бы привязать его к себе. Его убили на войне. Я представляю, как солдаты боготворили его. Рассказывали, что здоровенные кавалеристы, не стыдясь, рыдали над его телом на поле боя. Жаль, я не знала его. Из мамы как будто высосали все жизненные силы. Общество… — Эвелин сжала кулак. — Сколько мерзости такая женщина видит от людей! — Она повернулась к Хьюиту. — Ну, вы хотите узнать обо мне что-то еще?

— А как жили вы? — спросил он. — Кто о вас заботился?

— Я сама о себе заботилась, по большей ча-

сти. — Она засмеялась. — У меня великолепные друзья. Я люблю людей! В том-то и беда. Что бы вы сделали, если бы вам нравились два человека, оба очень сильно, и вы не могли бы решить, какой из них больше?

— Я продолжал бы им симпатизировать и не стал бы спешить. А почему нет?

— Но надо же что-то решать, — сказала Эвелин. — Или вы из тех, кто не верит в брак и все тому подобное? Слушайте, так нечестно, я говорю все, а вы — ничего. Может быть, вы такой же, как ваш друг? — Она посмотрела на него с подозрением. — Может быть, я вам не по душе?

— Я не знаю вас, — сказал Хьюит.

— А я всегда знаю с первого взгляда, нравится мне человек или нет! Вы мне сразу понравились, за первым же ужином. Боже мой, — продолжала она с досадой, — от скольких бы неудобств люди себя избавили, если бы только прямо говорили, что думают. Я так создана. Ничего не могу поделать.

— Вам не кажется, что это ведет к некоторым трудностям? — спросил Хьюит.

— В этом виноваты мужчины. Они всегда приплетают любовь.

— Значит, вы получаете предложения одно за

другим.

— Не думаю, что мне сделали больше предложений, чем обычно делают женщине, — сказала Эвелин, правда, без уверенности.

— Пять, шесть, десять? — стал гадать Хьюит.

Судя по выражению лица Эвелин, десять было верным числом, но вовсе не таким уж большим.

— Наверное, вы считаете меня бессердечной кокеткой, — возмутилась она. — Мне все равно, считайте. Меня не волнует, что обо мне думают. Только оттого, что тебе интересно, что ты хочешь общаться с мужчинами, говорить с ними так же, как с женщинами, — тебя называют кокеткой.

— Но, мисс Мёргатройд…

— Лучше называйте меня Эвелин, — вставила она.

— После десяти предложений вы можете, положа руку на сердце, сказать, что мужчины ничем не отличаются от женщин?

— Положа руку на сердце! Ненавижу это выражение! Его любят снобы! — вскричала Эвелин. — Положа руку на сердце, они не должны отличаться. Это больше всего и огорчает. Каждый раз думаешь, что этого не произойдет, и каждый раз это происходит.

— «В погоне за дружбой», — сказал Хьюит. —

Название комедии.

— Вы ужасны! — воскликнула она. — Никакой вы не чуткий. Вы все равно что мистер Хёрст.

— Что ж, — сказал Хьюит. — Давайте разберемся. Давайте разберемся… — Он умолк, потому что вдруг забыл, в чем они должны разбираться. Ему намного интереснее была она сама, чем ее затруднения, потому что во время разговора с ней его оцепенение прошло и он почувствовал смесь симпатии, жалости и недоверия. — Вы пообещали выйти замуж и за Оливера, и за Перротта? — заключил он.

— Не то что бы пообещала, — сказала Эвелин. — Я не могу решить, кто из них мне нравится больше. О, как мне отвратительна современная жизнь! — простонала она. — Насколько легче было в елизаветинскую эпоху! Когда мы были на той горе, я подумала, как бы мне хотелось быть среди колонистов, рубить деревья, устанавливать законы и так далее, вместе того, чтобы терять время со всеми этими людьми, которые видят во мне молодую красотку и больше ничего. А я не такая. Я могла бы что-то *делать*. — Она помолчала с минуту, размышляя, а потом сказала: — Боюсь, мое сердце говорит, что Альфред Перротт мне не подойдет. Ведь он не сильный, да?

— Вероятно, дерево срубить не сможет, — сказал Хьюит. — Вы хоть к кому-нибудь испытывали нежные чувства?

— Испытывала, к множеству людей, но не настолько, чтобы выходить за них замуж. Наверное, я слишком требовательна. Всю жизнь мечтала о человеке, которым восхищалась бы, о таком большом, сильном, блистательном. Большинство мужчин такие маленькие…

— Что значит, блистательном? — спросил Хьюит. — Люди есть люди.

Эвелин была озадачена.

— Людей любят не за достоинства, — попробовал объяснить он. — Любят просто их самих. — Он чиркнул спичкой. — Вот так, — сказал он, указав на пламя.

— Я понимаю вас, но не могу согласиться. Я знаю, за что люблю людей, и, по-моему, я редко ошибаюсь. Я сразу вижу, что у человека внутри. Вот вы мне кажетесь вполне блистательным, в отличие от мистера Хёрста.

Хьюит покачал головой.

— Он несравним с вами. В вас так мало эгоизма, так много чуткости, понимания, и вы такой большой, — продолжала Эвелин.

Хьюит сидел молча и курил сигарету.

— Мне было бы противно рубить деревья, — наконец заметил он.

— Я не пытаюсь с вами флиртовать, если вы это подумали! — выкрикнула Эвелин. — Я бы даже не подошла к вам, если бы только заподозрила, что вы можете думать обо мне такие гадкие вещи! — У нее на глазах показались слезы.

— Вы никогда не флиртуете? — спросил Хьюит.

— Конечно, нет! — возмутилась она. — Разве я не говорила вам? Мне нужна дружба, мне нужен близкий человек, который был бы лучше и благороднее меня, а если все в меня влюбляются, я не виновата. Мне это не нужно. Я это просто ненавижу.

Хьюит понял, что никакого смысла в продолжении беседы нет, поскольку Эвелин не хочет сказать что-то определенное, а лишь пытается произвести на него впечатление. Она просто несчастна и не уверена в себе, хотя почему-то силится скрыть это. Он очень устал, к тому же бледный официант красноречиво прохаживался посреди зала, выразительно поглядывая на них.

— Они хотят закрывать, — сказал Хьюит. — Советую вам завтра сказать и Оливеру, и Перротту, что вы хорошенько подумали и поняли, что не хотите выходить ни за кого из них. Я уверен, это

так и есть. Если вы передумаете, то всегда можете сообщить им об этом. Они люди благоразумные, поймут. И все неприятности кончатся. — Он встал.

Но Эвелин не пошевелилась. Она сидела и смотрела на него снизу своими ясными вопрошающими глазами, в глубине которых он заметил некоторое разочарование или недовольство.

— Спокойной ночи, — сказал он.

— Я еще очень много чего хотела бы вам сказать, — произнесла она. — И скажу когда-нибудь. Теперь вам пора идти спать, да?

— Да, — сказал Хьюит. — Я валюсь с ног.

Он оставил ее одну сидеть в пустом холле.

— Почему никто не хочет быть честным? — бормотал он себе под нос, поднимаясь по лестнице. Почему отношения между людьми так убоги, так отрывочны, так чреваты осложнениями, почему слова так опасны, почему в ответ на инстинктивный порыв сочувствия тебя подвергают скрупулезному анализу и часто дают резкий отпор? Что на самом деле хотела сказать Эвелин? Что она сейчас чувствует — одна, в пустом зале? Идя по коридору к своему номеру, он думал о таинственности жизни, о ложности собственных ощущений. Света в коридоре было мало, но все

же достаточно для того, чтобы Хьюит увидел фигуру в ярком пеньюаре, мелькнувшую перед ним. Это была женщина — она перебежала из одного номера в другой.

Глава 15

Как бы ни были эфемерны узы, которые возникают между людьми, случайно в полночь повстречавшимися в пустой гостинице, по крайней мере, в одном они выигрывают перед теми, что связуют немолодые пары, обреченные на вечное сосуществование. Пусть эфемерны, зато в них есть неподдельность и живость — просто потому, что их можно разорвать в любое мгновение и держит людей вместе только искреннее желание общаться. Те же, кто состоит в браке много лет, будто перестают замечать физическое присутствие друг друга, ведут себя так, как если бы рядом никого не было, говорят вслух, не ожидая ответа, и вообще наслаждаются всеми прелестями уединения без одиночества. Совместная жизнь Ридли и Хелен достигла именно этой стадии; часто ему или ей стоило труда вспомнить, было что-то сказано или только подумано, обсуждено или просто пригрезилось. Два-три дня спустя, в четыре часа пополудни миссис Эмброуз

причесывалась, а ее муж умывал лицо в гардеробной, которая сообщалась с ее комнатой, и до Хелен между всплесками воды доносились его восклицания: «Так все и идет, год за годом… Как бы, как бы, как бы хотелось покончить с этим!» — но она никакого внимания на них не обращала.

— Седой? Или просто светлый? — бормотала она, разглядывая волос, который подозрительно блеснул на фоне каштановой пряди. Она выдернула его и положила на туалетный столик. Хелен критически, а точнее — одобрительно оценила свою внешность, чуть отойдя от зеркала и глядя на свое лицо с гордостью и печалью. В этот момент в дверях появился ее муж; он был без пиджака, а лицо его наполовину скрывало полотенце.

— Ты часто говоришь, что я ничего не замечаю, — начал он.

— Тогда скажи, седой это волос или нет, — отозвалась она, кладя волос ему на ладонь.

— У тебя нет седых волос! — воскликнул он.

— Ах, Ридли, я начинаю в этом сомневаться. — Хелен вздохнула и склонила перед ним голову, чтобы он сам рассудил, но результатом инспекции был поцелуй в пробор, после чего муж и жена продолжили свое движение по комнате, что-то

тихо бормоча. — О чем это ты говорил? — спросила Хелен после короткой беседы, смысл которой был понятен только им двоим.

— О Рэчел. Ты должна присматривать за Рэчел, — заметил он со значением, и Хелен, продолжая причесываться, внимательно посмотрела на него. Его наблюдения обычно оказывались верными. — Молодые господа не интересуются образованием девушек без причины, — сказал Ридли.

— А, Хёрст.

— Хёрст и Хьюит, для меня они одинаковы, оба мазаны одним миром. Знаешь, он советует ей читать Гиббона.

Хелен этого не знала, но она не могла признаться, что уступает мужу в наблюдательности. Она лишь сказала:

— Меня ничто не удивляет. Даже этот противный летун, с которым мы познакомились на танцах, даже мистер Дэллоуэй, даже…

— Советую быть бдительной. Есть ведь Уиллоуби, помни — Уиллоуби. — Ридли указал на письмо.

Хелен вздохнула и посмотрела на конверт, лежавший на туалетном столике. Да, очень характерно для Уиллоуби — сухость, невыра-

зительность, беспрестанные шуточки, полная ясность мироздания, никаких тайн, вопросы о поведении дочери — не надоела ли она им, и если так, то пусть они отправят ее с первым же судном, — а потом благодарности и сдержанные излияния нежных чувств, и еще полстраницы о собственных победах над несносными туземцами, которые объявили забастовку и отказывались грузить корабли, пока он не стал рычать на них, выкрикивая английские ругательства: «Высунулся из иллюминатора, как был, без пиджака. Негодяям хватило ума разбежаться».

— Если Тереза вышла за Уиллоуби, — заметила Хелен, переворачивая листок заколкой для волос, — не вижу, что может помешать Рэчел…

Но Ридли уже был занят своими обидами: начал он со стирки рубашек, а потом каким-то образом перешел к частым визитам Хьюлинга Эллиота: несмотря на то что тот — зануда, педант, сухарь, Ридли не может просто так указать ему на дверь. Суть в том, что они слишком много общаются с людьми. Итак далее и тому подобное — обычный супружеский разговор, ненавязчивый и не слишком осмысленный, который продолжался до тех пор, пока они не были готовы выйти к чаю.

Спускаясь по лестнице, Хелен сразу увидела

экипаж у подъезда — он был полон юбок и перьев, свешивавшихся со шляпок. Хелен едва успела занять позицию в гостиной, как местная горничная смешно произнесла две фамилии, после чего в комнату вошли миссис Торнбери и чуть позади нее — миссис Уилфред Флашинг.

— Миссис Уилфред Флашинг, — объявила миссис Торнбери, делая волнообразное движение рукой. — Подруга нашей общей знакомой миссис Рэймонд Перри.

Миссис Флашинг энергично пожала руки хозяевам. Это была женщина лет сорока, очень стройная и прямая, пышущая здоровьем, хотя не такая высокая, какой она казалась благодаря своей осанке.

Она посмотрела на Хелен и сказала:

— У вас очаровательный дом.

У нее было выразительное лицо, глаза пристально смотрели на собеседника, а в манере поведения сочетались властность и нервозность. Миссис Торнбери играла роль переводчика, закругляя острые углы мягкими банальными замечаниями.

— Я взяла на себя смелость, мистер Эмброуз, — сказала она, — пообещать, что вы окажете любезность миссис Флашинг и поделитесь с ней

своим опытом. Я уверена, что никто не осведомлен об этом крае лучше, чем вы. Никто не предпринимает такие прелестные долгие прогулки. И безусловно, никто не наделен такими энциклопедическими знаниями. Мистер Уилфред Флашинг — коллекционер. Он уже нашел несколько по-настоящему красивых вещиц. Я не имела представления, что крестьяне так художественно одарены, хотя, конечно, в прошлом…

— Вещи не старые, а новые, — перебила ее миссис Флашинг. — Он находит их, когда слушает меня.

Прожив в Лондоне много лет, Эмброузы неизбежно должны были знать хоть что-то о множестве людей, по крайней мере, держать в памяти имена, и, конечно, Хелен тут же вспомнила, что она слышала о Флашингах. У мистера Флашинга был магазин старинной мебели; он всегда говорил, что не вступает в брак, потому что у большинства женщин красные щеки, не снимает дом, потому что в большинстве домов узкие лестницы, и не ест мяса, потому что большинство животных истекают кровью, когда их убивают. В конце концов он женился на эксцентричной аристократке, уж точно не бледной и, судя по ее виду, отнюдь не вегетарианке, которая заставила

его делать все, что он больше всего не любил, — так, значит, это она и есть… Хелен посмотрела на нее с интересом. Они вышли в сад, где под деревом был сервирован стол, и миссис Флашинг принялась за вишневый джем. Говоря, она имела обыкновение странно подергиваться всем телом, от чего дергалось и канареечного цвета перо на ее шляпке. Лицо у нее было живое, с мелкими, но правильными чертами, которые, вместе с ярким румянцем на щеках и сочной краснотой губ, свидетельствовали о том, что предки ее хорошо питались и были хорошо образованны.

— Меня не интересует ничего, что старше двадцати лет, — продолжила она. — Заплесневелые старые картины, грязные старые книжки — их запихивают в музеи, когда они годятся только в печку.

— Вполне с вами согласна! — засмеялась Хелен. — Правда, муж мой тратит жизнь на то, чтобы откапывать рукописи, которые никому не нужны. — Ее позабавило выражение испуга и неодобрения на лице Ридли.

— В Лондоне есть умный человек по фамилии Джон[49], который пишет намного лучше старых

---

[49] Примечания: 49

Огастес Джон (1878–1961) — британский художник-постимпрессионист, среди его работ — портреты известных литераторов.

мастеров, — сообщила миссис Флашинг. — Его картины приводят меня в восторг, а всякая старина меня совершенно не трогает.

— Но даже его картины состарятся, — вставила миссис Торнбери.

— Тогда я их сожгу или завещаю сжечь, — сказала миссис Флашинг.

— Кстати, миссис Флашинг жила в одном из прекраснейших старинных домов в Англии — в Чиллингли, — поведала присутствующим миссис Торнбери.

— Будь моя воля, я сожгла бы его завтра же, — засмеялась миссис Флашинг. Ее смех был похож на крик сойки — резкий и безрадостный. — Зачем человеку в здравом уме эти огромные дома? — спросила она. — Если ночью спускаешься вниз, на тебя сыплются тараканы и свет постоянно отключается. Представьте, вы открываете горячую воду, а из крана ползут пауки, что вы будете делать? — При этих словах она уставилась на Хелен.

Хелен пожала плечами с улыбкой.

— Вот это мне нравится, — сказала миссис Флашинг, кивнув в сторону виллы. — Маленький домик в саду. У меня был такой когда-то в Ирландии. Утром можно было прямо с постели срывать

ногами розы через окно.

— А садовники не удивлялись? — спросила миссис Торнбери.

— Садовников не было, — хохотнула миссис Флашинг. — Только я и старуха без единого зуба. Знаете, в Ирландии они, бедняги, лишаются зубов после двадцати. Но политикам этого не понять, во всяком случае Артуру Бальфуру[50].

Ридли вздохнул, поскольку не ожидал понимания чего-либо от кого-либо, и меньше всего — от политиков.

— Однако, — произнес он, — в одном я вижу преимущество дряхлого возраста — ничто не имеет значения, кроме еды и пищеварения. Я лишь прошу — позвольте мне догнивать в одиночестве. Очевидно, что мир несется во весь опор в преисподнюю, и я только могу сидеть тихо и вдыхать как можно больше табачного дыма, — простонал он и с меланхолическим видом намазал джем себе на хлеб. Эта резкая дама явно была ему несимпатична.

— Я всегда возражаю мужу, когда он так говорит, — ласково проговорила миссис Торнбери. —

---

[50] Примечания: 50

Артур Джеймс Бальфур (1848–1930) — премьер-министр Великобритании от консервативной партии в 1902–1905 гг., занимал и другие правительственные посты.

Ах, мужчины! Что бы вы делали без женщин!

— Прочитайте «Пир», — мрачно сказал Ридли.

— «Пир»? — крикнула миссис Флашинг. — Это латынь или греческий? Скажите, есть хороший перевод?

— Нет, — ответил Ридли. — Вам придется выучить греческий.

Миссис Флашинг опять закричала:

— Ха-ха-ха! Я лучше буду дробить камни на дороге! Всегда завидовала этим людям в очках, которые дробят камни и целыми днями сидят на этих милых кучках. Мне бесконечно милее дробить камни, чем чистить курятники, или кормить коров, или…

Тут из нижнего сада пришла Рэчел с книгой в руке.

— Что это за книга? — спросил Ридли после того, как она со всеми поздоровалась.

— Гиббон, — ответила Рэчел и села.

— «Упадок и разрушение Римской империи»? — спросила миссис Торнбери. — Чудеснейшая книга, я знаю. Мой дорогой отец всегда нам ее цитировал, в результате чего мы дали себе слово не прочесть из нее ни строчки.

— Гиббон, который историк? — вступила миссис Флашинг. — Я связываю с ним счастливейшие

часы в моей жизни. Мы любили читать Гиббона лежа в постели — помню, об избиениях христиан, — когда нам уже полагалось спать. Это не шутка — читать такую толстую книгу, текст в две колонки, при свете, проникающем через щелку в двери, да еще от ночника. К тому же ночные бабочки — полосатые, желтые — и мерзкие майские жуки. Луиза, моя сестра, хотела, чтобы окно было открыто. А я — чтобы закрыто. Каждую ночь мы дрались насмерть из-за этого окна. Видели, как ночная бабочка погибает в ночнике? — спросила она.

И опять беседа была прервана. Хёрст и Хьюит показались в окне гостиной и затем вышли к чайному столику.

Сердце Рэчел быстро забилось. Она почувствовала, как все вокруг приобрело необычайную глубину и четкость, как будто при появлении молодых людей с поверхности предметов слетел некий покров. Однако приветствия прозвучали вполне обыденно.

— Простите, — сказал Хёрст, поднимаясь со стула сразу после того, как сел. Он сходил в гостиную и вернулся с подушечкой, которую аккуратно подложил под себя. — Ревматизм, — сообщил он, усаживаясь во второй раз.

— Это после танцев? — спросила Хелен.

— Стоит мне физически устать, за этим всегда следует приступ ревматизма. — Он резко выгнул назад кисть руки. — Прямо слышу, как трутся друг о друга мои отложения солей!

Рэчел посмотрела на него. Ей было смешно, и в то же время она испытывала почтение: верхняя часть ее лица смеялась, а нижняя изо всех сил старалась сдержать смех.

Хьюит подобрал с земли книгу.

— Нравится? — спросил он вполголоса.

— Нет, не нравится, — ответила Рэчел. В самом деле, она полдня пыталась читать эту книгу, но почему-то все великолепие, в котором Гиббон предстал поначалу, угасло, и Рэчел, как ни старалась, не могла уловить смысл. — Она раскручивается, раскручивается, как рулон клеенки, — рискнула Рэчел. Эти слова предназначались одному Хьюиту, но Хёрст вмешался:

— Что вы хотите сказать?

Рэчел тут же устыдилась своего сравнения, потому что не могла обосновать его трезвой критикой.

— Если речь идет о стиле, то он, вне всяких сомнений, совершенен и не знает равных, — продолжил Хёрст. — Каждая фраза фактически

идеальна, и острота ума…

«Уродливая внешность, гадкие мысли, — подумала она вместо того, чтобы думать о стиле Гиббона. — Да, но зато мощный, пытливый, упорный ум». Она посмотрела на его крупную голову с непропорционально большим лбом, в его проницательные и строгие глаза.

— Отказываюсь от вас, отчаявшись, — сказал он полушутя, но Рэчел восприняла это всерьез и почувствовала, что ее ценность как человека уменьшилась, потому что она не восхищается Гиббоновым стилем. Остальные в это время беседовали о местных деревнях, которые миссис Флашинг следовало посетить.

— Я тоже в отчаянии, — резко ответила Рэчел. — Как вы можете оценивать людей по их уму?

— Вы, наверное, заодно с моей незамужней тетей, — предположил Сент-Джон в своей насмешливо-бодрой манере, которая всегда раздражала собеседника, потому что заставляла его чувствовать себя неуклюжим и слишком серьезным. — «Будь добродетельна, о дева…» Я считал, что мистер Кингсли[51] вместе с моей тетей устарели.

---

[51] Примечания: 51

Чарльз Кингсли (1819–1875) — английский писатель, публицист и священник. Здесь — строка из его стихотворения «Прощание. К С. Е. G.».

— Можно быть хорошим человеком, не прочитав ни единой книги, — упрямо сказала Рэчел. Ее слова прозвучали примитивно и глупо, сделав Рэчел беззащитной для насмешек.

— Разве я это отрицаю? — спросил Хёрст, поднимая брови.

Неожиданно в разговор вступила миссис Торнбери — то ли потому, что в ее роль входило смягчать шероховатости, то ли в силу ее давнего желания поговорить с мистером Хёрстом, поскольку во всех молодых людях она видела своих сыновей.

— Я всю жизнь прожила с такими людьми, как ваша тетя, мистер Хёрст, — сказала она, наклоняясь вперед на стуле. Ее карие беличьи глазки заблестели даже ярче обычного. — Они никогда не слышали о Гиббоне. Их заботят лишь их олени и крестьяне. Это крупные люди, которые смотрятся в седле так же славно, как смотрелись, наверное, всадники в эпоху великих войн. Можете говорить о них что угодно — что они животные, что они неумны; они не читают сами и не хотят, чтобы это делали другие, но они принадлежат к разряду лучших и добрейших людей на этом свете! Вас удивили бы истории, которые я могла бы рассказать. Вам, вероятно, и невдомек,

какие романтические сюжеты разворачиваются в глубинке. Я считаю, что именно в среде этих людей родится второй Шекспир, если он вообще родится. В этих старых усадьбах, среди известковых холмов…

— Моя тетя, — перебил Хёрст, — проводит свою жизнь в Восточном Ламбете[52] среди опустившейся бедноты. Я процитировал мою тетю лишь потому, что она склонна порицать людей, которых называет «интеллектуалами», в чем я подозреваю и мисс Винрэс. Теперь это модно. Если человек умен, само собой считается, что ему полностью недоступны сострадание, чуткость, привязанность — все, что по-настоящему важно. Эх вы, христиане! Вы — самые надменные, самодовольные, лицемерные притворщики в стране! Конечно, — продолжал он, — я первый признаю большие достоинства за вашими сельскими господами. Во-первых, они, вероятно, честно выражают свои чувства, в отличие от нас. Мой отец, а он священник в Норфолке, говорит, что в провинции едва ли найдется хоть один сквайр, который…

— А как насчет Гиббона? — перебил Хьюит.

---

[52] Примечания: 52
Ламбет — район Лондона.

Это вмешательство сняло напряжение, которое читалось на лицах всех присутствующих. — Вы находите его однообразным, я полагаю. Но, знаете… — Он открыл книгу и начал просматривать текст в поисках фрагмента для чтения вслух. Вскоре он нашел нечто, по его мнению, подходящее. Но для Ридли не было ничего на свете скучнее, чем чтение вслух, и, кроме того, он был крайне привередлив к нарядам и поведению дам. За прошедшие пятнадцать минут он возненавидел миссис Флашинг — потому что ее оранжевое перо не шло к ее внешности, говорила она слишком громко и клала ногу на ногу; наконец, когда она приняла сигарету, предложенную Хьюитом, Ридли вскочил, пробормотал что-то о «питейных заведениях» и удалился. Его уход явно принес миссис Флашинг облегчение. Она пыхнула сигареткой, вытянула ноги и стала подробно расспрашивать Хелен о характере и репутации их общей знакомой миссис Рэймонд Перри. Прибегнув к серии небольших уловок, она заставила Хелен определить миссис Перри как явление устаревшее, не имеющее отношения к красоте и весьма искусственное — короче, как старую надменную каргу, чьи приемы интересны только тем, что там можно встретить странных людей;

но Хелен всегда было жаль бедного мистера Перри, которого держат в нижнем этаже, в окружении шкафов, полных драгоценностей, тогда как его жена наслаждается жизнью в гостиной.

— Я, конечно, не верю тому, что про нее рассказывают, хотя ее и можно заподозрить…

Здесь миссис Флашинг вскрикнула от удовольствия:

— Она моя двоюродная сестра! Продолжайте, продолжайте!

Когда миссис Флашинг поднялась, чтобы уходить, всем стало ясно, что она довольна своими новыми знакомствами. По пути к экипажу она предложила три или четыре плана, как им опять встретиться, или совершить экспедицию, или устроить для Хелен демонстрацию ее покупок. Все это она включила в неопределенное, но пышное приглашение.

Вернувшись в сад, Хелен вспомнила предостережение Ридли и с сомнением посмотрела на Рэчел, сидевшую между Хёрстом и Хьюитом. Но никаких выводов сделать не удалось, поскольку Хьюит до сих пор читал вслух Гиббона, а Рэчел, судя по выражению ее лица, уподобилась раковине на камне, для которой слова — что морские волны, омывающие ее створки.

У Хьюита был очень приятный голос. Дойдя до конца фразы, он остановился, и никто никакой критики не высказал.

— Люблю аристократов! — воскликнул Хёрст после небольшой паузы. — Поразительная беззастенчивость. Никто из нас не осмелился бы вести себя, как эта женщина.

— А что мне в них нравится, — сказала Хелен, садясь, — так это умение держать себя. Даже в голом виде миссис Флашинг была бы превосходна. Хотя одевается она, конечно, нелепо.

— Да, — сказал Хёрст. По его лицу прошла меланхолическая тень. — Я никогда не весил больше десяти стоунов. Что смехотворно при моем росте, и я еще похудел с тех пор, как мы сюда приехали. Видимо, это все ревматизм. — Он опять резко выгнул назад свою кисть, чтобы Хелен услышала скрежет солевых отложений. Она не сдержала улыбки. — Честное слово, мне не до смеха, — обиделся он. — Моя мать — хронический инвалид, и я всегда жду, что у меня вот-вот найдут болезнь сердца. Ревматизм в конце концов всегда добирается до сердца.

— Бога ради, Хёрст! — запротестовал Хьюит. — Можно подумать, ты восьмидесятилетний калека. Если уж на то пошло, у меня самого тетя

умерла от рака, но я к этому отношусь спокойно. — Он встал и начал раскачивать стул на задних ножках. — Никто не склонен погулять? За домом начинается великолепный маршрут. Можно выйти на скалу и посмотреть вниз, на море. Под водой видны красные камни. На днях у меня захватило дух от удивительного зрелища — штук двадцать медуз, полупрозрачных, розовых, с длинными щупальцами, качались на волнах.

— Это точно были не русалки? — спросил Хёрст. — Жарковато, чтобы взбираться на гору. — Он посмотрел на Хелен, которая сидела неподвижно.

— Да, слишком жарко, — решила Хелен.

Помолчали.

— Я хочу пойти, — сказала Рэчел.

«Могла бы как-то дать мне понять», — подумала Хелен, когда Хьюит и Рэчел ушли вместе и она осталась в обществе Сент-Джона, к его явному удовольствию.

Хотя он и был доволен, его обычная нерешительность в выборе темы разговора на некоторое время лишила его дара речи. Он сидел, пристально разглядывая головку горелой спички, в то время как Хелен размышляла — судя по выражению ее глаз — о чем-то весьма далеком.

Наконец Хёрст воскликнул:

— Проклятье! Будь проклято все! Будь прокляты все! — И добавил: — Вот в Кембридже есть с кем поговорить.

— В Кембридже есть с кем поговорить, — ритмичным и безучастным эхом отозвалась Хелен. Затем она очнулась. — Кстати, вы решили, что выберете — Кембридж или адвокатуру?

Он поджал губы и ответил, но не сразу, поскольку Хелен была еще слегка невнимательна. Она размышляла о Рэчел и о том, в кого из двоих молодых людей племянница, скорее всего, влюбится, а теперь, рядом с Хёрстом, она подумала: «Он безобразен. Жаль, что они все так безобразны».

Этот упрек не относился к Хьюиту: Хелен думала о знакомых ей умных, честных, интересных молодых людях, типичным примером которых был Хёрст, и задавалась вопросом, неужели работа мысли и ученость обязательно должны так уродовать их тела и возносить их сознание на высочайшую башню, с вершины которой человеческий род кажется им чем-то вроде крыс или мышей, копошащихся внизу.

«А будущее? — подумала она, представляя, как мужская часть человечества все больше уподобляется Хёрсту, а женская — Рэчел. — О

нет, — заключила она, взглянув на него. — За тебя никто не пойдет. Что ж, значит, будущее человечества — в руках Сьюзен и Артура. Нет, это ужасно. В руках тех, кто трудится на земле, причем вовсе не англичан, а русских и китайцев». Этот ход мыслей не принес ей удовлетворения и был прерван Сент-Джоном, который начал беседу заново:

— Жаль, вы не знаете Беннетта. Он чудеснейший человек в мире.

— Беннетт? — спросила она.

Сент-Джон почувствовал себя более непринужденно, оставил свою сосредоточенно-отрывистую манеру разговора и объяснил, что Беннетт живет на старой ветряной мельнице в шести милях от Кембриджа. Образ его жизни, по мнению Сент-Джона, идеален, он совершенно одинок, очень прост, заботит его лишь истинная сущность вещей, он всегда готов поговорить, исключительно скромен, хотя обладает глубочайшим умом.

— Вам не кажется, — спросил Сент-Джон, закончив описывать Беннетта, — что по сравнению с этим все выглядит довольно шатко? Вы заметили за чаем, как бедняге Хьюиту пришлось сменить тему беседы? Как они все были готовы наброситься на меня, потому что, по их мнению, я собирался

произнести нечто неподобающее? А я вовсе не собирался. Окажись при этом Беннетт, он сказал бы все, что хотел, а не то просто встал бы и ушел. Это все довольно сильно портит характер — если не обладаешь таким характером, как у Беннетта. Можно стать злым. По-вашему, я злой?

Хелен не ответила, и он продолжил:

— Конечно, я злой, отвратительно злой, и мне самому это противно. Но хуже всего во мне, что я завистлив. Я завидую всем. Не выношу людей, которые что-то делают лучше, чем я, — вплоть до нелепости, — например, официантов, умеющих носить горы тарелок, даже Артура, потому что Сьюзен влюблена в него. Я хочу, чтобы люди мне симпатизировали, но тщетно. В том числе из-за моей внешности, полагаю. Хотя говорить, что во мне есть еврейская кровь, — совершенная ложь; между прочим, мы, Хёрсты из Хёрстберн-Холла, живем в Норфолке по меньшей мере уже три столетия. Наверное, ужасно приятно быть такой, как вы, — вы всем сразу нравитесь.

— Уверяю вас, это не так, — засмеялась Хелен.

— Так, — убежденно сказал Хёрст. — Во-первых, вы самая красивая женщина из всех, кого я видел. Во-вторых, вы исключительно приятный человек.

Если бы Хёрст взглянул на нее вместо того, чтобы пристально смотреть в свою чашку, он увидел бы, что Хелен покраснела — отчасти от удовольствия, отчасти от прилива нежности к молодому человеку, который только что казался ей — и еще покажется — таким безобразным и ограниченным. Она жалела его, поскольку подозревала, что он страдает, и он был интересен ей, потому что многое из сказанного им казалось ей верным; она приветствовала нравственные принципы молодого поколения, и все-таки она чувствовала себя стесненно. Хелен безотчетно захотела скрыться за чем-то ярким и безличным, что можно держать в руках, и поэтому она сходила в дом и вернулась со своей вышивкой. Но вышивка Хёрста не интересовала, он даже не взглянул на нее.

— Насчет мисс Винрэс… — начал он. — Послушайте, давайте будем друг для друга Сент-Джоном и Хелен, Рэчел и Теренсом? Что она за человек? Мыслит ли она, чувствует ли, или она что-то вроде табуретки?

— О нет, — сказала Хелен с большим убеждением. В результате своих наблюдений во время чаепития она засомневалась, что Хёрст — тот человек, который должен заниматься образова-

нием Рэчел. Хелен питала все больший интерес к племяннице и все больше симпатизировала ей; какие-то качества Рэчел ей совсем не нравились, другие радовали, в целом же она ощущала в ней живую, пусть еще не сформировавшуюся личность, открытую всему новому, не всегда удачливую в своих экспериментах, но обладающую некой внутренней силой и способностью чувствовать. А еще в глубине души она была привязана к Рэчел нерушимыми и необъяснимыми узами женской общности. — Она кажется рассеянной, но у нее есть воля, — сказала Хелен, как будто во время паузы она провела смотр достоинствам Рэчел.

Вышивание, над которым приходилось думать, поскольку рисунок был сложным, а цвета следовало тщательно подбирать, прерывало беседу, когда Хелен погружалась в свою коллекцию шелковых клубочков или, слегка откинув голову назад и прищурив глаза, оценивала свое творение в целом. Поэтому на слова Хёрста: «Я приглашу ее погулять», — она лишь ответила: «М-м».

Вероятно, эта раздвоенность внимания его обижала. Он сидел молча, неотрывно смотря на Хелен.

— Вы совершенно счастливы, — наконец заявил он.

— Да? — спросила Хелен, втыкая иглу.

— Брак, я полагаю.

— Да, — сказала Хелен, осторожно вытягивая иглу.

— Дети?

— Да, — сказала Хелен, опять втыкая иглу. — Не знаю, почему я счастлива, — вдруг засмеялась она, посмотрев ему прямо в глаза. Последовала значительная пауза.

— Между нами пропасть, — сказал Сент-Джон. Его голос звучал так, будто исходил из глубокой пещеры в скалах. — Вы бесконечно проще меня. С женщинами всегда так, конечно. В том-то и трудность. Никогда не понятно, как женщина делает умозаключения. Наверное, вы все время думаете: «Ах, какой мерзкий молодой человек!»

Хелен смотрела на него, держа в руке иглу. Его голова была видна ей на фоне темной пирамиды магнолии. Поставив одну ногу на перекладину стула и отведя локоть, она сидела в позе швеи и олицетворяла всей своей фигурой величие древней женщины, вьющей нить судьбы, величие, к которому приобщаются и многие современные женщины, когда берутся за мытье или шитье.

Сент-Джон посмотрел на нее.

— Вы, я полагаю, за всю свою жизнь никого ни разу не похвалили, — сказал он ни с того ни с сего.

— Ридли я сильно балую, — заметила Хелен.

— Я спрошу у вас прямо: я вам симпатичен?

После некоторой паузы она ответила:

— Да, безусловно.

— Слава богу! — воскликнул он. — Это подарок судьбы. Знаете, — продолжил он с чувством, — мне хочется нравиться вам более, чем кому-либо.

— А как же пятеро философов? — спросила Хелен со смешком, мягко, но уверенно делая стежки. — Вы бы описали их.

Хёрст не испытывал особенного желания это делать, но, начав о них думать, он почувствовал облегчение и прилив сил. Далеко, на другой стороне земли, они сидели в прокуренных комнатах, выходящих в серые средневековые дворы, и казались замечательными, прямодушными, легкими в общении людьми, неизмеримо более утонченными в смысле чувств, чем здешняя компания. Они давали ему то, чего не могла дать ни одна женщина, даже Хелен. От воспоминаний у него потеплело на душе, и он стал дальше излагать

миссис Эмброуз свою ситуацию. Остаться ли ему в Кембридже или пойти в адвокатуру? В один день он склонялся к одному, в другой — к другому. Хелен внимательно слушала. Наконец, безо всяких предисловий, она объявила свое решение:

— Оставьте Кембридж и идите в адвокатуру.

Он потребовал привести основания.

— Я думаю, Лондон вам понравится больше, — сказала она. Это не было похоже на веское основание, но ей, судя по всему, оно казалось достаточным. Она взглянула на него и на цветущую магнолию за ним. Что-то странное было в этой картине. Возможно, из-за того, что тяжелые восковидные цветы были слишком спокойны и молчаливы, а сам Хёрст — он сбросил шляпу, волосы его растрепались, очки он держал в руке, и по сторонам переносицы виднелись красные вмятинки от них — выглядел слишком тревожным и словоохотливым. Куст был прекрасен, он раскинулся очень широко, и во время всего разговора Хелен посматривала на причудливые очертания его тени, формы листьев и на большие белые цветы среди зелени. Она делала это полуосознанно, и тем не менее куст каким-то образом принимал участие в беседе. Хелен отложила рукоделие и начала прогуливаться туда и обратно

по саду, Хёрст тоже встал и зашагал рядом с ней. Он был взволнован, чувствовал себя не в своей тарелке, в его голове теснилось множество мыслей. Оба молчали.

Солнце начало клониться к закату, и горы постигла перемена: у них как будто отняли земную вещественность и теперь они состояли из одной только густой синей дымки. Длинные и тонкие облака цвета фламинго с завитыми краями, похожими на страусовые перья, на разной высоте прочерчивали небо. Казалось, городские крыши опустились ниже, чем обычно, кипарисы между ними выглядели очень черными, а сами крыши стали бело-коричневыми. Как всегда по вечерам, снизу доносились отдельные крики и удары колокола.

Внезапно Сент-Джон остановился.

— Ну, ответственность — на вас, — сказал он. — Я решился: пойду в адвокатуру.

Его слова прозвучали очень серьезно, почти с пафосом; Хелен откликнулась на них не сразу.

— Я уверена, что вы поступаете правильно, — тепло сказала она и пожала протянутую ей руку. — Вы станете великим человеком, я в этом не сомневаюсь.

Затем, как будто приглашая его оценить гран-

диозный вид, она провела рукой вокруг себя. От моря, через крыши города, по гребням гор, над рекой и равниной, и опять по гребням гор, к вилле, саду, магнолии и фигурам Хёрста и самой Хелен, стоящих рядом; наконец рука опустилась.

Глава 16

Хьюит и Рэчел уже давно добрались до того места на краю скалы, откуда, глядя вниз на море, можно было, если повезет, увидеть медуз и дельфинов. Но они смотрели в другую сторону, на бескрайние просторы суши, и при этом испытывали чувства, которые не может вызвать ни один, даже самый впечатляющий, пейзаж в Англии: там деревни и холмы имеют названия и самый дальний холмистый горизонт то и дело понижается, показывая полосу дымки, которая есть море. Здесь же перед их глазами лежала бескрайняя иссушенная солнцем земля, вздымающаяся пиками, вздыбленная огромными гребнями, земля, которая ширится и простирается дальше и дальше, похожая на грандиозное морское ложе, разграфленная на полосы временами суток, разделенная на разные страны, в которых построены знаменитые города, где темнокожие дикари сменяются белыми цивилизованными людьми и

наоборот. Возможно, из-за их английской крови эта панорама показалась им слишком тревожно-безличной и даже враждебной, и поэтому, обратившись поначалу к ней, они затем отвернулись к морю и все остальное время смотрели на него. Здесь море было мелкой искрящейся водой, которая казалась неспособной злиться и подниматься валами, но дальше оно теснило само себя, добавляя серой краски в свой чистый синий тон, бурлило в узких проливах и бросалось пенными брызгами на мощные гранитные скалы. Именно это море подступало к устью Темзы, а Темза омывала корни города Лондона.

Мысли Хьюита текли примерно в таком направлении, вот почему первое, что он сказал, когда они стояли на краю скалы, было:

— Как хочется в Англию!

Рэчел легла, опершись на локоть, и раздвинула высокую траву, которая росла на краю обрыва, чтобы она не загораживала вид. Воды были очень спокойны — они мерно вздымались и опускались у подножия скалы — и так прозрачны, что на дне были хорошо видны красные камни. Так было в начале времен, и с тех пор ничего не изменилось. Возможно, ни один человек не беспокоил эти воды ни лодкой, ни своим телом. Подчиняясь ка-

кому-то импульсу, Рэчел решила нарушить этот вечный покой и бросила вниз самый большой камешек, который смогла найти. Он ударился в воду и пустил по ней рябь. Хьюит тоже посмотрел вниз.

— Чудесно, — сказал он, видя, как круги расходятся и исчезают. Чудесными ему казались свежесть и новизна, которые он ощущал. Он бросил следующий камешек. Всплеск почти не был слышен.

— Почему в Англию? — проговорила Рэчел тоном человека, захваченного зрелищем. — Что у вас в Англии?

— Друзья в основном, — ответил Хьюит. — Ну, и всякие занятия.

Он мог смотреть на Рэчел без ее ведома. Она по-прежнему была поглощена водой и приятными ощущениями, которые создает созерцание морских волн, омывающих скалы на мелководье. Он заметил, что на ней было темно-синее платье из мягкой и тонкой хлопчатой материи, которое плотно облегало ее тело. Это было тело со всеми выпуклостями и впадинами молодого женского тела, еще не до конца развитое, но без единого изъяна и потому интересное и даже привлекательное. Хьюит поднял глаза. Рэчел сня-

ла шляпку, ее подбородок покоился на ладони. На лице было по-детски сосредоточенное выражение, как будто она ждала, что над красными камнями вот-вот проплывет рыба. И все-таки двадцатичетырехлетний возраст сказывался в определенной сдержанности. Ее рука, лежавшая на земле с чуть подогнутыми пальцами, имела красивую форму и выглядела уверенной; нервные пальцы с квадратными кончиками были пальцами музыканта. С чем-то вроде душевной боли Хьюит осознал, что ее тело, и вообще довольно привлекательное, для него привлекательно особенно сильно. Вдруг она посмотрела на него. Ее глаза были полны искренним интересом.

— Вы пишете романы? — спросила она.

Мгновение он не мог понять, что она сказала. Его переполняло желание обнять ее.

— А, да, — сказал он. — Точнее, хочу их писать.

Она не отрывала от него своих больших серых глаз.

— Романы, — повторила она. — Зачем писать романы? Писать надо музыку. Понимаете, музыка… — Она отвела взгляд. Как только заработал ее мозг, выражение ее лица изменилось и она стала менее притягательной. — Музыка идет прямо к сути. Она говорит сразу все, что нужно сказать.

А писательство мне кажется таким… — Она замолчала, подыскивая выражение, и поскребла пальцами землю. — Оно похоже на чирканье о спичечный коробок. Большую часть времени, что я сегодня читала Гиббона, мне было жутко, адски, дьявольски скучно! — Она засмеялась, глядя на Хьюита, который засмеялся в ответ.

– *Я* не буду давать вам книги, — заметил он.

— Почему, — продолжила Рэчел, — я могу смеяться над мистером Хёрстом с вами, но не при нем? За чаем я была совершенно подавлена — не его безобразностью, а его умом. — Она нарисовала руками круг в воздухе. Речел с радостью осознала, как легко ей говорить с Хьюитом; шипы или зазубренные углы, которые царапают поверхность отношений между людьми, сточились.

— Я заметил, — сказал Хьюит. — Что не перестает удивлять меня, — он настолько успокоился, что смог закурить сигарету, и, чувствуя, как Рэчел легко с ним, сам пришел в легкое и счастливое расположение духа, — так это уважение, которое женщины, даже образованные, очень способные женщины, питают к мужчинам. Наверное, мы имеем над вами власть вроде той, что, как говорят, мы имеем над лошадьми. Мы кажемся им в три раза больше, чем мы есть, — иначе

они никогда не подчинились бы нам. Поэтому я склонен сомневаться, что вы чего-нибудь достигнете, даже получив избирательное право. — Он задумчиво посмотрел на нее. Она казалась спокойной и чуткой и очень юной. — Понадобится не меньше шести поколений, пока вы станете достаточно толстокожими, чтобы ходить в суды и деловые конторы. Представьте, насколько груб обычный мужчина. Рядовой, много работающий, честолюбивый стряпчий или делец, которому приходится кормить семью и блюсти свое положение. Ну и, конечно, дочери обязаны уступать дорогу сыновьям; те должны получать образование, стращать окружающих и пихаться локтями, чтобы кормить жен и детей, и так далее все сначала. А женщины остаются на заднем плане… Вы серьезно считаете, что избирательное право принесет вам благо?

— Избирательное право? — переспросила Рэчел. Она представила себе маленькую бумажку, которую надо бросать в ящик, и только тогда поняла, о чем Хьюит спрашивает; они посмотрели друг на друга и улыбнулись нелепости вопроса. — Мне — нет, — сказала она. — Но я играю на фортепьяно… Мужчины правда такие? — Она вернулась к тому, что ее интересовало. — Вас я не

боюсь. — Она просто посмотрела на него.

— О, я не типичен, — ответил Хьюит. — У меня пять-шесть сотен годового дохода. И потом, слава богу, никто не принимает романистов всерьез. Конечно, если все относятся к человеку очень-очень серьезно, это служит компенсацией за скуку его профессии: он получает назначения и степени, занимает посты, имеет титулы и множество букв после фамилии, носит орденские ленточки… Я им в этом не завидую, хотя иногда меня поражает — что за удивительное варево! Мужская концепция жизни — это просто чудо природы: судьи, чиновники, армия, флот, парламент, лорд-мэры, — мы состряпали из этого целый мир! Теперь возьмем Хёрста. Уверяю вас, после нашего приезда дня не прошло без обсуждения того, остаться ему в Кембридже или пойти в адвокатуру. Ведь это его карьера, его священная карьера. Если я слышал об этом двадцать раз, то его мать и сестры — раз пятьсот, я уверен. Вы легко можете себе представить эти семейные советы и как сестру отсылают кормить кроликов, потому что комната для занятий нужна Сент-Джону: «Сент-Джон работает», «Сент-Джон просил принести ему чай». Разве вам это не знакомо? Ничего удивительного, что Сент-Джон считает это делом особой важности.

Так и есть. Он должен зарабатывать на жизнь. А сестра Сент-Джона… — Хьюит помолчал, пыхнув сигаретой. — Ее, бедняжку, никто не принимает всерьез. Она кормит кроликов.

— Да, — сказала Рэчел. — Я кормила кроликов двадцать четыре года, теперь это кажется нелепым. — Она глубоко задумалась. И Хьюит, который говорил все, что приходило ему в голову, вдруг понял, что сейчас она не против поговорить о самой себе; этого хотелось и ему, поскольку так они могли лучше узнать друг друга.

Она стала вспоминать свое прошлое.

— Как вы проводили день? — спросил Хьюит.

Рэчел ответила не сразу. Вспоминая свой день, она увидела его разделенным трапезами на четыре части. Это деление было очень жестким, и все содержание дня следовало распределять между четырьмя жесткими барьерами. Такой представала ее жизнь, когда она вспоминала прошлое.

— Завтрак — в девять, обед — в час, чай — в пять, ужин в восемь, — сказала Рэчел.

— Ну, а что вы делали утром?

— Часами играла на фортепьяно.

— А после обеда?

— Ходила за покупками с одной из тетушек. Или к кому-нибудь с визитом, или за почтой, или

мы делали что-нибудь необходимое по дому, например если краны текли. Они часто посещают бедных — престарелых служанок с больными ногами, женщин, которым нужны больничные талоны[53]. Иногда я одна гуляла в парке. А после чая к нам порою кто-нибудь заходил; летом мы сидели в саду или играли в крокет; зимой я читала вслух, пока они занимались рукодельем; после ужина играла на рояле, а они писали письма. Если папа был дома, его знакомые ужинали у нас, а примерно раз в месяц мы ходили в театр. Время от времени мы ужинали в ресторане; иногда я ездила на балы в Лондон, только возвращаться было трудно. Мы виделись со старыми друзьями семьи и родственниками, но с другими людьми общались мало. Обычно это были священник, мистер Пеппер и семья Хантов. Дома папа любит покой, потому что он много работает в Халле. К тому же тетушки мои не отличаются здоровьем. Если заниматься домом как следует, он забирает много времени. Слуги у нас всегда были плохие, поэтому тетя Люси много хлопотала на кухне,

[53] Примечания: 53

Имеется в виду существующий в Великобритании с XVIII в. институт благотворительных больниц. Чтобы попасть в такую больницу, следовало подать прошение в попечительский комитет и получить от него «билет» или «талон» на госпитализацию.

а тетя Клара каждый день почти все утро вытирала пыль в гостиной и перебирала белье и серебро. Потом, у нас были собаки. С ними надо было гулять, а еще мыть и расчесывать. Теперь Сэнди умер, но у тети Клары есть очень старый какаду, привезенный из Индии. В нашем доме всё, — воскликнула Рэчел, — откуда-нибудь привезено! Он полон старой мебели — не очень старой, викторианской — из маминой семьи или из папиной, которую им, наверное, жалко было выбросить, хотя места для нее не хватает. Дом очень милый, разве что немножко тусклый или, скорее, тоскливый.

Перед ее глазами встала гостиная в родном доме. Это была большая и длинная комната с квадратным окном в сад. Вдоль стен — зеленые плюшевые стулья; тяжелый резной книжный шкаф со стеклянными дверцами; но главное впечатление создают выцветшие покрывала на диванах, широкие бледно-зеленые поверхности и корзины с выпадающим из них вязанием. На стенах висят репродукции старых итальянских мастеров, виды венецианских мостов и шведских водопадов, которыми много лет назад любовался кто-то из членов семьи. А еще — один-два портрета чьих-то отцов и бабушек и гравюра,

изображающая Джона Стюарта Милля, с портрета кисти Уоттса[54]. Комната лишена определенного характера, ее нельзя назвать ни типичной и откровенно пошлой, ни особенно изысканной, ни по-настоящему удобной.

— Но это вам не слишком интересно, — сказала Рэчел, подняв глаза.

— Боже правый! — воскликнул Хьюит. — Мне в жизни еще не было так интересно.

Рэчел поняла, что все время, пока она думала о Ричмонде, Хьюит не отрывал глаз от ее лица. Это взволновало ее.

— Продолжайте, прошу вас, — настаивал он. — Допустим, сегодня среда. Вы обедаете. Вы сидите тут, тетя Люси там, а тетя Клара — здесь. — Он расставил три камешка на траве между собой и Рэчел.

— Тетя Клара режет баранину, — проговорила Рэчел. Она неподвижно уставилась на камешки. — Передо мной — уродливая желтая стойка для посуды — мы называем ее «немой официант», — на ней три блюда: для печенья, для масла и для сыра. Горшок с папоротником. Горничная

---

[54] Примечания: 54

Джон Стюарт Милль (1806–1873) — английский публицист и политик, член парламента, сторонник женского равноправия. *Джордж Фредерик Уоттс* (1817–1904) — английский живописец и скульптор.

Бланш, которая шмыгает носом. Мы разговариваем… Ах да, сегодня тетя Люси собирается в Уолворт[55], поэтому мы обедаем быстро. Она уходит. У нее лиловая сумка и черная записная книжка. Тетя Клара по средам собирает в гостиной «Общество помощи девушкам», как они его называют, так что я вывожу собак. Поднимаюсь на Ричмонд-Хилл, иду вдоль террасы и в парк. Сегодня восемнадцатое апреля — как и здесь. В Англии весна. Земля довольно влажная. Однако я пересекаю дорогу и выхожу на траву, теперь мы идем вдоль обочины. И я пою, как всегда, когда одна. Мы выходим на открытое место, откуда в ясный день виден внизу весь Лондон. Там — шпиль Хэмпстедской церкви, тут — Вестминстерский собор, а где-то здесь — заводские трубы. Над низинными районами обычно стоит дымка, но здесь, над парком, даже когда в Лондоне туман, часто бывает голубое небо. С площадки видны аэростаты, летящие в Херлингем[56]. Они бледно-желтые. Ну вот, а еще пахнет очень приятно, особенно если в домике смотрителя жгут

---

[55] Примечания: 55

Уолворт — район на юго-востоке Лондона.

[56] Примечания: 56

Херлингем — аристократический спортивный клуб и его стадион в Фулэме (район Лондона).

дрова. Я могу рассказать вам, как куда пройти, и какие деревья вы увидите по пути, и где надо будет переходить дороги. Ведь я там играла в детстве. Весной хорошо, но лучше всего осенью, когда ревут олени. Потом спускаются сумерки, и я возвращаюсь домой, и людей на улицах уже как следует не разглядишь: они проходят мимо очень быстро — только увидишь лицо, и человек уже ушел — это мне нравится — и никто не знает, где ты и что ты…

— Но вы должны вернуться к чаю, наверное? — справился Хьюит.

— К чаю? А, да. В пять часов. Тогда я рассказываю, чем занималась, а тети рассказывают, что делали они, и бывает, кто-то заходит — миссис Хант, например. Это пожилая дама, она хромает. У нее восемь детей или было когда-то восемь. Мы расспрашиваем о них. Они разъехались по всему миру. Мы спрашиваем, где они; иногда кто-то из них болеет, или они оказываются под карантином в холерном районе или там, где дождь выпадает лишь раз в пять месяцев. У миссис Хант, — Рэчел улыбнулась, — был сын, которого задавил насмерть медведь.

Тут она замолчала и посмотрела на Хьюита, чтобы понять, занимает ли его то же, что и ее.

Убедившись в этом, она все-таки посчитала необходимым опять извиниться за то, что она так много говорит.

— Вы представить не можете, как мне интересно, — сказал он. И действительно, его сигарета истлела, и ему пришлось зажечь другую.

— Почему это вам интересно? — спросила Рэчел.

— В том числе и потому, что вы женщина, — ответил Хьюит. Когда он это сказал, Рэчел, уже было обо всем забывшая и вернувшаяся в детское состояние интереса и радости, вновь потеряла ощущение свободы и застеснялась. Она вдруг почувствовала себя редким экспонатом, объектом наблюдения — как она чувствовала себя рядом с Сент-Джоном Хёрстом. Она уже хотела пуститься в спор, который неизбежно настроил бы их друг против друга, и определить чувства, не имевшие того значения, которое сообщали им слова, как Хьюит направил ее мысли в ином направлении.

— Я часто бродил по улицам, где рядами стоят одинаковые дома, в которых живут люди, и гадал, чем могут быть заняты женщины в этих домах, — сказал он. — Только подумайте: сейчас начало двадцатого века, но до самого недавнего времени ни одна женщина не могла заявить о

себе во всеуслышание. Вся их жизнь текла на задворках — тысячи лет, — странная, безмолвная, нерассказанная жизнь. Конечно, мы всегда писали о женщинах — оскорбляли их, насмехались над ними или поклонялись им, но это никогда не исходило от них самих. Я считаю, что мы до сих пор не имеем ни малейшего понятия, как они живут, что чувствуют, чем именно заняты. Мужчина может рассчитывать лишь на откровенность девушек в разговоре об их любовных делах. Но жизнь сорокалетних женщин, незамужних женщин, работающих женщин, женщин, содержащих лавки и воспитывающих детей, женщин вроде ваших тетушек, или миссис Торнбери, или мисс Аллан — тайна за семью печатями. Они о себе не рассказывают. Либо просто боятся, либо таков их подход к мужчинам. Представлен и выражен всегда лишь мужской взгляд на жизнь, понимаете? Возьмем любой поезд: пятнадцать вагонов для мужчин, желающих курить. Разве у вас от этого не закипает кровь? Будь я женщиной, я бы кому-нибудь вышиб мозги. Неужели вы над нами не смеетесь? Неужели все это не кажется вам грандиозным надувательством? Вы, лично вы, как это воспринимаете?

Его решимость докопаться до истины сковыва-

ла Рэчел, хотя и придавала значимость их беседе; он как будто давил на нее все больше и больше, нагнетая некую важность. Рэчел попросила время на обдумывание ответа и стала еще и еще раз перебирать в памяти свои двадцать четыре года, высвечивая внутренним взором то одно, то другое — своих тетушек, отца, мать, — и, наконец остановившись на отношениях тетушек и отца, попыталась описать их так, как они ей виделись сейчас, на расстоянии.

Они очень боялись ее отца. В доме он олицетворял собой смутную силу, связывавшую их с большим миром, который был ежеутренне представлен газетой «Таймс». Но реальная жизнь дома состояла в чем-то совсем ином. Она текла независимо от мистера Винрэса и старалась спрятаться от него. Он относился к тетушкам доброжелательно, но высокомерно. Рэчел всегда принимала как само собой разумеющееся, что он всегда прав, и исходила из системы ценностей, согласно которой жизнь одного человека безусловно важнее, чем жизнь другого; по этой системе тетушки были гораздо менее важны, чем отец. Но верила ли она в это на самом деле? Слова Хьюита заставили ее задуматься. Она всегда покорялась отцу, как и тетушки, но именно

они, а не он на самом деле оказывали влияние на ее жизнь. Они, тетушки, соткали тонкую и плотную ткань их домашнего мира. Они не были столь величественны, как отец, но были гораздо естественнее. Все ее вспышки негодования были направлены на них; она тщательно изучила и так хотела разрушить до основания именно их мир с этими четырьмя трапезами, пунктуальностью, со слугами на лестнице ровно в пол-одиннадцатого. Находясь во власти этих мыслей, она сказала:

— А в этом есть какая-то красота: вот сейчас, в это мгновение, они в Ричмонде все так же творят свою жизнь. Возможно, они кругом не правы, но в этом есть красота, — повторила Рэчел. — Неосознанная, скромная… И все-таки они умеют чувствовать. Им небезразлично, когда люди умирают. Старые девы всегда чем-то заняты. Чем — я точно не знаю. Но я это чувствовала, когда жила с ними. Это было что-то очень настоящее.

Она вспомнила их походы — в Уолворт, к служанкам с больными ногами, на собрания по тому или иному поводу, их мелкие акты милосердия и самоотверженности, которые естественно вытекали из точного знания, что они должны делать; их приятельниц, их вкусы и привычки. Ей представилось, будто все это песчинки, которые

падают, падают сквозь бесчисленные дни, творя воздух, плоть и фон жизни. Пока она думала, Хьюит наблюдал за ней.

— Вы были счастливы? — спросил он.

Она опять задумалась, Хьюит вернул ее к необычайно острому осознанию себя самой.

— И да и нет, — ответила она. — Я была счастлива, и мне было скверно. Вы представить себе не можете, что такое быть девушкой. — Она посмотрела ему в глаза. — Сплошные страхи и муки, — сказала она, не отрывая от него взгляда, словно стараясь разглядеть малейший намек на насмешку.

— Я вам верю. — Он ответил ей совершенно искренним взглядом.

— Эти женщины на улицах… — сказала она.

— Проститутки?

Она кивнула.

— То, о чем приходится гадать…

— Вам никогда не объясняли?

Она покачала головой.

— И потом… — Она начала и умолкла. Они приблизились к огромной части ее жизни, в которую никто никогда не проникал. Все, что она рассказывала об отце и тетушках, о прогулках в Ричмондском парке, об их ежедневных занятиях,

было лишь на поверхности. Хьюит смотрел на нее. Он хочет, чтобы она описала и это тоже? Почему он сидит так близко и не сводит с нее глаз? Почему бы им не покончить с этими мучительными изысканиями? Почему бы просто не поцеловаться? Она хотела поцеловать его. Но вместо этого продолжала говорить слова:

— Девушка более одинока, чем юноша. Никого не интересует, что она делает. От нее ничего не ждут. Люди не слушают, что она говорит, — разве если она очень красива… А люблю я вот что, — добавила она с воодушевлением, как будто вспомнила что-то очень приятное. — Я люблю гулять по Ричмондскому парку и петь сама себе, зная, что до этого никому нет совершенно никакого дела. Мне нравится наблюдать — как мы наблюдали за вами, когда вы нас не видели, — мне нравится, что при этом я чувствую свободу, это все равно как быть ветром или морем. — Она отвернулась, вытянув вперед руки, и посмотрела на море. Оно было еще ярко-синим и простиралось вдаль, на сколько хватал глаз, но свет, отражавшийся от него, стал желтее, а облака окрасились в розоватый оттенок.

Когда Рэчел говорила, Хьюита охватило уныние. Очевидно, что никаких особенных чувств к

кому бы то ни было она питать не склонна, она явно безразлична к нему; только что они, казалось, так сблизились, а потом опять разошлись далеко-далеко. Но движение, с которым она отвернулась от него, было необычайно красивым.

— Чепуха, — вдруг сказал он. — Вы любите людей. Вы любите, когда вами восхищаются. А Хёрст раздражает вас тем, что не восхищается вами.

Некоторое время она не отвечала. А потом сказала:

— Наверное, это так. Конечно, люди мне нравятся — мне нравятся почти все, кого я встречаю.

Она отвернулась от моря и окинула Хьюита дружелюбным, хотя и несколько оценивающим взглядом. Он обладал приятной внешностью в том смысле, что, судя по ней, никогда не испытывал недостатка в мясе и свежем воздухе. Голова у него была крупная, глаза — тоже большие, смотрели они обычно вяло, но могли и метать искры. Рот был чувственный. Про Хьюита можно было сказать, что это человек довольно страстный и порывистый, склонный поддаваться перепадам настроения, не слишком зависящим от окружающей реальности; одновременно терпимый и разборчивый. Высокий лоб свидетельствовал о незаурядных умственных способностях. Интерес,

с которым Рэчел смотрела на него, был слышен и в ее голосе.

— Что за романы вы пишете? — спросила она.

— Я хочу написать роман о Молчании, — сказал он. — О том, чего люди не говорят. Но это очень трудно. — Он вздохнул. — Однако вас это не трогает, — продолжил он, посмотрев на Рэчел почти свирепо. — Это никого не трогает. Вы читаете роман лишь для того, чтобы посмотреть, что за человек писатель и — если вы его знаете лично — кого из своих знакомых он вывел. Что касается самого романа, общей идеи, того, как автор видит свою тему, чувствует ее, соотносит ее с другими темами, — это волнует одного человека на миллион, даже меньше. И все же мне иногда кажется, что в мире нет более достойного занятия. Все эти люди, — он указал на гостиницу, — постоянно хотят того, что для них недоступно. А писательство, даже попытка писать дает невероятное удовлетворение. Вы правильно сказали: человеку не стоит стремиться к вершинам, достаточно способности их видеть.

Удовлетворение, о котором он говорил, отразилось на его лице, когда он смотрел на море.

Теперь настала очередь Рэчел впасть в уныние. Говоря о писательстве, он вдруг как будто

отдалился. Пожалуй, он никогда и ни к кому не сможет питать какие-либо чувства. Все это желание узнать ее, сблизиться с ней, напор которого она ощущала почти болезненно, растаяло без следа.

— Вы хороший писатель? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Не первоклассный, конечно. Хороший средний уровень, примерно наравне с Теккереем, я думаю.

Рэчел была удивлена. Во-первых, ей было странно слышать, что Теккерей средний писатель; затем, она не могла вдруг приобрести такую широту взглядов, чтобы поверить, будто великие писатели могут жить сейчас, или, даже если они есть, что великим писателем может оказаться ее знакомый. Его самоуверенность поразила и еще больше отдалила ее.

— Другой мой роман, — продолжил Хьюит, — о молодом человеке, одержимом одной идеей — быть джентльменом. Он умудряется существовать в Кембридже на сто фунтов в год. У него есть пиджак — когда-то это был очень хороший пиджак. Но брюки уже не так хороши. Ну вот, он едет в Лондон, проникает в хорошее общество — благодаря одной утренней встрече на

берегах Серпантина[57]. Ему приходится лгать — понимаете, моя идея в том, чтобы показать постепенное разложение души — он выдает себя за сына крупного землевладельца из Девоншира. Тем временем пиджак все ветшает и ветшает, а брюки он уже едва осмеливается надевать. Вы можете представить, как этот нищий после какого-нибудь роскошного и разгульного вечера созерцает свой наряд — развешивает его на спинке кровати, раскладывает то на свету, то в тени и гадает, кто кого переживет — он эту одежду или она его. Его посещают мысли о самоубийстве. У него есть друг, добывающий себе пропитание продажей мелких птиц, которых он ловит силками на полях у Аксбриджа[58]. Оба — ученые. Я знаю несколько таких жалких голодных созданий, которые цитируют Аристотеля над жареной селедкой и пинтой портера. Светскую жизнь я тоже должен показать, чтобы представить моего героя в самых разных обстоятельствах. Леди Тео Бингэм Бингли, чью гнедую кобылу ему посчастливилось осадить, — дочь очень знатного пэра из партии тори. Я опишу приемы, на которые я сам

---

[57] Примечания: 57

Серпантин — узкий и длинный пруд в лондонском Гайд-парке.

[58] Примечания: 58

Аксбридж — пригород Лондона.

когда-то ходил, светских интеллектуалов — знаете, из тех, что любят держать на столе новейшие издания. Они устраивают приемы, речные пикники, вечеринки с играми. Эпизоды придумать нетрудно, трудно их воплотить, не увлекаясь чрезмерно, как случилось с леди Тео. Для нее, бедняжки, все кончилось плачевно, а для книги я планировал финал, погруженный в глубокую и омерзительную респектабельность. Отец от леди Тео отказался, она вышла замуж за моего героя, и они живут на уютной маленькой вилле под Кройдоном — в этом городке он устроился агентом по недвижимости. Ему так и не удается стать настоящим джентльменом. В этом самое интересное. Ну, хотели бы вы прочитать такую книгу? — спросил Хьюит. — А может, вам больше понравилась бы моя трагедия из эпохи Стюартов, — продолжил он, не дожидаясь ответа. — Моя идея в том, что в прошлом есть определенная красота, которую рядовой исторический романист губит своими нелепыми штампами. Луна становится «Регентом небес», всадники вонзают шпоры в конские бока и так далее. Я же хочу обращаться с персонажами, как будто они точно такие же люди, как мы. Преимущество в том, что, оторвавшись от нынешних условий, можно

сделать их выразительнее и обобщеннее, чем если бы это были наши современники.

Рэчел выслушала все это со вниманием, но и с некоторой озадаченностью. Оба сидели и думали каждый о своем.

— Я не такой, как Хёрст, — задумчиво сказал Хьюит после паузы. — Я не вижу меловых кругов, которые разделяют людей. Иногда мне хотелось бы их видеть. Все это кажется чудовищно сложным и запутанным. Принять решение невозможно, составить суждение становится все труднее и труднее. Вы не находите? Потом становится вообще непонятно, что ты сам чувствуешь. Мы все блуждаем во тьме. Мы пытаемся найти выход, но можно ли представить себе нечто более смехотворное, чем личное мнение того или иного человека? Человек думает, что он что-то знает, но на самом деле он не знает ничего.

Говоря это, он оперся на локоть и стал перекладывать на траве камешки, изображавшие Рэчел и тетушек за обедом. Он говорил столько же сам с собой, сколько и с Рэчел. Он боролся с желанием, которое вернулось с еще большей силой: обнять ее, покончить с экивоками, прямо излить свои чувства. Он не верил в то, что говорил; все важное о ней он уже знал; чувствовал это в окружающем

ее воздухе. Однако, так ничего не сказав, Хьюит продолжал перекладывать камешки.

— Вы мне нравитесь. А я вам? — вдруг проговорила Рэчел.

— Вы мне нравитесь чрезвычайно, — ответил Хьюит, чувствуя облегчение как человек, которому неожиданно дали возможность сказать то, что он хочет. Он перестал двигать камешки. — Давайте называть друг друга Теренс и Рэчел? — предложил он.

— Теренс, — повторила Рэчел. — Теренс — похоже на крик совы.

Она посмотрела на Теренса с внезапным восторгом расширившимися от радости глазами и тут же была поражена, как изменилось небо за ними. Сочная синева сменилась бледной, более воздушной голубизной, облака стали ярко-розовыми, далекими, они теснили друг друга; дневная южная жара, при которой они начали свою прогулку, уступила место вечернему покою.

— Наверное, уже поздно! — воскликнула Рэчел.

Было почти восемь часов.

— Но здесь восемь часов ничего не значат, верно? — спросил Теренс, когда они встали и пустились в обратный путь. Они шли довольно

быстро, спускаясь с холма по узкой тропинке между оливами.

Они чувствовали себя ближе друг к другу, поскольку теперь оба знали, что такое восемь часов вечера в Ричмонде. Теренс шел впереди — чтобы идти рядом, не хватало места.

— Я думаю, что хочу писать романы во многом ради того же, ради чего вы играете на рояле, — начал он, повернув голову и говоря через плечо. — Мы хотим добраться до сути вещей, не так ли? Посмотрите на огни внизу, — продолжал он. — Они рассыпаны беспорядочно. То, что я придумываю, приходит ко мне, как огни… Я хочу сочетать их… Вы видели фигурные фейерверки?.. Я хочу создавать фигуры… Ведь вы хотите того же?

Они вышли на дорогу и могли идти рядом.

— Когда я играю на рояле? Нет, музыка — это другое… Но я вас понимаю. — Они стали изобретать теории, чтобы привести в согласие свои взгляды. Поскольку Хьюит не разбирался в музыке, Рэчел взяла его трость и стала чертить фигуры в легкой белой пыли, чтобы объяснить, как Бах создавал свои фуги.

— Мой музыкальный дар был погублен, — стал объяснять Хьюит, когда они пошли дальше после

очередной наглядной демонстрации, — деревенским органистом у нас дома, который изобрел свою систему нотного письма и пытался преподать ее мне, в результате я так и не сыграл ни одной мелодии. Моя мать считала, что для мальчика музыка недостаточно мужественное занятие; она хотела, чтобы я убивал птиц и крыс — это худшее в сельской жизни. Мы живем в Девоншире. Самое прелестное место на свете. Только — когда взрослеешь, дома становится трудно. Я хотел бы познакомить вас с одной из моих сестер… А вот и ваша калитка. — Он толкнул ее. Они помолчали. Рэчел не могла пригласить его войти. Она не могла сказать, что надеется на следующую встречу, — сказать было нечего, поэтому она без слов прошла в калитку и вскоре скрылась. Как только Хьюит потерял ее из виду, он почувствовал, что к нему вернулась прежняя досада, только с еще большей силой. Их беседа была прервана посередине, как раз когда он начал говорить то, что хотел сказать. В конце концов, что они смогли сказать друг другу? Он припомнил все, о чем они говорили: случайные, необязательные темы, которые только вились вокруг да около и забирали время, так сблизили их, а потом так разделили и оставили его неудо-

влетворенным, в прежнем неведении о том, что она чувствует и какая она. Что толку говорить, говорить и только говорить?

Глава 17

Был уже разгар сезона, и каждое судно, приходившее из Англии, оставляло на берегах Санта-Марины несколько человек, которые отправлялись в гостиницу. То, что у Эмброузов был дом, где можно было в любой момент скрыться от слегка бездушной атмосферы гостиницы, доставляло истинную радость не только Хёрсту и Хьюиту, но и Эллиотам, чете Торнбери, Флашингам, мисс Аллан, Эвелин М., а также другим людям, чьи личности были столь неярко выражены, что Эмброузы так и не узнали, есть у них имена или нет. Постепенно между двумя домами — большим и малым — наладилась постоянная связь, так что в течение почти всего дня, находясь в одном, можно было узнать, что делается в другом, а слова «вилла» и «гостиница» стали означать два непохожих стиля жизни. Знакомства проявляли признаки перерастания в дружбу, поскольку первая ниточка от гостиной миссис Перри неизбежно разветвилась на множество других, протянувшихся к различным частям

Англии; порой эти союзы казались цинично нестойкими, порой — болезненно проникновенными — все из-за того, что им не хватало организующей опоры на размеренную жизнь в Англии. Однажды вечером, когда полная луна светила сквозь ветви деревьев, Эвелин М. поведала Хелен историю своей жизни и попросила ее вечной дружбы; в другой раз, из-за одного лишь вздоха, или паузы в разговоре, или бездумно оброненного слова, бедная миссис Эллиот покинула виллу чуть ли не в слезах, поклявшись никогда больше не видеться с этой холодной и надменной женщиной, которая оскорбила ее; и действительно, они больше никогда не встречались. Такая эфемерная дружба не казалась достойной того, чтобы ее восстанавливать.

Хьюит между тем в это время мог найти превосходный материал для некоторых глав романа, который должен был называться «Молчание, или То, о чем не говорят». Хелен и Рэчел стали очень молчаливы. Миссис Эмброуз почуяла, как ей казалось, какую-то тайну, и она свято уважала ее, но из-за этого, хотя и без их умысла, отношения между тетей и племянницей стали неловко-сдержанными. Вместо того чтобы делиться своими взглядами на всё и вся, смело пускаться вслед

за темой беседы, куда бы она ни завела, они разговаривали главным образом о людях, которых видели, причем тайна, стоявшая между ними, ощущалась даже в том, что они говорили о Торнбери и Эллиотах. Всегда спокойная и бесстрастная в своих суждениях, миссис Эмброуз теперь определенно склонялась к пессимизму. Она была не то чтобы беспощадна к конкретным людям, но проявляла неверие в благосклонность судьбы, мрачно смотрела на долговременные перспективы и утверждала, что рок в целом враждебен людям настолько, насколько они этого заслуживают. И даже эту теорию она была готова сменить на другую — о главенстве хаоса, о том, что все происходит без причины, а люди слепо блуждают в иллюзиях и неведении. С некоторым удовольствием она излагала эти взгляды племяннице, иллюстрируя их письмом из дома: оно принесло добрые вести, но с таким же успехом могло принести и дурные. С чего ей быть уверенной, что сейчас ее дети не лежат мертвые, сбитые моторным омнибусом? «С другими это случается, так почему не может случиться со мной?» — спрашивала она с выражением стоической готовности к беде. Как бы ни были искренни эти воззрения, они, безусловно, были вызваны противоречивым

состоянием души племянницы. Оно отличалось такой переменчивостью, так быстро переходило от радости к отчаянию, что казалось необходимым противопоставить ему какое-то устойчивое мнение, которое само собой получилось столь же мрачным, сколь устойчивым. Возможно, миссис Эмброуз полагала, что, заводя беседу в эти области, она разузнает, что на уме у Рэчел, но судить было трудно, потому что иногда та соглашалась с самыми удручающими заявлениями, а иногда отказывалась слушать, заставляя Хелен замолчать то смехом, то болтовней, а то и едкими насмешками и даже яростными вспышками гнева, вызванного, как она говорила, «карканьем ворона в грязи».

— И без этого тяжело, — объясняла она.

— Что тяжело? — спрашивала Хелен.

— Жить, — отвечала Рэчел, после чего обе погружались в молчание.

Хелен могла делать собственные выводы о том, почему жизнь была тяжела, а также почему час спустя она становилась так прекрасна, что глаза Рэчел, взиравшей на эту жизнь, заражали радостью всех, кто оказывался рядом. Верная своим убеждениям, Хелен не пыталась вмешаться, хотя не было недостатка в приступах уныния, которые

менее щепетильный человек использовал бы, чтобы все выяснить; возможно, Рэчел и жалела, что Хелен к этому не прибегает. Эти перепады настроения в целом создавали картину, которую Хелен сравнивала с течением реки, когда она, ускоряясь все сильнее и сильнее, приближается к водопаду. Сердце подсказывало Хелен крикнуть: «Остановись!» — но даже если в этом был бы смысл, она все равно воздержалась бы, считая, что все должно развиваться естественным образом и вода должна нестись вперед, раз уж земля приняла такую форму.

Казалось, сама Рэчел не подозревает о том, что за ней наблюдают или что в ее поведении есть нечто привлекающее внимание. Она не понимала, что с ней произошло. Ее сознание весьма походило на бегущую воду, с которой его сравнивала Хелен. Она хотела видеть Теренса, она желала этого постоянно, когда его не было рядом; не видеть его было мучением; из-за него ее дни были полны страданий, но она никогда не спрашивала себя, откуда взялась эта сила, завладевшая ее жизнью. Она думала о том, что из этого выйдет, не больше, чем дерево, постоянно пригибаемое к земле ветром, думает о том, каким будет конечный результат действия ветра.

За две или три недели, прошедшие после прогулки, в ее ящике скопилось с полдюжины записок от него. Она читала их и целые утра проводила в блаженном оцепенении; залитая солнцем земля за окном была не меньше способна анализировать свой цвет и жар, чем Рэчел — себя. В таком настроении она не могла ни читать, ни играть на рояле, она не испытывала ни малейшего желания даже двигаться. Время проходило незаметно. Когда темнело, ее влекли к окну огни гостиницы. Огонек, который то вспыхивал, то гас, был окном Теренса: он сидит там, возможно, читает; а теперь ходит по комнате, вытаскивая то одну книгу, то другую; а сейчас он опять сидит в своем кресле… И она старалась представить, о чем он думает. Немигающие огни отмечали комнаты, где Теренс сидел, а другие люди двигались вокруг него. Это были вовсе не заурядные люди. Рэчел приписывала мудрость миссис Эллиот, красоту — Сьюзен Уоррингтон, особую жизненную энергию — Эвелин М., — потому что Теренс разговаривал с ними. Приступы уныния были такими же интенсивными и столь же мало связаны с размышлениями. Тогда ее сознание походило на равнину под черными тучами, которую нещадно секут ветер и град. И

опять она сидела в своем кресле, беспомощно отдавшись боли, и слова Хелен — странные или мрачные — вонзались в нее, как стрелы, и заставляли плакать над невыносимостью жизни. Лучше всего было, когда напряжение чувств безо всякой причины ослабевало и жизнь текла как обычно, только события ее были наполнены красками и радостью, дотоле совершенно незнакомыми; они обладали значением, как то дерево на тропе; ночи, точно черные полосы, отделяли один день от другого, тогда как ей хотелось бы соединить все дни в одно долгое, непрерывное ощущение. Хотя эти перепады настроения были прямо или косвенно вызваны присутствием Теренса или мыслями о нем, она никогда не говорила себе, что влюблена в него, и не думала, что будет, если она и дальше будет так чувствовать, поэтому придуманное Хелен сравнение с рекой, несущейся к водопаду, весьма соответствовало фактам, и тревога, которую Хелен иногда испытывала, была вполне оправданной.

Обуреваемая безотчетными чувствами, Рэчел была не способна как-либо управлять состоянием своей души. Она предоставила себя на милость случайных событий: в один день она тосковала по Теренсу, в другой виделась с ним, и его письма

всегда были для нее неожиданностью. Любая женщина, имеющая какой-то опыт в ухаживаниях, уже пришла бы к определенному мнению, по крайней мере, выстроила бы некую теорию об отношении к ней, но в Рэчел еще никто не влюблялся, и она ни в кого не влюблялась. Мало того, ни в одной из прочитанных ею книг — от «Грозового перевала» до «Человека и сверхчеловека»[59] и пьес Ибсена — героини, любовь которых там разбиралась, не переживали того, что сейчас переживала Рэчел. Ей казалось, что ее чувствам нет названия.

Она часто встречалась с Теренсом. Когда они не виделись, он имел обыкновение послать ей записку с книгой или записку о книге, поскольку все-таки не мог отказаться от этой формы общения. Но иногда он не приходил и не писал несколько дней подряд. И встречи их могли воодушевлять и радовать, а могли ввергать в досадное отчаяние. Каждый раз, когда они расставались, в воздухе витал дух прерванности, от чего они расходились неудовлетворенными, хотя и не зная, что другой испытывает то же чувство.

Рэчел и о своих-то чувствах была в неведении,

---

[59] Примечания: 59

«Человек и сверхчеловек» (1903) — пьеса Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950).

но еще меньше она понимала, что чувствует Теренс. Вначале он представал как бог; когда она узнала его получше, он все еще оставался светочем, но к этому великолепию присоединилось удивительное умение сообщать ей бесстрашие и уверенность в себе. Она замечала в себе чувства и способности, о которых раньше и не подозревала, и видела в мире глубины, до сих пор ей неизвестные. Думая об их отношениях, она не столько рассуждала, сколько представляла себе их зрительно; рисуя чувства Теренса, она видела его переходящим комнату, чтобы стать рядом с ней. Этот проход через комнату был связан с физическими ощущениями, но что они значили, она не понимала.

Так текло время, и поверхность его была подобна спокойной, но ярко блистающей водной глади. Приходили письма из Англии и от Уиллоуби, день за днем копились мелкие события, постепенно составляя собою год. На поверхности происходило следующее: три оды Пиндара были отредактированы, Хелен покрыла вышивкой примерно пять дюймов канвы, а Сент-Джон закончил первые два акта пьесы. Теперь он и Рэчел были добрыми друзьями, он читал ей вслух свои творения, она искренне восхищалась его

стихами и разнообразием его эпитетов, равно как и тем, что он друг Теренса, и он даже начал задумываться: а может, его призвание — не юриспруденция, а литература? Это было время глубоких размышлений и внезапных прозрений еще для нескольких пар и нескольких одиночек.

Настало воскресенье, чего на вилле не собирался замечать никто, кроме Рэчел и местной горничной. Рэчел по-прежнему ходила в церковь, потому что, как считала Хелен, она никогда не давала себе труда задуматься на темы религии. Поскольку службу отправляли в гостинице, она пошла туда, предвкушая, как приятно будет пройти через сад и холл, хотя она вряд ли могла надеяться на встречу с Теренсом и, уж во всяком случае, на разговор с ним.

Большинство постояльцев были англичанами, поэтому воскресенье в гостинице отличалось от среды почти так же, как в Англии, и напоминало безмолвный и темный, погруженный в раскаяние призрак рабочего дня. Англичане не могли приглушить солнечный свет, зато им каким-то чудесным образом удавалось замедлить время, притупить остроту событий, продлить трапезы и даже слугам с посыльными сообщить вид нудной благопристойности. Все надевали свои лучшие

наряды, что усиливало общий эффект; казалось, ни одна женщина не может сесть, не поскрипев чистой крахмальной юбкой, и ни один мужчина не может вздохнуть без того, чтобы его жесткая манишка не издала внезапный треск.

В это воскресенье, когда стрелки часов приблизились к одиннадцати, разные люди стали собираться в холле, сжимая в руках книжечки с красными страницами. За несколько минут до того, как часы пробили, зал пересек полный человек в черном с озабоченным выражением лица, как будто говорившим, что ему сейчас не до ответов на приветствия, хотя он и замечает их; человек исчез в коридоре, отходившем от холла.

— Мистер Бэкс, — прошептала миссис Торнбери.

После этого небольшая группа отправилась вслед за полной фигурой в черном. Провожаемые странными взглядами тех, кто не выказывал поползновений пойти вместе с ними, они удалялись в сторону лестницы медленно и чинно — за единственным исключением. Этим исключением была миссис Флашинг. Она сбежала по лестнице, быстрым шагом пересекла холл и присоединилась к процессии, запыхавшись.

— Куда, куда? — взволнованным шепотом спро-

сила она у миссис Торнбери.

— Мы все идем, — мягко проговорила та, и вскоре они начали парами спускаться по лестнице. Рэчел шествовала одной из первых. Она не видела, что сзади подошли Теренс и Хёрст, без черных томиков в руках, лишь Сент-Джон нес под мышкой тонкую книгу в голубом переплете.

Молельней служила старая монастырская часовня. Это было глубокое прохладное помещение, где монахи сотни лет служили мессу, приносили покаяние в холодном лунном свете и поклонялись старинным бурым иконам и статуям святых, которые стояли в нишах, воздев руки в благословении. Переход от католичества к протестантизму был отмечен периодом, когда часовня употреблялась не по назначению: там не молились, а хранили кувшины с маслом, ликеры и шезлонги. Когда гостиница достигла процветания, зал прибрала к рукам религиозная община, и теперь он был оборудован желтыми лакированными лавками и бордовыми скамеечками для ног; еще там имелись небольшая кафедра и медный орел, на спине которого лежала Библия, а также несколько квадратных ковриков убогого вида и длинные полосы вышивок, усеянные золотыми монограммами, — дары благочестивых

прихожанок.

Входящую паству встретили сладкозвучные аккорды фисгармонии — их проникновенно извлекала дрожащими пальцами мисс Уиллет, скрытая от взглядов суконной занавеской. Звуки распространялись по часовне, как круги от упавшего в воду камня. Двадцать — двадцать пять прихожан сначала склонили головы, а затем сели и огляделись. Было очень тихо, свет внизу казался сумрачнее, чем наверху. Приветствуя друг друга, люди обошлись без обычных улыбок и поклонов. Священник прочитал им «Отче наш». После этого приглушенно зазвучали голоса — точно как в школьном классе, — и прихожане, многие из которых до этого встречались только на лестнице, почувствовали задушевное единение и взаимное расположение. Молитва была словно факел, поднесенный к хворосту, от которого тут же поднялся дым, наполнивший часовню призраками бесчисленных церковных служб в бесчисленные воскресные утра дома, в Англии. Сьюзен Уоррингтон особенно сильно ощущала блаженный дух братства, когда, закрыв лицо руками, видела в щелочки между пальцами склоненные спины. Воодушевление поднималось в ней спокойно и ровно, наполняя ее удовлетворенностью и собой,

и жизнью. Атмосфера была очень покойная и благостная. Но, едва создав ее, мистер Бэкс вдруг перевернул страницу и прочитал псалом. Хотя он нисколько не изменил интонацию, настроение собравшихся резко изменилось.

— «Помилуй меня, Боже! — читал он. — Ибо человек хочет поглотить меня; нападая всякий день, теснит меня… Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне — на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами… Боже! Сокруши зубы их в устах их; разбей, Господи, челюсти львов! Да исчезнут они, как вода протекающая; когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные»[60].

В жизни Сьюзен ничто не соответствовало этим строкам, и к их языку она никакой любви не испытывала, поэтому давно перестала обращать внимание на подобные слова, но тем не менее слушала их с тем же бездумным почтением, какое у нее вызывали читаемые вслух монологи короля Лира. Ее разум был все так же безмятежен и воздавал хвалы ей самой и Богу, то есть торжественному и приятному порядку вещей во Вселенной.

---

[60] Примечания: 60
Пс. 55: 1, 6–7; 57: 7–8.

Однако, судя по лицам большинства молящихся, особенно мужчин, их побеспокоило внезапное вторжение древнего дикаря. Они приобрели более мирской и критический вид, слушая несвязные речи смуглого старика в набедренной повязке, который, яростно жестикулируя, возносил проклятия у костра посреди пустыни. Вслед за этим опять зашелестели страницы — как на уроке, — и они прочли немного из Ветхого Завета о выкапывании колодца, очень походя при этом на школьников, которые, отложив учебники французской грамматики, переводят несложный фрагмент из «Анабасиса»[61]. Затем они вернулись к Новому Завету, к печальному и прекрасному образу Христа. Пока вещал Христос, они опять попытались приладить его понимание жизни к тому, как жили сами, но, поскольку люди они были весьма непохожие друг на друга — кто практичен, а кто честолюбив, кто глуп, а кто неистов и жаждет нового, кто влюблен, а кто давно оставил позади все желания, кроме стремления к комфорту, — со словами Христа они обращались очень по-разному.

По их лицам казалось, что большинство не

[61] Примечания: 61

«Анабасис» — сочинение древнегреческого писателя и историка Ксенофонта (ок. 430 — ок. 355 до н. э.).

делает вообще никаких умственных усилий: они сидели, удобно откинувшись на спинки, и воспринимали звучавшие слова как воплощение благости, совершенно так же, как какая-нибудь усердная рукодельница видит красоту в пошлом узоре на своей салфетке.

А Рэчел, по той или иной причине, впервые в жизни слушала священника критически — вместо того чтобы погрузиться в обволакивающее облако приятных ощущений, слишком знакомых, чтобы их обдумывать. Пока мистер Бэкс зачитывал свой текст, непривычно переходя от молитвы к псалмам и далее к хроникам, а затем к поэзии, Рэчел ощущала себя очень неуютно. То же самое она переживала, когда ей приходилось слушать несовершенную музыкальную пьесу в плохом исполнении. Рэчел всегда страдала и злилась на неуклюжую бесчувственность дирижера, который неверно расставлял акценты, досадовала на толпу в концертном зале, покорно и безмолвно одобрявшую то, в чем ничего не понимает и до чего ей нет никакого дела; так и теперь она страдала и злилась на полузакрытые глаза и поджатые губы, и атмосфера натужной торжественности только усиливала ее раздражение. Люди вокруг нее притворялись, будто чувствуют

то, чего они не чувствовали; где-то наверху парила идея, которую никто из них не мог уловить, а лишь делал вид, что улавливает, — прекрасная идея, похожая на бабочку, неизменно ускользающую от ловца. Рэчел представляла себе одну за другой большие, жесткие и холодные церкви мира, в которых бесконечно делались ложные усилия и повторялись заблуждения, — огромные здания, заполненные бесчисленными мужчинами и женщинами, неспособными ясно видеть и в конце концов оставлявшими попытки что-либо разглядеть, покорно, с полузакрытыми глазами и поджатыми губами, погружавшимися в безмолвное соглашательство. Эта мысль досаждала ей так же, как мутная пелена, всегда рано или поздно возникающая между глазами и печатной страницей. Рэчел изо всех сил постаралась избавиться от пелены и найти в службе что-либо достойное поклонения, но не смогла, потому что ей мешали голос мистера Бэкса, речи которого ложно представляли идею, и бессмысленное овечье бормотание прихожан, подобное шороху падающих мокрых листьев. Эти попытки были утомительны и чреваты унынием. Рэчел перестала слушать и уставилась на сидевшую рядом женщину, сестру милосердия из больницы. Лицо той выражало

благочестивое внимание, доказывавшее, что она, во всяком случае, получает удовлетворение. Однако, присмотревшись, Рэчел пришла к выводу, что сестра лишь объята безмолвным соглашательством и что удовлетворенный вид — вовсе не результат блаженного осознания Бога в себе. И действительно, как могла она осознать что-либо далеко выходящее за рамки ее личного опыта — женщина с таким невыразительным лицом, с красной круглой физиономией, на которой банальные занятия и дрязги прочертили морщины, эта женщина, чьи водянисто-голубые глаза смотрели вяло, без всякого намека на индивидуальность, чьи черты были смазаны, бесчувственны и грубы. Ее восхищало нечто мелкое, благопристойно-чопорное, она цепко держалась за это, о чем свидетельствовал упрямый рот — рот усердного моллюска-прилипалы; ничто не оторвет ее от ханжеской веры в собственную добродетельность и добродетельность ее религии. Она и была моллюском, чья чувствительная сторона прилипла к скале, и поэтому все свежее и прекрасное для нее навеки умерло. Лицо этой прихожанки отпечаталось в сознании Рэчел и вызвало у нее настоящий ужас; вдруг она поняла, что имели в виду Хелен и Сент-Джон,

заявляя о своей ненависти к христианству. С неистовостью, которая теперь сопровождала все ее чувства, Рэчел отвергла все, во что до тех пор безоговорочно верила.

Тем временем мистер Бэкс дошел до середины второго отрывка. Рэчел посмотрела на него. Он был общительным человеком с мягкими губами и приятными манерами, о нем вполне можно было сказать, что он очень добр и прост, хотя и не умен, но Рэчел была не в том настроении, чтобы уважать кого-либо за такие качества, поэтому она рассматривала его, как будто он — воплощение всех недостатков своего богослужения.

В задней части часовни сидели рядом миссис Флашинг, Хёрст и Хьюит — в совершенно другом расположении духа. Хьюит, вытянув перед собой ноги, разглядывал крышу; поскольку он никогда не пытался подогнать богослужение под какие-то свои чувства или мысли, он мог без помех наслаждаться красотой языка. Сначала его внимание занимали случайные предметы — прически женщин, сидевших перед ним, свет на лицах, затем слова, которые казались ему восхитительными, а потом — более туманно — личности прихожан. Но когда он вдруг заметил Рэчел, из его головы вылетели все мысли, кроме одной — о ней. Псал-

мы, молитвы, литания, проповедь сошлись в один мелодичный гул, который прекращался, потом возобновлялся, иногда повышаясь в тоне, иногда понижаясь. Хьюит попеременно смотрел на Рэчел и на потолок, но на лице его отражалось не то, что он видел, а то, о чем он думал. И собственные мысли почти так же болезненно терзали его, как Рэчел — ее мысли.

В начале службы миссис Флашинг обнаружила, что взяла Библию вместо молитвенника, и, поскольку она сидела рядом с Хёрстом, она стала подглядывать ему через плечо. Он невозмутимо читал тонкую книжку в голубом переплете. Не различив буквы, миссис Флашинг наклонилась поближе, и Хёрст предупредительно положил книгу перед ней, указав на первую строку греческого стиха, а потом на перевод на противоположной странице.

— Что это? — шепотом полюбопытствовала миссис Флашинг.

— Сапфо, — ответил он. — И перевод Суинберна — лучшее из всего, что было написано.

Миссис Флашинг не могла упустить такую возможность. Она проглотила «Оду к Афродите» во время литании, с трудом удерживаясь от вопроса, когда жила Сапфо и что еще у нее стоит почитать.

Она умудрилась закончить чтение одновременно со словами «…в отпущение грехов, воскресение из мертвых и в жизнь вечную. Аминь».

Тем временем Хёрст достал конверт и начал что-то писать на нем. Когда мистер Бэкс взошел на кафедру, Хёрст закрыл Сапфо, заложив томик конвертом, поправил очки и со вниманием воззрился на священника. На кафедре тот выглядел очень крупным и толстым; в свете, падавшем сквозь неокрашенное, но зеленоватое окно, его лицо казалось гладким и белым, как гигантское яйцо.

Он оглядел лица, смиренно обращенные к нему, хотя среди молящихся были люди, годившиеся ему в бабушки и дедушки, и с особой значительностью приступил к проповеди. Ее идея состояла в том, что гости этой прекрасной страны, хотя они приехали только на отдых, облечены долгом перед местным населением. Проповедь, по правде говоря, не слишком отличалась от передовицы на общие темы в еженедельной газете. Гладкая и многословная, она перетекала от одного подзаголовка к другому, проводя мысль, что все люди под кожей весьма походят друг на друга, — это иллюстрировалось сходством игр, в которые играли местные мальчики и мальчики на улицах Лон-

дона, а также утверждением, что мелочи сильно влияют на людей, особенно на аборигенов. Например, близкий друг мистера Бэкса говорил ему, что успех нашего правления в Индии, в этой обширной стране, во многом зависел от строгого кодекса вежливости, который англичане установили в общении с аборигенами; из этого был сделан вывод, что мелочи не всегда малы, и далее почему-то последовали рассуждения о добродетели сострадания, особенная необходимость в которой ощущается именно сейчас, в эпоху экспериментов и перемен — взять хотя бы аэроплан и беспроволочный телеграф, — и трудности сейчас встречаются такие, какие были не знакомы нашим отцам, но которые всякий, кто называет себя человеком, не может оставить без разрешения. Здесь мистер Бэкс добавил религиозности и с невинной хитростью свел дело к тому, что все это налагает особые обязанности на ревностных христиан. Сейчас люди склонны говорить: «А, этот человек? Он священник». Мы же хотим, чтобы они говорили: «Он хороший человек», — другими словами: «Он брат наш». Мистер Бэкс призвал своих слушателей общаться с людьми современного типа, разделять их многочисленные интересы, чтобы постоянно напоминать им: сколько откры-

тий ни будет сделано, одно открытие навсегда останется непревзойденным, и оно так же необходимо самым преуспевающим и блистательным из них, как оно было необходимо их отцам. В этом деле могут помочь и самые скромные из нас; самые незначительные мелочи способны оказать влияние (тут мистер Бэкс окончательно перешел к пастырской манере, обращаясь, по-видимому, прямо к женщинам, поскольку обычно они в основном и составляли его аудиторию и он привык указывать на их обязанности во время своих мирных духовных кампаний). Не вдаваясь в более конкретные рекомендации, он перешел к эффектной концовке, перед которой сделал глубокий вдох и выпрямился:

— Капля воды, одинокая, отделенная от всех остальных капель, выпадая из тучи и вливаясь в огромный океан, изменяет, как нам говорят ученые, не только то место в океане, в котором она оказывается, но, поскольку мириады и мириады капель составляют великую вселенную воды, она изменяет форму всего земного шара и жизнь миллионов морских тварей и, в конце концов, жизнь людей, которые обитают на берегах, — единственная капля влияет на все это; и каждый ливень доставляет миллионы капель, которые

должны исчезнуть на земле, — исчезнуть, говорим мы, но мы прекрасно знаем, что плоды земли не могут произрасти без них; чудо, подобное этому, способен совершить каждый из нас — вливая свое малое слово или малое дело, мы изменяем огромную Вселенную; да, и это великая истина, именно изменяем — к добру или ко злу, — и не на одно мгновение и не в ограниченном месте, но во всем человечестве и на веки вечные, — взмахнув рукой, будто чтобы избежать аплодисментов, он продолжил, не делая вдоха, но сменив интонацию: — Во имя Отца…

Мистер Бэкс благословил прихожан, после чего из-за занавеса опять полились торжественные аккорды фисгармонии и люди начали с неловкостью и смущением протискиваться к выходу. На середине лестницы, в том месте, где свет и звуки верхнего мира сталкивались с сумраком и затихающими гимнами нижнего, Рэчел почувствовала, что на ее плечо легла чья-то рука.

— Мисс Винрэс, — повелительно прошептала миссис Флашинг, — оставайтесь на обед. Сегодня такой унылый день. Даже мяса не подают. Прошу вас, останьтесь.

Они вышли в холл, где небольшая компания опять была встречена любопытными и уважи-

тельными взглядами тех постояльцев, которые не ходили в церковь, но своими нарядами демонстрировали, что признают воскресенье полностью — разве что только в церковь не ходят. Рэчел чувствовала себя больше не в силах выносить эту атмосферу и уже собиралась сказать, что ей надо возвращаться, когда мимо прошел Теренс, занятый разговором с Эвелин М. Поэтому Рэчел ограничилась лишь фразой о том, что все выглядят так торжественно… Это осуждающее замечание миссис Флашинг истолковала как согласие остаться.

— Англичане за границей! — откликнулась она с оживленным злорадством. — Они ужасны, правда? Но мы отсюда удалимся. — Она потянула Рэчел за руку. — Идемте в мой номер.

Она протащила ее мимо Хьюита, Эвелин, четы Торнбери и Эллиотов. Хьюит сделал шаг навстречу.

— Обед… — начал он.

— Мисс Винрэс обещала пообедать со мной, — сказала миссис Флашинг и энергично бросилась вверх по лестнице, как будто ее преследовал весь средний класс Англии. Она не останавливалась, пока не захлопнула за ними дверь своей спальни.

— Ну, и что вы об этом думаете? — спросила она, слегка запыхавшись.

Все отвращение и ужас, накопившиеся у Рэчел, прорвались наружу.

— Я никогда не видела более гнусного спектакля! — выпалила она. — Как они могут… Как им не стыдно… Что они изображают — мистер Бэкс, сестры милосердия, старики, проститутки, — какая мерзость…

Рэчел торопливо называла все, что могла вспомнить, но она была охвачена слишком сильным негодованием, чтобы анализировать свои чувства. Миссис Флашинг с явным удовольствием наблюдала за тем, как она, стоя посреди комнаты, возмущается и порывисто жестикулирует.

— Продолжайте, продолжайте, прошу вас! — Миссис Флашинг засмеялась и захлопала в ладоши. — Слушать вас — такое наслаждение!

— Но зачем вы ходите? — удивленно спросила Рэчел.

— Я это делаю каждое воскресенье, всю жизнь, сколько себя помню, — хихикнула миссис Флашинг, как будто это само по себе было основанием.

Рэчел резко отвернулась к окну. Она не понимала, что привело ее в такое неистовство; после

того как она увидела Теренса в холле, мысли ее запутались и осталось лишь негодование. Она смотрела прямо на свою виллу, стоявшую на середине склона. Давно знакомый вид в обрамлении окна и за стеклом выглядел непривычно, и Рэчел постепенно успокоилась. Затем, вспомнив, что рядом с ней человек, не слишком хорошо ей знакомый, она повернулась и посмотрела на миссис Флашинг. Та все так же сидела на краю кровати, глядела на нее, приоткрыв рот, так что были видны два ряда крепких белых зубов.

— Скажите, — обратилась к ней миссис Флашинг, — кто вам больше нравится, мистер Хьюит или мистер Хёрст?

— Мистер Хьюит, — ответила Рэчел, но ее голос прозвучал неестественно.

— А который из них читает в церкви по-гречески? — спросила миссис Флашинг.

Это мог быть и тот и другой, и, пока миссис Флашинг описывала обоих и признавалась, что оба пугают ее, но один сильнее, чем другой, Рэчел искала, куда бы сесть. Номер, конечно, был одним из самых просторных и роскошных в гостинице. В нем стояло множество кресел и диванчиков, обитых небеленым полотном, но все места были заняты кусками картона, каждый из которых

покрывали пятна, линии и мазки яркой масляной краски.

— Вам не полагается на них смотреть, — сказала миссис Флашинг, заметив удивление в глазах Рэчел. Она вскочила и сбросила, сколько смогла, картонок на пол, изображениями вниз. Однако Рэчел успела завладеть одной из них, и миссис Флашинг, с тщеславием художника, взволнованно спросила:

— Ну как?

— Это холм, — ответила Рэчел. Не было сомнений, что миссис Флашинг изобразила энергичное и резкое выпячивание земли; казалось, она запечатлела даже летящие вихрем комья почвы.

Рэчел стала переходить от одного картона к другому. Все они были отмечены порывистостью и решимостью их создателя; они представляли собой результаты неумелых схваток кисти с полуосознанными идеями, которые были навеяны холмами и деревьями; и все так или иначе выражали характер миссис Флашинг.

— Я все вижу в движении, — объяснила миссис Флашинг. — Поэтому… — Она широко взмахнула рукой в воздухе, затем взяла один из картонов, отложенных Рэчел в сторону, уселась на скамеечку и начала черкать огрызком угля. Пока она

наносила свои штрихи, которые, по-видимому, служили ей тем же, чем другим служит речь, Рэчел, чувствовавшая сильное беспокойство, стала оглядываться вокруг. — Откройте гардероб, — после паузы сказала миссис Флашинг — неразборчиво, потому что держала во рту кисть. — Посмотрите вещи.

Рэчел заколебалась, и миссис Флашинг подошла сама, все так же с кистью во рту, распахнула створки шкафа и вывалила на кровать ворох шалей, кусков материи, накидок и вышивок. Рэчел начала перебирать их. Миссис Флашинг опять подошла и высыпала прямо на ткани гору бисера, брошей, серег, браслетов, кисточек и гребешков. Затем она вернулась на свою скамеечку и принялась молча писать маслом. Среди тканей были и темные, и светлые; они лежали на покрывале причудливой мешаниной линий и цветов, которую усеивали красноватые капли камней, глазки павлиньих перьев и бледные черепаховые гребни.

— Женщины носили эти вещи сотни лет назад, и до сих пор носят, — заметила миссис Флашинг. — Мой муж ездит по округе и собирает их. Тут никто не понимает их цену, поэтому мы покупаем их задешево. А в Лондоне продадим их

элегантным дамам, — сказала она со смешком, будто ее позабавила мысль об этих дамах и их нелепых нарядах. Через несколько минут она вдруг отложила кисти и уставилась на Рэчел. — Я скажу вам, чего мне хочется, — проговорила она. — Я хочу поехать туда и все увидеть сама. Глупо сидеть здесь с кучкой старых дев, как будто мы на английском побережье. Хочу отправиться вверх по реке и увидеть аборигенов в их поселениях. Всего каких-то десять дней в походных условиях. Мужу не впервой. Ночью лежишь под деревьями, днем тебя везут по реке, а если что увидим на берегу — будем кричать, чтобы они остановились. — Она поднялась и стала втыкать в кровать длинную золотую булавку, глядя на Рэчел, чтобы понять, как она восприняла это предложение. — Надо составить группу, — продолжила миссис Флашинг. — Десять человек могут нанять баркас. Поедете вы, миссис Эмброуз… А мистер Хёрст и второй господин поедут? Где карандаш?

Развивая свою идею, она все больше преисполнялась решимостью и восторгом. Она села на край кровати и составила список фамилий, причем каждую написала с ошибками. Рэчел была воодушевлена: план показался ей восхи-

тительным. Она давно мечтала увидеть реку, а имя Теренса в списке озарило проект таким светом, что он стал казаться слишком прекрасным, чтобы воплотиться. Она старалась помочь миссис Флашинг, называя фамилии, объясняя, как они пишутся, и считая по пальцам дни недели. Миссис Флашинг хотела знать все о происхождении и занятиях каждого и сама рассказывала диковинные истории о характерах и привычках художников, о людях с такими же фамилиями, когда-то бывавших в Чиллингли, хотя, конечно, фамилии были другими, но это были тоже очень умные мужчины, интересовавшиеся египтологией, — словом, они просидели за этим делом довольно долго. Наконец миссис Флашинг принялась искать свой дневник, поскольку метод подсчета дней по пальцам не оправдал себя. Она выдвинула и задвинула обратно все ящики своего письменного стола, а затем крикнула:

— Ярмут! Ярмут! Ну что за женщина! Пропадает всегда, когда она нужна!

В этот момент завопил обеденный гонг, как будто у него начался дневной истерический припадок. Миссис Флашинг яростно позвонила в колокольчик. Дверь открыла миловидная горничная, почти такая же прямая, как ее хозяйка.

— Так, Ярмут, — сказала миссис Флашинг, — найдите мой дневник и посмотрите, что у нас будет через десять дней, потом спросите портье в холле, сколько надо гребцов, чтобы отвезти восемь человек вверх по реке, и сколько это стоит, запишите все это на листке бумаги и оставьте его на моем туалетном столике. А теперь… — Она указала на дверь своим изящнейшим пальчиком, так что Рэчел пришлось пойти первой. — Да, и еще, Ярмут, — добавила миссис Флашинг через плечо, — уберите эти вещи и развесьте их по местам, будьте умницей, а то мистер Флашинг рассердится.

На все это Ярмут лишь ответила:

— Да, мэм.

Когда они вошли в длинную столовую, сразу стало ясно, что все еще воскресенье, хотя атмосфера слегка и разрядилась. Стол Флашингов был накрыт сбоку у окна, так, чтобы миссис Флашинг могла разглядывать каждого входящего, а любопытства ей было не занимать.

— Старая миссис Пейли, — прошептала она, когда Артур медленно вкатил инвалидное кресло. — Супруги Торнбери, — последовало дальше. — Эта милая женщина, — она подтолкнула Рэчел локтем, чтобы та посмотрела на мисс

Аллан. — Как ее зовут?

Сильно накрашенная женщина, которая всегда опаздывала, вошла в столовую с заготовленной улыбкой — как будто на сцену; она вполне могла бы вздрогнуть под взглядом миссис Флашинг, который выражал стальную неприязнь ко всему племени накрашенных женщин. Затем появились два молодых человека, которых миссис Флашинг собирательно называла «Хёрстами». Они сели напротив, через проход.

В обращении мистера Флашинга с женой смешивались восхищение и снисходительность, а его учтивая и плавная речь уравновешивала порывистость супруги. На фоне ее фырканий и вскрикиваний он представил Рэчел краткий очерк южноамериканского искусства. Он отвечал на восклицания жены, а потом спокойно возвращался к своей теме. Мистер Флашинг очень хорошо умел превращать обед в приятное времяпрепровождение, не соскальзывая в излишнюю задушевность. У него, как он сказал Рэчел, составилось мнение, что дебри этого края таят удивительные сокровища; то, что Рэчел видела, — лишь безделушки, собранные во время одной короткой поездки. Он предполагал, что на склонах гор можно найти гигантских богов, вы-

сеченных из камня, что колоссальные изваяния стоят в одиночестве посреди обширных зеленых пастбищ, там, где случалось бывать лишь аборигенам. Он считал, что задолго до рождения европейского искусства первобытные охотники и жрецы построили храмы из огромных каменных плит, вырубили из темных скал и мощных кедров величественные фигуры богов и зверей, символы великих стихий воды, огня и леса, среди которых они жили. Могут здесь быть и доисторические города, как в Греции и в Азии, стоящие на равнинах среди зарослей, и там сохранилось множество творений древнего народа. Здесь никто еще не был, почти ничего не известно. Говоря таким образом, излагая самые красочные из своих теорий, он полностью завладел вниманием Рэчел.

Она не видела, что Хьюит смотрит на нее через проход, между фигур официантов, сновавших мимо с блюдами. Он был рассеян, а Хёрст находил, что он к тому же зол и сварлив. Они затронули все обычные темы — политику, литературу, сплетни и христианство. По поводу богослужения они повздорили, поскольку Хьюит считал, что оно было ничем не хуже Сапфо, а язычество Хёрста — это просто показное чванство. Зачем ходить в церковь, спросил он, если ты читаешь там Сап-

фо? Хёрст возразил, что он слышал каждое слово проповеди и может доказать это — если Хьюит пожелает, он повторит ее. А в церковь он пошел, дабы осознать природу Творца, что в это утро у него получилось весьма ярко благодаря мистеру Бэксу, который вдохновил его на создание трех строк, принадлежавших к вершинам английской литературы и составлявших обращение к Божеству.

— Я написал их на обороте конверта от последнего письма моей тети, — сказал он и вытащил его из томика Сапфо.

— Что ж, послушаем, — отозвался Хьюит, немного смягчившись от перспективы литературной дискуссии.

— Дорогой Хьюит, ты хочешь, чтобы нас обоих вышвырнула из гостиницы разъяренная толпа Торнбери и Эллиотов? — спросил Хёрст. — Даже шепота хватит, чтобы я был заклеймен навеки. Боже! — воскликнул он. — Что толку в попытках писать, если мир населен такими ужасными глупцами? Серьезно, Хьюит, я советую тебе бросить литературу. Что в ней пользы? Вот твои читатели.

Он кивком показал на столики, за которыми весьма разнообразные европейцы жевали — а

некоторые и грызли — жилистую местную птицу. Хьюит посмотрел и пришел в крайнее раздражение. Хёрст тоже посмотрел. Его взгляд попал на Рэчел, и он поклонился ей.

— Сдается мне, что Рэчел влюблена в меня, — заметил он, опять уставившись в тарелку. — Худший вид дружбы — с девушками, они склонны влюбляться.

На это Хьюит ничего не возразил, только как будто застыл. Хёрст, судя по всему, не обиделся на то, что остался без ответа, поскольку он опять перевел разговор на мистера Бэкса и процитировал финал проповеди о капле воды. Хьюит и на это никак не откликнулся, и Хёрст лишь поджал губы, взял инжир и погрузился в свои мысли, в которых он никогда не испытывал недостатка. Закончив обедать, они взяли чашки с кофе и разошлись по разным частям холла.

Со своего кресла под пальмой Хьюит видел, как Рэчел вышла из столовой вместе с Флашингами. Они поискали, куда бы сесть, и выбрали три кресла в углу, где можно было приватно побеседовать. Лекция мистера Флашинга была в самом разгаре. Он достал листок бумаги и принялся иллюстрировать свои слова рисунками. Хьюит увидел, как Рэчел наклонилась и стала смотреть, водя по ним

пальцем. Он едко сравнил мистера Флашинга, который был слишком хорошо одет для жаркого климата и слишком усердно-изыскан в своих манерах, с назойливым лавочником. Так, сидя и наблюдая, он вдруг оказался в гуще компании, состоявшей из супругов Торнбери и мисс Аллан, которые, покружив минуту-другую с чашками в руках, устроились в креслах вокруг него. Они спросили, не может ли он что-нибудь рассказать им о мистере Бэксе. Мистер Торнбери, как всегда, сидел молча, рассеянно глядя перед собой, лишь изредка поднимая очки, как будто чтобы надеть их, но всегда в последний момент передумывая и опуская их обратно. После недолгого обсуждения дамы согласились, что мистер Бэкс, безусловно, не сын мистера Уильяма Бэкса. Воцарилась пауза. Затем миссис Торнбери сообщила, что она все так же по привычке упоминает королеву вместо короля в государственном гимне[62]. Опять наступила пауза. Миссис Аллан задумчиво сказала, что посещение церкви за границей всегда создает у нее ощущение, будто она на похоронах моряка. Очередная пауза оказалась очень длинной и грозила стать последней, однако, к счастью,

---

[62] Примечания: 62
Эдуард VII унаследовал престол от Виктории в 1901 г.

на террасе, в том месте, которое было им видно с кресел, появилась птица размером с сороку, но синего цвета с металлическим отливом. Это побудило миссис Торнбери задать вопрос: а если бы все грачи были синими, хорошо бы это было?

— Как ты думаешь, Уильям? — Она дотронулась до колена мужа.

— Если бы все грачи были синими, — он поднял очки и наконец-то водрузил их на нос, — в Уилтшире они долго не протянули бы, — заключил он, опять снял и положил очки. Трое пожилых людей задумчиво воззрились на птицу, которая была так любезна, что довольно долго оставалась на виду, избавляя их от необходимости разговаривать. Хьюит начал подумывать, не перейти ли ему в угол Флашингов, но тут к ним с другой стороны подошел Хёрст, уселся в кресло рядом с Рэчел и завел с ней беседу, ведя себя во всех отношениях фамильярно. Хьюит встал, взял шляпу и резко вышел.

Глава 18

Все, что он видел, вызывало у него отвращение. Он ненавидел синеву и белизну, яркость и четкость, гудение и жару юга; пейзаж казался ему жестким и ненатуральным, как картонный

задник на сцене, а гора — деревянной ширмой на фоне выкрашенной в синий цвет завесы. Он шел быстро, несмотря на палящее солнце.

Две дороги вели из города на восток; одна ответвлялась в сторону виллы Эмброузов, а вторая углублялась в сельскую местность, в конце концов достигая деревни на равнине, но от нее отходило множество тропинок, протоптанных, когда земля была влажной; они пересекали обширные высохшие поля, ведя к разбросанным фермам и виллам богатых туземцев. Хьюит сошел на одну из таких тропинок, чтобы избежать твердости и зноя большой дороги, а также туч пыли, вздымаемых телегами и ветхими пролетками, которые везли то подгулявших крестьян, то индюшек, выпиравших под сеткой неровными выпуклостями, как воздушные шары, то медную кровать и черные деревянные сундуки только что обвенчавшейся пары.

Прогулка действительно развеяла раздражение, накопившееся за утро, но тоска осталась. Хьюиту казалось несомненным, что Рэчел безразлична к нему: она почти не смотрела на него и, беседуя с мистером Флашингом, проявляла такой же интерес, как в разговорах с ним. Наконец, в его памяти всплыли неприятные слова Хёрста;

они стеганули его по душе, словно кнутом. А ведь он оставил ее беседующей с Хёрстом. Она и сейчас разговаривает с ним и, возможно, в самом деле влюблена в него. Хьюит перебрал в уме все доказательства этого предположения: ее внезапный интерес к творениям Хёрста; то, как она цитировала его — уважительно или только слегка подсмеиваясь; само прозвище, которое она дала ему — «Великий Человек», — могло означать нечто серьезное. А вдруг они правда поладили?

— Проклятье! — сказал он сам себе. — Я что, влюблен в нее?

На это он мог дать лишь один ответ. Безусловно, он был в нее влюблен, если вообще понимал, что такое любовь. С тех пор как он впервые увидел ее, она интересовала и привлекала его, и чем дальше, тем сильнее, пока он практически не потерял способности думать ни о чем другом, кроме как о Рэчел. Но, уже начиная, по своему обыкновению, погружаться в долгие грезы о ней и о себе, он остановил себя вопросом: хочет ли он жениться на ней? Вопрос был самым насущным, потому что долго терпеть эти муки и терзания невозможно, необходимо на что-то решиться. Он немедленно постановил, что не хочет жениться ни на ком. Мысль о браке вызывала у него досаду

— в том числе и потому, что он досадовал на Рэчел. Он сразу же представил себе картинку: двое сидят наедине перед камином, мужчина читает, женщина шьет. Последовала вторая картинка. Мужчина в компании вскакивает, прощается и спешит оставить друзей с заговорщическим видом человека, который украдкой пробирается к своему маленькому счастью. Обе картинки были очень неприятны, а третья была еще хуже: муж, жена и друг семьи; супруги переглядываются, поскольку кое-что для них само собой разумеется, — они обладают более глубокой истиной и горды этим. Из-за раздражения он шел очень быстро, и сцены вставали перед его мысленным взором сами собой, без малейшего усилия с его стороны, как будто на экране. Вот усталые муж и жена сидят в окружении детей, очень терпеливые, снисходительные и мудрые. Но и эта картинка была неприятна. Он перебрал самые разнообразные сюжеты, беря их из жизни своих друзей, поскольку знал много супружеских пар. Но их он всегда видел заточенными в теплых, залитых светом комнатах. Затем он начал вспоминать тех, кто не состоял в браке, — эти неизменно были деятельны, и существовали в ничем не ограниченном мире, и, кроме того,

находились в равном положении с остальными, без какой-либо защиты и преимуществ. Среди его знакомых самыми яркими и добрыми людьми были холостяки и старые девы. В самом деле, он с удивлением понял, что те женщины, с которыми он дружил и которыми восхищался, были незамужними. Создавалось впечатление, что для них брак более вредоносен, чем для мужчин. От этих общих картин он перешел к людям, которых наблюдал в последнее время в гостинице. Те же самые вопросы возникали у него, когда он видел Сьюзен и Артура, или мистера и миссис Торнбери, или мистера и миссис Эллиот. Он замечал, как застенчивое счастье и удивление новизной, свойственные помолвленной паре, постепенно уступали место умиротворенно-терпеливому состоянию, как будто приключения души остались позади и все свелось к исполнению определенной роли. Сьюзен ходила за Артуром с теплой кофтой, потому что он однажды проговорился, что его брат умер от воспаления легких. Хьюиту было забавно смотреть на это, но, если заменить Артура и Сьюзен на Теренса и Рэчел, становилось неприятно. Артур проявлял гораздо меньше охоты отвести кого-нибудь в уголок и поговорить о полетах, о механике аэропланов. Люди остепеняются.

Затем Хьюит перешел к парам, женатым уже не первый год. Да, у миссис Торнбери был муж, и ей, как правило, успешно удавалось вовлечь его в беседу, но невозможно было представить, что они говорят друг другу наедине. Те же самые вопросы возникали и в отношении Эллиотов, разве что эти, вероятно, наедине ссорились. Иногда они ссорились и на людях, хотя жена отчаянно старалась скрыть эти перебранки, позволяя себе немножко лицемерить, — она очень боялась общественного мнения, потому что была гораздо глупее мужа и должна была прилагать усилия, чтобы держать его в узде. Нет никаких сомнений, решил Хьюит, что для мира было бы намного большим благом, если бы эти пары расстались. Даже если взять Эмброузов, которыми он восхищался, которых глубоко уважал, — несмотря на всю их любовь друг к другу, разве их брак не был компромиссом? Она уступала ему, баловала его, убирала за ним; в общении с другими она была сама искренность, а с мужем — нет, как и со своими друзьями, если они вступали в конфликт с ее мужем. Странный и прискорбный изъян. Наверное, в ту ночь, в саду, Рэчел была права, когда сказала: «Мы пробуждаем друг в друге самое плохое, мы должны жить отдельно».

Нет, Рэчел была в высшей степени не права! Ему казалось, что по всем соображениям ему не стоит возлагать на себя бремя брака, — но лишь до того, как он вспомнил довод Рэчел, который был ну уж совсем нелеп. Из преследуемого Хьюит превратился в преследователя. Оставив рассуждения о том, почему не следует жениться, он стал думать, какие странности натуры Рэчел привели ее к такому высказыванию. Всерьез ли она говорила? Конечно, следует знать, каков характер человека, с которым ты собираешься провести всю жизнь. Ведь он писатель, вот и надо разобраться, что она за человек. Находясь рядом с ней, он не мог анализировать ее качества, он как будто чувствовал их интуитивно, но вдали от нее ему иногда казалось, что он совсем ее не знает. Она была молода, но и стара одновременно; в ней почти не было уверенности в себе, но она хорошо разбиралась в людях. Она была счастлива — но счастлива чем? Если они останутся вместе, а все восторги иссякнут и им придется иметь дело с обыденностью — что тогда будет? Бросив взгляд на собственный характер, он выделил два качества: он был весьма неаккуратен и не любил отвечать на письма. По его наблюдениям, Рэчел была аккуратна, но он не мог вспомнить ее с пе-

ром в руке. Он решил представить званый ужин, например у Крумзов: Уилсон, усадив Рэчел за стол и сев рядом, рассуждает о состоянии либеральной партии. Она говорит… — конечно, она совершенно невежественна в политике. Тем не менее она, безусловно, умна, а также искренна. Нрав у нее неопределенный — это он заметил, — и в ней нет домовитости, и непринужденности нет, нет спокойствия, и не скажешь, что она красива — разве что в некоторых нарядах и в определенном свете. Но у нее есть редкий дар: она понимает то, что ей говорят; как собеседница она не знает равных. Можно говорить о чем угодно, обо всем — она никогда не бывает подобострастна. В этот момент он остановился: ему вдруг показалось, что он знает о Рэчел меньше, чем о ком-либо. Все эти мысли приходили ему в голову уже много раз, часто он пытался рассуждать и спорить с собой; и вот опять кончилось тем, что он вернулся к своим сомнениям. Он не знал ее, не знал, что она чувствует, смогут ли они жить вместе, и хочет ли он жениться на ней, — и все-таки он любил ее.

Допустим, он придет к ней и скажет (он замедлил шаг и начал говорить вслух, как будто обращаясь к Рэчел):

— Я боготворю тебя, но брак мне ненавистен, я

не выношу его самодовольство, предсказуемость, компромиссы, меня пугает мысль, что ты будешь вторгаться в мою работу, мешать мне. Что ты на это скажешь?

Он остановился, прислонился к стволу дерева и невидящим взором уставился на камни, разбросанные по берегу сухого русла реки. Он отчетливо видел лицо Рэчел, ее серые глаза, волосы, губы; это лицо могло восприниматься очень по-разному: как невзрачное, безучастное, почти бессмысленное или — неистовое, страстное, почти красивое, однако в глазах Хьюита оно всегда было одинаковым, потому что Рэчел всегда смотрела на него с необычайной свободой и говорила, что думает. Как она ответит? Что она чувствует? Любит ли она его или относится к нему так же, как к любому другому мужчине, потому что она, по ее же словам, свободна, как ветер или море?

— Да, ты свободна! — воскликнул он, почувствовав восторг при мысли о ней. — И я сохраню твою свободу. Мы будем свободны вместе. Мы все будем переживать вместе. Мы будем счастливы, как никто никогда не был. Ничья жизнь не сравнится с нашей. — Он широко распахнул руки, будто чтобы обнять Рэчел и вместе с нею весь мир.

Он больше не мог ни обдумывать перспективу брака, ни трезво разбирать характер Рэчел, ни представлять, как они будут жить вместе, — он опустился и сел на землю, поглощенный мыслями о ней, и вскоре почувствовал мучительное желание опять оказаться с ней рядом.

Глава 19

Но Хьюит зря умножал свои терзания, представляя, что Хёрст все еще говорит с Рэчел. Компания очень скоро распалась: Флашинги пошли в одну сторону, Хёрст — в другую, а Рэчел осталась в холле. Она листала иллюстрированные издания, то одно, то другое, и в ее движениях чувствовалось какое-то неоформленное, беспокойное желание, владевшее ее душой. Она не знала, уйти или остаться, хотя миссис Флашинг повелела ей явиться к чаю. В холле было пусто, если не считать мисс Уиллет, которая выстукивала пальцами гаммы на листе с нотами духовной музыки, и состоятельной четы Картеров, которым девушка не нравилась, потому что у нее были развязаны шнурки и выглядела она недостаточно жизнерадостной, из чего они путем косвенных умозаключений делали вывод, что они не нравятся ей. Рэчел они, конечно, не понравились бы,

если бы она их увидела, — уже потому, что у мистера Картера были нафабренные усы, а миссис Картер носила браслеты, и эти люди явно были не из тех, кому могла понравиться Рэчел. Однако она была слишком поглощена своими тревогами, чтобы о чем-то еще думать или куда-то смотреть.

Рэчел переворачивала скользкие страницы американского журнала, когда дверь распахнулась, на пол упал клин света и невысокая белая фигурка, на которой, казалось, весь свет сфокусировался, прошла через зал прямо к ней.

— Как! Вы здесь? — воскликнула Эвелин. — Я заметила вас за обедом, но вы не снизошли до того, чтобы взглянуть на меня.

Одной из черт характера Эвелин была способность, несмотря на все щелчки, которые она получала или воображала, никогда не сдаваться, если она хотела с кем-то познакомиться поближе, и в конце концов она знакомилась и даже завоевывала расположение.

Она огляделась.

— Не выношу это место. И этих людей, — сказала она. — Прошу вас, поднимемся в мой номер. Я очень хочу поговорить с вами.

Поскольку у Рэчел не было желания ни уходить, ни оставаться, Эвелин взяла ее за руку и потянула

прочь из холла, на лестницу. Они поднимались, шагая через ступеньку, и Эвелин, не отпуская руку Рэчел, возбужденно говорила о том, что чужое мнение ее не волнует.

— А почему оно должно волновать, если человек уверен в своей правоте? Пусть они все провалятся! У меня свое мнение!

Она была сильно взволнована, отчего мышцы ее рук нервно подергивались. Она явно не могла дождаться, чтобы захлопнуть дверь и все рассказать Рэчел. И действительно, как только они оказались в номере, она села на край кровати и спросила:

— Наверное, думаете, что я сумасшедшая?

Рэчел была не в том настроении, чтобы обдумывать чье-то состояние души. Однако она всегда была склонна говорить прямо все, что придет ей в голову, не боясь последствий.

— Вам кто-то сделал предложение, — сказала она.

— Как, скажите, ради бога, вы догадались?! — воскликнула Эвелин, удивленно, но не без удовольствия. — Разве по мне видно, что мне сделали предложение?

— По вам видно, что вам их делают каждый день, — ответила Рэчел.

— Но вряд ли чаще, чем вам. — Эвелин довольно неискренне засмеялась.

— Со мной этого не было ни разу.

— Будет, неоднократно, на свете нет ничего проще!.. Но сегодня случилось не совсем это. Это… Ах, это такая путаница, гадкая, жуткая, отвратительная путаница!

Она подошла к умывальнику и стала прикладывать губку с холодной водой к горящим щекам. Продолжая это делать и слегка дрожа, она обернулась и на повышенных тонах объяснила причины своего нервического возбуждения:

— Альфред Перротт говорит, что я обещала выйти за него, а я говорю, что не обещала. Синклер говорит, что застрелится, если я не выйду за него, а я говорю: «Ну и стреляйтесь!» Но он, конечно, не застрелится, этого никогда не бывает. Сегодня после обеда Синклер пристал ко мне, требуя ответа, обвинил в том, что я флиртую с Перроттом, заявил, что у меня нет сердца, что я просто сирена и еще много столь же приятных вещей. В общем, в конце концов я сказала ему: «Ну, Синклер, вы наговорили достаточно. Теперь позвольте мне уйти». И тогда он схватил меня и поцеловал, гадкий зверь, я до сих пор чувствую его волосатое лицо вот здесь! Как будто он имел на это хоть

малейшее право после того, что я сказала!

Эвелин сильно прижала губку к левой щеке.

— Я никогда не встречала мужчину, достойного сравнения с женщиной! — прокричала она. — В них нет достоинства, нет мужества, ничего, кроме животных страстей и звериной силы! Разве повела бы себя так хоть одна женщина — если бы мужчина сказал, что она не нужна ему? Мы слишком уважаем себя, мы бесконечно тоньше их.

Она ходила по комнате, прикладывая к щекам полотенце. Теперь вместе с каплями холодной воды по ним стекали слезы.

— Меня это злит! — объяснила она, вытирая глаза.

Рэчел сидела, наблюдая за ней. Она не задумывалась над положением Эвелин, ей только пришло в голову, что мир полон людей, испытывающих терзания.

— Есть только один мужчина, который мне действительно нравится, — продолжила Эвелин. — Теренс Хьюит. Чувствуется, что ему можно доверять.

— Почему? — спросила Рэчел. — Почему ему можно доверять?

— Не знаю. Разве вы не чувствуете людей? И всегда как-то точно знаешь, что это ощущение

правильное, да? Недавно мы с ним проговорили почти целый вечер. После этого я почувствовала, что мы настоящие друзья. В нем есть что-то от женщины… — Она умолкла, как будто вспомнив нечто очень личное из сказанного Теренсом, по крайней мере, Рэчел так истолковала ее взгляд.

Рэчел попыталась напрячь силы и спросить: «Он сделал вам предложение?» — но вопрос был слишком тяжелым, и Эвелин заговорила дальше о том, что самые умные мужчины подобны женщинам, что женщины благороднее мужчин, — например, нельзя представить, чтобы такая женщина, как Лилла Харрисон, задумала какую-нибудь мерзость или имела какие-то низменные свойства.

— Вот бы вам с ней познакомиться! — воскликнула она.

Она стала намного спокойнее, и щеки у нее совсем высохли. Глаза приобрели обычное выражение энергичного жизнелюбия, и она, по-видимому, вполне забыла об Альфреде, Синклере и своих треволнениях.

— Лилла управляет лечебницей для алкоголичек на Дептфорд-Роуд, — продолжала Эвелин. — Она основала ее, организовала, все совершенно самостоятельно, и теперь это одно из крупней-

ших заведений подобного рода в Англии. Вы не представляете, что это за женщины и в каких семьях они живут. Но она целыми днями с ними. Я часто у нее бывала… В этом наша беда… Мы ничего *не делаем*. Вот вы что *делаете*? — спросила она, посмотрев на Рэчел со слегка иронической улыбкой. Рэчел почти не слушала, и выражение ее лица было отсутствующим и недовольным. Она ощущала равную неприязнь и к Лилле Харрисон с ее работой на Дептфорд-Роуд, и к Эвелин с ее бесконечными романами.

— Я играю, — сказала Рэчел, стараясь казаться вяло-безразличной.

— Вот именно! — засмеялась Эвелин. — Мы все только и делаем, что играем. Из-за этого женщины вроде Лиллы Харрисон, которая стоит двадцати таких, как вы и я, должны работать до изнеможения. Но мне надоело играть. — Она легла навзничь на кровать и протянула руки над головой. Так, вытянувшись, она казалась еще миниатюрнее, чем обычно. — Я собираюсь заняться делом. У меня есть великолепная идея. Послушайте, вы должны присоединиться. Я уверена, в вас есть многое, хотя выглядите вы… ну, как будто вы всю жизнь прожили в каком-то саду. — Она села и принялась рассказывать, же-

стикулируя: — В Лондоне я состою в одном клубе. Он собирается каждую субботу поэтому так и называется — «Субботний клуб». Предполагается, что мы должны разговаривать об искусстве, но мне надоело говорить об искусстве — какой в этом толк? При том, что вокруг происходит столько всего настоящего. Да и сказать-то об искусстве им особенно нечего. Так вот, я собираюсь заявить им, что мы довольно говорили об искусстве, пора для разнообразия поговорить о жизни. О том, что действительно влияет на жизнь людей, о торговле женщинами, об избирательных правах женщин, о законопроекте государственного страхования и так далее. И когда мы решим, что хотим делать, то сможем создать общество для выполнения этого… Я уверена, что если бы люди вроде нас взяли дело в свои руки, а не полагались бы на полицейских и судей, то мы смогли бы искоренить… проституцию, — она понизила голос на нечистом слове, — за шесть месяцев. Моя идея в том, что мужчины и женщины должны для этого объединиться. Мы должны выйти на Пикадилли, остановить одну из падших бедняжек и сказать: «Послушайте, я ничем не лучше вас и не делаю вид, что я лучше, но вы же сами понимаете — то, чем вы занимаетесь, мерзко, а я не могу

спокойно смотреть, как вы делаете мерзости, потому что внутри мы все одинаковые, и если вы делаете мерзости, то это затрагивает и меня». Об этом и мистер Бэкс говорил сегодня утром, и это верно, хотя вы, умные люди — вы ведь тоже умная, да? — не верите в это.

Когда Эвелин начинала говорить, мысли приходили к ней так быстро, что у нее не было времени выслушивать мнения других, — о чем она сама часто сожалела. Сделав паузу — не больше, чем нужна была для вдоха, — она продолжила:

— Не понимаю, почему члены Субботнего клуба не могли бы славно поработать в этом направлении. Конечно, нужна организация, кто-то должен посвятить всего себя, но я к этому готова. Мой принцип — сначала думать о людях, а абстрактные идеи как-нибудь сами обойдутся. В чем недостаток Лиллы — если у нее вообще есть недостатки, — она сначала думает о Трезвости, а о женщинах потом. В свою пользу я могу сказать одно: я не интеллектуалка, не имею способностей к искусству или чему-либо подобному, но я очень человечна. — Она соскользнула с кровати и уселась на полу, глядя на Рэчел. Она всматривалась в лицо Рэчел, будто пытаясь понять, какой характер за ним скрывается. Она положила руку

на колено Рэчел. — Главное — быть человечной, правда? — продолжила она. — Быть настоящей, что бы там ни говорил мистер Хёрст. Вы настоящая?

Рэчел, как недавно и Теренс, почувствовала, что Эвелин находится слишком близко от нее, и в этой близости было что-то волнительное, хотя в то же время она была тягостна. Ей не пришлось искать ответа, потому что Эвелин опять спросила:

— Вы во что-нибудь *верите*?

Чтобы избавиться от пронизывающего взгляда ясных голубых глаз и ослабить чувство физической неловкости, Рэчел отодвинула назад свой стул и воскликнула:

— Во всё! — И стала перебирать разные предметы: книги на столе, фотографии, растение с мясистыми листьями, покрытыми жесткими щетинками, которое стояло в глиняном горшке на подоконнике. — Я верю в эту кровать, в фотографии, в горшок, в балкон, в солнце, в миссис Флашинг, — сказала она, все так же не заботясь о действии произносимого ею, будто нечто в глубине души подстегивало ее говорить то, что обычно не говорят. — Но я не верю в Бога, не верю в мистера Бэкса, в сестру из больницы. Я

не верю… — Она взяла фотографию и оборвала фразу, глядя на нее.

— Это моя мать, — сказала Эвелин. Она по-прежнему сидела на полу, обхватив колени, и с любопытством смотрела на Рэчел.

Рэчел задумалась над портретом.

— И в нее я не очень-то верю, — заметила она через некоторое время тихим голосом.

Миссис Мёргатройд действительно выглядела так, будто из нее высосали все силы; она сидела с ногами в кресле, жалостно выглядывая из-за шпица, которого прижимала к щеке, как будто защищаясь.

— А это мой папа, — сказала Эвелин: в рамку были вставлены две фотографии. Второй снимок запечатлел пригожего военного с яркими и правильными чертами лица и густыми черными усами; его рука покоилась на рукояти сабли; сходство между ним и Эвелин было несомненным. — Именно из-за них, — продолжила Эвелин, — я собираюсь помогать другим женщинам. Вы обо мне слышали, наверное? Они, видите ли, не были женаты; я, собственно, никто. Я нисколько этого не стыжусь. Во всяком случае, они любили друг друга, а этого большинство людей о своих родителях сказать не может.

Рэчел села на кровать, держа в руках две фотографии, и стала их сравнивать — мужчину и женщину, которые, по словам Эвелин, любили друг друга. Это интересовало ее больше, чем кампания по спасению несчастных женщин, которую Эвелин опять принялась описывать. Рэчел переводила взгляд со снимка на снимок.

— Что это такое, по-вашему, — спросила она, когда Эвелин на минуту замолчала, — любить?

— Вы что, никогда не любили? Хотя — достаточно посмотреть на вас, чтобы понять это. — Эвелин задумалась. — Я любила по-настоящему один раз. — Она погрузилась в воспоминания, отчего ее глаза потеряли энергичный блеск и в них проступило нечто близкое к нежности. — Это было божественно! Пока продолжалось. Плохо только то, что все быстро кончается, по крайней мере, у меня. В том-то и беда.

Она опять обратилась к трудностям с Альфредом и Синклером и сделала вид, будто спрашивает у Рэчел совета. Но вовсе не совет был ей нужен, а задушевность. Рэчел по-прежнему сидела на кровати и смотрела на фотографии и Эвелин не могла не понять, что та не думает о ней. О чем же она тогда думает? Эвелин не давала покоя горевшая в ней живая искорка, которая всегда

стремилась пробиться к другим людям и всегда получала отпор. Она замолчала и стала разглядывать свою гостью, ее туфли, чулки, гребни в ее волосах, все детали ее одежды, будто стараясь ухватить все мелочи и тем самым приблизиться к ее внутренней жизни.

Наконец Рэчел положила фотографии, отошла к окну и заметила:

— Странно. Люди рассуждают о любви не меньше, чем о религии.

— Я хотела бы, чтобы вы сели и поговорили со мной, — сказала Эвелин с нетерпением.

Но Рэчел открыла окно, состоявшее из двух высоких створок, и выглянула в сад.

— Вот где мы заблудились в первый вечер, — сказала она. — Наверное, в тех кустах.

— Там забивают кур, — сказала Эвелин. — Отрубают им головы ножом — отвратительно! Но скажите, что…

— Я хотела бы осмотреть гостиницу, — перебила ее Рэчел. Она обернулась к Эвелин, все так же сидевшей на полу.

— Она такая же, как все остальные, — сказала Эвелин.

Возможно, это было и так, но в глазах Рэчел каждая комната, каждый коридор и каждый стул

обладали своим характером. К тому же она больше не могла стоять на одном месте и медленно пошла к двери.

— Чего вы хотите? — спросила Эвелин. — С вами у меня такое чувство, как будто вы все время думаете о чем-то, но не говорите о чем… Скажите!

Но Рэчел не ответила и на эту просьбу. Она остановилась, положив пальцы на дверную ручку, будто вспомнив, что от нее ждут каких-то слов.

— Думаю, вы выйдете замуж за одного из них, — проговорила Рэчел, повернула ручку и закрыла дверь за собой. Она медленно пошла по коридору, ведя рукой по стене. Она не думала, куда ей направиться, а коридор мог привести только к окну и балкону, которыми он кончался. Рэчел посмотрела вниз на кухонные постройки, составлявшие изнанку гостиницы, которая была отделена от лицевой стороны лабиринтом низких кустов. Земля там была голой, по ней были разбросаны старые жестянки, а на кустах сушились полотенца и фартуки. То и дело наружу выходил официант в белом фартуке и выбрасывал отходы на кучу мусора. Две крупных женщины в хлопчатобумажных платьях сидели на лавке, перед ними стояли измазанные кровью оловянные

подносы, а на коленях у них лежали желтые тушки. Они ощипывали птицу, переговариваясь. Вдруг во двор выскочила курица, она наполовину летела, наполовину бежала, спотыкаясь, преследуемая третьей женщиной, которой было никак не меньше восьмидесяти лет. Хотя старуха была совсем высохшая и нетвердо держалась на ногах, она не оставляла погони, подстрекаемая смехом женщин; на ее лице была ярость, на бегу она ругалась по-испански. Птицу пугали то хлопки в ладоши, то висящая на кусте салфетка, она носилась туда-сюда, поворачивая под острыми углами, и наконец влетела прямо в старуху, которая распахнула свои ветхие серые юбки, чтобы не упустить добычу, повалилась на курицу, а потом вытащила ее и, с победно-мстительным выражением лица, отхватила ей голову. Кровь и корчи жертвы приковали взгляд Рэчел, поэтому, хотя она знала, что кто-то подошел сзади и встал рядом, она не оборачивалась, пока старуха не уселась на лавку рядом с другими женщинами. Тогда она резко отвела взгляд, поскольку увиденное ею было отвратительно. Рядом с ней стояла мисс Аллан.

— Неприглядное зрелище, — сказала мисс Аллан. — Хотя, полагаю, это намного гуманнее, чем

наш метод… Мне кажется, вы еще не были в моем номере, — добавила она и повернулась, вероятно ожидая, что Рэчел последует за ней. Рэчел так и сделала, потому что в каждом новом человеке видела надежду на разрешение мучившей ее тайны.

Все спальни в гостинице отвечали одному образцу, разве что одни были побольше, а другие поменьше: в каждой пол был выложен темно-красной плиткой, имелись высокая кровать, завешенная противомоскитным пологом, письменный стол и туалетный столик, а также пара кресел. Но, как только упаковку распечатывали, номера приобретали различия, так что номер мисс Аллан был совсем не похож на номер Эвелин. Здесь на туалетном столике не было ни разноцветных шляпных булавок, ни флакончиков с духами, ни узких изогнутых ножниц, на полу не стояла батарея туфель и ботинок всех сортов и мастей, а на стульях не висели шелковые юбки. В комнате царила безупречная аккуратность. Казалось, тут всего было по две пары. Зато письменный стол был завален рукописями и придвинут к креслу, на котором двумя стопками были сложены темные библиотечные книги с ворохом бумажных закладок в каждой. Мисс Аллан

пригласила Рэчел зайти из любезности, решив, что та чего-то ожидает и ей нечего делать. Кроме того, она любила молодых девушек, потому что преподавала им, а еще она не раз пользовалась гостеприимством Эмброузов и была рада хоть немного отплатить тем же. Она оглядела комнату, ища, что бы показать Рэчел. В номере было не слишком много занятных вещиц. Мисс Аллан прикоснулась к рукописи.

— Эпоха Чосера, эпоха Елизаветы, эпоха Драйдена, — задумчиво проговорила она. — Я рада, что есть еще много эпох. Сейчас я на середине восемнадцатого века. Не присядете ли, мисс Винрэс? Кресло хотя и мало, зато крепко… Эвфуэс[63]. Зародыш английского романа, — добавила она, взглянув на другую страницу. — Вас подобные вещи интересуют?

Она смотрела на Рэчел по-доброму и просто, как будто была готова расстараться, лишь бы выполнить все ее желания. Благодаря этому выражению лицо мисс Аллан, обычно покрытое морщинами забот и размышлений, стало очень обаятельным.

---

[63] Примечания: 63

Имеются в виду романы Джона Лили (1553/1554–1606) «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» (1579) и «Эвфуэс и его Англия» (1580), положившие начало стилю эвфуизма.

— Ах нет, ведь ваше пристрастие — музыка, не так ли? — вспомнила она. — По моим наблюдениям, одно с другим не сочетается. Бывают, конечно, уникумы… — Она осмотрелась, что-то отыскивая, увидела банку на каминной полке и передала ее Рэчел. — Если засунете в эту банку палец, может быть, сумеете достать кусочек консервированного имбиря. Так вы уникум?

Но имбирь лежал на самом дне, и достать его было невозможно.

— Не беспокойтесь, — сказала Рэчел, когда мисс Аллан огляделась в поисках какого-нибудь орудия. — Скорее всего, я не люблю консервированный имбирь.

— Вы никогда не пробовали? — спросила мисс Аллан. — Тогда я считаю, что ваш долг — попробовать сейчас. А что, вы можете привнести в свою жизнь новое удовольствие, и поскольку вы еще молоды… — Она решила пустить в дело крючок для застегивания пуговиц. — Я взяла за правило пробовать все. Разве вам не кажется весьма огорчительным впервые попробовать имбирь на смертном одре и обнаружить, что он нравится вам больше всего на свете? Я бы крайне огорчилась — настолько, что, наверное, от одного этого выздоровела бы.

Наконец мисс Аллан удалось выудить кусок имбиря на кончике крючка. Она отошла, чтобы вытереть крючок, а Рэчел тем временем откусила от имбиря и сразу вскрикнула:

— Я должна это выплюнуть!

— Вы уверены, что распробовали? — настойчиво спросила мисс Аллан.

Вместо ответа Рэчел выбросила имбирь в окно.

— Во всяком случае, полезный опыт, — спокойно сказала мисс Аллан. — Так, посмотрим… Мне больше нечего вам предложить, если только вы не хотите отведать вот этого. — Над кроватью висел небольшой шкафчик, из которого она достала изящный графин, наполненный ярко-зеленой жидкостью. — Crême de Menthe[64], — сказала мисс Аллан. — Ликер, знаете ли. Можно подумать, что я пью, да? Между тем этот графин доказывает мою исключительную воздержанность. Он у меня двадцать и еще шесть лет, — добавила она, посмотрев с гордостью и опрокинув графин, отчего стало видно, что его ни разу не открывали.

— Двадцать шесть лет?! — воскликнула Рэчел.

Мисс Аллан была довольна, поскольку ожидала от Рэчел удивления.

---

[64] Примечания: 64
Мятный ликер (*фр.*).

— Когда двадцать и еще шесть лет назад я поехала в Дрезден, — сказала она, — одна моя подруга заявила о желании сделать мне подарок. Она подумала, что в случае кораблекрушения или иной катастрофы может пригодиться стимулирующее средство. Однако, поскольку ничего подобного со мной не приключилось, я вернула его по возвращении. Накануне любого заграничного путешествия у меня появляется тот же самый графин, с тем же самым письменным сопровождением; возвращаясь невредимой, я всегда отдаю его обратно. Я считаю его чем-то вроде талисмана. Хотя однажды меня на сутки задержало крушение шедшего впереди поезда, сама я ни в какие катастрофы ни разу не попадала. Да, — продолжила она, обращаясь к графину, — мы с вами повидали много стран и буфетов, не так ли? Я намерена в скором времени заказать серебряную табличку с надписью. Это джентльмен, как вы, наверное, поняли, и зовут его Оливер… Не надейтесь, что я вас прощу, мисс Винрэс, если вы разобьете моего Оливера. — Мисс Аллан твердо взяла графин из рук Рэчел и вернула его в шкафчик.

И не зря: Рэчел раскачивала графин, держа за горлышко. Мисс Аллан до того заинтересовала ее,

что она забыла о графине.

— Да, — воскликнула она, — мне это кажется так удивительно — двадцать шесть лет иметь подругу, и графин, и… столько путешествовать!

— Вовсе нет, на мой взгляд, это отнюдь не удивительно, — ответила мисс Аллан. — Я всегда считала себя самым обыкновенным человеком из всех, кого я знаю. Быть такой обыкновенной, как я, весьма славно. Я забыла, что вы сказали, — вы уникум или вы не уникум?

Она очень добро улыбнулась Рэчел. Рэчел смотрела, как угловато она передвигается по комнате, и ей казалось, что эта женщина так много знает, так много пережила, что у нее должно быть средство от любой боли, надо только побудить ее к тому, чтобы она к нему прибегла. Однако мисс Аллан, запиравшая дверцу шкафчика, не проявляла никакого намерения преодолеть сдержанность, которая покрывала ее, словно многолетний слой снега. Рэчел молчала, чувствуя неловкость; с одной стороны, ей хотелось поднять бурю и зажечь искру в охладевшей, но живой плоти, а с другой — она понимала, что все бесполезно и им остается лишь проплыть друг мимо друга в безмолвии.

— Я не уникум. Мне очень трудно выражать то, что я хочу сказать, — проговорила она наконец.

— Это вопрос темперамента, я полагаю, — помогла ей мисс Аллан. — Некоторые люди подобных трудностей не испытывают; что касается меня, то многие вещи я просто не могу сказать. Но и вообще, до меня все доходит очень медленно. Одна из моих коллег решает, нравится ей человек или нет — погодите, как она это делает? — а, по тому, как он говорит «доброе утро» за завтраком. А мне порой требуются годы, чтобы прийти к какому-то решению. Но большинству молодых людей это дается легко, не так ли?

— О нет, — сказала Рэчел. — Это трудно!

Мисс Аллан спокойно посмотрела на Рэчел и ничего не сказала. Она подозревала, что здесь имеются кое-какие трудности. Затем она подняла руку к затылку и обнаружила, что один длинный седой локон выбился из прически.

— Я должна попросить у вас извинения, — сказала она, вставая. — Мне надо причесаться. Я так до сих пор и не нашла шпилек удачной конструкции. Мне, кстати, необходимо и переодеться. Буду весьма благодарна, если вы мне поможете, поскольку там есть несносные крючки, которые я, конечно, могла бы застегнуть сама, но это занятие отнимает от десяти до пятнадцати минут, тогда как с вашим содействием…

Она сняла жакет, юбку и блузку и встала перед зеркалом, причесываясь, — крупная аляповатая фигура в такой короткой нижней юбке, что были видны ее толстые сероватые ноги.

— Люди говорят, что хорошо быть молодым; лично я нахожу средний возраст гораздо более приятным, — заметила она, вытаскивая шпильки и гребешки и беря щетку. Распрямившись, волосы лишь закрыли ее шею. — В молодости все кажется таким серьезным — при определенном воспитании… А теперь платье.

Удивительно быстро ее волосы были опять уложены в привычные извивы. Верхняя часть ее тела теперь стала темно-зеленой в черную полоску; юбку, однако, следовало застегнуть крючками в разных направлениях, и Рэчел пришлось встать на колени, чтобы отыскать глазами крючки и петли.

— Наша мисс Джонсон раньше, как я помню, была очень недовольна жизнью, — продолжала мисс Аллан. Она повернулась спиной к свету. — А потом она занялась разведением морских свинок и весьма этим увлеклась. Я недавно узнала, что желтая морская свинка произвела на свет черного детеныша. Мы поспорили об этом на шесть пенсов. Она будет счастлива своей победой.

Юбка была застегнута. Мисс Аллан посмотрелась в зеркало, придав лицу нелепую чопорность — как обычно бывает, когда человек смотрится в зеркало.

— Достойна ли я предстать перед ближними? — спросила она. — Не помню точно, но, кажется, у черных животных очень редко бывают окрашенные детеныши, а может быть, и наоборот. Мне так часто это объясняли, что очень глупо с моей стороны опять все забыть.

Она стала ходить по комнате, собирая уверенной рукой мелкие предметы и прилаживая их к себе: медальон, часы с цепочкой, тяжелый золотой браслет, пестрый значок общества суфражисток. Наконец, снаряженная для воскресного чаепития, она встала перед Рэчел и ласково улыбнулась. Она не была импульсивной женщиной, и жизнь научила ее сдерживать свой язык. В то же время в ней было много доброжелательности к людям, особенно к молодежи, отчего она часто жалела, что говорить с ними так трудно.

— Не спуститься ли нам? — сказала она.

Опершись одной рукой на плечо Рэчел, она наклонилась, взяла пару прогулочных туфель и аккуратно поставила их рядом за дверью. Идя по коридору, они видели много пар ботинок и

туфель, черных и коричневых, стоявших рядом и очень разных, даже в том, как они стояли.

— Мне всегда казалось, что люди очень похожи на свою обувь, — сказала мисс Аллан. — Это туфли миссис Пейли… — Но в этот момент дверь открылась, и миссис Пейли выкатилась на своем кресле, тоже снаряженная к чаю.

Она поздоровалась с мисс Аллан и Рэчел.

— Я говорила, что люди очень похожи на свою обувь, — сказала мисс Аллан. Миссис Пейли не расслышала. Мисс Аллан повторила громче. Миссис Пейли опять не расслышала. Мисс Аллан повторила в третий раз. Теперь миссис Пейли расслышала, но не поняла. Мисс Аллан уже собиралась повторить в четвертый раз, но тут Рэчел вдруг произнесла что-то нечленораздельное и бросилась прочь по коридору. Взаимонепонимание, из-за которого коридор оказался полностью перегорожен, показалось ей невыносимым. Она шла быстро, не глядя, и вскоре очутилась в конце тупика. Там было окно, у которого стояли стол и стул, а на столе были ржавая чернильница, пепельница, старая французская газета и перо со сломанным кончиком. Рэчел села, как будто собираясь просмотреть газету, но на неясные французские буквы упала слеза, и от нее располз-

лось мокрое пятно. Рэчел резко подняла голову и громко сказала:

— Это невыносимо!

Глядя в окно глазами, которые ничего не видели бы, даже если бы их не застилали слезы, она наконец позволила себе сорвать зло в яростных обвинениях по адресу прошедшего дня. Он был ужасен с самого утра: сначала служба в часовне, потом обед, потом Эвелин, потом мисс Аллан, потом старая миссис Пейли, перегородившая коридор. Весь день Рэчел мучилась и испытывала отвращение. Теперь она пережила кризис и в своем новом состоянии, будто с высоты, увидела весь мир в истинном свете. Вид этот был довольно мерзок: церкви, политики, неудачники, чудовищные обманы — люди вроде мистера Дэллоуэя и мистера Бэкса, Эвелин с ее болтовней, миссис Пейли, перегораживающая коридор. Между тем мерное биение ее сердца напоминало о горячем потоке чувств, бурливших в глубине ее души; они бились, сопротивлялись, тревожили. Сейчас ее тело было источником всей жизни в мире, и эта жизнь пыталась вырваться наружу то здесь, то там, но ее подавляли то мистер Бэкс, то Эвелин, то чья-то навязчивая и тяжеловесная глупость, то бремя всего мира. Терзаясь, Рэчел заломила руки,

ибо все было неправильно, все люди — глупы. Едва различая какие-то фигуры в саду, она представила этих людей как бессмысленные массы материи, перетекающие с места на место, без всякой цели, кроме той, чтобы мешать ей, Рэчел. Чем они заняты, эти обитатели мира?

— Никто не знает, — сказала она. Ее гнев начал иссякать, и недавно столь яркая картина мира стала сумрачной. — Это сон, — прошептала Рэчел. Она посмотрела на ржавую чернильницу, перо, пепельницу и старую французскую газету. Мелкие и ненужные предметы показались ей символами человеческой жизни. — Мы спим и видим сны, — повторила она. Однако то, что одна из фигур внизу может быть фигурой Теренса, вывело ее из меланхолического забытья. Она снова разволновалась. Мир уже не лежал перед ней, как город в долине. Его скрыл лихорадочный красный туман. Она пришла в то же состояние, в котором пребывала весь день. Размышления не могли избавить ее от этого. Единственное средство — двигаться, входить в комнаты и выходить, проникать в души людей и покидать их, что-то искать — она сама не знала что. Поэтому Рэчел встала, отодвинула стол и спустилась по лестнице. Затем вышла из холла, обогнула гостиницу и

оказалась среди тех, кого видела из окна. Но оттого, что она вышла из полутемных коридоров на солнце, из грез — к настоящей жизни, люди предстали перед ней с поразительной яркостью, как будто с поверхности сдули всю пыль и осталась одна реальность этого мгновения. На зеленом фоне были разбросаны белые, серые и лиловые фигуры, между ними стояли круглые плетеные столы, и в центре горело пламя кипятильника, над которым колыхался воздух, похожий на неровное стекло, а надо всем этим нависло большое зеленое дерево, — казалось, оно только что двигалось и сейчас остановилось отдохнуть. Приблизившись, Рэчел услышала голос Эвелин, монотонно повторявший:

— Иди сюда, иди, хороший песик, иди сюда…

Некоторое время как будто ничего не происходило, все застыло в неподвижности. Потом Рэчел поняла, что одна из фигур принадлежит Хелен Эмброуз, и пыль опять начала оседать.

Компания действительно собралась случайным образом; один чайный столик поставили к другому, а шезлонги служили связующими звеньями между двумя группами. Но даже издали было видно, что главенствует надо всеми прямая и царственная миссис Флашинг. Она что-то горя-

чо излагала, обращаясь через стол к Хелен.

— Десять дней в походных условиях, — говорила миссис Флашинг. — Никаких удобств. Если вам нужны удобства, ехать не надо. Но, поверьте, если вы не поедете, будете потом жалеть всю жизнь. Вы согласны?

В этот момент миссис Флашинг заметила Рэчел.

— А, вот и ваша племянница. Она обещала. Вы поедете, не так ли? — Приняв план, она осуществляла его с детским пылом.

Рэчел охотно принялась исполнять свою роль.

— Конечно, поеду. И ты, Хелен. И мистер Пеппер тоже. — Сев за стол, она осознала, что окружена знакомыми, но Теренса среди них нет. Тут все принялись обсуждать будущую экспедицию. Кое-кто считал, что будет жарко, а по ночам — холодно; другие полагали, что труднее всего будет достать судно и преодолеть языковой барьер. Миссис Флашинг отмела все возражения, касались ли они людей или природы, заявив, что ее муж все это уладит.

Тем временем мистер Флашинг спокойно объяснял Хелен, что экспедиция — дело очень простое: займет она не более пяти дней, а туземная деревня — их цель — весьма достойна того,

чтобы увидеть ее перед возвращением в Англию. Хелен бормотала что-то неопределенное, не связывая себя ни отказом, ни согласием.

В чаепитии, однако, участвовали слишком разные люди, чтобы их всех могла занять общая беседа; Рэчел же видела в этом то преимущество, что ей самой не было никакой необходимости говорить. Сьюзен и Артур рассказали миссис Пейли о предполагаемой экспедиции; миссис Пейли уловила суть и как старая путешественница дала совет взять хорошие овощные консервы, меховые накидки и порошок от насекомых. Она наклонилась к миссис Флашинг и прошептала пару слов, судя по огонькам в ее глазах — о клопах. Хелен декламировала Сент-Джону Хёрсту «Звони по храбрецам»[65] с целью выиграть шестипенсовик, лежавший на столе. Тем временем часть аудитории, принадлежавшая мистеру Хьюлингу Эллиоту, молча слушала его увлекательный рассказ о лорде Керзоне[66] и велосипеде

---

[65] Примечания: 65

«Звони по храбрецам...» — первая строка из стихотворения Уильяма Каупера «На гибель судна «Ройял Джордж» (1782).

[66] Примечания: 66

Джордж Натаниел Керзон (1859–1925) — английский политик, консерватор, в 1899–1905 гг. — вице-король Индии, в 1919–1924 гг. — министр иностранных дел. В 1907 г. был назначен почетным ректором Оксфордского университета, принимал участие в реформе образования.

студента-старшекурсника. Миссис Торнбери пыталась вспомнить фамилию человека, чуть не ставшего вторым Гарибальди и написавшего книгу, которую стоит прочитать, а мистер Торнбери сообщил, что у него есть бинокль — если кому нужно, он одолжит. Мисс Аллан с нежной доверительностью, часто свойственной старым девам в общении с собаками, что-то мурлыкала фокстерьеру, которого Эвелин наконец уговорила подойти к ним. Время от времени частицы пыли и цветочные лепестки падали на тарелки, когда ветви наверху вздыхали от ветра. Рэчел мало что видела и слышала — не больше, чем река чувствует веточки, падающие в нее, и видит небо над собой, — но, по мнению Эвелин, ее взгляд был уж слишком отсутствующим. Эвелин подошла и села на землю у ног Рэчел.

— Ну? — вдруг сказала она. — О чем вы думаете?

— О мисс Уоррингтон, — поспешно ответила Рэчел, поскольку надо было что-то сказать. Она действительно заметила, что Сьюзен шепчется с миссис Эллиот, в то время как Артур взирает на нее с полной уверенностью в своей любви. И Рэчел, и Эвелин прислушались к тому, что говорила Сьюзен.

— Распоряжения, собаки, сад, дети, которые приходят учиться, — ее голос звучал ритмично, будто она читала список, — и теннис, и деревня, и писание писем для папы, и еще тысяча мелочей, которые кажутся незначительными, но у меня не остается ни секунды на себя, и когда я ложусь в постель, то засыпаю, не успев положить голову на подушку. Кроме того, я люблю проводить время с тетушками — я страшная зануда, правда, тетя Эмма? — Она улыбнулась миссис Пейли, которая, чуть наклонив голову, с задумчивым обожанием смотрела на кекс. — А зимой папе надо особенно остерегаться простуды, и это требует большой суеты, потому что он о себе не заботится, так же как и ты, Артур! В общем, накапливается!

В ее голосе слышалось неприкрытое довольство собой и своей жизнью. Рэчел внезапно почувствовала резкую неприязнь к Сьюзен, забыв о том, какая она добрая, скромная и даже жалкая. Она казалась неискренней и жестокой; Рэчел представила ее себе растолстевшей и многодетной — мягкие голубые глаза стали пустыми и водянистыми, а цветущий румянец свернулся в сухую сетку красных прожилок.

Хелен обернулась к Рэчел и спросила:

— Ты была в церкви? — Она выиграла шести-

пенсовик и, видимо, собралась уходить.

— Да, — сказала Рэчел. И добавила: — В последний раз.

Надевая перчатки, Хелен одну уронила.

— Вы ведь не уходите? — спросила Эвелин, подняв перчатку, как будто чтобы задержать их.

— Самое время нам уйти, — сказала Хелен. — Вы не заметили, как все затихли?

Люди погрузились в молчание — частью в силу случайности, частью потому, что увидели идущего к ним человека. Хелен не видела, кто это, но, глядя на Рэчел, заметила нечто позволившее ей сказать про себя: «Итак, это Хьюит». Она натянула перчатки с ощущением значительности момента. Потом она встала — потому что миссис Флашинг тоже увидела Хьюита и потребовала у него сведений о реках и кораблях, из чего следовало, что весь разговор вот-вот начнется заново. Рэчел последовала за ней, и они молча пошли по аллее. Несмотря на то что Хелен увидела и поняла, ее мысли были заняты до странности неуместным предметом: если она поедет в экспедицию, то не сможет принимать ванну, а это казалось ей слишком большой и тягостной жертвой.

— Как все-таки неприятно оказаться в одной компании с едва знакомыми людьми, — замети-

ла она. — С людьми, которые стесняются своей наготы.

— Ты не собираешься ехать? — спросила Рэчел.

Напор, с которым был задан вопрос, вызвал у миссис Эмброуз раздражение.

— Я не собираюсь ни ехать, ни оставаться, — ответила она. Она становилась все более небрежной и безразличной. — В конце концов, мы видели все, что стоит увидеть, добираться туда — целая история, и, что бы они ни говорили, это будет сопряжено с ужасными неудобствами.

Некоторое время Рэчел молчала, но каждая фраза Хелен увеличивала ее досаду. Наконец ее прорвало:

— Слава богу, Хелен, что я не такая, как ты! Иногда мне кажется, что ты не думаешь, не чувствуешь, ни о чем не волнуешься, только существуешь! Ты как мистер Хёрст. Ты видишь, что все плохо, и тебе приятно на это указывать. Ты называешь это честностью, а на самом деле это лень, это бесчувствие, это пустота. Ты никому не помогаешь, только все уничтожаешь.

Хелен улыбнулась, как будто атака Рэчел доставила ей удовольствие.

— И что? — спросила она.

— Мне кажется, что это плохо, и все, — отве-

тила Рэчел.

— Весьма вероятно, — сказала Хелен.

В любое другое время прямота тетки заставила бы Рэчел замолчать, но сегодня у нее было не то настроение. Она была не прочь поссориться.

— Ты живая только наполовину, — продолжила она.

— Это потому, что я не приняла приглашения миссис Флашинг? — спросила Хелен. — Или ты и раньше так думала?

Сейчас Рэчел казалось, что она всегда видела эти недостатки Хелен, с самого первого вечера на «Евфросине» — несмотря на ее красоту, на ее великодушие, на их взаимную любовь.

— Ах, это можно сказать о каждом! — воскликнула она. — Никто ничего не чувствует, ничего не может, кроме как причинять боль! Говорю тебе, Хелен, мир ужасен. Какое мучение жить, чего-то желать…

Она сорвала с куста несколько листьев и стала терзать их, чтобы взять себя в руки.

— Эти люди так живут… — попыталась она объяснить. — Их жизнь так бессмысленна. Говоришь с одним, с другим, и все одно и то же. Ни от кого ничего нельзя добиться.

Смятение Рэчел, обнаженность ее чувств могли

бы обеспечить Хелен легкую победу, если бы она захотела поссориться или вызвать племянницу на откровенность. Но вместо того чтобы разговаривать, она погрузилась в молчание. Бесцельность, банальность, бессмысленность… нет уж, во все это она верить не собирается после того, что она увидела во время чаепития. Шуточки, болтовня, пустяки прошедшего дня поблекли перед ее мысленным взором. Взаимное расположение, неприязнь, встречи и расставания — все это было на поверхности, под которой творилось нечто большое — и страшное, именно в силу своей огромной значимости. Она почуяла опасность, как будто под сухими ветками и листьями заметила движение змеи. Ей показалось, что им всем была позволена недолгая передышка, недолгое притворство, а теперь опять вступил в силу глубинный и беспричинный закон, который гнет людей на свой лад, творит и губит неумолимо.

Она посмотрела на Рэчел, которая шла рядом, все так же разрывая пальцами листья, погруженная в свои мысли. Племянница была влюблена, и Хелен искренне жалела ее. Но она отмела эти мысли и извинилась.

— Прости меня, — сказала она. — Но если я бесчувственна, то такова моя природа, и тут ничего

не поделаешь.

Однако если это и был ее природный недостаток, она знала простое средство. Она сказала, что, по ее мнению, план миссис Флашинг очень хорош, его только надо было слегка обдумать, и, когда они дошли до дома, оказалось, что она уже это сделала. Хелен и Рэчел договорились, что, если приглашение поступит еще раз, они его примут.

Глава 20

Когда мистер Флашинг и миссис Эмброуз детально обсудили будущую экспедицию, оказалось, что она нисколько не трудна и не опасна. Они также обнаружили, что в ней даже нет ничего необычного. Каждый год в это время компании англичан отправлялись на пароходах вверх по реке; пройдя небольшое расстояние, они высаживались, осматривали туземную деревню, покупали у местных некоторое количество вещиц и возвращались безо всякого ущерба для души и тела. Вскоре после того, как выяснилось, что шестеро человек действительно согласны в своих желаниях, были сделаны необходимые приготовления.

Со времен Елизаветы очень немногие люди

видели реку, и уж совсем ничего не было сделано, что могло бы изменить облик, в котором она предстала перед елизаветинскими путешественниками. Эпоха Елизаветы отстояла от настоящего времени лишь на мгновение по сравнению с вечностью, прошедшей с тех пор, как между этими берегами потекла вода, как на них зазеленели заросли и тонкие деревца превратились в гигантов с морщинистой корой. Меняясь в зависимости лишь от солнца и облаков, зеленая чаща колыхалась там век за веком, а вода бежала меж берегов не останавливаясь, унося с собой землю и ветки деревьев, в то время как в других частях света над руинами одних городов поднимались другие, а их обитатели учились думать и выражать свои мысли и все больше отличались друг от друга. С вершины той горы, на которой несколько недель назад компания из гостиницы устроила пикник, было видно несколько миль этой реки. Ее видели Сьюзен и Артур, целуясь, и Рэчел с Теренсом, когда сидели и беседовали о Ричмонде, и Эвелин с Перроттом, когда бродили, воображая себя великими капитанами, посланными осваивать мир. Они видели широкую синюю полосу, разделявшую песчаный берег в том месте, где она впадала в море, и зеленые массы деревьев

выше по течению, там, где воды реки исчезали на горизонте. На протяжении первых двадцати миль на берегах здесь и там попадались дома; постепенно дома превращались в хижины, а еще дальше не было уже ни домов, ни хижин, но только трава и деревья, которые случалось видеть лишь охотникам, путешественникам и купцам, передвигавшимся водой или сушей, но не оставлявшим за собой никаких поселений.

Покинув Санта-Марину ранним утром, проехав двадцать миль в экипажах, а затем еще восемь — верхом, компания, которая теперь состояла из шести англичан, достигла берега реки, когда уже стемнело. Они скакали среди деревьев легким галопом — мистер и миссис Флашинг, Хелен Эмброуз, Рэчел, Теренс и Сент-Джон. Усталые приземистые лошадки остановились сами, и англичане спешились. Миссис Флашинг пошла к реке в приподнятом настроении. Позади был длинный и жаркий день, но она наслаждалась быстрой ездой и открытыми пространствами; она вырвалась из гостиницы, которую не выносила, и спутники ей нравились. Река неслась в темноте. Можно было различить лишь гладкую текучую поверхность воды, и воздух был наполнен ее голосом. Люди вышли на открытый участок между

огромными деревьями и по качающемуся вверх-вниз зеленому огоньку поняли, где стоит пароход, на борт которого им предстояло подняться.

Ступив на его палубу, они обнаружили, что это маленькое суденышко; оно несколько минут трепетало под ними, а затем начало скользить по водной глади. Им казалось, что они устремились в самое сердце ночи, потому что деревья сомкнулись перед ними и со всех сторон стал слышен шелест листьев. Как обычно бывает, непроглядная тьма лишила людей желания общаться — слова звучали слабо и ничтожно; обойдя палубу три или четыре раза, они сбились вместе, широко зевая, все глядя на одно черное пятно на берегу. Говоря очень тихо и ритмично, будто подавленная пространством, миссис Флашинг начала выражать беспокойство по поводу того, где они будут спать: внизу они спать не могут, потому что нельзя спать в пропахшей нефтью каморке, не могут они спать и на палубе, они не могут спать… Тут она широко зевнула. Хелен это предвидела; вопрос наготы уже возник, хотя они засыпали на ходу и почти не видели друг друга. При помощи Сент-Джона она натянула тент и убедила миссис Флашинг в том, что та может за ним раздеться и никто не заметит, если случайно

окажется обнаженной какая-либо часть ее тела, которую она скрывала в течение сорока пяти лет. Были разложены тюфяки, извлечены пледы, и три женщины улеглись рядом на открытом и ласковом воздухе.

Мужчины, выкурив по нескольку сигарет, бросили тлеющие окурки в реку и еще некоторое время смотрели вниз на рябь, морщинившую черную воду. Затем они тоже разделись и легли на другом конце судна. Они очень устали и были отделены друг от друга завесой темноты. Свет от единственного фонаря падал на несколько веревок и палубных досок и на леер, но дальше все окутывала кромешная тьма, ни единого лучика не доходило до человеческих лиц и до деревьев, маячивших черными массами по обе стороны.

Скоро Уилфред Флашинг заснул, заснул и Хёрст. Один Хьюит лежал без сна, глядя в небо. Мягкий ход судна, темные очертания, безостановочно проплывавшие мимо, лишили его способности думать. Близкое присутствие Рэчел тоже убаюкивало его мысли. Из-за того что она была здесь, рядом, всего в нескольких шагах, он не мог думать о ней, как не мог бы ее видеть, если бы она стояла слишком близко, прижавшись лбом к его лбу. Странным образом он отождествил себя с ко-

раблем, и так же, как было бы бесполезно встать и пойти управлять кораблем, было бесполезно дальше бороться с непреодолимой силой своих чувств. Судно скользило по гладкой поверхности реки, унося его дальше и дальше, прочь от всего, что ему знакомо, за привычные пределы и пограничные знаки, в неведомые воды. Погруженный в безмятежный покой, впервые за много ночей ни о чем не думая, он лежал на палубе и смотрел, как верхушки деревьев перемещаются, едва различимые на фоне неба, нависают арками, опускаются и вздымаются; наконец явь уступила место снам, в которых он лежал под тенью огромных деревьев и смотрел в небо.

Когда наутро они проснулись, судно уже продвинулось довольно далеко вверх по реке; справа был высокий песчаный берег с редкими группами деревьев, а слева тянулось болото, над которым колыхался тростник и на вершинах высоких бамбуков, слегка раскачиваясь, сидели яркие зеленые и желтые птицы. Утро было тихим и жарким. После завтрака они сдвинули стулья и сели неровным полукругом на носу. Тент защищал их от палящего солнца, ветерок, возникавший благодаря движению судна, мягко овевал их. Миссис Флашинг уже наносила на

холст пятна и полосы, и при этом ее голова подергивалась туда-сюда, как голова птицы, пугливо клюющей зерно. Остальные держали на коленях кто книгу, кто листок бумаги, кто рукоделье, на которые они время от времени поглядывали, а потом опять устремляли взоры на реку. Один раз Хьюит прочитал вслух кусок стихотворения, но вокруг столько всего двигалось, что его слова совершенно потерялись. Он перестал читать, и никто ничего не сказал. Они плыли дальше под сенью деревьев. На одном из островков слева кормилась стая красных птиц. Сине-зеленый попугай, пронзительно крича, перелетал с дерева на дерево. Чем дальше, тем более дикой становилась окружающая местность. Казалось, что у самой земли деревья и подлесок душат друг друга в нескончаемой борьбе, но здесь и там высоко над зарослями поднимались великолепные деревья, чьи тонкие, похожие на зонтики кроны качались в поднебесье. Хьюит опять посмотрел в свою книгу. Утро было наполнено покоем, как и ночь, странность состояла лишь в том, что было светло, и он мог видеть Рэчел, слышать ее голос и быть рядом с ней. Ему представлялось, что он неподвижно ждет чего-то, а все остальное — предметы, голоса, тела людей, птицы — проносится

мимо и только Рэчел ждет вместе с ним. Иногда он смотрел на нее, как будто она должна была знать, что они ждут вместе, что их влечет друг к другу и они не могут этому сопротивляться. Он опять прочел из своей книги:

> *Кто бы ты ни был, держащий меня в руках,*
>
> *Честно предупреждаю, что ты ничего от меня не добьешься,*
>
> *Если в расчет не возьмешь одно обстоятельство...*[67]

Какая-то птица дико захохотала, обезьяна, хихикая, задала ехидный вопрос, и, как пламя, невидимое под ярким солнцем, слова Хьюита затрепетали и потухли.

По мере того как река сужалась, высокие песчаные берега превратились в плоскую равнину, густо поросшую деревьями, и стали слышны голоса леса. Было гулко, как в зале. Внезапные крики сменялись долгими промежутками тишины, как в соборе, когда голос мальчика затихает, а эхо, кажется, еще бродит где-то под самой крышей.

---

[67] Примечания: 67

Начало стихотворения Уолта Уитмана (1819–1892) «Кто бы ты ни был, держащий меня в руках...» *(Пер. А. Сергеева)* из цикла «Аир благовонный» (1860), входящего в книгу «Листья травы».

В какой-то момент мистер Флашинг встал, переговорил с матросом и даже объявил, что после обеда пароход сделает остановку и все смогут немного прогуляться по лесу.

— Среди деревьев множество тропинок, — объяснил он. — Мы еще не сильно удалились от цивилизации.

Он внимательно разглядывал творение своей жены. Слишком тактичный, чтобы открыто хвалить его, одной рукой он заслонил полкартины, а другой произвел в воздухе одобрительный жест.

— Боже! — воскликнул Хёрст, глядя вперед. — Удивительная красота, не правда ли?

— Красота? — удивилась Хелен. Это слово казалось таким ничтожным, и они с Хёрстом — такими маленькими, что она забыла ответить ему.

Хьюит почувствовал, что ему пора что-то сказать.

— Вот откуда елизаветинцы взяли свой стиль, — заметил он, смотря на изобилие листьев, цветов и крупных плодов.

— Шекспир? Ненавижу Шекспира! — воскликнула миссис Флашинг, на что Уилфред отозвался с восхищением:

— Кажется, ты единственная осмеливаешься

сказать это, Элис.

Но миссис Флашинг продолжала писать. Она, по-видимому, не придала большого значения комплименту мужа, и писала не отрываясь, порой постанывая, а иногда бормоча что-то нечленораздельное.

Стало очень жарко.

— Посмотрите на Хёрста! — прошептал мистер Флашинг. Листок бумаги слетел на палубу, а Сент-Джон, с откинутой назад головой, похрапывал, глубоко дыша.

Теренс подобрал листок и расправил его перед Рэчел. Это было продолжение поэмы о Боге, начатой в часовне, и она была так непристойна, что Рэчел не поняла и половины, хотя то, что она непристойна, до нее дошло. Хьюит начал вписывать слова там, где Хёрст оставил пропуски, но вскоре бросил; его карандаш покатился по палубе. Судно постепенно приближалось к правому берегу, свет стал совсем зеленым, потому что проникал сквозь завесу листьев, миссис Флашинг отодвинула свой этюд и молча воззрилась вперед. Хёрст проснулся. Всех позвали обедать, и, пока они ели, пароход остановился невдалеке от берега. Лодку, которую пароходик тащил за собой на буксире, подвели к борту, и дамам помогли

сойти в нее.

В качестве средства от скуки Хелен взяла книгу мемуаров, зажав ее под мышкой, а миссис Флашинг — свой ящик с красками; таким образом снаряженные, они позволили высадить себя на берег у края леса.

Не пройдя и сотни ярдов по тропе, тянувшейся параллельно реке, Хелен заявила, что жара невыносима. Ветерка, который дул на реке, здесь не было, а лес источал горячий и влажный воздух, пропитанный пряными ароматами.

— Я сяду здесь, — постановила она, указывая на ствол дерева, которое упало когда-то давным-давно и теперь было сплошь увито ползучими растениями и плетьми ежевики. Она уселась, раскрыла зонтик и посмотрела на реку, видневшуюся между деревьями. За ее спиной сгущалась черная тень леса.

— Согласна с вами, — сказала миссис Флашинг и начала раскладывать художнические принадлежности. Ее муж бродил вокруг, отыскивая для нее интересную точку обзора. Хёрст расчистил на земле место рядом с Хелен и уселся весьма основательно, как будто не собирался никуда уходить, пока не наговорится с ней вволю. Теренс и Рэчел стояли сами по себе без каких-либо занятий.

Теренс понял, что настал момент, которому было суждено настать рано или поздно, и, несмотря на это, он был совершенно спокоен и полностью владел собой. Он решил не спешить и немного поговорить с Хелен — начал убеждать ее, чтобы она оставила свой трон. Рэчел поддержала его и посоветовала ей пойти с ними.

— Из всех, кого я знаю, — сказала она, — ты наименее склонна к приключениям. Сидеть ты сможешь и на зеленых стульях в Гайд-парке. Ты что, собираешься весь день так провести? Даже не погуляешь?

— Нет, — ответила Хелен. — Достаточно просто раскрыть глаза. Здесь всё есть — всё, — повторила она сонным голосом. — Что вы выиграете своей ходьбой?

— К чаю вы будете измучены жарой и брюзгливы, а мы — свежи и любезны, — вставил Хёрст. В его глазах, смотревших на них снизу вверх, желтыми и зелеными бликами отражались небо и ветви, придавая им отсутствующее выражение, как будто он думал не то, что говорил. Таким образом, то, что Теренс и Рэчел отправляются в лес вдвоем, выглядело совершенно естественно; переглянувшись, они ушли.

— До свидания! — прокричала Рэчел.

— До свидания. Берегитесь змей, — ответил Хёрст. Он устроился поудобнее в тени от упавшего дерева и фигуры Хелен. Мистер Флашинг крикнул вдогонку ушедшим:

— Мы отплываем через час. Хьюит, пожалуйста, помните об этом. Через час.

Широкая тропа, то ли проложенная человеком, то ли созданная природой, углублялась в лес, отходя от реки под прямым углом. Она напоминала просеку в английском лесу, если не считать тропических кустов с саблевидными листьями, росших по бокам, и того, что почва была покрыта не травой, а упругим мхом, который был испещрен мелкими звездочками желтых цветов. Чем глубже в лес, тем сумрачнее становился свет, тем больше привычные звуки уступали место скрипам и вздохам, которые создают у бредущего по лесу впечатление, будто он идет по морскому дну. Тропа сузилась и повернула; по сторонам она была ограничена плотными завесами лиан, которые связывали дерево с деревом и во многих местах были украшены темно-красными звездчатыми цветами. Доносившиеся сверху вздохи и скрипы то и дело перебивал резкий крик какого-то испуганного животного. Было душно, лишь вялые ароматные дуновения слегка колыхали

воздух. Ровное зеленое сияние здесь и там нарушали желтые круги чистого солнечного света, который проникал сквозь разрывы в огромном лиственном куполе, и в этих желтых пространствах кружили бордовые и черные бабочки. Теренс и Рэчел почти не говорили.

Их подавляла не только тишина, они не могли сформулировать ни одной мысли. Между ними происходило нечто, о чем следовало поговорить. Кто-то должен был начать, но кто? Хьюит подобрал красный плод и изо всей силы подбросил его вверх. Когда плод упадет, он заговорит. Они услышали хлопанье больших крыльев, а затем — как плод зашлепал по листьям и, наконец, упал с глухим ударом. Опять воцарилась полная тишина.

— Вам не страшно? — спросил Теренс, когда звук от падающего плода окончательно затих.

— Нет, — ответила Рэчел. — Мне хорошо. — И она повторила: — Мне хорошо. — Она шла быстро и держалась прямее, чем обычно.

— Вам хорошо со мной? — спросил Теренс.

— Да, с вами, — ответила она.

Он помолчал. Казалось, тишина охватила весь мир.

— Я это чувствую все время, что знаю вас, —

сказал Теренс. — Нам хорошо вместе. — Он как будто не говорил, а она как будто не слушала.

— Очень хорошо, — ответила она.

Какое-то время они шли молча, неосознанно ускоряя шаг.

— Мы любим друг друга, — сказал Теренс.

— Мы любим друг друга, — повторила Рэчел.

Затем тишину разорвали их голоса, слившиеся в одном странном и непривычном звуке без слов. Они шли все быстрее и быстрее, затем одновременно остановились, обнялись и, отпустив друг друга, упали на землю. Они сели рядом. Звуки выступили из окружающего пространства, перекинувшись мостом через их молчание: они услышали шелест деревьев и — далеко-далеко — хриплый голос какого-то зверя.

— Мы любим друг друга, — повторил Теренс, вглядываясь в ее лицо. Оба были бледны и спокойны и ничего не говорили. Он боялся поцеловать ее еще раз. Постепенно она приблизилась и прижалась к нему. Они посидели какое-то время в этом положении. Один раз она сказала: «Теренс». Он отозвался: «Рэчел».

— Ужасно, ужасно, — прошептала она после очередной паузы, но, говоря это, она столько же думала о непрестанном плеске воды, сколько о

своих чувствах. Он звучал и звучал в отдалении — бессмысленный и жестокий плеск воды. Она заметила, что по щекам Теренса текут слезы.

Затем пошевелился он. Казалось, прошло очень много времени. Он достал часы.

— Флашинг сказал, через час. Мы ушли уже больше получаса назад.

— И столько же надо на обратный путь, — сказала Рэчел. Она медленно поднялась. Вставая, она вытянула руки и то ли зевнула, то ли глубоко вздохнула. Она выглядела очень усталой. Щеки ее были бледными. — Куда? — спросила она.

— Туда, — сказал Теренс.

Они пошли назад по мшистой тропе. Высоко над их головами все так же раздавались вздохи и скрипы и резкие крики животных. Бабочки по-прежнему кружили в солнечных просветах. Сначала Теренс был уверен, что знает, куда идти, но через некоторое время он засомневался. Пришлось остановиться и подумать, а потом вернуться и начать сначала — хотя он точно знал, с какой стороны река, у него не было уверенности, где то место, в котором они оставили своих спутников. Рэчел шла за ним, останавливалась там же, где он, поворачивала вместе с ним, не задумываясь, куда они идут, почему он останавливается и

поворачивает.

— Не хотелось бы опоздать, — сказал Теренс, — потому что… — Он вложил ей в руку цветок, и ее пальцы покорно сомкнулись на нем. — Мы так опаздываем, так опаздываем, так ужасно опаздываем, — повторял он, будто во сне. — А, вот. Повернем здесь.

Они опять очутились на широкой тропе, похожей на просеку в английском лесу, по которой они ушли от остальных. Они брели молча, как сомнамбулы, время от времени странно ощущая тяжесть своих тел. Вдруг Рэчел вскрикнула:

— Хелен!

В просвете на краю леса они увидели Хелен, по-прежнему сидевшую на стволе; в солнечных лучах ее платье казалось ярко-белым; рядом с ней Хёрст все так же полулежал, опершись на локоть. Теренс и Рэчел инстинктивно остановились. Они не могли продолжать в том же духе на виду у других людей. Минуту или две они молча стояли, держась за руки. Присутствие других людей было невыносимо.

— Но мы должны идти, — наконец настояла Рэчел странным глухим голосом — оба они все это время говорили такими голосами, — и, сделав огромное усилие, они заставили себя преодолеть

небольшое расстояние, которое отделяло их от пары, сидевшей на стволе.

Когда они были уже близко, Хелен обернулась и посмотрела на них. Некоторое время она ничего не говорила, а когда они подошли совсем близко, спокойно спросила:

— Вы не встретили мистера Флашинга? Он пошел искать вас. Решил, что вы заблудились, хотя я говорила ему, что вы не заблудились.

Хёрст полуобернулся и, откинув голову, посмотрел на ветви, скрещенные над ним.

— Ну, дело стоило усилий? — спросил он сонно.

Хьюит сел на траву рядом с ним и начал обмахиваться.

— Жарко, — сказал он.

Рэчел присела около Хелен на кончике ствола.

— Очень жарко, — сказала она.

— Вид у вас измученный, — сказал Хёрст.

— Там среди деревьев страшная духота, — заметила Хелен, подбирая книгу и вытряхивая сухие травинки, которые набились между страницами. Затем все погрузились в молчание и стали смотреть на реку, которая текла перед ними за стволами деревьев, пока мистер Флашинг не прервал это созерцание. Он вышел из леса на сто

ярдов левее и пронзительно крикнул:

— А, так вы все-таки нашли дорогу! Но уже поздно — гораздо позже, чем мы договаривались, Хьюит.

Он был слегка раздосадован, а как руководитель экспедиции склонялся к некоторому деспотизму. Говорил он быстро, подбирая непривычно резкие, малозначащие слова:

— Обычно опоздание, конечно, не имеет значения, но когда все должно идти по плану…

Он собрал их вместе и повел к берегу, где ждала лодка, которая должна была доставить их на пароход.

Дневная жара начала спадать, и за чаем Флашинги вновь стали общительными. Когда Теренс слушал их, ему казалось, что теперь жизнь течет на двух разных уровнях. Вот Флашинги, они разговаривают — где-то высоко над ним, а он и Рэчел вместе опустились на дно мира. Но миссис Флашинг, наряду с детской непосредственностью, обладала неким инстинктом, который позволяет ребенку угадывать то, что взрослые предпочитают скрывать. Она уставилась на Теренса своими живыми голубыми глазами и обратилась лично к нему. Как бы он поступил, желала она знать, если бы судно налетело на камни и затонуло.

— Вас беспокоило бы что-либо, кроме собственного спасения? А меня? Нет, нет, — она засмеялась, — ни в малейшей степени, и не убеждайте! Есть лишь два существа, за которых беспокоится рядовая женщина: ее ребенок и ее собака, а у мужчин и двух, боюсь, не наберется. О любви много пишут — оттого поэзия так скучна. Но что в реальной жизни, а? Любви нет! — воскликнула она.

Теренс пробормотал что-то нечленораздельное. Мистер Флашинг, однако, вернулся к своей благовоспитанности. Он закурил сигарету и решил ответить жене.

— Не забывай, Элис, — сказал он, — что твое воспитание было весьма неестественным — необычным, лучше сказать. У них не было матери, — объяснил он, немного убавив официальности в своем голосе. — А их отец… Он был приятнейшим человеком, несомненно, но заботили его только скаковые лошади и греческие статуи. Расскажи им о ванне, Элис.

— Она была в конюшне, — сказала миссис Флашинг. — Зимой — покрытая льдом. Нам приходилось залезать, иначе нас били кнутом. Сильные выжили, остальные умерли. То, что называется выживанием самых приспособлен-

ных, — превосходнейший метод, скажу я, когда у вас тринадцать детей.

— И все это — в сердце Англии, в девятнадцатом веке! — воскликнул мистер Флашинг, поворачиваясь к Хелен.

— Будь у меня дети, я обращалась бы с ними точно так же, — сказала миссис Флашинг.

Каждое слово звучало в ушах Теренса вполне отчетливо; но что они говорили, с кем беседовали и кто они были, эти фантастические люди, пребывавшие где-то далеко наверху? Выпив чай, они встали и облокотились на леер на носу парохода. Солнце садилось, вода потемнела и стала бордовой. Река опять расширилась, судно шло мимо островка, торчавшего клином посреди течения. Две большие белые птицы с красным отливом стояли там на своих ходулевидных ногах, на берегу островка не было видно никаких следов, кроме геометрических отпечатков птичьих лап. Ветви прибрежных деревьев казались еще более искривленными и угловатыми, чем обычно, а зелень листьев пылала и лучилась золотыми бликами. Теперь заговорил Хёрст.

— Создается ужасно странное ощущение, вы не находите? — пожаловался он. — Эти деревья действуют на нервы, безумие какое-то. Бог,

несомненно, сумасшедший. Разве кто-нибудь в здравом уме мог бы придумать такую глушь, да еще населенную обезьянами и аллигаторами? Я потерял бы разум, если бы жил здесь, — точно, сошел бы с ума.

Теренс попытался ответить ему, но его опередила миссис Эмброуз. Она призвала Хёрста видеть главное — удивительные цвета, очертания деревьев. Она как будто оберегала Теренса, не давая другим приближаться к нему.

— Да, — сказал мистер Флашинг. — И по моему мнению, — продолжил он, — отсутствие населения, на которое пеняет Хёрст, — это весьма важный компонент. Вы должны признать, Хёрст, что какой-нибудь итальянский городишко только опошлил бы весь пейзаж, уменьшил бы грандиозность, ощущение стихийного величия. — Он взмахнул рукой в сторону леса и помолчал, глядя на мощную зеленую массу, постепенно погружавшуюся в тишину. — Согласен, мы на этом фоне кажемся очень маленькими — мы, но не они. — Он кивнул на матроса, который перегнулся через борт и плевал в реку. — И это, думаю, и есть то, что моя жена считает природным превосходством крестьянина…

Пользуясь тем, что мистер Флашинг продолжал

говорить, мягко урезонивая и убеждая Сент-Джона, Теренс отвел Рэчел в сторону, для предлога указав на огромный узловатый древесный ствол, который упал и наполовину лежал в воде. Так или иначе, Теренс хотел быть рядом с ней, но обнаружил, что ничего не может сказать. Они слышали, что мистер Флашинг продолжал разглагольствовать — то о своей жене, то об искусстве, то о будущем страны, — маленькие бессмысленные слова парили высоко в воздухе. Стало холодать, и Флашинг с Хёрстом начали прогуливаться по палубе. Обрывки их беседы звучали ясно, когда они проходили мимо: искусство, истина, чувства, реальность…

— Это правда или сон? — прошептала Рэчел, когда они ушли.

— Правда, правда, — ответил Теренс.

Но ветер посвежел, и желание двигаться возникло у всех. Когда компания опять устроилась под пледами и накидками, Теренс и Рэчел оказались на противоположных сторонах круга и не могли разговаривать друг с другом. Но спустилась тьма, чужие слова съежились и разлетелись, как пепел сгоревшей бумаги, оставив их сидеть в полной тишине на дне мира. Иногда их охватывал трепет ни с чем не сравнимой радости, а потом к

ним опять возвращался покой.

Глава 21

Благодаря дисциплине, установленной мистером Флашингом, отрезки реки преодолевались в запланированное время, и, когда на следующее утро стулья были опять расставлены полукругом на носу, лишь несколько миль отделяли пароходик от местного поселения, которое было конечной точкой путешествия. Усевшись, мистер Флашинг посоветовал всем внимательно смотреть на левый берег, где вскоре должен был появиться расчищенный участок с хижиной, в которой Маккензи, знаменитый первопроходец, умер от лихорадки десять лет тому назад, не дойдя совсем немного до цивилизации; Маккензи, повторил он, человек, дальше которого в глубь континента не проник до сих пор никто. Все послушно обратили глаза в ту сторону. Глаза Рэчел не видели ничего. Конечно, мимо них проплывали желтые и зеленые формы, но Рэчел сознавала только, что одна форма больше, а другая меньше, не отдавая себе отчета в том, что это деревья. Указания смотреть туда или сюда досаждали ей, как человеку, погруженному в свои мысли, досаждает любое вмешательство, хотя она ни

о чем определенном не думала. Ее раздражало все, что говорилось, все бесцельные движения человеческих тел словно мешали ей и не давали говорить с Теренсом. Очень скоро Хелен заметила, что Рэчел угрюмо смотрит на канатную бухту, не делая никакого усилия, чтобы слушать. Мистер Флашинг и Сент-Джон завели довольно продолжительную беседу о будущем этой страны с политической точки зрения и о том, до какой степени она уже исследована; остальные, вытянув ноги или подперев подбородки руками, созерцали в молчании.

Хелен смотрела и слушала вполне покорно, однако в душе ее возникло беспокойство, которое она пока ничем определенным объяснить не могла. Взирая на берег, как велел мистер Флашинг, она думала, что здесь очень красиво, но слишком душно и тревожно. Ей не нравилось быть во власти непонятных чувств, а она, чем дальше пароходик скользил под горячим утренним солнцем, ощущала все большее волнение. Была ли причина в том, что ее окружал незнакомый лес, или в чем-то менее конкретном, она не могла разобраться. Ее мысли покинули настоящее, теперь она тревожилась за Ридли, за детей и размышляла на более отвлеченные темы, такие,

как старость, бедность и смерть. Хёрст тоже был подавлен. Он ждал экспедиции как праздника, потому что, думал он, стоит только вырваться из гостиницы, обязательно произойдет нечто необыкновенное, а вместо этого не происходило ничего: тот же комфорт, те же рамки, та же скованность, что и обычно. Конечно, так всегда бывает, если чего-то ждешь с нетерпением — разочарование неминуемо. Хёрст винил Уилфреда Флашинга с его безупречными нарядами и официальными манерами, винил Хьюита и Рэчел. Почему они не разговаривают? Он посмотрел на них, сидевших в молчании, погруженных в себя, и вид их вызвал у него досаду. Он подозревал, что они помолвлены или недалеки от этого, но в этом не было ничего романтичного, радостного — такая же скука, как во всем остальном. Мысль о том, что они влюблены, тоже вызывала у него досаду. Он подвинулся поближе к Хелен и начал рассказывать, как плохо ему было ночью: он лежал на палубе, мучаясь то от жары, то от холода, и звезды были так ярки, что он не мог заснуть. Всю ночь он пролежал без сна, напряженно думая, а когда стало достаточно светло, написал еще двадцать строк своей поэмы о Боге, и самое ужасное — практически доказал факт Его существования.

Хёрсту было невдомек, что он надоел ей, и он принялся рассуждать — если Бог действительно существует, то каков он?

— Бородатый старик в длинном синем халате, брюзгливый и сварливый, наверное? Вы не подскажете рифму? Бог, рог, сапог — эти все уже использованы, других нет?

Хотя он говорил не больше, чем обычно, Хелен могла бы заметить, если бы захотела, что он тоже раздражен и встревожен. Но ей не пришлось отвечать, потому что мистер Флашинг воскликнул:

— Вон она!

Все посмотрели на хижину на берегу. Это было заброшенное строение с большой дырой в крыше, земля вокруг была желтой, на ней виднелись старые раны кострищ и ржавые пустые жестянки.

— Здесь нашли его тело? — взволнованно спросила миссис Флашинг, подаваясь вперед от желания разглядеть место, где умер путешественник.

— Здесь нашли его тело, шкуры животных и дневник, — ответил ее муж. Но судно вскоре унесло их дальше, и хижина пропала из виду.

Было так жарко, что они почти не двигались, разве что для того, чтобы поменять положение ног или зажечь спичку. Их глаза, сосредоточенно

смотревшие на берег, были полны все тех же зеленых отражений, а губы — слегка поджаты, будто проплывавшие мимо виды пробуждали какие-то мысли, и только губы Хёрста время от времени шевелились, когда он полуосознанно искал рифму к слову «Бог». О чем бы ни думали остальные, довольно долго никто ничего не говорил. Они так привыкли к стенам зарослей по обе стороны, что встрепенулись, когда просвет внезапно расширился и деревья кончились.

— Почти как в английском парке, — сказал мистер Флашинг.

Действительно, перемена была разительна. На обоих берегах реки лежали открытые луга, поросшие травой, вершины холмиков были украшены изящными деревьями, явно кем-то посаженными, поскольку изысканность и упорядоченность пейзажа свидетельствовали о человеческой заботе. Сколько хватал глаз, луга поднимались и опускались с размеренностью английского парка. Путешественники встали и облокотились на леер.

— Вылитый Арундель или Виндзор[68], — продолжил мистер Флашинг, — если не считать

[68] Примечания: 68

Арундель, *Виндзор* — английские замки, известные в том числе своими парками.

вон тот куст с желтыми цветами. Господи боже, посмотрите!

Ряд бурых спин задержался на мгновение, а потом запрыгал, как будто по волнам, и пропал из виду.

В первый момент никто не поверил, что они действительно видели живых зверей на воле — это было стадо диких оленей, — и зрелище вызвало детскую радость, которая развеяла мрачное настроение.

— Я в жизни не видел никого крупнее зайца! — воскликнул Хёрст с искренним восторгом. — Какой же я осел, что не взял свой «Кодак»!

Вскоре после этого пароходик замедлил ход и остановился, а капитан сказал мистеру Флашингу, что пассажирам было бы приятно совершить прогулку по берегу; если они предпочтут вернуться через час, он доставит их в деревню, а если им угодно пройтись — осталась всего миля-другая, — то он будет ждать их у пристани.

Дело было решено, их опять высадили на берег, а матросы, достав изюм и табак и облокотившись на леер, стали наблюдать, как шестеро англичан, чьи костюмы и платья выглядели так странно на фоне зелени, побрели прочь. Матросы расхохотались какой-то шутке — вряд ли весьма

приличной, — а затем отвернулись и вольготно разлеглись на палубе.

Сойдя на землю, Теренс и Рэчел сразу же пошли вместе, чуть впереди от остальных.

— Слава богу! — воскликнул Теренс, глубоко вздохнув. — Наконец-то мы одни.

— Мы пойдем впереди и сможем поговорить, — сказала Рэчел.

Но хотя несколько ярдов, отделявшие их ото всех, позволяли им говорить друг другу что угодно, оба молчали.

— Ты любишь меня? — наконец спросил Теренс, делая мучительное усилие, чтобы прервать тишину. И говорить, и молчать было одинаково трудно, поскольку в молчании они остро ощущали присутствие друг друга, но все слова казались либо слишком банальными, либо слишком значительными.

Рэчел пробормотала что-то нечленораздельное, закончив вопросом:

— А ты?

— Да, да, — ответил он; но сказать надо было так много, и теперь, наедине, казалось необходимым сблизиться еще больше и преодолеть барьер, который вырос после их последнего разговора. Это было трудно, даже страшно и вызывало непри-

вычную неловкость. То все представлялось ему вполне ясно, то он опять терялся.

— Начну сначала, — сказал он решительно. — Расскажу тебе то, что должен был рассказать раньше. Во-первых, я никогда еще не любил женщин, но женщины у меня были. Потом, у меня есть большие недостатки. Я очень ленив, я человек настроения… — Он настоял, несмотря на ее протестующее восклицание: — Ты должна знать о моих худших качествах. Я сластолюбив. Меня одолевает ощущение бесполезности, никчемности… Наверное, я вообще не должен был просить твоей руки. Во мне есть снобизм, я тщеславен…

— Наши недостатки! — вскрикнула Рэчел. — Какое они имеют значение! — А потом спросила: — Я люблю? Это и есть любовь? Мы должны пожениться?

Очарованный ее голосом, самим ее присутствием, Теренс воскликнул:

— Ах, Рэчел, ты свободна! Тебя не изменит ни время, ни брак, ни…

Голоса остальных продолжали звучать за ними, то ближе, то дальше, и особенно выделялся смех миссис Флашинг.

— Брак? — повторила Рэчел.

Им в спину опять начали кричать, предупре-

ждая, что они слишком отклонились влево. Скорректировав направление, Теренс продолжил:

— Да, брак.

Ощущение, что они не смогут соединиться, пока она не узнает о нем все, заставило его опять пуститься в объяснения:

— Все, что во мне есть плохого, с чем мне приходилось мириться — за неимением лучшего…

Рэчел что-то прошептала о своей жизни, но не смогла описать, какой она видится ей сейчас.

— И одиночество! — продолжал он. Он представил, как вместе с ней идет по лондонским улицам. — Мы будем вместе гулять, — сказал он. Простота этой перспективы сняла напряжение, и они впервые рассмеялись. Они были бы рады взяться за руки, но их еще не оставило смущение перед глазами, уставившимися на них сзади.

— Книги, люди, места… Миссис Натт, Грили, Хатчинсон, — бормотал Хьюит.

С каждым словом понемногу рассеивался таинственный туман, окутывавший их в глазах друг друга, отчего их общение становилось все более естественным. Сквозь знойный южный пейзаж все казалось им яснее и более живо, чем раньше. Как в тот раз, когда Рэчел сидела у окна

гостиницы, она увидела весь мир где-то внизу и в истинном свете. Время от времени она с любопытством смотрела на Теренса, разглядывала его большой серый пиджак и лиловый галстук, разглядывала мужчину, с которым ей предстояло провести всю жизнь.

После одного из таких взглядов она тихо проговорила:

— Да, я люблю. Нет сомнений, я люблю тебя.

И все же между ними еще оставалась какая-то неловкая отдаленность; когда она говорила, казалось, они уже очень близки, их ничто не разделяет, а в следующее мгновение они опять расходились врозь, далеко-далеко друг от друга. Остро ощутив это, она воскликнула:

— Мы будем ссориться! — Но, посмотрев на него, она почувствовала — по форме его глаз, по складочкам у рта и другим характерным чертам, — как он ей по душе, и добавила: — Когда я хочу ссориться, ты все понимаешь. Ты тоньше, чем я, намного тоньше.

Он ответил на ее взгляд улыбкой, замечая в ней, почти как она — в нем, мельчайшие черточки, вызывавшие у него пронзительную нежность. Она принадлежит ему — навсегда. Барьер преодолен, и теперь их ждут неисчислимые радости.

— Я не тоньше, — сказал он. — Просто я старше, ленивее; и я мужчина.

— Мужчина, — повторила она и, охваченная новым чувством обладания, вдруг поняла, что может дотронуться до него. Она протянула руку и легко прикоснулась к его щеке. Он потрогал пальцами то место, где побывали ее пальцы, и прикосновение к собственному лицу опять вернуло непреодолимое ощущение нереальности. Его тело нереально, весь мир нереален.

— Что случилось? — начал он. — Почему я сделал тебе предложение? Как это произошло?

— А ты сделал мне предложение? — удивилась Рэчел. Они как будто потеряли друг друга из виду и не могли вспомнить, что было уже сказано.

— Мы сидели на земле, — сказал он.

— Мы сидели на земле, — подтвердила она. Одно воспоминание о том, как они сидели на земле, опять объединило их, они пошли дальше молча, при этом сознание каждого работало с трудом, а то и вовсе переставало работать, и тогда окружающий мир воспринимали только их глаза. Он снова попытался рассказать ей о своих недостатках и почему он ее любит; а она стала описывать, что чувствовала в те или иные моменты, и они старались вместе истолковать

ее чувства. Их голоса звучали так прекрасно, что постепенно они перестали вникать в смысл фраз. Слова разделялись длинными паузами, но теперь это были не паузы смущения и внутренней борьбы, а освежающие промежутки тишины, во время которых обыденные мысли текли легко и свободно. Рэчел и Хьюит начали говорить естественно о самых обычных предметах, о деревьях и цветах: «Смотри, вон там, какие красные, точно как садовые цветы у нас дома» и: «А вон кривая ветка, как скрюченная рука старика».

Исподволь, очень спокойно, как будто внимая току крови в своих жилах или журчанию воды на камнях, Рэчел осознавала в себе новое чувство. Она недолго гадала, что это такое, а потом сказала сама себе, удивившись тому, что обнаружила в себе нечто столь известное:

— Это счастье, наверное, — и повторила громко Теренсу: — Это счастье.

Не успела она умолкнуть, как он произнес:

— Это счастье, — отчего они решили, что у них одновременно возникло одно и то же чувство. И они стали описывать друг другу, какие чувства вызывает у них то и это, как все вроде бы осталось прежним, но и как изменилось — потому что изменились они сами.

Голоса, раздававшиеся за ними, не могли проникнуть сквозь воды, в которые они погрузились. Много раз повторенное, имя Хьюита распалось на короткие слоги и звучало в их ушах как треск сухой ветки или птичий хохот. Вокруг них шептали и бормотали травы и ветерки, и они не замечали, что шелест травы становился все громче и громче и не затихал, когда прерывался ветер. Внезапно рука, тяжелая, будто железная, упала на плечо Рэчел; это могла быть и молния небесная. Рэчел упала, трава хлестнула ее по глазам, набилась в рот и в уши. Сквозь трепещущие стебельки она увидела фигуру, большую и бесформенную на фоне неба. Над ней стояла Хелен. Катаясь по земле, видя то одни зеленые заросли, то высокое голубое небо, Рэчел потеряла дар речи и почти лишилась чувств. Наконец она замерла, но дышала часто и тяжело, отчего сотрясались все травы вокруг нее и перед ней. А над ней маячили две огромные головы — мужчины и женщины, Теренса и Хелен.

Оба раскраснелись, оба хохотали, их губы двигались; они встретились и поцеловались в воздухе над Рэчел. До нее, лежавшей внизу, долетали отдельные слова. Ей показалось, что они говорят о любви, а потом — о браке. Она села и

почувствовала рядом мягкое тело Хелен, сильные и добрые руки, и счастье опять поднялось и схлынуло последней высокой волной. Когда все улеглось, травы успокоились, небо опять стало горизонтальным, земля со всех сторон плоской, а деревья выпрямились, она первая заметила нескольких человек, терпеливо стоявших поодаль в ряд. В первый момент она не могла понять, кто они такие.

— Кто это? — спросила она и тут же вспомнила.

Они шли вереницей за мистером Флашингом, и Рэчел старалась сохранять не меньше трех ярдов между краешком своей юбки и подошвами его ботинок.

Он вел их по зеленой лужайке вдоль берега реки, а потом через рощу, обращая их внимание на знаки человеческого присутствия — на почерневшую траву, обугленные пни, на видневшиеся за стволами странные деревянные гнезда, сбившиеся полукругом там, где деревья расступались, — это и была деревня, цель путешествия.

Осторожно выходя из рощи, они смотрели на треугольные фигуры женщин, сидевших на корточках на земле и двигавших руками, — одни плели из соломы, другие что-то растирали

в мисках. Поначалу туземцы их не замечали, а когда увидели, мистер Флашинг вышел в центр поляны и заговорил с худым величавым мужчиной — по сравнению с его рельефными формами тела англичан сразу стали выглядеть уродливо и неестественно. Женщины никак не отреагировали на пришельцев, только руки их замерли на мгновение, а узкие удлиненные глаза скользнули в сторону и остановили на них неподвижный и безразличный взгляд — так смотрят друг на друга люди настолько далекие, что никакие слова не способны перекинуть между ними мост. Руки вновь задвигались, но глаза не опустились. Они следили за англичанами все время, что те ходили по деревне и заглядывали в хижины, в которых можно было различить ружья, стоящие в углу, миски на полу, кучи тростника и глаза младенцев и старух, смотревшие на них из полутьмы. И когда они бродили вокруг, пристальный взгляд не оставлял их, ощупывал их ноги, тела, головы, любопытный, но не лишенный враждебности; он ползал по ним, как зимняя муха. И когда одна из женщин распахнула свою одежду, чтобы обнажить грудь и сунуть ее в рот ребенку, глаза ее не отрывались от их лиц, хотя им было неловко двигаться под ее взглядом, и они наконец от-

вернулись, не в силах больше стоять и смотреть на нее. Когда путешественникам предложили сладости, они протянули свои большие красные руки, чтобы взять их, и почувствовали, что рядом с этими мягкими, естественными людьми они неуклюжи, как солдаты, затянутые в тесные мундиры. Но вскоре деревня перестала обращать на них внимание, ее жизнь поглотила их. Руки женщин опять занялись плетением, их глаза опустились. Если они вставали, то лишь для того, чтобы принести что-нибудь из хижины, или поймать расшалившегося ребенка, или пересечь поляну с кувшином на голове, а если говорили, то лишь резкими нечленораздельными выкриками. Голоса звучали, когда ребенок получал шлепки, а потом затихали опять, голоса звучали в песне, которая то чуть повышалась, то чуть понижалась и вновь возвращалась к одной и той же негромкой печальной ноте. Найдя друг друга, Теренс и Рэчел отошли под дерево. Вид женщин, переставших смотреть на них, сначала был преисполнен покоя и даже красоты, но теперь вызывал ощущение холода и тоски.

— Да, — вздохнул Теренс, — мы кажемся здесь ничтожными, правда?

Рэчел согласилась. И это будет продолжаться

бесконечно, сказала она, эти женщины под деревьями, деревья и река. Они отвернулись и пошли среди деревьев, держа друг друга под руку, без страха, что их увидят. Отойдя совсем немного, они опять начали убеждать друг друга в том, что любят, счастливы и довольны жизнью; но почему так больно любить, почему в счастье так много боли?

Вид деревни подействовал на всех, но на каждого по-разному. Сент-Джон, покинув остальных, медленно брел вдоль реки, погруженный в горькие и тоскливые мысли, — он остро ощущал свое одиночество. Хелен стояла одна на залитой солнцем площадке среди туземных женщин, и ее терзало предчувствие беды. В ее ушах звучали крики бессмысленных тварей, доносившиеся и сверху, и снизу, как будто они карабкались по стволам на верхушки. Какими маленькими кажутся фигурки, блуждающие среди деревьев! Хелен живо представила себе маленькие руки и ноги, тонкие сосуды, нежную плоть мужчин и женщин, которая повреждается и выпускает из себя жизнь так легко — в сравнении с этими огромными деревьями и глубокими водами. Упадет ветка, нога оступится — и земля раздавит их, или вода утопит. Думая так, она следила за влюб-

ленными тревожным взглядом, как будто этим могла защитить их от судьбы. Повернувшись, она увидела рядом Флашингов.

Они обсуждали свои покупки и спорили, действительно ли это старинные вещи и не заметны ли в них признаки европейского влияния. Хелен тоже попросили высказаться. Ее заставили осмотреть брошь, а затем еще пару серег. Все это время она про себя ругала их, что они устроили эту экспедицию, что пришлось так далеко забраться и подвергнуть себя таким опасностям. Затем Хелен встряхнулась и попыталась говорить, но через несколько мгновений в ее сознании возникла картина: в Англии на реке посреди дня переворачивается лодка. Она знала, что это нездоровые фантазии, и все-таки отыскала глазами знакомые фигуры среди деревьев и после этого смотрела на них уже не отрываясь, чтобы уберечь их от беды.

Но когда солнце село и пароход, развернувшись, начал обратный путь к цивилизации, все тревоги Хелен улеглись. В полутьме стулья на палубе и люди на стульях выглядели как угловатые формы; огненная точка сигары или сигареты отмечала рот, а ее движение вверх вниз — руку. Слова улетали в темноту и оседали неизвестно где, поэтому в них не вкладывалось особенной

энергии и содержания. Глубокие вздохи, хотя и подавляемые до некоторой степени, регулярно раздавались со стороны белой возвышенности, представлявшей собой миссис Флашинг. Позади был длинный и очень жаркий день, а теперь все цвета утонули во мраке, и прохладный ночной воздух будто мягкими пальцами давил на веки, тянул их вниз. Какое-то философское замечание, адресованное, по-видимому, Сент-Джону Хёрсту, не достигло цели и висело в воздухе, пока зевок не поглотил его и не отправил таким образом в небытие; это сочли сигналом к тому, чтобы зашевелиться и вполголоса заговорить о сне. Белая возвышенность завибрировала, вытянулась и пропала, затем, сделав несколько шагов и поворотов, удалились Сент-Джон и мистер Флашинг, оставив три безмолвные фигуры на трех стульях. В свете фонаря, висевшего высоко на мачте, и белесого от звезд неба они представляли собой лишь силуэты без черт и деталей; но даже в такой темноте после ухода остальных они почувствовали особую близость друг к другу, ибо думали об одном и том же. Некоторое время они молчали, а потом Хелен спросила со вздохом:

— Итак, вы оба счастливы?

Как будто промытый воздухом, ее голос звучал

одухотвореннее и мягче, чем обычно. Два голоса совсем рядом ответили ей:

— Да.

Она смотрела на них, пытаясь сквозь мрак разглядеть Хьюита. Что она должна сказать? Рэчел вышла из-под ее опеки. Голос может достигнуть ее ушей, но уже никогда не проникнет так глубоко, как проникал еще сутки назад. Тем не менее до отхода ко сну ей полагалось произнести речь. Она хотела говорить, но почему-то чувствовала себя старой и подавленной.

— Вы понимаете, что делаете? — спросила она. — Она молода, вы оба молоды, а брак… — Тут она умолкла. Однако они с таким пылом стали умолять, чтобы она продолжала, как будто единственное, чего им не хватало, — это ее совет; и она добавила: — Брак! Что ж, это не просто.

— Об этом мы и хотим узнать, — сказали они, и Хелен подумала, что они, наверное, сейчас смотрят друг на друга.

— Это зависит от вас обоих, — веско произнесла она. Ее лицо было обращено к Теренсу; он почти не видел ее, но понял, что эти слова выразили искреннее желание узнать о нем побольше. Он сел прямо, поскольку до этого полулежал, и начал рассказывать все, что могло быть ей интересно.

Он говорил как можно непринужденнее, стараясь развеять ее уныние.

— Мне двадцать семь лет, мой доход около семи сотен в год. Характер у меня в целом неплохой, здоровье отличное, хотя Хёрст и отмечает некоторую склонность к подагре. Полагаю, что я весьма умен. — Он сделал паузу, как будто ожидая подтверждения.

Хелен согласилась.

— Хотя, к несчастью, довольно ленив. Если Рэчел собирается быть глупой, я не намерен ей препятствовать… Как по-вашему, а в других отношениях я в целом приемлем? — робко спросил он.

— Да, то, что я знаю о вас, мне нравится, — ответила Хелен. — Однако — мы знаем так мало…

— Мы будем жить в Лондоне, — продолжил Теренс. — И… — Вдруг они с Рэчел в один голос стали спрашивать у Хелен: разве они не самые счастливые люди из всех, кого она знает?

— Тихо! — оборвала она их. — Миссис Флашинг, не забывайте. Она за нами.

Последовало молчание, и Рэчел с Теренсом почувствовали, что их счастье вызывает у нее печаль. Хотя их так и подмывало говорить о себе, они предпочли воздержаться.

— Мы слишком много говорим о себе, — сказал Теренс. — Расскажите нам…

— Да, расскажи нам, — эхом отозвалась Рэчел. Оба были в том настроении, когда кажется, будто всякий способен сказать нечто очень значительное. Хелен заставила себя говорить.

— В конце концов, хотя я, бывает, отчитываю Рэчел, сама я не намного умудреннее. Я старше, конечно, у меня полжизни позади, а вы только начинаете. Это озадачивает; иногда, пожалуй, и разочаровывает; хорошие стороны, наверное, не так хороши, как ожидаешь, но это интересно — да-да, вы, безусловно, найдете это интересным. Жизнь идет, — они заметили, что Хелен смотрит на череду темных деревьев, проплывавшую мимо, — в ней бывают радости — там, где их не ожидаешь (ты должна написать отцу), — и вы будете очень счастливы, я не сомневаюсь. Но мне пора идти спать, и если вы благоразумны, то пойдете тоже через десять минут. Ну, — поднявшись, она стояла перед ними, почти безликая и очень большая, — спокойной ночи, — сказала она и отошла за темную завесу.

Просидев в молчании большую часть из отведенных им десяти минут, они встали и облокотились на леер. Внизу очень быстро и бесшумно

скользила гладкая черная вода. Уголек сигареты исчез позади.

— Красивый голос, — прошептал Теренс.

Рэчел согласилась. У Хелен был красивый голос.

После паузы она спросила, глядя в небо:

— Мы правда на палубе парохода, идущего по реке в Южной Америке? И я Рэчел, а ты — Теренс?

Вокруг них лежал огромный черный мир. Мягко несомые сквозь него, они ощущали его плотность и долговечность. Они могли различить, что у одних деревьев верхушки острые, а у других — закругленные. Подняв глаза выше деревьев, они стали смотреть на звезды и бледную границу, отделявшую небо от леса. Бесконечно далекие точки ледяного света приковали их взгляды, и им показалось, что они простояли так очень долго и преодолели огромное расстояние, пока опять не почувствовали, что их руки сжимают леер, а тела, отдельные друг от друга, находятся рядом.

— Ты совершенно забыла обо мне, — сказал Теренс с упреком, беря Рэчел за руку, когда они пошли по палубе. — А я о тебе никогда не забываю.

— О нет, — прошептала она: она не забыла, только звезды… ночь… темнота…

— Ты как сонная птичка в гнезде, Рэчел. Ты спишь. Ты говоришь во сне.

В полудреме, бормоча обрывки слов, они стояли в углу, образованном носом парохода. Он скользил по реке. Они слышали, как на мостике звякнул колокол, как плещется вода, проносясь по обе стороны, как испуганная во сне птица встрепенулась, крикнула и перелетела на соседнее дерево, и опять стало тихо. Тьма лилась на них могучим потоком, и они уже не ощущали ничего, только то, что они стоят рядом во тьме.

Глава 22

Тьма опустилась, но опять поднялась, и с каждым днем, раскидывавшимся над землей и отделявшим их от того странного дня в лесу, когда им пришлось признаться в своих желаниях, эти желания становились известны все новым людям, а их самих они тем временем стали немного удивлять. В случившемся, по-видимому, не было ничего необычного; дело состояло в том, что они превратились в помолвленную пару, которая должна пожениться. Окружающий мир, представленный в основном гостиницей и виллой, в целом радовался, что два человека сочетаются браком, и давал им понять, что они

не обязаны участвовать в работе, необходимой для поддержания порядка вещей, могут на время отлучиться. Поэтому их оставили в покое, и они почувствовали, как их окружила тишина, точно дети, игравшие в гулкой церкви, дверь в которую кто-то за ними закрыл. Теперь они гуляли вдвоем, сидели наедине, посещали заветные уголки, где никто никогда не собирал цветы и деревья стояли в одиночестве. Наедине они могли делиться друг с другом прекрасными, но такими значительными желаниями, что их было неловко выражать в присутствии других мужчин и женщин. Это были мечты о мире — их собственный мир, состоявший из них двоих, казался именно таким, — в котором люди знают друг друга очень близко, судят друг о друге только по достоинствам и никогда не ссорятся, потому что ссоры — это потеря времени.

Они говорили на подобные темы среди книг, или под солнцем, или сидя в тени дерева, никем не тревожимые. Они больше не смущались, у них не перехватывало дух, когда что-то было невозможно выразить словами; они не боялись друг друга и не походили уже на путешественников на извилистой реке, которых ослепляют внезапные красоты за каждым поворотом. Случилось неожиданное, но даже обычное было очень мило

и во многих отношениях предпочтительнее, чем восторг и таинственность, — потому что в обычном чувствовалась живительная цельность, и оно требовало усилий, но усилия в таких обстоятельствах были не трудны, а приятны.

Пока Рэчел играла на рояле, Теренс сидел рядом и — судя по тому, что время от времени он записывал карандашом слово-другое, — осмысливал картину мира в свете их с Рэчел предстоящего брака. Картина эта, безусловно, изменилась. Книга, озаглавленная «Молчание», теперь должна была стать иной, чем задумывалось сначала. Потом Теренс откладывал карандаш и смотрел перед собой, думая о том, что именно изменилось в мире: в нем, вероятно, прибавилось основательности, он стал более цельным, значительным и более глубоким. Порой даже земля казалась Теренсу очень глубокой, и города и горы были не вырезаны в ней, а нагромождены глыбами. Он смотрел в окно по десять минут кряду — но нет, мир без людей его не трогал. Людей он любил и подозревал, что любит их больше, чем их любила Рэчел. Она раскачивалась, воодушевленная своей музыкой, совершенно забыв о нем, — но и это качество ему в ней нравилось. Ему была по душе ее отрешенность. Наконец, записав несколько ко-

ротких фраз, оканчивавшихся вопросительными знаками, он сказал:

— «Женщины»... Под заголовком «Женщины» я написал: «На самом деле — не более суетны, чем мужчины. Отсутствие уверенности в себе — в основе самых серьезных недостатков. Неприязнь к своему полу — традиционна или вытекает из фактов? Женщина не столь склонна к забаве[69], сколь оптимистична, потому что не размышляет». Что скажешь, Рэчел? — Он замолчал с карандашом в руке и листком бумаги на колене.

Рэчел не сказала ничего. Она взбиралась все выше и выше по крутой спирали поздней бетховенской сонаты, как будто шла вверх по полуразрушенной лестнице — сначала энергично, а потом — переставляя ноги все с большим трудом, пока наконец дальше подниматься стало невозможно, и она сбежала вниз, чтобы начать восхождение сначала.

— «Опять же, теперь модно говорить, что женщины более практичны и менее склонны к

---

[69] Примечания: 69

Намек на строку из эпистолярной поэмы Александра Поупа (1688–1744) «К даме. О характерах женщин» (1737):

Муж ищет то забвения, то славы,
А женщина – единственно забавы.

(Пер. В. Топорова.)

идеализму, чем мужчины, и что у них развиты организаторские способности, но нет чувства чести...» Вопрос в том, что значит этот мужской термин — честь. Чему он соответствует в женском сознании? А?

Штурмуя свою лестницу еще раз, Рэчел пренебрегла возможностью раскрыть тайны своего пола. Впрочем, она накопила уже достаточно мудрости, чтобы не тревожить эти тайны: лучше оставить их философский разбор грядущим поколениям.

Наконец, сыграв левой рукой громоподобный финальный аккорд и повернувшись к Теренсу, Рэчел воскликнула:

— Нет, Теренс, это никуда не годится! Я, лучший музыкант в Южной Америке, не говоря уж о Европе и Азии, не могу и ноты сыграть из-за того, что ты отвлекаешь меня каждую секунду.

— Ты, похоже, не понимаешь, что именно это я и пытаюсь сделать последние полчаса, — заметил он. — Против милых простых мелодий я ничего не имею, они даже очень помогают мне сочинять, но эта вещь просто напоминает несчастного старого пса, который под дождем ходит кругами на задних лапах.

Теренс начал перебирать разбросанные на

столе листки почтовой бумаги с поздравлениями от знакомых.

— «…всевозможные пожелания всевозможного счастья», — прочитал он. — Верно, но не слишком живо, да?

— Эти письма — полная чушь! — воскликнула Рэчел. — Ты только сравни слова с музыкальными звуками! И все эти романы, пьесы, рассказы… — Присев на край стола, она пренебрежительно провела рукой по красным и желтым томам. Ей казалось, что она имеет право презирать все человеческие знания. Теренс тоже посмотрел на книги.

— Господи, Рэчел, конечно, — ты ведь читаешь один вздор! И от времени ты отстала, дорогая. Теперь такое никто и не думает читать — дряхлые проблемные пьесы, душераздирающие описания жизни в Ист-Энде — нет-нет, мы это все отбросили. Читай стихи, Рэчел, стихи, стихи, стихи!

Выбрав книгу, он начал читать вслух, чтобы высмеять отрывистый и резкий язык автора; но Рэчел не слушала — подумав немного, она воскликнула:

— Тебе никогда не кажется, Теренс, что весь мир состоит из огромных кусков материи, а мы — лишь пятнышки света и больше ничего? — Она

посмотрела на расплывчатые солнечные зайчики, дрожавшие на ковре и стенах. — Вроде этих.

— Нет, — сказал Теренс. — Я чувствую себя твердо, очень твердо, как будто ножки моего стула уходят корнями в утробу земли. Но в Кембридже, помню, бывали забавные моменты полузабытья — часов в пять утра. У Хёрста и сейчас это бывает, наверное… Хотя, нет, у Хёрста не бывает.

А Рэчел продолжала:

— Когда принесли твою записку с приглашением на пикник, я сидела там, где ты сейчас, и думала об этом. Интересно, смогу я опять так думать? Интересно, мир изменился? И если да, то когда он перестанет меняться и какой мир настоящий?

— Когда я тебя увидел в первый раз, — начал Теренс, — мне показалось, что ты похожа на существо, всю жизнь прожившее в окружении жемчугов и старости. У тебя были влажные руки, помнишь, и ты ни слова не произнесла, пока я не дал тебе кусок хлеба и не спросил, на что ты смотришь, и тогда ты сказала: «На людей!»

— А ты мне показался… снобом, — вспомнила Рэчел. — Нет, не совсем. Я молчала из-за муравьев: думала, что ты и Сент-Джон похожи на них — очень большие, очень противные, очень дея-

тельные и как будто тащите на спине все ваши достоинства. Но потом, когда я с тобой поговорила, ты мне понравился…

— Ты влюбилась в меня, — поправил ее Теренс. — Ты все это время была влюблена в меня, только не осознавала этого.

— Нет, я в тебя не влюблялась, — твердо возразила Рэчел.

— Неправда, Рэчел, разве ты не сидела здесь, глядя на мое окно, разве не бродила вокруг гостиницы, как сова на солнце?

— Нет, — повторила она. — Я не влюблялась, если влюбиться значит то, что все говорят, и лгут как раз все, а я говорю правду. Сколько в мире *лжи*, сколько *лжи*!

Она скомкала горсть писем — от Эвелин М., от мистера Пеппера, от миссис Торнбери и мисс Аллан и от Сьюзен Уоррингтон. Странно было, как эти столь разные люди поздравляли их с помолвкой в почти одинаковых выражениях.

То, что эти люди когда-либо чувствовали то же, что она, или могли почувствовать, или даже имели право хоть на секунду сделать вид, будто способны это чувствовать, ужасало Рэчел, почти как та церковная служба, как лицо сестры милосердия, — а если они ничего не чувствовали,

то зачем притворялись? Юная прямота, высокомерие и резкость Рэчел, которые теперь еще воспламенялись ее любовью к Теренсу, озадачивали его; на него помолвка не оказала такого действия; его мир изменился, но по-другому; он стремился к тому же, к чему и всегда стремился, и особенно — к обществу других людей, вероятно, даже сильнее, чем раньше. Он взял у нее письма и возразил:

— Конечно, они нелепы, Рэчел, конечно, они что-то говорят лишь потому, что все это говорят, и все-таки — что за милая женщина мисс Аллан, ты не можешь этого отрицать, и миссис Торнбери тоже; согласен, у нее слишком много детей, но — пусть полдюжины из ее отпрысков сбились с истинного пути вместо того, чтобы с блеском достигнуть наивысших высот, — разве в ней нет своеобразной прелести, прелести стихийной простоты, как сказал бы Флашинг? Разве не похожа она на большое старое дерево, что-то шепчущее под луной, или на реку, которая все течет и течет? Кстати, Ральфа назначили губернатором островов Кэрроуэй, он самый молодой из всех губернаторов — разве не прекрасно?

Но Рэчел в этот момент не могла понять, что подавляющее большинство дел творится в мире

по-прежнему, не связываясь ни единой ниточкой с ее судьбой.

— У меня не будет одиннадцати детей, — заявила она. — И глаза мои не станут, как у старухи. Она оглядывает человека с головы до ног, с головы до ног, как будто это лошадь.

— У нас должен быть сын, и у нас должна быть дочь, — сказал Теренс, кладя письма. — Не считая того бесценного преимущества, что они будут нашими детьми, они еще получат прекрасное образование. — И они начали изобретать программу идеального воспитания. Их дочь обязательно будет с детства смотреть на большой кусок синего картона, который будет способствовать мыслям о вечном, потому что женщин воспитывают слишком практичными; а сына они научат смеяться над большими людьми — то есть над известными, преуспевающими людьми, которые носят орденские ленточки и достигают наивысших высот. Он ни в чем не должен походить (добавила Рэчел) на Сент-Джона Хёрста.

На это Теренс разразился похвалами в адрес Сент-Джона Хёрста. Описывая его достоинства, он и сам поверил в них всерьез: его ум подобен торпеде, заявил Теренс, нацеленной на фальшь. Что бы мы все делали без него и его деяний? Мы

задыхались бы среди христиан и ханжей, как злаки в сорняках, — да что там, сама Рэчел была бы рабыней с опахалом, обязанной петь песни, когда мужчин одолевает дремота.

— Но ты никогда этого не поймешь! — воскликнул он. — Потому что при всех твоих достоинствах, ты безразлична и всегда будешь всеми фибрами души безразлична к поискам истины! Ты не уважаешь факты, Рэчел, ты настоящая женщина.

Она не стала на это возражать и предпочла не приводить неопровержимое доказательство отсутствия тех славных качеств, которыми восторгался Теренс. Сент-Джон сказал, что она любит его; этого она никогда не простит; но такой довод не мог подействовать на мужчину.

— Но я ему симпатизирую, — сказала она, а про себя подумала, что еще ей жаль его, как может быть жаль несчастливца, находящегося вне теплой и таинственной сферы, полной новизны и чудес, внутри которой пребываем мы сами. Она подумала, что быть Сент-Джоном Хёрстом, наверное, очень тоскливо.

В конце концов она выразила свои чувства по отношению к Хёрсту, сказав, что она не поцеловала бы его, если бы он того захотел, хотя это и

вряд ли случилось бы.

Как будто в качестве извинения перед Хёрстом за поцелуй, которым Рэчел затем наградила Теренса, он возразил:

— Я-то в сравнении с Хёрстом — совершеннейший простофиля.

Часы пробили двенадцать раз вместо одиннадцати.

— Мы транжирим утро — я должен писать книгу, а ты — отвечать на это.

— У нас осталось только двадцать одно утро, — сказала Рэчел. — И отец мой приедет через пару дней.

Однако она взяла перо, подвинула к себе бумагу и начала усердно писать:

«Дорогая Эвелин…»

Теренс тем временем принялся читать чужой роман, поскольку считал это полезным для собственного сочинительства. Довольно долго ничего не было слышно, кроме тиканья часов и порывистого скрипа пера Рэчел, изобретавшей фразы, которые сильно напоминали те, что она только что заклеймила. Она вдруг заметила это, перестала писать и подняла голову. Рэчел посмотрела на Теренса, глубоко сидевшего в кресле, на предметы мебели, на свою кровать в углу,

на окно, за которым виднелись ветви дерева, а просветы между ними были заполнены небом, услышала тиканье часов и удивилась, какая пропасть разделяет все это и ее листок бумаги. Настанет ли время, когда мир будет единым и неделимым? Даже взять Теренса — как далеки они могут быть друг от друга, как мало она знает о том, что сейчас делается в его голове! Она дописала предложение, которое было неуклюжим и гадким и сообщало, что «мы оба очень счастливы, собираемся пожениться, наверное, осенью, а жить надеемся в Лондоне, где, надеюсь, вы навестите нас, когда мы вернемся». Подумав, она решила выбрать «с любовью», что было не слишком искренне, подписала письмо и, стиснув зубы, принялась за другое, но тут Теренс стал читать ей из своей книжки:

— Послушай, Рэчел: «Возможно, Хью (это герой, он литератор) в момент женитьбы не больше, чем любой способный юноша с воображением, понимал, что за пропасть отделяет потребности и желания мужчины от потребностей и желаний женщины… Сначала они были очень счастливы. Пешеходная экскурсия по Швейцарии была для обоих временем радостного дружеского общения и волнующих откровений. Бетти оказалась иде-

альным другом… Они выкрикивали друг другу строки из “Любви в долине”[70] среди снежных склонов Риффелхорна (и так далее и тому подобное — описания пропускаю)… Но в Лондоне, после рождения мальчика, все изменилось. Бетти была превосходной матерью, но довольно скоро она обнаружила, что материнство — как эта роль понимается обеспеченным классом — не забирало всю ее энергию. Она была молода и сильна, с крепкими руками и ногами, с телом и мозгом, которые настоятельно требовали деятельности… (Короче, она стала устраивать званые чаепития.) Он возвращался домой поздно после замечательной беседы с Бобом Мерфи в его прокуренной, заставленной книгами комнате, где двое мужчин открывали друг другу свои души. В ушах стоял гул уличного движения, туманное лондонское небо тяжко давило на мозг… он обнаружил, что среди его бумаг набросаны женские шляпки. В передней было много женской одежды и до нелепости маленьких женских туфель и зонтиков… Потом начали приходить счета… Он попытался поговорить с ней откровенно. Она лежала на большой шкуре белого медведя в их спальне, полуоде-

---

[70] Примечания: 70

«Любовь в долине» (1883) — поэма Джорджа Мередита (1828–1909).

тая, потому что они собирались идти ужинать с Гринами в “Уилтон Крессент”, в красном свете огня, горевшего в камине, мерцали и переливались брильянты на ее обнаженных руках и прелестном изгибе груди — она являла зрелище восхитительной женственности. Он все простил ей. (Дальше идет все хуже и хуже, и наконец страниц через пятьдесят Хью едет на выходные в Суонидж “и разбирается в своих чувствах, бродя по холмам над Корфом[71]”… Так, эти пятнадцать страниц мы пропустим.) Вывод такой: они были разными людьми. Возможно, в далеком будущем, после того, как многие поколения мужчин будут бороться и потерпят поражение, как сейчас он должен бороться и потерпеть поражение, женщина действительно станет тем, за кого она сейчас себя выдает, — другом и товарищем, а не врагом и паразитом мужчины». Кончается тем, что Хью, бедняга, вернулся к жене. Исполнил долг женатого человека. Господи, Рэчел, — закончил Теренс, — неужели и у нас так будет, когда мы поженимся?

Вместо ответа она спросила:

— Почему люди не пишут о том, что они чув-

---

[71] Примечания: 71

Корф — руины средневекового замка в графстве Дорсет.

ствуют?

— А, в том-то и трудность! — вздохнул Теренс, отбрасывая книжку.

— Как же будет, когда мы поженимся? Что люди действительно чувствуют?

Казалось, Рэчел посетили сомнения.

— Сядь на пол, а я на тебя посмотрю, — повелел Теренс. Положив подбородок на его колено, она взглянула ему в глаза.

Он с любопытством стал рассматривать ее.

— Ты не красавица, — начал он. — Но мне нравится твое лицо. Мне нравится, как твои волосы сходятся книзу. И глаза тоже — они будто никогда ничего не видят. Рот у тебя великоват, и щекам не помешало бы побольше румянца. Но что мне по душе в твоем лице — оно заставляет гадать, о чем же таком ты думаешь? Так и хочется сделать вот так. — Он сжал кулак и тряхнул им так близко от ее лица, что она отпрянула. — Потому что теперь у тебя такой вид, будто ты хочешь пристрелить меня. Бывают минуты, — продолжил он, — когда, если бы мы стояли рядом на скале, ты столкнула бы меня в море.

Завороженная его взглядом, она повторила:

— Если бы мы стояли рядом на скале…

Быть сброшенной в море, чтобы волны кидали

ее туда и сюда и носили у основания мира, — эта картина восхитила ее. Она вскочила и начала метаться по комнате, сгибаясь, отталкивая в сторону столы и стулья, борясь с воображаемыми волнами. Теренс наблюдал за ней с удовольствием: она как будто прокладывала себе путь, победно преодолевая препятствия, которые будут мешать им на пути их жизни.

— Похоже, это действительно возможно! — воскликнул он. — Хотя я всегда думал, что это самое невероятное на свете, — я буду любить тебя всю жизнь, наш союз будет неподражаемо восхитителен! Ни секунды мира и покоя! — Он поймал ее, когда она проходила мимо, и они стали бороться за главенство над воображаемой скалой, под которой бушевало воображаемое море. Наконец Рэчел была повергнута на пол и попросила пощады, хватая ртом воздух.

— Я русалка! Я могу уплыть! — крикнула она. — Так что игра окончена.

Ее платье было разорвано поперек, и после того, как был заключен мир, она достала нитку с иголкой и принялась за починку.

— А теперь, — сказала Рэчел, — посиди спокойно и расскажи мне о мире, расскажи обо всем, что в нем происходило, а я расскажу тебе… Так, о чем

я могу рассказать? Я расскажу о мисс Монтгомери и речной прогулке. Представляешь, она оказалась одной ногой в лодке, а другой — на берегу.

Они провели уже много времени, описывая друг другу свое прошлое, характеры своих знакомых и родственников, и очень скоро Теренс знал не только, что тетушки Рэчел сказали бы по каждому случаю, но и как обставлены их спальни и какие они носят чепчики. Он мог поддержать беседу между миссис Хант и Рэчел и весьма правдоподобно изобразить чаепитие с участием его преподобия Уильяма Джонсона и мисс Макквойд, приверженцев Христианской науки[72]. Но сам он знал гораздо больше людей и намного лучше владел искусством рассказчика, чем Рэчел, — ее наблюдения в основном были на удивление детскими и комическими, так что ей оставалось, как правило, только слушать и задавать вопросы.

Он рассказывал ей не только о событиях, но и о своих мыслях и чувствах, рисовал портреты мужчин и женщин, увлекая ее рассуждениями о том, что они могли бы думать и чувствовать, и поэтому ей страстно захотелось обратно в Англию, где было так много людей и можно было

---

[72] Примечания: 72

Христианская наука — протестантская секта, основанная в 1866 г.

просто стоять на улице и смотреть на них. А еще он утверждал, что в мире существует некий порядок, закон, делающий жизнь осмысленной или, если это слово глуповато, во всяком случае, очень интересной, потому что иногда вполне можно понять, отчего все происходит так, а не иначе. И люди вовсе не так одиноки и разобщены, как представлялось Рэчел. Следует искать в людях тщеславие — поскольку это их общее качество — в первую очередь в себе самой, потом в Хелен, в Ридли, в Сент-Джоне; в каждом есть доля тщеславия, его можно обнаружить у десяти человек из дюжины. Установив между людьми такую связь, она увидит, что они уже не так разделены, не так непонятны, но практически неотличимы друг от друга, и она полюбит их, увидев, как они похожи на нее саму. А если она будет это отрицать, то ей придется отстаивать свое мнение, что люди — как звери в зоопарке, у которых есть полосы и гривы, рога и горбы. Так, перебирая весь список своих знакомых, отвлекаясь на всякие истории, рассуждения и теории, они узнавали друг друга. Часы бежали быстро и казались им наполненными до краев. После ночного уединения они всегда были готовы начать сначала.

Благотворные свойства, которые, по мнению

миссис Эмброуз, содержатся в свободном разговоре между мужчиной и женщиной, действительно ощущались ими, хотя и не совсем в той мере, как рекомендовала Хелен. Гораздо больше, чем вопросы пола, они обсуждали поэзию, однако беседа, не ограниченная никакими запретами, поистине расширяла до странности узкий, но очень ясный кругозор девушки. На все, что говорил Теренс, она отвечала редким любопытством и восприимчивостью, и он засомневался, что какие-либо дары учености и жизненного опыта могут сравниться с этой остротой чувств. Что вообще может дать ей опыт, кроме убогого внешнего самообладания, как у дрессированной собачки на улице? Он смотрел на лицо Рэчел и гадал, каким оно будет через двадцать лет, когда глаза потускнеют, а на лбу появятся те неизгладимые морщинки, из-за которых кажется, что пожилые люди видят нечто печальное, недоступное глазам молодых. И для нее — что это будет за печаль? А потом его мысли обращались к их совместной жизни в Англии.

Думать об Англии было приятно, потому что вместе они увидят все знакомое свежим взглядом. Англия встретит их в июне, а это значит — июньские ночи за городом; соловьи, поющие в изгородях у тропинок, по которым они будут

убегать, когда в доме будет жарко; английские луга, поблескивающие водой, усеянные флегматичными коровами; низкие тучи, нависшие над зелеными холмами. Сидя в комнате рядом с Рэчел, он часто мечтал вернуться в гущу жизни и взяться за дела вместе с нею.

Он отошел к окну и воскликнул:

— Боже, как хорошо думать о тропинках, земляных тропинках с ежевикой и крапивой, о настоящих травяных лугах, о фермах со свиньями и коровами, о людях, идущих рядом с телегами, держа на плече вилы, — здесь ничто с этим не сравнится, посмотри на эту каменистую красную землю, на ярко-синее море, слепящие белые дома, как это все надоедает! И воздух — слишком чистый, слишком прозрачный. Я бы все отдал за туман над морем.

У Рэчел был свой образ английской провинции: равнина, простирающаяся до моря, и леса, и длинные прямые дороги, по которым можно пройти не одну милю, никого не встретив, и высокие колокольни, и причудливые дома, сгрудившиеся в долинах, и птицы, и сумерки, и капли дождя на оконном стекле.

— Но Лондон, Лондон — вот где надо жить, — продолжил Теренс. Они оба посмотрели на ковер,

как будто там можно было увидеть Лондон, со всеми его башнями и шпилями, торчащими из дымки. — А вообще, сейчас мне больше всего хотелось бы, — мечтательно заметил Теренс, — прогуляться по Кингзуэю, мимо афиш, а потом свернуть на Стрэнд. Возможно, я зашел бы на минутку взглянуть на мост Ватерлоо. А потом — по Стрэнду, мимо лавок с новыми книгами, и через маленькую арку — в Темпл. Я люблю после грохота оказаться в тишине. Вдруг начинаешь слышать свои шаги. В Темпле очень хорошо. Наверное, попробую разыскать старину Ходжкина — он пишет книги о Ван Эйке. Когда я уезжал из Англии, он очень грустил по своей ручной сороке. Подозревал, что какой-то человек отравил ее. А на соседней лестнице живет Расселл. Думаю, он тебе понравился бы. Страстный почитатель Генделя. Что ж, Рэчел, — заключил он, оставив образы Лондона, — через шесть недель мы всем этим займемся вместе, будет середина июня — июнь в Лондоне, боже! Как это все чудесно!

— И это будет обязательно, — сказала Рэчел. — Мы ведь не ожидаем чего-то особенного — только гулять и смотреть вокруг.

— Всего лишь иметь тысячу в год и полную свободу. Думаешь, у многих в Лондоне это есть?

— Ну вот, ты все испортил, — огорчилась Рэчел. — Теперь придется думать о всяких ужасных вещах. — Она с досадой посмотрела на роман, который однажды примерно на час отнял у нее покой, поэтому она больше эту книгу не открывала, но держала на столе, иногда поглядывая на нее, как средневековый монах на череп или распятие, напоминавшие ему о бренности плоти. — А правда, Теренс, — спросила она, — что бывает, женщины умирают, а у них по лицам ползают насекомые?

— Полагаю, это вполне вероятно, — сказал он. — Но ты должна признать, Рэчел, мы так редко думаем о чем-то, кроме самих себя, что изредка даже угрызения совести довольно приятны.

Обвинив Хьюита в притворном цинизме, который не лучше сентиментальности, она отошла от него и встала коленями на подоконник, крутя между пальцев кисти занавесок. Ее наполнило чувство смутного недовольства.

— Что в этой стране особенно неприятно, — воскликнула она, — так это синева, — всегда синее небо и синее море. Точно завеса — все, к чему ты стремишься, — за ней. Я хочу знать, что за ней происходит. Ненавижу эти барьеры, а ты — нет, Теренс? Один человек для другого

— как будто во тьме. Только мне понравились Дэллоуэи, — продолжала она, — как они исчезли. Я больше никогда их не увижу. Отправляясь в плавание на корабле, мы совершенно отсекаем себя от остального мира. А я хочу видеть Англию — вон там, Лондон — там, самых разных людей, почему это нельзя? Почему человек должен быть заперт один в своей комнате?

Говоря это — наполовину про себя и все более рассеянно, потому что она заметила судно, только что вошедшее в бухту, — Рэчел не видела, что Теренс перестал довольно взирать перед собой и теперь пристально и с тревогой смотрел на нее. Он почувствовал, что она способна отделяться от него и уходить в неизвестные сферы, где он ей не нужен. Эта мысль возбудила в нем ревность.

— Иногда мне кажется, что ты не любишь меня и никогда не полюбишь, — раздраженно сказал он. Она вздрогнула и обернулась. — Я не устраиваю тебя так, как ты устраиваешь меня, — продолжил он. — В тебе есть что-то неуловимое. Я не нужен тебе так, как ты нужна мне, — тебе всегда нужно что-то еще.

Он начал ходить по комнате.

— Возможно, я хочу слишком многого, — опять заговорил Теренс. — Возможно, то, чего я хочу,

недостижимо. Мужчины и женщины слишком отличаются друг от друга. Ты не можешь понять… Ты не понимаешь…

Он подошел к Рэчел, молча смотревшей на него.

Теперь ей казалось, что он совершенно прав и ей нужно гораздо больше, чем любовь одного человека, — ей нужно море, небо. Она опять отвернулась и стала смотреть на далекую синь, такую гладкую и ясную там, где небо встречалось с морем. Конечно, одного человека ей недостаточно.

— Или все дело в этой несчастной помолвке? — спросил Теренс. — Давай поженимся здесь, до возвращения — или это слишком рискованно? Мы уверены, что хотим пожениться?

Оба начали ходить по комнате, но, хотя порой оказывались очень близко друг от друга, они старались избежать прикосновений. И ее, и его охватило ощущение безнадежности. Они были бессильны, они не могли любить друг друга настолько, чтобы преодолеть все эти преграды, а меньшее не могло их удовлетворить. Осознав это с непереносимой остротой, Рэчел остановилась перед Теренсом и воскликнула:

— Тогда давай расстанемся!

Эти слова соединили их успешнее, чем любые споры. Они ухватились друг за друга, будто оказались на краю пропасти. Им стало ясно, что они не могут разлучиться, они будут вместе всегда, какую бы боль и страдания это ни причинило. Они погрузились в молчание и через какое-то время медленно подошли друг к другу. Сама близость успокоила их; сев рядом, они почувствовали, что отчуждение ушло и мир вернул себе надежность и целостность, а они сами будто стали больше и сильнее.

Прошло много времени, прежде чем они пошевелились — и то нехотя. Они встали бок о бок перед зеркалом и начали с помощью щеток для волос придавать себе такой вид, будто все утро не чувствовали ничего особенного — ни мук, ни счастья. Но от собственного вида в зеркале на них повеяло холодом, потому что там они были не огромными и не слитыми воедино, а очень маленькими и отдельными и в широком стекле еще хватало места для множества других предметов.

Глава 23

Но никаким причесыванием нельзя было убрать выражение счастья с их лиц, поэтому, когда они спустились, миссис Эмброуз не мог-

ла говорить с ними так, будто они провели все утро за невинными занятиями, которые можно обсуждать непринужденно. Она присоединилась к всеобщему заговору по исключению их из обыденной жизни, более того, сила их чувств вызвала у нее враждебность к жизни вообще, и у нее почти получилось выбросить их из головы.

Хелен рассудила, что все необходимое в практическом отношении она сделала. Она написала множество писем и получила согласие Уиллоуби. Она так часто рассказывала о перспективах мистера Хьюита, его профессии, происхождении, внешности и характере, что почти забыла, какой он на самом деле. Бывало, взглянув на него в который раз, она гадала, что же он за человек, но, заключив, что они с Рэчел, по крайней мере, счастливы, переставала об этом думать.

Она преуспела бы больше, если бы стала размышлять, что будет через три года или что было бы, если бы Рэчел, как и планировалось, продолжила путешествовать под присмотром отца. Хелен хватало честности признать, что результат мог бы быть и лучше — кто знает? Она не скрывала от себя недостатки Теренса. Он казался ей слишком снисходительным и терпимым, так же как он считал ее, быть может, самую малость

жестковатой — нет, скорее, она была бескомпромиссна. В каком-то смысле ей больше нравился Сент-Джон; но, с другой стороны, он, конечно, ни в коем случае не подошел бы Рэчел. Дружба с Сент-Джоном вполне установилась, и — хотя Хелен колебалась между раздражением и интересом, делая это так, что ее нельзя было обвинить в неискренности, — его общество было ей в целом по душе. Он уводил ее из этого утлого мирка любви и чувств. Он владел фактами. Например, когда Англия предприняла внезапные действия в отношении какого-то малоизвестного порта на марокканском побережье, Сент-Джон знал, что за этим стояло, да и его беседы с ее мужем — о финансах, о балансе сил, — как ни странно, создавали у нее ощущение надежности и постоянства. Она уважала их споры, хотя не всегда вникала в них, — так же, как она уважала твердую кирпичную стену или те внушительные общественные здания, которые, хотя и составляют основную часть наших городов, строятся день за днем и год за годом руками неизвестных людей. Она любила сидеть и слушать и чувствовала даже некоторую радость, когда помолвленная пара, выказав полное отсутствие интереса, выскальзывала из комнаты и принималась терзать цветы в саду. Не

то чтобы она испытывала к ним черную зависть, но она, несомненно, завидовала огромному неведомому будущему, которое лежало перед ними. Перебирая в голове такие мысли, она бродила из гостиной в столовую и обратно с фруктами в руках. Порой она останавливалась, чтобы выпрямить свечу, согнувшуюся от жары, или нарушить слишком строгую линию стульев. У нее были основания полагать, что в их отсутствие Чейли балансировала на вершине лестницы с мокрой тряпкой, отчего комната потеряла присущий ей облик. В третий раз возвращаясь из столовой, Хелен заметила, что в одном из кресел сидит Сент-Джон. Точнее, он полулежал, откинувшись на спинку и полуприкрыв глаза, как всегда, застегнутый в аккуратный серый костюм, защищенный от буйства чуждого климата, который мог в любую минуту позволить себе вольности в отношении него. Взгляд Хелен остановился на нем, а потом поднялся над его головой. Затем она села на стул напротив.

— Я не хотел приходить сюда, — наконец сказал Сент-Джон. — Но меня прямо-таки вынудили. Эвелин М., — простонал он.

Он сел прямо и с иронической торжественностью начал рассказывать, что эта несносная

женщина вознамерилась выйти за него замуж.

— Она преследует меня по всей гостинице. Сегодня утром появилась в курительной. Мне оставалось только схватить шляпу и бежать. Я не хотел приходить, но не мог остаться и терпеть еще одну трапезу с ней.

— Что ж, нет худа без добра, — философски заметила Хелен. Было очень жарко, поэтому паузы любой длины были приемлемы, и они разлеглись в креслах, ожидая каких-нибудь событий. Колокольчик позвал на обед, но во всем доме ничто не шевельнулось. Хелен спросила, каковы новости и есть ли что-нибудь в газетах. Сент-Джон отрицательно покачал головой. Ах да, он получил письмо из дома, от матери, с описанием самоубийства горничной. Ее звали Сьюзен-Джейн, как-то после обеда она зашла в кухню и попросила повариху подержать у себя ее деньги — у нее было двадцать фунтов золотом. Потом она вышла купить себе шляпку. Полшестого вернулась и сказала, что приняла яд. Успели только уложить ее в постель и вызвать доктора, и она умерла.

— Ну и? — спросила Хелен.

— Будет дознание, — сказал Сент-Джон.

Почему она это сделала? Он пожал плечами. Почему люди убивают себя? Почему низшие

сословия делают то, что они делают? Никто не знает. Они посидели молча.

— Колокольчик звонил пятнадцать минут назад, а они еще не спустились, — наконец произнесла Хелен.

Когда они появились, Сент-Джон объяснил, почему ему пришлось прийти обедать. Он изобразил воодушевленную речь Эвелин, когда та предстала перед ним в курительной.

— Она считает, что нет ничего *настолько* захватывающего, как математика, так что я дал ей объемистый двухтомник. Интересно, что она из него вынесет.

Рэчел теперь могла позволить себе посмеяться над ним. Она напомнила ему о Гиббоне, первый том до сих пор где-то у нее; если он взялся за образование Эвелин, то Гиббон — лучшая проверка; или еще она слышала об этом Бёрке, насчет американского мятежа — Эвелин должна прочесть обоих одновременно. Когда Сент-Джон опроверг ее доводы и утолил голод, он рассказал, что гостиница бурлит скандалами, произошедшими в их отсутствие, причем самого отталкивающего свойства. Он сильно обогатил свои знания о себе подобных.

— Эвелин М., например… Впрочем, мне это

сообщили конфиденциально.

— Чепуха! — вставил Теренс.

— Ты слышал и о бедняге Синклере?

— О да, я слышал о Синклере. Он удалился на свой рудник с револьвером. Каждый день пишет Эвелин, что думает о самоубийстве. Я уверил ее, что он счастлив как никогда, и она в целом склонна со мной согласиться.

— Но ко всему прочему она запуталась в отношениях с Перроттом, — продолжал Сент-Джон. — А еще у меня есть основания полагать, судя по виденному мною в коридоре, что между Артуром и Сьюзен не все в порядке. Недавно приехала очень молодая особа из Манчестера. Я считаю, что для них лучше всего был бы разрыв. Их семейную жизнь жутко даже представить. Да, и, проходя мимо спальни миссис Пейли, я отчетливо слышал, как она извергала самые кошмарные ругательства. Предполагают, что она издевается над горничной, когда они наедине, — практически наверняка это так и есть. Видно по ее глазам.

— Когда тебе стукнет восемьдесят и тебя скрутит подагра, ты тоже будешь ругаться, как извозчик, — заметил Теренс. — Станешь очень толстым, очень капризным и сварливым. Представьте его — лысый, как коленка, в клетчатых

брюках, с маленьким галстуком в крапинку и огромным брюхом.

Выдержав паузу, Хёрст сказал, что самую позорную новость он еще не сообщил. Говорил он, обращаясь к Хелен.

— Они выпихнули проститутку. В один из вечеров, когда нас не было, этот старый болван Торнбери бродил по коридорам, причем час был весьма поздний. (Его почему-то никто не спросил, что *ему* там было надо.) Он увидел, что сеньора Лола Мендоса, как она себя называет, пересекла коридор в халате. Наутро он сообщил о своих подозрениях Эллиоту, в результате чего Родригес пошел к этой женщине и дал ей двадцать четыре часа на то, чтобы убраться. Никто, судя по всему, не позаботился выяснить правду или спросить у Торнбери и Эллиота, какое их дело; они сами все решили. Я предлагаю составить коллективное письмо, всем вместе пойти к Родригесу и настоять на полном расследовании. Какие-то действия необходимы, вы согласны?

Хьюит заметил, что насчет профессии этой дамы сомнений быть не может.

— И все равно, — добавил он, — очень жаль, бедная женщина. Только я не представляю, что можно сделать…

— Я полностью согласна с вами, Сент-Джон, — взорвалась Хелен. — Это чудовищно. От лицемерной самоуверенности англичан у меня внутри все закипает. Мистер Торнбери, сделавший состояние на торговле, в два раза хуже, чем любая проститутка.

Хелен уважала моральные принципы Сент-Джона и относилась к ним намного серьезнее, чем кто-либо, поэтому она принялась обсуждать с ним, какие следует принять меры, чтобы провести в жизнь их своеобразные представления о добре и зле. Спор привел к самым мрачным высказываниям общего характера. Кто они такие, в конце концов, чтобы противостоять предрассудкам и невежеству толпы, разве есть у них на это право и силы? Все дело, конечно, в том, что речь идет об англичанах; английская кровь заключает в себе какой-то порок. Как только видишь англичанина-буржуа, неизбежно чувствуешь смутное отвращение, как только видишь полукруг коричневых зданий над Дувром — то же самое чувство. Но к сожалению, добавил Сент-Джон, этим иностранцам нельзя доверять…

Их беседу прервали отголоски борьбы с другого конца стола. Рэчел прибегла к помощи своей тети:

— Теренс говорит, что мы должны пойти на чаепитие с миссис Торнбери, потому что она была так добра, но я этого не понимаю. Да я предпочту, чтобы мне отпилили правую руку, — только представьте глаза всех этих женщин!

— Глупости, Рэчел, — возразил Теренс. — Кому надо на тебя смотреть? Ты жертва тщеславия! Твое самомнение чудовищно! Честное слово, Хелен, вы давно должны были втолковать ей, что в ней нет совершенно ничего примечательного, — она не отличается ни красотой, ни изысканной одеждой, ни каким-нибудь особенным изяществом, умом или умением держать себя. Более обыкновенного зрелища, чем представляешь собой ты — если не считать порванного платья, — свет еще не видывал. Впрочем, если хочешь — сиди дома. А я пойду.

Рэчел опять воззвала к тете. Дело не в том, объяснила она, что на нее будут смотреть, а в том, что обязательно будут говорить. Особенно женщины. Она симпатизировала женщинам, но чужие чувства для них, что мед для мух. Они, безусловно, начнут ее расспрашивать. Эвелин М. спросит: «Вы любите? Хорошо быть влюбленной?» А миссис Торнбери — эта станет оглядывать ее сверху донизу, сверху донизу — она вздрагивает от одной

мысли об этом. В самом деле, их уединение после помолвки так усилило ее чувствительность, что она вовсе не преувеличивала.

Она нашла союзницу в лице Хелен, которая стала излагать свои взгляды на человечество, с удовлетворением созерцая пирамиду разнообразных фруктов в центре стола. Люди не то чтобы жестоки или желают ранить ближнего, дело даже не в их глупости, но, по ее наблюдениям, в жизни обычного человека так мало сильных чувств, что, заподозрив их в чужой жизни, они ведут себя, как ищейки, почуявшие запах крови. Увлекшись этой темой, она продолжила:

— Стоит чему-то случиться — это может быть брак, или рождение, или смерть — как правило, они предпочитают смерть, — все хотят тебя видеть. Они настаивают на встрече. Сказать им нечего, им нет до тебя никакого дела, но ты должен идти на обед, на чаепитие или на ужин, а если не идешь — ты проклят. Их влечет запах крови. Я не виню их, но моей крови им не отведать!

Она огляделась, как будто вызвала легион человеческих созданий, злонамеренных и гадких, которые окружили стол, алча крови открытыми ртами, отчего сам стол превратился в островок нейтральной территории посреди вражеской

страны.

Слова Хелен рассердили ее мужа, который до этого ритмично бормотал себе под нос, взирая на своих гостей, свою еду и свою жену то меланхоличными, то яростными глазами — смотря по тому, что переживала героиня декламируемой баллады. Он оборвал Хелен с негодованием. В женщине ему претил даже намек на цинизм.

— Чушь, чушь! — коротко бросил он.

Теренс и Рэчел через стол обменялись взглядом, который означал, что они, когда поженятся, так себя вести не будут. Вступление Ридли в беседу произвело странное действие. Разговор сразу стал более формальным и вежливым. Уже нельзя было непринужденно высказать все, что пришло в голову, и произнести слово «проститутка» так же просто, как любое другое. Беседа обратилась к литературе и политике, и Ридли стал рассказывать о знаменитостях, которых он знавал в молодости. Умение вести такой разговор сродни искусству, поэтому молодым пришлось оставить свои откровенности при себе. Когда все встали, чтобы покинуть столовую, Хелен на мгновение задержалась, положив локти на стол.

— Вы сейчас тут сидели, — сказала она, — почти час, и никто не заметил ни моего инжира, ни

моих цветов, ни того, как падает свет, ничего. Я не слушала, потому что смотрела на вас. Вы прекрасны; я хотела бы, чтобы вы сидели так вечно.

Она первой вошла в гостиную, взяла свою вышивку и принялась отговаривать Теренса идти в гостиницу по такой жаре. Но чем больше она его отговаривала, тем сильнее он утверждался в своем решении пойти. В нем нарастали раздражение и упрямство. Были моменты, когда они испытывали друг к другу почти неприязнь. Он желал общества других людей и хотел, чтобы Рэчел сопровождала его. Он подозревал, что миссис Эмброуз и ее попытается отговорить. Ему надоели эти просторные помещения, тень, и красота, и разлегшийся Хёрст с поникшим журналом в руке.

— Я пойду, — повторил Теренс. — Рэчел может не ходить, если не хочет.

— Если ты пойдешь, Хьюит, прошу тебя провести дознание насчет проститутки, — сказал Хёрст. — Знаешь, — добавил он, — я немного пройдусь с тобой, до полдороги.

Ко всеобщему удивлению, он встал, взглянул на свои часы и заметил, что, поскольку прошло полчаса после еды, желудочный сок уже успел выделиться. Он объяснил, что пробует режим,

состоящий из коротких упражнений и долгих промежутков отдыха.

— Я вернусь в четыре, — сообщил он Хелен, — лягу на диван и полностью расслаблю все мышцы.

— Так ты пойдешь, Рэчел? — спросила Хелен. — Не останешься со мной? — Она улыбнулась, хотя, возможно, и с грустью.

Было ей грустно или улыбка действительно выражала радость? Рэчел не могла этого определить и на минуту почувствовала себя очень неуютно между Хелен и Теренсом. Затем она отвернулась и коротко сказала, что пойдет с Теренсом, если он возьмет на себя все разговоры.

По краю дороги шла узкая полоса тени, ширины которой хватало на двоих, но не на троих. Поэтому Сент-Джон шел позади, и расстояние между ним и молодой парой постепенно увеличивалось. Совершая пищеварительный моцион, он часто смотрел на часы и время от времени поглядывал на Теренса и Рэчел. Они выглядели очень счастливыми, очень близкими друг другу, хотя просто шли рядом, как ходят многие. Они то и дело слегка поворачивали головы, что-то говорили — наверное, что-то очень личное, думал Сент-Джон. На самом деле они обсуждали харак-

тер Хелен, и Теренс пытался объяснить, почему она порой так его раздражает. Но Сент-Джону казалось, что они говорят нечто не предназначенное для его ушей, поэтому его мысли обратились к собственному одиночеству. Эти двое счастливы, и, с одной стороны, он презирал их за то, что им так немного надо для счастья, но с другой — он им завидовал. Он был намного более выдающимся человеком, чем они, но он не был счастлив. К нему никто никогда не испытывал симпатии; он даже иногда сомневался, симпатизирует ли ему Хелен. Быть простым, просто высказывать свои чувства — без ужасной застенчивости, из-за которой он всегда будто в зеркале видел свое лицо и слышал со стороны свои слова, — это качество стоило любых дарований, потому что позволяло быть счастливым. Счастье, счастье, что такое счастье? Он никогда не был счастлив. Он слишком ясно видел мелкие недостатки, обманы и пороки жизни, а раз он их видел, то считал нечестным не указывать на них. За это, конечно, люди и не любили его, обвиняли в бессердечии и злости. Разумеется, они никогда не говорили ему того, что он хотел бы услышать, — что он хороший и добрый, что он им нравится. Но правда и то, что половину резкостей он высказывал им как

раз потому, что был несчастлив или обижен. Крайне редко он признавался кому-то в теплых чувствах и обычно жалел после того, как бывал несдержан. Его чувства по отношению к Теренсу и Рэчел были слишком сложны, поэтому он даже еще ни разу не заставил себя сказать, что рад их предстоящей женитьбе. Он отчетливо видел их недостатки, понимал, что по большей части их чувства друг к другу в основе очень примитивны, и ожидал, что их любовь долго не протянет. Он опять посмотрел на них и, как ни странно — поскольку привык не видеть в окружающих ничего замечательного, — вдруг преисполнился симпатией к ним, к которой слегка примешивалась и жалость. В конце концов, какое значение имеют недостатки людей в сравнении с тем, что в них есть хорошего? Он решил сейчас же сказать им о своих чувствах. Он ускорил шаг и догнал их как раз у поворота в аллею. Они остановились и начали смеяться над ним, спрашивать о желудочном соке, но он, прервав их, заговорил очень быстро и напряженно.

— Помните утро после танцев? — спросил он. — Мы сидели здесь, ты плел чепуху, а Рэчел складывала кучки из камешков. Мне же вдруг, будто вспышкой, открылся весь смысл жиз-

ни. — Он на секунду замолчал, крепко поджав губы. — Любовь, — продолжил он. — По-моему, она объясняет все. В общем, я рад, что вы поженитесь. — Он резко повернулся кругом, не глядя на них, и зашагал в сторону виллы. Он чувствовал одновременно и волнение, и стыд за свои слова и чувства. Возможно, они сейчас смеются над ним, считают его дураком, да и, в сущности, выразил ли он то, что чувствует?

Они действительно над ним посмеялись, когда он ушел; однако спор о Хелен, который уже было стал довольно ожесточенным, прекратился, и к ним вернулись мир и согласие.

Глава 24

Они пришли в гостиницу довольно рано, когда большинство постояльцев еще молча лежали или сидели в своих спальнях; не видно было и миссис Торнбери, пригласившей их на чаепитие. Поэтому Теренс и Рэчел сели в сумрачном холле, который был почти безлюден и наполнен шелестящими звуками легких дуновений, носившихся в просторной пустоте. Да, это кресло — то самое, в котором сидела Рэчел, когда к ней подошла Эвелин, а это тот самый журнал, который она просматривала, с той же самой картинкой,

изображавшей Нью-Йорк при свете фонарей. Как это странно — ничего не изменилось.

Мало-помалу по лестнице стали спускаться люди, они проходили через холл, и в приглушенном свете их фигуры были преисполнены своеобразного изящества и красоты, хотя люди это были всё незнакомые. Одни сразу пересекали холл и выходили в сад через крутящуюся дверь, другие останавливались на несколько минут, нагибались к столам и перебирали газеты. Теренс и Рэчел, полуприкрыв глаза, смотрели на них — на Джонсонов, Паркеров, Бэйли, Симмонсов, Ли, Морли, Кэмбеллов, Гарднеров. Многие были одеты в белые фланелевые костюмы и держали под мышкой ракетки, одни низкорослы, другие долговязы, попадались среди них и дети, а иные, вероятно, были слугами, но каждый имел свой статус, у каждого была причина идти чередой сквозь холл, были деньги, было положение в обществе — хоть какое-нибудь, но было. Теренс вскоре перестал на них смотреть, утомившись; он закрыл глаза и погрузился в полудрему. Рэчел еще некоторое время наблюдала за людьми: ее завораживали уверенность и грациозность их движений, неотвратимая закономерность, с которой они шли друг за другом, брели прочь

и пропадали. Но затем ее мысли отклонились в сторону, и она начала вспоминать танцы, устроенные в этом зале, только тогда сам зал выглядел совсем иначе. Оглядываясь вокруг, она едва могла поверить, что это было то же самое помещение. В тот вечер, когда они вошли сюда из темноты, зал выглядел голым, сверкающим и торжественным; а еще он был наполнен красными возбужденными лицами, находившимися в непрестанном движении; все были одеты так ярко и были так оживлены, что совсем не походили на реальных людей, и заговорить с ними казалось немыслимым. А сейчас зал безмолвен и сумрачен, и по нему проходят прекрасные молчаливые люди, к ним можно подходить и говорить что угодно. Сидя в кресле, она ощущала удивительное спокойствие. Рэчел могла окинуть мысленным взором не только бальную ночь, но и все прошлое, посмотреть на него с нежностью и юмором, как будто она долго шла и делала повороты в тумане, а теперь ей стало видно, куда она повернула. Путь, которым она пришла к нынешнему положению, казался ей очень странным, и самое странное было то, что она заранее не знала, куда он ее приведет. Да, это очень странно — человек не знает, куда идет и чего он хочет, он двигается

вслепую, так много страдая втайне, он никогда ни к чему не готов, его все поражает, он в полном неведении; но одно ведет к другому, и постепенно из ничего создается нечто, и человек достигает спокойствия и определенности, вот этот процесс люди и называют жизнью. Впрочем, возможно, все на самом деле знают, куда они идут, как теперь это знает она; и события выстроились в закономерность не только для нее, но и для них, и в этой закономерности заключается радость и смысл. Оглядываясь назад, она теперь понимала, что был некий смысл и в жизни ее тетушек, и в краткой встрече с Дэллоуэями, которых она больше никогда не увидит, и в жизни ее отца.

Глубокое сонное дыхание Теренса подкрепляло ее спокойствие. Ей самой не хотелось спать, но видела она не слишком отчетливо, и, хотя проходящие мимо фигуры становились все расплывчатее, Рэчел была уверена, что они знают, куда идут, и ей было очень уютно от исходившей от них уверенности. Она пришла в состояние такой отрешенности и безразличия, как будто у нее уже не было никакой судьбы; ей казалось, что она может принять без удивления и смущения любой жизненный поворот. Чего бояться, чего смущаться в будущем? Почему это озарение

должно покинуть ее? Мир на самом деле так велик, так доброжелателен, да и, в конце концов, в нем все так просто. «Любовь, — сказал Сент-Джон. — Похоже, она объясняет все». Да, но не любовь мужчины к женщине, не любовь Теренса к Рэчел. Хотя они сидят так близко, они уже не представляют собой два маленьких отдельных тела, они перестали бороться друг с другом и желать друг друга. Кажется, между ними воцарился мир. Возможно, это любовь, но не любовь мужчины к женщине.

Полузакрытыми глазами она смотрела на Теренса, лежавшего в кресле, и улыбалась, видя, какой большой у него рот и какой маленький подбородок, как его нос изогнут зигзагом и заканчивается шишечкой. Его внешность выдавала и его лень, и честолюбие, и то, что он человек настроения, полный недостатков. Рэчел припомнила их ссоры, особенно их сегодняшнюю перебранку из-за Хелен, и подумала, что они будут часто ссориться и через тридцать, и через сорок, и через пятьдесят лет, живя вместе в одном и том же доме, вместе торопясь на поезда и раздражаясь оттого, что он и она так не похожи друг на друга. Но все это было на поверхности и не имело отношения к той жизни, которая текла

за глазами, ртом и подбородком, потому что эта жизнь не зависит ни от нее, ни от чего бы то ни было. Поэтому, хотя Рэчел и выйдет за Теренса, и проживет с ним тридцать, сорок или пятьдесят лет, и будет с ним ссориться, и они будут очень близки, она независима от него, она независима от чего бы то ни было. И тем не менее, как сказал Сент-Джон, именно любовь позволила ей понять это, поскольку она никогда не ощущала этой независимости, этого покоя, этой уверенности, пока не полюбила Теренса; возможно, все это тоже любовь. Ей больше ничего не было нужно.

Мисс Аллан минуты две стояла в отдалении, смотря на молодую пару, так мирно отдыхавшую в креслах. Она не могла решить, беспокоить их или нет, но потом, как будто что-то вспомнив, пересекла холл. Звук ее шагов разбудил Теренса, он сел прямо, потер глаза и услышал, как мисс Аллан обратилась к Рэчел.

— Что ж, — сказала она, — это очень мило. В самом деле, очень. Помолвки прямо-таки вошли в моду. Нечасто бывает, что две пары людей, до того совершенно незнакомых друг другу, встречаются в одной гостинице и решают пожениться. — Она замолчала и улыбнулась; сказать ей, видимо, было больше нечего, поэтому Теренс

встал и спросил, правда ли, что она закончила свою книгу. Кто-то ему сказал, что это так. Ее лицо осветилось, она повернулась к нему с более оживленным выражением, чем обычно.

— Да, думаю, я вполне могу сказать, что закончила ее. Если не считать Суинберна — «От Беовульфа до Браунинга»: мне лично больше нравятся два «Б». «От Беовульфа до Браунинга», — повторила она. — Думаю, такое заглавие может привлечь взгляд в книжной лавке на вокзале.

Она и в самом деле очень гордилась тем, что закончила книгу, ведь никто не знал, сколько ей для этого понадобилось решимости. Она считала, что труд получился неплохой, учитывая, как она волновалась из-за брата, работая над рукописью. Она не могла удержаться от того, чтобы рассказать о книге еще хоть немного.

— Должна признаться, — продолжила она, — что, если бы я знала заранее, сколько классиков в английской литературе и какими многословными умудряются быть лучшие из них, я ни за что не взялась бы за эту работу. Ведь мне позволено всего семьдесят тысяч слов.

— Всего семьдесят тысяч слов! — воскликнул Теренс.

— Да, и надо что-то написать о каждом, — до-

бавила мисс Аллан. — Это как раз и трудно — о каждом написать по-другому. — Тут она решила, что достаточно поговорила о себе, и спросила, собираются ли они участвовать в теннисном турнире. — Молодежь весьма увлечена им. Он продолжится через полчаса.

Она помолчала, смотря на них добрыми глазами, а потом заметила, обращаясь к Рэчел, будто вспомнила нечто помогающее отличить ее от других людей:

— Это вы та удивительная девушка, которая не любит имбирь. — Однако теплая улыбка на ее немолодом стоическом лице заставила их почувствовать, что она вряд ли запомнит их как личности — в них она видела все новое поколение.

— И я с ней вполне согласна, — произнес женский голос у них за спиной: миссис Торнбери услышала последние слова об имбире. — В моем сознании он связан с нашей ужасной старой тетушкой (бедняжка, она тяжко страдала, нехорошо называть ее ужасной), которая давала его нам, детям, а у нас не хватало смелости сказать, что мы его не любим. Приходилось выбрасывать имбирь в кусты — у нее был большой дом под Батом.

Они медленно пошли через холл, но были

остановлены Эвелин, которая налетела на них, сбежав с лестницы, как будто ее ноги так спешили догнать их, что вышли из-под ее контроля.

— Послушайте! — воскликнула она со своим обычным воодушевлением, хватая Рэчел за руку. — По-моему, это восхитительно! Я с самого начала догадывалась, что это случится! Я видела, что вы созданы друг для друга. Теперь вы мне все должны рассказать: когда это будет, где вы поселитесь… Вы оба счастливы до невозможности, да?

Однако всеобщее внимание переключилось на миссис Эллиот, которая семенила энергично, но неуверенно, держа в руках блюдо и пустую грелку. Она прошла бы мимо, но миссис Торнбери приблизилась к ней и остановила ее.

— Спасибо, Хьюлингу лучше, — ответила миссис Эллиот на вопрос миссис Торнбери, — но он трудный больной. Желает знать свою температуру, если я говорю — тревожится, а если нет — подозревает худшее. Вы знаете, каковы мужчины, когда они болеют! Потом, конечно, здесь нет необходимых удобств, и, хотя доктор Родригес очень предупредителен и хочет помочь, — тут она таинственно понизила голос, — чувствуется, что до настоящего врача ему далеко. Если бы

вы навестили его, мистер Хьюит, — добавила она, — это его взбодрило бы, я уверена: целыми днями лежать в постели, да еще эти мухи… Но мне пора, я должна найти Анджело. И здешняя пища… Конечно, когда на руках больной, хочется, чтобы все было безупречно. — И она поспешила прочь в поисках метрдотеля. Заботы об уходе за мужем наложили скорбную морщинку на ее лоб, она была бледна, выглядела несчастной и еще более беспомощной, чем обычно, а ее взгляд стал еще рассеяннее и блуждал, ни на чем не останавливаясь.

— Бедняжка! — воскликнула миссис Торнбери и сообщила, что Хьюлинг Эллиот уже несколько дней болен и единственный имеющийся здесь врач — брат хозяина гостиницы, или, как сказал хозяин, он единственный, чье право называться врачом — вне подозрений. — Я знаю, как противно болеть в гостинице, — заметила миссис Торнбери. — Во время свадебного путешествия я провела в Венеции шесть недель с брюшным тифом. И все-таки я вспоминаю эти недели, как счастливейшие в моей жизни. Да-да, — сказала она, взяв Рэчел за локоть, — сейчас вам кажется, что вы счастливы, но это ничто по сравнению с тем счастьем, которое будет потом. И поверьте,

мне легко было бы найти в своей душе зависть к вам, молодым! Ваше время куда лучше нашего, скажу я вам. Оглядываясь назад, я с трудом верю, что все так изменилось. Когда мы были помолвлены, мне не позволялось гулять с Уильямом наедине и в комнате с нами всегда должен был кто-то находиться; насколько помню, я была обязана показывать родителям все его письма, хотя они его тоже очень любили. Да, можно сказать, они смотрели на него как на сына. Я поражалась, — продолжала она, — вспоминая их строгость к нам, когда видела, как они баловали своих внуков!

Стол был опять накрыт под деревом, и, заняв свое место у чашек, миссис Торнбери кивала и делала призывающие знаки до тех пор, пока не собрала довольно много людей, в том числе Сьюзен, Артура и мистера Пеппера, гулявших в ожидании турнира. Шепот ветвей, полноводная река под луной, слова Теренса — все это вспомнилось Рэчел, когда она сидела, пила чай и слушала речи, которые лились так легко, так ласково, так гладко-серебристо. Долгая жизнь, многочисленные дети обкатали миссис Торнбери, как гладкий речной камешек, стерли все признаки индивидуальности, оставив только старость и

материнство.

— А сколько вам, молодым, предстоит увидеть! — продолжала миссис Торнбери. Она охватывала своими предсказаниями и своим материнством всех присутствующих, хотя среди них были Уильям Пеппер и мисс Аллан, которые тоже обладали немалым жизненным опытом. — Видя, как изменился мир на протяжении моей жизни, я не могу положить пределов тому, что может произойти в следующие пятьдесят лет. О нет, мистер Пеппер, я ни в коем случае с вами не согласна, — засмеялась она, перебивая его мрачное замечание о том, что все меняется только к худшему. — Знаю, что мне полагается быть настроенной так же, но, боюсь, я думаю иначе. Они будут гораздо лучше, чем мы. Безусловно, все говорит за это. Я вижу вокруг женщин, молодых женщин, обремененных домашними заботами, которые осмеливаются делать то, о чем мы и помыслить не могли.

Мистер Пеппер считал ее сентиментальной и неразумной, как все старухи, но ее манера обращаться с ним, будто он был своенравным престарелым ребенком, покоряла и обезоруживала его, поэтому он мог ответить лишь забавной гримасой, которая больше походила на улыбку,

чем на выражение досады.

— И они остаются женщинами, — добавила миссис Торнбери. — Они многое дают своим детям.

Говоря это, она слегка улыбнулась Сьюзен и Рэчел. Им не нравилось, что их объединяют в одну категорию, но обе немного смущенно улыбнулись в ответ, и Артур с Теренсом тоже переглянулись. Благодаря миссис Торнбери они почувствовали себя в одной лодке и смотрели на своих суженых, сравнивая их. Невозможно было объяснить, как у кого-то могло появиться желание взять в жены Рэчел; невероятно, что кто-то готов провести всю жизнь со Сьюзен; но, несмотря на такое различие своих вкусов, они не желали друг другу зла; каждый даже нравился другому за оригинальность выбора.

— Я должна искренне вас поздравить, — сказала Сьюзен, протягивая руку через стол за джемом.

Казалось, принесенная Сент-Джоном сплетня об Артуре и Сьюзен безосновательна. Они сидели рядом, загорелые и бодрые, с ракетками на коленях, почти ничего не говоря, но постоянно слегка улыбаясь. Через их тонкие белые одежды проступали линии их тел — красивые изгибы мышц, его худоба и ее полнота; и легко было предста-

вить, какими крепкими и здоровыми будут их дети. Для красоты их лицам не хватало четкости формы, но у них были ясные глаза, и весь их вид говорил о таком здоровье и выносливости, что казалось, кровь никогда не остановится в его жилах и не перестанет окрашивать ее щеки глубоким и спокойным румянцем. Сейчас их глаза горели ярче, чем обычно, и выражали то удовольствие и уверенность в себе, которые характерны для спортсменов: они только что играли в теннис, а игроками были оба первоклассными.

Эвелин молчала, но все время смотрела то на Сьюзен, то на Рэчел. Что ж, они слишком легко приняли решение, им понадобилось всего несколько недель на то, что она, как ей порой казалось, не сможет сделать никогда. Хотя они были совсем не похожи одна на другую, Эвелин видела в обеих одно и то же выражение удовлетворенности и полноты жизни, одно и то же спокойствие в манере держаться, одну и ту же медлительность движений. Именно эту медлительность, это самодовольство она как раз и не выносит, думала Эвелин. Каждая двигается так медленно, потому что теперь не одна, но обрела пару — Сьюзен прилепилась к Артуру, а Рэчел — к Теренсу, и ради этих мужчин они отвергли

всех остальных, остановились, отказались от движения, от всего настоящего, что есть в жизни. Любовь — это, конечно, очень хорошо, хороши эти уютные семейные домики, с кухней внизу и детской наверху, такие отгороженные от мира, такие самодостаточные — точно маленькие островки посреди бурных потоков; но настоящее — то, что происходит в огромном внешнем мире, большие дела, войны, идеалы, то, что творится независимо от этих женщин, которые так покойно и грациозно полагаются на мужчин. Эвелин пристально изучала их. Конечно, они счастливы и довольны, но должно быть кое-что получше этого. Можно стать ближе к жизни, больше получать от нее, испытывать большую радость и больше чувствовать, чем когда-либо смогут они. Особенно Рэчел — она выглядит такой юной, что она может знать о жизни? Эвелин ощутила беспокойство, встала и пересела поближе к Рэчел. Она напомнила ей, что та обещала вступить в ее клуб.

— Загвоздка в том, — продолжила она, — что у меня, возможно, не получится начать серьезную работу до октября. Я только что получила письмо от одного знакомого, у его брата свое дело в Москве. Они хотят, чтобы я пожила у них,

а поскольку они в самой гуще всех тамошних заговоров и анархистов, мне очень хочется заехать туда по пути домой. Это, должно быть, так волнующе. — Она хотела, чтобы Рэчел поняла, как это волнующе. — Мой знакомый знает пятнадцатилетнюю девушку, которую пожизненно сослали в Сибирь только за то, что ее застали за отсылкой письма анархисту. И письмо-то было не от нее. Я бы отдала все на свете, чтобы помочь революции против русского правительства, а она надвигается.

Она перевела взгляд с Рэчел на Теренса. Рядом с Эвелин оба почувствовали легкое смущение, вспомнив, что совсем недавно слышали злословие о ней. Теренс спросил, в чем состоит ее план, и она рассказала, что собирается основать клуб — для того, чтобы делать дело, по-настоящему. Она очень оживилась, говорила и говорила, признавалась, что убеждена: стоит двадцати человекам — нет, достаточно и десяти, если они энергичны, — стоит им приняться за дело вместо того, чтобы только говорить об этом, и они смогут искоренить любое из существующих на свете зол. Что нужно, так это мозги. Если это люди с мозгами… Конечно, им понадобится помещение, хорошее помещение, лучше всего — в Блумсбери,

где они смогут встречаться раз в неделю…

Теренс видел на ее лице признаки увядающей молодости — морщинки, появлявшиеся у рта и глаз, когда она говорила и волновалась, — но ему не было жаль ее; смотря в эти блестящие, довольно жесткие и очень храбрые глаза, он видел, что ей самой не жаль себя, что она не испытывает никакого желания поменять свою жизнь на более утонченную и упорядоченную жизнь таких, как он и Сент-Джон; хотя, возможно, с годами сражаться будет все труднее и труднее. Впрочем, вероятно, она успокоится; быть может, в конце концов она все-таки выйдет за Перротта. Мысли Теренса были наполовину заняты тем, что она говорила, а наполовину — ее возможной судьбой, при этом легкие клубы дыма скрывали его лицо от ее глаз.

Теренс курил, и Артур курил, и Эвелин курила, поэтому воздух был затуманен и пропитан ароматом хорошего табака. В паузах, когда никто не говорил, они слышали отдаленный рокот морских волн, которые мерно набегали на берег и покрывали его водной пеленой, а потом отступали обратно. Неяркий зеленый свет лился от листьев дерева, и на тарелках и скатерти играли мягкие солнечные полумесяцы и звезды. Миссис

Торнбери, некоторое время молча смотревшая на всех, начала задавать Рэчел участливые вопросы: когда они собираются обратно? А, они ждут ее отца. Она обязательно должна увидеться с ее отцом, ей надо многое рассказать ему; разумеется (она с симпатией взглянула на Теренса), он будет так счастлив, она в этом уверена. Много лет назад, продолжила она, может быть лет десять или двадцать, она видела мистера Винрэса на одном приеме и была так поражена его лицом — оно совсем не походило на лица, обыкновенные для приемов, — что спросила, кто это, и ей сказали, что это мистер Винрэс, и она навсегда запомнила его фамилию — ведь она довольно редкая, — а еще с ним была дама, очень миловидная женщина, но это было одно из тех ужасных лондонских сборищ, на которых не говорят, а только смотрят друг на друга, и, хотя они пожали руки с мистером Винрэсом, кажется, они не сказали друг другу ни слова. Она едва заметно вздохнула, вспоминая прошлое.

Затем она повернулась к мистеру Пепперу, который стал настолько зависим от нее, что всегда садился с ней рядом, слушал, что она говорит, хотя свои замечания вставлял нечасто.

— Вот вы знаете все, мистер Пеппер, — сказала

миссис Торнбери. — Расскажите, как эти чудесные французские дамы устраивали свои салоны? У нас в Англии было что-нибудь подобное или вы считаете, что в нашей стране это по какой-то причине невозможно?

Мистер Пеппер с удовольствием подробно объяснил, почему в Англии никогда не было салонов. Тому есть три причины, и все три очень веские, сказал он. Что касается его самого, то он, когда оказывается на приеме — а это приходится делать, чтобы кого-то не обидеть, — его племянница, например, недавно сочеталась браком, — он выходит на середину зала, говорит: «Ха-ха!» — как можно громче, и, посчитав, что долг исполнен, удаляется. Миссис Торнбери возмутилась. Она собиралась устроить прием сразу по возвращении, и они все будут на него приглашены, так вот, она попросит людей наблюдать за мистером Пеппером, и если его заметят говорящим «Ха-ха!», то она… она сделает с ним что-нибудь ужасное. Артур Веннинг предложил подстроить какую-нибудь неожиданность — например, скрыть за портретом старой дамы в кружевном чепце бадью с холодной водой, которая по сигналу будет опрокинута на Пеппера; или подсунуть ему стул, который подбросит его на двадцать футов, как

только он на него сядет.

Сьюзен засмеялась. Она уже допила чай и чувствовала себя просто замечательно — и потому, что прекрасно показала себя в теннисе, и потому, что все были так милы. Ей становилось все легче говорить и держать себя даже с очень умными людьми — почему-то умные люди больше не пугали ее. Даже мистер Хёрст, который так ей не понравился при первом знакомстве, был не столь уж неприятен; бедняга, он вечно выглядит больным; вероятно, влюблен; вероятно, он влюблен в Рэчел — Сьюзен ничуть не удивилась бы этому; или в Эвелин — она, конечно, весьма привлекательна для мужчин. Подавшись вперед, Сьюзен вступила в беседу. Она сказала, что, по ее мнению, приемы так скучны, главным образом потому, что мужчины не наряжаются: даже в Лондоне, заявила она, ее поражало, как люди не считают необходимым наряжаться по вечерам, а уж если в Лондоне не наряжаются, то в провинции — тем более. То-то бывает радость на Рождество, когда устраивают охотничьи балы и мужчины носят такие милые красные сюртуки, но — Артур не любит танцев, так что вряд ли они будут ходить на балы даже в их городке. Она считала, что, как правило, если человек увлечен чем-то одним,

то все другое его уже не интересует, хотя ее отец — исключение. Но он исключение во всех смыслах — какой он садовник, а сколько всего знает о птицах и зверях, ну и, конечно, его просто обожают все местные пожилые женщины, и в то же время он больше всего любит книги. Если он нужен, всегда знаешь, где его найти — в кабинете с книгой. Скорее всего, это будет старая-престарая, всеми забытая книга, которую никому другому и в голову не придет читать. Она не раз говорила отцу, что из него вышел бы заправский книжный червь, если бы ему не надо было кормить семью о шестерых ртах, а шестеро детей, добавила она, безмятежно уверенная во всеобщем сочувствии, не оставляют времени, чтобы быть книжным червем.

Продолжая рассказывать о своем отце, которым она очень гордилась, Сьюзен встала, потому что Артур, взглянув на часы, обнаружил, что пора возвращаться на теннисный корт. Остальные не сдвинулись с места.

— Они очень счастливы! — сказала миссис Торнбери, благожелательно глядя им вслед. Рэчел согласилась; они выглядели такими уверенными в себе, как будто точно знали, чего хотят.

— Вы думаете, они правда счастливы? — тихо

спросила Эвелин Теренса, надеясь услышать, что он не считает их счастливыми, но вместо этого он сказал, что им с Рэчел тоже пора — домой, потому что они всегда опаздывают к столу, а миссис Эмброуз весьма строга и щепетильна и этого не одобряет. Эвелин ухватила Рэчел за юбку и запротестовала. Почему они должны уходить? Еще рано, а ей надо столько сказать им.

— Нет, — возразил Теренс. — Нам пора, потому что ходим мы очень медленно. Останавливаемся, смотрим на что-нибудь, разговариваем.

— О чем вы разговариваете? — спросила Эвелин, и Теренс в ответ рассмеялся и сказал, что говорят они обо всем.

Миссис Торнбери пошла с ними до ворот, она ступала по траве и гравию очень медленно и грациозно и все время говорила о цветах и птицах. Она рассказала, что после замужества дочери взялась изучать ботанику и что удивительно, сколько есть цветов, которых она никогда не видела, хотя всю жизнь прожила в сельской местности, а ей уже семьдесят два года. Хорошо иметь в старости какое-то занятие, не зависящее от других людей, сказала она. Однако вот что странно — старым себя никогда не ощущаешь. Она всегда чувствовала себя двадцатипятилетней — ни

днем старше или моложе, хотя, конечно, не стоит ожидать от других, что они с этим согласятся.

— Наверное, чудесно, когда тебе двадцать пять на самом деле, а не только в твоем воображении, — сказала она, переводя спокойный и ясный взгляд с Теренса на Рэчел. — Наверное, это так чудесно, так чудесно. — Она долго стояла у ворот и разговаривала с ними. Ей явно не хотелось, чтобы они уходили.

Глава 25

День был очень жаркий, такой жаркий, что звуки прибоя походили на вздохи усталого существа. Раскалились даже кирпичи на террасе под навесом, и воздух все плясал и плясал над короткой высохшей травой. От жары завяли в каменных чашах красные цветы, и белые — те, что всего несколько недель назад были такими гладкими и сочными, — съежились и пожелтели. Только жесткие и недружелюбные растения юга, чьи мясистые листья, казалось, заключали в себе шипы, по-прежнему стояли прямо, бросая вызов палящему светилу. Было слишком жарко, чтобы разговаривать, и не так легко было найти книгу, которая могла бы противостоять солнцу. Множество книг были начаты и отброшены, и

теперь Теренс читал вслух Мильтона, потому что, как он сказал, строки Мильтона объемны и вещественны, отчего не обязательно понимать их смысл, их можно просто слушать, их почти можно взять в руки.

– Живет невдалеке отсюда нимфа, —

читал он, —

Красавица, которой берега
Извилистого Северна подвластны.
Зовут ее Сабрина, и отцом
Ей был Локрин, сын и преемник Брута.[73]

Эти строки, несмотря на утверждение Теренса, казались перегруженными смыслом, — наверное, поэтому слушать их было мучительно; они звучали странно, значили не то, что обычно. Все равно, Рэчел не могла сосредоточить на них внимание, слова вроде «нимфы», «Локрина» и «Брута» вызывали у нее причудливые ассоциации, перед глазами вставали неприятные образы, не связанные со значением этих слов. Из-за жары и пляски воздуха сад тоже выглядел необычно:

---

[73] Примечания: 73
Джон Мильтон (1608–1674). Комос. (*Пер. Ю. Корнеева.*)

деревья казались то слишком далекими, то слишком близкими; кроме того, Рэчел была почти уверена, что у нее болит голова. Полной уверенности не было, поэтому она не знала, сказать ли об этом Теренсу сейчас или подождать, пока он дочитает. Она решила дождаться окончания строфы, повертеть головой, и если во всех положениях боль будет несомненной, то она очень спокойно скажет, что у нее болит голова.

Сабрина, мне
Внемли и явись скорее
Сюда из волн, где смоль своих кудрей
Рукою белой, как лилея,
Расчесываешь ты в тиши на дне.
Вод серебряных богиня,
К нам приди на помощь ныне
Поскорей![74]

Да, голова у нее болела, и болела в любом положении.

Рэчел села прямо и сказала, как собиралась:

— У меня болит голова, так что я пойду в дом.

Теренс, который был на середине следующей

---

[74] Примечания: 74
Джон Мильтон. Комос. (*Пер. Ю. Корнеева.*)

строки, сразу бросил книгу.

— У тебя болит голова? — переспросил он.

Несколько мгновений они сидели в молчании, глядя друг на друга и держась за руки. Теренса охватило ощущение беды, причинившее ему почти физическую боль; он как будто услышал со всех сторон звон разбитого стекла, которое осыпалось на землю, отчего он оказался на открытом пространстве. Но через две минуты, видя, что Рэчел не разделяет его тревогу, а лишь выглядит более томной и усталой, чем обычно, он пришел в себя, позвал Хелен и спросил у нее, как быть — у Рэчел болит голова.

Миссис Эмброуз не всполошилась, а лишь посоветовала племяннице лечь в постель и добавила, что голова должна заболеть, если так долго сидеть и гулять на жаре, но несколько часов в постели совершенно исцелят ее. Слова Хелен слишком легко успокоили Теренса — перед этим он так же легко впал в уныние от слов Рэчел. Казалось, у Хелен много общего с безжалостной рассудительностью природы, которая наказывает неразумность головной болью, поэтому на Хелен, как и на природу, можно положиться.

Рэчел отправилась в постель. Она лежала в темноте — как ей казалось, очень долго; но, про-

будившись наконец от какого-то призрачного сна и увидев, что окна перед ней по-прежнему светлы, вспомнила, как некоторое время назад легла в постель с головной болью и Хелен сказала, что боль пройдет, когда она проснется. Поэтому она предположила, что опять вполне здорова. Тем не менее стена ее комнаты была слишком белой и немного искривленной, вместо того чтобы быть прямой и плоской. То, что она увидела, переведя взгляд на окно, не успокоило ее. Штора надувалась воздухом и медленно опадала, елозя шнурком по полу и производя этим звук, который испугал Рэчел: ей показалось, что в комнате скребется какое-то животное. Она закрыла глаза; в голове пульсировало так сильно, что каждый удар как будто приходился по нерву, пронзая лоб коротким уколом боли. Может, эта боль уже другая, но то, что у нее болит голова, — это точно. Она перевернулась с боку на бок, надеясь, что прохлада простыней исцелит ее и, когда она опять откроет глаза, комната окажется такой, как обычно. После нескольких тщетных попыток Рэчел оставила все сомнения. Она поднялась с кровати и попробовала стоять, держась за медный шар на спинке. Сначала он был ледяным, но вскоре стал таким же горячим, как ее ладонь; боль в голове

и во всем теле, покачивание пола под ногами убедили ее в том, что стоять или ходить намного мучительнее, чем лежать, поэтому она вернулась в постель, но, хотя поначалу эта перемена принесла облегчение, вскоре лежать стало так же тягостно, как и стоять. Она смирилась с мыслью, что ей придется провести в постели весь день, и, устроив голову на подушке, попрощалась с радостями дня.

Через час или два зашла Хелен, говоря что-то ободряющее, но вдруг замолчала, секунду выглядела испуганной, а затем — неестественно спокойной. Значит, в том, что она больна, уже нет сомнений. Этот факт подтвердился, когда о нем узнал весь дом, когда в саду оборвалась чья-то песня и когда Мария, принесшая воду, проскользнула мимо кровати с опущенными глазами. Впереди было утро, а потом день, которые надо пережить; временами Рэчел пыталась вернуться в привычный мир, но вскоре поняла, что жар и недомогание отделили его пропастью, через которую невозможно перекинуть мост. Однажды дверь открылась, и в комнату вошли Хелен и смуглый низкорослый человек с очень волосатыми руками — это было главное, что отметила в нем Рэчел. Она хотела спать, и ее мучил жар,

а человек казался робким и подобострастным, поэтому она почти не утруждала себя ответами на его вопросы, хотя и понимала, что это врач. Через какое-то время дверь опять открылась, вошел Теренс, он ступал очень осторожно, и Рэчел заметила, что улыбка на его лице слишком неподвижна, чтобы быть естественной. Он сел и заговорил с ней, гладя ее руки, но вскоре ей стало неудобно лежать в одном положении, она отвернулась, а когда опять посмотрела, то рядом с ней сидела Хелен, а Теренса уже не было. Ничего, она увидит его завтра, когда все будет опять как всегда. Ее главным занятием в течение дня были попытки вспомнить стихотворные строки:

Внемли и явись скорее
Сюда из волн, где смоль своих кудрей
Рукою белой, как лилея,
Расчесываешь ты в тиши на дне, —

и эти усилия вызывали у нее досаду, потому что слова все время норовили встать не на свое место.

Второй день не слишком отличался от первого, только постель ее приобрела особую важность, а внешний мир, когда она пыталась думать о нем, казался очень далеким. Она почти видела

глянцевую, прохладную, полупрозрачную волну, вздымавшуюся в ногах кровати, и, пытаясь удержать мысли на ней, чувствовала освежающую прохладу. Весь день Хелен была где-то рядом, иногда она говорила, что пришло время обеда или время чаепития, но на следующий день все вехи исчезли, а внешний мир отдалился настолько, что звуки шагов по лестнице или этажом выше можно было соотнести с теми, кто их производил, только величайшим напряжением памяти. Воспоминания о том, что она чувствовала, делала или думала три дня назад, совершенно стерлись. С другой стороны, каждый предмет в комнате, сама кровать, собственное тело с его различными частями и разнообразными ощущениями каждый день приобретали все большую важность. Она была полностью отрезана от остального мира и не способна общаться с ним, оставшись наедине со своим телом.

Так проходил час за часом, и утро все никак не кончалось, а потом вдруг за несколько минут яркий дневной свет сменялся ночной непроглядностью. Однажды вечером, когда в комнате было очень сумрачно — то ли потому, что был вечер, то ли из-за штор, — Хелен сказала ей:

— Кое-кто посидит здесь сегодня. Ты не про-

тив?

Открыв глаза, Рэчел увидела не только Хелен, но еще сестру милосердия в очках, чье лицо что-то смутно напомнило ей. Она видела ее в часовне.

— Сестра Макиннис, — сообщила Хелен, и сестра улыбнулась — натужно, как все, — и сказала, что видела немного людей, пугавшихся ее. Постояв, они ушли, а Рэчел повернула голову на подушке и проснулась посреди одной из бескрайних ночей, которые не достигают конца суток в двенадцать часов, но продолжают накручивать двузначные числа — тринадцать, четырнадцать, переваливают в третий десяток, потом в четвертый, потом в пятый. Она поняла, что ничего не может помешать ночам длиться столько, сколько им захочется. На большом расстоянии от нее сидела, склонив голову, пожилая женщина; Рэчел чуть приподнялась и с тревогой увидела, что та играет в карты при свете свечи, стоящей на газете. В этой картине было что-то необъяснимо зловещее, Рэчел испугалась и закричала, и тогда женщина положила карты и пошла через комнату, загораживая свечу рукой. Она подходила все ближе и ближе, преодолевая огромное пространство, и, наконец, остановилась над головой

Рэчел и сказала:

— Не спите? Давайте я устрою вас поудобнее.

Она поставила свечу и стала расправлять постель. Рэчел пришло в голову, что у женщины, всю ночь игравшей в карты в пещере, должны быть очень холодные руки, и она съежилась от их прикосновения.

— Ах ты, а нога-то куда вылезла! — сказала женщина, подтыкая простыни. Рэчел не поняла, что это ее нога. — Постарайтесь лежать спокойно, — продолжала женщина, — потому что если вы будете лежать спокойно, то жар будет меньше, а если будете крутиться, жар усилится, а нам совсем ни к чему, чтобы жар стал больше, чем он есть. — Она стояла и смотрела сверху вниз на Рэчел — очень, очень долго. — Чем спокойнее вы будете лежать, тем скорее поправитесь, — опять произнесла она.

Рэчел не сводила глаз с остроконечной тени на потолке, изо всех сил желая, чтобы эта тень сдвинулась с места. Но тень и женщина как будто навеки нависли над ней. Она закрыла глаза. Когда она открыла их, уже прошло несколько часов, однако ночь все еще длилась. Женщина по-прежнему играла в карты, только теперь она сидела в туннеле под рекой, а свеча стояла в маленькой ар-

ке в стене над ней. Рэчел крикнула: «Теренс!» — и остроконечная тень опять двинулась по потолку, и женщина медленно-медленно встала, и обе — женщина и тень — опять замерли над ней.

— Вас так же трудно удержать в постели, как мистера Форреста, — сказала женщина, — а он был таким высоким мужчиной.

Чтобы избавиться от этого ужасного неподвижного зрелища, Рэчел опять закрыла глаза, и оказалось, что она идет по туннелю под Темзой, в арках по бокам сидят уродливые низкорослые женщины и играют в карты, а кирпичи стен источают влагу, которая собирается в капли и стекает вниз. Но через какое-то время старухи карлицы превратились в Хелен и сестру Макиннис — они стояли у окна и шептались, шептались без конца.

Тем временем за пределами ее комнаты звуки, движения, жизнь людей в доме продолжались в обыкновенном свете солнца, и череда часов тянулась, как всегда. Когда на первый день болезни, а это был вторник, стало понятно, что Рэчел не поправится до пятницы, уж слишком высокая у нее была температура, Теренса охватило негодование — не на нее, а на внешнюю силу, которая разделяла их. Он подсчитывал, сколько дней

будет наверняка для них испорчено. Радость и досада странно смешивались в его душе, когда он понимал, что впервые в жизни так зависит от другого человека, что его счастье так связано с этой девушкой. Дни проходили зря, тратились на какие-то незначительные, несущественные занятия, поскольку после трех недель такого близкого и бурного общения обычные дела казались нестерпимо плоскими и лишенными смысла. Наименее невыносимыми были разговоры с Сент-Джоном о болезни Рэчел, обсуждения каждого симптома, того, что он означает, а когда тема исчерпывалась — обсуждение болезней вообще, их причин и средств исцеления от них.

Дважды в день он приходил посидеть с Рэчел, и дважды в день происходило одно и то же. Войдя в ее комнату — где было не слишком темно, везде, как обычно, лежали ее ноты, книги и письма, — он сразу чувствовал подъем настроения. А посмотрев на Рэчел, он успокаивался совершенно. Она не выглядела тяжелобольной. Теренс садился у кровати и рассказывал, чем он занимался, говоря своим естественным голосом, только тише, чем обычно. Но через пять минут он погружался в глубочайшее уныние. Рэчел была другая; у него не получалось восстановить

их прежние отношения; он знал, что это глупо, но не мог удержаться от попыток вернуть ее, заставить ее вспомнить — и когда эти попытки проваливались, он приходил в отчаяние. Каждый раз, покидая комнату, он заключал, что видеть ее хуже, чем не видеть, но постепенно, с течением дня, желание видеть ее возвращалось и становилось почти непреодолимым.

В четверг утром, когда Теренс зашел в ее комнату, он, как обычно, почувствовал прилив уверенности. Рэчел повернулась и попыталась вспомнить некоторые факты о мире, удаленном от нее на миллионы миль.

— Ты пришел из гостиницы? — спросила она.

— Нет, я пока живу здесь, — сказал Теренс. — Мы только что пообедали, — продолжил он. — А еще пришла почта. Там целая пачка писем тебе — из Англии.

Он ожидал услышать, что она хочет просмотреть их, но она некоторое время ничего не говорила, а затем вдруг произнесла:

— Видишь, вон они, скатываются с холма.

— Скатываются, Рэчел? О чем ты? Ничего ниоткуда не скатывается.

— Старуха с ножом, — ответила она, обращаясь не к Теренсу и глядя мимо него. Она смотрела

на вазу, стоявшую на полке, поэтому он встал и убрал ее.

— Теперь они не смогут скатываться, — сказал он бодро. Однако Рэчел лежала, уставившись в ту же точку, и не обращала на него никакого внимания, хотя он говорил с ней. Ему стало так тоскливо, что он больше не мог сидеть рядом с ней и пошел бродить, пока не обнаружил Сент-Джона, который читал на веранде «Таймс». Тот терпеливо отложил газету и выслушал все, что Теренс хотел сказать о горячечном бреде. Он был очень терпелив с Теренсом. Он обращался с ним, как с ребенком.

В пятницу стало ясно, что болезнь — не кратковременное недомогание, которое может пройти за два-три дня; это была настоящая болезнь, требовавшая серьезной организации и сосредоточившая на себе внимание не менее пяти человек, однако волноваться причин не было. Просто она будет длиться не пять дней, а десять. Родригес как будто бы сказал, что разновидности этой болезни хорошо известны. Родригес считал, что близкие воспринимают болезнь с излишним беспокойством. Его визиты всегда сопровождались демонстрацией уверенности, а в беседах с Теренсом он отметал взволнованные и мелочные

расспросы красноречивым жестом, который, по-видимому, означал, что они все преувеличивают серьезность положения. Почему-то он всегда отказывался сесть.

— Высокая температура… — сказал он, украдкой оглядывая комнату, как будто мебель и вышивка Хелен интересовали его больше, чем что-либо. — В этом климате следует ожидать высокой температуры. Она не должна вас тревожить. Мы ориентируемся по пульсу (он похлопал себя по волосатому запястью), а пульс держится превосходный.

Засим он поклонился и исчез. Разговор велся по-французски, что было затруднительно для обеих сторон, — это, оптимизм Родригеса и то, что Теренс понаслышке уважал медицинскую профессию, настраивало его менее критически, чем если бы он встретил этого врача в других обстоятельствах. Бессознательно он принял сторону Родригеса против Хелен, которая, судя по всему, испытывала к нему беспричинное предубеждение.

В субботу стало очевидно, что дневной режим следует организовать строже, чем раньше. Сент-Джон предложил свои услуги; он сказал, что ему нечего делать и он не прочь проводить дни на

вилле, если сможет принести пользу. Как будто собираясь в трудоемкую экспедицию, они распределили между собой обязанности, составили подробное расписание на большом листе бумаги и прикололи его к двери гостиной. До города было довольно далеко, и им приходилось с большим трудом добывать в самых неожиданных местах всякие редкие вещи, что требовало напряженной работы мысли; они не предполагали, что предпринимать вроде бы простые, но практические действия будет так трудно — как будто их, огромных великанов, попросили наклониться к самой земле и уложить в узор мельчайшие песчинки.

Доставлять все необходимое из города было обязанностью Сент-Джона, поэтому Теренс долгими часами сидел один в гостиной, у раскрытой двери, прислушиваясь ко всем движениям наверху и ожидая, не позовет ли его Хелен. Он всегда забывал опустить шторы и сидел в ярком солнечном свете, который беспокоил его, только сам он не осознавал этого. Комната была очень жесткой и неуютной. На стульях лежали шляпы, на полках среди книг стояли пузырьки с лекарствами. Он пытался читать, но хорошие книги были слишком хороши, а плохие — слишком плохи, и единственным, что он мог вытерпеть,

была газета, которая своими новостями из Лондона, сообщениями о людях, задававших званые ужины и читавших речи, создавала хоть какой-то реальный фон тому, что без этого было бы сплошным кошмаром. Потом, когда он сосредоточивал внимание на печатном тексте, мягко звучал зов Хелен, или миссис Чейли приносила что-то необходимое наверху, он быстро взбегал по лестнице в носках и ставил кувшин на столик у двери спальни, на котором теснилось уже множество других кувшинов и чашек. Если ему удавалось залучить на секунду внимание Хелен, он спрашивал: «Как она?» — и получал один из двух ответов: «Очень беспокойна» или: «В целом, кажется, поспокойнее».

Как обычно, она будто что-то умалчивала, и Теренс чувствовал, что между ним и ею существует разлад, что, не говоря ни слова, они постоянно спорят друг с другом. Но она была слишком занята, слишком всегда торопилась, чтобы разговаривать.

Напряженное вслушивание, необходимость отдавать распоряжения и наблюдать за тем, чтобы все исполнялось как надо, поглощали все силы Теренса. Он был участником этого долгого однообразного кошмара и не пытался думать,

к чему это ведет. Рэчел больна и все; он должен заботиться о молоке и лекарствах, чтобы все, что нужно, было на месте и вовремя. Мысли остановились, сама жизнь замерла. Воскресенье было гораздо хуже субботы — лишь оттого, что напряжение понемногу нарастало с каждым днем, хотя никаких других перемен не было. Отдельные ощущения удовольствия, интереса, досады, которые, сочетаясь, составляют обыкновенный день, теперь слились в одно затянувшееся чувство мерзкой тоски и глубочайшей скуки. Ему не было так скучно с тех пор, как его запирали одного в детской. Нынешний образ Рэчел — безразличной, погруженной в полузабытье — почти перекрыл воспоминание о том, какой она была давным-давно; Теренсу почти не верилось, что когда-то они могли быть счастливы, собирались пожениться — что они тогда чувствовали, что должны были чувствовать? Неясность окутывала всё и всех вокруг, и Теренс как будто сквозь дымку видел Сент-Джона, Ридли, людей, забредавших из гостиницы узнать, как дела. Дымка не скрывала только двух человек — Хелен и Родригеса, потому что они могли сказать что-то определенное о Рэчел.

Тем не менее дни текли своим чередом. В определенные часы люди сходились в столовой

и беседовали за столом о ничего не значащих предметах. Как правило, начало и поддержание беседы брал на себя Сент-Джон.

— Я нашел способ, как заставить Санчо миновать белый дом, — сказал Сент-Джон в воскресенье за обедом. — Надо пошуршать комком бумаги у него над ухом — он делает рывок на сотню ярдов, но потом идет вполне прилично.

— Да, но ему нужно зерно. Проследил бы ты за этим.

— Не думаю, что они хорошо его кормят, и Анджело на вид — грязный негодяй.

Надолго воцарилось молчание. Ридли пробормотал себе под нос несколько стихотворных строк и заметил — будто чтобы скрыть это:

— Сегодня очень жарко.

— На два градуса жарче вчерашнего, — сказал Сент-Джон. — Интересно, откуда привозят эти орехи. — Он взял с блюда орех и покрутил его в руке, рассматривая с любопытством.

— Из Лондона, полагаю, — сказал Теренс, тоже взглянув на орех.

— Знающий деловой человек мог бы в два счета сделать тут состояние, — продолжил Сент-Джон. — По-видимому, жара творит что-то не то с человеческими мозгами. Даже англичане

становятся странными. Во всяком случае, иметь с ними дело невозможно. Сегодня утром меня продержали в аптеке три четверти часа — безо всякой причины.

Опять последовала длинная пауза. Затем Ридли спросил:

— Родригес вроде спокоен?

— Вполне, — с уверенностью сказал Теренс. — Болезнь должна пройти свои стадии.

Ридли в ответ глубоко вздохнул. Ему было всех искренне жаль, но в то же время он сильно тосковал по Хелен и был слегка удручен постоянным присутствием двоих молодых людей.

Они вернулись в гостиную.

— Слушай, Хёрст, — сказал Теренс, — еще два часа делать совершенно нечего. — Он сверился с расписанием на двери. — Иди приляг. А я побуду здесь. Чейли посидит с Рэчел, пока Хелен обедает.

Для Хёрста было немалой жертвой уйти, не дождавшись выхода Хелен. Эти краткие встречи с ней были единственным облегчением неудобства и скуки, часто они возмещали все тяготы дня, хотя она могла и не сказать ни слова. Однако, поскольку у них было общее задание, Хёрст решил подчиниться.

Хелен сошла вниз с большим опозданием. Она выглядела, как человек, долго просидевший в темноте. Лицо ее было бледным и осунувшимся, а выражение глаз — встревоженным, но решительным. Она быстро и с видимым безразличием съела обед, отмела все вопросы Теренса и, наконец, как будто он еще ничего не говорил, слегка сердито посмотрела на него и сказала:

— Так дальше нельзя, Теренс. Либо вы найдете другого врача, либо скажите Родригесу, чтобы он больше не приходил, и я стану обходиться сама. Пусть он сколько угодно говорит, что Рэчел становится лучше, — ей не лучше. Ей хуже.

Теренс пережил страшный удар — такой же, как от слов Рэчел «У меня болит голова». Он попытался успокоить себя доводом о том, что Хелен переутомлена, кроме того, его не оставляло ощущение, что она противостоит ему в каком-то споре.

— Вы думаете, она в опасности? — спросил он.

— Никто не выдержит много дней в таком состоянии, — ответила Хелен. Она смотрела на него и говорила так, будто кем-то возмущена.

— Хорошо, я сегодня же поговорю с Родригесом.

Хелен сразу ушла наверх.

Теперь ничто не могло смягчить тревогу Теренса. Он не мог ни читать, ни спокойно сидеть, его чувство безопасности было поколеблено — хотя он и решил, что Хелен преувеличивает, а Рэчел не так уж тяжело больна. Но он хотел, чтобы это мнение подтвердил кто-то третий.

Как только Родригес спустился от Рэчел, Теренс спросил с напором:

— Ну, как она? Вы не считаете, что ей хуже?

— Волноваться нет причин, говорю вам — нету. — Родригес ответил на своем жутком французском, вынужденно улыбаясь и делая мелкие движения, как будто хотел улизнуть.

Хьюит твердо стоял между ним и дверью. Он решил сам разобраться, что это за человек. Доверие к Родригесу испарилось, когда Теренс присмотрелся и увидел, как он ничтожен, неопрятен, вертляв, как неумно и волосато его лицо. Странно, что все это не было замечено раньше.

— Вы, конечно, не будете возражать, если мы попросим вас проконсультироваться с другим врачом?

Услышав это, человечек пришел в ярость.

— А! — вскричал он. — Вы не доверяете мне? Вы не согласны с моим лечением? Вы хотите, чтобы я отказался от больной?

— Отнюдь нет, — ответил Теренс. — Но при такой серьезной болезни…

Родригес пожал плечами:

— Она не серьезная, уверяю вас. Вы слишком волнуетесь. Мадемуазель больна не тяжело, а я все-таки врач. Конечно, мадам напугана. — Он ухмыльнулся. — Я это прекрасно понимаю.

— Фамилия и адрес врача, — не отступал Теренс.

— Другого врача нет, — насупившись, сказал Родригес. — Все доверяют мне. Смотрите! Я покажу вам!

Он вытащил пачку старых писем и стал перебирать их, как будто отыскивая то, которое опровергнет подозрения Теренса. При этом он начал рассказывать историю об английском лорде, доверявшем ему, — это знатный английский лорд, чью фамилию он, к сожалению, забыл.

— Здесь нет другого врача, — заключил он, все еще перебирая письма.

— Ничего, — сухо сказал Теренс. — Я сам наведу справки.

Родригес положил письма обратно в карман.

— Прекрасно, — проговорил он. — Я не возражаю.

Он поднял брови и пожал плечами, как бы

повторяя, что болезнь принимается слишком всерьез и что другого врача нет, а затем шмыгнул прочь, дав понять Теренсу, что чувствует питаемое к нему недоверие и затаил злобу.

После этого Теренс уже не мог оставаться внизу. Он поднялся, постучал в комнату Рэчел и спросил у Хелен, нельзя ли ему несколько минут побыть с больной. Вчера он ее не навещал. Хелен не возразила, отошла к окну и села за стоявший около него стол.

Теренс сел рядом с кроватью. Лицо Рэчел изменилось. Она выглядела так, будто была целиком сосредоточена на усилии остаться в живых. Ее губы искривились, щеки ввалились и пылали, но отнюдь не здоровым румянцем. Глаза были приоткрыты, но виднелись только нижние части белков — она не смотрела, просто у нее не было сил закрыть их до конца. Когда Теренс поцеловал ее, она все-таки открыла глаза полностью. Но увидела только старуху, ножом отрезающую голову у мужчины.

— Она упала! — прошептала Рэчел. Затем повернулась к Теренсу и взволнованно спросила что-то о человеке с мулами, но он не понял вопроса. — Почему он не приходит? Почему он не приходит? — повторяла она. Теренс ужаснулся

при мысли о том, что такую болезнь лечит этот грязный человечек, он безотчетно повернулся к Хелен, но она что-то делала за столом у окна и, видимо, не понимала, какое потрясение он переживает. Теренс встал, чтобы уйти, не в силах больше это слышать, от негодования и отчаяния сердце его билось часто и болезненно. Когда он проходил мимо Хелен, она попросила его тем же усталым, неестественным, но решительным голосом, чтобы он принес еще льда и велел наполнить кувшин свежим молоком.

Выполнив эти указания, он отправился искать Хёрста. Усталый, измученный жарой, Сент-Джон спал на кровати, но Теренс без стеснения разбудил его.

— Хелен считает, что ей хуже, — сказал он. — Нет сомнений, что она опасно больна. Родригес бесполезен. Надо найти другого врача.

— Но ведь другого врача нет, — сонно проговорил Хёрст, садясь и протирая глаза.

— Не валяй дурака! — воскликнул Теренс. — Другой врач, безусловно, есть, а если нет, то тебе придется найти его. Это надо было сделать давно. Я иду седлать лошадь. — Он не мог усидеть на одном месте.

Не прошло и десяти минут, как Сент-Джон уже

скакал по палящей жаре в город на поиски врача; ему было велено найти его и привезти, даже если для этого понадобится специальный поезд.

— Это надо было сделать давно! — гневно повторил Хьюит.

Вернувшись в гостиную, он нашел там миссис Флашинг. Она пришла без доклада, как и все в эти дни, через кухню или сад, и, держась, по обыкновению, очень прямо, стояла посреди комнаты.

— Ей лучше? — коротко спросила миссис Флашинг. Они даже не попытались поздороваться.

— Нет, — сказал Теренс. — Скорее, хуже.

Миссис Флашинг минуту-другую как будто о чем-то размышляла, глядя Теренсу в глаза.

— Вот что я вам скажу, — начала она, нервно подергиваясь. — На седьмой день всегда начинаются тревоги. Просто вы сидите здесь сами с собой и терзаетесь. Вам кажется, что она плоха, но любой, кто посмотрит на нее свежим взглядом, скажет, что ей лучше. У мистера Эллиота была лихорадка, но теперь он поправился, — выпалила она. — Она подхватила это не в нашей поездке. Что особенного — несколько дней жар? У моего брата однажды был жар двадцать шесть дней. А через неделю-другую он уже был на ногах. Мы давали ему только молоко и аррорут…

Тут вошла миссис Чейли с посланием.

— Меня зовут наверх, — сказал Теренс.

— Увидите, ей полегчает! — крикнула миссис Флашинг ему вдогонку. Она страстно хотела убедить Теренса и, когда он вышел, ничего ей не сказав, почувствовала неудовлетворенность и беспокойство; оставаться ей не хотелось, но идти обратно было невыносимо. Она стала бродить из комнаты в комнату, ища с кем бы поговорить, но везде было пусто.

Теренс поднялся наверх и остановился в дверном проеме, чтобы получить указания от Хелен; он смотрел на Рэчел, но не пытался заговорить с ней. Она, хотя и туманно, осознавала присутствие Теренса, и оно беспокоило ее, поэтому она повернулась к нему спиной.

Уже шесть дней она не замечала внешнего мира, поскольку все ее внимание требовалось для того, чтобы следить за жаркими, красными, стремительными видениями, непрерывно проходившими перед ее глазами. Она знала, что для нее исключительно важно созерцать эти видения и улавливать их смысл, но каждый раз не успевала расслышать или разглядеть именно то, что объяснило бы их. Поэтому лица, которые время от времени оказывались очень

близко от нее — лица Хелен, сиделки, Теренса, врача, — беспокоили ее, отвлекали внимание: она боялась упустить разгадку. Однако в конце четвертого дня она вдруг не смогла отделить лицо Хелен от видений: когда та наклонилась над кроватью, ее рот открылся, и она стала бормотать что-то непонятное, как все остальные. Все видения были соединены каким-то сюжетом, каким-то приключением, каким-то бегством. Их герои беспрестанно совершали все новые и новые, всегда непонятные поступки, за всем этим стояла какая-то причина, которую Рэчел обязана была уловить. Они оказывались то среди деревьев и дикарей, то в море, то на верхушках огромных башен; они то прыгали, то летали. Но каждый раз, когда приближалась кульминация, что-то неизменно ускользало от ее понимания, и все приходилось начинать сначала. Жара была удушающей. Наконец лица ушли вдаль, а Рэчел упала в глубокий омут с вязкой водой, которая вскоре сомкнулась над ее головой. Она не видела и не слышала ничего, кроме глухого рокота — шума волн, несущихся где-то высоко над ней. Хотя все ее мучители думали, что она умерла, она не умерла, а лишь свернулась калачиком на дне моря. Там она и лежала, иногда видя тьму,

иногда — свет, и то и дело кто-то переворачивал ее, лежащую на морском дне.

Проведя несколько часов на солнцепеке в пререканиях с уклончивыми и болтливыми туземцами, Сент-Джон вытянул из них сведения о том, что другой врач все-таки существует, это француз, который сейчас отдыхает в горах. Найти его, говорили они, совершенно невозможно. Зная эту страну, Сент-Джон сомневался, что телеграмма может быть как послана, так и получена, но, уменьшив расстояние до городка в горах, где находился врач, с сотни миль до тридцати и наняв экипаж с лошадьми, он, не раздумывая, отправился за ним лично. Он смог найти врача и в конце концов уговорил его оставить молодую жену и без промедления ехать к больной Рэчел. Они добрались до виллы во вторник, к полудню.

Теренс вышел встретить их, и Сент-Джон был поражен тем, как он похудел за это время; кроме того, Теренс был очень бледен, и во взгляде его появилось что-то странное. Однако отрывистая речь и мрачноватая властность доктора Лесажа произвели на обоих благоприятное впечатление, хотя было ясно, что врач сильно раздражен всей этой историей. Спустившись вниз, он отдал категоричные распоряжения, но ему не пришло в

голову высказывать свое мнение — либо из-за присутствия Родригеса, который был одновременно подобострастен и ядовит, либо в силу уверенности, что все и так уже всё знают.

— Конечно, — сказал он, пожав плечами, когда Теренс спросил его, тяжело ли больна Рэчел.

И Теренс, и Сент-Джон почувствовали некоторое облегчение, когда доктор Лесаж ушел, оставив ясные указания и пообещав повторить визит через несколько часов; к сожалению, приободрившись, они стали говорить больше, чем обычно, а это привело к ссоре. Они повздорили из-за дороги, Портсмутской дороги. Сент-Джон сказал, что она покрыта щебнем там, где проходит мимо Хиндхеда, а Теренс знал так же точно, как свое имя, что в том месте она щебнем не покрыта. Во время спора они наговорили друг другу резкостей, и ужин закончился в молчании, не считая редких и приглушенных замечаний Ридли.

Когда стемнело и внесли лампы, Теренс уже был не в силах сдерживать свое раздражение. Сент-Джон отправился спать совершенно измученным, пожелав Теренсу спокойной ночи гораздо ласковее, чем обычно, — из-за ссоры, а Ридли удалился к своим книгам. Оставшись

один, Теренс стал расхаживать по комнате. Он остановился у раскрытого окна.

В городе, лежавшем внизу, один за другим гасли огни, в саду было тихо и прохладно, поэтому Теренс вышел на террасу. Он стоял в темноте, видя в слабом сером свете лишь очертания деревьев, и тут его охватило желание убежать, покончить со всеми этими страданиями, забыть, что Рэчел больна. Он позволил себе погрузиться в забвение. Как будто ветер, яростно дувший без перерыва, вдруг затих, и тревоги, напряжение, страхи, мучившие его, исчезли. Он стоял в неподвижном воздухе, один на своем маленьком островке, неуязвимый для любой боли. Не имело значения, больна Рэчел или нет; не имело значения, врозь они или вместе; ничто не имело значения, ничто… На далекий берег набегали волны, ветви шевелил мягкий ветерок, окутывавший Теренса покоем и безмятежностью, тьмой и пустотой. Ясно, что мир борьбы, тревог и страхов — не настоящий мир, настоящий мир — этот, лежащий под поверхностью, поэтому, что бы ни случилось, бояться нечего. Тишина и покой будто обернули его тело прохладным покрывалом, утихомирили боль в каждом нерве, его душа опять расправилась и вернула свой привычный облик.

Но через некоторое время из дома донесся звук, который пробудил его, он бессознательно повернулся и пошел в гостиную. Вид освещенной комнаты так резко вернул все забытое, что Теренс замер на несколько мгновений не в силах пошевелиться. Он вспомнил все: который теперь час, даже до минут, в каком положении дела и что ожидается. Он проклинал себя за то, что хотя бы на секунду поверил в то, чего нет. Теперь пережить ночь будет еще труднее, чем всегда.

Не в силах оставаться в пустой гостиной, Теренс вышел и сел на ступеньку посередине лестницы в комнату Рэчел. Ему очень хотелось с кем-нибудь поговорить, но Хёрст спал, и Ридли тоже; из комнаты Рэчел не доносилось ни звука. Во всем доме было только слышно, как Чейли хлопочет на кухне. Наконец на лестнице над головой Теренса зашуршало, и сестра Макиннис вышла, застегивая манжеты: ей предстояло ночное дежурство. Теренс поднялся и остановил ее. Он редко говорил с ней, но она могла утвердить надежду, которая все еще жила в нем, — что Рэчел больна не тяжело. Он сообщил ей шепотом о приходе доктора Лесажа и что тот сказал.

— А теперь, сестра, — прошептал он, — пожалуйста, скажите ваше мнение. Вы считаете, что

она очень тяжело больна? Ей грозит опасность?

— Доктор сказал… — начала она.

— Да-да, но мне нужно ваше мнение. Вы много видели подобных случаев?

— Я не могу сказать вам больше, чем доктор Лесаж, мистер Хьюит, — ответила она осторожно, как будто ее слова могли быть использованы против нее. — Случай серьезный, но вы можете быть вполне уверены, что мы делаем для мисс Винрэс все возможное. — В ее голосе слышалось профессиональное самодовольство. Но она, по-видимому, поняла, что не удовлетворила молодого человека, который все так же загораживал ей дорогу: она слегка отступила в сторону на ступеньке и посмотрела в окно, в котором были видны луна и море. — Если вы спрашиваете меня, — начала она странно-таинственным голосом, — то я вообще не люблю май.

— Май? — переспросил Теренс.

— Возможно, это и выдумки, но я не люблю, когда кто-то заболевает в мае, — продолжила она. — В мае все идет как-то не так. Вероятно, из-за луны. Говорят, она влияет на мозг, вы не слышали об этом, сэр?

Он посмотрел на нее, но не смог ответить; под прямым взглядом она, как и все остальные,

съежилась и показалась бесполезной, злонамеренной, недостойной доверия.

Она проскользнула мимо него и удалилась.

Он пошел в свою комнату, но не мог даже раздеться. Он долго ходил из стороны в сторону, а потом, высунувшись в окно, взирал на землю, которая лежала темной массой на фоне более светлой синевы неба. Со страхом и отвращением он смотрел на стройные черные кипарисы, которые еще можно было разглядеть в саду, и слушал незнакомые скрипучие звуки, свидетельствовавшие о том, что земля еще горячая. Все, что он видел и слышал, казалось зловещим, полным враждебности, дурных предзнаменований, и как будто принимало участие в заговоре против Теренса — вместе с местными жителями, сиделкой, врачом и страшной силой самой болезни. Они как будто объединили свои усилия, чтобы извлечь из него как можно больше страданий. Он не мог привыкнуть к своей боли — это было для него открытием. Раньше он не понимал, что под поверхностью любого существования, каждого дня человеческой жизни таится страдание; до поры до времени оно спит, но всегда готово пробудиться и поглотить свои жертвы; он хорошо представлял себе это страдание — как огонь,

окружающий все сущее, лижущий его края, пожирающий людей. Впервые он осознал смысл слов, которые всегда казались ему пустыми: борьба за жизнь, тяготы жизни. Теперь он знал по себе, что жизнь тяжела и полна страданий. Он смотрел на разбросанные огни внизу и думал об Артуре и Сьюзен, об Эвелин и Перротте, о том, что они пускаются на риск в полном неведении и своим счастьем открывают свои души для такого же страдания. Как они осмеливаются любить друг друга, удивлялся он; как он сам осмеливался жить так, как жил раньше — стремительно и беззаботно, ни на чем подолгу не задерживаясь, любя Рэчел так, как он ее любил? Он больше никогда не почувствует себя в безопасности, никогда не поверит в прочность жизни, никогда не забудет, какие бездны страдания лежат под тонким счастьем, ощущением благополучия и надежности. Когда он оглядывался назад, ему казалось, что их счастье никогда не было так велико, как сейчас велика его боль. В их счастье всегда было что-то несовершенное, им всегда хотелось еще чего-то — недоступного для них. Счастье было отрывочным и неполным — потому что они были слишком молоды и еще мало понимали жизнь.

Отсветы его свечи дрожали на деревьях за ок-

ном; он смотрел на ветку, качавшуюся в темноте, и представлял весь внешний мир; он думал об огромной реке и огромном лесе, о широчайших просторах суши и водных равнинах, окутывавших землю; громадное небо круто поднималось от моря, а между небом и морем перетекали массы воздуха. Как необъятны и темны ночные пространства, открытые всем ветрам; странно подумать, как мало там человеческих поселений, как ничтожны пятнышки света, похожие на одиноких светляков, как разбросаны они среди первозданных складок земли. И в этих поселениях живут маленькие люди, крошечные мужчины и женщины. Если задуматься, это нелепо — сидеть здесь, в этой комнатенке, терзаться заботой и страдать. Разве что-то имеет значение? Рэчел, крошечное существо, лежит больная этажом ниже, а он сидит тут и страдает из-за нее. Близость их тел в громадной Вселенной, их малость казались ему нелепыми и смехотворными. Ничто не имеет значения, повторил он, у людей нет ни власти над чем-либо, ни надежды. Он облокотился на подоконник и думал, думал, почти утратив ощущение времени и места. И все-таки, хотя он был убежден, что все это нелепо, смехотворно, что люди малы и будущее их безнадежно, его не

оставляло чувство, что эти мысли составляют часть жизни, которую они с Рэчел проживут вместе.

Возможно, благодаря смене врача на следующий день Рэчел выглядела значительно лучше. Хелен была по-прежнему очень бледна и измучена, но в ее взгляде как будто слегка рассеялись тучи, которые затягивали его все последнее время.

— Она заговорила со мной, — сама начала Хелен. — Она спросила, какой сегодня день недели, в полном сознании.

Затем вдруг, без всякого предвестья и видимой причины, в ее глазах появились слезы и потекли ровными струйками по щекам. Она плакала, почти не изменив выражения лица и не пытаясь сдержаться, будто не сознавала, что плачет. Несмотря на облегчение, которое принесли ее слова, ее вид привел Теренса в смятение: неужели все средства исчерпаны? Неужели власть этой болезни безгранична? Неужели перед ней все отступает? Хелен всегда казалась ему сильной и решительной, а теперь она — как ребенок. Он обнял ее, и она по-детски прижалась к нему и стала тихо плакать у него на плече. Затем она взяла себя в руки и вытерла слезы; глупо так себя вести,

сказала она; и повторила: очень глупо, когда нет сомнений, что Рэчел стало лучше. Она попросила у Теренса прощения за такую неразумность. Она остановилась у двери, вернулась и, ничего не говоря, поцеловала его.

В этот день Рэчел действительно сознавала происходящее вокруг. Она поднялась на поверхность темного и вязкого омута и качалась на волне — вверх-вниз, вверх-вниз; у нее не осталось ни капли собственной воли; она лежала на волне, чувствуя небольшую боль, но главным образом — слабость. Волна сменилась склоном горы. Тело Рэчел теперь было сугробом тающего снега, над которым ее колени поднимались, как высокие остроконечные скалы из голой кости. Да, она видела Хелен, видела свою комнату, но все стало очень бледным и полупрозрачным. Иногда она могла видеть сквозь стену напротив. Порой, когда Хелен отходила, она удалялась на такое огромное расстояние, что Рэчел едва могла разглядеть ее. А еще комната приобрела странную способность расширяться, и, хотя Рэчел напрягала свой голос изо всех сил, бросала его как можно дальше, так что иногда он превращался в птицу и улетал, — все равно она сомневалась, достиг ли он того, к кому она обращалась. Иногда время будто оста-

навливалось или проваливалось куда-то между соседними мгновениями, Рэчел даже видела эти провалы; бывало, проходил целый час, пока Хелен поднимала руку, замирая между отдельными рывками, и наливала лекарство. Фигура Хелен, наклонявшейся, чтобы приподнять голову Рэчел, казалась гигантской, она обрушивалась, как падающий потолок. Но дольше всего Рэчел просто лежала, ощущая свое тело на кровати, как на поверхности воды, забившись сознанием в какой-нибудь отдаленный уголок этого тела или вырвавшись из него и паря по комнате. Все, на что надо было смотреть, требовало усилий, но больше всего усилий уходило на Теренса, потому что он заставлял ее сознание соединиться с телом в стремлении что-то вспомнить. Она не хотела вспоминать; Рэчел тревожило, когда люди нарушали ее одиночество; она хотела быть одна. Это было ее единственное желание.

Хотя Хелен и расплакалась, проблеск надежды в ней Теренс воспринял с с ощущением, похожим на чувство победы: в противостоянии между ними она первая сделала шаг к признанию своей неправоты. В тот день он ждал, когда спустится доктор Лесаж, с явным волнением, но и с подспудной уверенностью, что со временем он всех

заставит признать их неправоту.

Как всегда, доктор Лесаж был угрюм и отвечал очень скупо. На вопрос Теренса: «Ей лучше?» — он сказал, странно посмотрев: «У нее есть шанс выжить».

Дверь закрылась, Теренс отошел к окну и прислонился лбом к стеклу.

— Рэчел, — сказал он сам себе. — Шанс выжить. Рэчел.

Как они могут говорить такое о Рэчел? Разве вчера кто-нибудь всерьез верил, что Рэчел умирает? Их помолвке всего четыре недели. Две недели назад она была совершенно здорова. Как могли четырнадцать дней довести ее до такого состояния? Он не мог осознать, что значит фраза: «У нее есть шанс выжить» — ведь они с ней помолвлены. Он повернулся, все так же окутанный сумрачным туманом, и пошел к двери. Внезапно он все увидел и понял. Он увидел комнату, сад, качающиеся деревья — все это может существовать и без нее, она может умереть. Впервые за время ее болезни он точно вспомнил, как она выглядела раньше и как они друг к другу относились. Теперь острое счастье от ее близости смешивалось с еще более острой тревогой, которой он раньше не ощущал. Он не может допустить ее смерти, он не может

без нее жить. Но, после недолгого сопротивления, завеса опять все скрыла, и он перестал что-либо ясно понимать и чувствовать. Все продолжалось — по-прежнему, тем же чередом. Если не считать боли в сердце при каждом ударе и того, что его пальцы были холодны, как лед, он не сознавал своей тревоги. Он как будто не испытывал никаких чувств ни к Рэчел, ни к кому-то или чему-то в мире. Он продолжал отдавать распоряжения, договариваться с миссис Чейли, составлять списки и время от времени подниматься по лестнице, чтобы спокойно что-то поставить на столик у двери в комнату Рэчел. В этот вечер доктор Лесаж казался не таким угрюмым, как обычно. Он по своей воле задержался на несколько минут и, обращаясь в равной степени к Сент-Джону и Теренсу — как будто забыл, кто из них приходится девушке женихом, — сказал:

— Я считаю, что сегодня ее состояние очень серьезно.

Ни один из них не отправился спать и не пытался отослать другого. Они сидели в гостиной, играя в пикет и держа дверь открытой. Сент-Джон постелил на диване и стал уговаривать Теренса прилечь. Они начали пререкаться из-за того, кому спать на диване, а кому — на сдвинутых

стульях, покрытых пледами. Наконец Сент-Джон заставил Теренса лечь на диван.

— Не валяй дурака, Теренс, — сказал он. — Ты просто заболеешь, если не будешь спать.

Теренс продолжал отказываться, и Сент-Джон начал: «Дружище…» — но осекся, испугавшись сентиментальности: он почувствовал, что к горлу подступили слезы.

Он собирался сказать то, что давно хотел: что ему жаль Теренса, что Теренс ему небезразличен, и Рэчел тоже. Знает ли она, как она ему небезразлична, — говорила ли она что-нибудь, может быть, спрашивала? Он жаждал высказать это, но воздержался, подумав, что это, в сущности, будет эгоистично и не стоит тревожить Теренса такими разговорами. Тот уже почти заснул. Но Сент-Джон не мог заснуть сразу. Хоть бы что-нибудь произошло — думал он про себя, лежа в темноте, — чтобы это напряжение кончилось. Ему было все равно, что произойдет, — только бы прервалась череда тяжелых и мрачных дней; пусть она умрет — он не против. Он понимал, что быть не против этого — предательство, но ему казалось, что в нем больше не осталось никаких чувств.

Всю ночь никто никого не звал, и не было ни-

каких движений, только один раз открылась и закрылась дверь спальни. Постепенно в неприбранную комнату вернулся свет. В шесть часов зашевелились слуги, в семь они спустились на цыпочках в кухню, и через полчаса начался новый день.

Однако этот день был не таким, как прошедшие, хотя в чем состоит разница, определить было бы трудно. Возможно, в том, что все как будто чего-то ждали. Дел было явно меньше, чем обычно. Через гостиную проходили люди — мистер Флашинг, мистер и миссис Торнбери. Они говорили тихо, извиняющимся тоном, сесть отказывались, но выстаивали довольно подолгу, хотя им было нечего больше сказать, кроме: «Чем мы можем помочь?» — а помочь они не могли ничем.

Теренс чувствовал странную непричастность ко всему этому, и ему вспомнились слова Хелен о том, что, стоит чему-нибудь случиться, люди ведут себя именно так. Была ли она права, ошибалась ли? Это было ему слишком малоинтересно, чтобы составлять какое-то мнение. Он откладывал многие мысли на потом, как будто придет день, когда он додумает их — только не сейчас. Дымка нереальности все сгущалась и сгущалась,

и в конце концов он стал чувствовать какое-то онемение во всем теле. Его ли это тело? Действительно ли это его собственные руки?

Ко всему прочему, в это утро Ридли впервые обнаружил, что не может сидеть один в своей комнате. Внизу ему было неуютно, он не понимал, что происходит, и поэтому всем мешал, но из гостиной не уходил. Читать ему не давало беспокойство, а больше делать было нечего, и он стал ходить из стороны в сторону, вполголоса декламируя стихи. Теренс и Сент-Джон все утро были заняты разнообразными делами — то распечатывали посылки, то откупоривали бутылки, то писали распоряжения, — и песнь Ридли вместе с ритмом его шагов стала для них привычным фоном.

И бились, не щадя себя
И не жалея сил,
Предвечный враг затмил их взор,
Той ночью он царил.
Как два оленя, утомясь,
На поле отдохнуть легли...[75]

---

[75] Примечания: 75

Чарльз Кингсли (1819–1875). Баллада Нью-Фореста. (*Пер. А. Финогеновой.*)

— О, это невыносимо! — воскликнул Хёрст и тут же замолчал, как будто своей несдержанностью нарушил какое-то соглашение. Опять и опять Теренс крадучись поднимался до половины лестницы, надеясь раздобыть какие-нибудь вести о Рэчел. Но все сведения о ней были до крайности отрывочными: она что-то выпила; немного поспала; вроде бы чуть успокоилась. И доктор Лесаж ограничивался обсуждением мелочей, только один раз он сам рассказал, что его только что вызывали удостоверить смерть восьмидесятипятилетней женщины путем вскрытия вены. Она боялась быть похороненной заживо.

— Эти страхи, — заметил он, — обычно бывают у очень старых людей, и весьма редко — у молодых.

Сент-Джон и Теренс выказали интерес к тому, что он рассказывал: им это показалось очень странным. Еще одной странностью дня было то, что все забыли об обеде и вспомнили о нем уже довольно поздно; на стол подавала миссис Чейли, и она тоже выглядела странно, потому что на ней было жесткое ситцевое платье, а рукава закатаны выше локтей. Впрочем, она будто забыла думать о своей внешности, как если бы ее разбудили в полночь из-за пожара; забыла она и о сдержан-

ности: она уговаривала молодых людей поесть довольно фамильярно, как будто нянчила их в детстве и держала голышом на коленях. Она еще и еще раз уверяла их, что они просто обязаны питаться.

Таким образом, послеобеденное время было укорочено и прошло неожиданно быстро. Однажды дверь открыла миссис Флашинг, но, увидев их, тут же закрыла; Хелен спустилась что-то взять, а потом, выходя из гостиной, остановилась, чтобы проглядеть адресованное ей письмо. Она стояла, переворачивая страницы; необычное скорбное изящество, с которым она держалась, поразило Теренса, и он, по своему теперешнему обыкновению, решил отложить это в памяти, чтобы обдумать потом. Они почти не разговаривали друг с другом, их спор как будто приостановился или был забыт.

Когда вечернее солнце покинуло фасад дома, Ридли стал ходить по террасе, читая строфы длинной поэмы — приглушенным голосом, но с внезапными звучными всплесками. Обрывки стихов слышались сквозь открытое окно, когда он проходил мимо туда и обратно.

Ваал и с ним Пеор

Забыты с этих пор,
Дагона и того алтарь простыл.
Астарта лунорога...[76]

Звучание этих слов почему-то раздражало обоих молодых людей, но надо было терпеть. Вечер сгущался, далеко в море играли красные отсветы заката. Теренс и Сент-Джон поняли, что день почти кончился и надвигается очередная ночь, отчего обоих охватило одно и то же чувство отчаяния. Глядя на огни, которые один за другим зажигались в городе, Хёрст опять ощутил пугающее и мерзкое желание разрыдаться. Потом Чейли внесла лампы. Она рассказала, что Мария, открывая бутылку, имела глупость сильно порезать руку; Чейли перевязала ее, но это очень некстати, когда столько работы. Чейли и сама хромала из-за ревматизма, но считала, что обращать внимание на своенравную плоть слуг — чистая потеря времени. Вечер продолжался. Неожиданно приехал доктор Лесаж и пробыл наверху очень долго. Один раз он спустился и выпил чашку кофе.

— Состояние очень тяжелое, — ответил он на

---

[76] Примечания: 76

Джон Мильтон. На утро Рождества Христова (1629). *(Пер. Т. Стамовой.)*

вопрос Ридли. Раздраженность его исчезла, он был теперь сдержан и официален, но в то же время крайне предупредителен, чего за ним раньше не замечалось. Он опять поднялся наверх. В гостиной осталось трое мужчин. Ридли был теперь вполне спокоен, и мысли его как будто уже не блуждали где-то далеко. Если не считать незначительных, наполовину непроизвольных движений и восклицаний, которые тут же подавлялись, они сидели в полной тишине. Казалось, что они наконец предстали перед чем-то определенным.

Было уже почти одиннадцать, когда доктор Лесаж опять появился в гостиной. Он подошел очень медленно и заговорил не сразу. Он посмотрел сначала на Сент-Джона, затем на Теренса и сказал:

— Мистер Хьюит, полагаю, вам теперь следует подняться наверх.

Теренс тут же встал и ушел, оставив Ридли и Сент-Джона сидеть, а доктора Лесажа неподвижно стоять между ними.

В коридоре он увидел Чейли, повторявшую: «Это ужасно… это ужасно…»

Теренс не обратил на нее внимания; он слышал, что она говорит, но слова не сообщали ему

никакого смысла. Поднимаясь по лестнице, он повторял себе: «Этого не может быть. Это не может случиться со мной».

Он с удивлением посмотрел на собственную руку на перилах. Лестница была очень крутая, и ему показалось, что взбирался на нее он очень долго. Он понимал, что должен испытывать сильные чувства, но вместо этого не чувствовал ничего вообще. Открыв дверь, он увидел Хелен, сидевшую у кровати. На столе стояли затененные лампы, и вся комната, хотя в ней было множество вещей, выглядела очень аккуратно. Слабо, но совсем не противно пахло дезинфицирующими средствами. Хелен молча встала и уступила ему свой стул. Проходя друг мимо друга, они обменялись странными ровными взглядами; он удивился необычной ясности ее глаз, их покою и печали. Он сел у кровати и через мгновение услышал, как за Хелен закрылась дверь. Он оказался наедине с Рэчел и ощутил слабый отголосок того облегчения, которое они, бывало, чувствовали, когда их оставляли одних. Он посмотрел на нее. Он ожидал обнаружить какую-то ужасную перемену в ней, но этого не было. Она действительно выглядела очень похудевшей и, как ему показалось, очень утомленной, но она была самой собой. Более того,

она увидела его и узнала. Улыбнувшись ему, она сказала:

— Здравствуй, Теренс.

Завеса, которая так долго разделяла их, мгновенно исчезла.

— Рэчел, — ответил он своим обычным голосом, отчего она шире открыла глаза и улыбнулась знакомой улыбкой. Он поцеловал ее и взял за руку. — Без тебя было очень гадко, — сказал он.

Она все так же смотрела на него, улыбаясь, но вскоре в ее глазах появилась легкая тень усталости или недоумения, и она опять закрыла их.

— Но когда мы вместе, нам очень хорошо, — сказал он. Он продолжал держать ее за руку.

В комнате стоял полумрак, поэтому невозможно было разглядеть какую-либо перемену в ее лице. На Теренса снизошло ощущение величайшего покоя, поэтому он не хотел ни двигаться, ни говорить. Чудовищная пытка и нереальность последних дней кончились, все пришло к полной определенности и успокоению. Ум Теренса опять заработал с легкостью. Чем дольше он сидел, тем глубже ощущал покой, проникавший в каждый уголок его души. В какой-то момент он задержал дыхание и прислушался: она еще дышала; он еще некоторое время поразмышлял; они как будто

думали вместе: ему казалось, что он — это и он сам, и Рэчел одновременно; потом он опять прислушался: нет, она перестала дышать. Тем лучше — вот что такое смерть. Это ничто, это перестать дышать. Это счастье, совершенное счастье. Они достигли того, к чему всегда стремились, — союза, который был невозможен, пока они жили. Не отдавая себе отчета в том, что он думает про себя, а что говорит вслух, он произнес:

— Никто еще не был так счастлив, как мы. Никто никогда не любил, как мы.

Ему показалось, что их единение и счастье расходятся по комнате кругами, все шире и шире, наполняя пространство. У него не осталось ни одного неисполненного желания. Он и она обладали тем, что у них никогда не может быть отнято.

Он не осознавал, вошел ли кто-то еще в комнату, но позже, через несколько мгновений или несколько часов, он почувствовал на спине руку. Руки обняли его. Он не хотел, чтобы его обнимали, и таинственные шепчущие голоса раздражали его. Руку Рэчел, теперь уже холодную, он положил на покрывало, встал со стула и отошел к окну. Занавески были раздвинуты, за окном виднелась луна с длинной серебристой дорожкой, лежав-

шей на волнах.

— Надо же, — сказал он обычным голосом. — Посмотрите на луну. Вокруг луны — ореол. Завтра будет дождь.

Руки — то ли мужские, то ли женские — опять обхватили его; они мягко толкали его к двери. Он сам повернулся и спокойно пошел впереди этих рук, немного удивляясь тому, как странно ведут себя люди лишь оттого, что кто-то умер. Если им угодно, он уйдет, но они ничем не могут нарушить его счастье.

При виде коридора и столика с чашками и тарелками ему вдруг пришло в голову, что это все мир, в котором он больше никогда не увидит Рэчел.

— Рэчел! Рэчел! — резко закричал он, пытаясь броситься обратно к ней. Но его не пустили, его повели по коридору, в дальнюю спальню. Внизу был слышен его топот, когда он пытался вырваться наружу, и еще дважды он крикнул: «Рэчел! Рэчел!»

Глава 26

Два или три часа луна еще струила свой свет сквозь пустой воздух. Облака не мешали свету, он падал прямо и ложился на море и землю,

похожий на холодный белый иней. В эти часы тишина ничем не нарушалась, двигались лишь деревья, их ветви слабо покачивались, и вместе с ними шевелились тени, пересекавшие белую поверхность земли. В глубокой тишине можно было различить только один звук — еле слышное, но размеренное дыхание, которое не прекращалось и не становилось громче или тише. Оно продолжалось, когда птицы начали перелетать с ветки на ветку, и первые высокие ноты их голосов слышались на его фоне. Оно продолжалось и в те часы, когда восток посветлел, потом стал розовым, а небо подернулось бледной голубизной, но, когда встало солнце, дыхание остановилось и уступило место другим звукам.

Первыми из этих звуков были краткие нечленораздельные крики — то ли детей, то ли нищих, то ли тех, кто был очень слаб или страдал. Солнце поднялось над горизонтом, и бледный и легкий воздух с каждым мгновением становился все вещественнее и теплее, и звуки жизни — смелее, наполняясь силой и уверенностью. Постепенно над домами дрожащими выдохами поднялся дым, его пряди медленно набирали толщину, пока не стали ровными и прямыми, как колонны; солнце уже било не в бледные шторы, но прони-

кало в темные окна, за которыми скрывались пространство и глубина.

Солнце висело в небе уже много часов, пронизывая и прогревая огромный воздушный купол золотыми нитями своих лучей, когда в гостинице началось первое движение. Она стояла белой массой в утреннем свете, еще сонная, с опущенными шторами.

Около половины десятого мисс Аллан очень медленно вошла в холл и приблизилась к столу с утренними газетами. Однако она не протянула руку за газетой, а неподвижно стояла и думала, чуть опустив голову. Она выглядела старше, чем обычно, и по тому, как она стояла, немного сгорбившись, очень большая, можно было представить, какой она будет, когда по-настоящему состарится, как будет день за днем сидеть в кресле, флегматично глядя перед собой. Другие люди начали появляться в холле и проходить мимо нее, но она не разговаривала с ними, даже не смотрела на них. Наконец, как будто потому, что уже просто требовалось что-то сделать, она села в кресло и безучастно уставилась в одну точку. В это утро она чувствовала себя очень старой и к тому же бесполезной, будто жизнь ее не удалась, была трудной и тяжкой, но бессмысленной.

Она не хотела жить дальше, хотя и знала, что придется. При ее крепком здоровье ей суждено было дожить до глубокой старости. Возможно, она дотянет до восьмидесяти, а поскольку ей сейчас пятьдесят, это еще целых тридцать лет. Она несколько раз поворачивала руки, лежавшие на коленях, и смотрела на них с удивлением: ее старые руки сделали для нее столько работы. А толку в этом, судя по всему, никакого нет, хотя человек живет дальше, конечно, человек живет… Она подняла голову и увидела рядом миссис Торнбери; та собрала лоб в морщины и приоткрыла рот, будто хотела что-то спросить.

Мисс Аллан опередила ее.

— Да, — сказала она. — Она умерла нынче утром, очень рано, около трех часов.

Миссис Торнбери ахнула, сжала губы, и в ее глазах показались слезы. Сквозь них она посмотрела на холл, который был теперь выстлан широкими полосами солнечного света, на беззаботные, случайные группки людей, стоявших около неподвижных кресел и столов. Люди казались ей ненастоящими или похожими на тех, кто не знает, что сейчас рядом с ними произойдет страшный взрыв. Но никакого взрыва не было, и они продолжали стоять около кресел и столов.

Миссис Торнбери смотрела сквозь них, будто они были бесплотны, и видела дом, людей в доме, комнату, постель в ней и мертвое тело, недвижно лежащее в темноте под простыней. Она почти могла разглядеть покойную. Почти могла расслышать голоса скорбящих.

— Этого ожидали? — спросила она наконец.

Мисс Аллан могла лишь покачать головой.

— Я ничего не знаю, — ответила она, — кроме того, что мне сказала горничная миссис Флашинг. Она умерла сегодня рано утром.

Две женщины обменялись многозначительными взглядами, а потом, чувствуя себя ошеломленной, миссис Торнбери пошла, сама не зная, куда и зачем, медленно поднялась по лестнице, побрела по коридору, прикасаясь пальцами к стене, как будто продвигаясь на ощупь. Горничные шмыгали из номера в номер, но миссис Торнбери избегала их: они казались ей существующими в другом мире. Она даже не сразу подняла голову, когда ее остановила Эвелин. Было видно, что Эвелин недавно плакала, а увидев миссис Торнбери, заплакала опять. Вместе они отошли в оконную нишу и молча стояли там. Между последними всхлипами Эвелин стали прорываться слова:

— Это ужасно. Это жестоко. Они были так счаст-

ливы.

Миссис Торнбери похлопала ее по плечу.

— Поначалу кажется, что это невыносимо, — сказала она и посмотрела на виллу Эмброузов, выглядывавшую из-за склона холма. Окна сверкали на солнце, и она подумала, что душа покойной вылетела через эти окна. Что-то ушло из мира, и теперь он казался ей непривычно пустым. — Но чем старше становишься, — продолжила она, и глаза ее по-особенному заблестели, — тем сильнее убеждаешься, что во всем есть смысл. Как можно жить, если нет никакого смысла?

Она задала вопрос кому-то, но не Эвелин. Та стала успокаиваться.

— Смысл должен быть, — сказала миссис Торнбери. — Это не может быть случайностью. Потому что если это случайность, то она не должна была произойти. — Она глубоко вздохнула и добавила: — Но не стоит позволять себе такие мысли. Будем надеяться, и они так не думают. Что бы они ни сделали, исход был бы тот же. Эти болезни ужасны…

— Нет никакого смысла, я не верю ни в какой смысл! — выпалила Эвелин. При этом она дернула штору вниз и отпустила, и та вернулась на место с хлопком. — Зачем это все? Зачем люди

должны страдать? Я искренне верю, что Рэчел в раю, но Теренс… Какая во всем этом польза? — требовательно спросила она.

Миссис Торнбери слегка покачала головой, но не ответила и, пожав локоть Эвелин, пошла прочь от нее по коридору. Ее толкало сильное желание что-то услышать, хотя она не знала, что именно, и она направилась к номеру Флашингов. Открыв дверь, она поняла, что прервала какой-то спор между мужем и женой. Миссис Флашинг сидела спиной к свету, а мистер Флашинг стоял рядом, стараясь в чем-то ее убедить.

— А, вот и миссис Торнбери, — сказал он с некоторым облегчением в голосе. — Вы слышали, конечно. Моя жена считает, что она в какой-то мере виновата. Она убедила бедную мисс Винрэс поехать в экспедицию. Я уверен, вы со мной согласитесь, что думать так в высшей степени неразумно. Мы даже не знаем — я-то думаю, что это маловероятно, — там ли она заразилась. Эти болезни… И потом, она сама очень хотела поехать. Она поехала бы независимо от твоих уговоров, Элис.

— Не надо, Уилфред, — сказала миссис Флашинг, не двигаясь и не сводя глаз с одной точки на полу. — Что толку в разговорах? Что толку… —

Она замолчала.

— Я зашла спросить у вас, — сказала миссис Торнбери, обращаясь к Уилфреду, потому что говорить с его женой было бесполезно, — можно ли что-то сделать? Отец уже приехал? Нельзя ли сходить и узнать?

В этот момент ей больше всего хотелось что-нибудь сделать для несчастных — увидеть их, утешить, помочь. Было невыносимо находиться так далеко от них. Но мистер Флашинг покачал головой: он считал, что сейчас — нет; позже — вероятно, чем-то и можно будет помочь. Тут миссис Флашинг резко встала, повернулась к ним спиной и пошла к гардеробной. Они видели, как медленно вздымалась и опускалась ее грудь. Но ее печаль была безмолвной. Она закрыла за собой дверь.

Оставшись одна, она сжала кулаки и стала колотить ими по спинке стула. Она была похожа на раненое животное. Она ненавидела смерть. Смерть вызывала у нее негодование, гнев, приводила ее в неистовство, как будто это было живое существо. Она отказывалась отдавать своих друзей смерти. Она ни за что не хотела капитулировать перед мраком и небытием. Она начала ходить по комнате, потрясая кулаками

и пытаясь сдержать слезы, которые текли у нее по щекам. Наконец она села, но все равно — не сдалась. Перестав плакать, она выглядела упрямой и сильной.

Тем временем в соседней комнате Уилфред беседовал с миссис Торнбери, причем гораздо свободнее, чем в присутствии жены.

— Хуже всего в этих краях, — сказал он, — что люди ведут себя, как будто они в Англии. Лично я не сомневаюсь, что мисс Винрэс подхватила инфекцию на вилле. Думаю, она раз по десять в день рисковала заболеть. Нелепо говорить, что она заразилась, когда была с нами.

К его искренней печали явно примешивалось раздражение.

— Пеппер сказал мне, — продолжил он, — что съехал из этого дома, посчитав их слишком беззаботными. Говорит, что они никогда как следует не мыли овощи. Бедняги! Они заплатили страшную цену. Но я это видел много раз и продолжаю видеть: люди как будто забывают, что такие вещи могут случиться, а они случаются и застают всех врасплох.

Миссис Торнбери согласилась, что они были весьма беззаботны и что нет никаких оснований полагать, будто Рэчел подхватила лихорадку в

экспедиции. Поговорив еще немного на другие темы, она оставила мистера Флашинга и грустно побрела по коридору в свой номер. В том, что такое случается, должен быть какой-то смысл, думала она, закрывая за собой дверь. Просто поначалу нелегко понять, что он есть. Происшедшее кажется таким странным, таким невероятным. Да, всего три недели назад — даже меньше, две — она видела Рэчел; закрыв глаза, она и сейчас почти видела ее перед собой — тихую, робкую девушку, которая собиралась замуж. Миссис Торнбери представила все, чего она лишилась бы, если бы умерла в возрасте Рэчел, — детей, семейной жизни, всех удивительных чудес и глубин, которые, как ей сейчас казалось, разворачивались перед ней день за днем, год за годом. Ошеломление, из-за которого ей было трудно думать, постепенно уступило место противоположному чувству: мысли потекли очень быстро и ясно; оглядываясь на события своей жизни, она попыталась выстроить их в какой-то порядок. Несомненно, было много страданий, много тягот, но в целом, конечно, они вполне уравновешивались счастьем — упорядоченность, безусловно, главенствовала. Но и смерть молодых вовсе не была печальнее всего на свете — она уберегла их

от стольких бед, стольких лишений. Умершие — миссис Торнбери вызвала в памяти тех, кто почил рано, случайно, — были прекрасны, они часто ей снились. Со временем и Теренс поймет… Она встала и начала беспокойно ходить по комнате.

Беспокойство ее было крайним — во всяком случае, для женщины ее лет, — а для человека с таким ясным и проворным умом, как у нее, весьма непривычно было испытывать такую растерянность. Она не могла ни на чем остановиться, поэтому вздохнула с облегчением, когда дверь в номер открылась. Миссис Торнбери подошла к мужу, обняла и поцеловала его с необычной нежностью, а когда они сели рядом, стала гладить его по голове и расспрашивать, будто он был ребенком — старым, усталым, ворчливым ребенком. Она не сказала ему о смерти мисс Винрэс, чтобы не беспокоить, — он и так в последнее время был чем-то расстроен. Она попыталась выяснить причину. Опять политика? Что там учинили эти ужасные люди? Она провела все утро за обсуждением политики с мужем, и мало-помалу предмет их разговора стал вызывать у нее живейший интерес. Однако то и дело произносимые ею слова казались ей бессмысленными.

За обедом несколько человек заметили, что

постояльцы гостиницы начали уезжать: каждый день их становилось все меньше. На обеде присутствовало всего сорок человек вместо обычных шестидесяти. Это подсчитала престарелая миссис Пейли, оглядываясь вокруг бесцветными глазами. Она сидела за своим столиком у окна. Ее компания обычно состояла из мистера Перротта, Артура и Сьюзен, а сегодня к ним присоединилась и Эвелин.

Она была, против обыкновения, подавлена. Остальные, заметив, что у нее красные глаза, и догадываясь о причине, изо всех сил старались поддержать между собой оживленную беседу. Она терпела это несколько минут, поставив локти на стол, не притрагиваясь к супу, но вдруг воскликнула:

— Не знаю, что чувствуете вы, но я просто не могу думать ни о чем другом!

Мужчины пробормотали что-то сочувственное и изобразили на лицах печаль.

Сьюзен ответила:

— Да, это так ужасно! Только подумать, такая милая девушка, совсем недавно помолвленная — этого не должно было случиться, слишком это трагично. — Она посмотрела на Артура, как будто призывая его на помощь, чтобы он сказал нечто

более подобающее.

— Удар судьбы, — коротко выразился Артур. — Но все-таки какая была глупость — отправляться вверх по реке. — Он покачал головой. — Им следовало быть умнее. Нельзя ожидать от англичанок той же выносливости, которой отличаются туземные женщины, привычные к этому климату. Я хотел было предупредить их в тот день за чаем, когда эта тема обсуждалась. Но такие вещи говорить нет смысла — только восстановишь людей против себя, а изменить ничего не сможешь.

Престарелая миссис Пейли, которая до этого момента была занята супом, поднесла ладонь к уху, давая этим понять, что ей хочется знать, о чем идет речь.

— Вы слышали, тетя Эмма? Бедная мисс Винрэс умерла от лихорадки, — ласково сообщила ей Сьюзен. Она не могла говорить о смерти громко или даже обычным голосом, поэтому миссис Пейли не расслышала ни слова. Артур пришел на подмогу.

— Мисс Винрэс умерла, — сказал он очень отчетливо.

Миссис Пейли чуть наклонилась к нему и переспросила:

— А?

— Мисс Винрэс умерла, — повторил он. Ему пришлось напрячь мышцы вокруг рта, чтобы не рассмеяться и повторить в третий раз: — Мисс Винрэс. Она умерла.

Миссис Пейли было трудно не только разбирать слова; факты, выходившие за рамки ее обыденной жизни, достигали ее сознания тоже не сразу. Казалось, тяжелый груз лег на ее мозг, но не остановил, а лишь замедлил его работу. Не меньше минуты она сидела с туманным взором, пока поняла, что сказал Артур.

— Умерла? — с недоумением произнесла она. — Мисс Винрэс умерла? Боже… Это очень печально. Но я совершенно не помню, которая из них была она. У нас тут появилось столько новых знакомых. — Она обернулась к Сьюзен за помощью. — Высокая темноволосая девушка, почти хорошенькая, с ярким румянцем?

— Нет, — возразила Сьюзен. — Она была… — но замолчала, отчаявшись объяснить миссис Пейли, что та думает о другой девушке, — это все равно было бесполезно.

— Как же так она умерла? — продолжила миссис Пейли. — Выглядела такой крепкой. Но ведь люди пьют эту воду. Никогда я не понимала — зачем. Кажется, так просто — велеть, чтобы в номер

ставили бутылку сельтерской. Это единственная мера предосторожности, которую я всегда принимала, а уж я-то побывала во всех частях света — в одной Италии не меньше дюжины раз… Но молодым кажется, что им виднее, а потом они расплачиваются. Бедняжка, мне очень жаль ее. — Тут, однако, необходимость смотреть в тарелку с картофелем и есть поглотила все ее внимание.

Артур и Сьюзен втайне надеялись, что тема исчерпана, поскольку им этот разговор был неприятен. Зато Эвелин не была готова переключиться на что-то другое. Почему люди не говорят о том, что действительно важно?

— Вас, наверное, это совсем не трогает! — сказала она, гневно повернувшись к мистеру Перротту, который все это время сидел молча.

— Меня? О, напротив, — ответил он смущенно, но с явной искренностью. Вопросы Эвелин и у него вызывали чувство неловкости.

— Все это так необъяснимо, — продолжила Эвелин. — Я имею в виду смерть. Почему должна была умереть Рэчел, а не вы или я? Всего две недели назад она была здесь, с нами. Во что вы верите? — взыскательно спросила она у мистера Перротта. — Вы верите в то, что все продолжается, что она где-то есть, или вы думаете, что все

это просто игра и мы после смерти распадаемся в ничто? Я убеждена, что Рэчел не исчезла.

Мистер Перротт был готов сказать почти все, что Эвелин пожелала бы, но заявить, что он верит в бессмертие души, было выше его сил. Он сидел молча, сильнее, чем обычно, сморщив лицо и кроша хлеб.

Артур выдержал паузу, которая вроде бы подвела черту под дискуссией, и, чтобы Эвелин и у него не спросила, во что он верит, заговорил совсем о другом.

— Представьте, — сказал он, — что некий человек в письме просит у вас пять фунтов под тем предлогом, что он знал вашего деда, как вы поступите? А было так. Мой дед…

— Изобрел печку, — вставила Эвелин. — Это я все знаю. У нас была такая в оранжерее, чтобы растения не замерзали.

— Не знал, что я так знаменит, — сказал Артур. — Так вот, — продолжил он, решившись во что бы то ни стало изложить свою историю во всех подробностях, — старик, который был, пожалуй, вторым по значимости изобретателем своего времени и к тому же способным юристом, умер, как оно водится, не составив завещания. А Филдинг, его секретарь, уж не знаю, насколь-

ко обоснованно, всегда утверждал, будто дед собирался что-то для него сделать. Бедный старичок потерял все, пытаясь за свой счет внедрять изобретения; живет он в Пендже, над табачной лавкой. Я там его навещал. Вопрос в том, должен я раскошелиться или нет. Чего требует абстрактный дух справедливости, Перротт? Прошу учесть, что я от деда ничего не получил и проверить истинность притязаний никак не могу.

— Я мало что знаю об абстрактном духе справедливости, — сказала Сьюзен, благодушно улыбаясь присутствующим, — но в одном уверена — он получит свои пять фунтов!

Перротт начал излагать свое мнение, Эвелин заявила, что он ограничен, как все адвокаты, и думает о букве, а не о духе; миссис Пейли между блюдами требовала рассказывать ей, о чем идет речь, — обед прошел без пауз в разговоре, и Артур мысленно похвалил себя за то, с каким тактом были сглажены шероховатости.

Когда они покидали столовую, кресло миссис Пейли столкнулось в дверях с Эллиотами. Из-за этого произошла заминка, Артур и Сьюзен стали поздравлять Хьюлинга Эллиота с выздоровлением — он впервые спустился вниз, имея довольно бледный вид, — и мистер Перротт воспользовал-

ся этим, чтобы шепнуть несколько слов Эвелин:

— Могу ли я надеяться, что сегодня еще увижу вас, к примеру — в половине четвертого? Я буду в саду, у фонтана.

Эвелин еще не успела ответить, когда затор рассосался. Но, расставаясь со всеми в холле, она бодро посмотрела на Перротта и сказала:

— Вы говорите, в полчетвертого? Годится.

Она взбежала по лестнице, ощущая душевную приподнятость и полноту жизни: перспектива чувствительной сцены всегда приводила ее в экзальтированное состояние. Она не сомневалась в том, что мистер Перротт опять сделает ей предложение, и понимала необходимость на этот раз иметь готовый и четкий ответ, поскольку через три дня она уезжала. Но она не могла сосредоточиться на этой теме. Принять решение для нее было очень трудно, потому что она от природы терпеть не могла ничего окончательного и установленного; ей хотелось, чтобы все длилось и длилось — вечно, без завершения. Поскольку предстоял отъезд, она занялась раскладыванием своих нарядов на кровати. Про себя она отметила, что некоторые из них были весьма поношены. Она взяла фотографию своих родителей и перед тем, как положить в коробку, с минуту держала

ее в руке. Рэчел смотрела на эту фотографию. Внезапно Эвелин охватило острое ощущение личности другого человека, которое иногда передают вещи, ему принадлежавшие или побывавшие в его руках; она чувствовала, что Рэчел рядом, в комнате; события дня вдруг стали так же далеки, как земля на горизонте, если бы Эвелин сейчас находилась на корабле в море. Но постепенно ощущение присутствия Рэчел угасло, Эвелин уже не могла живо представить ее, ведь и знакомы они были едва-едва. Однако это мимолетное переживание оставило после себя тоску и усталость. Что она сделала со своей жизнью? Какое будущее у нее впереди? Что иллюзорно, а что реально? Можно ли считать все эти предложения, знакомства, интрижки чем-то настоящим, или то умиротворение, которое она видела на лицах Сьюзен и Рэчел, гораздо более реально, чем все, что ей доводилось чувствовать?

Она готовилась к выходу рассеянно, впрочем, ее руки были к этому так привычны, что почти все делали сами. Когда Эвелин спускалась вниз, кровь в ее жилах побежала быстрее, но тоже сама по себе, потому что в душе ее царило уныние.

Мистер Перротт уже ждал ее. Он вышел в сад сразу после обеда и гулял по дорожкам туда и

обратно больше получаса, сильно волнуясь.

— Я опоздала как всегда! — воскликнула Эвелин, приметив его. — Но вы должны простить меня: мне надо было собираться… Ох ты! Похоже, будет гроза! А в бухте новый пароход, да?

Она посмотрела в сторону бухты, где пароход как раз бросал якорь, над ним еще висел дым; на волнах была заметна быстрая темная рябь.

— Мы ведь уже забыли, что такое дождь, — добавила Эвелин.

Но мистер Перротт не обращал внимания ни на пароход, ни на погоду.

— Мисс Мёргатройд, — как всегда церемонно начал он, — боюсь, я попросил вас прийти сюда по весьма эгоистическим мотивам. Полагаю, нет нужды еще раз заверять вас в моих чувствах, но, поскольку вы скоро отбываете, я посчитал, что не могу расстаться с вами, не спросив: есть ли у меня хоть какие-то основания надеяться, что я когда-нибудь стану небезразличен вам?

Он был очень бледен и, по-видимому, не в силах сказать что-то еще.

Прилив жизненных сил, который Эвелин ощутила, спускаясь бегом по лестнице, теперь иссяк, и она почувствовала себя беспомощной. Сказать ей было нечего, она ничего не чувствовала. Вот

он просит ее, в старомодных чинных выражениях, стать его женой, а она испытывает к нему меньше, чем когда-либо.

— Давайте сядем и обсудим это, — сказала она неуверенным голосом.

Мистер Перротт последовал за ней к выгнутой зеленой скамейке под деревом. Они сели и воззрились на фонтан, который давно не работал. Эвелин все смотрела и смотрела на фонтан вместо того, чтобы обдумывать ответ: сухой фонтан как будто символизировал суть ее жизни.

— Вы мне, конечно, небезразличны, — торопливо начала она. — Я же не каменная. По-моему, вы один из самых милых моих знакомых, к тому же один из самых умных. Но я хотела бы… Я не хотела бы, чтобы вы испытывали ко мне именно эти чувства. Вы уверены в них? — В этот момент она искренне желала, чтобы он сказал «нет».

— Вполне уверен, — ответил мистер Перротт.

— Видите ли, я устроена не так просто, как большинство женщин, — продолжила Эвелин. — Пожалуй, мне нужно нечто большее. Я точно не знаю, что я чувствую.

Он сидел, смотрел на нее и ничего не говорил.

— Иногда мне кажется, что я по своей природе не могу испытывать сильные чувства лишь к

одному человеку. Вы найдете себе жену получше. Очень хорошо могу представить, как вы будете счастливы с другой.

— Если, по вашему мнению, есть хоть малейшая возможность, что вы ответите мне взаимностью, я вполне готов подождать, — сказал мистер Перротт.

— Ну вот, спешить некуда, правда? Давайте, я все обдумаю, напишу или скажу вам, когда вернусь? Я еду в Москву. Я напишу вам из Москвы.

Но мистер Перротт не отступал:

— Вы оставляете меня в полном неведении. Я не прошу о встрече… Это было бы в высшей степени неразумно. — Он замолчал, глядя на гравиевую дорожку.

Не дождавшись ответа, он продолжил:

— Я прекрасно понимаю, что я не… что не могу предложить вам ничего особенного при том, каков я есть и как я живу. Все время забываю: вам это не может казаться чудом, как мне. До встречи с вами я жил очень тихо — мы вообще очень тихие люди, я и моя сестра, — и я был вполне доволен своей судьбой. Моя дружба с Артуром была для меня важнее всего в жизни. Но теперь, когда я узнал вас, все изменилось. Вы как будто оживляете все вокруг себя. Теперь жизнь кажется

полной возможностей, о которых я никогда и не мечтал.

— Это же чудесно! — воскликнула Эвелин, сжимая его руку. — Вы вернетесь и предпримете множество разных дел и прославитесь на весь мир; а мы с вами будем друзьями, как бы оно ни вышло… Мы ведь будем большими друзьями, правда?

— Эвелин! — вдруг простонал он, обнял ее и поцеловал. Это не было ей противно, но и впечатления никакого не произвело.

Она опять села прямо и сказала:

— Никогда не понимала, почему нельзя оставаться друзьями — хотя у некоторых это получается. Ведь дружба изменяет весь мир, не так ли? Мало что еще так важно в человеческой жизни, разве нет?

Он посмотрел на нее с недоумением, как будто не совсем понимал, что она говорит. Сделав над собой значительное усилие, он встал и сказал:

— Пожалуй, я дал вам знать о своих чувствах и добавлю только, что могу ждать столько, сколько вам будет угодно.

Оставшись одна, Эвелин принялась ходить по дорожке туда и обратно. Что же все-таки имеет значение? Какой во всем этом смысл?

Глава 27

Весь вечер собирались тучи, пока совсем не затянули небесную синь. Казалось, расстояние от земли до неба уменьшилось, воздуху стало тесно, и он уже не мог свободно перемещаться в пространстве. Волны тоже сгладились, как будто их придавило. Листья на кустах и деревьях висели, прижавшись один к другому, и чувство угнетенности и несвободы еще усиливали стрекочущие звуки, производимые птицами и насекомыми.

Освещение и тишина были так новы, что гул голосов, обычно наполнявший столовую в часы трапез, прерывался заметными паузами, во время которых становился слышен перестук ножей о тарелки. Первый раскат грома и первые тяжелые капли, ударившие в окна, вызвали тревожное оживление.

— Начинается! — было сказано одновременно на нескольких языках.

Последовала глубокая тишина, как будто гром ушел куда-то в себя. Только люди принялись опять за еду, как в окна влетел порыв холодного ветра, взметнувший скатерти и юбки, блеснула вспышка, и тут же грохнуло — над самой гостиницей. Зашелестел дождь, и сразу послышались

резкие хлопки закрываемых окон и дверей, которые всегда сопровождают грозу.

В столовой внезапно стало намного темнее: ветер как будто нес над землей волны мрака. Некоторое время никто не пытался есть, все сидели и смотрели в сад, держа вилки на весу. Теперь вспышки сверкали часто, освещая лица как будто для фотографирования, застигая на них неестественные и напряженные выражения. Громыхало близко и сокрушительно. Несколько женщин привстали со стульев и сели опять, но ужин продолжался, хотя и несколько скованно — все глаза были обращены в сад. Кусты за окнами были взъерошены и побелели, ветер так напирал на них, что они пригибались к земле. Ужинающим приходилось обращать на себя внимание официантов, а тем — торопить поваров, потому что все были поглощены созерцанием бури. Гром вроде и не собирался слабеть, наоборот, он как будто сосредоточил всю свою мощь прямо над гостиницей, а молнии каждый раз метили прямо в сад, поэтому первоначальное оживление сменилось мрачноватой подавленностью.

Торопливо покончив с едой, люди собрались в холле, в котором они чувствовали себя в большей безопасности, чем где-либо, потому что там

можно было расположиться подальше от окон и только слышать гром, но ничего не видеть. Маленький мальчик заплакал, и мать унесла его на руках.

Пока гроза продолжалась, никому не хотелось садиться, небольшие группки стояли в центре, под застекленной частью крыши, в желтоватом свете, глядя наверх. То и дело при вспышках молнии лица людей окрашивались в белый цвет; наконец разразился оглушительный удар, от которого задрожали стекла в верхних рамах.

— Ах! — одновременно воскликнуло несколько голосов.

— Вот это ударило, — произнес какой-то мужчина.

Ливень усилился. Он как будто затушил молнию с громом, и в холле стало почти совсем темно.

Через минуту-другую, когда не было слышно ничего, кроме размеренного стука дождя в стекло, напряжение начало спадать.

— Гроза кончилась, — сказал кто-то.

Одним прикосновением были включены все электрические лампы, высветившие толпу людей, которые стояли, подняв лица к застекленной крыше; однако, увидев друг друга при искус-

ственном освещении, все сразу опустили головы и начали расходиться. Еще несколько минут дождь хлестал по крыше, раз или два ударил гром, но тьма начала рассеиваться, и шелест капель стал потише: было ясно, что огромная масса взбаламученного воздуха уходит прочь, уносится в сторону моря вместе со своими тучами и огненными разрядами. Здание, которое казалось таким маленьким в грохоте бури, опять стало надежным и большим, как обычно.

Когда гроза утихла, люди в холле расселись и с приятным чувством облегчения начали рассказывать друг другу истории о страшных бурях, а многие обратились к своим ежевечерним занятиям. Принесли шахматную доску, и мистер Эллиот, на котором в знак недавней болезни вместо воротничка был шарф — хотя во всем остальном он вернул себе прежний облик, — вызвал мистера Пеппера на финальное состязание. Вокруг них собралось несколько дам с рукодельями, а у кого их не было — с романами, чтобы надзирать за игрой, как будто они присматривали за двумя мальчуганами, играющими в шарики. Время от времени дамы поглядывали на доску и делали мужчинам ободрительные замечания.

За углом миссис Пейли разложила перед собой

карты длинными лесенками; Сьюзен сидела рядом — сочувствуя, но не вмешиваясь; торговцы и разные другие люди, имена которых так никому и не стали известны, растянулись в креслах с газетами на коленях. Атмосфера сложилась такая, что разговоры велись мимолетно, перескакивали с темы на тему, часто прерывались, но зал был наполнен тем движением жизни, которое трудно описать словами. Иногда над головами, шелестя, пролетала ночная бабочка с серыми крыльями и ярким брюшком, а потом билась в лампы с глухим постукиванием.

Молодая женщина отложила шитье и воскликнула:

— Бедняжка! Милосерднее было бы убить ее.

Но никому, по всей видимости, не хотелось вставать и убивать бабочку. Люди смотрели, как она металась от лампы к лампе: им было уютно и никакие дела их не обременяли.

На диване, рядом с шахматистами, миссис Эллиот объясняла миссис Торнбери новый способ вязания, поэтому их головы склонились очень близко одна к другой, и различить их можно было только по старому кружевному чепчику, который миссис Торнбери носила вечерами. В вязании миссис Эллиот была мастерицей, и если

и отклоняла похвалы по этому поводу, то с явной гордостью.

— Вероятно, у каждого есть что-то, чем он гордится, — сказала она. — Я вот горжусь своим вязанием. Думаю, это семейное. Мы все хорошо вяжем. У меня был дядя, который вязал себе носки до самой смерти и делал это гораздо лучше, чем любая из его дочерей, — милейший был старик. Удивляюсь, почему вы, мисс Аллан, не займетесь вязанием по вечерам — вы ведь так напрягаете глаза. Сразу поняли бы, как это успокаивает, какой отдых дает глазам; к тому же благотворительные базары всегда так рады любым изделиям. — Ее речь журчала гладко и негромко, будто сама по себе, как это бывает у заядлых вязальщиц: слова выходили легко, одно за другим. — Все, что вяжу, я всегда могу сбыть с рук, и это приятно: по крайней мере, чувствую, что не зря трачу время…

Мисс Аллан, услышав, что к ней обратились, закрыла роман и некоторое время спокойно смотрела на окружающих. Наконец она сказала:

— Все-таки неправильно бросать жену, которая тебя любит. Но, насколько я понимаю, так и поступает герой в моей книжке.

— Ай-ай-ай, как нехорошо — конечно, совсем не

правильно, — прожурчали в ответ вязальщицы.

— При том, что эта книга из тех, которые люди считают очень умными, — добавила мисс Аллан.

— «Материнство» Майкла Джессопа[77], вероятно? — вставил мистер Эллиот: он никогда не мог удержаться от соблазна поболтать во время игры в шахматы.

— Знаете, — через какое-то время сказала миссис Эллиот, — мне кажется, люди перестали писать хорошие романы — такие, как раньше, во всяком случае.

Никто не взял на себя труд согласиться с ней или возразить. Артур Веннинг, который прохаживался, иногда останавливаясь, чтобы понаблюдать игру или прочитать страничку в журнале, посмотрел на уже почти дремавшую мисс Аллан и шутливо спросил:

— О чем задумались, мисс Аллан?

Все подняли глаза. Они были рады, что он заговорил не с ними. Но мисс Аллан ответила без колебаний:

— Я думала о моем воображаемом дядюшке. По-моему, такой есть у каждого, не так ли? У меня есть — наиприятнейший пожилой господин.

---

[77] Примечания: 77

Майкл Джессоп — вымышленный автор.

Он всегда мне что-то дарит. То золотые часы, то экипаж с парой лошадей, то прелестный домик в Нью-Форесте, то билет до места, в котором я очень хочу побывать.

Все невольно стали думать о том, чего хотели бы они. Миссис Эллиот знала точно, чего ей хочется: ребенка. Поэтому на лбу ее сильнее обозначилась привычная морщинка.

— Мы такие счастливые люди, — сказала она, глядя на мужа. — У нас нет неисполненных желаний. — Эти слова были произнесены ею для того, чтобы убедить и себя, и других. Но проверить, как у нее это получилось, она не успела — вошли мистер и миссис Флашинг. Они пересекли холл и остановились у шахматной доски. Миссис Флашинг выглядела еще более растрепанно, чем обычно. Длинная черная прядь упала ей на лоб, на щеках пылал темно-красный румянец и блестели капли дождя.

Мистер Флашинг объяснил, что они были на крыше, наблюдали оттуда грозу.

— Зрелище было великолепное, — сказал он. — Молния сверкала прямо над морем, озаряла волны и корабли далеко-далеко. А как роскошно смотрелись горы — вы не представляете — свет вперемешку с огромными тенями… Теперь уже

все кончилось.

Он опустился в кресло и стал с интересом следить за финалом поединка.

— Значит, завтра уезжаете? — спросила миссис Торнбери, посмотрев на миссис Флашинг.

— Да, — ответила та.

— И между прочим, уезжать вовсе не жалко, — сказала миссис Эллиот, изобразив на лице тревожную скорбь. — После всех этих болезней.

— Вы что, боитесь умереть? — презрительно спросила миссис Флашинг.

— Думаю, мы все этого боимся, — с достоинством ответила миссис Эллиот.

— Наверное, мы все трусы, когда доходит до дела, — проговорила миссис Флашинг, потираясь щекой о спинку кресла. — Я-то уж точно.

— И вовсе нет! — сказал мистер Флашинг, оборачиваясь, потому что мистер Пеппер надолго задумался над своим ходом. — Желание жить — это не трусость, Элис. Это нечто противоположное трусости. Лично я хотел бы жить сто лет — с условием, конечно, что при мне останутся все мои способности. Представьте, сколько всего произойдет за это время!

— И у меня такое же чувство, — вступила миссис Торнбери. — Перемены, улучшения, изоб-

ретения и — красота! Знаете, иногда мне кажется, что умереть невыносимо именно потому, что перестанешь видеть вокруг красоту.

— Безусловно, было бы очень тоскливо умереть до того, как выяснят, есть ли жизнь на Марсе, — добавила мисс Аллан.

— Вы всерьез верите в жизнь на Марсе? — спросила миссис Флашинг, впервые посмотрев на нее с живым интересом. — Кто вам про это рассказал? Кто-то знающий? А вы знаете некоего…

В этот момент миссис Торнбери положила вязание, и в глазах ее проступила крайняя озабоченность.

— Мистер Хёрст, — тихо сказала она.

Сент-Джон только что вошел через крутящуюся дверь. Он был сильно растрепан от ветра, страшно бледен, щеки были небриты, и кожа на них выглядела нездоровой. Сняв пальто, он собирался пройти через холл и сразу подняться к себе в номер, но не мог проигнорировать присутствие стольких знакомых, особенно когда миссис Торнбери встала и пошла к нему навстречу, протягивая руку. Позади него были дождь и темнота, а до этого — долгие дни напряжения и ужаса, поэтому сейчас, оказавшись в теплом и светлом зале, где непринужденно сидело мно-

жество жизнерадостных людей, он испытал потрясение. Он смотрел на миссис Торнбери не в силах говорить.

Все замолчали. Рука мистера Пеппера застыла над шахматным слоном. Миссис Торнбери осторожно усадила Сент-Джона в кресло, сама села рядом и со слезами на глазах ласково сказала:

— Вы сделали для своего друга все возможное.

Это послужило сигналом: все опять стали разговаривать, будто и не прерывались, а мистер Пеппер сделал ход слоном.

— Сделать ничего было нельзя, — произнес Сент-Джон. Он говорил очень медленно. — Просто не верится…

Он провел рукой по глазам, как будто его отделяла от других людей какая-то греза, из-за которой он не мог понять, где находится.

— Ах он бедный… — сказала миссис Торнбери, и по ее щекам опять потекли слезы.

— Не верится, — повторил Сент-Джон.

— Он хотя бы понимал, что?.. — очень осторожно начала миссис Торнбери.

Но Сент-Джон не ответил. Он откинулся в кресле, почти не видя окружающих и не слыша, что они говорят. Он ужасно устал, а свет и тепло, движения рук, негромкие дружелюбные голо-

са подействовали на него, как успокоительное снадобье. Он сидел неподвижно, и постепенно чувство облегчения перешло в чувство глубокого счастья. Он перестал думать о Теренсе и Рэчел, не испытав никаких угрызений по поводу своей неверности. Движения и голоса как будто стекались из разных частей зала и выстраивались в узор перед его глазами; ему очень нравилось сидеть молча и наблюдать за развитием этого узора, тогда как взгляд его был направлен на что-то, чего он почти не видел.

Шахматный матч весьма удался: мистер Пеппер и мистер Эллиот сражались все азартнее. Миссис Торнбери, поняв, что Сент-Джону не хочется говорить, вернулась к вязанию.

— Опять молния! — вдруг вскрикнула миссис Флашинг. Желтый зигзаг пересек синее окно, и на мгновение стали видны зеленые деревья в саду. Миссис Флашинг подошла к двери, распахнула ее и встала лицом к свежему воздуху.

Но эта молния была лишь отсветом прошедшей грозы. Дождь перестал, тяжелые тучи унеслись прочь, и воздух был чист и прозрачен, хотя туманные клочья еще медленно проплывали на фоне луны. Небо опять приобрело торжественный темно-синий цвет, а под ним покоилась земля

— огромная, темная и тяжелая, вздымавшаяся остроконечной глыбой горы, склоны которой здесь и там были утыканы огоньками домов. Движение воздуха, шум деревьев, вспышки, время от времени ярко освещавшие землю, наполнили миссис Флашинг восторгом.

— Великолепно! Великолепно! — бормотала она сама себе. Затем она вернулась в холл и властно крикнула: — Иди посмотри, Уилфред! Это восхитительно.

Одни чуть шевельнулись, другие встали, третьи уронили свои клубки шерсти и стали наклоняться, отыскивая их.

— Спать, спать, — сказала мисс Аллан.

— Дело решил ваш ход ферзем, Пеппер! — торжествующе воскликнул мистер Эллиот, смешивая фигуры и вставая. Он выиграл.

— Что? Пеппер наконец побежден? Поздравляю, — сказал Артур Веннинг, который уже повез миссис Пейли в спальню.

Все эти голоса ласкали слух Сент-Джона; он дремал, но ясно осознавал все происходящее вокруг. Перед его глазами шла вереница фигур, темных и плохо различимых: постояльцы подбирали свои книги, карты, клубки шерсти, корзинки с рукодельями и, проходя мимо, один за другим

отправлялись спать.

Годы

1880

Весна была неровная. Погода менялась беспрестанно, синие и лиловые тучи неслись над землей. Крестьяне смотрели на поля с тревогой. В Лондоне люди открывали зонтики и, поглядев на небо, опять закрывали. Впрочем, в апреле такой погоды следует ожидать. Тысячи приказчиков в магазинах — «Уайтлиз», Военно-Морском и других — говорили об этом, вручая аккуратные свертки дамам в платьях с оборками. Бесконечные процессии — покупателей в Вест-Энде и дельцов в Ист-Энде — шествовали по тротуарам, подобно не знающим устали караванам, — так, по крайней мере, казалось тем, у кого был повод остановиться, например, чтобы опустить письмо или заглянуть в окно клуба на Пикадилли. Поток ландо, викторий[78] и одноколок не иссякал: начинался сезон. На не столь многолюдных улицах музыканты цедили свои дрожащие и почти всегда печальные мелодии; среди деревьев Гайд-

---

[78] Примечания: 78

Виктория — легкий двухместный четырехколесный экипаж.

парка и Сент-Джеймсского парка им отвечали или, скорее, их передразнивали щебечущие воробьи, а иногда — вдруг — влюбленный, но быстро замолкающий дрозд. Голуби на площадях возились в древесных кронах, роняя веточки и воркуя, вновь и вновь начиная свои журчащие песни и никогда не допевая их до конца. Во второй половине дня ворота Марбл-Арч и Эпсли-Хауза[79] запрудили дамы в цветастых платьях с турнюрами и мужчины в сюртуках, с тростями в руках и гвоздиками в петлицах. Проехала принцесса[80], мужчины сняли шляпы. В цокольных этажах жилых домов, стоящих длинными вереницами, служанки в чепцах и фартуках готовили чай. Затем, ловко лавируя на лестницах, они несли серебряные чайники наверх и ставили их на столы, а юные и старые девы, руками, которые

[79] Примечания: 79

Марбл-Арч — триумфальная арка, сооруженная в 1827 г. как ворота во двор Букингемского дворца; в 1851 г. была перенесена в северо-восточную часть Гайд-парка. *Эпсли-Хауз* (1771–1778) — первоначально дом барона Эпсли, затем — резиденция герцогов Веллингтонов.

[80] Примечания: 80

Принцесса Александра Датская в 1863 г. стала принцессой Уэльской, выйдя замуж за старшего сына королевы Виктории принца Уэльского Эдуарда, будущего короля Эдуарда VII.

привыкли лечить язвы Бермондси и Хокстона[81], тщательно отмеряли одну, две, три, четыре ложки чая. Когда солнце зашло, миллионы газовых огоньков, точно глазки на павлиньих перьях, зажглись в своих стеклянных ячейках, но все же широкие полосы тьмы остались нетронутыми на мостовых. Свет фонарей, смешанный с лучами заходящего солнца, отражался в покойных водах Круглого пруда и Серпантина[82]. На мосту через Серпантин останавливались одноколки, чтобы их пассажиры, направлявшиеся ужинать в ресторан или в гости, могли немного полюбоваться чудесным видом. Наконец взошла луна. Хотя ее то и дело скрывали пряди облаков, она была похожа на отполированную монету и блестела безмятежно или вызывающе, а может быть, и вполне безразлично. Ползя медленно, как лучи прожектора, дни, недели и годы чередой пересекали небо.

Полковник Эйбел Парджитер, отобедав, сидел в клубе и разговаривал. Поскольку его собеседни-

---

[81] Примечания: 81

Бермондси и *Хокстон* — беднейшие районы Лондона, в которых девицы из состоятельных семей часто занимались филантропической деятельностью.

[82] Примечания: 82

Круглый пруд и *Серпантин* — водоемы в парке Кенсингтон-Гарденз.

ки, расположившиеся в кожаных креслах, были людьми того же круга, что и он сам — отставные военные и чиновники, — они вспоминали истории и случаи из своего индийского, африканского и египетского прошлого, а затем естественно переключились на сегодняшний день. Речь зашла о каком-то назначении, о возможном назначении кого-то на какой-то пост.

Вдруг самый молодой и франтоватый из троих наклонился вперед. Вчера он обедал с… Тут говоривший понизил голос. Остальные наклонились к нему. Коротким взмахом руки полковник Эйбел отослал слугу, убиравшего кофейные чашки. Три лысоватых седых головы несколько минут оставались рядом. Затем полковник Эйбел откинулся на спинку кресла. Огонек любопытства, зажегшийся в глазах троих мужчин, когда майор Элкинс начал свой рассказ, теперь совершенно исчез с лица полковника Парджитера. Он сидел, глядя перед собой ясными голубыми глазами, слегка щурясь, как будто его по-прежнему слепило сияние Востока, как будто в морщинках возле глаз еще держалась пыль. Его посетила некая мысль, и слова окружающих потеряли для него всякий интерес. Более того, стали раздражать его. Полковник встал и отвернулся к окну, выходив-

шему на Пикадилли. Держа перед собой сигару, он смотрел на крыши омнибусов, одноколок, викторий, фургонов и ландо. Его вид как будто говорил, что он в стороне от всего этого, что он больше не имеет к этому никакого отношения. Чем дольше он смотрел, тем мрачнее становилось его красноватое, но приятное лицо. Внезапно он что-то вспомнил. Он должен кое-что спросить… Полковник повернулся, чтобы задать вопрос, но увидел пустые кресла. Компания распалась. Элкинс уже был в дверях, Бранд поодаль с кем-то разговаривал. Полковник Парджитер закрыл рот, так и не сказав то, что хотел, и опять отвернулся к окну, выходящему на Пикадилли. В уличной толпе, казалось, у каждого была какая-то цель. Все куда-то спешили. Даже дамы, что тряслись по Пикадилли в своих викториях и каретах, были движимы какой-то заботой. Люди возвращались в Лондон, обустраивались на сезон. Но у полковника никакого сезона впереди не было, дел — тоже. Его жена была при смерти, хотя все никак не умирала. Сегодня ей лучше, завтра будет хуже, придет новая сиделка, и так далее. Он взял газету и перелистал несколько страниц. Одна из иллюстраций изображала западный фасад Кельнского собора. Полковник швырнул газету обратно, в

стопку других газет. Со временем — так он деликатно именовал пору, когда его жена умрет, — он уедет из Лондона и поселится за городом. Только вот дом… И дети… И еще… Тут его лицо изменилось: в нем стало меньше недовольства, но слегка проступило выражение вороватой неловкости.

В конце концов, надо же ему куда-то ходить. Пока его друзья сплетничали, полковник исподволь думал об этом. Когда же он обернулся и увидел, что они разошлись, эта мысль притупила обиду. Он пойдет к Майре. Она, по крайней мере, будет рада его видеть. Рассудив так, он вышел из клуба и повернул не на восток, куда двигались занятые люди, и не на запад, где на Эберкорн-Террас[83] находился его дом, — он направился извилистыми путями через Грин-парк, в сторону Вестминстера. Трава ярко зеленела, начинали распускаться листья: ветки точно были усеяны зелеными птичьими коготками. Все жило, двигалось, в воздухе пахло чистотой и свежестью. Но полковник Парджитер не видел ни травы, ни деревьев. Он шагал через парк, застегнутый на все пуговицы, глядя прямо перед собой. Дойдя до Вестминстера, он остановился. Эту часть пути он

---

[83] Примечания: 83

Эберкорн-Террас — вымышленная улица.

весьма не любил. Каждый раз, достигнув улочки, над которой нависала громада аббатства, застроенной маленькими грязноватыми домами, с желтыми занавесками и объявлениями в окнах о сдаче комнат, где никогда не замолкал колокольчик торговца горячей сдобой, где дети с криками играли в «классики», он останавливался, смотрел направо, налево, стремительно проходил к дому номер тридцать и нажимал на звонок. Ожидая, он глядел прямо на дверь, втянув голову в плечи. Ему не хотелось, чтобы его увидели у этого порога. Он не любил ждать, пока ему откроют. На сей раз его недовольство еще возросло оттого, что впустила его миссис Симс. В доме всегда попахивало, во дворе на веревке висела грязная одежда. Полковник мрачно и тяжело поднялся по лестнице и вошел в гостиную.

Там было пусто: он явился слишком рано. Он брезгливо огляделся. Слишком много мелких предметов. Стоя перед каминной ширмой, на которой был изображен зимородок, садящийся на камыш, полковник чувствовал себя слишком крупным и не в своей тарелке. Сверху было слышно, как кто-то ходит туда-сюда суетливыми шажками. «Может быть, она не одна?» — подумал полковник, прислушиваясь. На улице визжали

дети. Все это гадко, некрасиво, стыдно. «Со временем», — сказал он сам себе… Но дверь открылась, и вошла его любовница Майра.

— Ах, Бука, милый! — воскликнула она. Волосы Майры были растрепаны, она была чуть полновата, но намного моложе его и по-настоящему рада его видеть, подумал полковник. Маленькая собачка подпрыгивала у ее ног.

— Лулу, Лулу! — крикнула Майра, одной рукой подхватив собачку, а второй придерживая волосы. — Покажись дяде Буке.

Полковник уселся в скрипучее плетеное кресло. Майра посадила собачку к нему на колени. За ухом у собачки виднелось красное пятно — возможно, экзема. Полковник надел очки и склонился, чтобы рассмотреть получше. Майра поцеловала его в шею над воротником. Очки упали. Майра подхватила их и надела на собачку. Похоже, старикан сегодня не в духе. Что-то не клеилось в таинственном мире клубов и семейной жизни, о котором он ей никогда не рассказывал. Он пришел рано, она не успела причесаться, и это было досадно. Но ее обязанностью было развлекать его. Поэтому она стала порхать по комнате — ее грузноватая фигура еще позволяла ей проскользнуть между столом и креслом так,

чтобы он не успел ее поймать. Она убрала ширму и развела огонь в убогом камине, после чего примостилась на подлокотнике его кресла.

— Ах, Майра! — сказала она, глядя на себя в зеркало и поправляя шпильки. — Какая ты жуткая неряха! — Она выпустила длинный локон, и он упал ей на плечо. Волосы ее были все еще прекрасны и отливали золотом, хотя она приближалась к сорока годам и, если сказать правду, имела восьмилетнюю дочь, которая жила у знакомых в Бедфорде. Волосы рассыпались под собственной тяжестью, Бука наклонился и поцеловал их. На улице заиграла шарманка, дети побежали к ней, все как один перестав кричать. Полковник начал гладить шею Майры. Затем его рука, на которой не хватало двух пальцев, спустилась ниже, к плечам. Майра соскользнула на пол и прижалась спиной к его коленям.

С лестницы донесся скрип шагов. Кто-то предупредительно постучал. Майра быстро заколола волосы, встала и вышла, закрыв за собой дверь.

Полковник опять принялся методично осматривать собачье ухо. Экзема или не экзема? Он посмотрел на красное пятно, потом поставил собачку в ее корзинку и подождал. Ему не нравилось долгое перешептыванье на лестничной

площадке. Наконец Майра вернулась. Вид у нее был обеспокоенный, а когда она тревожилась, то выглядела старше. Она начала что-то искать среди подушек и покрывал. Мне нужна моя сумочка, сказала она. Куда она дела сумочку? При таком беспорядке, подумал полковник, она может быть где угодно. Сумочка нашлась в углу дивана под подушками — она была тощая и наводила на мысли о бедности. Майра перевернула ее вверх дном и встряхнула. Оттуда выпали носовые платки, смятые клочки бумаги, серебряные и медные монеты. Здесь должен быть соверен, сказала Майра.

— Я точно помню, вчера он у меня был, — прошептала она.

— Сколько? — спросил полковник.

Нужен один фунт — нет, фунт, восемь шиллингов и шесть пенсов, ответила Майра и пробормотала еще что-то про стирку. Полковник выскреб из своего маленького кошелька два соверена и дал ей. Она взяла и вышла, перешептыванье на лестнице возобновилось.

«Стирка?» — подумал полковник, оглядывая комнату. Это была жалкая и тесная конура. Но, поскольку он был намного старше Майры, ему не подобало задавать вопросы о стирке. Она вер-

нулась, опять порхнула через комнату и уселась на пол, положив голову ему на колени. Слабый огонь в камине помигал и потух.

— Брось, — нетерпеливо сказал полковник, когда Майра взяла кочергу. — Пусть его тухнет.

Майра отложила кочергу. Собака похрапывала, шарманка играла. Рука полковника опять стала прогуливаться по шее Майры, иногда погружаясь в густые волосы. В маленькой комнате, к окнам которой так близко подступали стены соседних домов, сумерки сгущались быстро, да и занавески были наполовину сдвинуты. Полковник притянул Майру к себе и сзади поцеловал в шею. Затем трехпалая рука спустилась ниже, к плечам.

Внезапно по мостовой стал хлестать дождь; дети, игравшие в «классики», разбежались по домам. Престарелый уличный певец в лихо сдвинутой на затылок рыбацкой шапке, который ковылял вдоль бордюра, распевая во весь голос: «Судьбу благодарите, судьбу благодарите!» — поднял воротник пальто, укрылся под крыльцом пивной и завершил свои призывы: «Судьбу благодарите все!» Затем вновь выглянуло солнце и высушило мостовую.

— Не закипает, — сказала Милли Парджитер,

глядя на чайник. Она сидела за круглым столом в гостиной дома на Эберкорн-Террас. — Даже не собирается.

Чайник был старомодным, медным, с почти стершимся гравированным орнаментом в виде роз. Под медным донышком трепетал слабый огонек. Сестра Милли Делия полулежала рядом в кресле и тоже смотрела на чайник.

— Должен ли чайник кипеть? — через некоторое время вяло спросила она, как будто не рассчитывая на ответ, и Милли в самом деле не ответила. Они сидели молча, созерцая чахлое пламя на желтом фитиле. На столе стояло много тарелок и чашек, точно ожидался кто-то еще. Комната была переполнена мебелью. Напротив стоял голландский буфет с синим фарфором на полках. Апрельское вечернее солнце яркими бликами играло на стекле. Над камином висел портрет молодой рыжеволосой женщины в белом муслиновом платье, которая держала на коленях корзину цветов и улыбалась, глядя сверху вниз.

Милли вытащила из волос шпильку и стала разделять фитиль на волокна, чтобы увеличить пламя.

— Без толку, — раздраженно сказала Делия, наблюдая за ней. Она нервничала. На все уходит

невыносимо много времени. Тут вошла Кросби и спросила, не стоит ли вскипятить чайник на кухне. Милли сказала нет. Как же положить конец этим глупостям и пустякам, думала Делия, постукивая ножом по столу и глядя на слабое пламя, которое ее сестра теребила шпилькой. Под крышкой чайника раздалось комариное гудение, но в этот момент дверь распахнулась, и вошла девочка в накрахмаленном розовом платье.

— Думаю, няне стоит надеть на тебя новый передник, — строго сказала Милли, подражая манере взрослых. Передник был в зеленоватых пятнах, — видимо, его хозяйка лазала по деревьям.

— Его еще не принесли из стирки, — недовольно ответила Роза, так звали девочку. Она посмотрела на стол, но увидела, что до чаепития еще далеко.

Милли опять сунула шпильку в фитиль. Делия откинулась на спинку кресла и посмотрела через плечо в окно. С ее места ей было видно ступени парадного.

— Вот и Мартин, — проговорила она мрачно.

Хлопнула дверь. Бросив книги на стол в передней, в гостиную вошел Мартин, мальчик двенадцати лет. У него были такие же рыжие

волосы, как у женщины на портрете, только всклокоченные.

— Иди приведи себя в порядок, — строго сказала Делия. — Времени тебе хватит, — добавила она. — Чайник еще не закипел.

Все посмотрели на чайник. Он все так же меланхолично напевал, покачиваясь над дрожащим огоньком.

— Чертов чайник, — сказал Мартин и резко повернулся.

— Маме не понравилось бы, что ты так выражаешься, — укорила его Милли, опять будто подражая тому, как говорят взрослые. Их мать так долго болела, что обе старшие сестры переняли ее манеру общения с детьми.

Дверь снова открылась.

— Поднос, мисс… — сказала Кросби, придерживая дверь ногой. В руках она держала поднос для кормления больной.

— Поднос, — повторила Милли. — Так, кто понесет поднос? — И это она спросила так, как спросил бы взрослый, который хочет быть тактичным с детьми. — Не ты, Роза, он слишком тяжелый. Пусть Мартин отнесет, а ты можешь пойти с ним. Но не оставайтесь там надолго. Только расскажите маме, чем вы занимались.

Так, а чайник… чайник…

Она опять взялась поправлять фитиль шпилькой. Изогнутый носик выпустил тонкую струйку пара. Сначала она была прерывистой, но постепенно набрала силу, и, когда с лестницы уже послышались детские шаги, пар из чайника повалил вовсю.

— Кипит! — воскликнула Милли. — Кипит!

Ели молча. Солнце, судя по бликам на стекле голландского буфета, то скрывалось, то снова выглядывало. Супница то блестела сочной голубизной, то становилась синевато-серой. В другой комнате лучи нашли себе тихое пристанище на мебели. Они освещали где узор, где вытертую плешь. Где-то есть красота, думала Делия, где-то есть свобода и где-то, думала она, есть *он* — с белым цветком в петлице… Но тут в передней по полу заскрежетала трость.

— Папа! — предупреждающе воскликнула Милли.

Мартин мгновенно выскользнул из отцовского кресла, Делия села прямо. Милли быстро подвинула вперед большую чашку в розовую крапинку, которая не подходила к остальным. Полковник остановился в дверях и довольно свирепо оглядел присутствующих. Его маленькие голубые глаз-

ки будто искали какую-то провинность. Сейчас изъяна найти не удалось, но он был явно не в духе, это всем стало понятно еще до того, как он заговорил.

— Чумазая негодница, — сказал полковник, проходя мимо Розы, и ущипнул ее за ухо.

Она торопливо закрыла рукой пятно на переднике.

— Мама ничего? — спросил он, опускаясь монолитной массой в большое кресло. Полковник терпеть не мог чая, но всегда чуть-чуть отпивал из большой старой чашки, доставшейся ему от отца. Он поднял ее, отхлебнул через силу и спросил: — А вы все что поделывали?

Он оглядел детей туманным, но пронизывающим взглядом, который бывал и добродушным, однако сейчас был угрюм.

— У Делии был урок музыки, а я ходила в «Уайтлиз», — начала Милли, почти как ребенок, отвечающий урок.

— А, деньги тратила? — резко, но не злобно откликнулся отец.

— Нет, папа, я тебе говорила. Они прислали не те простыни…

— А ты, Мартин? — спросил полковник Парджитер, прервав отчет дочери. — Хуже всех в

классе, как всегда?

— Лучше! — выкрикнул Мартин, как будто до того с трудом сдерживал это слово внутри себя.

— Хм, ну уж… — произнес отец. Его мрачность слегка рассеялась. Он засунул руку в карман брюк и вытащил горсть серебра.

Дети смотрели, как он пытается найти среди флоринов шестипенсовик. Он потерял два пальца на правой кисти во время восстания сипаев, и мышцы ее так сократились, что она стала похожа на лапу старой птицы. Движения руки были неловки, монеты выпадали из нее, но полковник никогда не обращал внимания на свое увечье, поэтому дети не осмеливались помочь ему. Блестящие култышки отрубленных пальцев притягивали взгляд Розы.

— Вот тебе, Мартин, — наконец сказал полковник, протягивая сыну монету в шесть пенсов. Затем он опять хлебнул чая и промокнул усы салфеткой. — Где Элинор? — спросил он через некоторое время, вероятно, чтобы прервать паузу.

— У нее сегодня Гроув, — напомнила Милли.

— Ах, у нее сегодня Гроув, — пробормотал полковник. Он упорно размешивал сахар в чашке, как будто стараясь расколоть ее.

— Старые добрые Леви, — нерешительно сказала Делия. Она была отцовской любимицей, но сейчас не знала, как много она может себе позволить при таком его настроении.

Полковник промолчал.

— У Берти Леви на одной ноге шесть пальцев! — вдруг выпалила Роза. Остальные засмеялись. Но полковник оборвал их.

— Беги наверх делать уроки, мой мальчик, — сказал он, глядя на Мартина, который еще ел.

— Позволь ему допить чай, папа, — вступила Милли, опять подражая манере взрослой женщины.

— А новая сиделка? — спросил полковник, барабаня пальцами по краю стола. — Пришла?

— Да… — начала было Милли, но из передней послышался шум, и вошла Элинор — к облегчению всех, особенно Милли. Слава богу, Элинор пришла, подумала она, поднимая голову, — утешительница, миротворица, смягчавшая для нее все бури и тяготы семейной жизни. Милли обожала сестру. Она назвала бы ее богиней и наделила бы ее красотой, которая не была ей присуща, нарядила бы ее в одежды, которых у нее не было, — если бы Элинор не держала в руках стопку маленьких пестрых тетрадок и пару

черных перчаток. Защити меня, думала Милли, протягивая ей чашку, я такая робкая мышка, на меня все время наступают, я маленькая недотепа — по сравнению с Делией, которая всегда добивается своего, а меня папа все время отчитывает, сегодня он отчего-то сердит.

Полковник улыбнулся Элинор. И рыжий пес на коврике перед камином, подняв голову, вильнул хвостом, как будто признавал в Элинор одну из тех приятных женщин, которые дают кость, но моют после этого руки. Она была старшей дочерью, лет двадцати двух, не красавица, но цветущая и по природе жизнерадостная, хотя сейчас и выглядела усталой.

— Простите за опоздание, — сказала она. — Меня задержали. Но я не ожидала… — Она посмотрела на отца.

— Я освободился раньше, чем думал, — торопливо ответил он. — Деловая встреча… — Он осекся. Опять поссорился с Майрой. — А как у тебя в Гроув?

— У меня в Гроув… — повторила Элинор, но тут Милли передала ей накрытое блюдо. — Меня задержали, — опять сказала Элинор, наполняя свою тарелку и приступая к еде. Атмосфера разрядилась.

— Ну, расскажи нам, папа, — храбро сказала Делия, отцовская любимица, — чем занимался ты? Приключения были?

Вопрос оказался некстати.

— Стар я для приключений, — угрюмо ответил полковник. Он растирал кристаллики сахара о стенку чашки. Затем он будто пожалел о своей резкости, немного помолчал и сказал: — Я встретил в клубе старика Бёрка. Просил меня привести одну из вас на ужин. Робин приехал, в отпуск.

Он допил чай. Несколько капель упало на его остроконечную бородку. Полковник достал большой шелковый носовой платок и торопливо вытер подбородок. Элинор, сидя на своем низком стуле, заметила странный взгляд сначала в глазах Милли, а потом — Делии.

Похоже, между ними есть какая-то неприязнь. Но они не сказали ни слова. Все продолжали есть и пить, пока полковник, подняв свою чашку, не увидел, что она пуста, и не поставил ее твердо на блюдце, слегка звякнув. Церемония чаепития была окончена.

— А теперь, мой мальчик, иди готовить уроки, — сказал полковник Мартину.

Мартин отдернул руку, уже тянувшуюся к тарелке.

— Живо, — властно добавил отец.

Мартин встал и нехотя пошел, волоча руку по стульям и столам, чтобы замедлить свое движение. Дверь за собой он захлопнул довольно громко. Полковник встал и выпрямился в своем туго застегнутом сюртуке.

— Мне тоже пора, — сказал он, но сразу не ушел, как будто идти ему было особенно некуда. Он стоял среди своих детей очень прямо, словно хотел отдать какое-нибудь приказание, однако не мог его придумать. Наконец, он вспомнил. — Надеюсь, кто-нибудь из вас не забудет, — обратился он ко всем дочерям сразу, — написать Эдварду… Попросите его написать маме.

— Хорошо, — сказала Элинор.

Полковник пошел к двери, но остановился.

— И сообщите мне, когда мама захочет меня увидеть, — попросил он, а затем ущипнул младшую дочь за ухо. — Чумазая негодница. — Он указал на пятно на переднике. Роза прикрыла пятно рукой. У двери он остановился опять. — Не забудьте, — повторил он, пытаясь управиться с дверной ручкой, — не забудьте написать Эдварду, — повернул ручку и вышел.

Воцарилось молчание. Элинор чувствовала в воздухе какое-то напряжение. Она взяла одну

из тетрадок, брошенных ею на стол, и открыла ее у себя на коленях. Но читать не стала, остановившись отсутствующим взглядом на дверном проеме в дальнюю комнату. Деревья в саду за домом начинали зеленеть, на кустах уже виднелись листочки, похожие на маленькие уши. Солнце сияло урывками, то скрываясь, то вновь выходя из-за туч, освещая то одно, то…

— Элинор, — перебила ее мысли Роза. Ее манера держаться до странности напоминала отцовскую. — Элинор, — тихо повторила она, потому что сестра не обратила на нее внимания.

— Что? — спросила Элинор, оборачиваясь к ней.

— Я хочу сходить к Лэмли.

Она была маленькой копией отца, особенно когда стояла, заложив руки за спину.

— К Лэмли идти уже поздно, — сказала Элинор.

— Там открыто до семи, — сказала Роза.

— Тогда попроси Мартина сходить с тобой.

Девочка медленно пошла к двери. Элинор опять взялась за свои расходные тетради.

— Одна не ходи, Роза. Одна не ходи, — сказала она, подняв глаза, когда Роза была уже у выхода из гостиной. Роза молча кивнула и исчезла.

Она прошла наверх. Задержалась у материн-

ской комнаты и втянула носом кисло-сладкий запах, который, казалось, окутывал кувшины, чашки, тазики с крышками, стоявшие на столе у двери. Роза поднялась еще выше и остановилась у классной комнаты. Она не хотела входить туда, потому что была в ссоре с Мартином. Они повздорили из-за Эрриджа и микроскопа, а потом еще раз — когда обстреливали кошек, принадлежавших соседке мисс Пим. Но Элинор велела спросить его. Роза открыла дверь.

— Послушай, Мартин… — начала она.

Он сидел за столом, держа перед собой книгу, и бормотал — наверное, учил греческий или латынь.

— Элинор велела, — продолжила Роза, заметив, что брат покраснел, а его рука сгребла клочок бумаги, как будто он хотел скатать из него шарик, — спросить тебя… — она собралась с духом и прижалась спиной к двери.

Элинор сидела, откинувшись на спинку. Теперь солнце освещало деревья в саду за домом. На них набухли бутоны. Весенние лучи, конечно, во всей красе показывали, как вытерлась обивка на стульях. Элинор заметила, что на спинке большого кресла — там, куда отец прислонялся головой, — виднеется темное пятно. Но как мало

тут стульев, как просторно, как много воздуха по сравнению со спальней, в которой старая миссис Леви… — однако Милли и Делия молчали. Это все из-за званого ужина, вспомнила Элинор. Которая из них пойдет? Хотелось пойти обеим. Хорошо бы люди не говорили: «Приведите одну из своих дочерей» — лучше сказали бы: «Приведите Элинор», или «Приведите Милли», или «Приведите Делию», а не сваливали их всех в одну кучу. Тогда вопросов не возникало бы.

— Ладно, — отрывисто произнесла Делия, — я, пожалуй…

Она встала, будто собиралась куда-то пойти. Но остановилась, а затем подошла к окну, выходившему на улицу. У всех домов были одинаковые маленькие садики, одинаковые лесенки, одинаковые колонны и эркеры. Но сейчас спускались сумерки, и в угасающем свете дома выглядели призрачно, бесплотно. Начали зажигаться лампы. Гостиная дома напротив озарилась светом, после чего портьеры были сдвинуты и скрыли комнату. Делия стояла и смотрела на улицу. Женщина из низшего сословия катила детскую коляску; старик ковылял, заложив руки за спину. Затем улица на некоторое время опустела. Появилась одноколка и, позвякивая, проехала по

дороге. Делия сразу же заинтересовалась. Остановится экипаж у их двери или нет? Она стала смотреть пристальнее. Но тут, к ее сожалению, кучер натянул вожжи, и лошадь встала за два подъезда от них.

— Кто-то приехал к Стэплтонам, — сообщила Делия, слегка раздвинув муслиновые шторы. Подошла Милли и встала рядом. Вместе они увидели сквозь щель между шторами, как из экипажа вышел молодой человек в цилиндре. Он поднял руку, чтобы заплатить вознице.

— Смотрите, чтобы не увидели, как вы подглядываете, — предупредила Элинор.

Молодой человек взбежал по ступенькам в дом. Дверь за ним закрылась, экипаж уехал.

Но две девушки еще некоторое время смотрели на улицу. В садиках перед домами цвели желтые крокусы. Миндаль и бирючину окутала зеленая дымка. Внезапно по улице пронесся порыв ветра, гоня по мостовой листок бумаги. За ним пролетел маленький пылевой вихрь. Над крышами рдел один из тех прерывистых лондонских закатов, которые по очереди зажигают окна золотым огнем. В весеннем вечере ощущалась какая-то мятежность. Даже здесь, на Эберкорн-Террас, освещение переходило от золотого сияния к сумраку и об-

ратно. Делия задернула штору, отвернулась и, вернувшись в гостиную, вдруг произнесла:

— О боже, боже!

Элинор, опять взявшаяся было за свои тетрадки, недовольно подняла голову.

— Восемью восемь… — сказала она. — Сколько будет восемью восемь?

Поставив палец на страницу, чтобы отметить место, она посмотрела на сестру. Та стояла, откинув голову назад, в закатном свете ее волосы казались ярко-рыжими, а сама она в это мгновение выглядела дерзкой красавицей. Рядом с ней Милли смотрелась неприметной серой мышкой.

— Знаешь, что, Делия, — сказала Элинор, — ты уж подожди… — она не могла произнести то, что имела в виду: «Пока мама умрет».

— Нет, нет, нет! — воскликнула Делия, простирая руки. — Нет никакой надежды…. — начала она, но осеклась, потому что вошла Кросби с подносом. Она методично, с раздражающим позвякиванием, поставила на поднос чашки, тарелки, горшочки с вареньем, блюда с кексом, хлебом и маслом, положила ножи. Затем, осторожно неся поднос перед собой, вышла. Последовала пауза. Вновь появилась Кросби, сложила скатерть и передвинула столы. Опять пауза. Через минуту-

другую она принесла две лампы с шелковыми абажурами. Одна была установлена в гостиной, вторая — в дальней комнате. После этого Кросби, поскрипывая дешевыми туфлями, подошла к окну и задернула занавески. Кольца привычно звякнули на медных стержнях, окна скрылись за толстыми складками бордового плюша. Когда занавески были сдвинуты в обеих комнатах, на гостиную точно спустилась глубокая тишина. Внешний мир словно пропал. Издалека, с соседней улицы, послышался заунывный голос уличного разносчика. Тяжелые копыта ломовой лошади медленно простучали по дороге. Колеса проскрежетали по мостовой, потом и этот звук исчез, и воцарилось полное безмолвие.

Лампы отбрасывали два ярких желтых круга. Элинор придвинула кресло к одной из ламп, склонила голову и продолжила делать то, что очень не любила и всегда оставляла напоследок: складывать числа. Она прибавляла восьмерки к шестеркам, пятерки к четверкам, при этом губы ее шевелились, карандаш ставил на бумаге точки.

— Ну, вот! — сказала она наконец. — Готово. Теперь пойду посижу с мамой.

Она остановилась, чтобы взять свои перчатки.

— Нет, — возразила Милли, отбросив в сторону только что открытый журнал. — Я пойду.

Внезапно из своего укрытия в дальней комнате появилась Делия.

— Мне совершенно нечего делать, — отрывисто сказала она. — Пойду я.

Делия поднялась по лестнице, ступенька за ступенькой, очень медленно. Подойдя к двери в спальню, у которой стоял стол с кувшинами и склянками, она остановилась. Ее слегка подташнивало от кисло-сладкого запаха болезни. Она не могла заставить себя войти. Через окошко в конце коридора виднелись оранжево-розовые завитки облаков на фоне бледно-голубого неба. Яркий свет ослепил ее после сумрачной гостиной. Несколько мгновений она не могла оторвать взгляда от окошка. Затем с верхнего этажа донеслись детские голоса: Мартин и Роза ссорились.

— Ну и не надо! — крикнула Роза.

Дверь хлопнула. Делия еще немного подождала, затем сделала глубокий вдох, снова посмотрела на пламенеющее небо и постучала в дверь спальни.

Сиделка тихо поднялась, приложила палец к губам и вышла. Миссис Парджитер спала. Она лежала в ложбине между подушек, подложив

одну руку под щеку, и слегка постанывала, как будто блуждала по миру, в котором даже во сне путь ей преграждали мелкие препятствия. Лицо ее было полным и обвисшим, на коже виднелись буроватые пятна; волосы, некогда рыжие, сейчас были белыми, хотя кое-где оставались участки странного желтого цвета, как будто некоторые пряди окунули в желток. Казалось, только пальцы, с которых были сняты все кольца, кроме обручального, говорили о том, что она вступила в уединенный мирок недуга. Но на умирающую она не походила. Судя по ее виду, она могла существовать на этой границе между жизнью и смертью вечно. Делия не замечала в ней никакой перемены. Она села и увидела, как в узком и высоком зеркале у кровати отражался кусок неба, залитый багровым сиянием. Туалетный столик весь искрился светом. Лучи отражались в серебряных и стеклянных флаконах, выстроенных аккуратно и ровно, как предметы, которыми никто не пользуется. В этот час комната больной выглядела нездешне чистой, прибранной, тихой. У кровати стоял маленький столик с очками, молитвенником и вазочкой с ландышами. Цветы тоже казались ненастоящими. Делать было нечего — только смотреть.

Делия стала разглядывать пожелтевший портрет своего дедушки с бликом на носу, фотографию дяди Хораса в мундире, тощую скрюченную фигурку на распятии, висевшем справа.

— Ты же в это не веришь! — зло сказала она, глядя на мать, погруженную в сон. — Ты не хочешь умирать.

Она мечтала о ее смерти. Мать лежала перед ней в ложбине между подушками, такая мягкая, терзаемая распадом, но вечная — вечное препятствие, помеха, преграда течению жизни. Делия попыталась оживить в себе какие-то теплые чувства, жалость к ней. Например, в то лето, в Сидмуте, говорила она себе, когда она позвала меня с лестницы в саду… Но эта сцена растаяла, когда Делия стала мысленно вглядываться в нее. Перед ее глазами вставал другой образ — мужчины во фраке, с цветком в петлице. Но она пообещала себе не думать об этом до того, как ляжет в постель. О чем же ей думать? О дедушке с белым бликом на носу? О молитвеннике? О ландышах? Или о зеркале? Солнце зашло, зеркало потемнело и теперь отражало лишь сумрачно-серый кусок неба. Она больше не могла противиться наваждению.

«С белым цветком в петлице…» — начала она. Для этого требовалось несколько минут под-

готовки. Там должен быть зал, пальмы, внизу — пространство, где толпится много людей… Фантазия начала оказывать свое действие. Делию наполнило восхитительное, волнующее чувство. Она — на помосте, перед ней — многочисленная публика, все кричат, машут платками, свистят. И тут она встает. Поднимается, вся в белом, посреди помоста, рядом с ней — мистер Парнелл[84].

— Я говорю во имя Свободы, — начинает она, выбрасывая вперед руки, — во имя Справедливости…

Они стоят бок о бок. Он очень бледен, но его темные глаза горят. Он поворачивается к ней и шепчет…

Внезапно грезы были прерваны. Миссис Парджитер привстала на подушках.

— Где я? — вскрикнула она. Она была напугана и растеряна, как бывало часто, когда она просыпалась. Подняв руку, будто взывая о помощи, она повторила: — Где я?

На мгновение Делия тоже растерялась. Где она?

— Здесь, мама, ты здесь! — крикнула она. — В своей комнате!

---

[84] Примечания: 84

Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) — ирландский политический деятель, борец за автономию Ирландии.

Делия положила руку на покрывало. Миссис Парджитер судорожно сжала ее и обвела комнату глазами, будто кого-то искала. Казалось, она не узнает дочери.

— Что случилось? — спросила она. — Где я?

Затем она посмотрела на Делию и все вспомнила.

— А, Делия… Мне что-то приснилось, — пробормотала она почти виновато. Какое-то время она лежала, глядя в окно.

Снаружи зажигались фонари, улицу начал заливать мягкий свет.

— Сегодня была хорошая погода, — миссис Парджитер помедлила, — как раз для… — видимо, она забыла, для чего.

— Да, чудная, мама, — повторила Делия с деланной бодростью.

— …для… — повторила попытку ее мать.

Что сегодня за день? Делия не могла вспомнить.

— …для дня рождения твоего дяди Дигби, — наконец выговорила миссис Парджитер. — Передай ему от меня… Передай, что я рада.

— Передам, — сказала Делия. Она забыла о дядином дне рождения, а вот ее мать была в этих делах весьма педантична. — Тетя Эжени… — на-

чала Делия.

Но ее мать смотрела на туалетный столик. В отсвете уличного фонаря скатерть казалась особенно белой.

— Опять чистая скатерка! — пробрюзжала миссис Парджитер. — Расходы, Делия, расходы — вот что меня беспокоит.

— Не стоит, мама, — вяло сказала Делия. Ее глаза приковал портрет дедушки. Почему, интересно, думала она, художник мазнул белилами по кончику его носа? — Тетя Эжени принесла тебе цветы, — сообщила Делия.

На лице миссис Парджитер вдруг выразилось удовлетворение. Она задумчиво устремила взгляд на чистую скатерть, которая только что напомнила ей о счете из прачечной.

— Тетя Эжени… — сказала она. — Я прекрасно помню, — ее голос стал живее и полнозвучней, — день, когда объявили о ее помолвке. Мы все были в саду; пришло письмо, — она помолчала, а затем повторила: — Пришло письмо, — и опять некоторое время ничего не говорила. Судя по всему, перебирала воспоминания. — Милый мальчик умер, но, не считая этого… — опять пауза.

Сегодня она выглядит слабее, подумала Делия, и через все ее существо пробежала волна радости.

Фразы матери стали еще более бессвязными, чем обычно. Какой еще мальчик умер? Ожидая, когда миссис Парджитер заговорит, Делия начала считать складки на покрывале.

— Все кузены и кузины летом собирались вместе, — вдруг продолжила мать. — Там был твой дядя Хорас…

— Со стеклянным глазом, — сказала Делия.

— Да. Он повредил глаз, упав с коня-качалки. Тетушки очень ценили Хораса. Они говорили… — последовала долгая пауза. Миссис Парджитер никак не могла найти нужных слов. — Когда Хорас придет… не забудь спросить его о двери в столовую.

Миссис Парджитер наполнила необъяснимая радость. Она даже засмеялась. Вероятно, вспомнила какую-то старинную семейную шутку, предположила Делия, глядя на улыбку, которая померцала и угасла на губах матери. Воцарилось полное молчание. Мать лежала с закрытыми глазами; кисть с единственным кольцом, белая и дряблая, покоилась на покрывале. Слышно было, как в камине потрескивает уголь, как уличный торговец нудит вдалеке. Миссис Парджитер не сказала больше ни слова. Она лежала совершенно неподвижно. Через какое-то время она глубоко

вздохнула.

Открылась дверь, и вошла сиделка. Делия встала и удалилась. Где я? — спросила она себя, уставившись на белый кувшин, который заходящее солнце окрасило в розовый цвет. На мгновение она почувствовала себя на границе между жизнью и смертью. Где я? — повторила она, глядя на розовый кувшин, потому что все вокруг выглядело очень странно. Затем она услышала сверху шум льющейся воды и топот ног.

— А, это ты, Рози, — сказала няня, подняв глаза от колеса швейной машины, когда вошла Роза.

Детская была ярко освещена. На столе стояла лампа без абажура. Миссис С., которая раз в неделю приносила выстиранное белье, сидела в кресле с чашкой в руке.

— А ну, принеси свое шитье, будь умницей, — сказала няня, когда Роза пожала руку миссис С., — иначе не успеешь к папиному дню рождения. — Няня расчистила место на столе.

Роза выдвинула ящик стола и достала мешочек для обуви, который она вышивала синими и красными цветами ко дню рождения отца. В нескольких местах розы еще были нарисованы карандашом, и их предстояло доделать. Она разложила мешочек на столе и стала разглядывать,

а няня тем временем продолжила рассказывать миссис С. о дочери миссис Кёрби. Но Роза не слушала.

Тогда я пойду одна, решила она, расправляя мешочек. Если Мартин не хочет, я пойду сама.

— Я оставила швейную коробку в гостиной, — громко сказала Роза.

— Так сходи принеси, — отозвалась няня, не вникая в суть дела. Она хотела досказать миссис С. про дочь бакалейщицы.

Приключение началось, сказала себе Роза, прокравшись на цыпочках в детскую спальню. Теперь надо позаботиться об оружии и припасах. Во-первых, стащить нянин ключ. Но где он? Каждый вечер няня прятала его в новом месте, чтобы не нашли воры. Он либо под ящиком для носовых платков, либо в коробочке, где она держит золотую цепочку от часов своей матери. Вот он. Так, оружие есть, подумала она, доставая собственный кошелек из собственного ящика, и припасов вдоволь, подумала она, перекидывая через руку пальто и беря шляпку, — хватит недели на две.

Она тихонько пробралась мимо детской и спустилась по лестнице. Проходя мимо классной, навострила уши. Надо быть осторожнее — не наступить на сухую ветку, не дай бог, затрещит,

говорила она себе, идя на цыпочках. Около материнской спальни она опять остановилась и прислушалась. Тишина. На лестничной площадке она помедлила, глядя вниз, в переднюю. Там никого не было. Из гостиной слышались приглушенные голоса.

Роза очень осторожно повернула ключ в замке входной двери и закрыла ее за собой почти без щелчка. До угла она кралась на корточках вдоль стены, чтобы никто ее не увидел. И только на углу, под ракитником, выпрямилась.

— Я Парджитер, командир кавалеристов, — сказала она, взмахнув рукой. — Я скачу на помощь!

Она отчаянно скачет сквозь ночь на выручку осажденному гарнизону. При ней секретная депеша — она сжала в кулаке кошелек, — которую надо передать лично генералу. Их жизни зависят от нее. Британский флаг еще реет над главной башней: главная башня — это магазин Лэмли; генерал стоит на крыше магазина Лэмли, приставив к глазу подзорную трубу. От нее, скачущей по вражеской территории, зависит, жить им всем или умереть. Она несется галопом по пустыне. Так, перешла на рысь. Начинает темнеть. На улице зажигают фонари. Фонарщик просовывает свой шест в маленькую дверцу. Деревья в садиках

перед домами отбрасывают колышущиеся сетчатые тени на мостовую. Мостовая простирается перед Розой — широкая и темная. Перекресток, а напротив — на магазинном островке — лавка Лэмли. Надо только пересечь пустыню, перейти вброд реку, и она будет в безопасности. Выставив руку с пистолетом, она пришпорила коня и пошла галопом по Мелроуз-авеню[85]. Пробегая мимо почтового ящика, она увидела, что под газовым фонарем вдруг появился мужчина.

— Враг! — крикнула Роза сама себе. — Враг! Бабах! — воскликнула она и спустила курок своего пистолета, посмотрев врагу прямо в лицо, когда поравнялась с ним. Лицо было ужасное. Белое, голое, рябое. Он ухмыльнулся ей. И протянул руку, как будто собираясь остановить ее. Чуть не поймал. Она проскочила мимо. Игра кончилась.

Она опять стала самой собой — девочкой, которая ослушалась сестры и бежит в тапочках искать убежища в магазине Лэмли.

Румяная миссис Лэмли стояла за прилавком и складывала газеты. Она смотрела на грошовые часики, картонки с прикрепленными к ним инструментами, игрушечные кораблики, коро-

---

[85] Примечания: 85

Мелроуз-авеню — вымышленная улица.

бочки с дешевыми канцелярскими товарами и, видимо, думала о чем-то приятном, потому что улыбалась. Тут ворвалась Роза. Миссис Лэмли вопросительно подняла голову.

— Здравствуй, Рози! — воскликнула она. — Чего желаешь, моя дорогая?

Руку она так и оставила лежать на кипе газет. Роза стояла, тяжело дыша. Она забыла, зачем пришла.

— Мне коробку с уточками с витрины, — наконец вспомнила Роза.

Миссис Лэмли вразвалку отправилась за уточками.

— Не поздновато ли для девочки гулять одной? — спросила она, посмотрев на Розу так, будто знала, что та улизнула из дому в тапочках, ослушавшись сестры. — Всего хорошего, моя дорогая, и беги домой, — сказала миссис Лэмли, вручая Розе коробку.

На пороге девочка заколебалась: она стояла и смотрела на игрушки под висячей масляной лампой. Потом нехотя вышла.

Я отдала депешу лично генералу, сказала она себе, очутившись опять на тротуаре. А это — трофей, добавила, сжав коробку под мышкой. Я возвращаюсь победительницей, с головой

предводителя мятежников, воображала она, окидывая взглядом Мелроуз-авеню, которая простиралась перед ней. Я должна пришпорить коня и поскакать галопом. Но вдохновение покинуло ее. Мелроуз-авеню осталась Мелроуз-авеню. Роза посмотрела вдаль. Впереди лежала просто длинная пустая улица. Тени деревьев дрожали на мостовой. Фонари стояли далеко один от другого, а между ними залегли куски тьмы. Роза пошла быстрым шагом. Вдруг, проходя мимо фонаря, она опять увидела того мужчину. Он прислонился спиной к фонарному столбу, газовый свет мерцал на его лице. Когда Роза поравнялась с ним, он несколько раз втянул губы и выпятил обратно. И мяукнул. Но руки к ней не протянул; руками он расстегивал свои пуговицы.

Роза побежала что было сил. Ей казалось, что он преследует ее. Она слышала, как его ноги мягко топали по тротуару. Она бежала, а все вокруг тряслось; розовые и черные точки прыгали перед ее глазами, когда она подлетела к порогу, вставила ключ в замок и открыла дверь в переднюю. Ей было все равно, шумит она или нет. Она надеялась, что кто-то выйдет и заговорит с ней. Но никто ее не услышал. Передняя была пуста. Собака спала на коврике. В гостиной все так же

гудели голоса.

— А когда загорится, — говорила Элинор, — станет слишком жарко.

Кросби сгребла уголь в большую черную гору. Над ней угрюмо вился желтый дымок. Пока уголь только тлел, но, когда он загорится, станет слишком жарко.

— Она видит, как няня ворует сахар, по ее словам. Она видит ее тень на стене, — говорила Милли. Речь шла об их матери. — Да еще Эдвард, — добавила Милли, — забывает писать.

— Кстати, — сказала Элинор. Надо не забыть написать Эдварду. Но для этого будет время после ужина. Она не хотела писать, не хотела разговаривать. Всегда по возвращении из Гроув Элинор казалось, будто многое, разное, происходит одновременно. В ее сознании все повторялись и повторялись слова — слова и образы. Она думала о старой миссис Леви, сидящей на кровати, с копной седых волос, похожей на парик, и лицом, растрескавшимся, как старый глазурованный горшок.

— Тех, кто был добр ко мне, их я помню… Которые ездили в своих каретах, когда я была бедной вдовицей, и стирала, и катала, — тут она протягивала руку, скрюченную и белесую, как древесный

корень.

— Тех, кто был ко мне добр, их я помню… — повторила Элинор, глядя на огонь.

Потом вошла дочь миссис Леви, работавшая у портнихи. Она носила жемчуга размером с куриное яйцо; она начала красить лицо; она была очень миловидна. Слегка пошевелилась Милли.

— Я тут подумала, — вдруг сказала Элинор, — что бедные радуются жизни больше, чем мы.

— Леви? — рассеянно спросила Милли. Но затем ее лицо озарилось. — Расскажи мне о Леви, — попросила она. Отношения Элинор с «бедными» — с Леви, Граббами, Паравичини, Цвинглерами и Коббсами — всегда живо интересовали ее. Но Элинор не любила говорить о «бедных» как о персонажах из книги. Она восхищалась миссис Леви, умиравшей от рака.

— У них все как обычно, — сухо сказала Элинор.

Милли посмотрела на нее. Элинор хандрит, подумала она. Это была семейная шутка: «Осторожно. Элинор хандрит. У нее сегодня Гроув». Элинор стыдилась этого, но она действительно почему-то бывала раздражительна, возвращаясь из Гроув, — в ее голове одновременно теснилось столько всего: Кэннинг-Плейс, Эберкорн-Террас,

эта комната, та комната. Старая еврейка, сидящая в постели в своей душной каморке; потом возвращение домой, здесь болеет мама, папа брюзжит, Делия и Милли пикируются из-за приглашения… Но она взяла себя в руки. Надо постараться и рассказать сестре что-нибудь интересное.

— Вдруг оказалось, что у миссис Леви есть чем заплатить за квартиру, — сказала Элинор. — Лили ей помогает. Лили работает у портнихи в Шордиче[86]. Она приходила — вся в жемчугах и вообще. Они любят украшения, евреи, — добавила она.

— Евреи? — переспросила Милли. Она как будто попробовала «евреев» на вкус, а потом выплюнула. — Да. Они любят блеск.

— Она на редкость хороша собой, — сказала Элинор, вспоминая румяные щеки и белые жемчужины.

Милли улыбнулась. Элинор всегда заступалась за бедных. Она считала Элинор самым лучшим, самым мудрым, самым замечательным человеком из всех, кого она знала.

— Ты, наверное, любишь бывать там больше всего на свете, — сказала Милли. — Наверное, ты

---

[86] Примечания: 86

Шордич — бедный район Лондона, где в XIX в. было сосредоточено производство одежды.

хотела бы и жить там, будь твоя воля, — добавила она, тихонько вздохнув.

Элинор заерзала в кресле. У нее, конечно, были свои мечты, свои планы, но она не хотела обсуждать их.

— Наверное, ты поселишься там, когда выйдешь замуж, — сказала Милли. В ее голосе слышались и досада, и жалоба. Званый ужин, званый ужин у Бёрков, подумала Элинор. Ей не нравилось, что Милли всегда сводит разговор к замужеству. А что они знают о браке? — спросила она себя. Они слишком много сидят дома, подумала она, и не видят никого, кроме знакомых. Томятся взаперти, день за днем… Поэтому она и сказала: «Бедные радуются жизни больше, чем мы». Это пришло ей в голову, когда она вернулась в эту гостиную, к этой мебели, и цветам, и сиделкам… И опять она себя одернула. Надо подождать. Вот когда я останусь одна и буду чистить зубы на ночь… В присутствии других нельзя позволять себе думать о двух вещах сразу. Она взяла кочергу и ударила по углям.

— Смотри! Как красиво! — воскликнула Элинор. На углях плясало пламя, легкий и бесполезный огонек. Такой огонек появлялся, когда в детстве они бросали в камин соль. Она ударила еще

раз, и в дымоход полетел сноп золотых искр. — Помнишь, — спросила она, как мы играли в пожарных и мы с Моррисом подожгли дымоход?

— А Пиппи привела папу, — сказала Милли и замолчала. Из передней послышались какие-то звуки. Стукнула трость, кто-то повесил пальто. Глаза Элинор засветились. Это Моррис — да, она узнавала его по характерным звукам. Вот сейчас он входит. Она обернулась с улыбкой, как раз когда дверь открылась. Милли вскочила.

Моррис попытался остановить ее.

— Не уходи… — начал он.

— Нет! — крикнула Милли. — Пойду. Пойду приму ванну, — добавила она торопливо. И ушла.

Моррис уселся в кресло, которое она освободила. Он был рад, что остался с Элинор наедине. Некоторое время оба молчали. Они смотрели на желтый дымок и на маленькое, легкое, никчемное пламя, пляшущее на черной горе угля. Затем он задал обычный вопрос:

— Как мама?

Элинор рассказала, что все без перемен, «кроме того, что она стала больше спать». Моррис наморщил лоб. Он теряет юношескую свежесть, подумала Элинор. Это самое худшее в адвокатуре,

все говорят: приходится долго ждать. Он делает черную работу для Сандерса Карри, и это очень скучно, надо целыми днями торчать в суде и ждать.

— Как старик Карри? — спросила она. У старика Карри был трудный характер.

— Желчь дает себя знать, — мрачно ответил Моррис.

— А что ты делал весь день?

— Ничего особенного.

— По-прежнему Эванс против Картера?

— Да, — кратко ответил он.

— И кто выиграет?

— Картер, конечно.

Почему «конечно», хотела она спросить, но на днях она сказала какую-то глупость, показавшую, что она не слушала его. Она все путала: например, какая разница между общим правом и каким-то другим правом? Она ничего не спросила. Они сидели молча и наблюдали за игрой пламени на углях. Пламя было зеленоватое, легкое, никчемное.

— Не думаешь ли ты, что я поступил, как полный дурак? — вдруг спросил Моррис. — Мама болеет, к тому же надо платить за Эдварда и Мартина — папе, наверное, тяжеловато. — Он опять

наморщил лоб, и Элинор опять подумала, что он теряет юношескую свежесть.

— Нет, конечно, — сказала она с убеждением. Вне всяких сомнений, было бы нелепо, если бы он пошел в бизнес, ведь его сердце принадлежало юриспруденции.

— Когда-нибудь ты станешь лордом-канцлером, — сказала она. — Я в этом уверена.

Он покачал головой и улыбнулся.

— Точно, — сказала она, посмотрев на него так, как смотрела, когда он возвращался из школы, и все похвалы доставались Эдварду, а Моррис сидел молча — она прекрасно это помнила — и глотал еду, и никто не обращал на него внимания. Но даже сейчас, глядя на него, она вдруг засомневалась. Она сказала, что он станет лордом-канцлером. А может, надо было сказать, «лордом — главным судьей»? Она никак не могла запомнить, кто есть кто, поэтому он и не хочет обсуждать с ней дело «Эванс против Картера».

Она тоже никогда не рассказывала ему про Леви, разве в виде шутки. Вот что самое обидное, когда взрослеешь, подумала она: они не могут всем делиться друг с другом, как раньше. У них никогда не бывает времени побеседовать, как раньше, — обо всем на свете, и говорят они всегда

только о фактах, о мелочах. Она поворошила огонь. Вдруг комнату наполнил резкий звук. Это Кросби ударила в гонг, висящий в передней. Словно дикарь, изливающий мстительный гнев на медном идоле. Волны тревожного гула сотрясали воздух.

— Господи, пора переодеваться! — сказал Моррис.

Он встал и потянулся. Поднял руки и подержал их над головой. Так он будет выглядеть, когда станет отцом семейства, подумала Элинор. Он опустил руки и вышел. Элинор еще немного посидела, размышляя, а потом встала. Что я должна не забыть? — спросила она у себя. А, написать Эдварду, тихо сказала она, подходя к письменному столу матери. Теперь это будет мой стол, подумала она, глядя на серебряный подсвечник, миниатюрный портрет деда, бухгалтерские книги — на одной из них была вытиснута золоченая корова — и на пятнистого тюленя с щетиной на спинке — подарок Мартина маме к ее последнему дню рождения.

Кросби держала открытой дверь столовой и ждала, пока они спустятся. Чистка серебра не прошла даром, подумала она. На столе сверкали ножи и вилки. Вся комната, с резными стульями,

картинами, двумя кинжалами над камином и красивым буфетом — все эти массивные предметы, которые Кросби ежедневно вытирала и полировала, лучше всего смотрелись вечером. Днем они пахли едой и скрывались под саржей, а вечером были ярко освещены и казались полупрозрачными. И семья очень пригожая, думала она, когда они проходили в столовую: девушки в красивых платьях из узорчатого сине-белого муслина и мужчины, такие элегантные в вечерних пиджаках. Кросби выдвинула кресло полковника. По вечерам он всегда бывал в ударе, ужинал с аппетитом, и его дурное настроение куда-то девалось. Он был в жизнерадостном расположении духа. Заметив это, дети тоже воспряли.

— Ты сегодня в прелестном платье, — сказал он Делии, садясь.

— Оно старое, — откликнулась она, приглаживая синий муслин.

Бывая в хорошем настроении, он излучал великодушие, непринужденность, обаяние, и это ей особенно в нем нравилось. Люди всегда говорили, что она похожа на него. Иногда это ее радовало — например, в этот вечер. В вечернем пиджаке он смотрелся таким чистым, розовым, добродушным. В такие минуты они опять становились

детьми, повторяли семейные шутки и смеялись над ними без особенной причины.

— Элинор хандрит, — сказал отец, подмигивая остальным. — У нее сегодня Гроув.

Все засмеялись: Элинор подумала, что он рассказывает о Ровере, собаке, тогда как речь шла о женщине — миссис Эджертон. Кросби, разливавшая суп, сморщилась, потому что ей тоже хотелось расхохотаться. Иногда полковник так смешил Кросби, что ей приходилось отворачиваться и делать вид, будто она чем-то занята у буфета.

— А, миссис Эджертон… — сказала Элинор, принимаясь за суп.

— Да, миссис Эджертон, — отозвался отец и стал дальше рассказывать историю о миссис Эджертон, «про чьи золотые волосы злые языки говорили, что они не совсем ее собственные».

Делия любила слушать рассказы отца об Индии. Они были остроумны и одновременно романтичны. Представлялся офицерский ужин очень жарким вечером: все сидят в обеденных кителях за столом, посреди стола стоит огромная серебряная чаша.

Он всегда был таким, когда мы были маленькими, думала она. Она вспомнила, что он прыгал

через костер на ее дне рождения. Она наблюдала за тем, как он ловко раскладывает котлеты по тарелкам левой рукой. Она восхищалась его уверенностью, здравомыслием. Раздавая котлеты, он продолжал:

— Прелестная миссис Эджертон напомнила мне… Я рассказывал вам о старике Парксе по кличке Барсук и…

— Мисс, — тихо сказала Кросби, открыв дверь у Элинор за спиной. Она прошептала несколько слов на ухо девушке.

— Иду, — сказала Элинор, поднимаясь.

— Что такое, что такое? — спросил полковник, остановившись посреди фразы.

Элинор вышла.

— Что-то от сиделки, — сказала Милли. Полковник, только что положивший себе котлету, задержал нож и вилку на весу. Все последовали его примеру. Есть никому уже не хотелось.

— Так, давайте ужинать, — сказал полковник, приступая к котлете. Его веселость пропала.

Моррис нерешительно положил себе картофеля. Вновь появилась Кросби. Она остановилась в дверях, пронзительно глядя своими бледно-голубыми глазами.

— Что там, Кросби? — спросил полковник.

— Кажется, госпоже стало хуже, сэр, — сказала она, необычно подрагивающим голосом.

Все встали.

— Подождите, я схожу узнаю, — сказал Моррис. Все пошли за ним в переднюю. Полковник по-прежнему держал в руках салфетку. Моррис взбежал наверх и почти сразу вернулся.

— У мамы был обморок, — сообщил он полковнику. — Я поеду за Прентисом. — Схватив шляпу и пальто, он бегом спустился по парадной лестнице. Растерянно стоя в передней, все услышали, как он свистом подозвал экипаж.

— Доедайте ужин, девочки, — повелительно сказал отец. Но сам стал ходить взад-вперед по гостиной, держа в руке салфетку.

— Наконец-то, — сказала себе Делия. — Наконец-то!

Ее наполнило ощущение необычайного облегчения и радости. Отец ходил из одной гостиной в другую, она следовала за ним, но старалась не встречаться с ним. Они были слишком похожи, каждый знал, что чувствует другой. Она стояла у окна, глядя вдоль улицы. Там шел ливень. Мостовая была мокрая, крыши блестели. Темные тучи ползли по небу. Ветви качались вверх-вниз в свете фонарей. Что-то внутри Делии тоже

вздымалось и опускалось. Что-то неизвестное приближалось к ней. Затем всхлипывание за спиной заставило ее обернуться. Это была Милли. Она стояла у камина под портретом девушки в белом платье с корзиной цветов, и слезы медленно текли по ее щекам. Делия сделала шаг к ней. Надо было подойти к сестре и обнять ее. Но она не могла этого сделать. По щекам Милли текли настоящие слезы. А глаза Делии оставались сухими. Она опять отвернулась к окну. Улица была пуста, только ветви качались вверх-вниз в свете фонарей. Полковник ходил из стороны в сторону. «Проклятье!» — сказал он, наткнувшись на стол. Из верхней комнаты доносились шаги. И неясные голоса. Делия отвернулась к окну.

Подрагивая, подъехала одноколка. Едва она остановилась, из нее выпрыгнул Моррис. За ним последовал доктор Прентис. Он сразу прошел наверх, а Моррис остался ждать в гостиной.

— Может, закончите ужин? — сердито спросил полковник, остановившись перед своими детьми.

— Когда он уйдет, — раздраженно ответил Моррис.

Полковник опять стал ходить.

Потом он замер перед камином, сцепив руки

за спиной. Он выглядел напряженным, как будто готовил себя к чрезвычайным обстоятельствам.

Мы оба притворяемся, подумала Делия, украдкой глядя на него, но у него получается лучше, чем у меня.

Она опять посмотрела в окно. Дождь. В лучах фонарей водяные струи сверкали длинными серебристыми нитями.

— Дождь, — тихо сказала Делия, но ей никто не ответил.

Наконец на лестнице послышались шаги, и вошел доктор Прентис. Он осторожно затворил за собой дверь, но молчания не нарушил.

— Ну что? — спросил полковник, поворачиваясь к нему.

Последовала долгая пауза.

— Как вы ее находите? — опять спросил полковник.

Доктор Прентис слегка пожал плечами.

— Ей лучше, — сказал он и добавил: — На данный момент.

Делии показалось, что эти слова ударили ее по голове. Она опустилась на подлокотник кресла.

Значит, ты не умрешь, сказала она про себя, глядя на девушку, которая балансировала на стволе дерева. Та как будто смотрела на свою

дочь со злой ухмылкой. Ты не умрешь, никогда, никогда! — безмолвно кричала Делия, сжимая кулаки под портретом своей матери.

— Ну что, продолжим ужин? — сказал полковник, беря салфетку, которую он бросил на стол в гостиной.

Жаль — ужин испорчен, думала Кросби, опять неся с кухни котлеты. Мясо подсохло, а картофель покрылся коричневой корочкой. К тому же у одной из ламп начал подгорать абажур, заметила она, ставя блюдо перед полковником. После этого она вышла и закрыла за собой дверь, а ее хозяева принялись за еду.

В доме было тихо. Собака спала на коврике у подножия лестницы. Было тихо и у двери в комнату больной. Слабое сопение доносилось из спальни Мартина. В детской миссис С. и няня продолжили ужин, прерванный, когда они услышали звуки снизу, из передней. В детской спальне спала Роза. Какое-то время она лежала, свернувшись калачиком, закутав голову одеялом, и сон ее был глубок. Затем она пошевелилась и вытянула руки. Что-то выплыло из черноты. Над Розой висел белый овал, покачиваясь, как будто на веревке. Она приоткрыла глаза. На белом фоне

появлялись и исчезали серые пятна. Роза совсем проснулась. Близко перед ней, как будто на веревке, висело лицо. Она закрыла глаза, но лицо не исчезло, оно было рябое и вспучивалось серыми, белыми, лиловатыми пузырями. Роза дотронулась рукой до большой кровати, стоявшей рядом. Но кровать была пуста. Девочка прислушалась. Через коридор, в детской, постукивали ножи и звучали голоса. Она не могла заснуть.

Она стала представлять отару овец, запертую в загоне на поле. Она заставила перепрыгнуть через изгородь одну овцу, потом другую. Она считала их. Одна, две, три, четыре — овцы прыгали через изгородь. Но пятая не захотела прыгать. Она обернулась и посмотрела на Розу. У овцы была длинная серая морда, губы шевелились. Это было лицо того мужчины у почтового ящика, и Роза оказалась с ним один на один. Она закрывала глаза и видела это лицо, открывала — и все равно видела.

Роза села на кровати и закричала:

— Няня! Няня!

Мертвая тишина повсюду. Стук ножей и вилок в соседней комнате прекратился. Она была наедине с чем-то ужасным. Потом до нее донеслось шарканье ног в коридоре. Оно становилось все

ближе и ближе. Это тот мужчина. Он взялся за ручку двери. Дверь открылась. Клин света упал на умывальник. Кувшин и таз заблестели. Мужчина здесь, с ней, в комнате… Но это была Элинор.

— Почему ты не спишь? — спросила Элинор. Она поставила свечу и стала расправлять скомканные простыни и пододеяльник.

Элинор посмотрела на Розу. Глаза у той ярко блестели, щеки горели румянцем. В чем дело? Они разбудили ее своим хождением по маминой комнате?

— Что тебя растревожило? — спросила Элинор. Роза зевнула — раз, другой. Но это были скорее вздохи, чем зевки. Она не могла рассказать Элинор, что видела. Ее терзало чувство вины. Почему-то она не могла сказать правду о привидевшемся ей лице.

— Мне приснился страшный сон, — вымолвила Роза. — Я испугалась. — Она опять села на кровати и вздрогнула всем телом.

В чем же все-таки дело? — опять подумала Элинор. Ее испугал Мартин? Они опять гонялись за кошками в саду мисс Пим?

— Вы опять гонялись за кошками? — спросила она. — Бедные кошки. Представь, если бы с тобой так.

Но она знала, что страх Розы не имеет отношения к кошкам. Девочка крепко держала ее за палец и странным взглядом смотрела в пространство.

— Что тебе приснилось? — спросила Элинор, садясь на край кровати.

Роза уставилась на нее. Она не могла рассказать ей, но любой ценой надо было удержать Элинор рядом.

— Мне показалось, что в комнате кто-то есть, — наконец выговорила она. — Грабитель.

— Грабитель? Здесь? — удивилась Элинор. — Роза, ну как может грабитель забраться в детскую? Дома папа, Моррис, они бы никогда не позволили грабителю проникнуть в твою комнату.

— Да, — сказала Роза. — Папа убил бы его.

Что-то странное было в том, как она вздрагивала.

— А что вы там делаете? — спросила она с беспокойством. — Вы что, еще не легли спать? Ведь уже очень поздно, разве нет?

— Что мы делаем? Мы сидим в гостиной. Еще не очень поздно. — В то время, когда Элинор это говорила, в комнате послышался отдаленный гул.

Когда ветер дул со стороны собора Святого Павла, до них доносился колокольный звон.

Плавные круги расходились в воздухе: один, два, три, четыре — Элинор считала, — восемь, девять, десять. Она удивилась, что удары прекратились так скоро.

— Ну вот, видишь, еще только десять часов, — сказала она. Ей казалось, что уже намного больше. Но последний удар растаял в воздухе. — А теперь засыпай.

Роза сжала руку сестры.

— Не уходи пока, Элинор, — попросила она.

— А ты скажи, что тебя напугало, — сказала Элинор. Что-то от нее скрывается, она была уверена в этом.

— Я видела… — начала Роза. Она сделала над собой огромное усилие, чтобы сказать правду, рассказать о мужчине у почтового ящика. — Я видела… — повторила она. Но тут дверь открылась, и вошла няня.

— Не понимаю, что сегодня с Розой, — сказала она, с шумом подходя к кровати. Она чувствовала себя немного виноватой, потому что задержалась внизу с другими слугами, сплетничая о госпоже. — Обычно она так крепко спит.

— Вот и няня, — сказала Элинор. — Она сейчас тоже ляжет спать, и ты больше не будешь бояться, правда? — Элинор разгладила простыню и

поцеловала Розу, а потом встала и взяла свечу.

— Спокойной ночи, няня, — попрощалась она, выходя.

— Спокойной ночи, мисс Элинор, — ответила няня, добавив своему голосу участливости: внизу все говорили, что госпожа долго не протянет.

— Ну, детка, давай на бочок и спать, — сказала она и поцеловала Розу в лоб. Ей было жаль девочку, которая скоро осиротеет. Затем она вытащила из манжет серебряные запонки и начала вынимать из волос шпильки, стоя в нижних юбках перед комодом.

— Я видела… — повторила Элинор, закрывая за собой дверь детской спальни. — Я видела…

Что она видела? Что-то страшное, тайное. Но что? Оно пряталось рядом, позади ее глаз, так напряженно глядевших… Свеча на подсвечнике, который держала Элинор, немного покосилась. Прежде чем она это заметила, три капли свечного сала упали на полированный плинтус. Элинор выпрямила свечу и стала спускаться по лестнице. Она прислушалась. Тишина. Мартин спал. И мать спала. Проходя мимо дверей, минуя ступеньку за ступенькой, она чувствовала, как будто на нее ложится тяжкое бремя. Она остановилась и посмотрела вниз, где была передняя. Тьма хлынула

на нее. Где я? — спросила она себя, вглядевшись в кромешный мрак. Что с ней? Она одна посреди пустоты, и все-таки она должна спускаться дальше, должна нести свое бремя. Она приподняла руки, как будто несла кувшин, глиняный кувшин на голове. И опять остановилась. Перед ее глазами проступили контуры миски. В ней была вода. И еще что-то желтое. Это собачья миска, поняла Элинор, а в миске — кусок серы. Собака лежала, свернувшись калачиком, у подножия лестницы. Элинор осторожно перешагнула через тело спящей собаки и вошла в гостиную.

Все посмотрели на нее. У Морриса в руках была книга, но он не читал; Милли держала рукоделье, но не вышивала; Делия полулежала в кресле, совершенно ничем не занятая. Элинор постояла в нерешительности, а потом направилась к письменному столу.

— Напишу Эдварду, — прошептала она.

Она взяла перо, но задумалась. Ей было трудно писать Эдварду: беря перо, разглаживая бумагу на столе, она видела брата перед собой. Его глаза были слишком близко посажены; ее раздражало, как он взъерошивал свой хохолок перед зеркалом в передней. У нее было для него прозвище — «Клин». Но письмо она начала так: «Дорогой

Эдвард…» — прозвище сейчас было не к месту.

Моррис поднял глаза от книги, которую пытался читать. Скрип пера Элинор раздражал его. Она остановилась, потом стала вновь писать, затем положила голову на руку. Конечно, все заботы ложатся на нее. И все-таки она его раздражает. Она всегда задает вопросы и никогда не слушает ответы. Он опять стал смотреть в книгу. Но что толку пытаться читать? Ему было неприятно, что все усиленно сдерживают свои чувства. Сделать никто ничего не может, но все сидят с видом подавляемых чувств. Морриса раздражало вышивание Милли и то, что Делия полулежит в кресле, как обычно, без дела. И он заперт тут со всеми этими женщинами, окруженный ненастоящими чувствами. А Элинор все пишет, пишет, пишет. Писать-то не о чем, — но она лизнула конверт, заклеила его и прилепила марку.

— Отнести? — спросил Моррис, откладывая книгу.

Он встал с таким видом, будто был рад хоть что-то сделать. Элинор проводила его до двери и стояла, держа ее открытой, пока он шел к почтовому ящику. На улице моросило. Элинор вдыхала влажный воздух, глядя на причудливые тени, дрожащие на мостовой под деревьями. Моррис

вошел в тень и исчез за углом. Элинор вспомнила, как она всегда стояла у двери, когда он, мальчиком, уходил в школу с ранцем в руке. Она махала ему на прощанье, и он, подойдя к углу, всегда махал ей в ответ. Это была их особенная маленькая церемония, теперь, когда они выросли, забытая. Тени дрожали, а она стояла и ждала. Через минуту он появился из темноты. Прошел по улице и поднялся по лестнице.

— Завтра получит, — сказал Моррис. — Во всяком случае, со второй доставкой.

Он закрыл дверь и наклонился, чтобы наложить цепочку. Когда цепочка звякнула, Элинор показалось, будто они оба признали как факт, что в эту ночь уже ничего не случится. Они избегали смотреть друг другу в глаза: на сегодня с них хватит эмоций. Они вернулись в гостиную.

— Ну, — сказала Элинор, оглядываясь, — я, пожалуй, пойду спать. Сиделка позвонит, если ей что-то понадобится.

— Мы все можем идти, — согласился Моррис.

Милли стала сворачивать свое вышивание. Моррис принялся тушить кочергой пламя в камине.

— Бестолковый огонь! — воскликнул он раздраженно. Уголь слипся в одну глыбу, которая

ярко полыхала.

Вдруг зазвонил колокольчик.

— Сиделка! — вскрикнула Элинор, посмотрела на Морриса и торопливо вышла. Моррис последовал за ней.

Что толку? — думала Делия. Очередная ложная тревога. Она встала.

— Это просто сиделка, — сказала она Милли, лицо которой выражало тревогу. Только не смей опять плакать, подумала Делия и прошла в первую гостиную.

На каминной полке горели свечи, освещающие портрет матери. Делия посмотрела на картину. Девушка в белом как будто наблюдала за собственным затянувшимся умиранием с безразличной улыбкой, которая сейчас выводила из себя ее дочь.

— Ты не умрешь, ты не умрешь! — зло сказала Делия, глядя на портрет.

В комнату вошел отец, растревоженный звонком. На голове у него была красная феска с нелепой кисточкой.

Это все без толку, подумала Делия, глядя на отца. Она понимала, что им обоим надо сдерживать волнение.

— Ничего не случится, совершенно ничего, —

сказала она ему. Но в это мгновение в комнату вошла Элинор. Она была очень бледна.

— Где папа? — спросила она, оглядываясь. Она увидела его. — Иди, папа, скорее, — сказала она, протягивая руку вперед. — Мама умирает… Надо привести детей… — добавила она, обращаясь через плечо к Милли.

Делия заметила, что у отца на висках проступили два белых пятнышка. Его глаза застыли. Он подобрался и прошел мимо остальных на лестницу. Все последовали за ним маленькой процессией. Собака, заметила Делия, сделала попытку пойти с ними, но Моррис прогнал ее шлепком. Первым в спальню вошел полковник, затем Элинор, потом Моррис; Мартин спустился, натягивая халат; потом Милли ввела Розу, закутанную в шаль. Делия была последней. В комнате оказалось так много людей, что она не могла пройти дальше двери. Ей было видно, что обе сиделки стоят, прислонившись спинами к противоположной стене. Одна из них плакала — та, узнала Делия, которая только сегодня пришла. Ей не было видно кровати, но она видела, как Моррис упал на колени. Мне тоже надо стать на колени? — подумала она. И решила: только не в коридоре. Она посмотрела в сторону. В конце

коридора было маленькое окно, за которым шел дождь. Откуда-то падал свет, заставлявший капли сверкать. Одна за другой капли текли по стеклу; текли и останавливались; капля сливалась с каплей, и уже как одно целое они текли дальше. В спальне царила полная тишина.

Это смерть? — спросила себя Делия. На мгновение она как будто что-то увидела. Стена воды разделилась надвое. Делия прислушалась. Полная тишина. Потом из спальни послышалось шевеление, шарканье ног, и оттуда неверной походкой вышел отец.

— Роза! — закричал он. — Роза! Роза! — Он держал перед собой сжатые кулаки.

У тебя хорошо получилось, подумала Делия, когда он проходил мимо нее. Как сцена из спектакля. Она вполне бесстрастно наблюдала за все так же падавшими дождевыми каплями. Капля скользила по стеклу, встречала другую, и вместе, уже одной каплей, они стекали вниз.

Лил дождь. Мелкая, частая морось сеялась на мостовые, и они жирно блестели. Стоит ли открывать зонтик, стоит ли подзывать экипаж? — спрашивали себя люди, выходившие из театров и глядевшие в ватно-молочное беззвездное небо. Там, где дождь падал на землю, на поля

и сады, земля благоухала. Здесь капля повисла на травинке, там она наполнила чашечку полевого цветка; подул ветерок и развеял дождь по воздуху. Не укрыться ли под боярышником, под изгородью? — как будто спрашивали себя овцы; а коровы, выпущенные на серые поля, стояли у темных изгородей и сонно жевали, жевали, не обращая внимания на капли, усеявшие их спины и бока. Капли падали на крыши — и в Вестминстере, и в Лэдброук-Гроув. На море миллионы иголок кололи кожу огромного синего чудовища, которое словно принимало гигантский душ. На большие купола, на парящие в небе шпили дремлющих университетских городов, на свинцовые крыши библиотек, на музеи, закутанные в бурый холст, бархатный дождь струил влагу, которая в конце концов достигала фантастических кривляк — когтистых горгулий, изливаясь из их пастей тысячами извилистых струй. Пьяный, вываливаясь из пивной в узкий переулок, проклинал этот дождь. Женщины при родах слышали, как врач говорил акушерке: «Дождь идет». Грузные оксфордские колокола задумчиво модулировали свои мелодичные заклинания, будто медлительные дельфины ворочались в масляном море. Мелкая, легкая морось одинаково и беспристраст-

но поливала и митры, и непокрытые головы, как будто бог дождя, если есть такой бог, думал: «Пусть от щедрот моих достанется не только мудрым, не только великим, но всем, кто дышит, кто жует и чавкает, кто невежествен и несчастлив, кто тяжко трудится у печи, делая бесчисленные копии одного и того же горшка, кто продирается раскаленными докрасна мозгами сквозь корявые буквы, а также миссис Джонс в переулке».

В Оксфорде шел дождь. Он падал мягко, но неустанно, заставляя канавы всхлипывать и булькать. Высунувшись из окна, Эдвард видел деревья в саду колледжа, белесые от дождя. Только шелест листьев и шум дождя нарушали тишину. От влажной земли исходил густой дух. Здесь и там на фоне темной массы колледжа зажигались лампы в окнах, а в одном месте виднелась как будто бледно-желтая груда — в том углу, где свет фонаря ложился на цветущее дерево. Трава стала невидимой, текучей, серой, как вода.

Эдвард глубоко, с удовлетворением вздохнул. Из всех мгновений дня он больше всего любил это — когда можно стоять и смотреть в сад. Он опять вдохнул сырой прохладный воздух, а потом сделал над собой усилие и вернулся в комнату. Он занимался очень напряженно. По совету настав-

ника его день был поделен на часы и получасы. Но до следующего этапа еще оставалось пять минут. Эдвард поднял абажур настольной лампы. Ее зеленый свет добавлял ему бледности и худобы, но все равно он был очень хорош собой. Точеные черты лица и светлые волосы, которые он одним движением руки взбивал в хохолок, делали его похожим на юношу с греческого фриза. Он улыбнулся. Глядя на дождь, он вспомнил, как после беседы с наставником его отец — когда старый Харботл сказал: «У вашего сына есть шанс», — как старик настоял, чтобы они сходили посмотреть комнаты, которые когда-то, будучи студентом колледжа, занимал его собственный отец. Они явились туда без приглашения и застали молодого человека по фамилии Томпсон, стоявшего на коленях и раздувавшего мехами огонь в камине.

— Мой отец занимал эти комнаты, сэр, — вместо извинения сказал полковник.

Юноша сильно покраснел и ответил:

— Ничего-ничего.

Эдвард, улыбнувшись, повторил:

— Ничего-ничего.

Пора было начинать. Он еще приподнял абажур лампы. Труд его лежал перед ним, выхваченный из окружающей темноты четким кругом яркого

света. Он оглядел учебники и словари. Перед тем как взяться за дело, он всегда испытывал сомнения. В случае его неудачи отец будет страшно огорчен. Тот мечтал об успехе сына. Прислал ему дюжину бутылок хорошего старого портвейна — «в качестве прощального кубка», — так он сказал. Однако среди претендентов — Маршэм, да еще этот умный еврейский паренек из Бирмингема… Но пора было начинать. Один за другим колокола Оксфорда стали пускать по воздуху круги своего тягучего звона. Они гудели тяжело, неровно, как будто им приходилось раздвигать на своем пути густой и неподатливый воздух. Эдвард любил колокольный звон. Он слушал, пока не прозвучал последний удар, а затем придвинул стул к столу. Время пришло. Пора работать.

Небольшая впадинка между бровей стала глубже. Читая, он хмурился. Он читал, делал заметку и опять читал. Все звуки умолкли. Он не слышал и не видел ничего, кроме греческого текста. По мере чтения его мозг будто разогревался; он чувствовал, что у него во лбу что-то приходит в движение и концентрируется. Он ухватывал фразу за фразой — точно, жестко — точнее, подумал он, делая пометку на полях, чем накануне. Маленькие незначительные слова обнажали

оттенки смысла, изменявшие общий смысл. Он сделал еще одну заметку: вот в чем смысл. Собственное проворство, с которым он ухватывал самую суть фразы, приводило его в восторг. Смысл представал перед ним ясно и полностью. Но ему нужно быть безупречно точным, даже письменные пометки должны быть четки, как печатный текст. Он обращался то к одной книге, то к другой. Затем откидывался на спинку, чтобы подумать с закрытыми глазами. Нельзя допустить ни малейшей неясности. Начали бить часы. Он прислушался. Часы все били и били. Морщинки, обозначившиеся на его лице, разгладились. Эдвард откинулся на спинку. Мышцы его расслабились. Он смотрел поверх книг во тьму. Ему казалось, что он прилег на землю после бега наперегонки. Но еще некоторое время он как будто продолжал бежать. Его мозг работал без книги. Он несся без преград по пространству чистого смысла. Но постепенно смысл стал исчезать. Книги стояли на полке. Эдвард видел кремовые стенные панели, букет маков в синей вазе. Прозвучали последние удары. Он вздохнул и встал из-за стола.

Он опять стоял у окна. Шел дождь, но белизна пропала. За исключением мокрых листьев,

блестевших здесь и там, в саду было совершенно темно, и желтая груда цветущего дерева исчезла. Университетские здания обступили сад притаившейся темной массой, которая кое-где светилась красными и желтыми окнами. Церковь, громоздившаяся на фоне неба, как будто подрагивала — из-за дождя. Но тишины больше не было. Эдвард прислушался. Какой-то особенный звук выделить было невозможно, но все здание гудело жизнью. Слышался то взрыв хохота, то тренькание пианино, потом — стук и звон, в том числе, по-видимому, посуды; затем опять шум дождя, всхлипывание и бульканье канав, всасывавших в себя влагу. Эдвард вернулся в комнату.

Стало холодно: огонь в камине почти потух, лишь в одном месте из-под серой золы пробивался слабый язычок пламени. Эдварду очень кстати вспомнился подарок отца — посылка с вином, пришедшая нынче утром. Он подошел к столику у стены и налил себе рюмку портвейна. Подняв его против света, он улыбнулся. Он опять увидел отцовскую руку с двумя гладкими шишками на месте пальцев, — отец всегда смотрел рюмку на свет перед тем, как выпить.

«Невозможно хладнокровно воткнуть штык в человека», — вспомнил Эдвард слова отца.

— И невозможно пойти на экзамен, не выпив, — произнес Эдвард. Он подождал, как отец, держа рюмку перед светом. Потом отхлебнул и поставил рюмку на стол перед собой. И вернулся к «Антигоне». Он читал, отпивал, читал и опять отпивал портвейн. Мягкая теплая волна пошла от затылка вдоль позвоночника. Вино как будто открыло маленькие дверцы в его мозгу. Вино ли, слова ли тому были причиной, но перед ним возникло лучезарное облако, сгущение лилового тумана, из которого выступила древнегреческая девушка, которая одновременно была англичанкой. Она стояла среди мрамора и асфоделей, и в то же время вокруг нее были современная мебель и обои от Уильяма Морриса[87] — она была его кузиной Китти, какой он видел ее, когда в последний раз ужинал в ректорской резиденции. Две девушки в одной — Антигона и Китти — в книге и в его комнате. Она освещена ярким светом, она — пурпурный цветок… Нет! — воскликнул он, никакой она не цветок! Потому что если по земле когда-либо ходила живая, настоящая девушка,

[87] Примечания: 87

Уильям Моррис (1834–1896) — английский художник, поэт, искусствовед, публицист, деятель рабочего движения. В 1861 г. основал ассоциацию ремесленников, изготовлявшую вручную предметы домашнего обихода.

которая дышит и смеется, то это была Китти, в сине-белом платье, в котором она была на том ужине в резиденции. Эдвард прошел через комнату к окну. Сквозь деревья светились красные квадраты. В резиденции прием. С кем она разговаривает? Что она говорит? Он вернулся к столу.

— Проклятье! — вскрикнул Эдвард, проткнув бумагу карандашом. Грифель сломался.

Тут в дверь кто-то постучал, не требовательно, а вскользь, как будто проходя мимо, а не желая войти. Эдвард подошел к двери и открыл ее. На несколько ступеней выше по лестнице маячила фигура крупного молодого человека, облокотившегося на перила.

— Заходи, — сказал Эдвард.

Крупный молодой человек медленно спустился. Он был очень большой. Его глаза навыкате глянули с тревогой при виде книг, лежавших на столе. Он смотрел на книги. Древнегреческие. Хотя имеется и вино.

Эдвард наполнил рюмки. Рядом с Гиббсом он выглядел, как любила выражаться Элинор, «субтильным». Он сам чувствовал этот контраст. Рука, которой он поднял рюмку, рядом с красной лапой Гиббса походила на девичью. Рука Гиббса была ярко-багровой, точно кусок сырого мяса.

Темой, их объединявшей, была охота. Они стали беседовать о ней. Эдвард откинулся на спинку и предоставил говорить Гиббсу. Ему было приятнее слушать Гиббса и представлять, как тот скачет по английским сельским тропам. Тот рассказывал о сентябрьской охоте на лисят и о необученной, но послушной лошади-полукровке.

— Помнишь ту ферму справа, если ехать к Стейпли? — спросил Гиббс. — И хорошенькую девушку? — Он подмигнул. — К сожалению, она замужем за лесником.

Гиббс говорил, а Эдвард смотрел, как он большими глотками пьет портвейн. Он говорил, как ему хочется, чтобы это проклятое лето скорее кончилось. А потом опять начал рассказывать старую историю о суке спаниеля.

— Приезжай, поживи у нас в сентябре, — произнес Гиббс, когда дверь открылась — столь внезапно, что Гиббс не услышал этого, — и вошел еще один человек, совсем не похожий на Гиббса.

Это был Эшли. Прямая противоположность Гиббса. Ни высок, ни короток, ни брюнет, ни блондин. Но неприметным его назвать было нельзя — ни в коем случае. Одной из его отличительных черт была манера двигаться: будто столы и стулья излучали какое-то поле, которое он ощущал неви-

димыми антеннами или усами, подобно кошке. Он опустился в кресло, осторожно, опасливо, посмотрел на стол и прочел полстроки в одной из книг. Гиббс прервался посередине фразы.

— Здравствуй, Эшли, — сказал он довольно сухо, а затем протянул руку и налил себе еще одну рюмку полковничьего портвейна. Графин опустел. — Извини, — сказал Гиббс, глянув на Эшли.

— Не открывайте бутылку ради меня, — торопливо произнес Эшли. Его голос прозвучал чуть визгливо, будто он был смущен.

— Мы и сами бы еще выпили, — непринужденно сказал Эдвард и пошел в столовую за портвейном.

— Чертовски неловко, — пробормотал он, наклоняясь за бутылкой. Теперь, думал он, выбирая бутылку, будет очередная ссора с Эшли, а в этом семестре он уже дважды ссорился с Эшли из-за Гиббса.

Эдвард вернулся с бутылкой и сел на низкую табуретку между ними. Он вытащил пробку и начал разливать вино. Оба смотрели на него с восхищением. Это льстило его тщеславию, над которым всегда смеялась Элинор. Ему нравилось чувствовать на себе их взгляды. И все-таки он может непринужденно общаться с обоими, подумал

Эдвард. Эта мысль доставила ему удовольствие. Он может говорить об охоте с Гиббсом и о книгах — с Эшли. Тогда как Эшли может рассуждать только о книгах, а Гиббс — Эдвард улыбнулся — только о девушках. О девушках и лошадях. Эдвард наполнил три рюмки.

Эшли отпивал понемногу, а Гиббс, держа рюмку в огромной красной руке, жадно глотал. Поговорили о скачках, потом — об экзаменах. Затем Эшли, оглядывая книги на столе, спросил:

— Ну, а у тебя как дела?

— Ни малейшего шанса, — сказал Эдвард. Его безразличие было притворным. Он делал вид, будто презирает экзамены, но это было неправдой. Гиббса он провести мог, но Эшли видел его насквозь. Он часто ловил Эдварда на подобных мелких слабостях, которые, впрочем, только очаровывали его еще больше. Как он красив, думал Эшли: сидит между ними, и свет падает сверху на его светлые волосы. Он похож на древнегреческого юношу, он силен, но в каком-то смысле и слаб, и нуждается в моей защите.

Его надо ограждать от мужланов вроде Гиббса, гневно думал Эшли. Как только Эдвард может терпеть это неуклюжее животное, удивлялся он, глядя на Гиббса, от которого всегда несло пивом

и лошадьми (он слушал, что тот говорит). Войдя, Эшли поймал обрывок возмутительной фразы, свидетельствовавшей о том, что они строили вместе планы.

— Что ж, я поговорю со Стори насчет той лошади, — сказал Гиббс, заканчивая беседу, понятную только им двоим, которую они вели до прихода Эшли. Его пронзила ревность. Чтобы скрыть это, он протянул руку и взял книгу, лежавшую открытой на столе. И сделал вид, будто читает.

Он хочет оскорбить меня, чувствовал Гиббс. Он знал, что Эшли считает его неотесанным мужланом. Грязный поросенок ввалился и испортил разговор, да еще дерет нос, пытаясь меня унизить. Прекрасно. Я собирался уходить, а теперь останусь и наступлю Эшли на хвост, — он знал, как это сделать. Гиббс повернулся к Эдварду и продолжил разговор.

— Только мы уж по-простому, — сказал он. — Мои уедут в Шотландию и слуг увезут.

Эшли с ожесточением перевернул страницу. Значит, они будут наедине. Ситуация начала доставлять Эдварду удовольствие. Он решил подыграть.

— Хорошо, — сказал он. — Только уж позаботься, чтобы я не выглядел дураком.

— Да это ж всего лишь охота на лисят, — сказал Гиббс.

Эшли опять перевернул страницу. Эдвард посмотрел на книгу. Эшли держал ее вверх ногами. Но, глядя на Эшли, он отметил, как смотрится его голова на фоне стенных панелей и маков в вазе. Как он изыскан, подумал Эдвард, в сравнении с Гиббсом, как ироничен. Эдвард весьма уважал Эшли. Гиббс потерял свое очарование. Опять твердит ту же старую историю о суке спаниеля. Завтра будет жуткая ссора, подумал Эдвард и тайком посмотрел на свои часы. Было начало двенадцатого, а ему предстоит заниматься целый час до завтрака. Он допил последние капли вина, потянулся, нарочито зевнул и встал.

— Я иду спать, — сказал он.

Эшли умоляюще посмотрел на него. Эдвард умел причинять ему страшные муки. Эдвард начал расстегивать жилет. У него идеальная фигура, подумал Эшли, глядя на Эдварда, стоявшего между ним и Гиббсом.

— Но вы не спешите, — произнес Эдвард, опять зевая. — Допивайте портвейн.

Он улыбнулся, подумав, что Эшли и Гиббсу придется допивать наедине.

— Если захотите, там еще много. — Он указал

на соседнюю комнату и вышел.

Пусть погрызутся, думал он, закрывая дверь спальни. Ему тоже предстоит грызня, и очень скоро, он это понял по выражению лица Эшли. Тот адски ревновал. Эдвард начал раздеваться. Он аккуратно выложил деньги двумя кучками по бокам от зеркала. В отношении денег он был немного скуповат. Он тщательно сложил жилет на стуле, затем посмотрел на себя в зеркало, взбил хохолок полумашинальным движением руки, которое раздражало его сестру. И прислушался.

Хлопнула дверь в коридор. Один из них ушел — либо Гиббс, либо Эшли. Но второй, Эдвард был почти уверен, остался. Он прислушался еще внимательнее. Кто-то ходил по гостиной. Очень быстро и уверенно Эдвард повернул ключ в замке. Через мгновение дверная ручка дернулась.

— Эдвард! — Эшли позвал его тихо и сдержанно.

Эдвард не ответил.

— Эдвард! — повторил Эшли, дергая ручку.

Теперь его голос зазвучал пронзительно и умоляюще.

— Спокойной ночи, — резко ответил Эдвард. И прислушался. Последовала пауза, а потом хлопнула дверь. Эшли удалился. — Господи, какой

завтра будет скандал, — сказал Эдвард, подойдя к окну и глядя на дождь, который так и не прекратился.

Вечеринка в ректорской резиденции закончилась. Дамы стояли в дверях в своих струящихся одеждах и смотрели на небо, с которого падал легкий дождь.

— Это соловей? — спросила миссис Ларпент, услышав птичью трель в кустах. В ответ старик Чаффи — великий доктор Эндрюс — громогласно рассмеялся; он стоял чуть позади от нее, подставив куполообразную голову под дождевые капли и обратив свое волосатое, выразительное, но вовсе не обаятельное лицо к небу. Его смех отразился от каменных стен эхом, похожим на хохот гиены. Затем, сделав рукой жест, продиктованный многовековой традицией, миссис Ларпент шагнула назад, как будто перед этим переступила одну из невидимых черт, разграфляющих академическую иерархию: это означало, что миссис Лэйзом, супруга профессора богословия, должна идти впереди нее. Они ушли в дождь.

В длинной гостиной ректорской резиденции все стояли.

— Я так рада, что Чаффи… доктор Эндрюс оправ-

дал ваши ожидания, — говорила миссис Мелоун с характерной для нее учтивостью. На правах местных они называли великое светило по прозвищу — «Чаффи», но для американских гостей он был доктором Эндрюсом.

Остальные гости ушли, а Хауард Фрипп с супругой, американцы, должны были ночевать в доме. Миссис Хауард Фрипп сообщила, что доктор Эндрюс был решительно очарователен. А ее муж-профессор говорил что-то столь же любезное ректору. Дочь ректора Китти стояла чуть позади, мечтая, чтобы разговоры закончились и все пошли спать. Но она была обязана стоять, пока ее мать не подаст знак расходиться.

— Да, Чаффи был в ударе, как никогда, — продолжал ее отец, делая косвенный комплимент невысокой американке, которая одержала такую славную победу. Она была миниатюрна и энергична, а Чаффи ценил миниатюрных и энергичных женщин.

— Обожаю его книги, — сказала она своим странным, немного гнусавым голосом. — Но никогда не думала, что мне посчастливится сидеть рядом с ним за ужином.

А как он плюется во время разговора, вам тоже понравилось? — подумала Китти, глядя на нее.

Американка была исключительно хороша и жизнерадостна. Рядом с ней все остальные женщины выглядели безвкусно и уныло — кроме матери Китти. Миссис Мелоун стояла у камина, поставив ногу на каминную решетку, ее седые, но свежие на вид волосы были собраны в тугую прическу. Она никогда не выглядела по моде или отставшей от моды. Миссис Фрипп, напротив, была явной модницей.

И все-таки они смеялись над ней, думала Китти. Она заметила, как оксфордские дамы поднимали брови на какие-то американские выражения миссис Фрипп. А вот Китти нравились американские выражения, они были так не похожи на то, к чему она привыкла. Гостья была американкой, настоящей американкой. Правда, ее мужа как американца никто не воспринимает, думала Китти, глядя на него. Он мог быть профессором откуда угодно, из любого университета — с таким интеллигентным морщинистым лицом, козлиной бородкой и черной ленточкой от пенсне, выглядевшей на его накрахмаленной манишке точно какой-то иностранный орден. Говорил он без акцента — во всяком случае, американского. Но и он чем-то был необычен. Китти уронила платок. Он сразу нагнулся и подал его ей с поклоном

— пожалуй, слишком учтивым: Китти смутилась. Она опустила голову и застенчиво улыбнулась, взяв платок.

— Благодарю вас, — сказала она. Он вызвал у нее чувство неловкости. Рядом с миссис Фрипп она казалась себе еще крупнее, чем обычно. Ее волосы — настоящего рыжего цвета породы Ригби — никогда не лежали гладко, как им полагается. Тогда как волосы миссис Фрипп выглядели прекрасно — они были аккуратно уложены и блестели.

Но тут миссис Мелоун, посмотрев на миссис Фрипп, произнесла:

— Ну что ж… — и сделала жест рукой.

В ее движении было что-то уверенно-властное, как будто она повторяла его не раз и ей всегда подчинялись. Все направились к двери. Там происходила небольшая церемония: профессор Фрипп низко наклонился к руке миссис Мелоун, не так низко — к руке Китти и широко раскрыл дверь перед ними.

«Он переигрывает», — подумала Китти, когда они выходили.

Дамы взяли свечи и цепочкой начали подниматься по широкой лестнице с низкими ступенями. Былые ректоры колледжа Святой

Екатерины[88] смотрели на них с портретов. Женщины преодолевали ступень за ступенью, и огоньки свечей бросали дрожащие отсветы на лица в золотых рамах.

Сейчас она остановится, подумала Китти, замыкавшая вереницу, и спросит, а кто *это.*

Но миссис Фрипп не остановилась. Китти поставила это ей в заслугу. По сравнению с другими посетителями она сильно выигрывает, думала Китти. У нее никогда не получалось покончить с Бодлианской библиотекой[89] так быстро, как сегодня утром. Она даже чувствовала себя виноватой. Можно было осмотреть еще много достопримечательностей, если бы они захотели. Но не прошло и часа, как миссис Фрипп повернулась к Китти и сказала своим чарующим, пусть и немного гнусавым, голосом:

— Так, моя дорогая, думаю, вам слегка надоели экскурсии. Может, поедим мороженого вон в той прелестной старинной кондитерской с эркерами?

И они стали есть мороженое вместо того, чтобы

---

[88] Примечания: 88

Колледж Св. Екатерины — вымышленное название.

[89] Примечания: 89

Бодлианская библиотека — главная библиотека Оксфордского университета, основанная в 1602 г. Томасом Бодли (1545–1613).

бродить по Бодлианской библиотеке.

Процессия достигла лестничной площадки второго этажа, и миссис Мелоун остановилась у дверей знаменитой комнаты, где всегда ночевали особо уважаемые гости. Она отворила дверь и обернулась.

— Кровать, на которой *не* спала королева Елизавета, — произнесла она дежурную шутку по поводу монументального ложа с пологом на четырех столбиках. В камине пылал огонь, кувшин с водой был закутан, как голова старухи, мающейся зубами, на туалетном столике горели свечи. Но сегодня в комнате есть что-то необычное, подумала Китти, выглядывая из-за материнского плеча. На постели лежал серебристо-зеленый халат. На столике Китти заметила множество пузырьков и баночек, а также большую розовую пуховку для пудры. А может быть… Неужели миссис Фрипп выглядит так ярко, а оксфордские дамы рядом с ней — так тускло, потому что миссис Фрипп… Но тут миссис Мелоун спросила:

— У вас есть все, что вам требуется? — причем с такой вежливостью, что Китти поняла: миссис Мелоун тоже приметила туалетный столик. Китти протянула руку. К ее удивлению, вместо того, чтобы пожать руку, миссис Фрипп притянула

Китти к себе и поцеловала.

— Огромнейшее спасибо за экскурсию, — сказала она. — И не забудьте, вы должны приехать к нам в гости в Америку, — добавила миссис Фрипп. Ей понравилась высокая застенчивая девушка, которой гораздо больше хотелось поесть мороженого, чем показывать ей библиотеку. А еще ей было отчего-то жаль ее.

— Спокойной ночи, Китти, — сказала ее мать, закрыв дверь, и они по заведенному порядку прикоснулись щекой к щеке.

Китти пошла наверх, к себе в комнату. Она до сих пор чувствовала место поцелуя миссис Фрипп. Поцелуй оставил на щеке жаркую точку.

Она закрыла дверь. В комнате было очень душно. Была теплая ночь, но они всегда закрывали окна и задергивали занавески. Китти открыла окна и раздвинула шторы. Шел дождь, как всегда. Серебристые стрелы секли темные садовые деревья. Китти сбросила туфли. Самое худшее в высоком росте — туфли всегда жмут, особенно белые атласные. Затем она стала расстегивать платье. Это было трудное дело — слишком много крючков, и все на спине. Но наконец белое атласное платье было снято и аккуратно разложено на кресле. Китти принялась расчесывать волосы.

Четверг получился хуже некуда, подумала она: экскурсия утром, гости к обеду, старшекурсники к чаю, да еще званый ужин вечером.

Однако, заключила она, протаскивая гребень сквозь волосы, все позади… Все позади.

Свечи замигали, а затем муслиновая штора надулась белым парусом и чуть не коснулась пламени. Китти широко раскрыла глаза. Она стояла у распахнутого окна в нижней сорочке, рядом с ней горела свеча.

Совсем недавно, на днях, мать отчитала ее: «Кто угодно может подсмотреть».

А теперь, сказала Китти, переставляя свечу на столик справа, никто ничего не подсмотрит.

Она опять стала причесываться. Теперь свет падал не спереди, а сбоку, и она видела свое лицо под другим углом.

Хороша ли я? — спросила она себя, отложив гребень и глядя в зеркало. Скулы слишком выдаются, глаза расставлены слишком широко. Нет, она не хороша. Слишком большая. Интересно, что о ней подумала миссис Фрипп?

Она поцеловала меня, вдруг вспомнила Китти, и ей стало приятно, она опять ощутила жаркую точку на щеке. Она позвала меня с ними в Америку. Вот, наверное, интересно! — думала она.

Как здорово уехать из Оксфорда в Америку! Она продиралась гребнем сквозь свои пушистые, спутанные волосы.

Ход ее мыслей, как всегда, нарушил колокольный звон. Она терпеть не могла колоколов. Их голоса казались ей тоскливыми. Стоило одному умолкнуть, начинал звонить другой. Они вопили один за другим, один за другим, как будто этому никогда не будет конца. Китти насчитала одиннадцать, двенадцать ударов, а они все длились: тринадцать, четырнадцать… Часы вторили часам в сыром, сочащемся влагой воздухе. Поздно. Китти принялась чистить зубы. Она взглянула на календарь над умывальником, оторвала четверг и смяла его в комок, как будто повторяя: «Все позади! Все позади!» Перед ней большими красными буквами предстала пятница. Пятница — хороший день, по пятницам у нее бывают уроки с Люси, а еще она ходит пить чай к Робсонам. «Блажен нашедший свое дело»[90], — прочитала она в календаре. Календари всегда как будто обращаются к тебе. Китти не доделала задание. Она посмотрела на шеренгу синих томов: Доктор Эндрюс. «Конституционная история Англии».

---

[90] Примечания: 90

Цитата из книги британского историка и философа Томаса Карлайла (1795–1881) «Прежде и теперь».

Из третьего тома торчала бумажная закладка. Надо закончить главу, заданную Люси, — но не сегодня. Сегодня она слишком устала. Китти повернулась к окну. Из корпуса старшекурсников донесся раскат смеха. Над чем они смеются? — гадала она, стоя у окна. Похоже, им сейчас очень хорошо. Они никогда так не смеются, приходя пить чай в резиденцию, заключила она, когда хохот затих. Коротышка из Бейлиол-Колледжа сидел и хрустел пальцами. И хрустел, и хрустел. Не разговаривал, но и не уходил. Китти задула свечу и легла в постель. Пожалуй, он мне нравится, подумала она, растягиваясь на прохладных простынях, хотя он и хрустит пальцами. Что касается Тони Эштона — она повернулась на другой бок, — он мне не по душе. Всегда будто допрашивает ее насчет Эдварда, которого Элинор, кажется, называет «Клин». У него слишком близко посажены глаза. Слегка похож на болванку для париков, подумала она. На недавнем пикнике он все ходил за ней — тогда еще муравей заполз между юбками миссис Лэйзом. Эдвард постоянно был рядом с Китти. Но она не хочет выходить за него. Она не желает быть женой преподавателя и всю жизнь провести в Оксфорде. Ни за что! Китти зевнула, опять перевернулась и — слушая

запоздалый колокол, голос которого плыл сквозь водянистый воздух, как большая медлительная рыбина, — зевнула и погрузилась в сон.

Дождь лил беспрестанно всю ночь, создавая легкую дымку над полями, булькая и всхлипывая в канавах. В садах он падал на цветущие кусты сирени и ракитника. Он нежно орошал свинцовые купола библиотек, изливался из смеющихся пастей горгулий. Он размывал вид из окна комнаты, в которой еврейский юноша из Бирмингема сидел и зубрил древнегреческий, обмотав голову мокрым полотенцем, и той, где доктор Мелоун допоздна писал очередную главу монументальной истории колледжа. А в саду ректорской резиденции, за окном Китти, он поливал древнее дерево, под которым три века назад сиживали за вином короли и поэты. Теперь оно накренилось, почти упало, так что его пришлось подпереть посередине.

— Зонтик, мисс? — предложил Хискок Китти, когда на следующий день она выходила из дому — гораздо позднее, чем следовало. В воздухе чувствовалась прохлада, поэтому она порадовалась, заметив компанию в белых и желтых платьях, с подушками, направлявшуюся к реке: хорошо, что

ей сегодня не придется сидеть в лодке. Сегодня никаких сборищ, думала она, никаких приемов. Но часы предупреждали: она опаздывает.

Она шла и шла, пока не достигла дешевых красных домиков, которые отец ее настолько не любил, что всегда делал крюк, стараясь обойти их. Но поскольку в одном из этих домиков жила мисс Крэддок, для Китти они были окружены романтическим ореолом. Ее сердце забилось быстрее, когда она повернула за угол у новой часовни и увидела дом с крутыми ступеньками — дом мисс Крэддок. Люси поднималась и спускалась по этим ступенькам каждый день. Вот ее окно. А вот звонок. Китти дернула, и колокольчик выскочил наружу, но обратно не убрался: в доме Люси все было ветхое. Но во всем была романтика. Вот, на стойке, зонтик Люси — тоже не такой, как все зонтики: с ручкой в форме головы попугая. Но пока Китти поднималась по высоким блестящим ступеням, к ее радостному волнению примешался страх: она опять не выполнила задание. И в эту неделю она «не приложила старания».

«Она пришла!» — подумала мисс Крэддок, задержав на весу перо. У нее был нос с красным кончиком, а глаза чем-то напоминали совиные, с впалыми кругами землистого оттенка. Про-

звенел звонок. Перо окунулось в чернила. Она проверяла сочинение Китти и услышала шаги на лестнице. «Она пришла!» — опять подумала мисс Крэддок, и у нее чуть перехватило дыхание. Она положила перо.

— Мне ужасно неловко, мисс Крэддок, — говорила Китти, раздеваясь и садясь за стол. — Но у нас были гости.

Мисс Крэддок потерла рукой губы, как делала, когда была недовольна.

— Понятно, — сказала она. — Значит, на этой неделе вы опять ничего не сделали.

Мисс Крэддок взяла перо и обмакнула его в красные чернила. А затем обратилась к сочинению.

— Оно не стоило проверки, — заметила мисс Крэддок, задержав перо в воздухе. — Такого постыдился бы и десятилетний ребенок.

Китти покраснела.

— И вот что странно, — сказала мисс Крэддок, когда урок был окончен. — Ум у вас весьма оригинальный.

Китти покраснела от удовольствия.

— Но вы не пользуетесь им, — сказала мисс Крэддок. — Почему вы им не пользуетесь? — спросила она, посмотрев на Китти своими умными

серыми глазами.

— Видите ли, мисс Крэддок, — с жаром начала Китти, — моя мать…

— М-м, м-м, — прервала ее мисс Крэддок. Доктор Мелоун платил ей не за выслушивание откровений. Она встала. — Поглядите на мои цветы, — предложила она, чувствуя, что оборвала девушку слишком резко. На столе стояла миска с цветами — полевые, синие и белые, они были воткнуты в кусок влажного зеленого мха. — Сестра прислала с пустошей.

— С пустошей? Откуда именно? — спросила Китти. Она наклонилась и нежно потрогала мелкие цветочки.

Как она мила, подумала мисс Крэддок. Китти трогала ее душу. Но прочь сантименты, сказала она себе, а вслух произнесла, глядя на цветы:

— Из Скарборо. Если держать мох влажным, но не слишком, они простоят несколько недель.

— Влажным, но не слишком, — улыбнулась Китти. — Пожалуй, в Оксфорде это нетрудно. Здесь всегда идет дождь. — Она посмотрела в окно, за которым сеял мелкий дождь.

— Если бы я жила там, мисс Крэддок… — начала Китти, беря в руки свой зонтик, но умолкла. Урок кончился.

— Вам было бы очень скучно, — сказала мисс Крэддок, посмотрев на нее.

Китти надевала плащ. Все-таки как она хороша, когда надевает плащ.

— В вашем возрасте, — продолжила мисс Крэддок, возвращаясь к своей роли преподавателя, — я отдала бы жизнь за то, чтобы иметь те возможности, которые есть у вас, встречаться с теми людьми, с которыми встречаетесь вы, быть знакомой с теми, с кем знакомы вы.

— Со стариком Чаффи? — откликнулась Китти, вспомнив, как искренне восхищалась мисс Крэддок этим светилом учености.

— Вы непочтительная девушка! — возмутилась мисс Крэддок. — Это величайший историк нашего времени!

— Ну, со мной он об истории не говорит, — сказала Китти, вспоминая неприятное ощущение тяжелой руки на своем колене.

Она заколебалась. Но урок был окончен, скоро придет другая ученица. Китти оглядела комнату. На стопке глянцевых тетрадей стояло блюдо с апельсинами, рядом — коробка, в которой, судя по виду, было печенье. Интересно, это ее единственная комната? И спит она на этом бесформенном диване, на который сейчас наброшена шаль?

Зеркала не было, поэтому Китти надела шляпку слишком сильно набок. Делая это, она думала, что мисс Крэддок презирает наряды.

Но мисс Крэддок думала, как чудесно быть молодой, красивой и встречаться с интересными мужчинами.

— Я иду пить чай к Робсонам, — сказала Китти, протягивая руку. Их дочь, Нелли Робсон, была любимой ученицей мисс Крэддок, единственной, как она говорила, которая знает, что такое труд.

— Вы идете пешком? — спросила мисс Крэддок, глядя на одежду Китти. — Вообще-то путь неблизкий. По Рингмер-Роуд, мимо газового завода.

— Да, я пешком, — сказала Китти, пожимая ей руку. — И я постараюсь на этой неделе прилежно потрудиться. — Она посмотрела на мисс Крэддок глазами, полными любви и восхищения. Затем она спустилась по ступенькам, покрытым клеенкой, которая сверкала, будто источая романтические чувства. Напоследок Китти взглянула на ручку зонтика в форме головы попугая.

Сын профессора, который всего добился сам, — «в высшей степени похвальное достижение», как сказал доктор Мелоун, — починял курятники в садике на Прествич-Террас, позади довольно убогого домишки. «Бум-бум-бум», — приколачивал

он доску к гнилой крыше. Руки у него были белые, не то что отцовские, и к тому же с длинными пальцами. Он не питал любви к таким занятиям. Но отец по воскресеньям чинил обувь. Молоток стучал и стучал. Он вбивал длинные блестящие гвозди, которые где раскалывали дерево, а где шли вкось. Потому что дерево было гнилое. Кур он тоже терпеть не мог. Безмозглые птицы, комки перьев. Они смотрели на него красными круглыми глазами, скребли дорожку и оставляли маленькие завитки перьев на клумбах, которые нравились ему гораздо больше. Но на них ничего не росло. Как можно выращивать цветы, если держишь кур? Прозвенел звонок.

— Проклятье! Какая-нибудь старушенция пришла пить чай, — произнес молодой человек, задержав молоток на весу. Затем он ударил по гвоздю.

Стоя перед дверью, глядя на дешевые тюлевые занавески, на голубые и оранжевые стеклышки, Китти пыталась вспомнить, что ее отец говорил об отце Нелли. Но тут ее впустила миниатюрная служанка. Я слишком большая, подумала Китти, ненадолго остановившись в комнате, куда ее провели. Комната была тесная, загроможденная вещами. И я слишком хорошо одета, подумала

Китти, глядя на себя в зеркало над камином. Вошла ее подруга Нелли. Она была коренаста. Большие серые глаза, стальные очки, передник из небеленого полотна, усиливавший впечатление прямодушной простоты.

— Мы пьем чай в дальней комнате, — сказала Нелли, оглядывая Китти с ног до головы. Чем она занималась? Почему в переднике? — думала Китти, идя за ней в комнату, где уже началось чаепитие.

— Очень приятно вас видеть, — сухо произнесла миссис Робсон, посмотрев через плечо. Но на самом деле, похоже, никто не находил совершенно ничего приятного в том, чтобы видеть ее. Двое детей уже ели. Они держали в руках хлеб с маслом, но не кусали и не жевали, потому что уставились на садившуюся за стол Китти.

Она как будто увидела всю комнату в одно мгновение. Комната была скудно обставлена и в то же время загромождена. Слишком широкий стол, жесткие стулья, обитые зеленым плюшем, грубая скатерть, заштопанная посередине, дешевая посуда с броскими красными розами. Лампа показалась Китти особенно яркой. Из сада донесся стук молотка. Она посмотрела в окно. Обшарпанный садик, без травы и клумб, а в даль-

нем конце — сарай, откуда и слышался стук.

Какие они все низкорослые, подумала Китти, глядя на миссис Робсон. У той лишь плечи виднелись над чайными принадлежностями, но зато плечи очень объемные. Она была немного похожа на Бигг, кухарку из ректорской резиденции, только внушительнее. Китти бросила беглый взгляд на миссис Робсон и начала украдкой и торопливо стягивать перчатки под скатертью. Но почему никто не разговаривает? — беспокоилась она про себя. Дети не отрывали от нее глаз с выражением мрачного изумления. Их совиные взгляды беззастенчиво мерили ее сверху донизу. К счастью, миссис Робсон не дала им высказать неодобрение вслух, приказав дальше пить чай. Куски хлеба с маслом медленно направились к ртам.

Почему они ничего не говорят? — опять подумала Китти и посмотрела на Нелли. Китти уже хотела что-то произнести, но тут в передней стукнул о пол зонтик, миссис Робсон подняла глаза и сказала дочери:

— Это папа.

Через мгновение вошел коротышка, такой низкорослый, что ему больше пошли бы итонский пиджак и круглый воротник. Он также носил

очень толстую часовую цепь из серебра, как школьник. Однако взгляд у него был пронизывающий и строгий, усы — жесткие, а говорил он с необычным акцентом.

— Рад вас видеть, — сказал он и крепко сжал руку Китти, а потом сел и заткнул салфетку за воротник, так что его толстую серебряную цепь скрыл накрахмаленный белый щит. «Бум-бум-бум», — слышалось из сарая в саду.

— Скажи Джо, что чай на столе, — попросила миссис Робсон Нелли, которая внесла накрытое блюдо. Крышку сняли.

Они собираются есть жареную рыбу с картошкой во время чаепития, отметила Китти про себя.

Но мистер Робсон обратил к ней свои буравящие глазки. Она ожидала, что он справится: «Как ваш отец, мисс Мелоун?»

Однако он спросил:

— Вы изучаете историю с Люси Крэддок?

— Да, — ответила Китти. Ей понравилось, с какой интонацией он сказал «Люси Крэддок», — как будто уважал Люси. Ведь многие преподаватели смеялись над ней. А еще ей понравилось, что он обратился к ней не как к чьей-то дочери.

— Вас интересует история? — Он принялся за

рыбу с картошкой.

— Очень, — сказала Китти. Его ясные голубые глаза смотрели на нее прямо и сурово, побуждая отвечать кратко и внятно. — Но я ужасно ленивая, — добавила она.

Тут уже миссис Робсон посмотрела на нее довольно строго и передала ей на кончике ножа толстый кусок хлеба.

Так или иначе, вкус у них ужасный, подумала Китти, мстя за высокомерный укол, который, как она чувствовала, был ей нанесен. Она сосредоточилась на картине напротив — пейзаже маслом в тяжелой золоченой раме. По обе стороны висели красно-синие японские блюда. Все было уродливо, особенно картины.

— Это пустошь за нашим домом, — сказал мистер Робсон, увидев, что она смотрит на картину.

Китти вдруг поняла, что акцент у него йоркширский. Когда он посмотрел на картину, акцент еще усилился.

— В Йоркшире? — спросила Китти. — Мы тоже оттуда. Я имею в виду семью моей матери, — добавила она.

— Семью вашей матери? — переспросил мистер Робсон.

— Ригби, — сказала Китти и слегка покраснела.

— Ригби? — Миссис Робсон оторвала взгляд от тарелки. — Я работала у одной мисс Ригби до замужества.

Какой, интересно, работой занималась миссис Робсон? — подумала Китти. Сэм словно услышал ее мысли:

— Моя жена была кухаркой, мисс Мелоун, пока мы не поженились, — он опять усилил акцент, как будто гордился им. Китти вдруг захотелось сказать: у меня тоже был дядя, наездник в цирке, и тетя, которая вышла замуж за… Но тут вступила миссис Робсон:

— В семье Холли, — сказала она. — Это были две очень старых дамы: мисс Энн и мисс Матильда. — В ее голосе прибавилось мягкости. — Но они, должно быть, давно померли, — заключила миссис Робсон. Она впервые откинулась на спинку стула и помешала чай в чашке, — как старая Снэп на ферме, подумала Китти, та тоже всегда мешала и мешала свой чай, мешала и мешала.

— Скажи Джо, что ему не достанется кекса, — сказал мистер Робсон, отрезая себе кусок от того, что было больше похоже на грубую буханку. Нелл опять вышла. Стук молотка затих. Открылась дверь, и Китти, которая уже настроила свое зрение на малорослость Робсонов, была застигнута

врасплох. Молодой человек в этой комнатенке показался огромным. И он был хорош собой. Войдя, он провел рукой по волосам: в них застряла древесная стружка.

— Это наш Джо, — представила его миссис Робсон. — Сходи-ка за чайником, Джо, — добавила она. Он сразу вышел, как будто привык подчиняться. Когда он вернулся с чайником, Сэм принялся подтрунивать над ним по поводу курятника.

— Много же времени у тебя уходит, сын мой, на починку курятника, — сказал он. Видимо, у них была какая-то семейная шутка, непонятная Китти, насчет починки курятников и обуви. Она наблюдала, как Джо спокойно ест под остроты своего отца. Он не был выпускником Итона, Хэрроу, Рагби или Винчестера, он не изучал науки и не занимался греблей. Он напомнил Китти Элфа, работника на ферме у Картеров; когда ей было пятнадцать лет, Элф поцеловал ее за стогом сена, но тут появился Картер, ведший быка за носовое кольцо, и сказал: «Прекрати!» Китти опять опустила глаза. Она хотела бы, чтобы Джо поцеловал ее. Лучше Джо, чем Эдвард, — вдруг пришло ей в голову. Она вспомнила о том, как сама выглядит. Джо ей нравится. Да, они все ей

очень нравятся, сказала она себе. Правда, очень. Она почувствовала себя так, будто улизнула от няни и одна сбежала из дому.

Затем дети начали слезать со стульев. Трапеза была окончена. Китти стала искать под столом свои перчатки.

— Эти, что ль? — спросил Джо, подняв их с пола.

Китти взяла перчатки и скомкала в руке.

Джо бросил на нее один быстрый взгляд, когда она стояла в дверях. Красотка, подумал он, но сразу видать — слишком заносчивая.

Миссис Робсон провела ее в маленькую комнату, где до чаепития Китти смотрелась в зеркало. Там было слишком много вещей: бамбуковые столики, бархатные книги с медными кольцами, мраморные гладиаторы, косо стоящие на каминной полке, и бесчисленные картины… Но миссис Робсон — жестом, точно таким же, каким миссис Мелоун указывала на полотно Гейнсборо, а быть может, и не Гейнсборо, полной уверенности не было, — продемонстрировала серебряный поднос с надписью.

— Этот поднос мужу подарили его ученики, — сказала миссис Робсон.

Китти начала читать надпись вслух.

— А это… — сказала миссис Робсон, когда Китти закончила, и указала на документ, висевший в рамке на стене.

Но тут Сэм, который стоял позади, играя своей цепочкой, вышел вперед и ткнул толстым коротким пальцем в портрет старухи, казавшейся в кресле фотографа гораздо крупнее, чем она была в жизни.

— Моя матушка, — сказал мистер Робсон и издал странный короткий смешок.

— Ваша матушка? — переспросила Китти, наклоняясь, чтобы рассмотреть ее. Неповоротливая женщина позировала в своем лучшем, стоявшем колом платье. Она была очень некрасива. Но Китти почувствовала, что от нее ждут восхищения.

— Вы очень похожи на нее, мистер Робсон, — на большее Китти не отважилась. Мать и сына действительно роднили коренастость, буравящие глазки и полное отсутствие внешней привлекательности.

Мистер Робсон усмехнулся.

— Мне приятно, что вы так считаете, — сказал он. — Всех нас вырастила. Хотя из ее детей никто с ней не сравнится.

Он повернулся к дочери, которая вошла и стояла, все в том же переднике.

— С ней никто не сравнится, — повторил мистер Робсон, положив руку на плечо Нелл. При виде Нелл и ее отца, стоящих под портретом его матери и ее бабушки, Китти вдруг стало жаль саму себя. Вот бы ей быть дочерью таких людей, как Робсоны, подумала она, жить бы на севере… Но они хотят, чтобы она ушла, это ясно. Никто так и не сел. Все стояли. Никто не уговаривал ее побыть еще. Когда она сказала, что ей пора, все вышли вместе с ней в тесную переднюю. Они все мечтают продолжить свои занятия, чувствовала Китти. Нелл пойдет на кухню и станет мыть посуду; Джо вернется к курятнику; детей мать уложит спать; а Сэм… — чем он займется? Она посмотрела на него, на его тяжелую цепочку от часов, как у школьника. Вы чудесный человек, я в жизни не встречала никого лучше, подумала она, протягивая руку.

— Было очень приятно познакомиться, — чинно произнесла миссис Робсон.

— Надеюсь, вы еще зайдете в скором времени, — сказал мистер Робсон, стиснув руку Китти.

— С удовольствием! — воскликнула она, в ответ сжав его руку изо всех сил. Она хотела сказать, как она восхищается ими, и спросить, примут ли они ее в свой круг, несмотря на ее шляпку и

перчатки. Но у них впереди дела. А я иду домой переодеваться к ужину, думала она, спускаясь по низким ступеням парадного и комкая свои светлые лайковые перчатки.

Опять сияло солнце, влажные тротуары лоснились. Порыв ветра растревожил мокрые ветви миндальных деревьев в садиках перед домами. Мелкие веточки и лепестки закружились над мостовой, а потом упали и прилипли к ней. Китти остановилась на секунду у перехода через улицу, и ей показалось, что она тоже поднята ветром и оторвана от привычного мира. Она забыла, где находится. Облака на небе раздуло, отчего оно стало огромным и синим и смотрело как будто не на улицы и дома, а на сельские просторы, где ветер носится над пустошами и взъерошенные овцы ищут убежища у каменных стен. Китти живо представила, как поля то освещаются, то темнеют, когда над ними проносятся облака.

Но через несколько шагов незнакомая улица вернула себе давно известные Китти очертания. Тротуары и деревья, антикварные лавки с синим фарфором и медными грелками в витринах. Еще немного, и Китти вышла к знаменитой кривой

улице с куполами и шпилями[91]. Солнечный свет лежал на ней широкими полосами. Экипажи, навесы, книжные магазины; пожилые мужчины в развевающихся черных мантиях; молодые женщины в трепещущих на ветру голубых и розовых платьях; юноши в соломенных шляпах, с подушками под мышкой… На мгновение все это показалось Китти бессмысленным и пустым старьем. Обыкновенный старшекурсник в квадратной шапке и мантии, прижимавший к себе книги, выглядел глупо. А напыщенные старики своими гротескными чертами напоминали фантастических средневековых химер, вырезанных из камня. Они все будто нарядились и играют роли, думала Китти. Она уже стояла у двери своего дома и ждала, пока дворецкий Хискок снимет ноги с каминной решетки и, ковыляя, поднимется по лестнице. Почему ты не можешь говорить по-человечески? — подумала Китти, когда он взял у нее зонтик и пробормотал свое обычное замечание о погоде.

Китти поднималась по лестнице медленно, как будто ее ноги тоже налились тяжестью, видя сквозь открытые окна и двери ровный газон,

---

[91] Примечания: 91
Имеется в виду Хай-стрит в Оксфорде.

косое дерево и поблекшую мебельную обивку. Она опустилась на край своей кровати. Стояла духота. В воздухе кружила синяя муха, внизу стрекотала газонокосилка. Вдалеке ворковали голуби: «Только ты, крошка. Только ты, кро…» Глаза Китти полузакрылись. Ей привиделось, что она сидит на террасе итальянской гостиницы. Отец расправляет цветок генцианы на листе грубой промокательной бумаги. Озеро внизу плещется и сверкает. Китти собралась с духом и сказала отцу: «Папа…» Он очень добро взглянул на нее поверх очков, держа двумя пальцами маленький голубой цветок. «Я хочу…» — начала Китти и соскользнула с балюстрады, на которой сидела. Но тут прозвенел колокольчик. Китти встала с кровати и подошла к умывальному столику. Как бы это оценила Нелл? — подумала она, наклоняя ярко отполированный медный кувшин и окуная руки в горячую воду.

Колокольчик прозвенел опять. Она перешла к туалетному столику. Снаружи, в саду, воздух был наполнен шепотами и воркованием. Стружка, подумала Китти, беря в руки гребень и щетку, у него была стружка в волосах. Мимо прошел слуга со стопкой оловянных блюд на голове. Голуби ворковали: «Только ты, крошка, только ты…»

Третий звонок на ужин. Китти быстро заколола волосы, застегнула платье и сбежала по гладким ступеням, скользя рукой по перилам, — как делала в детстве, когда спешила. Все уже собрались.

В передней стояли ее родители и с ними — высокий мужчина. Его мантия была расстегнута, последний солнечный луч освещал его доброе и властное лицо. Кто это? Китти не могла вспомнить.

— Надо же! — воскликнул мужчина, с удивлением посмотрев на нее. — Неужели это Китти? — Он пожал ей руку. — Как вы выросли!

Он смотрел как будто не на нее, а на свое собственное прошлое.

— Не помните меня?

— Чингачгук! — воскликнула Китти, вдруг вспомнив кусочек детства.

— Только теперь он сэр Ричард Нортон, — сказала ее мать, с гордостью похлопав его по плечу. Все направились к выходу: мужчины шли ужинать в столовую колледжа.

Какая безвкусная рыба, думала Китти. Еда почти холодная. И хлеб черствый и нарезан тощими квадратиками. Жизнерадостные цвета Прествич-Террас еще стояли перед ее глазами,

она еще слышала звуки того дома. Конечно — она оглянулась, — превосходство фарфора и серебра в ректорской резиденции безусловно, и японские тарелки и картина там у них висят чудовищные; но эта столовая — с плющами, с большими потрескавшимися холстами — такая темная… В Прествич-Террас комната была полна света. В ушах еще стучал молоток: «Бум-бум-бум». Китти посмотрела в окно, на деревья и траву, которые начинали погружаться в сумерки. В тысячный раз она повторила свое детское желание: чтобы дерево либо совсем упало, либо выпрямилось, но не оставалось так. Дождя не было, однако по саду будто пробегали белесые судороги — это ветер порывами взъерошивал листья лавровых деревьев.

— Ты не заметила? — вдруг обратилась к ней миссис Мелоун.

— Что, мама? — спросила Китти. Она не слушала.

— У рыбы странный вкус.

— Вроде не заметила, — сказала Китти.

Миссис Мелоун продолжила разговаривать с дворецким. Сменили тарелки, внесли следующее блюдо. Но Китти не хотела есть. Она едва притронулась к сладостям, и на этом скромный

ужин, собранный для дам из остатков вчерашнего пиршества, был окончен. Китти проследовала за матерью в гостиную.

Для них двоих гостиная была слишком велика, но они всегда сидели в ней. Картины будто взирали на пустые кресла, а пустые кресла — на картины. Старый джентльмен, управлявший колледжем сто с лишним лет назад, казалось, днем исчезал, но возвращался, когда зажигали лампы. Его внушительное и безмятежное лицо улыбалось. Он был очень похож на доктора Мелоуна — тому тоже очень пристало бы висеть в рамке над камином.

— Хорошо иногда провести спокойный вечер, — сказала миссис Мелоун, — хотя Фриппы… — Ее голос иссяк, когда она надела очки и взяла «Таймс». Для нее это было время отдыха и восстановления сил после дневных трудов. Она подавила небольшой зевок, проглядывая сверху вниз газетные колонки. — Какой милый человек, — между делом заметила она, читая раздел некрологов и объявлений о рождениях. — Совсем не похож на американца.

Китти вернулась к своим мыслям. Она думала о Робсонах. А ее мать говорила о Фриппах.

— Она мне тоже понравилась, — быстро сказа-

ла Китти. — Разве она не мила?

— М-м. На мой вкус, слишком броско одевается, — сухо ответила миссис Мелоун. — Да еще этот акцент… — продолжила она, листая газету. — Я порой едва понимала, что она говорит.

Китти промолчала. В этом они расходились, как и еще очень во многом.

Вдруг миссис Мелоун подняла голову:

— Вот, я так и сказала Бигг нынче утром, — она положила газету.

— Что, мама? — спросила Китти.

— Я про передовицу, — сказала миссис Мелоун и, водя пальцем по строчкам, прочла: — «При том, что у нас лучшие мясо, рыба и птица в мире, мы никогда не сможем использовать их с подобающим результатом, потому что у нас некому их готовить». Утром я сказала Бигг то же самое. — Она коротко вздохнула. Именно когда хочется произвести впечатление на людей — например, на этих американцев, — что-то обязательно не получается. На этот раз — рыба. Миссис Мелоун протянула руку за своим рукодельем, а Китти взяла газету. — Передовица, — повторила миссис Мелоун. Этот автор почти всегда формулировал именно то, что она думала, вселяя в нее покой, даря ей чувство надежности в мире, который, как

ей казалось, менялся к худшему.

— «До того как косный принцип обязательного посещения школ был введен почти повсеместно…» — прочла Китти.

— Да, да, это. — Миссис Мелоун открыла коробку с рукодельем и стала искать ножницы.

— «…дети часто имели возможность наблюдать приготовление пищи, которое, каким бы убогим оно ни было, воспитывало в них определенный вкус и давало начатки знаний в этой области. Теперь они ничего не видят и ничего не делают, кроме как читают, пишут, считают, шьют или вяжут».

— Да, да, — кивнула миссис Мелоун. Она развернула длинную полосу материи, на которой вышивала сложный рисунок, скопированный из гробницы в Равенне: птиц, клюющих фрукты. Вышивка предназначалась для гостевой спальни.

Передовая статья своим помпезным красноречием нагнала на Китти скуку. Она стала искать в газете мелкие новости, которые могли быть интересны ее матери. Миссис Мелоун любила, чтобы кто-нибудь разговаривал с ней или читал вслух, пока она работает. Так повелось, что ее вышивка служила основой, помогавшей соткать из вечернего разговора приятную и гармоничную беседу.

Кто-то что-то произносил и тем самым делал стежок, смотрел на получающийся рисунок, выбирал нить другого цвета, делал еще один стежок. Бывало, что доктор Мелоун читал стихи — Попа, Теннисона. Сегодня миссис Мелоун хотелось поговорить с Китти. Но она все больше ощущала трудности в общении с дочерью. Откуда они? Она посмотрела на Китти. В чем дело? И опять она, по своему обыкновению, быстро вздохнула.

Китти переворачивала большие газетные листы. Овцы страдают от кишечных паразитов; турки требуют свободы вероисповедания; в стране проводятся всеобщие выборы…

— «Мистер Гладстон…» — начала Китти.

Миссис Мелоун потеряла ножницы, это ее раздражало.

— Кто мог их опять взять? — пробормотала она.

Китти опустилась на пол и стала искать ножницы. Миссис Мелоун шарила в коробке для рукоделья. Затем она сунула руку в щель между сиденьем и спинкой кресла и выудила оттуда не только ножницы, но и перламутровый ножичек для разрезания бумаги, который пропал очень давно. Находка рассердила ее. Она доказывала, что Эллен никогда не выбивает кресла как

следует.

— Вот они, Китти, — сказала миссис Мелоун.

Некоторое время обе молчали. В последнее время между ними никогда не исчезало какое-то напряжение.

— Тебе понравилось у Робсонов, Китти? — спросила мать, продолжив вышивание.

Китти не ответила и перевернула газетный лист.

— Недавно провели эксперимент, — произнесла она. — С электрическим светом. «Ярчайший луч внезапно осветил все водное пространство, отделявшее судно от берега Гибралтара. Стало светло, как днем». — Китти сделала паузу. Сидя в кресле своей гостиной, она видела яркий свет, идущий от кораблей. Однако в этот момент открылась дверь, и вошел Хискок с запиской на подносе.

Миссис Мелоун взяла ее и молча прочла.

— Ответа не будет, — сказала она. По голосу матери Китти поняла: что-то случилось. Миссис Мелоун сидела, держа записку в руке.

Хискок закрыл за собой дверь.

— Роза умерла! — сказала миссис Мелоун. — Тетя Роза. — Она положила развернутую записку на колени. — Это от Эдварда.

— Тетя Роза умерла? — переспросила Китти. За мгновение до того она думала о ярком свете на красных скалах. А теперь все погрузилось в сумрак. Обе молчали. В глазах матери стояли слезы.

— Именно когда она так нужна детям, — произнесла она, воткнув иглу в материю. Она начала медленно сворачивать вышивку.

Китти закрыла «Таймс» и осторожно, стараясь не шуршать газетой, положила ее на столик. Она видела тетю Розу всего один раз. Ей стало неловко.

— Принеси мой ежедневник, — наконец попросила ее мать.

Китти принесла.

— Надо отменить званый ужин в понедельник, — сказала миссис Мелоун, просматривая свои записи о планах на неделю.

— И визит к Лэйзомам в среду, — прошептала Китти, заглядывая через плечо матери.

— Мы не можем отменить все, — сухо ответила мать, и Китти услышала в ее голосе упрек.

Но надо было писать письма. Китти занялась этим под диктовку матери.

Почему ей так хочется отменить все наши планы? — думала миссис Мелоун, наблюдая

за пишущей дочерью. Почему ей больше не нравится куда-то ходить со мной? Она стала просматривать письма, которые ей отдала Китти.

— Почему в тебе так мало интереса к здешней жизни, Китти? — раздраженно спросила миссис Мелоун, отодвигая письма в сторону.

— Мама, милая мама… — начала Китти, стараясь предотвратить обычную перепалку.

— Нет, но чем ты хочешь заниматься? — настаивала ее мать. Она отложила вышивку и сидела прямо, приняв довольно грозный вид. — Твой отец и я хотим только, чтобы ты нашла себе дело по душе, — продолжила она.

— Милая мама… — повторила Китти.

— Можешь помогать отцу, если тебе скучно помогать мне, — сказала миссис Мелоун. — Папа на днях сказал, что ты совсем перестала к нему заходить. — Она, поняла Китти, имеет в виду историю колледжа, которую писал отец. Он предложил, чтобы Китти помогала ему. Она вспомнила, как чернила — из-за неловкого движения ее руки — залили пять поколений оксфордцев, уничтожив много часов изощренных отцовских усилий на бумажной ниве. Она опять услышала, как он сказал — с присущей ему учтивой иронией: «Природа создала тебя не для науки, моя дорогая», — и

приложил к рукописи промокательную бумагу.

— Да, — виновато ответила Китти матери, — я давно не заходила к папе. Но ему всегда что-то… — Она заколебалась.

— Естественно, — сказала миссис Мелоун, — что человек на таком посту…

Китти сидела молча. Обе молчали. Обе терпеть не могли эту мелочную пикировку, обоим были неприятны эти повторяющиеся сцены, которые тем не менее казались неизбежными. Китти встала, взяла написанные ею письма и отнесла в переднюю.

Чего она хочет? — спрашивала себя миссис Мелоун, глядя вверх на картину, но не видя ее. В ее возрасте… — подумала она и улыбнулась. Она так хорошо помнила сидение дома весенними вечерами вроде этого в йоркширской глуши. Стук конских копыт по дороге можно было услышать за много миль. Она помнила, как распахивала окно своей спальни, смотрела на темные кусты в саду и кричала: «Неужели это жизнь?!» А зимой был снег. Она и сейчас будто слышала, как он обваливается с садовых деревьев. А Китти живет в Оксфорде, в центре всего самого-самого…

Китти вернулась в гостиную и едва приметно зевнула. Она бессознательно поднесла руку к

лицу, и этот жест утомления тронул ее мать.

— Устала, Китти? — спросила миссис Мелоун. — День был долгий. Ты что-то бледная.

— У тебя тоже усталый вид, — сказала Китти.

Забили колокола — удар за ударом теснили друг друга, налезая один на другой в сыром и тяжелом воздухе.

— Иди спать, Китти, — сказала миссис Мелоун. — Слышишь? Пробило десять.

— А ты не пойдешь, мама? — спросила Китти, стоя рядом с ее креслом.

— Твой отец вернется еще не скоро, — ответила миссис Мелоун, опять надевая очки.

Китти знала, что всякие попытки убедить мать бесполезны. Это было частью таинственного ритуала, составлявшего жизнь ее родителей. Китти нагнулась и едва коснулась губами ее щеки — единственный знак нежности, который они себе позволяли. Между тем они очень любили друг друга, хотя и постоянно ссорились.

— Доброй ночи, спи спокойно, — сказала миссис Мелоун. — Не хотелось бы, чтобы твой румянец увял, — добавила она, против обыкновения обняв дочь одной рукой.

После ухода Китти она сидела не двигаясь. Роза умерла, думала она, Роза, почти ее ровесница.

Она перечитала записку. Ее прислал Эдвард. А Эдвард, стала размышлять миссис Мелоун, влюблен в Китти, но не знаю, хочу ли я, чтобы она вышла за него… Она взяла иголку. Нет, лучше не за Эдварда… Есть еще молодой лорд Лассуэйд… Это был бы прекрасный брак, думала она. Дело не в том, что я желаю ей богатства, и титул меня не волнует, — она вдела нитку в иголку. Дело не в этом, просто он способен дать ей то, чего она хочет… А что это? Масштаб возможностей, решила миссис Мелоун, начав вышивать. Затем ее мысли вернулись к Розе. Роза умерла. Роза, почти ее ровесница. Кажется, тогда он впервые и сделал ей предложение, думала она, — в тот день, когда они устроили пикник на пустоши. Была весна. Они сидели на траве. Она живо представила Розу в черной шляпке с петушиным пером, ее ярко-рыжие волосы… И как она покраснела и очень похорошела, когда подъехал на лошади Эйбел — к их полной неожиданности: его часть расквартировали в Скарборо. Да, это было в день пикника на пустоши.

В доме на Эберкорн-Террас было очень темно. Сильно пахло весенними цветами. Уже несколько дней росла гора венков на столе в передней. В сумраке — все шторы были задернуты — цветы

мерцали. Передняя была наполнена страстными ароматами, как оранжерея. Венки все прибывали. В одних были лилии с широкими золотыми полосами или с пятнистыми зевами, липкими от нектара, в других — белые тюльпаны, белая сирень — цветы всех сортов, и с толстыми бархатными лепестками, и с тончайшими, полупрозрачными, и все они были тесно увязаны, венчик к венчику, в виде кругов, овалов, крестов — так, что уже и на цветы-то едва походили. К венкам были прикреплены карточки с черными рамками: «С глубокими соболезнованиями от майора Бранда и миссис Бранд», «С любовью и соболезнованиями от генерала Элкина и миссис Элкин», «Дорогой Розе от Сьюзен». На каждой карточке было написано несколько слов.

Даже сейчас, когда у подъезда стоял катафалк, зазвонил звонок, и вошел мальчик-посыльный с очередным букетом лилий. Остановившись в передней, он снял фуражку: несколько мужчин, пошатываясь от тяжести, сносили по лестнице гроб. Роза, в черном-пречерном платье, побуждаемая няней, сделала шаг вперед и бросила на гроб свой маленький букетик. Но он соскользнул с гроба, поскольку тот был наклонен и качался на покатых плечах служителей, приглашенных

от «Уайтлиз». Семья последовала за ними.

День выдался неровный: летучие тени сменялись яркими лучами, вырывавшимися из-за облаков. Похоронная процессия двинулась шагом. Садясь во вторую карету вместе с Милли и Эдвардом, Делия заметила, что в окнах домов напротив задернуты шторы — в знак соболезнования, — но в одном месте служанка подглядывает. Остальные как будто не видели ее, они думали о своей матери. Вырулив на широкую улицу, поехали быстрее: путь до кладбища был неблизкий. Через щель между шторками Делия видела играющих собак, распевающего попрошайку, мужчин, снимавших шляпы при виде катафалка. Но к тому моменту, когда мимо них проезжала вторая карета, шляпы возвращались на место. Люди бодро и равнодушно сновали по тротуарам. Магазины уже пестрели весенними нарядами; женщины останавливались и смотрели на витрины. Но им, детям покойной, предстоит все лето носить только траур, думала Делия, глядя на угольно-черные брюки Эдварда.

Они почти не говорили, разве что перебрасывались короткими формальными фразами, как будто уже участвовали в церемонии. В их отношениях произошла какая-то перемена. Они

стали серьезнее, а еще — немного важничали, как будто смерть матери наложила на них новые обязанности. Но у всех, кроме Делии, легко получалось вести себя правильно — только ей приходилось делать усилие. Она оставалась вне всего этого, как и отец, думала она. Когда Мартин вдруг расхохотался за чаепитием, а потом замолчал с виноватым видом, она почувствовала: так вел бы себя папа, да и я сама, будь мы честны.

Она опять выглянула из окошка. Еще один мужчина снял шляпу — высокий, во фраке, — но нет, она не позволит себе думать о мистере Парнелле, пока не кончатся похороны.

Наконец они достигли кладбища. Заняв место в небольшой группе, шедшей за гробом к церкви, Делия с облегчением обнаружила, что ее охватило некое сильное и торжественное чувство. В церкви люди стояли по обе стороны от прохода, и она ощущала на себе их взгляды. Потом началась служба. Священник был их родственником. Первые слова прозвучали ярко, необычайно красиво. Делия, стоявшая за отцом, заметила, что он сделал над собой усилие и расправил плечи.

«Я есмь воскресение и жизнь»[92].

---

[92] Примечания: 92
Ин. 11, 25.

После стольких дней, проведенных в полутемном доме, слова откровения наполнили ее ощущением благодати. Это было искреннее чувство, она будто сама произносила их. Но затем, по мере того как кузен Джеймс читал дальше, что-то исчезло. Смысл затуманился. Она не могла уловить его разумом. А потом опять знакомая красота вдруг ненадолго пробилась наружу. «…Как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает»[93]. Она ощутила эту красоту. Вновь они звучали музыкой. Но затем кузен Джеймс как будто заспешил, словно не совсем верил в то, что говорил. Словно перешел от известного к неизвестному, от того, во что верил, к тому, во что не верил. Даже голос его изменился. Он казался таким же чистым, накрахмаленным и выглаженным, как его одежды. Но что он имел в виду, говоря все это? Делия отчаялась понять. Это либо понимаешь, либо не понимаешь, думала она. Мысли ее блуждали.

Но я не буду думать о нем, убеждала себя она, воображая высокого мужчину, который стоял рядом с ней на помосте и поднимал шляпу, не буду

---

[93] Примечания: 93
Пс. 89, 6.

— пока все не кончится. Она задержала взгляд на отце. Она видела, как он промокнул глаза большим белым носовым платком и положил его обратно в карман. Потом опять вытащил и опять промокнул глаза. Голос умолк. Отец окончательно убрал платок в карман. Маленькая семейная группа вновь выстроилась за гробом, и вновь черные люди по обе стороны от прохода встали и смотрели на них, пропускали вперед, а потом пошли за ними вслед.

Влажный воздух, снова ласково овеявший лицо, принес ей чувство облегчения. Но, оказавшись на улице, она опять стала замечать мелочи. Черные лошади били копытами, вырывая ямки в желтом гравии. Она вспомнила, как кто-то сказал, что лошадей для похорон привозят из Бельгии и что они очень норовисты. И вид у них норовистый, подумала она, их черные холки в пене, но — она одернула себя. Люди в беспорядке стали выходить из храма — по одному, по двое — и направляться к свежему желтому холмику у могилы. Здесь Делия приметила, что могильщики стоят чуть поодаль, держа в руках лопаты.

Последовала пауза. Люди все подходили и занимали места — кто ближе, кто дальше. На глаза Делии попалась бедная женщина в поно-

шенной одежде, переходившая с места на место позади всех. Делия подумала, не старая ли это прислуга, но имени вспомнить не смогла. Дядя Дигби, брат ее отца, стоял прямо напротив нее, держа свой цилиндр обеими руками, как некий священный сосуд, и являя собой образ скорбного благочестия. Некоторые женщины плакали, а из мужчин — никто. Мужчины стояли в одной позе, женщины — в другой, заметила Делия. Затем все началось заново. Всплеск величавой музыки наполнил их уши: зазвучало «Человек, рожденный женою»[94]; церемония возобновилась, опять люди почувствовали общность, сплотились. Семья подступила к могиле ближе остальных и неотрывно смотрела на гроб, который, блистая полированными стенками и ручками, лежал на земляном дне ямы, ожидая вечного погребения. Он выглядел слишком новым для вечного погребения. Делия смотрела в могилу. Там лежит ее мать, в этом гробу, женщина, которую она так любила и ненавидела. У Делии потемнело в глазах. Она испугалась, что упадет в обморок. Но она должна смотреть, должна чувствовать. Это ее последний шанс. На гроб упала земля. Три камешка

[94] Примечания: 94
Иов 14,1.

стукнулись о твердую блестящую поверхность. Когда они падали, Делию охватило ощущение чего-то вечно длящегося, жизни, перемешанной со смертью, смерти, претворяющейся в жизнь. Ведь, глядя на гроб, она слышала, как щебечут воробьи — все быстрее и быстрее, как скрипят колеса в отдалении — все громче и громче; жизнь подступала ближе и ближе…

«Мы приносим Тебе сердечное благодарение, — зазвучал голос, — за то, что Тебе было угодно избавить сестру нашу от горестей этого грешного мира…»

Какая ложь! — мысленно прокричала Делия. Какая гнусная ложь! Он отнял у нее единственное искреннее чувство, испортил единственный момент понимания.

Она подняла голову. Элинор и Моррис стояли бок о бок, у них были опухшие лица, красные носы, по щекам текли слезы. А отец выглядел таким застывшим, окоченевшим, что в ней поднялось судорожное желание расхохотаться. Так никто не может чувствовать, подумала она. Он переигрывает. Никто из нас ничего не чувствует, мы все притворяемся.

Наконец все задвигались. Усилия сосредоточиться остались позади. Люди начали разбре-

даться в разные стороны, никто не пытался сформировать процессию. Собрались небольшие группки. Люди украдкой обменивались рукопожатиями — здесь же, среди могил — и даже улыбались.

— Как любезно, что вы пришли, — говорил Эдвард, пожимая руку сэру Джеймсу Грэму, который в ответ слегка похлопал его по плечу. Должна ли она тоже подойти и поблагодарить его? Среди могил это казалось неловким. Похороны начали походить на мрачноватый и приглушенный пикник на кладбище. Делия заколебалась: она не знала, что следует делать дальше. Отец побрел прочь. Она оглянулась. Появились могильщики. Они аккуратно укладывали венки один на другой. Шнырявшая на задах женщина стояла рядом с ними, наклонившись, и читала фамилии на карточках. Церемония закончилась. Шел дождь.

1891

Осенний ветер дул над Англией. Он срывал с деревьев листья, и они, трепеща и играя багрянцем и желтизной, сыпались или медленно планировали, описывая широкие дуги перед тем, как улечься на землю. В городах, нападая порывами из-за углов, ветер то сдергивал с головы шляпу,

то взметал женскую вуаль. Деньги оживленно циркулировали. На улицах было людно. За покатыми столами в конторах близ собора Св. Павла клерки задумывались, остановив движение пера по линованной бумаге. После отпуска работать было трудно. Маргит, Истбурн и Брайтон[95] оставили на их коже бронзовый загар. Воробьи и скворцы, нестройно щебеча на карнизах Св. Мартина[96], выбеливали головы гладкотелых статуй, стоявших с жезлами или свитками в руках на Парламентской площади. Дуя вслед поезду, который спешил прибыть до отплытия корабля, ветер морщил воды Английского канала, раскачивал виноградные гроздья в Провансе и заставлял ленивого юношу-рыбака, лежавшего на спине в своей лодке на Средиземном море, повернуться и вытащить снасть.

Но в Англии, на севере, было холодно. Китти, леди Лассуэйд, сидя на террасе рядом с мужем и его спаниелем, потеплее закутала плечи в плащ. Она смотрела на вершину холма, где в качестве

---

[95] Примечания: 95

Маргит, Истбурн, Брайтон — курортные городки на побережье Англии.

[96] Примечания: 96

Имеется в виду лондонская церковь Святого Мартина на Полях, построена в 1726 г.

ориентира для кораблей торчал монумент в форме колпака, воздвигнутый старым графом. Лес был окутан дымкой. Рядом, на террасе, каменные женщины держали в руках вазы с алыми цветами. Прозрачный голубоватый дым стелился над пламенеющими георгинами, которые росли на длинных клумбах, спускавшихся к реке.

— Траву жгут, — сказала Китти.

Раздался легкий стук в окно, и на террасу, спотыкаясь, вышел ее маленький сын в розовом костюмчике, с пятнистой лошадкой в руках.

В Девоншире, где круглые красные холмы и долины с крутыми склонами вбирали в себя морской воздух, кроны деревьев еще были густыми — слишком густыми, как сказал за завтраком Хью Гиббс. Слишком густыми для охоты, сказал он, и Милли, его жена, отпустила его на собрание охотников. С корзиной на руке она пошла по ухоженной дорожке из неровных плоских камней, вразвалку, как женщина, ждущая ребенка. Над стеной сада висели желтые груши, такие налитые, что они приподнимали листья. Но до груш уже добрались осы: кожура была изъедена. Сорвав плод, Милли остановилась. «Пух, пух, пух!» — донеслось из дальнего леса. Кто-то стрелял.

Дым пеленой висел над шпилями и куполами университетских городов. Здесь его источала пасть горгульи, там он цеплялся за облезлые желтые стены. Эдвард, быстрым шагом совершавший свой моцион, примечал запахи, звуки и цвета, делая вывод, что впечатления от реальности очень сложны и мало кто из поэтов умеет выразить их вполне. Однако должна быть, думал он, какая-то греческая или латинская строка, передающая контраст… — но тут ему повстречалась миссис Лэйзом, и он приподнял фуражку.

У Дома правосудия сухие листья угловато лежали на каменных плитах мостовой. По дороге в свою адвокатскую контору Моррис, вспоминая детство, шаркал в листьях ногами, и они разлетались по сторонам и ссыпались в канавы. А в Кенсингтон-Гарденз по ним почти никто не ходил, только дети, с хрустом давя каштаны и желуди, бегали среди деревьев, подхватывали охапки листьев и мчались дальше сквозь туман по аллеям, гоня вперед свои обручи.

Носясь над холмистыми просторами, ветер пускал по ним широкие кольца тени, которые постепенно растворялись в зелени. Но в Лондоне улицы задерживали полет облаков, густой туман висел над Ист-Эндом у реки, из-за тумана звучали

отдаленно голоса людей, кричавших: «Железный лом берем! Железный лом!», и глухо пели шарманки в пригородах. Ветер нес дым — потому что в каждом дворике, в углу заросшей плющом стены, где еще ютились последние герани, лежали кучи листьев; резвое пламя пожирало их, и дым летел на улицу, в открытые поутру окна гостиных. Ведь стоял октябрь, месяц, когда рождается год.

Элинор сидела за своим письменным столом с пером в руке. Как странно, думала она, касаясь кончиком пера изъеденной чернилами щетинки на спине Мартинова моржа, как странно, что *это* пережило столько лет. Возможно, этот косный предмет переживет их всех. Если она его выбросит, он все равно продолжит где-то существовать. Но за все это время она не выбросила его, потому что он — часть целого, он связан с чем-то или с кем-то еще — с ее матерью, например… Она приложила листок промокательной бумаги. На ней проступило лучистое пятно. Затем она подняла глаза. Во дворе жгли траву, оттуда вился дым, источавший сильный и едкий запах; там падали листья. На улице играла шарманка. «Sur le pont

d'Avignon»[97], — тихо пропела Элинор в такт мелодии. Как там дальше? — эту песню Пиппи пела, протирая нам уши куском противной мокрой фланели.

— «Ron, ron, ron, et plon, plon, plon», — продолжила Элинор. Но тут музыка умолкла. Шарманку унесли дальше. Элинор обмакнула перо в чернила. — Трижды восемь… — прошептала Элинор. — Двадцать четыре, — уверенно добавила она, вывела число внизу страницы, собрала небольшие красные и синие тетрадки и понесла их в кабинет отца.

— А вот и хозяйка! — добродушно встретил ее он, сидя в своем кожаном кресле с розоватой финансовой газетой. — Вот и хозяйка, — повторил отец, глядя поверх очков.

Он все медленнее соображает, подумала Элинор. А она спешила. Но они очень хорошо ладили друг с другом, почти как брат и сестра. Он отложил газету и перешел к письменному столу.

«Побыстрее бы, папа, — подумала она, когда он, не торопясь, отпирал ящик, в котором держал чековую книжку, — не то я опоздаю».

— Молоко сильно подорожало, — сказал он,

---

[97] Примечания: 97

«На мосту Авиньонском» (*фр.*) — французская детская песенка.

похлопывая по обложке с золоченой коровой.

— Да, в октябре сезон яиц, — отозвалась она.

Пока отец крайне медленно выписывал чек, Элинор оглядела комнату. Она походила на деловую контору: газеты, ящики с бумагами — только над камином висят конские удила, да на полке стоит серебряный кубок, награда за победу в поло. Интересно, подумала она, он все утро сидит тут, читая финансовые газеты и обдумывая свои вклады? Отец перестал писать.

— Куда теперь? — спросил он с лукавой улыбкой.

— В Комитет, — ответила Элинор.

— В Комитет, — повторил отец, ставя свою четкую и жирную подпись. — Что ж, держись там твердо, не давай сесть себе на шею, Нелл. — Он вписал в гроссбух число.

— Ты днем пойдешь со мной, папа? — спросила Элинор, когда он оторвал перо от бумаги. — Сегодня Моррис выступает в суде.

Он покачал головой:

— Нет, мне надо в три быть в Сити.

— Тогда увидимся за обедом, — сказала Элинор, намереваясь уйти. Но отец поднял руку. Он что-то хотел сказать, но не решался. У него погрузнело лицо, заметила про себя Элинор, и на носу видны

прожилки. Он становится все более грузным и все больше наливается кровью.

— Я тут подумывал зайти к Дигби, — сообщил он после долгого молчания, а затем встал, отошел к окну и выглянул в сад.

Элинор не терпелось уйти.

— Как листья падают… — заметил отец.

— Да, — сказала она. — И траву жгут.

Отец постоял, глядя на дым.

— Траву жгут, — повторил он.

Помолчав, он наконец произнес:

— У Мэгги сегодня день рождения. Я думал преподнести ей небольшой подарок. — Он сделал паузу. Элинор поняла: он хочет, чтобы подарок купила она.

— Что же ты хочешь подарить?

— Ну, — неуверенно сказал он, — что-нибудь приятное на вид, знаешь, чтобы она могла носить…

Элинор постаралась вспомнить, сколько лет исполняется ее двоюродной сестре Мэгги — семь или восемь?

— Ожерелье? Брошку? Что-нибудь такое? — быстро спросила она.

— Да, что-нибудь такое, — согласился отец, опять устраиваясь в кресле. — Что-нибудь прият-

ное, чтобы она могла носить. — Он открыл газету и слегка кивнул дочери. — Спасибо, дорогая, — сказал он, когда она выходила.

На столе в передней, между серебряным подносом, на котором горой были свалены визитные карточки — большие и маленькие, некоторые с загнутыми уголками, — и куском плюша, которым полковник полировал свой цилиндр, лежал тонкий заграничный конверт с надписью «Англия», выведенной в углу крупными буквами. Элинор, торопливо сбежав по лестнице, походя бросила его к себе в сумку. Быстрыми семенящими шажками она пересекла Эберкорн-Террас, остановилась на углу и нетерпеливо посмотрела вдоль улицы. Среди множества экипажей ей удалось разглядеть объемистую махину — слава богу, желтого цвета: слава богу, она успела на омнибус. Подняв руку, Элинор остановила его и взобралась наверх. Натянув на колени кожаный полог, она вздохнула с облегчением. Теперь все заботы лежат на вознице. Элинор расслабилась. Она вдыхала мягкий лондонский воздух, с удовольствием слушая глухой гул Лондона. Ей нравилось смотреть вдоль улицы на кабриолеты, фургоны и кареты, проезжающие мимо, — у каждого экипажа была впереди какая-то цель. Она

любила после лета, в октябре, возвращаться к полнокровной жизни. Отдыхала она в Девоншире, у Гиббсов. Все вышло очень хорошо, думала она, оценивая брак ее сестры и Хью Гиббса, глядя на Милли и ее детей. А Хью… Элинор улыбнулась. Он ездил на большой белой лошади, разбрасывавшей копытами палую листву. Но там слишком много деревьев и коров и слишком много низких холмов, вместо одного высокого, думала она. Ей не нравился Девоншир. Она была рада вернуться в Лондон, ехать на втором этаже желтого омнибуса, с сумкой, набитой бумагами, в октябре, когда все начинается вновь. Омнибус покинул жилой квартал, дома изменились, попадалось все больше магазинов. Это ее мир, здесь она в своей стихии. Улицы были запружены народом, женщины с корзинами для покупок роились у дверей магазинов. В этом движении было что-то знакомое, ритмичное, люди напоминали грачей, то садящихся на поле, то снимающихся с него.

Элинор тоже ехала по своим делам — она перевернула часы на запястье, не взглянув на них. После Комитета — Даффус, после Даффуса — Диксон. Потом обед, а затем — Дом правосудия… Обед и в полтретьего — Дом правосудия, повторила она. Омнибус катился по Бэйзуотер-Роуд. Улицы

становились все беднее.

Возможно, и не стоило брать на работу Даффуса, сказала она себе, — она думала о Питер-стрит[98], где находились построенные ею дома. Крыша опять течет, из раковины дурно пахнет. Тут омнибус остановился, одни люди вышли, другие вошли, омнибус поехал дальше. Однако лучше поручать работу скромному человеку, думала она, глядя на огромные витрины из толстого стекла, украшавшие один из больших магазинов, чем обращаться в какую-нибудь крупную фирму. Бок о бок с большими магазинами всегда есть мелкие лавки. Вот загадка. Как мелкие лавки умудряются выжить? — удивлялась она. Но если Даффус… — начала она новую мысль, и омнибус опять остановился. Элинор подняла голову, встала. Если Даффус полагает, что может на меня давить, продолжила она, спускаясь по ступенькам, то он узнает, что ошибается.

Элинор быстро прошла по гаревой дорожке к сараю из оцинкованного железа, в котором устраивались собрания. Она опоздала, все уже пришли. Это было ее первое собрание после отдыха, и ее встретили улыбками. Джадд даже вынул изо рта

---

[98] Примечания: 98

Питер-стрит — вымышленное название.

зубочистку — в качестве приветствия, которое польстило Элинор. Вот и все опять в сборе, подумала она, садясь на свое место и раскладывая на столе бумаги.

Но она имела в виду «их», не себя. Она не существует, она — никто. А они все перед ней: Брокет, Кафнелл, мисс Симс, Рэмсден, майор Портер и миссис Лэйзенби. Майор проповедует необходимость организации, мисс Симс (бывшая фабричная работница) за версту чует высокомерие, миссис Лэйзенби предлагает написать своему родственнику сэру Джону, за что получает отповедь Джадда, ушедшего на покой лавочника. Садясь, Элинор улыбнулась. Мириам Пэрриш читает письма. Но зачем морить себя голодом, подумала Элинор, слушая ее. Бедняжка совсем отощала.

Пока шло чтение писем, она оглядывала помещение. Недавно здесь были танцы. Красные и желтые бумажные гирлянды висели под потолком. Цветной портрет принцессы Уэльской по углам украшали веночки из желтых роз. Грудь принцессы пересекала лента цвета морской волны, на коленях она держала пухлую желтую собачку, а плечи ее были расшиты и увешаны жемчугом. Ее облик был преисполнен безмятеж-

ности и безразличия. Забавная реакция на все их споры и разногласия, подумала Элинор. Лэйзенби перед этим преклоняется, мисс Симс это высмеивает, а Джадд просто смотрит, подмигивая и ковыряя в зубах. Будь у него сын, как-то сказал он Элинор, он послал бы его в «нивирситет». Однако Элинор прервала свои размышления. К ней обратился майор Портер.

— Так, мисс Парджитер, — сказал он, вовлекая ее в разговор, поскольку они были равными по общественному положению, — вы не высказали нам своего мнения.

Элинор собралась с мыслями, чтобы высказать им свое мнение. У нее было мнение, причем весьма определенное. Она откашлялась и начала говорить.

Дым, который несло через Питер-стрит, собрался в узком промежутке между домами в полупрозрачную серую завесу. Но здания по обе стороны было хорошо видно. Кроме двух домов в середине улицы, все они были точными копиями друг друга: желто-серые коробки с крышами из шифера. Ничего особенного не происходило. Несколько ребятишек играли на мостовой, две кошки что-то теребили лапами в канаве. Однако женщина, высунувшись из окна, рыскала во

все стороны взглядом, как будто обшаривала каждую щель, чтобы найти в ней пропитание. Ее глаза, алчные, ненасытные, похожие на глаза хищной птицы, сейчас глядели угрюмо и сонно, словно им было нечем утолить свой голод. Ничего не происходило — совершенно ничего. Но она все смотрела и смотрела, бросая свой праздный и недовольный взор то в одну, то в другую сторону. Затем из-за угла вывернула двуколка. Женщина проследила за ней взглядом. Экипаж остановился перед домами напротив, которые отличались от других зелеными подоконниками и наддверными медальонами с изображением подсолнечника. Из двуколки вышел невысокий человек в твидовой кепке и постучал. Дверь открыла женщина на сносях. Она отрицательно покачала головой, затем посмотрела в обе стороны вдоль улицы и закрыла дверь. Человек остался ждать. Лошадь терпеливо стояла, опустив голову со свисающими поводьями. В окне появилась еще одна женщина, у нее было белое лицо с многочисленными подбородками и нижняя губа, выступавшая подобно карнизу. Высунувшись из окна вместе, две женщины наблюдали за мужчиной. У него были кривые ноги. Он курил. Женщины обменялись каким-то замечанием о

нем. Он стал ходить туда-сюда: да, точно, он кого-то ждал. Выбросил окурок сигареты. Женщины все смотрели. Что он сделает дальше? Может, покормит лошадь? Но тут из-за угла быстрым шагом вышла высокая женщина в жакете и юбке из серого твида. Коротышка обернулся и приподнял кепку.

— Простите за опоздание, — громко сказала Элинор, подходя, и Даффус приподнял кепку с добродушной улыбкой, которая ей так нравилась.

— Ничего, мисс Парджитер, — сказал он. Ей всегда хотелось, чтобы он видел в ней не просто работодателя.

— Ну, приступим, — сказала она. Предстоявшее дело вызывало у нее отвращение, но сделать его приходилось.

Дверь открыла миссис Томс, квартирантка с первого этажа.

Боже, подумала Элинор, глядя на округлость у нее под фартуком, опять ждет ребенка — несмотря на все, что я ей говорила.

Они стали ходить по домику — из комнаты в комнату, а миссис Томс и миссис Гроувс следовали за ними. Здесь трещина, там пятно… У Даффуса была линейка, которой он постукивал по штукатурке. Хуже всего то, думала Элинор,

пока миссис Томс говорила, что он все равно мне по душе, ничего не могу с собой поделать. В основном — из-за его валлийского акцента: он был очень обаятельным негодяем. Он изворотлив, как уж, она это понимала, но когда он начинал говорить — так певуче! — ей сразу вспоминались долины Уэльса… В штукатурке зияла дыра, такая глубокая, что в нее можно было засунуть палец.

— Посмотрите, мистер Даффус, вот здесь, — сказала Элинор, наклоняясь и вставляя в дыру палец.

Он лизнул карандаш. Ей нравилось ходить вместе с ним на его хозяйственный двор, смотреть, как он измеряет доски и кирпичи, она любила слушать, как он называет предметы короткими и четкими техническими терминами.

— Теперь пройдем наверх, — сказала она. В ее глазах он был похож на муху, которая пытается выбраться из тарелки. С такими мелкими подрядчиками, как Даффус, всегда рискованно иметь дело. Со временем они могут выбиться наверх, стать такими же, как Джадд, посылать сыновей в «нивирситет», но могут потерпеть крах, и тогда… У него жена и пятеро детей, она видела их в комнате позади магазина, они играли на полу с мотками хлопчатобумажных ниток. Ей всегда

хотелось, чтобы ее пригласили войти… Но вот и верхний этаж, где лежит прикованная к постели старая миссис Поттер.

Элинор постучала и громко спросила жизнерадостным тоном:

— Можно войти?

Ответа не последовало. Старушка была совершенно глуха, поэтому они вошли. Она лежала, забившись в угол кровати, как всегда без какого-либо занятия.

— Я привела мистера Даффуса, чтобы он взглянул на ваш потолок! — прокричала Элинор.

Старушка подняла голову и принялась сотрясать руками, напоминая большую взъерошенную обезьяну. На пришедших она смотрела диким, подозрительным взглядом.

— Потолок, мистер Даффус. — Элинор указала на большое желтое пятно. Дом построили пять лет назад, а все уже требует ремонта.

Даффус распахнул окно и высунулся наружу. Миссис Поттер ухватилась за руку Элинор, как будто боялась, что ее сейчас побьют.

— Мы пришли осмотреть ваш потолок, — очень громко повторила Элинор. Но ее обращение не достигло цели. Старуха принялась хныкать, сплетая слова в скорбную песнь, состоявшую поровну

из жалоб и проклятий. Хоть бы Господь забрал ее. Каждую ночь она молит Его освободить ее. Все дети ее умерли.

— Просыпаясь утром… — начала она.

— Да-да, миссис Поттер. — Элинор попыталась утешить старушку, но та крепко держала ее руки.

— Я молю Его освободить меня, — продолжила миссис Поттер.

— Листья забили водосток, — сказал Даффус, повернувшись к Элинор.

— А какие боли! — Миссис Поттер вытянула вперед руки, морщинистые и узловатые, как кривые древесные корни.

— Да-да, — сказала Элинор. — Крыша течет, дело не только в листьях, — ответила она Даффусу.

Даффус опять высунулся.

— Мы позаботимся, чтобы вам было удобнее! — крикнула Элинор старухе, которая то раболепно трясла головой, то горестно прижимала ко рту ладонь.

Даффус опять втянул голову в комнату.

— Вы разобрались, в чем причина? — резко спросила у него Элинор.

Он что-то записывал в свой блокнот. Элинор мечтала поскорее уйти. Миссис Поттер попро-

сила прощупать ее плечо. Элинор прощупала. Старуха все так же цепко держала ее руку. На столике стояло лекарство. Раз в неделю сюда приходит Мириам Пэрриш. Зачем мы это делаем? — спрашивала себя Элинор, пока миссис Поттер продолжала говорить. Зачем заставляем ее жить? Она посмотрела на лекарство. Это невыносимо. Элинор отняла у старухи свою руку.

— До свиданья, миссис Поттер! — прокричала она, ощущая свою неискренность и свое здоровье. — Мы починим ваш потолок! — Элинор закрыла за собой дверь.

Миссис Гроувс ковыляла впереди, ведя ее в кухню, чтобы показать раковину. Пряди желтых волос свешивались на ее немытые уши. Если бы я занималась этим каждый день, думала Элинор на ходу, то стала бы мешком с костями — как Мириам, с бусами на шее… И зачем все это? Она наклонилась, чтобы понюхать раковину.

— Итак, Даффус, — сказала Элинор, глядя Даффусу в глаза, когда инспекция была окончена. В ее ноздрях еще стояла вонь из раковины. — Какие у вас предложения?

В ней поднимался гнев. В основном виноват он, Даффус. Он обманул ее. Но, стоя перед ним, видя его худую фигурку и то, как его бабочка

задралась поверх воротника, она почувствовала неловкость.

Он лукавил, извивался. Элинор поняла, что вот-вот выйдет из себя.

— Если вы не можете хорошо работать, — сухо сказала она, — я найму кого-нибудь другого. — Она говорила тоном полковничьей дочери, тоном зажиточного сословия, который сама не могла терпеть. Даффус на глазах помрачнел. Но Элинор не отступила: — Вам должно быть стыдно. — Ее слова явно возымели на него действие. — Всего хорошего, — кратко попрощалась она.

Она заметила, что на этот раз он не наградил ее обаятельной улыбкой. Но их надо запугивать, иначе они тебя будут презирать, думала Элинор, когда миссис Томс открывала перед ней дверь. Она опять обратила внимание на то, как у той выпирает живот под фартуком. Толпа детей стояла и смотрела на лошадь Даффуса. Но никто из ребятишек, заметила Элинор, не осмелился почесать лошади нос.

Элинор опаздывала. Она бросила взгляд на терракотовый медальон с подсолнечником. Этот символ ее девических устремлений вызвал у нее мрачную усмешку. Она хотела, чтобы он в центре Лондона напоминал о цветах и полях.

Но теперь он растрескался. Элинор, по обыкновению, пошла быстрым шагом. Движение будто разбивало какую-то неприятную корку, помогало избавиться от старухиной хватки, которую она еще чувствовала на своем плече. Она почти бежала, уворачиваясь от женщин, делавших покупки. Она метнулась на дорогу и подняла руку среди экипажей и лошадей. Кондуктор увидел ее, обхватил рукой и втащил на подножку. Она успела на омнибус.

Наступив на ногу мужчине в углу, она уселась между двумя пожилыми женщинами. Она слегка запыхалась и покраснела от бега, прическа грозила вот-вот развалиться. Элинор посмотрела украдкой на других пассажиров. Все они выглядели немолодыми, солидными, как будто в их жизни все уже решено. В омнибусе ей почему-то всегда казалось, что она моложе всех, однако сегодня, сумев победить Джадда в споре, она чувствовала себя повзрослевшей. Омнибус ехал по Бэйзуотер-Роуд, серый ряд домов прыгал перед глазами Элинор вверх-вниз. Магазины сменялись жилыми домами. Здания были большие и маленькие, общественные и частные. А вот церковь вздымает свой точеный шпиль. Внизу же — трубы, провода, канавы… Губы Элинор заше-

велились. Она говорила сама с собой. Везде есть пивная, библиотека и церковь, бормотала она.

Мужчина, которому она наступила на ногу, смерил ее взглядом. Распространенный тип женщины: с сумкой; филантропка; хорошо питается; старая дева; как все женщины ее сословия — холодна; страсть в ней ни разу не просыпалась; и все же не лишена привлекательности. Смеется… Тут Элинор обернулась и поймала его взгляд. Она вслух разговаривала сама с собой в омнибусе. Надо отучить себя от этой привычки. Такое следует откладывать до того времени, когда чистишь зубы. Но к счастью, омнибус остановился. Она вышла и быстрым шагом двинулась по Мелроуз-Плейс[99]. Она чувствовала себя молодой и полной сил. После Девоншира все казалось ей новым и свежим. Она посмотрела вдоль уходящей вдаль, украшенной множеством колонн перспективы Эберкорн-Террас. Дома с портиками и палисадниками выглядели очень респектабельно. Элинор представилось, что в каждой гостиной она видит снующую над столом руку горничной, которая накрывает его к обеду. В нескольких домах к обеду уже приступили: сквозь сужающиеся квер-

[99] Примечания: 99
Мелроуз-Плейс — вымышленное название.

ху промежутки между шторами Элинор видела сидящих за столами людей. Сама она на обед опоздала, думала она, взбегая по ступеням парадного и вставляя в дверь ключ. Тут ее внутренний голос напомнил: «Что-нибудь приятное на вид, чтобы она могла носить…» Элинор остановилась, так и не повернув ключ. День рождения Мэгги. Отцовский подарок. Забыла. Элинор помедлила, а затем повернулась и сбежала вниз. Надо зайти к Лэмли.

Миссис Лэмли, располневшая за последние годы, сидела в подсобной комнате своего магазина, пережевывая холодную баранину. Она увидела, что через стеклянную дверь вошла мисс Элинор.

— Доброе утро, мисс Элинор, — сказала лавочница, выходя навстречу.

— Что-нибудь приятное, чтобы носить, — тяжело дыша, проговорила Элинор. Миссис Лэмли заметила, что она очень хорошо выглядит и загорела на отдыхе. — Для моей племянницы, то есть, кузины. Для дочурки сэра Дигби, — добавила Элинор.

Миссис Лэмли посетовала, что ее товары слишком дешевы.

У нее есть игрушечные кораблики, куклы, золотые часики по два пенса — но ничего под-

ходящего для дочурки сэра Дигби. Однако мисс Элинор спешит.

— Вот, — сказала Элинор, указав на коробку с бисерными ожерельями. — Это подойдет.

Скромновато, подумала миссис Лэмли, доставая синие бусы с золотыми крапинками, но мисс Элинор настолько спешила, что даже не дала завернуть их.

— Я и так опоздала, миссис Лэмли, — сказала она, приветливо помахав рукой, и убежала.

Миссис Лэмли она нравилась. Всегда такая доброжелательная. Очень жаль, что не вышла замуж, — все-таки неправильно позволять младшей сестре выходить замуж наперед старшей. Хотя — ей надо присматривать за полковником, а он стареет, заключила миссис Лэмли, возвращаясь в подсобную комнату к своей баранине.

— Мисс Элинор будет с минуты на минуту, — сказал полковник, когда Кросби внесла блюда. — Не снимайте крышки. — Он стоял спиной к камину и ждал дочь. Да, подумал он, почему бы нет? — Почему бы нет? — повторил он вслух, глядя на блюдо под крышкой. На сцене опять появилась Майра. Очередной дружок оказался скотиной — полковник это предвидел. А что он может предоставить Майре? Что он вообще

должен предпринять по этому поводу? Вдруг он понял, что желает обо всем рассказать Элинор. Почему бы нет, в конце концов? Она уже не дитя, подумал полковник, а ему совсем не по душе это… эта необходимость скрытничать. Однако мысль о том, как он откроется дочери, вызывала у него смущение. — Вот и она, — громко сказал он Кросби, молча стоявшей в ожидании рядом с ним.

Ни за что! — решил он про себя с внезапным убеждением, когда Элинор вошла. Не могу. Увидев ее, он отчего-то осознал, что не может открыться ей. В конце концов, подумал он, отмечая, как она румяна, как беззаботно выглядит, — у нее своя жизнь. Его пронизала ревность. Ей надо думать о своих сердечных делах, подумал он, когда она села за стол.

Элинор толкнула ожерелье, и оно переехало через стол к полковнику.

— Так, что это? — спросил он, посмотрев на вещицу отсутствующим взором.

— Подарок для Мэгги, папа. Лучше я не нашла. Боюсь, слишком дешевый.

— Замечательно, — сказал он, разглядывая ожерелье все так же безучастно. — Как раз то, что ей понравится. — Он отодвинул подарок в сторону и стал резать курицу.

Элинор была очень голодна и до сих пор еще не отдышалась. Она чувствовала, что немного «закрутилась», как она сама называла это состояние. Вокруг чего вообще что-то может крутиться? — задалась она вопросом, наливая себе хлебного соуса. Вокруг какого-то стержня? Сегодня утром сцены так быстро сменяли одна другую, и на каждую надо было по-особому настроиться — одно выставить вперед, другое запрятать вглубь. А сейчас она ничего не чувствует, она просто голодна, просто ест курицу, и все. Но постепенно ее стало охватывать ощущение близкого присутствия отца. Ей нравилась его солидность, методичность, с которой он пережевывал курятину, сидя напротив дочери. Чем он был занят сегодня, интересно? Продавал акции одной компании и покупал — другой? Полковник вышел из оцепенения.

— Ну, как в Комитете? — спросил он.

Элинор рассказала, преувеличив свою победу над Джаддом.

— Правильно. Не пасуй перед ними, Нелл. Не давай сесть себе на шею. — Полковник по-своему гордился дочерью, а ей нравилось быть предметом его гордости. Однако она не упомянула Даффуса и квартал Ригби-Коттеджез. Отец не питал сочувствия к людям, которые не умеют

обращаться с деньгами, а Элинор не получала ни пенни прибыли — все уходило на ремонт. Она перевела разговор на Морриса и его дело, которое будет слушаться в Доме правосудия. Она опять посмотрела на часы. Невестка Силия будет ждать ее у Дома правосудия точно в полтретьего.

— Я должна спешить, — сказала Элинор.

— Брось, эти законники всегда тянут резину, — возразил полковник. — Кто судья?

— Сандерс Карри.

— Тогда это продлится до второго пришествия, — сказал полковник. — А в каком зале будет суд?

Элинор не знала.

— Кросби, подойдите… — позвал полковник.

Кросби было велено принести «Таймс». Пока Элинор глотала фруктовый пирог, полковник переворачивал неуклюжими пальцами большие газетные листы. К тому моменту, когда она разливала кофе, он уже выяснил, в каком зале будет слушаться дело.

— А ты — в Сити, папа? — спросила Элинор, ставя чашку на блюдце.

— Да, у меня встреча, — сказал он. Он любил бывать в Сити, независимо от того, были у него там дела или нет.

— Странно, что судьей будет Сандерс Карри, — сказала Элинор, вставая. — Что он любит, мореный дуб? — Карри коллекционировал сундуки.

— Скорее всего, у него там одни подделки, — предположил отец. — Не спеши, — попросил он. — Возьми извозчика, Нелл. Если тебе нужна мелочь… — Он стал шарить обрубками пальцев в кармане. Глядя на него, Элинор вспомнила свое детское ощущение, что его карманы — это бездонные серебряные копи, откуда можно добыть сколько угодно монет в полкроны.

— Что ж, — сказала Элинор, взяв деньги. — Увидимся за чаем.

— Нет, — напомнил он. — Я иду к Дигби.

Он взял ожерелье своей большой волосатой рукой. Элинор все-таки казалось, что оно смотрится слишком дешево.

— А как насчет коробочки? — спросил полковник.

— Кросби, найдите коробочку для ожерелья, — распорядилась Элинор.

Кросби, вдруг напустив на себя деловитость, поспешила в подвал.

— Тогда за ужином, — сказала Элинор. Это значит, подумала она с облегчением, что мне не надо

возвращаться к чаепитию.

— Да, за ужином, — согласился полковник. Он поднес к сигаре горящий бумажный жгут и затянулся. Сигара испустила облачко дыма. Элинор нравился запах сигар. Она задержалась на мгновение, чтобы вдохнуть его.

— Передай привет тете Эжени, — сказала она. Полковник кивнул, попыхивая сигарой.

Взять одноколку было очень приятно — это позволяло сэкономить пятнадцать минут. Элинор устроилась в углу и с удовлетворением вздохнула, когда створки щелкнули над ее коленями. Минуту ее сознание было совершенно ничем не занято. Она наслаждалась покоем, тишиной, возможностью не делать никаких усилий, а просто сидеть в углу экипажа. Покуда он трясся по улицам, она чувствовала себя сторонней наблюдательницей. Теперь до самого Дома правосудия она будет просто сидеть и ничего не делать. Путь впереди далекий, а конь ей попался неторопливый — рыжий и мохнатый. Он продвигался мерной рысцой по Бэйзуотер-Роуд. Уличное движение почти отсутствовало: люди еще обедали. Даль окуталась мягкой серой дымкой, звенели колокольчики, мимо проплывали дома. Элинор перестала замечать, что за дома они проезжа-

ли. Она чуть прикрыла глаза и тут же невольно увидела собственную руку, берущую письмо со стола в передней. Когда это было? Сегодня утром. Что она с ним сделала? Положила в сумку? Да. Вот оно, нераспечатанное. Письмо от Мартина из Индии. Она прочтет его по дороге. Письмо было написано на очень тонкой бумаге мелким Мартиновым почерком. Оно оказалось длиннее, чем обычно, и рассказывало о приключении вместе с каким-то Рентоном. Кто такой этот Рентон? Элинор не могла вспомнить. «Мы вышли на рассвете», — прочла она.

Она выглянула из окошка. Их задержало оживленное движение у Марбл-Арч. Из парка выезжали кареты. Конь попытался встать на дыбы, но кучер ловко унял его.

Элинор продолжила чтение: «Я очутился один посреди джунглей…»

Что ты там забыл? — подумала она.

Она увидела перед собой брата, его рыжую шевелюру, круглое лицо и это самое задиристое выражение, которое, всегда полагала Элинор, рано или поздно доведет его до беды. Так, видимо, и случилось.

«Я заблудился, а солнце уже клонилось к закату», — прочла Элинор.

«Солнце клонилось…» — повторила Элинор, глядя вперед, вдоль Оксфорд-стрит. Солнечные лучи сверкали на платьях в витринах. Джунгли — это очень густой лес, предположила она, состоящий из кривых низкорослых деревьев, темно-зеленого цвета. Мартин был в джунглях один, а солнце клонилось к закату. Что же было потом? «Я решил, что лучше оставаться на одном месте». Значит, он стоял один среди этих кривых деревьев, в джунглях, а солнце клонилось к закату. Она уже не видела улицу. Наверное, там было холодно, думала она, — когда зашло солнце. Она стала читать дальше. Ему надо было развести костер. «Я пошарил в кармане и обнаружил, что у меня всего две спички… Первая спичка погасла». Элинор представила себе кучу сухих веток и одинокого Мартина, смотревшего, как гаснет спичка. «Потом я зажег другую, и, благодаря одному лишь везению, она сделала свое дело». Бумага загорелась, от нее занялся хворост, над ним поднялось пламя. Элинор торопилась, желая поскорее дочитать до конца, «…однажды мне показалось, что я слышу крики, но они затихли».

«Они затихли!» — вслух сказала Элинор.

Экипаж остановился у Чансери-Лэйн. Полицейский переводил через дорогу пожилую женщину.

Но дорога была джунглями.

«Они затихли, — повторила Элинор. — А потом?»

«...я взобрался на дерево... я увидел тропу... солнце вставало... Меня уже записали в погибшие».

Экипаж остановился. Некоторое время Элинор сидела не двигаясь. Она видела перед собой только чахлые деревца и брата, который смотрел на поднимающееся над джунглями солнце. Солнце вставало. Мгновение пламя плясало на мрачной громаде Дома правосудия. Все благодаря второй спичке, подумала Элинор, расплачиваясь с возницей и выходя.

— Ну, наконец-то! — воскликнула маленькая женщина в мехах, стоявшая у одной из дверей. — Я уже решила не ждать и собиралась уйти! — В чертах ее лица было что-то кошачье, она волновалась, но очень гордилась мужем.

Они прошли сквозь вертящуюся дверь в зал, где должно было слушаться дело. Сначала зал показался им темным и переполненным людьми. Мужчины в париках и мантиях вставали, садились, входили и выходили, напоминая стаю птиц, гомозящихся на поле. Среди них не было ни одного знакомого, и Морриса Элинор не видела.

Она оглядывалась кругом, стараясь отыскать его.

— Вон он, — шепнула Силия.

Один из адвокатов в переднем ряду повернул голову. Это был Моррис. Но как странно он выглядел в этом пожелтевшем парике![100] Скользнув взглядом по Элинор и Силии, он ничем не показал, что узнал их. И Элинор не улыбнулась ему. Торжественная атмосфера, усиливаемая мертвенным светом, налагала запрет на все проявления личных привязанностей. Во всем этом было что-то ритуальное. Со своего места Элинор видела Морриса в профиль. Парик прямоугольно обрамлял его лицо, отчего оно смотрелось как на портрете. Никогда еще брат не представал перед Элинор в таком великолепии: и лоб, и нос его выглядели совсем не как обычно. Элинор посмотрела по сторонам. Они все были похожи на портреты. Все адвокаты выглядели броско, их фигуры были резко очерчены, как на портретах восемнадцатого века, вывешенных в ряд на стене. Они так же вставали и садились, смеялись, разговаривали… Внезапно дверь распахнулась настежь. Пристав потребовал тишины перед по-

[100] Примечания: 100

Новоиспеченные адвокаты обзаводились белыми париками, которые затем никогда не мыли и не чистили. Пожелтевший парик — признак опытности.

явлением его светлости. Все замолчали и встали, вошел судья. Один раз поклонившись, он сел под королевским гербом. Элинор почувствовала, как по ее телу пробежала легкая дрожь благоговения. Это был старик Карри. Но как он преобразился! В последний раз, когда она его видела, он сидел во главе обеденного стола, который посередине был украшен полосой желтоватой вышитой ткани, ниспадавшей мягкими складками. Взяв свечу, судья стал водить Элинор по гостиной и показывать свою старинную дубовую мебель. А сейчас он величествен, внушает почтительный страх, облачен в мантию…

Один из адвокатов встал. Элинор попыталась следить за тем, что говорил этот человек с большим носом, но теперь уловить ход мысли было уже трудно. Все равно она слушала. Затем поднялся другой адвокат — коротышка с куриной грудью и в пенсне. Он прочитал какой-то документ, потом и он начал излагать свои доводы. Кое-что из того, что он говорил, она понимала, хотя как это было связано со слушаемым делом, оставалось неясно. Когда же выступит Моррис? — думала она. Видимо, еще не скоро. Отец был прав, эти законники умеют тянуть резину. Спешить к чаепитию нет нужды, поэтому сгодится и омнибус.

Элинор сосредоточила внимание на Моррисе. Он рассказывал что-то смешное рыжеватому соседу. Это его друзья, подумала она, это его жизнь. Она вспомнила, как в юности он мечтал об адвокатуре. Это ведь она переубедила папу. Однажды утром она собралась с духом и пошла к нему в кабинет… Но вот, к ее восторгу, Моррис поднялся со своего места.

Элинор почувствовала, как ее невестка замерла от волнения, вцепившись в свою сумочку. Моррис начал говорить, такой высокий, черно-белый… Одной рукой он держался за полу своей мантии. Как хорошо она знала эту привычку Морриса — за что-нибудь держаться, так что становилось видно белый шрам в том месте, где он порезался во время купания. Зато другой жест — широкий взмах руки — она не узнала. Это уже из его профессиональной жизни, из жизни в судебных залах. И голос его звучал незнакомо. Но то и дело, когда Моррис воодушевлялся, в его речь проскальзывали ноты, которые вызывали у Элинор улыбку: она слышала родной голос. Она не удержалась от того, чтобы полуобернуться к невестке и сказать: «Это наш Моррис!» Но Силия не отрываясь смотрела на мужа. Элинор тоже сделала попытку сосредоточиться на его доводах.

Он выражался удивительно ясно, выговаривая слова с чудесной расстановкой. Вдруг судья перебил его:

— Правильно ли я вас понял, мистер Парджитер? Вы считаете… — Он произнес это вежливым и все-таки жутким тоном. Но Элинор с радостью отметила, как Моррис сразу замолчал, как учтиво склонил голову, слушая судью.

Но сумеет ли он ответить? — думала Элинор, ерзая на сиденье от волнения, как будто он был ребенком и мог опростоволоситься. Однако ответ был у него наготове. Без спешки и трепета он открыл тетрадь, нашел нужное место, прочел несколько фраз, после чего судья кивнул и сделал пометку в объемистой книге, лежавшей перед ним. Элинор почувствовала огромное облегчение.

— Как славно у него получилось! — прошептала она. Невестка кивнула. Но сумочку она держала так же цепко. Элинор почувствовала, что можно расслабиться. Она огляделась. Вокруг царило странное смешение торжественности и непринужденности. Адвокаты входили и выходили, стояли, прислонившись к стенам. В бледном газовом свете, лившемся с потолка, казалось, что их лица имеют цвет пергамента, их черты были

словно вырезаны из дерева. Она посмотрела на судью. Теперь он сидел, откинувшись на спинку своего большого резного кресла подо львом и единорогом[101], и слушал. Он выглядел бесконечно печальным и мудрым, как будто слова сыпались на него уже много веков. Он поднял тяжелые веки, наморщил лоб, маленькая рука болезненного вида показалась из огромного рукава и написала несколько слов в толстой книге. Затем он опять полуприкрыл глаза и погрузился в свое вечное бдение над тяжбами несчастных смертных. Мысли Элинор начали блуждать. Она откинулась на жесткую спинку деревянного сиденья и позволила волне воспоминаний подхватить и унести ее прочь. Сцены прошедшего утра вставали, тесня друг друга, перед ее глазами. Джадд в Комитете; отец, читающий газету; старуха, хватающая ее за руку; рука горничной раскладывает приборы на столе; Мартин в джунглях зажигает вторую спичку…

Элинор стало не по себе. Воздух в зале был спертый, свет сумрачный, и судья потерял былое очарование: теперь он выглядел сварливым, не избавленным от человеческих слабостей, и

[101] Примечания: 101

Лев и единорог изображены на королевском гербе Великобритании (лев олицетворяет Англию, единорог — Шотландию).

Элинор вспомнила с улыбкой, как он наивен и легковерен, когда дело касается старинных дубовых сундуков, хранящихся в этом кошмарном доме на Квинз-Гейт[102]. «Этот я нашел в Уитби»[103], — как-то заявил он. А это была подделка. Элинор хотелось смеяться, двигаться. Она поднялась и шепнула:

— Я ухожу.

Невестка пробормотала что-то — возможно, осуждающее. Но Элинор, как могла тихо, пробралась к вертящейся двери и вышла на улицу.

Ее окружили грохот, неразбериха, простор Стрэнда, и она сразу почувствовала облегчение. Душа будто расправилась. Было еще светло; суета, суматоха, мельтешение многоликой жизни неслись ей навстречу. Как будто что-то прорвалось на свободу — и в ней, и в мире. После недавнего напряжения она казалась себе рассеянной, ни к чему не привязанной. Она побрела по Стрэнду, с наслаждением всматриваясь в уличную спешку, разглядывая витрины, полные сверкающих цепочек и кожаных чемоданов, белые фасады церквей,

---

[102] Примечания: 102

Квинз-Гейт — улица в Лондоне, недалеко от нее (на Гайд-Парк-Гейт) Вирджиния Вулф родилась и жила до 1904 г.

[103] Примечания: 103

Уитби — городок на северо-востоке Англии.

неровные зубцы крыш, расчерченные проводами. И надо всем — облачное, но ослепительно белое небо. Ветер дул ей в лицо. Она глубоко вдохнула влажный прохладный воздух. И этот человек, подумала она, вспомнив сумрачный тесный зал суда и лица с глубокими тенями, должен сидеть там с утра до вечера, каждый день. Она опять увидела Сандерса Карри, откинувшегося на спинку большого кресла, с лицом, собранным в тяжелые складки. Как Моррис выносит это? Впрочем, он всегда мечтал об адвокатуре.

Экипажи, фургоны и омнибусы неслись мимо, как будто отшвыривая воздух в лицо Элинор, выплескивая грязь на тротуары. Люди теснились и толкались, и она ускорила шаг, чтобы поспевать за их потоком. Ей пришлось остановиться, пропуская фургон, который поворачивал в одну из улочек, круто спускавшихся к реке. Элинор посмотрела наверх и между крыш увидела летящие темные тучи, набухшие дождем, безразличные тучи-скитальцы. Она пошла дальше.

Она опять задержалась у въезда в вокзал Черинг-Кросс. Здесь небо открывалось широким куполом. Элинор увидела, что его — высоко-высоко — пересекает вереница птиц. Она проследила за ними взглядом. Затем продолжила свой путь.

Людей, идущих пешком и едущих в экипажах, втягивало внутрь, как соломинки, которые течением прибивает к быкам моста. Элинор пришлось подождать. Мимо нее проезжали экипажи, нагруженные коробками.

Она завидовала этим людям. Ей тоже хотелось бы поехать за границу: в Италию, в Индию… Потом она смутно почувствовала, что происходит нечто особенное. Мальчишки у ворот раздавали газеты с необычной быстротой. Люди хватали их, раскрывали и читали на ходу. Элинор посмотрела на смятый плакат, обернутый вокруг ног газетчика. На нем очень большими черными буквами было написано: «Умер».

Затем плакат расправило ветром, и она прочла еще одно слово: «Парнелл».

— Умер… — повторила Элинор. — Парнелл.

Несколько мгновений она стояла пораженная. Как он мог умереть — Парнелл? Она купила газету. Там это было написано.

— Парнелл умер! — сказала она вслух. Она подняла голову и опять увидела небо. Тучи летели мимо. Она посмотрела на улицу. Мужчина указывал пальцем на газетную статью. «Парнелл умер!» — злорадно сказал он. Но разве мог он умереть? В небе как будто что-то погасло.

Элинор медленно пошла к Трафальгарской площади, держа газету в руке. У фонтана она остановилась и посмотрела в большой бассейн, полный воды. Ветер гулял по ней черной рябью. В воде отражались ветви и бледная полоса неба. Какой странный сон, думала Элинор, какой сон… Но ее кто-то толкнул, и она обернулась. Она должна пойти к Делии. Делии это небезразлично. Для Делии это очень важно. О чем она говорила, когда бросила дом, близких ради «Дела», ради этого человека? О Справедливости, Свободе? Надо пойти к ней обязательно. Ведь это конец всем ее мечтам. Элинор повернулась и подозвала экипаж.

Перегнувшись через створки, она выглядывала наружу. Улицы, по которым они проезжали, были чудовищно бедными. И не только бедными, думала Элинор, но и порочными. Вот они — порок, непристойность, реальная жизнь Лондона. Смешанный вечерний свет окрашивал все в мертвенные тона. Зажигались фонари. Разносчики газет кричали: «Парнелл… Парнелл…» Он умер, сказала себе Элинор, по-прежнему осознавая существование двух миров: одного, свободно текущего над головой, и другого, стесненного, семенящего по мостовой. Но вот и цель ее поездки… Элинор подняла руку. Она остановила экипаж

напротив короткого ряда столбов в переулке. Сойдя, она вышла на площадь.

Шум улицы смолк вдали. Здесь было очень тихо. В конце октябрьского дня, когда мертвые листья падают с деревьев, старая площадь, затянутая дымкой, выглядела потертой и обветшалой. Дома сдавались конторам, общественным организациям и людям, чьи фамилии были указаны на дверных косяках. Весь квартал казался Элинор чужим и зловещим. Она подошла к дверям старого здания в стиле королевы Анны с тяжелыми резными козырьками и нажала на верхний из шести или семи звонков. Над ними были написаны фамилии, некоторые — даже не на табличках, а на визитных карточках. Никто не появился. Элинор толкнула дверь и вошла. Она поднялась по деревянной лестнице с резными перилами, некогда великолепными, но пришедшими в упадок. На глубоких подоконниках стояли кувшины с молоком, под которые были подложены счета. Кое-где оконные стекла были разбиты. На верхнем этаже, у двери Делии, тоже стоял кувшин, но пустой. Ее визитная карточка была приколота к стене булавкой. Элинор постучала и стала ждать. Ни звука. Она нажала на ручку. Дверь была заперта. Элинор прислушалась. Окошко сбоку от

двери выходило на площадь. Голуби ворковали в древесных кронах. Уличное движение давало о себе знать приглушенным гулом. До Элинор доносились крики разносчиков газет: умер… умер… умер… Листья падали. Она повернулась и стала спускаться по лестнице.

Элинор брела по улице. Дети расчерчивали мостовую мелом на квадраты; женщины, выглядывая из верхних этажей, рыскали по улице алчными, недовольными глазами. Комнаты сдавались только одиноким мужчинам. В окнах виднелись таблички с надписями: «Меблированные комнаты» или «Ночлег и завтрак». Элинор гадала, что за жизнь течет за тяжелыми желтыми шторами. В этих трущобах и обитает моя сестра, подумала она, поворачивая назад. Наверное, Делия часто ходит здесь одна по вечерам. Элинор вернулась на площадь, поднялась по лестнице и опять постучала в дверь. Ни звука в ответ. Она немного постояла, глядя на падающие листья, слыша крики мальчишек-газетчиков и воркование голубей в древесных кронах. «Только ты, крошка. Только ты, кро…» Лист упал на землю.

По мере того как иссякал день, движение на Черинг-Кросс становилось все оживленнее. Ворота вокзала всасывали и пешеходов, и экипажи. Лю-

ди двигались быстро, как будто в здании вокзала скрывался демон, который мог бы разгневаться, если бы его заставили ждать. И все-таки они находили мгновение, чтобы остановиться и схватить газету. Облака то собирались, то раздвигались — то скрывая солнце, то позволяя ему сиять. Колеса и копыта расплескивали грязь — то темно-бурую, то текуче-золотистую; из-за общего гомона и грохота почти не был слышен пронзительный щебет птиц, сидевших на карнизах. Одноколки звенели и проезжали, звенели и проезжали. В одном из дребезжащих экипажей сидел плотный краснолицый мужчина с цветком в папиросной бумаге — полковник.

— Эй! — крикнул он, когда экипаж проезжал мимо ворот, и выставил руку в люк на крыше. Затем он высунулся и получил газету. — Парнелл! — воскликнул полковник, нащупывая очки. — Надо же, умер!

Экипаж покатил дальше. Полковник перечитал новость два или три раза. Умер, повторил он, снимая очки. Он ощутил что-то вроде облегчения, даже с оттенком торжества, и прислонился спиной к углу кабины. Что ж, сказал себе полковник, он умер — этот беспринципный авантюрист, этот подстрекатель, источник всех бед, этот… Тут в

полковнике всколыхнулось некое чувство, связанное с его дочерью, — какое точно, он не смог бы сказать, но оно заставило его нахмуриться. Так или иначе, теперь его уже нет, подумал он. Как же он умер? Покончил ли с собой? Ничего удивительного в этом не было бы… Так или иначе, его нет, и дело с концом. Полковник сидел, держа в одной руке скомканную газету, а в другой — цветок в папиросной бумаге. Экипаж свернул на Уайтхолл… Его было за что уважать, подумал полковник, проезжая мимо палаты общин, — о других такого не скажешь. А насчет процесса о разводе болтали много чепухи. Полковник выглянул из окна. Экипаж приближался к улице, где раньше он всегда останавливался и оглядывался. Полковник повернул голову и посмотрел направо, вдоль улицы. Общественный деятель не может себе такого позволить, подумал он. Он слегка кивнул, и экипаж поехал дальше. Теперь она написала мне и просит денег. Очередной дружок оказался скотиной — как и предполагал полковник. Она потеряла всю свою привлекательность, думал он. Сильно располнела. Что ж, он может позволить себе великодушие. Он вновь надел очки и принялся читать деловые новости.

Теперь смерть Парнелла ничего не изменит,

думал полковник. Если бы он прожил подольше, скандал выдохся бы со временем… Полковник поднял голову. Экипаж, как обычно, поехал кружным путем.

— Налево! — крикнул полковник. — Налево! — Возница, как всегда, свернул не туда.

В цокольном этаже дома на Браун-стрит[104] слуга-итальянец, без пиджака, читал газету. В комнату вбежала служанка со шляпкой в руке.

— Смотри, что мне подарили! — воскликнула она.

В качестве искупления за беспорядок в гостиной леди Парджитер подарила ей шляпку.

— Элегантно, правда? — Служанка надела широкополую итальянскую шляпку набок и позировала перед зеркалом. Шляпка была будто свита из стеклянных волокон.

Антонио пришлось отложить газету и поймать служанкино запястье — из чистой галантности, потому что она не была красавицей, а повадки ее были карикатурой на то, как ведут себя девушки в холмистых городках Тосканы. Однако перед крыльцом остановился экипаж. Две лошадиные ноги замерли у перил. Придется встать, надеть

---

[104] Примечания: 104

Браун-стрит — вымышленное название.

пиджак, подняться по лестнице и открыть дверь, в которую уже позвонили.

Он не торопится, подумал полковник, ожидая у порога. Волнение, вызванное смертью, уже почти улеглось в нем, хотя весть о ней еще продолжала пульсировать в его сознании. Впрочем, это не помешало ему заметить, что его родственники заново отделали кирпичную кладку. И откуда у них лишние деньги? Троим сыновьям надо давать образование, да еще две девочки… Эжени, конечно, умная женщина, но лучше бы ей нанять горничную, чем брать этих итальяшек, которые, кажется, вечно глотают макароны. Тут дверь открылась, полковник начал подниматься по лестнице, и ему показалось, что он услышал смех где-то в глубине дома.

Приятная гостиная у Эжени, подумал он, стоя в ожидании. В комнате был беспорядок. В одном месте на полу валялись клочки бумаги — видно, кто-то что-то распаковывал. Они были в Италии, вспомнил полковник. На столе стояло зеркало. Вероятно, одна из вещиц, которые она там подобрала: такие штуки обычно и привозят из Италии. Старое зеркало, все в пятнах. Полковник расправил перед зеркалом галстук.

Однако я предпочитаю зеркала, в которых

можно себя увидеть, подумал он, отворачиваясь. Пианино открыто. И чашка с чаем — полковник улыбнулся, — как всегда, полупустая. По всей комнате ветки с высохшими красными и желтыми листьями. Она любит цветы. Полковник был рад, что не забыл свое обычное приношение. Он выставил цветок в папиросной бумаге перед собой. Но почему в комнате полно дыма? Вот опять потянуло… Оба окна в соседней комнате были открыты, дым шел из сада. Траву, что ли, жгут? Полковник подошел к окну и выглянул. Да, точно — Эжени с двумя девочками. Развели костер. Магдалена, его любимица, подбросила целую охапку палых листьев — высоко, как могла, — и пламя взвилось огромным веером.

— Это опасно! — крикнул полковник.

Эжени отвела детей от огня. Они подпрыгивали от восторга. Вторая девочка, Сара, проскочила под материнской рукой, сгребла еще одну охапку листьев и тоже бросила в костер. Пламя взвилось огромным веером. Подошел слуга-итальянец и доложил о приходе гостя. Полковник постучал по оконному стеклу. Эжени обернулась и увидела его. Одной рукой она прижала к себе детей, а другой помахала полковнику.

— Стой на месте! — крикнула она. — Мы сейчас

придем!

Клок дыма налетел прямо на полковника, глаза его заслезились, он отвернулся и сел на стул у дивана. Через секунду торопливо вошла Эжени, протягивая к нему руки. Он встал и взял ее руки в свои.

— Мы жжем костер, — сказала она. Глаза у нее блестели, волосы выбились из прически. — Поэтому я такая растрепанная, — добавила она, поднося руку к голове. Даже в неприбранном виде она исключительно хороша, подумал Эйбел. Красивая, крупная женщина, начинающая полнеть, заметил он, когда они пожали руки, но ей это идет. Такие женщины привлекали его гораздо сильнее, чем типичные розовощекие англичанки. Ее плоть походила на желтоватый и мягкий воск, глаза были темные, как у иностранки, а на носу — горбинка. Полковник протянул ей камелию, свой традиционный подарок. Негромко ахнув, Эжени вынула цветок из папиросной бумаги и села.

— Как мило с твоей стороны! — сказала она, подержала цветок перед собой, любуясь, а потом, по своему обыкновению, взяла стебелек губами. Ее движения всегда казались полковнику очаровательными.

— Костер в честь дня рождения? — спросил он и запротестовал: — Нет-нет-нет, чаю я не хочу.

Она взяла свою чашку и отпила оставшийся холодный чай. Вид Эжени навеял полковнику воспоминания о Востоке: вот так женщины в жарких странах сидят в дверях домов, на солнце… Однако теперь было очень холодно: окно было открыто, дым несло в комнату. Полковник все еще держал в руке газету. Он положил ее на стол.

— Читала новость? — спросил он.

Эжени поставила чашку, ее большие темные глаза слегка расширились. Казалось, в них таятся огромные запасы чувств. Ожидая, когда полковник продолжит, она чуть подняла руку в вопросительном жесте.

— Парнелл, — отрывисто сказал Эйбел. — Умер.

— Умер?! — переспросила Эжени. Ее рука театрально упала.

— Да. В Брайтоне. Вчера.

— Парнелл умер! — повторила она.

— Выходит, так, — сказал полковник. Ее эмоциональность всегда заставляла его чувствовать себя более трезвым, но ему это нравилось. Она взяла газету.

— Бедняжка! — прошептала Эжени, бросив

газету.

— Бедняжка? — переспросил полковник. Ее глаза наполнились слезами. Он был озадачен. Она имеет в виду Китти О'Шей?[105] О ней он и не подумал. — Ради него она поломала свою жизнь, — сказал полковник, слегка фыркнув.

— Ах, но как, должно быть, она его любила… — проговорила Эжени.

Она провела рукой по глазам. Полковник помолчал. Ее реакция казалась ему несоразмерной, но она была искренней. Ему это импонировало.

— Да, — сказал полковник довольно сухо. — Да, наверное.

Эжени опять взяла цветок и принялась вертеть его в руках. Время от времени она становилась странно рассеянной, но полковнику всегда бывало с ней легко. Рядом с ней его тело будто расслаблялось, точно спадало какое-то напряжение.

— Как страдают люди!.. — прошептала она, глядя на цветок. — Как они страдают, Эйбел! — Она повернулась и посмотрела прямо на него.

Из соседней комнаты влетел клуб дыма.

— Ты не боишься сквозняка? — спросил пол-

---

[105] Примечания: 105

Кэтрин «Китти» О'Шей (1846–1921) — возлюбленная и затем (после развода с первым мужем) жена Чарльза Стюарта Парнелла. Их добрачные отношения стали причиной громкого скандала.

ковник, посмотрев на окно.

Она ответила не сразу. Покрутила цветок в руке. Затем встала и улыбнулась.

— Да-да. Закрой! — сказала она, изящно взмахнув рукой.

Полковник подошел к окну и закрыл его. Когда он обернулся, она уже стояла перед зеркалом и приводила в порядок волосы.

— Мы развели костер в честь дня рождения Мэгги, — тихо сказала Эжени, глядясь в рябое венецианское зеркало. — Поэтому, поэтому… — Она пригладила волосы и прикрепила камелию к платью. — Я такая…

Она чуть склонила голову набок, оценивая, как сочетается цветок с платьем. Полковник сел и стал ждать. Смотрел он в свою газету.

— Похоже, они собираются замять дело, — сказал он.

— Неужели ты хочешь сказать… — начала Эжени, но тут дверь открылась, и вошли дети. Мэгги, старшая, появилась первой, вторая девочка, Сара, держалась за ней.

— Приветствую! — громко сказал полковник. — Вот и они! — Он обернулся. Он очень любил детей. — Желаю тебе счастья и долголетия, Мэгги!

Он нащупал в кармане ожерелье, которое Кросби уложила в картонную коробочку. Мэгги подошла, чтобы взять подарок. Волосы у нее были расчесаны, и одета она была в чистое накрахмаленное платье. Девочка открыла коробку, и золотисто-синее ожерелье повисло на ее пальце. На мгновение полковник засомневался, нравится ли оно ей. На детской руке оно выглядело немного безвкусным. К тому же сама Мэгги молчала. Однако мать сразу нашла те слова, которые должна была произнести дочь:

— Какая прелесть, Мэгги! Просто прелесть!

Мэгги по-прежнему молча держала ожерелье.

— Скажи дяде Эйбелу спасибо за чудное ожерелье, — подсказала мать.

— Спасибо за ожерелье, дядя Эйбел, — четко и ровно повторила Мэгги, но полковник опять почувствовал укол сомнения. Его охватила досада, причем никак не соразмерная причине. Впрочем, мать застегнула ожерелье на шее у девочки, а затем повернулась к младшей дочери, которая подглядывала из-за спинки кресла. — Иди сюда, Сара, — сказала мать. — Подойди и поздоровайся.

Эжени протянула руку — и для того, чтобы подманить девочку, и чтобы скрыть едва заметный

физический изъян, который всегда вызывал у полковника чувство неловкости. В раннем детстве ее уронили, и от этого одно плечо было слегка выше, чем другое. Полковник ощутил дурноту: он не мог выносить даже малейшее уродство в ребенке. Впрочем, это не влияло на настроение девочки. Она подскочила к нему, повернулась на одной ножке и поцеловала его в щеку. Затем она потянула сестру за платье, и обе, смеясь, выбежали в соседнюю комнату.

— Сейчас будут восхищаться твоим прелестным подарком, Эйбел, — сказала Эжени. — Как ты их балуешь! И меня тоже, — добавила она, прикоснувшись к цветку камелии на груди.

— Надеюсь, ей понравилось? — спросил полковник. Эжени не ответила. Она опять взяла чашку с холодным чаем и отпила в своей вальяжной манере южной женщины.

— А теперь, — сказала она, откинувшись на спинку, — расскажи мне все свои новости.

Полковник тоже откинулся на спинку и задумался. Какие у него новости? Вот так, сразу, в голову ничего не приходило. Рядом с Эжени ему всегда хотелось быть немножко эффектным. Она бросала отблеск на все вокруг себя. Пока он колебался, опять заговорила она:

— Мы чудесно провели время в Венеции! Я брала с собой детей. Поэтому мы все такие загорелые. Жили мы не на Большом канале — я терпеть не могу Большой канал, — но совсем рядом с ним. Две недели палящего солнца. А цвета… — Она помолчала. — Изумительные! — Эжени выбросила вперед руку. Жесты у нее были весьма выразительные. Вот так она все приукрашивает, подумал полковник. Но и этим она ему нравилась.

Он не был в Венеции много лет.

— Там были приятные люди? — спросил он.

— Ни души, — сказала Эжени. — Ни души. Никого, кроме жуткой мисс ***. Она из тех женщин, из-за которых начинаешь стыдиться своей родины! — с чувством произнесла она.

— Я знаю таких, — усмехнулся полковник.

— Но возвращаться из Лидо по вечерам, — продолжила Эжени, — когда сверху — облака, а снизу — вода… У нас был балкон, мы любили там сидеть. — Она сделал паузу.

— Дигби был с вами? — спросил полковник.

— Нет. Бедный Дигби. Он отдыхал раньше, в августе. Ездил в Шотландию, к Лассуэйдам, охотиться. Ему это на пользу, ты знаешь.

Вот опять, приукрашивает, подумал полков-

ник.

Но Эжени заговорила опять:

— Так, расскажи о своих. Как там Мартин и Элинор, Хью и Милли, Моррис и... — Она запнулась. Полковник понял, что она забыла, как зовут жену Морриса.

— Силия, — подсказал он и замолчал. Он хотел рассказать о Майре, но стал говорить о детях: о Хью и Милли, Моррисе и Силии. И об Эдварде.

— Похоже, его ценят в Оксфорде, — пробурчал полковник. Он очень гордился Эдвардом.

— А Делия? — спросила Эжени. Она взглянула на газету.

Полковник сразу потерял всю свою приветливость. Он напустил на себя грозную мрачность и стал похож на старого быка, выставившего рога, подумала Эжени.

— Может быть, это образумит ее, — зло сказал он.

Помолчали. Из сада донеслись крики и смех.

— Ох уж эти дети! — воскликнула Эжени. Она встала и подошла к окну. Полковник последовал за ней.

Дети пробрались обратно в сад. Костер яростно полыхал. Посреди сада поднимался целый столб огня. Девочки танцевали вокруг него, галдя

и хохоча. Рядом стоял обтрепанный старик с граблями, похожий на опустившегося конюха. Эжени распахнула окно и крикнула. Но девочки продолжали пляску. Полковник тоже высунулся. Они были похожи на дикарок с развевающимися волосами. Полковнику захотелось выбежать в сад и прыгнуть через костер, — но он был слишком стар. Пламя рвалось ввысь — расплавленное золото, красный жар.

— Браво! — крикнул полковник и захлопал в ладоши. — Браво!

— Маленькие чертовки! — сказала Эжени. Она радовалась не меньше них, отметил про себя полковник. Эжени перегнулась через подоконник и прокричала старику с граблями: — Подбросьте еще! Пусть горит ярче!

Но старик уже разгребал огонь. Головешки валялись порознь. Пламя опало.

Старик отогнал детей.

— Вот и все, — вздохнула Эжени и повернулась.

Кто-то вошел в комнату.

— Ой, Дигби, а я и не слышала! — воскликнула она. Дигби стоял с портфелем в руке.

— Здравствуй, Дигби! — сказал Эйбел, пожимая руку брату.

— Откуда столько дыма? — спросил Дигби, оглядываясь.

Он слегка постарел, подумал Эйбел. Дигби был в сюртуке, верхние пуговицы расстегнуты. Сюртук немного потертый, волосы с проседью. Но очень хорош собой. Рядом с ним полковник всегда чувствовал себя грузным, потрепанным жизнью, грубоватым. Ему было немного неловко за то, что его застали высунувшимся из окна и хлопавшим в ладоши. Он выглядит старше, подумал полковник, когда они стояли рядом, — а ведь он на пять лет моложе меня. Он был известным человеком в своей области: достиг высот, получил рыцарское звание и все остальное. Но я богаче, с удовлетворением вспомнил полковник. Поскольку из двух братьев именно Эйбел всегда считался неудачником.

— У тебя такой усталый вид, Дигби! — воскликнула Эжени, садясь. — Ему нужен настоящий отпуск. — Она повернулась к Эйбелу. — Скажи ты ему.

Дигби смахнул белую нитку, приставшую к его брюкам. Слегка кашлянул. Комната была полна дыма.

— Что это за дым? — спросил он жену.

— Мы жгли костер в честь дня рождения Мэг-

ги, — сказала она, будто оправдываясь.

— Ах да, — сказал Дигби. Эйбелу стало неприятно: Мэгги была его любимицей, отцу следовало помнить, когда у нее день рождения.

— Да, — сказала Эжени, опять поворачиваясь к Эйбелу, — всем он позволяет уходить в отпуск, а сам никогда не отдыхает. К тому же после целого дня на работе приходит домой с полным портфелем бумаг. — Она указала на портфель.

— Нельзя работать после ужина, — сказал Эйбел. — Это дурная привычка.

У Дигби действительно малость нездоровый цвет лица, подумал полковник. Дигби не обратил внимания на женские эмоции.

— Читал новость? — спросил он у брата, указав на газету.

— Да, еще бы! — отозвался Эйбел. Он любил говорить с братом о политике, хотя его слегка задевало обыкновение того напускать на себя важный вид, будто он знает гораздо больше, чем может сказать. Все равно на следующий день все будет в газетах, подумал полковник. Тем не менее они всегда говорили о политике. Эжени им это позволяла, уютно устроившись в углу дивана. Она никогда не вмешивалась. Однако через некоторое время она встала и начала убирать с пола

мусор, выпавший из ящика при распаковке. Дигби замолчал и смотрел на нее — через зеркало.

— Оно тебе нравится? — спросила Эжени, положив руку на рамку.

— Да, — сказал Дигби, но в его голосе послышалась нота порицания. — Недурственное.

— Для моей спальни, — быстро проговорила Эжени.

Дигби смотрел, как она набивает клочки бумаги в ящик.

— Не забудь, — сказал он, — мы ужинаем с Четэмами.

— Я помню. — Эжени опять прикоснулась к волосам. — Мне надо привести себя в порядок.

Кто такие «Четэмы»? — спросил себя Эйбел. Важные персоны, большие шишки, предположил он с некоторым презрением. Да, они много вращаются в этом мире. Полковник воспринял эту фразу как намек на то, что ему пора. Братья уже сказали друг другу все, что хотели. Он, однако, надеялся, что еще сможет поговорить с Эжени наедине.

— Насчет этих африканских дел…[106] — начал полковник, вспомнив еще одну тему, но тут во-

---

[106] Примечания: 106

По-видимому, имеется в виду напряженность, возникшая в то время между британцами и бурами в Трансваале.

шли дети, — чтобы пожелать спокойной ночи. На Мэгги было его ожерелье. Оно очень мило выглядит, подумал полковник, — или это сама девочка выглядит так мило? Но их платьица, чистые розово-голубые платьица, были измяты и перепачканы закопченными лондонскими листьями, которые побывали в их руках. — Чумазые негодницы! — сказал полковник с улыбкой.

— Зачем вы играли в саду в выходных платьях? — спросил сэр Дигби, целуя Мэгги. Он сказал это шутливо, но не без осуждения.

Мэгги не ответила. Ее взгляд был прикован к камелии на платье матери. Мэгги подошла ближе, продолжая смотреть на цветок.

— И ты — маленькая грязнуля! — сказал сэр Дигби, указывая на Сару.

— У Мэгги день рождения, — напомнила Эжени и протянула руку, как бы защищая дочь.

— Это как раз повод, я полагаю, — сказал сэр Дигби, окидывая дочерей взглядом, — чтобы-чтобы-чтобы улучшить поведенье. — Он повторил одно и то же слово несколько раз, пытаясь придать фразе игривость, но вышла она нескладной и напыщенной — как всегда, когда он говорил со своими детьми.

Сара посмотрела на отца, будто оценивая его.

— Чтобы-чтобы-чтобы улучшить поведенье, — повторила она. Слова потеряли смысл, зато девочка точно подхватила их ритм. Получилось довольно комично. Полковник засмеялся, заметив, однако, что Дигби раздражен. Он лишь погладил Сару по голове, когда она подошла пожелать ему спокойной ночи, зато Мэгги — поцеловал.

— День рождения удался? — спросил он, притягивая ее к себе.

Эйбел воспользовался моментом и стал прощаться.

— Но тебе же некуда спешить, Эйбел, а? — запротестовала Эжени, когда он протянул ей руку.

Она не отпускала его руку, будто не давая уйти. Что она имеет в виду? Она хочет, чтобы он остался или ушел? Взгляд ее больших темных глаз был двусмыслен.

— Но вы ведь идете ужинать, — сказал полковник.

— Да, — подтвердила Эжени и уронила его руку. Поскольку больше она ничего не сказала, ему оставалось лишь удалиться.

— Я прекрасно найду дорогу сам, — сказал полковник, покидая комнату.

Он медленно спускался по лестнице, чувствуя

себя подавленным и разочарованным. Он не побыл с нею наедине, ничего ей не рассказал. Видимо, он так ничего никому и не расскажет. В конце концов, думал он, спускаясь по лестнице — медленно, тяжело, — это его личное дело, и оно больше никого не касается. У каждого свои заботы, думал он, беря шляпу и оглядываясь.

Да… Дом полон красивых вещей. Он окинул туманным взором большое темно-красное кресло с позолоченными ножками в форме птичьих лап, которое стояло в передней. Он завидовал Дигби — тому, какой у него дом, какая жена, какие дети. Полковник чувствовал, что стареет. Все его дети выросли и покинули его. Он остановился на пороге и выглянул на улицу. Почти стемнело, горели фонари. Осень была на исходе. Полковник зашагал по темной ветреной улице, по мостовой, уже испещренной дождевыми каплями. На него налетел клок дыма — прямо в лицо. Падали листья.

1907

Стояла середина лета, вечерами и ночами было жарко. Лунные лучи, падая на воду, выбеливали ее, отчего нельзя было понять, глубока она или дно совсем рядом. Твердые же предметы луна серебрила и наделяла блеском, так что даже листья

на деревьях вдоль сельских дорог казались лакированными. По всем тихим сельским дорогам, ведущим к Лондону, тащились телеги. Крепкие поводья были неподвижно зажаты в сильных руках: овощи, фрукты и цветы путешествуют медленно. Высоко груженные корзинами с капустой, вишней, гвоздиками телеги походили на караваны племен, согнанных врагами со своего места и кочующих в поисках воды и новых пастбищ. Они тащились по разным дорогам, держась обочин. Даже лошади, даже будь они слепы, все равно различали бы в отдалении гул Лондона. А возницы, хотя и дремали, все же видели из-под полуопущенных век огненную дымку вечно пылающего города. На рассвете они слагали свое бремя на рынке Ковент-Гарден. Столы, помосты, даже булыжные мостовые были украшены капустой, вишней и красными гвоздиками — будто неземными одеждами, сваленными перед стиркой.

Все окна были открыты. Звучала музыка. Из-за темно-красных полупрозрачных занавесок, которые то и дело надувались от ветра, неслись звуки вечного вальса: «После веселого бала,

танцы и шум позади…»[107], подобного змее, проглотившей свой хвост, — кольцо замыкалось где-то между Хаммерсмитом и Шордичем. Вальс повторяли снова и снова тромбоны у пивных заведений, его насвистывали юные посыльные, его же играли для танцующих оркестры в частных домах. Люди сидели за маленькими столиками в романтической таверне, что нависает над рекой в Уоппинге[108] — между складами древесины, к которым пришвартованы баржи; та же картина — в Мейфэре. На каждом столике своя лампа, с абажуром из тугого красного шелка, и цветы, которые еще в полдень тянули влагу из земли, а теперь расслабились и распустили лепестки в вазах. На каждом столике — горка клубники и бледная жирная перепелка. А Мартину — после Индии, после Африки — казалось волнующим обратиться к девушке с голыми плечами, к женщине, чьи волосы переливались украшавшими их зелеными крылышками жуков, и сказать ей что-то в духе вальса, который заглушал половину

[107] Примечания: 107

«После бала» (1892) — исключительно популярный в свое время вальс Чарльза Кесселя Харриса (1867–1930).

[108] Примечания: 108

Уоппинг — район доков в Лондоне. Имеется в виду, скорее всего, один из старейших пабов — «Надежда Уитби» (The Prospect of Whitby), ведущий свою историю с начала XVI в. и существующий до сих пор.

слов своими любовными трелями. Какая разница, что именно сказано? Она глянула через плечо, почти не слушая, и к ней подошел мужчина с орденами, а дама в черном платье, с брильянтами, отозвала его в укромный уголок.

Вечер сгущался, и нежно-голубой свет ложился на базарные телеги, которые все тащились вдоль обочин — мимо Вестминстера, мимо круглых желтых часов, мимо кофейных ларьков и статуй, окоченело сжимавших свои жезлы и свитки. Следом шли уборщики, поливавшие мостовые. Окурки сигарет, кусочки серебристой бумаги, апельсиновая кожура — весь дневной мусор сметался прочь; а телеги все тащились, экипажи неутомимо тряслись по невзрачным улицам Кенсингтона, под искрящимися огнями Мейфэра, везя дам с высокими прическами и господ в белых жилетах по разбитым сухим мостовым, которые в лунном свете казались покрытыми тонким слоем серебра.

— Смотри! — сказала Эжени, когда экипаж въехал на мост в летних сумерках. — Прелестно, правда?

Она указала рукой на воду. Они пересекали Серпантин. Впрочем, замечание было сделано лишь вскользь: Эжени слушала то, что говорил

ее муж. С ними была и дочь, Магдалена; она посмотрела туда, куда указала мать. Серпантин пламенел в лучах заходящего солнца; группы деревьев смотрелись скульптурно, постепенно теряя подробности очертаний; картину завершала призрачная конструкция белого мостика. Свет фонарей и остатки солнечного света странно смешивались между собой.

— …конечно, это поставило правительство в трудное положение, — говорил сэр Дигби. — Но ведь именно этого он и хочет.

— Да… Этот молодой человек прославится, — сказала леди Парджитер.

Экипаж миновал мост и оказался в тени деревьев. Затем он покинул парк и присоединился к длинной, двигавшейся в сторону Марбл-Арч веренице других экипажей, которые везли людей в вечерних нарядах на спектакли и званые ужины. Свет становился все более искусственным и желтым. Эжени наклонилась и прикоснулась к платью дочери. Мэгги подняла глаза. Она думала, что родители по-прежнему говорят о политике.

— Так… — сказала мать, поправляя цветок на груди Мэгги. Она склонила голову набок и с одобрением посмотрела на дочь. Затем она вдруг рассмеялась и простерла руку в сторону. — Ты

знаешь, что меня так задержало? Эта проказница Салли…

Но ее перебил муж. Ему на глаза попались освещенные часы.

— Мы опоздаем, — сказал он.

— Но восемь пятнадцать означает восемь тридцать, — возразила Эжени, когда они свернули в переулок.

В доме на Браун-стрит царила тишина. Свет фонаря проникал через оконце над входной дверью, причудливо выхватывая из тьмы поднос с бокалами на столе, цилиндр и кресло с позолоченными ножками в форме птичьих лап. Пустое кресло точно ждало кого-то и от этого выглядело торжественно, будто стояло на потрескавшемся полу в какой-нибудь итальянской прихожей. Но все молчало. Слуга Антонио спал. Служанка Молли спала. Только внизу, в цокольном этаже, то открывалась, то закрывалась со стуком дверь. И больше никаких звуков.

Салли в своей спальне под самой крышей дома повернулась на бок и прислушалась. Ей показалось, что входная дверь щелкнула. В открытое окно хлынула танцевальная музыка, заглушившая все на свете.

Салли села на постели и посмотрела в щелку между шторами. Ей было видно полоску неба, крыши, дерево в саду, а еще — напротив — зады длинного ряда домов. Один из них был ярко освещен, из открытых высоких окон неслась танцевальная музыка. Там вальсировали. Салли видела, как по шторам пляшут тени. Читать было невозможно, спать — тоже. Сначала мешала музыка, потом вдруг послышался разговор; люди вышли в сад, голоса затараторили. Потом опять началась музыка.

Стояла теплая летняя ночь, и, хотя было уже поздно, весь мир как будто шевелился. Шум уличного движения звучал отдаленно, но неумолчно.

На постели Салли лежала выцветшая коричневая книга, но она не читала. Читать было невозможно, спать — тоже. Она легла на спину, подложив руки под голову.

— И он говорит, — прошептала Салли, — что мир это лишь… — Она замялась. Как он сказал? Лишь мысль, кажется? — спросила она у себя, как будто успела забыть те слова. Что ж, раз нельзя ни читать, ни спать, она позволит себе *быть* мыслью. Легче представить себя чем-то, а не думать об этом. Ее ноги, руки, все тело должны лежать неподвижно, чтобы принять участие в

этом вселенском процессе мышления, который, как сказал этот человек, и есть жизнь мира. Салли вытянулась. Где начинается мысль?

В ступнях? Вот они, выпирают под простыней. Они показались ей существующими отдельно, очень далеко. Она закрыла глаза. Тут, невольно, что-то в ней напряглось. Невозможно представить себя мыслью. Она стала чем-то конкретным: древесным корнем, погруженным в землю; сосуды пронизывали холодную плоть; дерево простирало ветви, на ветвях были листья…

— …солнце светит сквозь листья, — произнесла Салли, шевеля пальцем. Она открыла глаза, желая убедиться, что солнечный свет лежит на листьях, и увидела настоящее дерево за окном в саду. На нем не было и намека на солнечный свет и ни одного листа. Салли на мгновение показалось, что кто-то ей возражает. Поскольку дерево было черно, совершенно черно.

Она облокотилась на подоконник и выглянула, чтобы рассмотреть дерево получше. Из зала, где танцевали, донеслись нестройные аплодисменты. Музыка затихла. Все стали спускаться по железной лестнице в сад, стена которого была обозначена голубыми и желтыми фонарями. Голоса зазвучали громче. Людей становилось все

больше и больше. Ограниченный пунктирной линией зеленый квадрат был полон бледных фигур женщин в вечерних платьях и прямых черно-белых фигур мужчин в вечерних костюмах. Салли наблюдала, как они входят и выходят. Люди разговаривали и смеялись, но они были слишком далеко, чтобы можно было расслышать слова. Порой одно слово или хохот отделялись от общего фона, а потом все опять заполнял неясный гомон. В саду Парджитеров было пусто и тихо. По стене воровато кралась кошка. Остановилась. Затем двинулась дальше — будто по какому-то тайному заданию. Грянул очередной танец.

— Ну вот, опять! Опять и опять! — раздраженно воскликнула Салли. Ветерок, напитанный странным сухим запахом лондонской почвы, повеял ей в лицо, вздувая шторы. Растянувшись на постели, она смотрела на луну, которая висела на невообразимой высоте. На фоне луны плыли клочки тумана. Наконец они пропали, и Салли увидела линии, будто высеченные на белом диске. Что это? — подумала она. Горы? Долины? А если долины, стала она воображать, закрыв глаза, то там есть белые деревья, холодные пещеры, и соловьи — два соловья призывают друг друга, перекликаются через долину… Вальс подхватил слова

«два соловья призывают друг друга» и разнес по округе, однако, повторяя ритм снова и снова, он огрубил их, сгубил их. Танцевальная музыка вторгалась во все. Сначала она вызывала восторг, потом надоедала и, наконец, становилась невыносимой. А ведь было всего без двадцати час.

Губа Салли приподнялась, как у лошади, которая собирается укусить. Коричневая книжка оказалась скучной. Салли протянула руку над головой — к полке, уставленной потертыми книгами, — и не глядя достала с полки другой томик. Она открыла его наугад. Однако взгляд ее привлекла одна из парочек, по-прежнему сидевшая в саду, хотя остальные ушли в дом. О чем они говорят, интересно, подумала Салли. В траве что-то блестело. Она увидела, что черно-белая фигура наклонилась и подняла неизвестный предмет.

— И, поднимая его, — прошептала Салли, выглядывая из окна, — он говорит своей даме: «Смотрите, мисс Смит, что я нашел в траве, — осколок моего сердца, моего разбитого сердца. Я нашел его в траве и буду носить на груди», — и она пробормотала в такт печальному вальсу: — Сердце разбито любовью, точно… — Она прервалась и посмотрела в книгу. На форзаце было написано:

«Саре Парджитер от ее двоюродного брата Эд-

варда Парджитера».

— …точно стеклянный сосуд, — закончила она, перевернула титульный лист и прочитала: — «Антигона Софокла, переложенная на английские стихи Эдвардом Парджитером».

Салли опять выглянула из окна. Мужчина и женщина покинули сад и уже поднимались по железной лестнице. Она проследила за ними взглядом. Они вошли в танцевальный зал.

— Наверное, посреди танца, — прошептала она, — он достанет находку, посмотрит на нее и скажет: «Что это? Всего лишь осколок стекла… осколок стекла». — Салли вновь обратилась к книге. — «Антигона Софокла», — прочла она.

Книга была совсем новенькая, открывалась со скрипом — потому что Салли открыла ее впервые.

— «Антигона Софокла, переложенная на английские стихи Эдвардом Парджитером», — снова прочла она. Он подарил ей книгу в Оксфорде, жарким днем, когда они бродили по церквам и библиотекам. — Бродили и ныли, — пробормотала она, переворачивая страницы, — и он сказал мне, вставая из глубокого кресла и проводя рукой по волосам: «Эх, пропавшая юность моя»… — Вальс достиг апогея, кульминации своей

печали. — Взял он и поднял разбитый бокал, — бормотала Салли в такт, — точно несчастное сердце свое… — Музыка прекратилась, послышались аплодисменты, танцоры опять вышли в сад.

Она пролистала страницы. Сначала она читала по одной строке наугад, а затем из мусора вырванных слов начали вставать сцены — быстро, расплывчато, вразброс. Непогребенное тело убитого лежит, как срубленное дерево, как статуя, выставив в воздух окоченевшую ногу. Стервятники собираются вокруг. Хлопая крыльями, опускаются на серебристый песок. Ковыляя, раскачиваясь, вразвалку, двигаются неуклюжие птицы. Подпрыгивают, размахивая мотнями сизых глоток, — читая, Салли ладонью отстукивала ритм по одеялу, — стремятся к трупу. Быстро, быстро, быстро нанося удары клювами, терзают гниющую плоть. Да. Салли посмотрела на дерево в саду. Непогребенное тело убитого лежит на песке. Но тут появляется в желтом вихре пыли — кто? Салли быстро перевернула страницу. Антигона? Она появляется из облака пыли там, где скачут стервятники, и сыплет белый песок на почерневшую ногу. Стоит, позволяя белой пыли падать на почерневшую ногу. Но смотрите! Еще

облака, темные облака. Всадники спрыгнули наземь. Она схвачена, ее запястья стянуты жгутами из ивы, и ведут ее, плененную, — куда?

Из сада донесся раскат хохота. Салли посмотрела в окно. Куда они повели ее? В саду было полно людей. Она не могла расслышать ни слова из того, что они говорили. Фигуры выходили из дома и удалялись обратно.

— На честный суд почтенного владыки? — прошептала Салли: она опять читала слова, выбирая наугад, потому что больше смотрела в окно. Его звали Креонт. Он замуровал ее. Была лунная ночь. Лопасти кактусов отливали серебром. Человек в набедренной повязке три раза сильно стукнул деревянным молотком по свежей кладке. Ее погребли заживо. Гробницей стал курган из кирпичей. Внутри хватало места, только чтобы лежать. Лежать под кирпичами на спине, сказала Салли. Вот и конец, зевнула она, закрывая книгу.

Она растянулась под прохладной гладкой простыней и закрыла подушкой уши. Простыня и одеяло мягко облегали ее тело. А снизу был длинный прохладный матрац. Музыка стала звучать глуше. Ее тело вдруг оборвалось и упало на землю. Темное крыло прошлось по ее сознанию, оставляя за собой молчание, пустоту. Все звуки — музыка,

голоса — вытянулись в одну линию и перестали различаться. Книга упала на пол. Салли спала.

— Чудесный вечер, — сказала девушка, поднимавшаяся по железной лестнице со своим спутником. Она положила руку на перила. Они были очень холодными. Девушка посмотрела на небо. Луну окружал желтый ореол. Она как будто смеялась, мерцая. Ее спутник тоже взглянул вверх, а потом поднялся на еще одну ступеньку, ничего не сказав, поскольку был робок.

— Завтра собираетесь на матч? — наконец скованно выговорил он: они почти не были знакомы.

— Если брат выедет вовремя, чтобы довезти меня, — ответила девушка и тоже поднялась на ступеньку. Затем они вошли в танцевальный зал, он слегка поклонился и покинул ее, потому что его ждал компаньон.

Небо совершенно прояснилось, и луна теперь висела в открытом пространстве, как будто ее свет поглотил всю тяжесть облаков, расчистив идеальную танцевальную площадку. Некоторое время озаренный луною свод неба оставался чистым, но потом подул ветерок, и лик луны пересекло небольшое облако.

В спальне послышался какой-то звук. Сара пе-

ревернулась с боку на бок.

— Кто там? — проговорила она, села и потерла глаза.

Это была ее сестра. Она стояла в дверях, не решаясь войти.

— Спишь? — тихо спросила она.

— Нет, — сказала Сара, потирая глаза. — Не сплю, — добавила она, открыв их.

Мэгги прошла через комнату и села на край кровати. Ветер надувал штору, простыни почти сползли на пол. На мгновение Мэгги изумил вид комнаты. По сравнению с бальным залом она казалась такой неприбранной. На умывальнике стоял стакан с зубной щеткой, полотенце было намотано на вешалку, на полу валялась книга. Мэгги нагнулась и подобрала книгу. В этот момент с улицы ворвалась музыка. Мэгги отодвинула штору. Женщины в светлых платьях, мужчины в черно-белом толпились на верхней площадке лестницы у входа в танцевальный зал. Через сад доносились обрывки разговора и смех.

— Там танцы? — спросила Мэгги.

— Да, через несколько домов.

Мэгги выглянула из окна. Издалека музыка звучала романтично, таинственно, и цвета смешивались между собой, поэтому не было видно

ни одного чисто-розового, белого или синего пятна.

Мэгги потянулась и сняла с платья цветок. Он завял, на белых лепестках виднелись темные пятна. Она опять выглянула из окна. Свет фонарей падал очень причудливо: один лист сиял зеленью, другой был ярко-белым. Ветки перекрещивались на разных уровнях. Вдруг Салли засмеялась и спросила:

— Тебе никто не дарил осколок стекла, говоря: «Мисс Парджитер, это мое разбитое сердце»?

— Нет, — сказала Мэгги. — С какой стати?

Цветок упал у нее с колен на пол.

— Я тут все думала… — сказала Сара. — Эти люди в саду…

Она махнула рукой в сторону окна. Какое-то время они молчали, слушая танцевальную музыку.

— А с кем рядом ты сидела? — наконец спросила Сара.

— С мужчиной в золотых галунах, — ответила Мэгги.

— В золотых галунах? — повторила Сара.

Мэгги промолчала. Она постепенно привыкала к комнате, ощущение контраста между захламленной спальней и шиком бального зала

покидало ее. Она завидовала сестре, лежавшей в постели, с открытым окном, в которое дул ветерок.

— Он разоделся к приему, — сказала Мэгги и опять замолчала. Что-то привлекло ее взгляд. Ветка под ветром качалась вверх-вниз. Мэгги отодвинула штору. Теперь ей было видно все небо, дома и ветви деревьев в саду.

— Это от луны, — сказала она. Листья были белыми из-за луны. Обе девушки посмотрели на луну, сиявшую, как серебряная монета, тщательно отполированная, очень твердая и четкая.

— Но о чем же тогда говорят на званых вечерах, — спросила Сара, — если не о разбитых сердцах?

Мэгги смахнула с руки белую нитку от перчатки.

— Одни говорят одно, — сказала она, вставая, — а другие — другое.

Она сняла с покрывала коричневую книжку и расправила простыни. Сара взяла книжку у нее из рук.

— Он считает, — сообщила она, похлопав по невзрачному коричневому томику, — что мир — это лишь мысль, Мэгги.

— Вот как? — откликнулась Мэгги, кладя книгу

на умывальник. Она знала, что это уловка, призванная задержать ее для разговора.

— Ты согласна? — спросила Сара.

— Возможно, — сказала Мэгги, не задумываясь. Она протянула руку, чтобы задернуть штору. — Он считает, что мир — это лишь мысль? — переспросила она, держась за штору, но не задергивая ее.

Она думала о чем-то подобном, когда экипаж пересекал Серпантин — когда мать перебила ее мысли. Она думала: «Что я такое? Мы одно целое или мы разделены?» — что-то в этом роде.

— А как же деревья и цвета? — спросила она, оборачиваясь.

— Деревья и цвета? — повторила Сара.

— Деревья существовали бы, если бы мы их не видели?

— Что такое «я»?… Я… — Она замолчала, не зная, что хочет сказать. Она говорила чепуху. — Да, — сказала Сара. — Что такое «я»? — Она уцепилась за сестрину юбку, желая то ли просто задержать ее, то ли поспорить. — Что такое «я»? — повторила она.

Но тут за дверью послышался шелест, и вошла их мать.

— Ах, дорогие мои дети! — воскликнула она. —

Все еще не спите? Опять разговоры?

Она прошла через комнату, лучась и сияя, словно еще была под впечатлением от бала. На ее шее и руках сверкали драгоценности. Она была необыкновенно хороша. Эжени огляделась.

— И цветок на полу, и все в беспорядке, — сказала она. Она подобрала цветок, который уронила Мэгги, и поднесла к губам.

— Просто я читала, мама, и ждала, — сказала Сара. Она взяла обнаженную руку матери и погладила ее. Она так точно копировала мать, что Мэгги улыбнулась. Внешне одна была полной противоположностью другой: леди Парджитер такая вальяжная, Салли такая угловатая. Но имитация получилась идеально и произвела действие: леди Парджитер позволила, чтобы ее притянули на кровать.

— Но тебе пора спать, Сал, — запротестовала Эжени. — Что сказал доктор? Лежать прямо, лежать спокойно. — Она откинулась на подушки.

— Я лежу прямо и спокойно, — сказала Сара. — Так, — она посмотрела на мать, — расскажи мне о приеме.

Мэгги стояла у окна. Она смотрела, как по железной лестнице спускаются парочки. Скоро сад наполнился бледными белыми и розовыми

пятнами, которые двигались туда-сюда. Разговор о приеме у себя за спиной она слушала вполуха.

— Прием был очень милый, — сказала мать.

Мэгги приблизила лицо к стеклу. Квадрат сада затопили пятна разнообразных оттенков, которые, казалось, наплывали друг на друга, пока не попадали под прямой свет из дома, внезапно превращаясь в дам и мужчин в вечерних нарядах.

— Рыбных ножей не было? — услышала она вопрос Сары.

Мэгги обернулась.

— С кем рядом я сидела? — спросила она.

— С сэром Мэтью Мэйхью, — сказала леди Парджитер.

— Кто такой сэр Мэтью Мэйхью? — спросила Мэгги.

— Весьма уважаемый человек, Мэгги! — сказала мать, взмахнув рукой.

— Весьма уважаемый человек, — эхом откликнулась Сара.

— Но это действительно так. — Леди Парджитер улыбнулась, глядя на дочь, которую особенно любила, возможно, за ее плечо.

— Сидеть с ним рядом — большая честь, Мэгги, — сказала она с неодобрением. — Большая честь. — Она задумалась, как будто вспомнила

какую-то сценку, а затем подняла взгляд.

— А когда Мэри Палмер, — опять заговорила леди Парджитер, — спросила меня: «Где ваша дочь?» — я смотрю и вижу Мэгги, за милю от меня, на другом конце зала, беседующей с Мартином, которого она может встретить в любой день своей жизни в омнибусе!

Она акцентировала слова так сильно, что казалось, будто они взлетают и падают. При этом она отбивала ритм своей речи пальцами по голой руке Салли.

— Но я не вижу Мартина каждый день, — возразила Мэгги. — Я не видела его с тех пор, как он вернулся из Африки.

Мать перебила ее:

— На приемы ходят, дорогая Мэгги, не для того, чтобы говорить с кузенами. На приемы ходят для того…

Тут снаружи опять ворвалась музыка. Первые аккорды были преисполнены неистовой энергией, будто властно сзывали танцоров обратно. Леди Парджитер не договорила фразу. Она вздохнула. Ее тело словно обмякло. Тяжелые веки чуть прикрыли большие темные глаза. Она медленно покачивала головой в такт музыке.

— Что это играют? — пробормотала Эжени.

Она стала мурлыкать мелодию, отбивая рукой ритм. — Я когда-то под это танцевала.

— Станцуй сейчас, мама, — попросила Сара.

— Да, мама. Покажи, как ты раньше танцевала, — стала уговаривать ее Мэгги.

— Без кавалера? — удивилась леди Парджитер.

Мэгги отодвинула кресло.

— Кавалера ты представь себе, — не отступала Сара.

— Ну что ж, — сказала леди Парджитер и встала.

— Примерно вот так. — Она выдержала паузу, взяла одной рукой край юбки, другую — с цветком — слегка согнула и стала кружиться на расчищенном Мэгги пространстве. Она двигалась с необыкновенной величавостью. Все ее тело изящно подчинялось ритму и переливам музыки, которая зазвучала громче и яснее, как только Эжени начала свой танец. Она кружилась и кружилась между столами и стульями, а когда музыка затихла, воскликнула: «Вот!» Ее тело как будто сложилось и закрылось, она еще раз выдохнула: «Вот!» — и опустилась — одним движением — на край кровати.

— Чудо! — воскликнула Мэгги. Она смотрела на мать с восхищением.

— Глупости, — засмеялась леди Парджитер. Она немного запыхалась. — Я уже стара танцевать. Вот в молодости, в вашем возрасте… — Она перевела дух.

— Ты танцевала и танцевала, и выбежала на террасу, и нашла записку, вложенную в твой букет, — сказала Сара, поглаживая руку матери. — Расскажи эту историю, мама.

— Не сегодня, — отказалась леди Парджитер. — Слышите, часы бьют!

Аббатство располагалось очень близко, и бой часов наполнил спальню, мягко, но тревожно, будто в окно влетела стая вздохов, которые спешили один вослед другому, скрывая за собой что-то грозное. Леди Парджитер стала считать. Было очень поздно.

— Я расскажу вам, как это было, на днях, — сказала она, наклоняясь, чтобы поцеловать дочь на прощанье.

— Сейчас! Сейчас! — закричала Сара, не отпуская мать.

— Нет, не сейчас, не сейчас! — Леди Парджитер опять засмеялась, выдергивая свою руку. — Меня папа зовет!

Из коридора послышались шаги, а потом — из-за двери — голос сэра Дигби:

— Эжени! Очень поздно, Эжени!

— Иду! — крикнула она в ответ. — Иду!

Сара ухватилась за шлейф ее платья.

— Ты еще не рассказала нам историю про букет, мама!

— Эжени! — опять позвал сэр Дигби, в его голосе слышалась властность, не допускающая возражений. — Ты заперла…

— Да, да, да, — сказала Эжени. — Я все расскажу вам в другой раз.

Она освободилась от рук Сары, быстро поцеловала обеих дочерей и вышла.

— Не расскажет, — с горечью сказала Мэгги, подбирая свои перчатки.

Они прислушались к голосам в коридоре. Говорил отец. Он сердито ворчал, порицая мать.

— Вытанцовывает верхом на своей шпаге. Верхом на шпаге и с цилиндром под мышкой, — сказала Сара, ожесточенно взбивая подушки.

Голоса стали слабеть: родители пошли по коридору, а затем вниз по лестнице.

— Как думаешь, от кого была та записка? — спросила Мэгги и посмотрела на сестру, которая зарывалась в подушки.

— Какая записка? А, в букете. Не помню. — Она зевнула.

Мэгги закрыла окно и сдвинула шторы, оставив узкую щель, через которую проникал свет.

— Задвинь совсем, Мэгги, — раздраженно попросила Сара. — Надоел этот шум.

Она свернулась калачиком спиной к окну, надвинув на голову подушку, чтобы не слышать музыку, которая все еще доносилась снаружи, и вдавив лицо в ложбину между подушками. Она была похожа на куколку, туго закутанную в белые простыни. Виден оставался только нос. Под простыней ясно определялись очертания бедра и стоп, торчавших над краем кровати.

Сара издала глубокий вздох, перешедший в сопение. Она уже спала.

Мэгги пошла по коридору и увидела, что внизу горит свет. Она остановилась и перегнулась через перила. Передняя была освещена. Мэгги увидела большое итальянское кресло с позолоченными ножками-лапами. На нем лежал брошенный матерью плащ, его золотистые складки мягко ниспадали на фоне темно-красной обивки. На столе стоял поднос с виски и сифоном. Затем Мэгги услышала голоса родителей, поднимавшихся по кухонной лестнице. Они возвращались с цокольного этажа. Недавно в одном из домов на их улице было совершено ограбление, и мать

обещала врезать новый замок в дверь кухни, но забыла. Мэгги услышала, как отец сказал:

— …расплавят, и поминай как звали.

Мэгги поднялась на несколько ступенек.

— Мне очень стыдно, Дигби, — сказала Эжени, когда они вошли в переднюю. — Я завяжу узелок на носовом платке. И схожу завтра утром сразу после завтрака… Да, — она подхватила с кресла плащ, — пойду сама и скажу: «С меня хватит ваших оправданий, мистер Той. Вы слишком часто меня обманывали. После стольких лет!»

Последовала пауза. Мэгги услышала, как журчит, наливаясь в бокал, газированная вода, затем звякнуло стекло, после чего свет погас.

1908

Был март, и дул ветер. Впрочем, он не «дул». Он рвал и хлестал. Он был так жесток. Так несносен. Он не только выбеливал щеки и покрывал красными пятнами носы, он задирал юбки, выставлял напоказ толстые ноги, заставлял штанины облеплять костлявые голени. В нем не было плавности, полноты. Он скорее напоминал серп, но не тот, что жнет колосья во благо, а тот, что губит, наслаждаясь бесплодной пустотой. Одним порывом он стирал цвет — отнимал его даже у

полотен Рембрандта в Национальной галерее, даже у роскошного рубина в витрине на Бонд-стрит: один порыв — и все обесцвечено. Если где и была родина у этого ветра, то на Собачьем острове[109], среди консервных банок, сваленных рядом с серой ночлежкой, на окраине грязного города. Ветер взметал гнилые листья, даря им еще одну судорогу тленного существования, издевался над ними, высмеивал их, однако ему нечем было заменить свои осмеянные жертвы на их опустевшем месте. Они падали на землю. Бесцельный и бесплодный, визжащий от восторга разрушения, он мог лишь сдирать кору, сбивать цветы, обнажать голую кость, гасить свет в окнах, загонять пожилых господ глубже и глубже в пахнущие кожей пазухи клубов, а пожилых дам с пустыми глазами и дряблыми щеками обрекать на безрадостное сидение среди кисточек и салфеток в спальнях и кухнях. Торжествуя в своем распутстве, он опустошал улицы, гнал перед собой живую плоть, налетал на мусорный фургон, стоявший у Военно-Морского магазина, и разбрасывал по мостовой старые конверты, комки волос, бумажки, измазанные кровью, или чем-то

[109] Примечания: 109

Собачий остров — часть Ист-Энда в излучине Темзы. С 1802 г. и до 40-х гг. XX в. — район доков и рабочих трущоб.

желтым, или типографской краской, и швырял их в гипсовые ноги, в фонарные столбы, в стенки почтовых ящиков, заставлял их ожесточенно лепиться к окрестным оградам.

Мэтти Стайлз, смотрительница дома на Браун-стрит, которая, нахохлившись, сидела в цокольном этаже, подняла голову. По тротуару несло пыль. Она проникала под двери, сквозь оконные рамы, покрывала сундуки и шкафы. Но Мэтти это не трогало. Она была из невезучих. Она думала, что место будет надежное и на нем удастся скоротать лето. Хозяйка умерла, хозяин тоже. Мэтти получила работу через своего сына, полицейского. Дом с таким цокольным этажом ни за что не уйдет до Рождества — так ей сказали. Ей надо было только показывать дом покупателям, которые приходили от агента с разрешением на осмотр. Она всегда обращала их внимание на цокольный этаж, на то, какой он сырой. «Видите, на потолке пятно». Вон оно, отлично заметно. И все равно, покупателю из Китая дом пришелся по вкусу. Годится, сказал он. У него было свое дело в городе. Какая же она невезучая — всего через три месяца переселяться к сыну в Пимлико[110].

---

[110] Примечания: 110

Пимлико — район Лондона, где жили люди среднего достатка.

Зазвенел звонок. Пусть его звонит, пусть, пусть, проворчала она. Она больше не будет открывать дверь. Какой-то человек стоит у порога. Она видела ноги на фоне ограды. Пусть звонит, сколько ему угодно. Дом продан. Не видит, что ли, объявление на доске? Читать, что ли, не умеет? Или глаз у него нет? Она придвинулась поближе к огню, который еле пробивался из-под бледной золы. Она видит его ноги у порога — между клеткой для канареек и грязным бельем, которое она собиралась выстирать, но этот ветер не дал — из-за него плечо заныло адски. Пусть звонит, пока дом не рухнет, — ей все равно.

А стоял там Мартин.

«Продано», — было написано на полоске яркорозовой бумаги, приклеенной к щиту агентства по продаже недвижимости.

— Уже! — сказал Мартин. Он сделал небольшой крюк, чтобы увидеть дом на Браун-стрит. А тот уже продан. Розовая бумажка поразила Мартина. Уже продан, а ведь Дигби всего три месяца как умер, Эжени — чуть больше года. Он постоял, глядя на темные окна, покрытые пылью. Это был своеобразный дом, построенный в восемнадцатом веке. Эжени гордилась им. А мне нравилось там бывать, подумал Мартин. Но сейчас на пороге

лежала старая газета, между прутьями ограды застряли клочья соломы; на окнах не было штор, и он мог заглянуть в пустую комнату. Из-за решетки в окне цокольного этажа на него смотрела женщина. Звонить было бессмысленно. Он пошел прочь. На улице его охватило ощущение утраты.

Гадкий, жалкий конец, думал он. Я любил там бывать. Но ему не нравилось думать о неприятном. Что толку? — спрашивал он себя.

— «Дочь короля Испании», — напевал он, поворачивая за угол, — «приехала ко мне…»[111]

«Интересно, сколько еще, — думал он, звоня в дверь дома на Эберкорн-Террас, — старая Кросби заставит меня ждать?» Ветер был очень холодный.

Он стоял и смотрел на светло-желтый фасад большого, архитектурно ничем не примечательного, но, безусловно, удобного семейного особняка, в котором до сих пор жили его отец и сестра.

«Она стала неторопливой», — подумал Мартин, ежась от ветра. Но тут дверь открылась, и показалась Кросби.

— Здравствуйте, Кросби, — сказал Мартин.

---

[111] Примечания: 111
Фраза из старинной английской детской песенки.

Она широко улыбнулась ему, показав золотой зуб. Считалось, что Мартин всегда был ее любимцем, — эта мысль доставила ему удовольствие.

— Как поживаете? — спросил он, отдавая ей шляпу.

Она была все та же — разве чуть больше сморщилась, стала еще больше похожа на комара, и голубые глаза еще сильнее выпучились.

— Ревматизм беспокоит? — спросил Мартин, когда Кросби помогала ему снять пальто. Она молча ухмыльнулась. Он был настроен дружелюбно и рад увидеть ее почти не переменившейся.

— А где мисс Элинор? — Он открыл дверь гостиной. Комната была пуста. Элинор отсутствовала. Но она была здесь недавно, раз на столе лежала книга. Ничего не изменилось — Мартин был рад это увидеть. Он стоял у камина и смотрел на портрет матери. За последние годы это изображение перестало быть его матерью и превратилось просто в произведение искусства. Но картина была грязной.

Раньше в траве был цветок, подумал Мартин, глядя на темный угол картины, а теперь — только грязно-бурая краска. Интересно, что она читает? Он взял книгу, прислоненную к чайнику, и заглянул в нее.

— «Ренан», — прочел он. — Почему Ренан?

Он начал читать, чтобы скоротать ожидание.

— Мистер Мартин пожаловал, мисс, — сказала Кросби, открывая дверь кабинета.

Элинор оглянулась. Она стояла у отцовского кресла с ворохом газетных вырезок, как будто только что читала их вслух. Перед отцом была шахматная доска с расставленными для партии фигурами. Но он сидел, откинувшись на спинку, и выглядел сонно и мрачно.

— Сохрани их… Убери куда-нибудь, — сказал он, ткнув большим пальцем в сторону газетных вырезок. Это признак глубокой старости, подумала Элинор, — то, что он просит сохранить вырезки. После удара он стал вялым и неповоротливым, на носу и щеках были видны красные сосуды. Элинор тоже чувствовала себя старой, отяжелевшей и медлительной.

— Пожаловал мистер Мартин, — повторила Кросби.

— Мартин пришел, — сказала Элинор.

Отец будто не услышал. Он сидел, уткнув подбородок в грудь.

— Мартин, — повторила Элинор. — Мартин…

Он хочет его увидеть или нет? Она подождала, пока в голове отца медленно сформируется

мысль. Наконец он что-то проворчал. Но что это означает, она точно не знала.

— Я пришлю его к тебе после чая, — сказала Элинор и еще немного постояла. Отец выпрямился и начал переставлять шахматные фигуры. Он по-прежнему не падает духом, с гордостью подумала она. Все так же стремится все делать сам.

Она вошла в гостиную и увидела Мартина, который стоял перед безмятежным, улыбающимся изображением матери. В руке он держал книгу.

— Почему Ренан? — спросил он, закрыл книгу и поцеловал сестру. — Почему Ренан?

Элинор слегка покраснела. Отчего-то ее смутило то, что он обнаружил раскрытую книгу. Она села и положила газетные вырезки на чайный столик.

— Как папа? — спросил Мартин.

Она поблекла, подумал он, глядя на Элинор, — и в волосах появилась проседь.

— Неважно, — сказала она и посмотрела на газетные вырезки. — Интересно, — добавила она, — кто все это пишет?

— Что именно? — спросил Мартин. Он взял измятую полоску бумаги и прочитал: — «…Незаурядный государственный служащий… человек широких интересов…» Ой, Дигби. Некрологи. Я

сегодня проходил мимо их дома. Он продан.

— Уже? — удивилась Элинор.

— Вид такой заброшенный, — добавил Мартин. — В цокольном этаже сидит какая-то грязная старуха.

Элинор вынула из волос шпильку и принялась разделять фитиль под чайником на волокна. Мартин некоторое время наблюдал за ней молча.

— Я любил там бывать, — наконец сказал он. — Я любил Эжени.

Элинор ответила не сразу.

— Да… — проговорила она без уверенности. Она никогда не чувствовала себя рядом с Эжени непринужденно. — Хотя она все преувеличивала, — добавила Элинор.

— Ну, разумеется, — засмеялся Мартин, по-видимому что-то вспомнив. — Чувства меры в ней было меньше, чем… Его пора выбросить, Нелл, — перебил себя он, раздраженный ее возней с фитилем.

— Нет-нет, — возразила Элинор. — Он вскипает вовремя.

Она помолчала. Протянув руку за чайницей, она отмерила чай для заварки, считая:

— Одна, две, три, четыре.

Она пользуется все той же старинной серебря-

ной чайницей, отметил Мартин, — с задвижной крышкой. Он молча смотрел, как сестра методично отмеряет чай: одна, две, три, четыре ложки…

— Мы не спасем свои души ложью, — вдруг резко выговорил он.

О чем это он? — подумала Элинор.

— Когда я была с ними в Италии… — сказала она вслух.

Но тут открылась дверь, и вошла Кросби с блюдом. За ней в комнату вбежала собака.

— Я хотела сказать… — продолжила было Элинор, но она не могла сказать то, что намеревалась, пока Кросби крутилась в комнате.

— Мисс Элинор нужен новый чайник, — сказал Мартин, указав на старый медный чайник с почти стершимся орнаментом в виде роз, который он всегда терпеть не мог.

— Кросби, — сказала Элинор, все еще орудуя шпилькой, — не одобряет новых изобретений. Кросби и метрополитену себя не доверит, верно, Кросби?

Кросби усмехнулась. Они всегда говорили о ней в третьем лице, потому что она никогда не отвечала — лишь усмехалась. Собака принюхалась к блюду, которое Кросби только что поставила на стол.

— Кросби слишком раскормила животину, — сказал Мартин, указывая на собаку.

— Я постоянно это ей говорю, — откликнулась Элинор.

— На вашем месте, Кросби, — сказал Мартин, — я урезал бы ее рацион и каждое утро устраивал бы ей пробежки по парку.

Кросби широко открыла рот.

— Ах, мистер Мартин! — возмутилась она его жестокости.

Собака последовала за ней вон из комнаты.

— Кросби все та же, — сказал Мартин.

Элинор приподняла крышку чайника и заглянула внутрь. Пузырьков пока не было.

— Чертов чайник, — сказал Мартин. Он взял одну из вырезок и начал скручивать из нее жгут.

— Не надо, папа хочет сохранить их, — сказала Элинор. — Он был совсем не такой. — Она положила руку на вырезки. — Ничего общего.

— А какой он был? — спросил Мартин.

Элинор помолчала. Она могла ясно представить себе дядю: он держит в одной руке цилиндр, а другую положил ей на плечо; они остановились перед какой-то картиной. Но как описать его?

— Он водил меня в Национальную галерею, — сказала она.

— Человек он был весьма образованный, — сказал Мартин, — но при этом жуткий сноб.

— Только с виду, — сказала Элинор.

— И всегда придирался к Эжени по мелочам, — добавил Мартин.

— Представь, каково было жить с ней. Эти манеры…

Она выбросила руку в сторону, но не так, как это делала Эжени, подумал Мартин.

— Я любил ее, — сказал он. — Любил бывать там.

Он вспомнил неприбранную комнату: пианино открыто, окно тоже, ветер раздувает занавески, и тетя идет к нему навстречу, протягивая руки. «Какая радость, Мартин! Какая радость!» — обычно говорила она. Из чего состояла ее личная жизнь? — задавался он вопросом. У нее были романы? Должны были быть — разумеется, еще бы.

— Кажется, была некая история, — начал он, — насчет письма?

Он хотел сказать: «Кажется, у нее был с кем-то роман?» — но с сестрой говорить откровенно было труднее, чем с другими женщинами, потому что она все еще обращалась с ним как с мальчиком. Влюблялась ли когда-нибудь Элинор? — думал он, глядя на нее.

— Да, — сказала она, — была история…

Но в этот момент резко прозвенел электрический звонок. Она не договорила.

— Папа, — сказала Элинор и привстала.

— Не надо, — возразил Мартин. — Я схожу, — он встал. — Я обещал ему партию в шахматы.

— Спасибо, Мартин. Ему будет приятно, — сказала Элинор, чувствуя облегчение от того, что он вышел, оставив ее одну.

Она откинулась на спинку кресла. Как ужасна старость, думала она. Она отнимает у человека его способности — одну за другой, оставляя лишь что-то живое в сердцевине, оставляя — она сгребла в кучу газетные вырезки — лишь партию в шахматы и вечерний визит генерала Арбатнота.

Лучше умереть, как Эжени и Дигби, в расцвете сил, не потеряв ни одной из своих способностей. Но он был совсем не такой, думала Элинор, глядя на вырезки. «Мужчина исключительно привлекательной внешности… рыбачил, охотился, играл в гольф…» Нет, ничего похожего. Он был странным человеком. Слабым, чувствительным, любящим титулы, живопись. Часто его угнетала, как догадывалась Элинор, чрезмерная эмоциональность жены. Элинор отодвинула вырезки и взяла свою книгу. Удивительно, как по-разному

двое воспринимают одного и того же человека, думала она. Вот Мартину нравилась Эжени, а ей — Дигби. Она начала читать.

Ей всегда хотелось больше знать о христианстве — с чего оно началось, что оно означало у своего истока. Бог есть любовь, Царствие Небесное внутри нас — все эти изречения, думала она, листая страницы, что они значат? Сами слова были прекрасны. Но кто сказал их — и когда? Носик чайника выпустил в нее струю пара, и она отодвинула его. Ветер гремел окнами в глубине дома, гнул низкорослые кусты, на которых все еще не было листьев. Эти слова сказал человек под фиговым деревом на горе, думала она. А другой человек записал их. Но что если сказанное тем человеком так же ложно, как и то, что этот человек — она прикоснулась ложкой к газетным вырезкам — говорит о Дигби? И вот я, думала она, глядя на фарфор в голландском буфете, сижу в гостиной, и во мне звучит отголосок сказанного кем-то много лет назад — слова дошли до меня (фарфор стал из голубого сине-серым) — через горы, через моря.

Ее мысли прервал звук, донесшийся из передней. Кто-то вошел? Она прислушалась. Нет, это ветер. Дул жуткий ветер. Он прижимал дом

к земле; хватал его мертвой хваткой, а потом отпускал — чтобы тот развалился на части. Наверху хлопнула дверь; там в спальне, вероятно, открыто окно. Штора постукивает. Трудно сосредоточиться на Ренане. Впрочем, он ей нравился. По-французски она, конечно, читала легко. И по-итальянски. И немного по-немецки. Но какие большие пустоты, какие пробелы, думала она, опираясь на спинку кресла, есть в ее знаниях! Как мало она знает обо всем. Взять хотя бы эту чашку. Она подняла чашку перед собой. Из чего она состоит? Из атомов? А что такое атомы и что держит их вместе? Гладкая и твердая фарфоровая поверхность с красными цветами на секунду показалась ей чудесной тайной. Однако из передней опять что-то послышалось. Это был ветер, но и чей-то голос, кто-то говорил. Наверное, Мартин. Но с кем он может говорить? Элинор прислушалась, но не смогла разобрать слов из-за ветра. И почему он сказал: «Мы не спасем свои души ложью»? Он имел в виду самого себя. Всегда понятно по интонации, когда человек говорит о самом себе. Возможно, он оправдывал свою отставку из армии. Мужественный поступок, подумала Элинор, но не странно ли — она прислушалась к голосам, — что он при этом такой франт? На нем

новый синий костюм в белую полоску. И усы он сбрил. Ему не надо был становиться военным, подумала она, — он слишком задиристый… В передней все еще разговаривали. Она не слышала, что он говорит, но звук его голоса навеял ей мысль, что, наверное, у него было много романов. Да — ей стало это совершенно ясно по его голосу, звучавшему за дверью — у него было очень много романов. Но с кем? И почему мужчины придают романам такое значение? — задала она себе вопрос, когда дверь открылась.

— Роза, здравствуй! — воскликнула она, с удивлением увидев сестру. — Я думала, ты в Нортумберленде!

— Ты думала, что я в Нортумберленде! — засмеялась Роза, целуя ее. — С какой стати? Я сказала, восемнадцатого.

— Разве сегодня не одиннадцатое? — спросила Элинор.

— Ты отстала от времени всего на неделю, Нелл, — сказал Мартин.

— Значит, я на всех письмах поставила неверные даты! — Элинор с тревогой посмотрела на письменный стол. Моржа с потертой щетинкой там уже не было. — Чаю, Роза? — спросила она.

— Нет, я хочу в ванну, — сказала Роза. Она

сбросила шляпку и провела рукой по волосам, пропуская их между пальцев.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказала Элинор, думая о том, как хороша ее сестра. Однако на подбородке у нее была царапина.

— Ну просто красавица! — засмеялся Мартин.

Роза вскинула голову, точно кобылица. Вечно они пикируются, подумала Элинор, — Мартин с Розой. Роза была хорошенькая, но Элинор считала, что ей стоит получше одеваться. На ней был зеленый ворсистый жакет и юбка с кожаными пуговицами, а в руках — залоснившаяся сумка. Она устраивала митинги на Севере.

— Хочу в ванну, — повторила Роза. — Я грязная. А это что такое? — Она указала на газетные вырезки. — А, дядя Дигби, — небрежно добавила она, отодвигая в сторону бумажные полоски. С его смерти прошло уже несколько месяцев, вырезки пожелтели и съежились.

— Мартин говорит, дом продан, — сказала Элинор.

— Вот как? — безразлично откликнулась Роза. Она отломила кусочек кекса и стала жевать его. — Порчу себе аппетит, — сказала она. — Пообедать было некогда.

— Какая деловая женщина! — поддразнил ее

Мартин.

— А как митинги? — спросила Элинор.

— Да, как там Север? — спросил Мартин.

Они стали говорить о политике. Роза выступала на дополнительных выборах. В нее бросили камнем, — она поднесла руку к подбородку. Но ей понравилось.

— Думаю, мы дали им пищу для размышлений, — сказала она, отламывая еще кусочек от кекса.

Это ей надо было стать военным, подумала Элинор. Она была копией старого дяди Парджитера, командовавшего кавалерийским отрядом. Мартин, особенно такой — без усов, так что видны губы, — мог бы стать — кем? — возможно, архитектором. Он такой… — она посмотрела в окно. Начался град. Белые прутья секли окно задней комнаты. Резкий порыв ветра пригнул к земле побледневшие кустики. Наверху, в спальне матери, хлопнуло окно. Наверное, надо пойти и закрыть его, подумала Элинор. Дождь, поди, заливает в комнату.

— Элинор… — сказала Роза. — Элинор…

Элинор вздрогнула.

— Элинор хандрит, — сказал Мартин.

— Вовсе нет, вовсе нет, — возразила Элинор. —

Что ты сказала?

— Я хотела спросить, — сказала Роза. — Помнишь скандал, когда сломали микроскоп? Так вот, я встретила того мальчишку — того гадкого мальчишку с лицом, как у хорька, — Эрриджа, там, на Севере.

— Он был не гадкий, — сказал Мартин.

— Гадкий, — упрямо повторила Роза. — Гадкий маленький подлец. Он сказал, что микроскоп сломала я, а на самом деле это сделал он. Помнишь тот скандал? — Она повернулась к Элинор.

— Того скандала я не помню, — сказала Элинор. — Их было так много.

— Тот был из худших, — сказал Мартин.

— Да, — подтвердила Роза. Она поджала губы, что-то живо припомнив. — А после него, — она повернулась к Мартину, — ты пришел в детскую и позвал меня на Круглый пруд ловить жуков. Помнишь?

Она помолчала. В этом воспоминании было что-то особенное, поняла Элинор. Роза говорила слишком эмоционально.

— Ты сказал: «Я предложу тебе три раза, и если после третьего ты не ответишь, то я пойду один». И я про себя поклялась: «Он пойдет один». — Ее голубые глаза сверкнули.

— Так и вижу тебя, — сказал Мартин, — в розовом платье, с ножом в руке.

— И ты пошел, — продолжила Роза. В ее голосе слышалась подавляемая ярость. — А я бросилась в ванную и нанесла себе эту рану. — Она обнажила запястье. Элинор посмотрела на него. Запястный сустав пересекал тонкий белый рубец.

Когда она это сделала? — подумала Элинор и не смогла вспомнить. Роза заперлась в ванной с ножом и порезала себе руку. А она ничего об этом не знала. Элинор присмотрелась к белой отметине. Наверное, было много крови.

— Роза всегда была смутьянкой, — сказал Мартин, вставая. — У нее с детства дьявольский характер, — добавил он. Он немного постоял, оглядывая гостиную, заставленную жуткими предметами мебели, от которых он избавился бы, окажись на месте Элинор. Но ее, вероятно, такие вещи не трогали.

— Ужинать куда-то идешь? — спросила она. Он каждый вечер ужинал не дома. Ей хотелось бы спросить его, куда он идет.

Он молча кивнул. Он встречал самых разных людей, незнакомых ей, и не хотел о них говорить. Мартин отвернулся к камину.

— Картину надо почистить, — сказал он,

указывая на портрет матери. — Хорошая работа, — добавил он, глядя на него оценивающим взором. — Но разве там в траве не было цветка?

Элинор подняла глаза на портрет. Много лет она смотрела на него, не видя.

— А разве был? — удивилась она.

— Да, маленький голубой цветок, — сказал Мартин. — Я помню его с детства.

Он обернулся. При виде Розы, которая сидела за чайным столиком, все еще сжав кулак, Мартина посетило воспоминание из детства. Он увидел ее стоящей спиной к двери классной комнаты, красную как рак, с туто поджатыми губами — как сейчас. Она чего-то хотела от него. А он скатал бумажный шар и бросил в нее.

— Как ужасно быть ребенком! — сказал Мартин и помахал ей рукой, пересекая комнату. — Верно, Роза?

— Да, — сказала Роза. — И дети никому об этом не могут рассказать.

При очередном порыве ветра послышался звон разбитого стекла.

— Оранжерея мисс Пим? — предположил Мартин, остановившись в дверях.

— Мисс Пим? — переспросила Элинор. — Она уже двадцать лет как умерла!

1910

За городом был вполне обычный день, один из бесконечного хоровода дней, сменяющих друг друга, покуда годы чередуют зелень и багрянец, всходы и жатву. Было ни жарко, ни холодно: английский весенний день, достаточно ясный, но с неизменным лиловым облаком за холмом, которое может принести дождь. По траве то неслись тени, то солнечный свет заливал ее.

В Лондоне, однако, уже чувствовались напор и требовательность грядущего сезона — особенно в Вест-Энде, где развевались флаги, стучали трости, струились платья, а на свежевыкрашенных стенах торчали полотняные козырьки и висели корзинки с красными геранями. Готовились и парки: Сент-Джеймсский, Грин-парк, Гайд-парк. Еще утром, до того как могло начаться какое-либо шествие, среди пухлых коричневых клумб с кудрявыми гиацинтами были расставлены зеленые складные стулья; они будто ждали событий, ждали, когда поднимется занавес, когда королева Александра, наклонившись, войдет в ворота. У нее было лицо, как цветочный лепесток, и она всегда носила розовую гвоздику.

Мужчины лежали на траве, расстегнув пи-

джаки и читая газеты. На голой выскобленной поляне под Марбл-Арч собирались ораторы, их безучастно созерцали няньки, а матери, сидя на траве, наблюдали за игрой своих детей. По Парк-Лейн и Пикадилли, словно по прорезям, двигались повозки, автомобили и омнибусы, то останавливаясь, то дергаясь вперед опять, — как будто головоломку собирали, а потом опять разрушали. Наступал Сезон, и улицы были переполнены. Облака же над Парк-Лейн и Пикадилли были все так же свободны, все так же порывисто блуждали по небу, то окрашивая окна в золото, то замазывая их чернотой, облака проносились и таяли, хотя даже итальянский мрамор с желтыми прожилками, сверкающий в карьерах, не выглядел более твердым и монолитным, чем облака над Парк-Лейн.

Если омнибус остановится здесь, подумала Роза, посмотрев вбок, она выйдет. Омнибус остановился, и она встала. Жаль, подумала она, ступив на тротуар и увидев свое отражение в витрине швейного ателье, — можно было бы и одеваться лучше, и выглядеть привлекательнее. Всегда только дешевая готовая одежда, жакеты и юбки от «Уайтлиз». Зато — экономия времени, да и годы — ей было за сорок — позволяли уже почти

не заботиться о том, что думают другие. Раньше они говорили: почему ты не выходишь замуж? Почему не делаешь то или это, вмешивались. Теперь перестали.

По привычке она зашла постоять в одну из маленьких ниш на мосту. Люди всегда останавливаются посмотреть на реку. В это утро она текла быстро, грязнозолотая, где гладкая, где покрытая рябью: был прилив. Как обычно — буксир и баржи с зерном и черной просмоленной парусиной. У быков моста бурлила вода. Роза стояла, смотрела вниз, и постепенно вид потока вызвал у нее давно схороненное воспоминание. Оно было болезненным. Она вспомнила, как однажды вечером, после одного свидания, она стояла здесь и плакала. Текли ее слезы, и вместе с ними, казалось ей, утекало ее счастье. Она обернулась — и тогда, и сейчас — и увидела церкви, мачты и крыши города. Все на месте, сказала она себе. Вид, безусловно, был великолепный… Она посмотрела какое-то время, а потом повернулась в другую сторону. Здание парламента. Странное выражение — нахмуренная улыбка — появилось на ее лице, и она выпрямилась, слегка откинув голову назад, — как будто вела вперед армию.

— Чертовы мошенники! — сказала Роза громко,

стукнув кулаком по парапету. Проходивший мимо клерк удивленно посмотрел на нее. Она засмеялась. Она часто разговаривала сама с собой. А почему бы нет? Это тоже было одним из ее утешений, как жакет и юбка, как шляпка, которую она нацепила, не взглянув в зеркало. Если людям охота смеяться — пусть. Она зашагала дальше. Ей предстоял обед на Хайямз-Плейс[112] с двоюродными сестрами. Она сама напросилась недолго думая, когда встретила Мэгги в магазине. Сначала она услышала голос, потом увидела руку. Удивительно — учитывая, сколь мало она была знакома с ними, ведь они жили за границей, — какое сильное ощущение она испытала, сидя там, у прилавка, еще до того, как Мэгги увидела ее, — наверное, это родственное чувство, это дает себя знать родная кровь? Она встала и сказала: «Можно, я зайду к вам?» — хотя, как всегда, была занята и не любила ломать свой день посередине. Она пошла дальше. Сестры жили на площади Хайямз-Плейс, за рекой. Хайямз-Плейс — несколько старых домов, стоящих полукругом, с резным названием посередине — она очень часто ходила мимо, когда жила там. В те давние дни она не

[112] Примечания: 112
Хайямз-Плейс — вымышленное название.

раз задавалась вопросом: «Кто такой был этот Хайям?» Но так и не получила ответа. Она пошла дальше, за реку.

На убогой улице к югу от реки было очень шумно. То и дело какой-нибудь голос отделялся от общего гама.

Женщина кричала своей соседке; ребенок плакал. Мужчина толкал тачку и открывал рот, что-то крича в окна. В тачке лежали остовы кроватей, каминные решетки, кочерги и кривые железяки непонятного назначения. Но продавал он железный лом или покупал его, сказать было невозможно: все поглощал ритм, слова были почти стерты.

Уличный гул, шум движения, возгласы лоточников, отдельные крики и общий смешанный крик доносились до комнаты верхнего этажа на Хайямз-Плейс, в которой Сара Парджитер сидела за пианино. Она пела. Затем она умолкла и стала смотреть на сестру, накрывавшую на стол.

— Иди бродить в долины, — опять вполголоса напела Сара, — там розы все сорви, — она помолчала. — Очень мило, — сказала она мечтательно.

Мэгги взяла букет цветов, перерезала шпагат, которым они были туто увязаны, разложила их в ряд на столе, а затем стала устраивать их по

одному в глиняном горшке. Цветы были разные: голубые, белые и лиловые. Сара наблюдала за сестрой. Вдруг она рассмеялась.

— Над чем это ты? — рассеянно спросила Мэгги. Она присоединила лиловый цветок к букету и оценила результат.

— Ослепленная восторгом созерцания, — проговорила Сара, — заслоняя глаза павлиньими перьями в утренней росе, — она указала на стол, — Мэгги сказала, — она вскочила и стала кружиться по комнате, — «Втроем — все равно что вдвоем, втроем — все равно что вдвоем!» — Она указала на стол, накрытый на три персоны.

— Но ведь нас трое, — сказала Мэгги. — Роза придет.

Сара остановилась. У нее вытянулось лицо.

— Роза придет? — переспросила она.

— Я тебе говорила. Я сказала, что Роза придет к нам обедать в пятницу. Сегодня пятница. И Роза придет обедать. С минуты на минуту. — Она встала и начала складывать кусок материи, лежавший на полу.

— Сегодня пятница, и Роза придет обедать, — повторила Сара.

— Я тебе рассказывала, — сказала Мэгги. — Я была в магазине. Покупала материю. И какая-то

женщина, — она сделала паузу, чтобы аккуратнее сложить ткань, — вышла из-за прилавка и сказала: «Я ваша двоюродная сестра Роза. Можно мне навестить вас? В любой день, в любое время», — сказала она. Вот я и пригласила ее, — Мэгги положила материю на стул, — обедать.

Она оглядела комнату, чтобы проверить, все ли готово. Не хватало стульев. Сара подвинула стул.

— Роза придет, — сказала она. — А здесь она сядет. — Сара поставила стул к столу, лицом к окну. — И она снимет перчатки и положит их — одну с этой стороны, а другую — с этой. И скажет: «Я никогда не была в этой части Лондона».

— А потом? — спросила Мэгги, глядя на стол.

— Ты скажешь: «Здесь удобно ходить в театры».

— А потом?

— А потом она скажет задумчиво, улыбаясь, склонив голову набок: «Вы часто ходите в театр, Мэгги?»

— Нет, — сказала Мэгги. — У Розы рыжие волосы.

— Рыжие?! — воскликнула Сара. — Я думала, седые — тонкая прядь, выбившаяся из-под черного чепца…

— Нет, — сказала Мэгги. — У нее пышные ры-

жие волосы.

— Рыжие волосы, рыжая Роза! — воскликнула Сара. Она повернулась на носке. — Роза — сердца огонь, Роза — пламя души, Роза — скорбь мировая, рыжая, красная Роза!

Внизу хлопнула дверь. Они услышали поднимающиеся по лестнице шаги.

— Вот и она, — сказала Мэгги.

Шаги остановились. Они услышали голос: «Еще выше? На самый верх? Спасибо». Шаги опять стали подниматься.

— Какая жуткая пытка, — начала Сара, ломая пальцы и прижимаясь к сестре, — эта жизнь!

— Хватит глупостей, — сказала Мэтти, оттолкнув ее в тот момент, когда открылась дверь комната.

Вошла Роза.

— Мы не виделись сто лет, — сказала она, пожимая руки сестрам.

Она сама не знала, что заставило ее прийти. Все оказалось против ее ожидания. Комната была довольно явно отмечена бедностью, ковра не хватало на весь пол. В углу стояла швейная машинка, и Мэгги выглядела не так, как в магазине. Однако Роза заметила темно-красное кресло с позолотой, — это принесло ей облегчение.

— Оно стояло в передней, правда? — спросила она, ставя на кресло свою сумку.

— Да, — ответила Мэгги.

— И то зеркало, — сказала Роза, глядя на старое итальянское зеркало, все в пятнах, висевшее между окнами, — оно тоже оттуда, правда?

— Да, — подтвердила Мэгги, — из маминой спальни.

Последовала пауза. Говорить было вроде и не о чем.

— Какие милые вы нашли комнаты! — начала Роза, стараясь поддержать беседу. Комната была просторная, с небольшими резными украшениями на дверных косяках. — Но не слишком ли здесь шумно?

Под окном кричал человек. Роза выглянула на улицу. Напротив тянулся ряд шиферных крыш, похожих на полураскрытые зонтики. Высоко над ними вздымалось огромное здание, которое, если не считать тонких черных поперечных линий, казалось состоящим целиком из стекла. Это был завод. Человек на улице внизу продолжал вопить.

— Да, здесь шумно, — сказала Мэгги. — Зато удобно.

— Очень удобно ходить в театры, — добавила

Сара, ставя на стол мясо.

— Я помню, — Роза повернулась к младшей сестре, — с тех пор, как жила тут.

— Вы здесь жили? — удивилась Мэгги, начиная раздавать котлеты.

— Не совсем здесь, за углом. С подругой.

— Мы думали, вы жили на Эберкорн-Террас, — сказала Сара.

— Разве нельзя жить больше, чем в одном месте? — спросила Роза, чуть раздраженно, потому что много где жила, имела много увлечений и много чем занималась.

— Я помню Эберкорн-Террас, — сказала Мэгги и, помолчав, продолжила: — Там была длинная комната, и дерево в конце, и портрет рыжеволосой девушки над камином.

Роза кивнула:

— Мамы в молодости.

— И круглый стол посередине, — продолжала Мэгги.

Роза кивнула.

— И у вас была горничная с голубыми глазами навыкате, да?

— Кросби. Она до сих пор с нами.

Трапеза продолжилась в молчании.

— А потом? — спросила Сара, как ребенок, тре-

бующий продолжения рассказа.

— Потом? — сказала Роза. — Ну, потом… — Она посмотрела на Мэгги и вспомнила девочку, приходившую к ним на чаепитие.

Она увидела, как все сидят за столом и — мелочь, которую она не вспоминала много лет, — Милли шпилькой разделяет на волокна фитиль спиртовки. Элинор — со своими расходными тетрадями, а сама она, Роза, подходит к ней и говорит: «Элинор, я хочу сходить к Лэмли».

Прошлое будто нависло над настоящим. Почему-то ей захотелось говорить о прошлом, рассказать сестрам о себе то, что она никому не рассказывала, — нечто скрытое от других. Она помолчала, невидящим взором глядя на цветы в середине стола. Она заметила синее зерно в желтой глазури вазы.

— Я помню дядю Эйбела, — сказала Мэгги. — Он подарил мне ожерелье. Синее ожерелье с золотыми крапинками.

— Он еще жив, — сообщила Роза.

Они говорят так, подумала она, словно Эберкорн-Террас — это сцена в пьесе. Они говорят вроде бы о реальных людях, но не в том смысле, в каком она сама себя чувствовала реальным человеком. Это озадачило ее, ей показалось, что она

— это два разных человека, что она одновременно живет в двух эпохах. Она девочка в розовом платье, и она же сидит сейчас в этой комнате. Однако под окнами раздался сильный грохот: проехала телега. На столе задребезжали бокалы. Роза чуть вздрогнула, отвлеклась от мыслей о детстве и раздвинула бокалы.

— Не слишком ли здесь шумно? — сказала она.

— Шумно, зато удобно ходить в театры, — ответила Сара.

Роза подняла глаза. Она повторилась. Она считает меня старой дурой, подумала Роза, старой дурой, твердящей одно и то же. И едва заметно покраснела.

Что толку, думала она, пытаться рассказать людям о своем прошлом? Что такое прошлое? Она уставилась на вазу с синим зерном в желтой глазури. Зачем я пришла, думала она, они ведь только смеются надо мной? Салли встала и убрала тарелки.

— А Делия… — начала Мэгги, пока они ждали. Она придвинула к себе вазу и принялась расставлять в ней цветы. Она не слушала, а думала о своем. Розе она напомнила Дигби — тем, как она была поглощена цветами, точно расставлять цветы в вазе, чередуя белые с голубыми, — это

самое важное дело на свете.

— Она замужем за ирландцем, — громко сказала Роза.

Мэгги взяла синий цветок и поставила рядом с белым.

— А Эдвард? — спросила она.

— Эдвард… — начала Роза, но тут вошла Салли с пудингом.

— Эдвард! — воскликнула она, подхватив последнее слово.

— «Лопни глаза сестры моей покойной жены, что служит чахлой опорой моей иссякшей старости…» — Салли поставила пудинг на стол. — Вот вам Эдвард, — сказала она. — Цитата из книги, которую он мне подарил. «О, моя растраченная юность!..»

Роза прямо-таки услышала, как это говорит Эдвард. Он имел обыкновение принижать себя, хотя на самом деле был о себе весьма высокого мнения.

Но этим Эдвард не исчерпывался. И она не позволила бы над ним смеяться, она очень любила брата и гордилась им.

— Теперь в Эдварде мало что осталось от этого, — сказала Роза.

— Я так и думала, — согласилась Сара, садясь

напротив.

Помолчали. Роза опять взглянула на цветы. Зачем я пришла? — продолжала она спрашивать себя. Зачем сломала себе утро, оторвалась от ежедневных дел, хотя было ясно, что они не хотят ее видеть?

— Продолжайте, Роза, — сказала Мэгги, разрезая пудинг. — Расскажите нам еще о Парджитерах.

— О Парджитерах? — Роза увидела себя бегущей по широкой улице под фонарями. — Что может быть обычнее? Большая семья, живущая в большом доме… — И все же она считала саму себя очень даже интересной личностью. Роза умолкла. Сара посмотрела на нее.

— Они не обычные, — сказала Сара. — Парджитеры… — Она провела вилкой линию по скатерти. — Парджитеры идут все дальше и дальше, — вилка уперлась в солонку, — пока им не встречается скала. И тут Роза, — она опять посмотрела на Розу (та при этом чуть подобралась), — Роза пришпоривает коня, подъезжает к человеку в золотом мундире и говорит: «Будьте вы прокляты!» Ведь Роза такая, правда, Мэгги? — Она посмотрела на сестру так, будто рисовала на скатерти портрет Розы.

Это верно, подумала Роза, доедая пудинг. Я

такая. Опять ей показалось, что она — это два человека одновременно.

— Ну, с этим покончено, — сказала Мэгги, отодвигая тарелку. — Идите сядьте в кресло, Роза.

Мэгги встала и подвинула к камину кресло, на сиденье которого проступали кольца пружин, как заметила Роза.

Они бедны, подумала она, оглядываясь вокруг. И в доме этом они поселились, потому что он дешевый. Они сами себе готовят: Салли ушла на кухню варить кофе. Роза придвинула свое кресло поближе к креслу Мэгги.

— Вы сами себе шьете? — спросила она, указав на швейную машинку в углу. На ней лежал сложенный кусок шелка.

— Да, — сказала Мэгги, тоже посмотрев на швейную машинку.

— Собираетесь на прием? — спросила Роза. Шелк был зеленого цвета, с голубым отливом.

— Завтра вечером, — сказала Мэгги. Она подняла руку к лицу в странном жесте, как будто хотела что-то скрыть. Она хочет что-то утаить от меня, подумала Роза, так же как я — от нее. Роза наблюдала за Мэгги. Та встала, принесла швейную машинку и шелк и начала вдевать нить в иглу. Руки у нее большие, тонкие и сильные,

отметила Роза.

— Я никогда не умела шить для себя, — сказала она, глядя, как Мэгги разглаживает шелк под иглой. Розе стало легко. Она сняла шляпку и бросила ее на пол. Мэгги посмотрела на нее с одобрением. Роза была красива, какой-то грубовато-усталой красотой, и больше походила на мужчину, чем на женщину.

— Зато, — сказала Мэгги, осторожно начиная крутить ручку, — вы делали другие вещи. — Она говорила с интонацией человека, работающего руками.

Машинка уютно жужжала, иголка мерно протыкала шелк.

— Да, я делала другие вещи, — сказала Роза, гладя кошку, которая терлась об ее колено, — когда жила здесь. — Но это было много лет назад, — добавила она, — в молодости. Я жила здесь с подругой, — она вздохнула, — и учила малолетних воров.

Мэгги промолчала. Она крутила и крутила ручку жужжащей машинки.

— Воры мне всегда нравились больше других людей, — через некоторое время сказала Роза.

— Да, — откликнулась Мэгги.

— Мне никогда не нравилось жить дома, — ска-

зала Роза. — Меня намного сильнее привлекала самостоятельность.

— Да, — сказала Мэгги.

Роза продолжала говорить.

Говорить, как она обнаружила, было легко, очень легко. И не надо было ни изрекать ничего умного, ни рассказывать о себе. Когда вошла Сара с кофе, она говорила о Ватерлоо-Роуд.

— За какого это толстяка вы цеплялись в Кампании? — спросила Сара, ставя поднос.

— В Кампании? — удивилась Роза. — О Кампании речь не шла.

— Я слышала из-за двери. — Сара начала разливать кофе. — Оттуда слова звучат так странно. — Она передала Розе чашку. — Мне показалось, вы говорите об Италии, Кампании, лунном свете.

Роза отрицательно покачала головой.

— Мы говорили о Ватерлоо-Роуд, — сказала она.

Но что именно она говорила? Ведь не просто же о Ватерлоо-Роуд. Вероятно, несла чушь. Первое, что приходило в голову.

— Я думаю, любой разговор окажется чушью, если его записать, — сказала она, помешивая себе кофе.

Мэгги на мгновение перестала крутить ручку

и улыбнулась.

— Даже если не записывать, — сказала она.

— Но это единственный способ узнать друг друга, — возразила Роза. Она посмотрела на свои часы. Было позже, чем она думала. — Мне пора, — сказала она. — А может быть, пойдете со мной? — вдруг добавила она.

Мэгги подняла голову и посмотрела на нее.

— Куда? — спросила она.

Роза выдержала паузу.

— На собрание, — наконец ответила она. Ей хотелось скрыть то, что больше всего влекло ее. Она была сильно смущена. И все равно хотела, чтобы они пошли. Но зачем? — спрашивала она себя, стоя в неловком ожидании. Повисла пауза. — Вы можете посидеть наверху, — вдруг предложила она. — Увидите Элинор, Мартина — Парджитеров во плоти. — Она вспомнила метафору Сары. — Караван в пустыне.

Роза посмотрела на Сару. Та примостилась на подлокотнике кресла и прихлебывала кофе, качая ногой.

— А мне пойти? — спросила Сара, не переставая качать ногой.

Роза пожала плечами.

— Если хотите, — сказала она.

— А мне там понравится? — продолжала Сара, качая ногой. — На этом собрании? Как ты думаешь, Мэгги? Пойти мне или нет? Пойти или нет?

Мэгги ничего не сказала.

Тогда Сара встала, подошла к окну и принялась мурлыкать песенку:

— «Иди бродить в долины, там розы все сорви…»

Под окном прошел человек с криками:

— Железный лом берем! Железный лом!

Сара вдруг резко обернулась.

— Я пойду, — сказала она, точно приняла решение. — Быстро оденусь и пойду.

Она сорвалась с места и торопливо вышла в спальню. Похожа на тех птиц в зоопарке, подумала Роза, которые никогда не взлетают, а только быстро прыгают по траве.

Она посмотрела в окно. Унылая улочка. На углу пивная. Дома напротив обшарпанные, и очень шумно. «Железный лом берем! — кричал человек внизу. — Железный лом!» На дороге верещали дети. Они играли в классы. Роза стояла и смотрела на них.

— Бедные маленькие негодяи! — сказала она. Она подняла с пола свою шляпку, надела ее и решительно пришпилила к волосам, проткнув

двумя булавками. Вы не находите довольно неприятным, — сказала она, прихлопнув шляпку сбоку перед зеркалом, — возвращаться домой по вечерам мимо пивной?

— Вы имеете в виду пьяных? — спросила Мэгги.

— Да. — Роза застегнула ряд кожаных пуговиц на своем строгом жакете и в нескольких местах поправила одежду, уже готовясь к выходу.

— А теперь о чем вы говорите? — спросила Сара, входя с ботинками в руках. — Об очередной поездке в Италию?

— Нет, — сказала Мэгги. Она говорила неразборчиво, потому что держала во рту булавки. — О приставаниях пьяных мужчин.

— О приставаниях пьяных мужчин, — повторила Сара. Она села и принялась надевать ботинки.

— Ко мне они не пристают, — сказала она.

Роза улыбнулась. Это было очевидно. Сара была угловатой и невзрачной, с землистым цветом лица.

— Я могу пройти по мосту Ватерлоо в любое время дня и ночи, — продолжила она, расшнуровывая ботинки, — и никто не заметит. — На одном шнурке был узелок, она стала возиться с ним. — Но я помню, мне говорила одна женщина

— очень красивая женщина, похожая на…

— Поторопись, — перебила ее Мэгги. — Роза ждет.

— Роза ждет… Так вот, эта женщина рассказывала, что, когда она заходит в Риджентс-парк поесть мороженого… — Сара встала, чтобы как следует вставить ногу в ботинок, — чтобы поесть мороженого, за круглым столиком со скатертью под деревьями, — она стала прыгать на одной ноге, в одном ботинке, — так вот, она говорила, что глаза выглядывают на нее из-за каждого листа и жгут, точно солнечные лучи, даже мороженое тает… Мороженое тает! — повторила Сара, хлопнула сестру по плечу и повернулась на носке.

Роза протянула руку.

— Вы останетесь дошивать платье? — спросила она. — Не пойдете с нами?

Она-то хотела, чтобы пошла Мэгги.

— Нет, я не пойду, — сказала Мэгги, пожимая ей руку. — Мне не понравится, — добавила она, улыбнувшись Розе со странной откровенностью.

Она имела в виду меня? — думала Роза, спускаясь по лестнице. Она хотела сказать, что ей не нравлюсь я? Хотя она мне так нравится?

В переулке, который выходил на древнюю площадь поблизости от Холборна, продавал фи-

алки старик, такой потрепанный и красноносый, будто он простоял на перекрестках много лет подряд. Место он себе выбрал у ряда столбов. Туго увязанные букетики, каждый — с зеленой оберткой из листьев вокруг полузавявших цветов, лежали рядком на подносе: продать старику удалось немного.

— Хороши фялки, свежи фялки, — механически твердил он прохожим. Большинство из них даже не оглядывались на него. Но он повторял и повторял свое заклинание: — Хороши фялки, свежи фялки, — точно и не надеялся почти, что кто-нибудь у него их купит.

Подошли две женщины, старик протянул цветы и опять произнес:

— Хорошие фялки, свежие фялки.

Одна из женщин бросила на поднос два медяка. Старик поднял глаза. Вторая женщина остановилась, оперлась рукой о столб и проговорила:

— Здесь мы расстанемся.

На что другая — невысокая и полная — хлопнула ее по плечу и сказала:

— К чему эти глупости?

Высокая вдруг хохотнула, взяла с подноса букетик фиалок, как будто это она заплатила за него, и обе пошли дальше. Странная покупательница,

подумал старик, — взяла фиалки, хотя не платила за них. Он посмотрел, как женщины идут по краю площади, а потом вновь забормотал:

— Хорошие фялки, чудные фялки.

— Здесь вы собираетесь? — спросила Сара, когда они шли по площади.

Было очень тихо. Шум уличного движения прекратился. Деревья еще не налились листвой, голуби возились и ворковали в их кронах. Оттуда на мостовую то и дело падали мелкие веточки. Теплый ветерок дунул в лицо Розе и Саре. Они шли по краю площади.

— Вон тот дом, — указала Роза.

Она остановилась у дома с резным парадным и множеством табличек у двери. Окна первого этажа были открыты, занавески полоскались на ветру, за ними был виден ряд голов: люди сидели за столом и разговаривали.

Роза помедлила на пороге.

— Вы идете или нет? — спросила она.

Сара колебалась. Она заглянула внутрь, затем наставила букетик фиалок на Розу и выкрикнула:

— Ладно! Марш-марш вперед!

Мириам Пэрриш читала письмо. Элинор чер-

тила линии на промокательной бумаге. Все это я слышала, все это было много раз, думала она. Она оглядела стол. Даже лица людей повторялись. Вот этот похож на Джадда, эта — на Лэйзенби. А это Мириам, думала Элинор, рисуя на промокашке. Я знаю, что скажет он и что скажет она, думала Элинор, проделывая карандашом дыру в промокашке. Вошла Роза. Но кто это с ней? — удивилась Элинор. Она не узнала спутницу Розы. Кем бы она ни была, Роза махнула ей на стул в углу, и собрание продолжилось. Зачем мы это делаем? — думала Элинор, пририсовывая лепесток к дырке. Она подняла глаза. Кто-то гремел, ведя палкой по прутьям ограды, и насвистывал. В саду за окном ветви деревьев качались вверх-вниз. Листья почти совсем распустились… Мириам положила бумаги на стол, мистер Спайсер встал.

Наверное, иначе нельзя, подумала она, опять беря карандаш. Она делала пометки, слушая мистера Спайсера. Оказывается, ее карандаш может аккуратно вести записи, пока она сама думает о чем-то другом. Она способна разделить себя надвое. Одна половина слушает выступление — а он говорит очень толково, отметила Элинор, — другая же тем временем бредет по зеленой лужайке и останавливается перед цветущим деревом

(ведь был чудесный день, и ей очень хотелось отправиться в Кью-Гарденз[113]). Это магнолия, спросила она себя, или они уже отцвели? Она вспомнила, что у магнолий нет листьев, только множество белых цветов… И провела линию по промокательной бумаге.

— Теперь Пикфорд, — сказала она, опять подняв глаза. Заговорил мистер Пикфорд. Элинор пририсовала к дыре еще несколько лепестков и заштриховала их, после чего подняла голову, потому что тон дискуссии изменился.

— Я прекрасно знаю Вестминстер, — заявила мисс Эшфорд.

— Я тоже! — парировал мистер Пикфорд. — Я прожил там сорок лет.

Элинор удивилась. Она всегда думала, что он живет в Илинге[114]. Неужели он обитатель Вестминстера? Он был гладковыбритый, энергичный коротышка, которого она всегда представляла спешащим на поезд с газетой под мышкой. А он, оказывается, жил в Вестминстере… Странно.

---

[113] Примечания: 113

Кью-Гарденз — королевский ботанический сад в Кью, западной части Лондона (основан в 1759 г.). В 1919 г. Вирджиния Вулф написала рассказ «Кью-Гарденз».

[114] Примечания: 114

Илинг — в то время респектабельный пригород Лондона.

Спор продолжился. Снаружи стало слышно голубиное воркование. «Только ты, крошка. Только ты, кро…» Теперь говорил Мартин. А он говорить мастер, подумала Элинор… Только зря он язвит, людей это задевает. Она провела еще одну линию.

Тут послышался шорох автомобильных шин. Машина остановилась у окна. Мартин умолк. Ненадолго повисла пауза. Затем дверь открылась, и вошла высокая женщина в вечернем платье. Все посмотрели на нее.

— Леди Лассуэйд! — сказал мистер Пикфорд, вставая и с шумом отодвигая свой стул.

— Китти! — воскликнула Элинор. Она привстала, но тут же села обратно. Произошла небольшая суматоха. Для вновь пришедшей нашли наконец место. Леди Лассуэйд села напротив Элинор.

— Я прошу простить меня, — начала она, — за опоздание. И за эту нелепую одежду, — добавила она, прикоснувшись к своему манто. Она действительно выглядела странно — в вечернем посреди дня. В волосах у нее что-то сверкало.

— В Оперу? — спросил Мартин, когда Китти села рядом с ним.

— Да, — коротко ответила она и деловито положила на стол белые перчатки. Манто рас-

пахнулось, обнаружив под собой мерцание серебристого платья. Китти действительно смотрится причудливо рядом с остальными, но с ее стороны очень мило, что она пришла, подумала Элинор, глядя на нее, — учитывая, что ей предстоит еще ехать в Оперу. Собрание продолжилось.

Сколько лет она замужем? — задумалась Элинор. Сколько прошло с тех пор, как мы сломали качели в Оксфорде? Она провела очередную линию по промокашке. Отверстие было теперь со всех сторон окружено лепестками.

— …и мы обсудили этот вопрос целиком и вполне откровенно, — говорила Китти. Элинор прислушалась. Мне нравится эта манера, подумала она. Она ужинала с сэром Эдвардом… Это манера благородной дамы — властная, естественная. Элинор опять прислушалась. Манера благородной дамы пленяла мистера Пикфорда, но раздражала Мартина — Элинор это знала. Мартин плевать хотел на сэра Эдварда и на его откровенность. Опять заговорил мистер Спайсер, к нему присоединилась Китти. Потом Роза. Они все упрямые ослы. Элинор слушала и все больше и больше раздражалась. Все сводится к одному: «Я прав, а вы нет». Эти препирательства — просто трата времени. Вот если бы нам чего-то достиг-

нуть, до чего-то додуматься, проникнуть глубже, глубже, думала Элинор, пронзая карандашом промокательную бумагу. Вдруг она поняла то единственное, что имело значение. Слова уже вертелись у нее на языке. Она открыла рот, чтобы сказать их, но не успела она откашляться, как мистер Пикфорд сгреб свои бумаги и встал. Он просит извинить его. Ему надо в Дом правосудия. Мистер Пикфорд встал и вышел.

Собрание потекло дальше. Пепельница посреди стола наполнилась окурками, в воздухе висел дым. Ушел мистер Спайсер, затем — мисс Бодэм. Мисс Эшфорд туго обмотала вокруг шеи шарф, схватила свой чемоданчик и покинула помещение. Мириам Пэрриш сняла пенсне и повесила его на крючок, который был пришит спереди к ее платью. Все расходились, собрание закончилось. Элинор встала. Она хотела поговорить с Китти. Однако ее перехватила Мириам.

— Насчет визита к вам в среду, — начала она.

— Да, — сказала Элинор.

— Я только что вспомнила, что обещала отвести племянницу к дантисту.

— Мне вполне подойдет и суббота.

Мириам задумалась.

— А в понедельник можно? — спросила она.

— Я напишу вам, — сказала Элинор с раздражением, которого она никогда не могла скрыть, несмотря на всю святость Мириам. Мириам засеменила прочь с виноватым видом — точно маленькая собачка, пойманная на воровстве.

Элинор обернулась. Кое-кто еще спорил.

— Придет время, и ты со мной согласишься, — сказал Мартин.

— Никогда! Никогда! — Китти хлестнула перчатками по столу. Она выглядела очень хорошо и в то же время довольно смешно в своем вечернем одеянии.

— Почему ты не высказалась, Нелл? — спросила Китти, повернувшись к Элинор.

— Потому что… — начала Элинор и, помедлив, проговорила еле слышно: — Я не знаю.

Она вдруг почувствовала себя обтрепанной неряхой в сравнении с Китти, которая стояла в полном вечернем облачении, с драгоценными блестками в волосах.

— Ну, — сказала Китти, — мне пора. Может быть, кого-то подвезти? — Она указала на окно. За ним стоял автомобиль.

— Какое великолепное авто! — В голосе Мартина слышалась насмешка.

— Это машина Чарли, — довольно резко пари-

ровала Китти и обернулась к Элинор: — Поедешь, Элинор?

— Спасибо, — сказала Элинор. — Минутку…

Она стала суетливо собираться. Где-то она оставила перчатки… Брала она зонтик или нет? Она разнервничалась и чувствовала себя неуклюжей неряхой, точно школьница. Ее ждало великолепное авто, шофер держал одной рукой открытую дверцу, а другой — плед.

— Садись, — сказала Китти.

Элинор села, и шофер укрыл ей пледом колени.

— Мы оставим их, — сказала Китти, взмахнув рукой, — плести свои заговоры.

Автомобиль тронулся.

— Какие они все остолопы! — Китти обернулась к Элинор. — Сила всегда не права. Ты не согласна? Всегда не права, — повторила она, натягивая плед на колени. Она все еще была под впечатлением от собрания. И все же ей хотелось поговорить с Элинор. Они так редко встречаются, при том, что она так любит Элинор. Однако Элинор стесняется, сидит в своих нелепых одежках, а Китти никак не может забыть о собрании, ее мысли так и продолжают вертеться вокруг него.

— Какие они все остолопы! — повторила она, а

затем начала: — Расскажи мне…

Ей хотелось расспросить о многом, но мотор был такой мощный, автомобиль так плавно лавировал посреди уличного движения, что она еще ничего не успела сказать, а Элинор уже выставила руку в окно, потому что они доехали до станции метрополитена.

— Он может здесь остановиться? — спросила Элинор, приподнимаясь.

— Может быть, тебе не так уж надо выходить? — взмолилась Китти. Она хотела поговорить с Элинор.

— Надо, надо, — сказала Элинор. — Меня папа ждет.

Она опять почувствовала себя ребенком рядом с этой знатной дамой и ее шофером, который распахнул дверцу.

— Навести же меня. Давай встретимся поскорее, Нелл, — сказала Китти, пожимая руку Элинор.

Автомобиль вновь тронулся. Леди Лассуэйд утроилась в углу сиденья. Вот бы почаще видеться с Элинор, думала она. Но ее никогда не заманишь на ужин. Всегда «меня папа ждет» или другая отговорка, думала Китти с горечью. Их пути разошлись так далеко, судьбы сложились совсем по-разному, со времен Оксфорда… Автомобиль

замедлил движение. Ему пришлось занять место в длинной веренице машин, которая двигалась со скоростью пешехода, то вовсе останавливаясь, то дергаясь вперед по запруженной телегами узкой улице, которая вела к Оперному театру. По тротуарам шествовали мужчины и женщины в вечерних нарядах. Маневрируя между тележками уличных торговцев, они чувствовали себя смущенно и неудобно, со своими высокими прическами и выходными манто, петлицами и белыми жилетами, на которые бросало лучи предвечернее солнце. Дамы неловко ковыляли на высоких каблуках, то и дело поднося руки к прическам. Мужчины держались рядом с ними, будто оберегая их. Нелепо, думала Китти, смешно появляться в вечернем наряде в это время дня. Она откинулась на спинку сиденья. Грузчики с рынка Ковент-Гарден, невзрачные мелкие клерки в будничной одежде, грубые женщины в фартуках глазели на нее. В воздухе сильно пахло апельсинами и бананами. Но вот автомобиль стал тормозить и въехал под арку… Китти толкнула стеклянные двери и вошла в театр.

Ей сразу стало легче. Вдали от солнечного света, среди позолоты и красного бархата она уже не чувствовала себя нелепо. Наоборот — на своем

месте. Дамы и мужчины, поднимавшиеся по лестнице, были одеты точно так же, как она. Аромат апельсинов и бананов сменился изысканным букетом, состоящим из запахов одежды, перчаток и цветов, который доставлял Китти удовольствие. Под ногами был толстый ковер. Китти прошествовала по коридору до своей ложи, которая была отмечена карточкой. Она вошла, и перед ней открылся весь зрительный зал. Все-таки не опоздала. Оркестр еще настраивался, музыканты смеялись, разговаривали и вертелись на стульях, деловито возились со своими инструментами. Китти стояла и смотрела на партер. Там царило большое оживление. Люди проходили на свои места, садились и опять вставали, снимали плащи и манто и делали знаки друзьям. Они были похожи на птиц, садящихся на поле. В ложах здесь и там появлялись белые фигуры, белые руки лежали на карнизах лож, белые манишки сверкали позади них. Весь театр блистал — алым, золотом, слоновой костью, пах одеждой и цветами, звенел писками и трелями инструментов, гудел и жужжал голосами. Китти взглянула в программку, лежавшую на бортике ложи. Давали «Зигфрида» — ее любимую оперу. На тесном пространстве внутри богато украшенной рамки

были напечатаны имена исполнителей. Она наклонилась, чтобы прочитать их, и тут ей в голову пришла мысль, побудившая ее посмотреть на королевскую ложу. Там было пусто. В этот момент открылась дверь, и в ложу Китти вошли двое мужчин. Один был ее кузен Эдвард, второй — юноша, кузен ее мужа.

— Не отменили? — сказал он, пожимая ей руку. — А я уж боялся.

Он занимал какое-то место в Министерстве иностранных дел и обладал красивым римским профилем.

Все трое посмотрели на королевскую ложу. Там тоже на бортике лежали программки, но букет красных гвоздик отсутствовал. Ложа была пуста.

— Врачи поставили на нем крест, — с важным видом сказал молодой человек.

Они все воображают, будто знают все, подумала Китти, улыбнувшись тому, как он показывал свою осведомленность.

— А если он умрет? — спросила Китти, глядя на королевскую ложу, — думаете, спектакль прервут?

Молодой человек пожал плечами. На этот счет у него уверенности не было. Театр заполнялся. На руках дам, когда они шевелились,

блестели искры; искристые волны колыхались, останавливались и возвращались, когда дамы поворачивали головы.

Но вот через оркестр к своему высокому сиденью прошествовал дирижер. Его встретил взрыв аплодисментов. Он обернулся к публике, отвесил поклон, отвернулся. Свет в зале померк, началась увертюра.

Китти прислонилась спиной к стенке ложи; складки занавеса бросали тень на ее лицо. Это ее весьма устраивало. Во время увертюры она посмотрела на Эдварда. В красноватом полумраке ей были видны лишь очертания его лица. Оно потяжелело, но в нем были и ум, и красота, а сейчас — когда он слушал увертюру — и некоторая отрешенность. Ничего бы не вышло, подумала Китти, я слишком… Она не закончила мысль. Он так и не женился, а она вышла замуж. У меня трое сыновей. Я была в Австралии, в Индии.

…Благодаря музыке Китти увидела саму себя и свою жизнь совсем по-новому и почувствовала радостное волнение. Ее личность, ее прошлое предстали в выгодном свете. Но почему Мартин высмеял мой автомобиль? — подумала она. Что толку в этом смехе?

Занавес поднялся. Китти наклонилась вперед,

чтобы лучше видеть сцену. Карлик бил молотком по мечу. «Бум-бум-бум», — наносил он короткие и резкие удары. Китти прислушалась. Музыка стала другой. Вот он, думала Китти, глядя на импозантного юношу, точно знает, что означает музыка. Он уже совершенно захвачен ею. Китти нравилось выражение поглощенности, которое, вытеснив его безупречную респектабельность, придало ему вид почти суровый… Но вот появился Зигфрид. Китти еще подалась вперед. В леопардовой шкуре, очень толстый, с бурыми ляжками, ведущий медведя, — он предстал во всей красе. Она была в восторге от дородного молодого человека в соломенно-желтом парике: голос у него был великолепный. «Бум-бум-бум», — стучал он. Китти опять отклонилась назад. Какие воспоминания это ей навеяло? Молодой человек, со стружкой в волосах, входит в комнату… Она тогда была очень молода. Еще в Оксфорде, кажется. Она пришла к ним на чаепитие, сидела на стуле, в очень светлой комнате, и в саду раздавался стук молотка. А потом вошел юноша со стружкой в волосах. И она захотела, чтобы он поцеловал ее. Или это был работник у Картеров и тогда еще вдруг появился старик Картер, ведя быка за кольцо в носу?

«Вот такая жизнь мне по душе, — подумала она, доставая театральный бинокль. — Потому что я такая же…»

Она приставила бинокль к глазам. Сцена вдруг стала яркой и близкой. Трава, казалось, сделана из толстых зеленых шерстяных ниток. Китти видела полные коричневые руки Зигфрида, лоснящиеся гримом. И лицо его блестело. Опустив бинокль, Китти откинулась назад в своем углу.

И старая Люси Крэддок… — она увидела Люси за столом, с красным носом и терпеливыми, добрыми глазами. «Значит, на этой неделе вы опять ничего не сделали, Китти», — произнесла она с упреком. Как я любила ее! — подумала Китти. А потом она вернулась в ректорскую резиденцию. Там было дерево с подпоркой посередине… Мать сидела очень прямо… Жаль, я так часто ссорилась с мамой, подумала Китти, — ее вдруг охватило ощущение убегающего времени и его трагизма. Музыка опять изменилась.

Китти вновь посмотрела на сцену. Туда уже вышел Странник. Он сидел на возвышении в длинном сером платье. Один глаз был закрыт неловко сидящей повязкой. Он все пел и пел, пел и пел. Внимание Китти ослабело. Она оглядела сумрачно-красноватый зрительный зал. Вид-

ны были только белые локти на бортиках лож. Кое-где яркие точки света обнаруживали тех, кто следил с фонариком по нотам. Взгляд Китти привлек точеный профиль Эдварда. Он слушал взыскательно, с большим вниманием. Ничего не получилось бы, подумала она, ни за что не получилось бы.

Наконец Странник удалился. Ну! — подумала Китти, опершись на бортик. Ворвался Зигфрид, в леопардовой шкуре, смеющийся и распевающий. Музыка взволновала Китти. Зигфрид подобрал куски сломанного меча, раздул огонь и стал стучать, стучать, стучать… Пение, стук молотка, взметание огня переплетались между собой. Все быстрее, все ритмичнее, все воодушевленнее стучал Зигфрид и, наконец, подняв меч высоко над головой, ударил по наковальне, которая с треском разлетелась. После этого он принялся размахивать мечом, кричать и петь, музыка тоже возносилась все выше и выше… Но тут опустился занавес.

В зрительном зале зажглись люстры. Все цвета вернулись. Оперный театр вновь ожил, вместе с сотнями лиц, брильянтов, мужчин, женщин. Они аплодировали и махали программками. Весь зал будто ощетинился трепещущими белыми

листками бумаги. Занавес раздвинули и удерживали высокие лакеи в штанах до колен. Китти встала, аплодируя. Занавес опять сдвинулся и вновь разошелся. Лакеи едва держались на ногах под тяжестью его складок. Вновь и вновь приходилось им раздвигать занавес, и, даже когда они совсем отпустили его, артисты исчезли, а оркестранты начали покидать свои места, публика все еще стоя аплодировала и размахивала программками.

Китти обернулась к молодому человеку в своей ложе. Он облокотился на бортик и хлопал в ладоши, крича: «Браво! Браво!» Он забыл о Китти, забыл о самом себе.

— Прелестно, правда? — наконец проговорил он, обернувшись.

На его лице было странное выражение — как будто он находился сразу в двух мирах, которые силился совместить.

— Прелестно, — согласилась Китти. Она посмотрела на него с завистью. — А теперь, — сказала она, собирая свои вещи, — идемте ужинать.

На Хайямз-Плейс уже поужинали. Со стола было убрано, остались лишь несколько крошек и горшок с цветами, стоявший посередине, как часовой. В комнате было слышно только стре-

котание иглы, протыкавшей шелк: Мэгги шила. Сара, сгорбившись, сидела на круглом стуле у пианино, но не играла.

— Спой что-нибудь, — вдруг попросила Мэгги.

Сара повернулась и ударила по клавишам.

— «Я твердою рукою сжимаю свой клинок…» — пропела она. Это был какой-то напыщенный марш восемнадцатого века, но голос ее звучал высоко и пронзительно. Сара поперхнулась и замолчала.

Некоторое время она ничего не говорила, держа руки на клавишах.

— Что толку петь, если нет голоса, — прошептала она.

Мэгги продолжала шить.

— Чем ты сегодня занималась? — наконец спросила она, резко подняв голову.

— Ходила с Розой, — ответила Сара.

— А что вы делали с Розой? — Мэгги спрашивала рассеянно.

Сара обернулась и посмотрела на нее, а потом вновь начала играть.

— Я стою на мосту и на воду смотрю… — тихо пропела она. — Я стою на мосту и на воду смотрю, — повторила она в такт музыке. — А вода все бежит, а вода все течет. Пусть кораллами станут

кости мои. Пусть фонарики рыбьи зажгутся в глазах, в опустевших глазницах моих… — Сара полуобернулась и смотрела на Мэгги. Но та не слушала. Сара замолчала и снова отвернулась к клавиатуре. Но увидела она не клавиши, а сад, цветы, свою сестру и молодого человека с большим носом, который наклонился, чтобы сорвать цветок, белевший в темноте. Он выставил вперед руку с цветком в лунном свете…

Мэгги перебила ход ее мыслей.

— Ты ходила с Розой, — сказала она. — Куда?

Сара встала из-за пианино и подошла к камину.

— Мы сели в моторный омнибус и поехали в Холборн, — сказала она. — Потом пошли по улице и вдруг, — Сара выбросила в сторону руку, — я почувствовала удар по плечу. «Гадкая врунья!» — воскликнула Роза, схватила меня и прижала к стене пивной.

Мэгги молча продолжала шить.

— Вы сели в моторный омнибус и поехали в Холборн, — через некоторое время монотонно повторила она. — А потом?

— Потом мы вошли в дом, — продолжила Сара. — Там были люди — множество людей. И я спросила себя… — Она сделала паузу.

— Собрание? — спросила Мэгги. — Где?

— В каком-то зале, — ответила Сара. — Там был бледный зеленоватый свет. Во дворе женщина развешивала одежду на веревке. А еще кто-то прошел, гремя палкой по ограде.

— Понятно, — сказала Мэгги. Она стала шить быстрее.

— И я спросила себя, — вернулась к своей мысли Сара, — чьи это головы?

— Собрание, — перебила ее Мэгги. — А что за собрание? О чем там шла речь?

— Голуби ворковали, — продолжила Сара. — «Только ты, крошка. Только ты, кро…» А потом крыло заслонило свет, в воздухе потемнело, и вошла Китти, облаченная в звездное сияние, и села на стул.

Сара замолчала. Молчала и Мэгги. Она шила.

— Кто вошел? — наконец переспросила она.

— Красавица, облаченная в звездное сияние, с зелеными блестками в волосах, — сказала Сара. — После чего… — тут она изменила интонацию и стала говорить голосом буржуа, приветствующего роскошную даму, — мистер Пикфорд вскакивает и говорит: «О! Леди Лассуэйд, не угодно ли на этот стул?»

Сара выдвинула стул перед собой.

— А потом, — продолжила она, жестикулируя, — Леди Лассуэйд садится, кладет на стол перчатки, — Сара хлопнула ладонью по сиденью, — вот так.

Мэгги посмотрела на нее поверх шитья. У нее возникло ощущение, будто комната полна народу, по оградам гремят палками, развешивают сушиться одежду и кто-то входит с крылышками жуков в волосах.

— А что было потом? — спросила она.

— Потом увядшая Роза, колючая Роза, огненная Роза, шипастая Роза, — Сара расхохоталась, — пролила слезу.

— Ну, нет, — сказала Мэгги. В рассказе было что-то не так, в нем заключалось нечто невозможное. Она подняла голову.

По потолку скользнули лучи от проезжающей машины. Уже стемнело настолько, что без света ничего не было видно. Фонарь пивной напротив озарял комнату желтым сиянием. Свет на потолке трепетал, будто отраженный от воды. С улицы послышались злые возгласы, топот и шарканье, как будто полиция тащила кого-то против его воли.

— Опять драка? — сказала Мэгги, втыкая иглу в материю.

Сара встала и подошла к окну. У пивной собралась толпа. Оттуда вышвырнули человека. Он поковылял прочь, наткнулся на фонарный столб, схватился за него. Сцена освещалась фонарем над дверью пивной. Сара постояла у окна, наблюдая, а затем повернулась. Ее лицо в смешанном свете выглядело мертвенным и усталым, как будто она была не девушкой, но старухой, изможденной деторождением, пороками и преступлениями. Она стояла сгорбившись, сцепив руки.

— Когда-нибудь, — проговорила она, глядя на сестру, — люди при виде этой комнаты, этой пещеры, этой берлоги, вырытой в грязи и навозе, будут зажимать носы, — она сжала нос пальцами, — и говорить: «Фу! Какая вонь!»

Сара рухнула в кресло.

Мэгги посмотрела на нее. Ее сестра, съежившаяся, обхватившая себя руками, с волосами, упавшими на лицо, походила на обезьяну, которая забралась в свою навозную пещерку.

— Фу! — сказала Мэгги. — Какая вонь.

Она вонзила иглу в материю с отвращением. Это правда, подумала она, они — гадкие ничтожные создания во власти низменных желаний. Вечер был полон рычания и проклятий, насилия и тревоги, но также — красоты и радости. Мэгги

встала, держа платье. Складки шелка упали на пол, и она провела по ним рукой.

— Готово. Я закончила, — сказала она, кладя платье на стол. Работы для рук у нее больше не было. Она сложила платье и убрала его. Спавшая до этого кошка медленно встала, выгнула спину и потянулась.

— Тебе пора ужинать, да? — сказала Мэгги.

Она принесла из кухни блюдце молока.

— Ну вот, маленькая. — Мэгги поставила блюдце на пол и стала смотреть, как кошка лакает молоко. Закончив, зверек опять с необычайным изяществом потянулся.

Сара, стоявшая поодаль, наблюдала за сестрой.

— «Ну вот, маленькая! Ну вот, маленькая!» — передразнила она. — Ты будто ребенка нянчишь, Мэгги.

Мэгги подняла руки, точно защищаясь от безжалостного удара судьбы, а потом уронила их. Сара улыбалась, глядя на нее, но вскоре слезы собрались в ее глазах и медленно потекли по щекам. Когда она подняла руку, чтобы утереть их, послышался стук. Кто-то колотил в дверь соседнего дома. Стук прекратился и начался опять: «Бум, бум, бум».

Сестры прислушались.

— Апчер пришел домой пьяный и ломится в дверь, — сказала Мэгги. Стук затих. Затем возобновился.

Сара энергичным и размашистым движением вытерла глаза.

— Отвезите детей своих на необитаемый остров, куда корабли пристают лишь в полнолуние! — воскликнула она.

— Или не заводите их вообще, — добавила Мэгги.

В соседнем доме распахнулось окно. Женщина пронзительно закричала на мужчину. Он огрызнулся в ответ пьяным голосом. Хлопнула дверь.

Сестры слушали.

— Сейчас он потащится наверх, держась за стену, и его стошнит, — сказала Мэгги.

Они услышали тяжелые шаги на лестнице в соседнем доме. Затем воцарилась тишина.

Мэгги пересекла комнату, чтобы закрыть окно. Огромные окна завода на той стороне улицы были все освещены. Он был похож на стеклянный дворец, расчерченный черными линиями. Желтый свет озарял нижние части домов напротив. Шиферные крыши блестели синевой, а небо над ними висело тяжелым желтым куполом. По мостовой стучали шаги: люди все еще проходили по

улице. Вдалеке кто-то хрипло закричал. Мэгги высунулась из окна. Вечер был ветреный и теплый.

— Что он кричит? — сказала она.

Голос приближался.

— Умер? — сказала Мэгги.

— Умер? — повторила Сара. Она тоже высунулась рядом с сестрой. Но они не могли расслышать остальных слов. Затем человек, кативший по улице тележку, выкрикнул им в лицо:

— Король умер!

1911

Вставало солнце. Очень медленно оно поднималось над горизонтом, разбрасывая свет. Но небо было столь обширно, на нем было так мало облаков, что оно заполнилось светом отнюдь не сразу. Постепенно редкие облачка уступили место голубизне, листья на лесных деревьях засверкали, под ними засветились цветы, заблестели глаза животных — тигров, обезьян, птиц. Мир неторопливо вышел из тьмы. Море будто вызолотилось чешуйчатыми спинами бесчисленных рыб. Здесь, на юге Франции, озарились светом исчерченные бороздами виноградники, маленькие грозди стали пурпурными и желтыми. Солнечные лучи, проникшие сквозь жалюзи,

исполосовали белые стены. Мэгги, стоя у окна, смотрела во двор дома и видела книгу в руках своего мужа, перечеркнутую тенью лозы. Бокал, стоявший рядом с ним, блестел желтизной. Сквозь открытое окно доносились голоса работающих крестьян.

Пересекая пролив, солнце тщетно пыталось пробить плотный покров морского тумана. Лучи медленно проникали и сквозь лондонскую дымку, падали на статуи Парламентской площади и на Дворец[115], над которым развевался флаг, хотя король, пронесенный под бело-синим «Юнион-Джеком», лежал во Фрогморском склепе[116]. Было жарче обычного. Лошади с сопением пили воду из корыт, их копыта крошили хрупкую, как гипс, засохшую глину на сельских дорогах. Языки огня проносились по пустошам, оставляя за собой угольные пятна. Стоял август, время отпусков. Стеклянные купола вокзалов лучились светом. Поглядывая на стрелки больших желтых часов, путешественники шли за носильщиками, кати-

[115] Примечания: 115

Букингемский дворец — резиденция британских монархов с 1837 г.

[116] Примечания: 116

Британский флаг «Юнион-Джек», как известно, не двух-, а трехцветный (красно-бело-синий). *Фрогмор* — усыпальница в парке при Виндзорском замке.

ли чемоданы, вели собак на поводках. На всех вокзалах поезда готовились вбуравиться в просторы Англии по всем направлениям: на север, на юг, на запад. Кондуктор, стоявший с поднятой рукой, опускал флажок, и водогрей на платформе начинал скользить назад. Поезда, раскачиваясь, оставляли позади заводы, парки с асфальтовыми дорожками и вырывались на сельские просторы. Мужчины, стоявшие с удочками на мостах, поднимали головы, лошади пускались в галоп, женщины подходили к окнам, загораживая глаза от солнца; дымные тени плыли над нивами, опускались к земле, цеплялись за деревья. А поезда ехали дальше.

На станции в Уиттеринге[117] в ожидании поезда стояла старая виктория миссис Чиннери. Поезд опаздывал. Было очень жарко. Садовник Уильям в светло-коричневом сюртуке с блестящими пуговицами сидел на козлах и отгонял назойливых мух. Они облепили конские уши бурыми бляшками. Уильям щелкнул кнутом, старая кобыла переступила копытами и тряхнула ушами, отгоняя мух. Было очень жарко. Солнце пропекало станционный двор, телеги, наемные

[117] Примечания: 117
Уиттеринг — по-видимому, вымышленное название.

пролетки и одноколки, ждавшие поезд. Наконец флажок семафора упал, над изгородью пролетел клок дыма, а через минуту во двор устремился поток людей, и среди них — мисс Парджитер с сумкой и белым зонтиком. Уильям прикоснулся к шляпе.

— Извините за опоздание, — сказала Элинор, улыбнувшись ему как старому знакомому: она приезжала каждый год.

Она поставила сумку на сиденье и устроилась сзади, закрывшись от солнца своим белым зонтиком. Кожаная обивка под ее спиной была горячей. Было очень жарко — жарче даже, чем в Толедо. Они выехали на Хай-стрит. От жары все казалось сонным и притихшим. Широкая улица была заполнена двуколками и телегами, поводья висели свободно, лошади поникли головами. Но как тихо тут было по сравнению с гомоном заграничных базаров! Мужчины в гетрах стояли, прислонившись спинами к стенам домов, над витринами магазинов были расставлены тенты, тени пересекали мостовую. Элинор надо было собрать заказанные покупки. Они остановились у рыбной лавки, где им вручили влажный белый сверток. Затем — у скобяной лавки; Уильям вышел оттуда с косой. У аптеки им пришлось подождать, пото-

му что лосьон еще не приготовили.

Элинор откинулась на спинку сиденья под белым зонтиком. Казалось, воздух, пахнувший мылом и снадобьями, гудит от жары. Как тщательно люди моются в Англии, подумала она, глядя на желтое, зеленое и розовое мыло в аптечной витрине. В Испании она почти не мылась; стоя среди сухих белых камней на берегу Гвадалквивира, она лишь вытирала пот носовым платком. В Испании все было выжженное, сморщенное. А здесь — она посмотрела вдоль Хай-стрит — лавки полны овощей, серебристой рыбы, кур с желтыми лапками и мягкими грудками, ведер, грабель, тележек. И как приветливы люда!

Элинор заметила, как часто они приподнимают шляпы, пожимают руки, останавливаются посреди дороги поговорить. Но вот аптекарь вышел с бутылью, завернутой в папиросную бумагу. Ее пристроили под косой.

— Много мошкары в этом году, Уильям? — спросила Элинор, объясняя предназначение лосьона.

— Ужасть, как много, мисс, ужасть, — ответил он, дотрагиваясь до шляпы. Как она поняла, затем он сказал, что такой засухи не было с юбилейного

года[118], однако из-за его певучего дорсетширского акцента улавливать смысл ей было трудно. Уильям щелкнул кнутом, и они поехали дальше: мимо креста на базарной площади, мимо краснокирпичной ратуши с арками, по улице, на которой стояли дома с эркерами — обиталища врачей и адвокатов, мимо пруда с оградой из столбиков, соединенных цепями, мимо пьющей лошади, и дальше — прочь из города. Дорога была устлана мягкой белой пылью. Изгороди, увитые ломоносом, тоже были покрыты толстым слоем пыли. Старая кобыла вошла в свою привычную рысцу, и Элинор под зонтиком откинулась на спинку сиденья.

Каждое лето она приезжала к Моррису погостить в доме его тещи. Семь, нет, уже восемь раз она тут была, сосчитала Элинор, однако в этом году все по-новому. Ее отец умер, дом закрыт, она нигде ничем не связана. Трясясь по жарким аллеям, она сонно думала: что я теперь буду делать? Жить вон там? Они проехали мимо фешенебельной виллы в георгианском стиле, расположенной

[118] Примечания: 118

Имеются в виду юбилейные празднества в честь круглой годовщины восшествия на престол королевы Виктории, которые устраивались дважды — в 1887 г. (50-летие) и в 1897 г. (60-летие), однако сильная засуха была только в 1887 г.

посреди улицы. Нет, только не в деревне, сказала она себе. Они ехали через деревню.

Может быть, вон в том доме? Элинор посмотрела на дом с верандой среди деревьев. Но потом ей пришло в голову, что она превратится в седовласую даму, срезающую ножницами цветы и топающую ногами у двери коттеджа. Она не хотела топать у двери коттеджа. И пастор — пастор катил на велосипеде в гору — будет приходить пить чай. Но она не хотела, чтобы пастор приходил к ней пить чай. Как тут все чистенько, думала она, пока они проезжали деревню. Маленькие садики светились красными и желтыми цветами. Затем навстречу стали попадаться местные жители — целое шествие. Иные из женщин несли свертки, одна катила детскую коляску, в которой блестел какой-то серебристый предмет, старик прижимал к груди мохнатый кокосовый орех. Наверное, сегодня церковный праздник, предположила Элинор. Уильям прижал викторию к обочине, потому что им навстречу проехала повозка, и люди на ней с любопытством посмотрели на даму под белым зонтиком. Наконец виктория въехала в белые ворота, бодро подскакивая, миновала короткую аллею и — Уильям щелкнул кнутом — остановилась перед двумя тонкими

колоннами, железной сеткой для очистки обуви, похожей на ежа, и открытой настежь дверью в переднюю.

Элинор немного подождала в передней. После ослепительной дороги глазам пришлось привыкнуть к полумраку. Все казалось Элинор таким бледным, хрупким, таким родным. Выцветшие коврики, выцветшие картины. Даже адмирал Нельсон в треуголке над камином производил впечатление пожухшей светскости. В Греции все напоминает о том, что было две тысячи лет назад. А здесь — всегда восемнадцатый век. Как все английское, подумала Элинор, кладя зонтик на узкий стол рядом с фарфоровой чашей, в которой лежали сухие розовые лепестки, прошлое кажется близким, домашним, родным.

Открылась дверь.

— Ой, Элинор! — воскликнула ее невестка, перебежав через переднюю в развевающемся летнем наряде. — Как я рада тебя видеть! Какая ты загорелая! Идем в холодок!

Силия проводила ее в гостиную. Рояль был накрыт белыми пеленками, в стеклянных банках мерцали розовые и зеленые фрукты.

— У нас все вверх дном, — сказала Силия, падая на диван. — Только что ушли леди Сент-Остелл

и епископ.

Она начала обмахиваться листком бумаги.

— Но успех был полный. Мы устраивали базар в саду. Было представление.

Листок бумаги оказался программкой.

— Спектакль?

— Да, сцена из Шекспира, «Летняя ночь» или «Как вам это понравится?», не помню. Мисс Грин поставила. К счастью, погода не подвела. В прошлом году был ливень. Ох, только как ноги болят!

Высокое окно выходило на лужайку. Элинор увидела, что там переносят столы.

— Вот это дело так дело! — сказала она.

— Да! — Силия тяжело дышала. — Были леди Сент-Остелл, епископ, кегли и поросенок. Но я думаю, все прошло очень хорошо. Людям понравилось.

— В пользу церкви? — спросила Элинор.

— Да, на новую колокольню.

— Серьезное начинание.

Элинор опять посмотрела на лужайку. Трава уже высохла и пожелтела, лавровые кусты выглядели сморщенными. Столы были расставлены перед лавровыми кустами. Мимо прошел Моррис, неся стол.

— Хорошо было в Испании? — спросила Силия. — Видела что-нибудь интересное?

— О, да! — воскликнула Элинор. — Я видела… — она осеклась. Она видела много интересного — здания, горы, красный город на равнине. Но как описать это?

— Ты должна потом мне все подробно рассказать. — Силия встала. — А теперь пора привести себя в порядок. Только, боюсь, — она с болью на лице начала взбираться по лестнице, — я должна попросить тебя быть бережливее: у нас очень мало воды. Колодец… — Она не договорила.

Элинор вспомнила, что в жаркое лето в колодце всегда кончается вода. Они прошли по широкому коридору, мимо старого желтого глобуса, стоявшего под жизнерадостным полотном восемнадцатого века, запечатлевшим всех малолетних Чиннери в длинных панталонах и нанковых штанишках, собравшихся в саду вокруг отца и матери. Силия остановилась, взявшись за дверь спальни. Из окна было слышно, как воркуют горлицы.

— В этот раз мы поселим тебя в Синей комнате, — сказала она.

Обычно Элинор отводили Розовую. Она заглянула внутрь.

— Надеюсь, у тебя есть всё… — начала Силия.

— Конечно, у меня все есть, — сказала Элинор, и Силия покинула ее.

Служанка уже распаковала ее вещи. Они были разложены на кровати. Элинор сняла платье и, оставшись в белой нижней юбке, принялась умываться — тщательно, но экономно — ввиду недостатка воды. От английского солнца у нее все-таки щипало лицо — там, где его обожгло испанское солнце. Шея резко отличалась по цвету от груди — как будто ее выкрасили коричневой краской, подумала Элинор, надевая перед зеркалом вечернее платье. Она быстро скрутила в клубок свои густые волосы с проседью, повесила на шею кулон — красный камень, похожий на толстую каплю малинового варенья с золотой крупинкой посередине, и еще раз окинула взглядом женщину, которая за пятьдесят пять лет стала ей так привычна, что она уже не замечала ее, — Элинор Парджитер. Она стареет — это было очевидно: лоб пересекали морщинки, там, где кожа некогда была упругой, теперь появились впадины и складки.

Что же было моей сильной стороной? — спросила она себя, еще раз проводя гребнем по волосам. Глаза? Ее глаза усмехнулись в ответ. Да, глаза.

Кто-то когда-то похвалил мои глаза. Она раскрыла их пошире. Вокруг каждого глаза было несколько белых лучиков — из-за того, что она щурилась, защищаясь от солнечного сияния в Акрополе, Неаполе, Гранаде и Толедо. Но все похвалы моим глазам в прошлом, подумала Элинор и закончила одевание.

Она задержалась у окна, чтобы посмотреть на выжженную лужайку. Трава была почти желтой, вязы начали буреть. Бело-рыжие коровы жевали жвачку за низкой изгородью. Все-таки Англия — не то, подумала Элинор. Она маленькая и приторная. Элинор не питала любви к своей родине — ни малейшей. Затем она отправилась вниз, потому что хотела повидаться с Моррисом наедине — если получится.

Но он был не один. При появлении сестры он встал и представил ее дородному седовласому мужчине в смокинге.

— Вы, кажется, знакомы? — сказал Моррис. — Элинор. Сэр Уильям Уотни. — Он с иронией слегка подчеркнул слово «сэр», что на мгновение смутило Элинор.

— Мы были знакомы когда-то, — сказал сэр Уильям, выйдя вперед и с улыбкой пожимая ей руку.

Она посмотрела на него. Неужели это Уильям Уотни — старина Даббин, который приходил на Эберкорн-Террас много лет назад? Да, он. Элинор не видела его с тех пор, как он уехал в Индию.

Неужели мы все такие? — ужаснулась она, переводя взгляд с покрытого пятнами, морщинистого, изжелта-красного лица того, кто был знаком ей юношей, а теперь почти совершенно оплешивел, на своего брата Морриса. Он лыс и худ, но ведь он сейчас в расцвете сил, как и она, разве нет? Или они все вдруг стали старыми развалинами, как сэр Уильям? Тут вошли ее племянник Норт и племянница Пегги со своей матерью, и все отправились ужинать. Старая миссис Чиннери ужинала наверху.

Как же Даббин стал сэром Уильямом Уотни? — дивилась про себя Элинор, пока они ели рыбу, которая была принесена ею в мокром свертке. В последний раз она видела его в лодке на реке. Они поехали на пикник и устроили ужин на острове посреди реки. В Мэйденхеде, кажется…

Говорили о церковном празднике. Крастер выиграл поросенка, миссис Грайс — посеребренный поднос.

— Вот, значит, что было в детской в коляске, — вспомнила Элинор. — Я встретила людей,

возвращавшихся с праздника, — объяснила она и описала процессию. Разговор на тему праздника продолжился.

— Вы не завидуете моей золовке? — обратилась Силия к сэру Уильяму. — Она только что из поездки по Греции.

— В самом деле? — откликнулся сэр Уильям. — А где именно в Греции вы были?

— Мы посетили Афины, затем Олимпию, затем Дельфы, — начала Элинор, в который раз повторяя заученную фразу. Судя по всему, они с Даббином были дальними знакомыми — не более.

— Мой деверь Эдвард, — объяснила Силия, — устраивает эти прелестные экскурсии.

— Вы помните Эдварда? — спросил Моррис. — Вы не вместе учились?

— Нет, он поступил позже, — сказал сэр Уильям. — Но я слышал о нем, разумеется. Он… постойте… Он стал большой шишкой, да?

— О да, он достиг высот, — сказал Моррис.

Он не завидует Эдварду, подумала Элинор, хотя в голосе его прозвучала нота, по которой она поняла, что он сравнивает свою карьеру с карьерой Эдварда.

— Все были в восторге от него, — сказала она

и улыбнулась, вспомнив Эдварда, читающего лекцию в Акрополе группе благочестивых учительниц. Они доставали блокноты и записывали каждое слово. Но он был очень великодушен, очень добр, все время заботился о ней.

— Вы встретили кого-нибудь в посольстве? — спросил сэр Уильям и тут же поправился: — Впрочем, там нет посольства, верно?

— Нет, в Афинах нет посольства, — подтвердил Моррис.

Беседа свернула на новую тему: в чем разница между посольством и дипломатическим представительством. Затем принялись обсуждать положение на Балканах.

— В ближайшем будущем там будет неспокойно, — сказал сэр Уильям. Он сидел, повернувшись к Моррису. Они обсуждали положение на Балканах.

Элинор отвлеклась от беседы. Чем он занимался, интересно? Некоторые слова и жесты напомнили ей Даббина тридцатилетней давности. Кое-что от того юноши в нем проступало — если прищуриться. Элинор прищурилась. Вдруг она вспомнила: это он похвалил ее глаза. «У твоей сестры на редкость ясные глаза», — сказал он тогда. Ей передал это Моррис. Они ехали

в поезде, и она загородила лицо газетой, чтобы скрыть свое ликование. Элинор опять посмотрела на сэра Уильяма. Он рассказывал. Она прислушалась. Он казался слишком большим для тихой английской столовой. Его голос грохотал. Ему не хватало публики.

Он излагал какую-то историю, говоря рублеными, нервными фразами, каждая была будто окружена кольцом. Элинор нравилась его манера, но она пропустила начало. Его бокал опустел.

— Подлейте вина сэру Уильяму, — шепнула Силия робкой горничной. Со стороны буфета послышались возня и звон графинов. Силия раздраженно нахмурилась. Необученная девушка из деревни, заключила Элинор. Рассказ приближался к кульминации. Жаль, она упустила несколько эпизодов.

— ...и вот я, в старых бриджах для верховой езды, стою под павлиньим опахалом, а все эти милые люди пали ниц, прижавшись лбами к земле. «Боже правый, — говорю я себе. — Если б они знали, каким ослом я себя чувствую!» — Сэр Уильям выставил бокал, чтобы его наполнили. — Вот так мы когда-то учились работать, — добавил он.

Он хвастался, конечно, но это естественно. Он вернулся в Англию после того, как управлял

местностью «размером с Ирландию», как они всегда говорят. И никто никогда о нем не слышал. Элинор поняла, что за выходные прозвучит еще много историй, выставляющих его в выгодном свете. Но говорил он очень складно. В его биографии было много интересного. Вот бы Моррис тоже что-нибудь рассказал, утвердил себя, вместо того чтобы сидеть, откинувшись на спинку и время от времени проводя по лбу рукой с рубцом от пореза.

Надо ли мне было убеждать его идти в адвокатуру? — думала Элинор. Отец был против. Но что сделано, то сделано. Он женился, пошли дети, ему пришлось продолжать начатое, хотел он того или нет. Как все необратимо. Мы поступаем наугад, потом приходит их черед… Она посмотрела на Норта и Пегги — своих племянника и племянницу. Они сидели напротив нее, солнце освещало их лица — чуть загорелые, пышущие здоровьем, такие юные. Синее платье Пегги топорщится, точно накрахмаленное муслиновое платьице маленькой девочки. У Норта карие глаза, он еще совсем мальчик. Он слушает внимательно, а Пегги уставилась в свою тарелку. На ее лице — неопределенное выражение хорошо воспитанного ребенка, слушающего беседу взрос-

лых. Интересно ей или скучно, Элинор сказать не смогла бы.

— Вон она, полетела, — сказала Пегги, быстро подняв голову. — Сова… — Она поймала взгляд Элинор.

Элинор обернулась и посмотрела в окно. Сову она пропустила и увидела лишь деревья с густой листвой, которую вызолотило закатное солнце, и коров, медлительно проедающих себе тропы в траве.

— По ней можно сверять часы, — сказала Пегги. — Она очень пунктуальна.

Тут зашевелилась Силия.

— Пусть мужчины беседуют о политике, — сказала она, — а нам не выпить ли кофе на террасе?

И мужчины были оставлены со своей политикой за закрытой дверью.

— Я схожу за биноклем, — сказала Элинор и отправилась наверх.

Она хотела рассмотреть сову, пока не стемнело. Ее все больше интересовали птицы. Это признак старости, подумала она, входя в свою комнату. Старая дева, которая только и знает, что умываться да умиляться на птиц, заключила она, глядя на себя в зеркало. Собственные глаза показались ей еще довольно ясными, несмотря на морщинки

вокруг, — те самые глаза, которые она заслонила тогда в вагоне поезда, потому что Даббин похвалил их. Но теперь на мне клеймо, подумала она, — старая дева, которая только умывается и умиляется на птиц. Так про меня думают. Но я не такая, совсем не такая. Она тряхнула головой и отвернулась от зеркала. Очень милая комната: тенистая, аккуратная, такая прохладная по сравнению со спальнями в заграничных гостиницах, где на стенах заметны пятна от раздавленных клопов и под окнами дерутся мужчины. Но где же бинокль? Убран в какой-то ящик? Она принялась искать его.

— Кажется, папа говорил, что сэр Уильям был влюблен в нее? — спросила Пегги, когда они ждали на террасе.

— Ох, не знаю, — сказала Силия. — Но было бы так хорошо, если бы они поженились, если бы у нее были свои дети. Тогда они могли бы поселиться здесь, — добавила она. — Он такой приятный человек.

Пегги промолчала. Последовала пауза.

Затем опять заговорила Силия:

— Надеюсь, вы сегодня были вежливы с Робинсонами, несмотря на их несносность…

— Зато приемы они дают сногсшибательные, —

сказала Пегги.

— Сногсшибательные! — с упреком повторила ее мать, впрочем не сдержав улыбки. — Не стоит тебе перенимать у Норта все его словечки, моя милая… А вот и Элинор, — оборвала себя она.

Элинор вышла на террасу с биноклем и села рядом с Силией. Было еще очень тепло, и свету достаточно, чтобы рассмотреть дальние холмы.

— Она сейчас вернется, — сказала Пегги, подвигая свой стул. — Полетит вдоль той изгороди.

Пегги указала на темную линию изгороди, пересекавшей луг. Элинор настроила бинокль и стала ждать.

— Так, — сказала Силия, разливая кофе. — Мне о многом хочется тебя расспросить.

Она помолчала. У нее всегда было множество вопросов, а ведь они с Элинор не виделись с апреля. За четыре месяца вопросы накопились. И вот теперь они закапали — как из бутылки, один за другим, капля за каплей.

— Во-первых… Нет, — она решила спросить о другом: — Что там такое с Розой?

— Что? — рассеянно переспросила Элинор, пытаясь сфокусировать бинокль. — Слишком темно, — сказала она. Ей было плохо видно.

— Моррис сказал, что ее вызывали в полицей-

ский суд. — Силия слегка понизила голос, хотя посторонних рядом не было.

— Она бросила камень… — сказала Элинор. Она опять настроила бинокль на изгородь и, не отрываясь от окуляров, ожидала сову.

— Ее посадят в тюрьму? — быстро спросила Пегги.

— На этот раз нет, — ответила Элинор. — Вот в следующий… О, вот она!

Над изгородью, петляя, пролетела птица с большой головой на короткой шее. В сумерках она казалась почти белой. Элинор сумела поймать ее в поле зрения бинокля. Спереди у птицы виднелось черное пятнышко.

— Она держит в когтях мышь! — воскликнула Элинор.

— У нее гнездо на колокольне, — сказала Пегги.

Сова скрылась из виду.

— Все, не вижу, — сказала Элинор и опустила бинокль.

Некоторое время пили кофе в молчании. Силия обдумывала следующий вопрос. Но Элинор опередила ее.

— Расскажи мне о Уильяме Уотни, — попросила она. — В последний раз я видела его изящным

юношей, мы катались на лодке.

Пегги рассмеялась:

— Это было, наверное, лет сто назад!

— Вовсе не так давно, — сказала Элинор. Она была уязвлена. — Сейчас… — Она стала припоминать. — Лет двадцать, может быть, двадцать пять.

Для нее это был довольно короткий промежуток времени, впрочем, подумала она, Пегги тогда еще не родилась. Ей сейчас лет шестнадцать-семнадцать, не больше.

— Правда он милейший человек? — воскликнула Силия. — Был в Индии, сейчас вышел в отставку, и мы надеемся, что он снимет здесь дом. Хотя Моррис считает, что ему покажется здесь слишком скучно.

Опять помолчали, глядя на луг за окном. Коровы жевали и кашляли, время от времени переступая на шаг вперед. До сидящих на террасе доносился сладкий запах коров и травы.

— Завтра опять будет жарко, — сказала Пегги.

Небо было совершенно ясным. Казалось, оно состоит из бесчисленных серо-голубых частиц, напоминающих по цвету мундир итальянского офицера; только на горизонте виднелась длинная полоса чистой зелени. Вокруг царили покой,

умиротворение и безмятежность. Не было ни облачка, и звезды еще не показались.

Все такое маленькое, чопорное, сладенькое по сравнению с Испанией, думала Элинор, впрочем, сейчас, когда солнце зашло и деревья выглядят монолитными массами, без отдельных листьев, в этом есть своя красота. Холмы как будто выросли, очертания их сгладились, они постепенно становились частью неба.

— Какой прелестный вид! — воскликнула Элинор, будто стараясь оправдать Англию перед Испанией.

— Если бы не строительство мистера Робинсона! — вздохнула Силия.

Элинор вспомнила: Робинсоны — местный бич, богачи, угрожающие строительством.

— Я сегодня на базаре очень старалась быть с ними вежливой, — продолжила Силия. — Некоторые их не приглашают, но я считаю, что в деревне с соседями надо обходиться вежливо.

Она помолчала, а потом проговорила:

— Мне о стольком хочется тебя расспросить.

Бутылку опять перевернули горлышком вниз. Элинор стала покорно ждать.

— Насчет Эберкорн-Террас уже были предложения? — спросила Силия. Кап-кап-кап, закапали

вопросы один за другим.

— Пока нет. Агентство хочет, чтобы я разделила дом на квартиры.

Силия задумалась на минуту, а затем вновь оживилась.

— А как у Мэгги? Когда ожидается ребенок?

— В ноябре, кажется, — сказала Элинор. — В Париже, — добавила она.

— Надеюсь, все будет хорошо. Только жаль, он родится не в Англии. — Силия опять поразмыслила. — Ее дети, выходит, будут французами?

— Выходит, так, — сказала Элинор. Она смотрела на зеленую полосу, которая бледнела, переходя в синеву. Приближалась ночь.

— Все говорят, что он очень мил, — сказала Силия. — Но… Рене… Рене… — У нее был сильный акцент. — Не похоже на мужское имя.

— Называй его Ренни, — предложила Пегги, произнеся имя на английский лад.

— Это напоминает мне Ронни, а имя Ронни я не люблю. У нас был конюх Ронни.

— Который воровал сено, — сказала Пегги.

Опять помолчали.

— Как жаль, что… — начала Силия, но осеклась, потому что вошла горничная убрать со стола.

— Чудный вечер, правда? — сказала Силия уже

другим голосом, соответствующим присутствию слуг. — Похоже, дождя так и не будет. А в этом случае я не знаю… — И она принялась рассуждать о засухе и недостатке воды. Колодец постоянно пересыхает…

Элинор смотрела на холмы и почти не слушала.

— Впрочем, сейчас воды вполне хватит на всех, — сказала Силия.

Почему-то смысл этой фразы не сразу дошел до сознания Элинор.

— «…вполне хватит на всех», — повторила она.

После чужих языков, так долго звучавших вокруг нее, это сочетание слов показалось ей очень английским. Какой красивый язык, думала она, повторяя про себя обычные слова, которые Силия произносила так непринужденно, лишь едва заметно раскатывая «р»: Чиннери жили в Дорсетшире с незапамятных времен.

Горничная ушла.

— О чем я говорила? — сказала Силия. — А, о том, что мне жаль. Да… — Но тут до сидевших на веранде донеслись голоса и запах сигарного дыма: к ним направлялись мужчины. — А вот и они… — Силия опять не договорила.

Стулья были переставлены по-новому и увели-

чены в числе.

Все теперь сидели полукругом и смотрели вдаль, за луга, на блекнущие холмы. Широкая зеленая полоса у горизонта исчезла. От нее на небе остался лишь намек, тень. Вокруг стало тише и прохладнее. И в людях как будто что-то улеглось. Они не испытывали потребности говорить. Над лугом опять пролетела сова, но видны были только ее белые крылья на фоне темной изгороди.

— Вон она летит, — сказал Норт, пыхнув сигарой.

Наверное, это его первая сигара, предположила Элинор, — подарок сэра Уильяма. Вязы стали на фоне неба совершенно черными. Узор их листвы напоминал черное кружево. Сквозь него Элинор увидела первую звезду. Она посмотрела выше. Еще звезда.

— Завтра будет погожий день, — сказал Моррис, выбивая трубку об каблук. Далеко на дороге загремели тележные колеса. Затем послышалось хоровое пение — сельские жители возвращались домой. Это Англия, думала Элинор. Она почувствовала, будто медленно погружается в мягкую массу, которая состоит из качающихся ветвей, темнеющих холмов и черного кружева листьев, украшенного звездами. Над головами людей

пронеслась летучая мышь.

— Терпеть не могу летучих мышей! — воскликнула Силия, испуганно заслонив голову рукой.

— Правда? — сказал сэр Уильям. — А я скорее люблю их. — Голос его звучал спокойно и почти печально.

Сейчас Силия скажет: «Они запутываются в волосах», подумала Элинор.

— Они запутываются в волосах, — сказала Силия.

— У меня-то волос нет, — сказал сэр Уильям. Его лысина и широкое лицо белели в темноте.

Мышь пролетела опять — теперь над самой землей, у их ног. Прохладное дуновение коснулось их щиколоток. Деревья слились с небом. Луны не было, зато звезд становилось все больше. Вот еще одна, подумала Элинор, глядя на мерцающий огонек над горизонтом. Но он висел слишком низко и был слишком желтым. Это дом, а не звезда, поняла она. Силия заговорила с сэром Уильямом. Она хотела, чтобы он поселился рядом. А леди Сент-Остелл сообщила ей, что усадьба Грейндж сдается. Интересно, это Грейндж светится или все-таки это звезда? — подумала Элинор. Беседа продолжалась.

Старой миссис Чиннери надоело уединение,

она появилась внизу пораньше, села в гостиной и стала ждать. Ее торжественный выход остался неоцененным: в комнате никого не было. Наряженная в старушечье платье из черного сатина и кружевной чепец, она сидела и ждала. Ястребиный нос свешивался надо ртом между сморщенных щек. На одном из полуопущенных век виднелся красный ободок.

— Почему они не заходят? — брюзгливо спросила она у Эллен, молчаливой чернокожей горничной, стоявшей у нее за спиной. Эллен подошла к окну и постучала по стеклу.

Силия перестала говорить и обернулась.

— Мама в гостиной, — сказала она. — Мы должны войти в дом.

Она встала и отодвинула стул.

После темноты гостиная, в которой горели все лампы, производила впечатление сцены. Старая миссис Чиннери в своем инвалидном кресле, со слуховой трубкой, восседала будто в ожидании почестей. Выглядела она совершенно так же, как раньше, ни днем старше, как всегда, оживленная. Когда Элинор наклонилась к ней для традиционного поцелуя, жизнь вошла в привычное русло. Так она наклонялась, вечер за вечером, к своему отцу. Это действие было ей приятно:

она чувствовала себя моложе. Весь ритуал она знала назубок. Они, люди средних лет, проявляют почтительность к старикам, а старики любезны с ними. Затем повисла обычная пауза. Им нечего было сказать ей, ей нечего было сказать им. Что же дальше? Элинор увидела, как глаза старухи засветились. Отчего могут вдруг стать голубыми глаза девяностолетней женщины? От мысли о картах? Да. Силия внесла столик, покрытый зеленым сукном. Миссис Чиннери была страстной поклонницей виста. Но и у нее был свой ритуал, свой этикет.

— Не сегодня, — сказала она и слегка махнула рукой, будто отталкивая столик. — Я уверена, что сэру Уильяму это наскучит. — Она кивнула в сторону дородного гостя, который стоял как бы немного вне семейной компании.

— Напротив, напротив, — с готовностью откликнулся он. — Ничто не доставит мне такого удовольствия.

Ты хороший малый, Даббин, подумала Элинор. И стулья были придвинуты к столику, карты розданы, Моррис принялся подшучивать над тещей, крича ей в трубку, игра пошла — роббер за роббером. Норт читал книгу, Пегги перебирала клавиши пианино, а Силия, задремывая над

вышиваньем, то и дело вздрагивала и закрывала рот ладонью. Наконец дверь тихо отворилась, Эллен, молчаливая чернокожая горничная, встала в ожидании за креслом миссис Чиннери. Та сделала вид, что не замечает ее, но остальные были рады прекратить игру. Эллен сделала шаг вперед, миссис Чиннери пришлось сдаться, и она была отвезена в таинственные верхние покои, обиталище старости. Ее удовольствие закончилось.

Силия откровенно зевнула.

— Базар утомил меня, — проговорила она, скатывая вышивку. — Пойду спать. Идем, Пегги. Идем, Элинор.

Норт с готовностью вскочил, чтобы открыть дверь. Силия зажгла свечи на бронзовых подсвечниках и начала тяжело взбираться по лестнице. Элинор последовала за ней, а Пегги задержалась внизу. Элинор услышала, как они с братом шепчутся в передней.

— Идем же, Пегги, — крикнула Силия через перила. Добравшись до площадки, она остановилась под групповым портретом малолетних Чиннери и позвала опять, довольно сердито: — Идем, Пегги!

Через некоторое время Пегги нехотя поднялась. Она покорно поцеловала мать, но в ней не было

заметно ни малейшей сонливости. Наоборот, она выглядела особенно хорошенькой, на щеках пылал румянец. Спать она не собирается, в этом Элинор была уверена.

Элинор зашла в свою комнату и разделась. Все окна были открыты, она слышала шорох ветвей в саду. Было так жарко, что она легла в ночной сорочке прямо на покрывало и укрылась лишь простыней. Свеча, стоявшая на столике у кровати, чуть освещала спальню своим каплевидным огоньком. Элинор лежала, слушая шелест деревьев за окном и следя за тенью ночной бабочки, которая металась по комнате. Надо либо встать и закрыть окно, либо задуть свечу, сонно подумала она. Не хотелось делать ни того, ни другого. Хотелось лежать, не шевелясь. Лежать в полутьме было облегчением после разговоров, после карт. Перед глазами Элинор они все еще падали на зеленый стол: черные, красные, желтые; короли, дамы, валеты… Она сонно огляделась. На туалетном столике стояла красивая ваза с цветами. Рядом с кроватью — полированный шкафчик и круглая шкатулка. Элинор приподняла крышку. Ну, конечно: четыре кусочка печенья и плитка молочного шоколада — на случай, если она ночью проголодается. Силия снабдила ее и кни-

гами, это были: «Дневник маленького человека», «Путешествие Раффа по Нортумберленду»[119] и случайный том Данте, если вдруг ей захочется почитать на сон грядущий. Она взяла одну из книг и положила рядом с собой на покрывало. Вероятно, из-за того, что она только что вернулась из путешествия, ей казалось, будто корабль все еще мягко разрезает волны, будто поезд все еще едет по Франции, раскачиваясь из стороны в сторону. Она лежала на кровати, вытянувшись под простыней, а все вокруг неслось назад. Но это уже не пейзажи, подумала она. Это судьбы людей, переменчивые судьбы.

Стукнула дверь Розовой комнаты. За стеной кашлянул Уильям Уотни. Элинор услышала, как он прошел через комнату. Теперь он стоит у окна и курит последнюю сигару. О чем он думает, интересно? Об Индии? Вспоминает, как стоял под павлиньим опахалом? Затем он начал ходить по комнате, раздеваясь. Элинор слышала, как он взял щетку для волос, а потом положил ее обратно на туалетный столик. И это именно ему,

---

[119] Примечания: 119

«Дневник маленького человека» (1892) — книга Джорджа Гроссмита (1847–1912) и Уидона Гроссмита (1854–1919). *«Путешествие Раффа по Нортумберленду»* — несуществующее произведение (хотя существуют «Путеводитель Раффа по гостиницам» и «Красоты Челтнема в описании Раффа»).

подумала она, вспоминая его массивный подбородок, желтые и красные пятна на шее, — именно ему я обязана тем мгновением, наполненным радостью — нет, больше, чем радостью, — когда она сидела в углу вагона третьего класса, закрыв лицо газетой.

Под потолком летали уже три ночных бабочки. Носясь из угла в угол, они громко хлопали крылышками. Если оставить окно открытым надолго, то комната будет полна бабочек. В коридоре скрипнула половица. Элинор прислушалась. Не Пегги ли это улизнула из своей спальни, чтобы присоединиться к брату? Тут какой-то заговор, Элинор в этом не сомневалась. Однако до нее доносились только шорох тяжелых ветвей, качавшихся за окном, мычание коровы, щебет птицы, и, наконец — к ее удовольствию, — протяжный крик совы, которая перелетала с дерева на дерево, обводя их серебристыми кругами.

Элинор лежала, глядя в потолок. Нам нем виднелось едва заметное пятно влаги. Оно было похоже на гору и напомнило ей какую-то гору в Греции или в Испании, которая выглядела так, будто на нее от начала времен не ступала нога человека.

Элинор открыла книгу, лежавшую на покрыва-

ле. Она надеялась, что это окажется «Путешествие Раффа» или «Дневник маленького человека», но это был Данте, а взять другую книгу ей было лень. Она прочла несколько строк наугад. Но ее итальянский был слабоват, поэтому смысл ускользал от нее. А смысл был, он как будто царапал поверхность ее сознания.

Ché per quanti si dice più lì nostro
tanto possiede più di ben ciascuno.

Что это значит? Она прочла перевод:

Ведь там – чем больше говорящих «наше»,
Тем большей долей каждый наделен...[120]

Элинор отвлекали бабочки под потолком, протяжный крик совы, перелетавшей с дерева на дерево, и слова лишь коснулись ее сознания, не открыв своего смысла, который точно был свернут и заключен в твердую скорлупу староитальянского языка. Прочту на днях, подумала Элинор и закрыла книгу. Когда я отправлю Кросби на пенсию, когда... Что тогда сделать, купить

[120] Примечания: 120
Данте Альгьери (1265–1321). Чистилище. Песнь 15-я. (*Пер. М. Лозинского.*)

другой дом? Или попутешествовать? Наконец-то съездить в Индию? За стеной сэр Уильям улегся в постель. У него жизнь закончилась, а у нее — только начинается. Нет, другой дом я покупать не собираюсь, только не дом, думала она, рассматривая пятно на потолке. И опять ей показалось, будто корабль мягко скользит по волнам, будто поезд раскачивается с боку на бок, стуча колесами по рельсам. Ничто не вечно, думала Элинор. Все проходит, все меняется, говорила она себе, глядя в потолок. И что нас ждет? Что? Что?.. Бабочки метались под потолком; книга соскользнула на пол. Поросенка выиграл Крастер, но кому достался серебряный поднос? Элинор сделала над собой усилие, перевернулась на бок и задула свечу. Воцарилась тьма.

1913

Стоял январь. Падал снег, падал целый день. Небо походило на серое гусиное крыло, из которого на всю Англию сыпались перья. Точнее, неба вовсе не было, вместо него была кутерьма снежных хлопьев. Дороги выровнялись, ямы заполнились, снег завалил ручьи, залепил окна, скопился белыми накатами у дверей. Воздух был наполнен едва слышным шорохом, легким потрескиванием,

как будто сам воздух превращался в снег. Больше звуков не было, тишину лишь изредка нарушали сопение овцы, хлопок снега, упавшего с ветки или съехавшего маленькой лавиной с какой-нибудь лондонской крыши. Время от времени лучи света медленно проползали по небу — их бросали фары автомобилей, кативших по мягким дорогам. Но чем ближе к ночи, тем настойчивее снег заносил колеи, стирал все следы движения, укрывал памятники, дворцы и статуи.

Снегопад еще продолжался, когда из агентства по продаже недвижимости в дом на Эберкорн-Террас с целью осмотра явился молодой человек. Снег отбрасывал сплошной белый отсвет на стены ванной комнаты, отчего особенно явно проступали трещины в эмали ванны и пятна на стене. Элинор стояла, глядя в окно. Все крыши были мягко облиты снегом, он падал и падал. Элинор обернулась. Молодой человек — тоже. Свет не красил их обоих, и все-таки снег — она видела его через окно в конце коридора, — падающий снег был прекрасен.

Они стали спускаться по лестнице, и мистер Грайс обернулся к ней.

— Видите ли, наши клиенты теперь более требовательны к санитарным удобствам, — сказал

он, остановившись у двери спальни.

Почему нельзя сказать просто «туалетам»? — подумала Элинор. Она медленно спускалась. Теперь падающий снег был виден ей через стеклянную дверь передней. Элинор заметила, что у молодого человека красные уши, торчащие над высоким воротником и шеей, которую он не слишком тщательно вымыл над какой-нибудь раковиной в Уондзуорте. Она была раздражена: он ходил по дому, вынюхивал и выглядывал, оценивая чистоплотность бывших обитателей, их привычки; а еще он использовал нелепые длинные слова. С помощью длинных слов он пытается перебраться в более высокий социальный слой, предположила Элинор. Вот он осторожно переступил через спящую собаку, взял шляпу со стола в передней и спустился по ступеням парадной, — при этом его ботинки на пуговицах, какие носят дельцы, оставляли желтые следы на толстом белом ковре. У дома ждал экипаж.

Элинор обернулась. Она увидела Кросби, наряженную в свои лучшие чепец и пелерину. Кросби все утро ходила по дому за Элинор, как собачка. Тягостный момент больше нельзя было откладывать. Экипаж, нанятый для нее, ожидал у порога. Пришло время прощаться.

— Да, Кросби, как пусто, правда? — сказала Элинор, глядя на пустую гостиную. Белый снежный свет озарял стены, на которых были видны следы от мебели и картин.

— Правда, мисс Элинор, — сказала Кросби. Она тоже стояла и смотрела. Элинор знала, что Кросби вот-вот заплачет, но ей не хотелось, чтобы Кросби плакала. Она сама боялась заплакать. — Я и сейчас вижу всех вас за столом, мисс Элинор, — сказала Кросби. Но стола уже не было. Что-то увез Моррис, что-то Делия. Все поделили и растащили.

— И чайник никак не закипает, — откликнулась Элинор. — Помните? — Она попыталась засмеяться.

— Ах, мисс Элинор! — Кросби покачала головой. — Я помню все! — В ее глазах набухали слезы. Элинор отвернулась и посмотрела в дальнюю комнату.

Там тоже были следы на стенах — на месте книжного шкафа, на месте письменного стола. Она вспомнила, как сидела там, рисуя узоры на промокательной бумаге, проделывая в ней дырки, складывая числа в своих тетрадках… Элинор обернулась. Перед ней стояла Кросби. Она плакала. Слишком много болезненных ощущений.

Элинор была рада избавиться от них, но для Кросби это был конец всему.

Она знала в этом гулком доме каждый шкафчик, каждую плитку на полу, каждый стул и стол, причем не с расстояния в пять-шесть футов, как они, хозяева, но вблизи, с колен, потому что каждый день драила и начищала эти шкафчики и плитки; знала каждую царапинку, пятнышко, каждую вилку, нож, салфетку, ящик. Эта семья и ее дела составляли весь мир Кросби. А теперь она уезжает, одна, в одинокую комнату в Ричмонде.

— Думаю, во всяком случае, вы будете рады наконец выбраться из полуподвала, — сказала Элинор, опять обращая взор на переднюю. Она никогда не замечала, какое это темное и низкое помещение, пока, взглянув на него вместе с «нашим мистером Грайсом», не устыдилась.

— Здесь был мой дом сорок лет, мисс, — проговорила Кросби. По ее щекам текли слезы.

Сорок лет! — подумала Элинор и ужаснулась. Она была девочкой тринадцати или четырнадцати лет, когда Кросби пришла к ним. Такая подтянутая, сноровистая… А теперь ее голубые комариные глаза выпучились, щеки опали.

Кросби наклонилась, чтобы взять Ровера на поводок-цепочку.

— Вы уверены, что он вам нужен? — спросила Элинор, глядя на неказистого старого пса, который шумно дышал и пованивал. — Мы могли бы без труда найти для него хорошее пристанище за городом.

— Ах, мисс, не просите меня бросить его! — сказала Кросби. Слезы мешали ей говорить. Они текли струйками по ее щекам. Несмотря на все усилия Элинор, в ее глазах тоже проступили слезы.

— Дорогая Кросби, прощайте. — Элинор наклонилась и поцеловала ее, заметив странную сухость ее кожи. Слезы закапали из глаз хозяйки. Держа Ровера на поводке, Кросби начала боком спускаться по скользким ступеням. Момент был ужасный, горестный, несуразный, несправедливый. Кросби была так несчастна, а она, Элинор, так рада. И все-таки слезы накапливались в ее глазах и капали, пока она стояла, держа дверь. Они все жили в этом доме. Она стояла здесь, провожая Морриса в школу. В этом садике они сажали крокусы. А теперь Кросби забирается в нанятый экипаж, с Ровером на руках, и снежные хлопья падают на ее черный чепец. Элинор закрыла дверь и вошла в дом.

Снег все падал, а экипаж, подрагивая, катил по

улицам. На тротуарах люди, ходя по магазинам, протоптали в снегу длинные желтые тропы, превратив его в кашу. Снег уже начинал подтаивать, он съезжал по крышам и обрушивался на мостовую. Мальчишки играли в снежки. Один из них метнул снежок в проезжающий экипаж. Однако когда экипаж выехал на Ричмонд-Грин[121], открылось пространство сплошной белизны. Все было таким белым, как будто по снегу еще никто не ходил. Белыми были трава, деревья, металлические ограды. Только грачи черными пятнами сидели, нахохлившись, на верхушках деревьев. Экипаж покатил дальше.

К тому времени, когда экипаж остановился у небольшого дома рядом с Ричмонд-Грин, колеса телег замесили снег в желтую комковатую массу. Кросби, держа Ровера на руках, чтобы он лапами не испачкал ступени, поднялась по лестнице. Ее вышли встретить Луиза Бёрт и мистер Бишоп, жилец с верхнего этажа, бывший дворецкий. Он взял багаж, и Кросби пошла следом за ним в свою комнатенку.

Ее комната тоже располагалась в верхнем

---

[121] Примечания: 121

Ричмонд-Грин — живописный луг в Ричмонде, окруженный домами XVIII в.

этаже и с тыльной стороны дома, так что окна выходили в сад. Она была маленькая, но, когда Кросби распаковала и разложила вещи, получилось вполне уютно. Многое напоминало об Эберкорн-Террас. Годами, готовясь к пенсии, Кросби собирала всякие ненужные мелочи. Индийские слоники, серебряные вазочки, морж, найденный ею в мусорной корзине в то утро, когда пушки возвестили о похоронах королевы, — все теперь оказалось здесь. Она выстроила их по диагонали на каминной полке, а потом развесила семейные портреты, на которых одни были запечатлены в подвенечных платьях, другие в париках и мантиях, а в центре висело фото мистера Мартина в мундире, потому что он был любимцем Кросби, — и после этого стало совсем как дома.

Однако Ровер сразу заболел — то ли Ричмонд ему был не по сердцу, то ли он простудился на снегу. Он отказывался от пищи, нос был горячий. У него опять обострилась экзема. На следующее утро, когда Кросби хотела взять его с собой по магазинам, он перевернулся лапами кверху — как будто просил, чтобы его оставили в покое. Мистеру Бишопу пришлось сказать миссис Кросби — так почтительно ее называли в Ричмонде, —

что, по его мнению, бедолагу (тут он погладил пса по голове) лучше бы спровадить.

— Идемте со мной, моя дорогая, — сказала миссис Бёрт, обняв Кросби одной рукой за плечи, — пусть Бишоп это сделает.

— Он не будет страдать, поверьте, — сказал мистер Бишоп, поднимаясь с колен. Ему много раз приходилось усыплять собак ее светлости. — Он только один раз вдохнет, — мистер Бишоп держал в руке носовой платок, — и все, в один момент.

— Ему так будет лучше, Энни, — добавила миссис Бёрт, пытаясь увести Кросби.

Бедный старый пес и вправду выглядел очень жалко. Но Кросби отрицательно покачала головой. Он виляет хвостом, глаза его открыты. Он живой. На его морде даже есть выражение, которое она считает улыбкой. Она чувствовала, что он зависит от нее, полагается на нее. Она не отдаст его чужим людям. Три дня и три ночи она сидела рядом с ним, кормила с ложечки укрепляющим бульоном из концентрата, но в конце концов он перестал открывать пасть. Он уже совсем не двигался; даже не поморщился, когда по его носу проползла муха. Тело начало коченеть. Это произошло ранним утром, когда на деревьях за окном чирикали воробьи.

— Хорошо, ей есть на что отвлечься, — сказала миссис Бёрт, когда на следующее утро после похорон собаки Кросби прошла мимо кухонного окна в своих лучших чепце и пелерине. Был четверг, день, когда она отправлялась на Эбери-стрит, чтобы забрать носки мистера Парджитера. — Все-таки надо было убрать пса давным-давно, — добавила миссис Бёрт, отворачиваясь к раковине. — У него из пасти воняло.

Кросби села в пригородный поезд, доехала до Слоун-сквер, а оттуда пошла пешком. Шла она медленно, выставив локти, — как будто обороняясь от уличных опасностей. Вид у нее все еще был печальный, однако перемена между Ричмондом и Эбери-стрит пошла ей на пользу. На Эбери-стрит она чувствовала себя привычнее, чем в Ричмонде. Она всегда считала, что в Ричмонде живут простые люди. А здесь — леди и джентльмены, такие же, как ее господа. Кросби с одобрением смотрела на витрины. И генерал Арбатнот, посещавший господина, жил на Эбери-стрит, вспомнила она, повернув на эту большую, мрачноватую улицу. Он уже умер — Луиза показывала ей некролог в газете. Но при жизни он обитал здесь. А вот и дом мистера Мартина. Кросби остановилась на лестнице, чтобы поправить чепец. Она всегда

перебрасывалась словом-другим с мистером Мартином, когда приходила за его носками, — это было одним из ее удовольствий. А еще она любила посудачить с миссис Бриггз, домовладелицей. Сегодня она не преминет сообщить ей о смерти Ровера. Осторожно, боком, поднявшись по обледеневшим ступеням черного хода, она позвонила в дверь.

Мартин сидел в своей комнате и читал газету. Война на Балканах закончилась, но каша там только заварилась — в этом он был уверен. Он перевернул страницу. Из-за снега с дождем в комнате было темно. К тому же он никогда не мог отдаться чтению, ожидая чего-нибудь или кого-нибудь. Пришла Кросби — он понял это по голосам из передней. Ну вот, сразу сплетни, болтовня! — раздраженно подумал он. Мартин бросил газету на пол и стал просто ждать. Вот она идет, уже взялась за ручку двери. Но что он должен сказать ей? — подумал он, глядя на поворачивающуюся ручку. Когда она вошла, он произнес свою обычную фразу: «Ну, Кросби, как вам живется в этом мире?»

Она вспомнила о Ровере, и на ее глаза навернулись слезы.

Мартин выслушал историю о кончине пса и

сочувственно наморщил лоб. Затем он встал, вышел в спальню и вернулся с пижамной рубашкой в руке.

— Как это называется, Кросби? — спросил он, указав под воротник на дырку с коричневым ободком.

Кросби поправила очки в золотистой оправе.

— Это прожог, сэр, — уверенно сказала она.

— Совсем новая пижама, надел ее всего два раза, — пожаловался Мартин, все так же держа рубашку на вытянутых руках.

Кросби прикоснулась к материалу. Самый лучший шелк, сразу чувствуется.

— Ай-ай-ай! — Она покачала головой.

— Пожалуйста, отнесите пижаму этой миссис — как ее там? — Мартин хотел применить метафору, но вспомнил, что в разговоре с Кросби следует выражаться буквально и пользоваться самыми простыми словами. — Велите ей найти другую прачку, — заключил он. — А ту послать к черту.

Кросби нежно прижала испорченную пижаму к груди. Мистер Мартин никогда не выносил прикосновения шерсти к коже, вспомнила она. Мартин помолчал. С Кросби полагалось пообщаться, но смерть Ровера ограничила темы для

разговора.

— Как ревматизм? — спросил он.

Кросби стояла очень прямо у двери, с пижамой на руке. Она явно стала меньше ростом, подумал Мартин.

Кросби покачала головой. Ричмонд расположен значительно ниже, чем Эберкорн-Террас, сказала она. Ее лицо помрачнело. Она думает о Ровере, догадался Мартин. Надо отвлечь ее от этих мыслей, он не выносил слез.

— Вы видели новую квартиру мисс Элинор? — спросил Мартин. Кросби видела ее. Но она не любит квартиры. По ее мнению, мисс Элинор изнуряет себя.

— А люди этого не стоят, — сказала Кросби, имея в виду Цвинглеров, Паравичини и Коббсов, которые раньше имели обыкновение наведываться с черного хода за поношенной одеждой.

Мартин покачал головой. Он не мог придумать, что сказать дальше. Он терпеть не мог беседы со слугами. Говоря с ними, он всегда чувствовал себя неискренним. Приходится либо дурачиться, либо изображать радушие, думал он. То есть в обоих случаях — лгать.

— А у вас все хорошо, мастер Мартин? — спросила Кросби, использовав детское обращение по

праву долгой службы.

— Пока что не женился, Кросби, — сказал Мартин.

Кросби окинула комнату взглядом. Это было холостяцкое жилище: кожаные кресла, шахматы на стопке книг, сифон на подносе. Она позволила себе заметить, что наверняка множество чудесных молодых девушек были бы рады взять на себя заботы о нем.

— Да, но я люблю валяться в постели по утрам, — сказал Мартин.

— Это у вас с детства, — улыбнулась Кросби.

После этого Мартин не постеснялся достать часы, быстро подойти к окну и воскликнуть, как будто он вдруг вспомнил о назначенной встрече:

— Ой, Кросби, мне же пора! — И дверь за Кросби закрылась.

Это была ложь. Никакой встречи ему не предстояло. Слугам всегда лгут, подумал он, глядя в окно. Унылые очертания домов на Эбери-стрит проступали сквозь пелену снега с дождем. Все лгут, думал Мартин. И отец его лгал: после его смерти дети нашли у него в ящике связку писем от женщины по имени Майра. Мартин видел Майру, это была полная представительная дама, которой требовалась помощь с починкой кры-

ши. Зачем лгал отец? Что плохого в содержании любовницы? И сам Мартин тоже лгал: например, насчет комнаты на Фулэм-Роуд, где они с Доджем и Эрриджем курили дешевые сигары и рассказывали скабрезные анекдоты. Жизнь их семьи на Эберкорн-Террас была отвратительна, думал он. Ничего удивительного, что дом никак не сдадут. Там всего одна ванная и полуподвал. И там жило столько разных людей, обреченных терпеть друг друга и лгать.

Затем, глядя на фигурки людей, сновавших по мокрому тротуару, он увидел, как по ступеням спустилась Кросби со свертком под мышкой. Она постояла, похожая на испуганного зверька, который выглядывает из укрытия, собирая храбрость, чтобы окунуться в гущу уличных опасностей. Наконец она засеменила прочь. Мартин видел, как она удаляется и снег падает на ее черный чепец. Он отвернулся.

1914

Была роскошная весна, стоял лучезарный день. Воздух, омывая древесные кроны, как будто бы журчал, дрожал, вибрировал. Листья ярко зеленели. Часы старинных сельских церквей дребезжа отбивали время, хриплый звон летел

над полями, красными от клевера, и вспугивал стаи грачей. Птицы делали круг и садились на верхушки деревьев.

Лондон облачился в крикливый наряд: начинался сезон. Гудели автомобильные рожки, рычали моторы, флаги туго трепыхались на ветру, как форель в ручье. И со всех лондонских колоколен — от модных святых Мейфэра, от вышедших из моды святых Кенсингтона, от дряхлых святых Сити — неслась весть о наступившем часе. Воздух над Лондоном казался морем звуков, по которому расходились круги. Но часы показывали время по-разному, как будто сами святые были не согласны друг с другом. В воздухе повисали паузы, промежутки тишины… А затем часы били опять.

Одни из часов было слышно и на Эбери-стрит, но голос их звучал отдаленно и слабо. Они пробили одиннадцать раз. Мартин стоял у окна и смотрел вниз на узкую улицу. Солнце светило вовсю, он был в наилучшем настроении и собирался посетить своего биржевого маклера в Сити. Дела у Мартина шли прекрасно. Когда-то он думал, что его отец накопил много денег, но потом потерял их. Однако оказалось, что после этого он опять накопил и встретил свою кончину

с тугим кошельком.

Мартин любовался на модницу в прелестной шляпке, которая рассматривала вазу в витрине антикварного магазина напротив. Это была синяя ваза, она стояла на китайской подставке, на фоне зеленой парчи. Покатые симметричные очертания вазы, темно-синий цвет, трещинки на глазури ласкали взгляд Мартина. И смотревшая на вазу женщина была очаровательна.

Взяв шляпу и трость, он вышел на улицу. Часть пути до Сити он собирался пройти пешком.

— «Дочь короля Испании, — напевал он, поворачивая на Слоун-стрит, — приехала ко мне…» — Мартин разглядывал витрины, мимо которых шел. В них было множество летних платьев, воздушных нарядов из зеленого шелка и газа, стайки шляпок на шестиках. — «…чтоб увидать на дереве серебряный орех».

Что еще за серебряный орех на дереве? — думал он. Вдалеке шарманка играла задорную джигу. Шарманка крутилась и крутилась, перемещаясь туда-сюда, как будто старик шарманщик танцевал под свою музыку. Хорошенькая служанка взбежала по ступеням и дала старику монетку. Его угодливое итальянское лицо сморщилось, он сорвал с головы шляпу и поклонился девуш-

ке. Она улыбнулась в ответ и скрылась в своей кухне.

— «…чтоб увидать на дереве серебряный орех», — мурлыкал Мартин, заглядывая за заборчик в кухню, где сидели служанки. Их компания выглядела очень уютно, на кухонном столе стоял заварочный чайник, лежали хлеб и масло. Трость Мартина виляла туда-сюда, как хвост жизнерадостного пса. Все люди казались ему беспечными и легкомысленными, они выпархивали из домов и фланировали по улицам, раздавая монетки шарманщикам и нищим. У всех были деньги, чтобы их тратить. Женщины собирались у стеклянных витрин. Мартин тоже остановился и стал смотреть: на игрушечный кораблик, на ящички с рядами сверкающих серебряных флаконов. Кто же все-таки написал эту песенку о дочери короля Испании, которую пела Пиппи, когда протирала ему уши противной мокрой фланелью? Она сажала его к себе на колени и каркала хриплодребезжащим голосом: «Дочь короля Испании приехала ко мне, чтоб увидать…» Внезапно ее колено опускалось, и Мартин падал на пол.

А вот и площадь Гайд-Парк-Корнер. Здесь было оживленное движение. Повозки, автомобили, моторные омнибусы текли рекой с холма. На

деревьях Гайд-парка виднелись зеленые листочки. Авто с жизнерадостными дамами в светлых платьях уже въезжали в ворота. Все торопились по своим делам. Кто-то, заметил Мартин, написал розовым мелом на воротах Эпсли-Хауза: «Бог есть любовь». На это нужна недюжинная храбрость, подумал он, — чтобы написать «Бог есть любовь» на воротах Эпсли-Хауза, когда в любой момент тебя может сцапать полицейский. Но вот подошел его омнибус. Мартин взобрался на второй этаж.

— До Святого Павла, — сказал он, протягивая кондуктору мелочь.

Омнибусы кружили и вились в безостановочном водовороте вокруг ступеней собора Святого Павла. Белая статуя королевы Анны будто главенствовала над этим хаосом, была его центром, как ось у колеса. Казалось, она направляет движение своим скипетром, руководит человечками в котелках и пиджаках, женщинами с чемоданчиками, повелевает повозками, грузовиками и моторными омнибусами. То и дело от толпы отделялись фигурки и поднимались по ступеням в церковь. Двери собора открывались и закрывались без перерыва. Иногда наружу вырывались приглушенные звуки органной музыки. Голуби ходили вразвалку, воробьи порхали. Вскоре

после полудня старичок с бумажным пакетом занял свое место на средних ступенях собора и принялся кормить птиц. Он держал кусок хлеба в протянутой руке. Его губы шевелились. Казалось, он улещивает, уговаривает птиц. Почти сразу его окружил ореол хлопающих крыльев. Воробьи усаживались ему на голову и на руки, голуби ковыляли у его ног. Небольшая толпа собралась, чтобы посмотреть, как он кормит воробьев. Старик разбрасывал хлеб вокруг себя. Затем воздух задрожал. Большие часы, а с ними вместе и все часы города, как будто собрались с силами, как будто издали предупреждающее ворчание. Наконец грянул удар. «Час дня», — означала громогласная весть. Все воробьи поднялись в воздух. Даже голуби перепугались: некоторые из них совершили короткий облет вокруг головы королевы Анны.

Когда затихли последние отголоски удара, Мартин вышел на открытое пространство перед собором.

Он пересек проезжую часть и встал, прислонившись спиной к витрине магазина, глядя вверх на огромный купол. У него было удивительное чувство, будто составные части его тела пришли в движение и, сложившись заною — в

соответствии с гармонией здания, — замерли. Эта перемена пропорций восхищала его. Он жалел, что не стал архитектором. Он стоял, прижавшись спиной к витрине, и старался проникнуться ощущением всего собора в целом. Но это было трудно из-за сновавших мимо людей. Они натыкались на него, задевали. Был час пик: служащие из Сиги спешили на обед. Они срезали углы по ступеням собора. Голуби взлетали и садились. Мартин начал подниматься по ступеням, глядя на то и дело открывающиеся и закрывающиеся двери. Как надоедливы эти голуби, подумал он, — мешаются под ногами. Он медленно шел наверх.

«Кто это? — подумал он, увидев девушку, которая стояла у одной из колонн. — Что-то знакомое…»

Ее губы шевелились — она говорила сама с собой.

«Это же Салли!» — осенило Мартина. Он заколебался: заговорить с ней или нет? Чье-нибудь общество сейчас не помешало бы: ему надоело быть наедине с собой.

— О чем задумалась, Сэл? — спросил он, хлопнув ее по плечу.

Она обернулась; выражение ее лица мгновенно изменилось.

— Как раз о тебе, Мартин! — воскликнула Салли.

— Вот уж неправда.

Они пожали руки.

— Стоит мне о ком-то подумать, он всегда появляется. — Она сделала характерное для нее переминающееся движение и стала похожа на взъерошенную курицу, тем более что была одета в пальто немодного покроя. Они постояли немного на ступенях, глядя вниз на многолюдную улицу. Двери собора в очередной раз открылись, оттуда вылетели аккорд органной музыки и неясное бормотание священника. За дверями был церковный полумрак.

— Так о чем же ты… — начал Мартин, но не договорил. — Идем-ка пообедаем, — предложил он. — Приглашаю тебя в здешний мясной ресторан. — И он повел Салли вниз по лестнице, а потом по узкому переулку, запруженному телегами, на которые грузчики бросали из складов коробки.

Мартин и Салли толкнули крутящиеся двери и вошли в ресторан.

— Сегодня много посетителей, Альфред, — приветливо заметил Мартин, когда официант принимал его пальто и шляпу и устраивал их на

вешалке. Мартин знал официанта, потому что часто здесь обедал, и официант знал его.

— Очень много, капитан, — сказал тот.

— Ну, — проговорил Мартин, садясь, — что будем есть?

От столика к столику на тележке катали большой коричневато-желтый кусок мяса с костью.

— Это, — сказала Сара, указав рукой.

— А пить? — Мартин взял винную карту и стал ее изучать.

— Пить? Напитки выберешь ты. — Сара сняла перчатки и положила их на красновато-коричневую книжечку — явно молитвенник.

— Напитки выберу я, — согласился Мартин. Интересно, подумал он, страницы молитвенников всегда бывают украшены золотой и красной краской? Он выбрал вино. — И что же ты делала, — спросил он, отпустив официанта, — у собора Святого Павла?

— Слушала богослужение.

Сара огляделась. В зале было жарко и многолюдно. Стены были покрыты золотыми листьями, инкрустированными по коричневому фону. Люди постоянно проходили мимо, входили, выходили. Официант принес вино. Мартин наполнил бокал Сары.

— Не знал, что ты посещаешь службы, — сказал он, посмотрев на молитвенник.

Сара не ответила. Она все смотрела вокруг, на входящих и выходящих людей, и понемногу отпивала вино. На ее щеках начал проступать румянец. Она взяла нож и вилку и принялась за превосходную баранину. Несколько минут ели в молчании.

Мартину хотелось разговорить ее.

— И что же, Сэл, — спросил он, дотронувшись до книжечки, — ты в этом находишь?

Она открыла молитвенник наугад и начала читать со своей обычной интонацией:

— «Непостижим Отец, непостижим Сын…»[122]

— Тихо! — прервал ее Мартин. — Люди слышат.

Из уважения к нему она стала вести себя, как дама, пришедшая в ресторан обедать с кавалером.

— А что ты делал у собора? — спросила Сара.

— Жалел, что не стал архитектором. Вместо этого меня отправили в армию, которую я ненавидел! — с чувством ответил Мартин.

— Тихо! — шепнула Сара. — Люди слышат.

Он быстро оглянулся, а затем рассмеялся. Офи-

---

[122] Примечания: 122
Цитата из Символа веры св. Афанасия Великого (293–373).

циант поставил на стол открытый пирог. Опять стали есть молча. Мартин вновь наполнил бокал Сары. Ее щеки горели, глаза блестели. Он завидовал наполнявшему ее чувству всеобщего благополучия, которое он и сам раньше испытывал, выпив бокал вина. Вино было кстати — оно снимало преграды. Он хотел разговорить ее.

— Я не знал, что ты посещаешь службы, — сказал он, глядя на молитвенник. — И что ты об этом думаешь?

Сара тоже посмотрела на молитвенник. Затем постучала по нему вилкой.

— А что думают *они,* Мартин? Женщина, которая молится, и старик с длинной седой бородой?

— Почти то же самое, что думает Кросби, когда приходит ко мне, — сказал Мартин. Он вспомнил старушку, стоявшую у двери его комнаты с пижамной рубашкой на руке, вспомнил преданное выражение на ее лице. — Для Кросби я бог, — объяснил он, подкладывая Саре брюссельской капусты.

— Бог старой Кросби! — засмеялась Сара. — Всемогущий, всесильный Мартин!

Она подняла бокал в его честь. Она что, смеется над ним? — подумал он. Он надеялся, что не кажется ей слишком старым.

— Ты ведь помнишь Кросби? — спросил он. — Она на пенсии, а пес ее умер.

— На пенсии, а пес умер? — переспросила Сара.

Она опять посмотрела через плечо. Разговаривать в ресторане было невозможно, беседа распадалась на мелкие фрагменты. Мимо без конца проходили служащие из Сити в аккуратных полосатых костюмах и котелках.

— Это хороший храм, — сказала Сара, глянув на Мартина.

Она вернулась к теме собора, понял Мартин.

— Великолепный, — согласился он. — Ты смотрела на статуи?

Вошел человек, которого Мартин узнал: Эрридж, биржевой маклер. Он поманил Мартина пальцем. Мартин встал и отошел поговорить с ним. Когда он вернулся, Сара уже опять наполнила свой бокал. Она сидела и смотрела на людей, точно была маленькой девочкой, которую он привел на рождественский сказочный спектакль.

— Какие планы на вечер? — спросил Мартин.

— В четыре — на Круглый пруд, — сказала Сара, постукивая ладонью по столу. — В четыре — на Круглый пруд.

Теперь она перешла, подумал Мартин, в сон-

ное благодушие, следующее за сытным обедом с вином.

— С кем-нибудь встречаешься там?

— Да, с Мэгги.

Помолчали. До них долетали обрывки чужих разговоров. Человек, к которому отходил Мартин, удаляясь, тронул его за плечо.

— В среду в восемь, — сказал он.

— Именно так, — откликнулся Мартин и сделал пометку в своей записной книжке.

— А какие планы на вечер у тебя? — спросила Сара.

— Надо навестить сестру в тюрьме, — сказал Мартин, поджигая сигарету.

— В тюрьме?

— Розу. Она сидит за то, что бросила камень.

— Рыжая Роза, красная Роза, — начала Сара, опять потянувшись за вином, — дикая Роза, колючая Роза…

— Не надо, — сказал Мартин, закрыв ладонью горлышко бутылки. — Тебе хватит.

Она немного возбуждена. Надо ее утихомирить. Люди все слышат.

— Дьявольски неприятная штука, — сказал он, — сидеть в тюрьме.

Она придвинула к себе бокал и сидела, уставив-

шись на него, словно механизм ее мозга внезапно отключился. Она была очень похожа на мать, только смеялась по-другому.

Мартину хотелось поговорить с ней о ее матери. Но разговаривать было невозможно. Слишком много людей слушает, к тому же они курят. Дым, смешанный с мясным запахом, создавал духоту. Мартин вспоминал прошлое, когда Сара воскликнула:

— Сидит на трехногом стуле, и в нее впихивают мясо![123]

Мартин очнулся от воспоминаний. Она имеет в виду Розу?

— Камень наделал дел! — Сара засмеялась, взмахнув в воздухе вилкой. — «Сверните карту Европы, — сказал он лакею. — Я не верю в силу»[124].

Она положила вилку на тарелку, так что сливовая косточка подпрыгнула. Мартин огляделся. Люди слушали. Он встал.

---

[123] Примечания: 123

Попавшие в тюрьму суфражистки часто объявляли голодовку и подвергались насильственному кормлению.

[124] Примечания: 124

«Сверните карту Европы, она не понадобится еще десять лет», — слова британского политического деятеля Уильяма Питта-младшего (1759–1806, премьер-министра с 1783 по 1801), произнесенные им после битвы под Аустерлицем.

— Ну, пойдем? Если ты сыта.

Она поднялась и стала искать свое пальто.

— Я получила удовольствие, — сказала она, беря пальто. — Спасибо, Мартин, за вкусный обед.

Он подозвал официанта, который с готовностью подошел и выписал счет. Мартин положил на тарелку соверен. Сара начала продевать руки в рукава пальто.

— Сходить с тобой, — предложил Мартин, помогая ей, — на Круглый пруд в четыре?

— Да! — воскликнула она, повернувшись на каблуке. — На Круглый пруд в четыре!

Она пошла к выходу — слегка нетвердой походкой, заметил Мартин — мимо служащих из Сити, которые по-прежнему сидели и ели.

Подошел официант со сдачей, и Мартин начал опускать монетки в карман. Одну он оставил на чаевые. Но, уже собираясь дать их, он вдруг заметил что-то вороватое в выражении лица Альфреда. Мартин приподнял счет — под ним лежала монета в два шиллинга. Обычная уловка. Мартин вышел из себя.

— Что это? — гневно спросил он.

— Я не знал, что она там, сэр, — заикаясь, проговорил официант.

Мартин почувствовал, что у него краснеют

уши. В гневе он очень походил на отца, у того тоже проступали белые пятна на висках. Он бросил монетку, предназначавшуюся для официанта, в карман и прошел мимо него, оттолкнув его руку. Тот отступил, что-то бормоча.

— Идем, — сказал Мартин, торопливо ведя Сару через многолюдный зал. — Прочь отсюда.

Он вывел ее на улицу. Спертый воздух, запах горячего мяса вдруг стали невыносимы для него.

— Ненавижу, когда меня обманывают! — сказал он, надевая шляпу. — Прости, Сара. Не надо было водить тебя туда. Гнусная дыра.

Он вдохнул свежий воздух. Уличные звуки, безучастный, деловитый вид всего вокруг бодрили после ресторанной жары и духоты. Вдоль улицы выстроились телеги, из складов в них летели ящики. Мартин и Сара опять вышли к собору Святого Павла. Он поднял голову. Старик по-прежнему кормил воробьев. И собор был все тот же. Мартину захотелось опять ощутить, как приходят в движение и замирают составные части его тела, но чувство физического единения с каменной громадой не вернулось. Он чувствовал только злость. К тому же его отвлекала Сара. Она собиралась перейти оживленную улицу. Мартин протянул руку, чтобы задержать ее.

— Осторожно, — сказал он.

Они перешли дорогу.

— Пойдем пешком? — спросил он. Она кивнула.

Они пошли по Флит-стрит. Разговаривать было невозможно. Тротуар был очень узкий, и Мартину то и дело приходилось сходить с него, чтобы идти рядом с Сарой. Ему все еще было неприятно от пережитого приступа злости, хотя сама злость почти прошла. Как я должен был поступить? — думал он, вспоминая, как прошел мимо официанта, не дав ему на чай. Не так, думал он, не так. Люди теснили его, вынуждая сходить с тротуара. В конце концов, бедному негодяю надо зарабатывать на жизнь. Мартин любил быть великодушным, любил оставлять за собой улыбающихся людей, да и два шиллинга ничего для него не значили. Но что толку рассуждать, когда уже поздно? Он начал было напевать ту же песенку, но перестал — вспомнив, что он не один.

— Ты только посмотри, Сэл! — сказал он, сжимая ее руку. — Ты посмотри!

Он указал на раскоряченного грифона на вер-

шине Темпл-Бар-Мемориал[125], нелепого, как обычно: не то змея, не то птица.

— Посмотри! — повторил Мартин со смехом.

Они остановились, чтобы рассмотреть плоские фигурки, неуклюже прилепленные к постаменту: королеву Викторию, короля Эдуарда. Затем пошли дальше. В толпе говорить было невозможно. Люди в париках и мантиях торопливо переходили улицу, одни несли красные сумки, другие — синие[126].

— Дом правосудия. — Мартин указал на затейливо украшенную, но холодную каменную громаду. У нее был мрачный, похоронный вид. — Здесь проводит свою жизнь Моррис, — громко добавил он.

Он все еще чувствовал неловкость из-за того, что вышел из себя. Но это уже проходило. В его сознании остался лишь крохотный заусенец.

— Ты считаешь, я должен был… — начал он, со-

---

[125] Примечания: 125

Темпл-Бар-Мемориал — памятник, сооруженный в 1880 г. по проекту Горация Джонса и представляющий собой высокий постамент со статуями королевы Виктории и принца Эдварда; венчает монумент фигура грифона.

[126] Примечания: 126

Начинающий британский юрист носит свой наряд (мантию, парик, ленты) в синей сумке. Достигнув успеха под руководством королевского адвоката, он получает от него в подарок красную сумку, которая служит символом признания профессиональной состоятельности.

бираясь сказать: «…стать адвокатом?», но также и: «должен был вести себя сдержаннее с официантом?»

— Что должен был? — спросила Сара, наклоняясь к нему. За уличным шумом она не расслышала.

Говорить было невозможно, но, во всяком случае, неприятный осадок от того, что он вышел из себя, постепенно таял. Легкое покалывание совести давало себя знать все меньше. Но вдруг оно возобновилось с новой силой: Мартин увидел нищую, продававшую фиалки. И этот негодяй, подумал он, остался без чаевых из-за того, что обманул меня… Он сосредоточил взгляд на почтовом ящике. Затем посмотрел на автомобиль. Удивительно, как быстро все привыкли к экипажам без лошадей, подумал он. Раньше они смотрелись так нелепо. Они прошли мимо женщины, продававшей фиалки. Ее шляпка была надвинута на лицо. Мартин бросил на ее поднос шестипенсовик — во искупление вины перед официантом. Он помотал головой. Фиалок не надо. К тому же они увядшие. Но он успел разглядеть ее лицо. Там не было носа. Оно было изборождено белыми рубцами, а посередине виднелись красные ободки ноздрей. Женщина была

безносая и надвинула шляпку, чтобы скрыть это.

— Давай перейдем, — быстро сказал Мартин. Он взял Сару за руку и провел ее между омнибусов. Должно быть, она видит такое часто. Как и он. Но вместе — это совсем другое.

Они ступили на противоположный тротуар.

— Сядем в омнибус, — сказал Мартин. — Идем.

Он взял ее за локоть, чтобы она шла быстрее. Но это было невозможно: дорогу перегородила телега, по тротуару сновали люди. Впереди уже вздымался Чаринг-Кросс. Мужчин и женщин засасывало внутрь, как воду между быков моста. Пришлось остановиться. Мальчишки-газетчики стояли с плакатами у ног. Люди покупали газеты; одни задерживались, другие хватали газеты на ходу. Мартин тоже купил газету, теперь он держал ее в руке.

— Подождем здесь, — сказал он. — Омнибус придет.

Старая соломенная шляпка с розовой лентой, думал он, раскрывая газету. Образ женщины стоял у него перед глазами. Он поднял голову.

— Вокзальные часы всегда спешат, — успокоил он мужчину, торопившегося на поезд. Всегда спешат, повторил он про себя, раскрывая газету. Но никаких часов не было.

Он стал читать сообщения из Ирландии. Омнибусы один за другим останавливались и вновь отъезжали. Сосредоточиться на сообщениях из Ирландии было трудно. Мартин поднял голову.

— Это наш, — сказал он, когда подошел нужный им номер.

Они забрались на второй этаж и сели бок о бок над водителем.

— Два до Гайд-Парк-Корнер, — сказал Мартин, протягивая горсть мелочи, и стал дальше просматривать вечернюю газету. Но это был только первый выпуск. — Ничего интересного, — Мартин сунул газету под сиденье. — А теперь… — начал он, набивая трубку. Омнибус гладко катил вниз по склону Пикадилли. — Здесь был завсегдатаем мой отец, — перебил он себя, указав трубкой на окно Клуба. — А теперь, — он зажег спичку, — теперь, Салли, ты можешь говорить что угодно. Никто не слышит. Скажи что-нибудь, — он бросил спичку на мостовую, — что-нибудь значительное.

Мартин повернулся к ней лицом. Он хотел, чтобы она говорила. Они то съезжали вниз, то взмывали вверх. Он хотел, чтобы говорила она, иначе придется говорить ему. А что он может сказать? Он давно похоронил свои чувства. Но

какое-то ощущение осталось. Он хотел, чтобы она его высказала, однако она молчала. Если скажу я, она подумает про меня, будто…

Он посмотрел на нее. Солнечные блики горели на окнах больницы Святого Георгия. Сара взирала на нее с восхищением. Но почему с восхищением? — думал Мартин, когда омнибус остановился и они выходили из него.

По сравнению с утром сцена немного изменилась. Часы в отдалении били три часа. Автомобилей прибавилось, стало больше женщин в светлых летних платьях, больше мужчин во фраках и серых цилиндрах. Начиналось шествие через ворота в парк. Все выглядели празднично. Даже юные помощницы портних с картонными коробками имели такой вид, будто участвовали в неком торжестве. По краю Роттен-Роу[127] были выставлены зеленые стулья. На них сидели люди, они оглядывались вокруг так, словно были зрителями на спектакле. По Роттен-Роу легким галопом двигались всадники; они доезжали до конца, осаживали лошадей и поворачивали обратно. Ветер дул с запада, неся по небу белые облака с золотистыми прожилками. Лазурью и

[127] Примечания: 127
Роттен-Роу — широкая аллея в Гайд-парке, вымощенная гравием.

золотом сияли окна на Парк-Лейн.

Мартин быстро вышел из омнибуса.

— Идем, — сказал он. — Пошли, пошли!

Я молод, думал он. Я в расцвете сил. В воздухе терпко пахло землей. Даже в парке чувствовался аромат весны, сельских просторов.

— Как я люблю… — громко начал Мартин и оглянулся. Он говорил с пустотой. Сара отстала и завязывала шнурок на ботинке. Мартину показалось, будто он спускался по лестнице и промахнулся мимо ступеньки. — Каким дураком себя чувствуешь, когда говоришь сам с собой, — сказал он, подходя к ней. Она простерла руку и сказала:

— Посмотри, все так делают.

В их сторону шла женщина средних лет. Она разговаривала сама с собой. Ее губы шевелились, а рука жестикулировала.

— Это все весна, — сказал Мартин, когда та прошла мимо.

— Нет. Однажды я пришла сюда зимой, — возразила Сара. — И увидела негра, который смеялся на снегу.

— На снегу, — сказал Мартин. — Негр.

Солнце ярко освещало траву. Сара и Мартин шли мимо клумбы, на которой росло множество

разноцветных, кудрявых и глянцевых гиацинтов.

— Не будем о снеге, — сказал Мартин. — Давай лучше…

Молодая женщина катила детскую коляску, и Мартину в голову вдруг пришла мысль.

— О Мэгги, — сказал он. — Расскажи о ней. Я не видел ее с тех пор, как у нее родился ребенок. И с французом я не знаком. Как его зовут? Рене?

— Ренни, — сказала Сара. Она все еще находилась под влиянием вина, и текучего воздуха, и проходящих мимо людей. Мартин чувствовал ту же рассеянность, но хотел избавиться от нее.

— Да. Что он за человек, этот Рене? Ренни.

Он произнес имя сначала на французский лад, а потом как она, на английский. Он хотел растормошить ее. И взял ее под руку.

— Ренни! — повторила Сара. Она откинула голову назад и рассмеялась. — Так, сейчас. Он носит красный галстук в белый горошек. Глаза темные. Он берет апельсин — например, за ужином — и говорит, глядя тебе в глаза: «Этот фр-рукт, Сар-ра…» — Она произнесла «р», грассируя, и замолчала. — Вот еще один говорит сам с собой, — сказала она. К ним шел молодой человек в наглухо застегнутом пиджаке — как будто он

был без рубашки. Он бормотал на ходу и сердито посмотрел на Мартина и Сару, поравнявшись с ними.

— Так что же Ренни? — напомнил Мартин. — Мы говорили о Ренни. Он берет апельсин…

— …и наливает себе бокал вина, — продолжила Сара. — «Наука — религия будущего!» — провозгласила она, выставив руку, как будто в ней был бокал с вином.

— Вина? — удивился Мартин. Слушая вполуха, он представил себе респектабельного французского профессора, к портрету которого он теперь должен был добавить неуместный бокал вина.

— Да, вина, — подтвердила Сара. — Его отец был торговцем. Чернобородый бордоский купец. Однажды, — продолжила она, — в детстве, он играл в саду, и в оконное стекло постучали изнутри дома. «Не шуми так. Играй подальше», — сказала женщина в белом чепце. Его мать тогда умерла… А еще он боялся сказать отцу, что его лошадь велика для него… И его послали в Англию…

Она перепрыгнула через ограду.

— И как все вышло? — спросил Мартин, присоединяясь к ней. — Они стали встречаться?

Сара не ответила. Мартин хотел, чтобы она объяснила, почему Мэгги и Ренни поженились.

Он ждал, но она молчала. Что ж, она вышла за него, и они счастливы, подумал он. На мгновение он почувствовал укол ревности. В парке было множество прогуливающихся парочек. Все было словно пропитано свежестью и сладостными ароматами. Воздух мягко овевал их лица. Он был наполнен шепотами, шелестом ветвей, шорохом колес, лаем собак, звучавшими то и дело трелями дрозда.

Вот мимо прошла женщина, говорившая сама с собой. Когда они посмотрели на нее, она повернулась и свистнула, как свистят собаке. Но собака, которой она свистела, была чужой и побежала в другую сторону. А дама поспешила дальше, поджав губы.

— Люди не любят, чтобы на них смотрели, — сказала Сара, — когда они разговаривают сами с собой.

Мартин встряхнулся.

— Гляди-ка, — сказал он. — Мы идем не туда.

До них донеслись голоса.

Они ошиблись направлением и оказались около вытоптанной площадки, на которой собирались ораторы. Митинги шли полным ходом, вокруг выступавших стояли группы людей. Взобравшись на трибуны, иногда — просто на ящики,

ораторы разглагольствовали вовсю. Голоса звучали громче и громче по мере приближения к ним.

— Давай послушаем, — сказал Мартин.

Тощий человек с грифельной доской в руке стоял, наклонившись вперед. Они услышали, как он сказал:

— Леди и джентльмены… — Мартин и Сара остановились около него. — Посмотрите на меня внимательно.

Они посмотрели.

— Не бойтесь, — сказал он, согнув указательный палец. У него была вкрадчивая манера говорить. Он перевернул доску. — Я похож на еврея? — Он опять перевернул доску и посмотрел на нее с другой стороны. Уже уходя, они услышали, как он сказал, что его мать родилась в Бермондси, а отец — на острове…

Голос затих в отдалении.

— А как тебе этот? — спросил Мартин. Он имел в виду крупного мужчину, колотившего рукой по перилам своей трибуны.

— Сограждане! — кричал он.

Мартин и Сара остановились. Толпа, состоявшая из бродяг, посыльных и нянек, взирала на него пустыми глазами, открыв рты. Мужчина с крайним презрением повел рукой в сторону про-

езжавших мимо автомобилей. Из-под его жилета выбился край рубашки.

— Спрраведливость и свобода! — повторил Мартин его слова.

Кулак говорившего бился о перила. Мартин и Сара послушали. Вскоре все пошло по новому кругу.

— Впрочем, оратор он прекрасный, — сказал Мартин, отворачиваясь. Голос отдалился. — Так, а что говорит та пожилая дама? — Они пошли дальше.

Аудитория пожилой дамы была весьма немногочисленна. Ее речь едва можно было расслышать. Она держала в руке маленькую книжечку и говорила что-то о воробьях. Однако вскоре ее голос стал напоминать прерывистый свист тонкой дудочки. Ее принялась передразнивать ватага мальчишек.

Мартин и Сара слушали ее недолго. Затем Мартин опять отвернулся.

— Идем, Сэл, — сказал он, положив руку ей на плечо.

Голоса звучали все глуше и глуше, наконец и вовсе затихли. Мартин и Сара брели по гладкому склону, который поднимался и спускался, как огромный покров из зеленой ткани, расчерчен-

ной прямыми коричневыми линиями тропинок. На траве резвились большие белые собаки, за деревьями блистали воды Серпантина, здесь и там на них виднелись маленькие лодочки. Респектабельность парка, сияние воды, извивы и изгибы, вся композиция ландшафта — точно его кто-то спроектировал[128] — благотворно действовали на Мартина.

— Спрраведливостъ и свобода, — опять пробормотал он, когда они подошли к кромке воды и остановились посмотреть, как чайки белыми крыльями режут воздух на острые треугольники.

— Ты согласна с ним? — спросил Мартин, взяв Сару за руку, чтобы растормошить ее: она шевелила губами, говоря сама с собой. — С тем толстяком, который махал рукой.

Сара вздрогнула.

— Ой-ой-ой! — воскликнула она, подражая жаргону кокни.

Да, подумал Мартин, когда они пошли дальше. Ой-ой-ой-ой. Вот именно. Таким, как он, ни справедливости, ни свободы не достанется, если будет так, как хочет толстяк, — и красоты тоже.

---

[128] Примечания: 128

Гайд-парк складывался постепенно (с 1630-х гг.), а не по заранее созданному проекту.

— А с бедной старушкой, которую никто не слушал? Она говорила о воробьях…

У Мартина перед глазами все еще стояли тощий человек, назидательно скрючивший палец; толстяк, так сильно размахивавший руками, что было видно его подтяжки, и старушка, пытавшаяся перекричать улюлюканье и свист. В этом зрелище перемешались смешное и трагичное.

Но вот и ворота Кенсингтон-Гарденз. У тротуара длинной вереницей выстроились автомобили и конные экипажи. Полосатые зонтики были раскрыты над круглыми столиками, за которыми сидели люди, ожидавшие чая. Официантки сновали с подносами. Сезон начался. Картина была весьма жизнерадостная.

Модно одетая дама, в шляпке с лиловым пером, ниспадающим набок, сидела, поклевывая мороженое. Солнце освещало столик пятнами, отчего женщина казалась полупрозрачной, как будто она запуталась в световой сети, как будто состояла из текуче-разноцветных ромбов. Мартину показалось, что он знает ее. Он приподнял шляпу. Но женщина сидела, глядя перед собой, и ела мороженое. Нет, подумал Мартин, он не знает ее. Он остановился, чтобы раскурить трубку. Каким был бы мир, спросил он себя — он все еще думал о

толстяке, размахивавшем рукой, — каким был бы мир без моего «Я»? Он зажег спичку и стал смотреть на пламя, почти невидимое в солнечном свете. Затем он принялся раскуривать трубку. Сара шла дальше. Вскоре она тоже попала в живую сеть лучей, проникавших между листьями. Весь вид был точно пропитан первобытной чистотой. Птицы то и дело принимались чирикать среди ветвей, гул Лондона окружал пространство парка отдаленным, но сплошным кольцом. Розовые и белые соцветия каштанов качались вверх-вниз под ветерком. Солнечные пятна, испещрявшие листья, отнимали вещественность у всего вокруг, как будто мир состоял из разрозненных световых точек. Сознание Мартина тоже было точно размыто. Несколько мгновений там не было ни одной мысли. Наконец он встряхнулся, бросил спичку и нагнал Салли.

— Идем! — сказал он. — Идем… Круглый пруд в четыре!

Они молча пошли под руку по длинной аллее, в конце которой виднелись дворец и призрачная церковь[129]. Было впечатление, будто нормальный человеческий рост вдруг уменьшился:

---

[129] Примечания: 129

Имеется в виду Кенсингтонский дворец (королевская резиденция с 1689 по 1760) и, скорее всего, аббатство Св. Марии.

теперь вокруг было больше детей, чем взрослых. Также изобиловали собаки всех пород. Воздух был наполнен лаем и пронзительными криками. Многочисленные няньки катили коляски по дорожкам. В них крепко спали дети, похожие на кукол из блекло раскрашенного воска. Их безупречно гладкие веки так плотно облегали глаза, будто приросли к ним и запечатали их навсегда. Мартин заглянул в коляску. Он любил детей. Вот так выглядела Салли, когда он впервые увидел ее, — она спала в коляске в передней дома на Браун-стрит.

Мартину пришлось резко остановиться. Они дошли до Круглого пруда.

— Где же Мэгги? — спросил он. — Вон там — не она? — Он указал на молодую женщину под деревом, которая вынимала ребенка из коляски.

— Где? — Сара посмотрела не в ту сторону.

Он указал опять:

— Вон, под тем деревом.

— Да, — сказала она. — Это Мэгги.

Они пошли туда.

— Точно она? — Мартин вдруг засомневался: женщина явно не замечала, что на нее смотрят, и поэтому казалась незнакомой. Одной рукой она держала ребенка, а другой поправляла подушки в

коляске. Она тоже была покрыта текучими световыми ромбами. — Да, — сказал Мартин, заметив какой-то жест, — это Мэгги.

Она обернулась и увидела их.

И подняла руку, давая знак, чтобы они подходили тихо. Она поднесла палец к губам. Мартин и Сара молча приблизились. В этот момент ветерок принес далекий бой часов. Один, два, три, четыре раза ударили они… И умолкли.

— Мы встретились у Святого Павла, — прошептал Мартин. Он придвинул два стула и сел. Некоторое время никто не говорил. Ребенок не спал. Затем Мэгги наклонилась, чтобы взглянуть на него.

— Можно не шептать, — громко сказала она. — Он спит.

— Мы встретились у Святого Павла, — повторил Мартин обычным голосом. — Я ходил к своему маклеру. — Он снял шляпу и положил ее на траву. — Выхожу, а тут Салли. — Он посмотрел на нее. Он вспомнил, что она так и не сказала ему, о чем думала, когда стояла на ступенях Святого Павла и шевелила губами.

Теперь она зевала. Вместо того чтобы сесть на жесткий зеленый стул, который он для нее придвинул, она опустилась на траву. Она сложилась,

как кузнечик, прижавшись спиной к дереву. Молитвенник с красно-золотым обрезом лежал на земле, осененный трепещущими травинками. Сара зевнула и потянулась. Ее клонило в сон.

Мартин поставил свой стул рядом со стулом Мэгги и предался созерцанию ландшафта.

Он был удивительно гармоничен. На фоне зеленого берега выделялась белая статуя королевы Виктории, за ней высилась краснокирпичная стена старого дворца; призрачная церковь устремила свой шпиль в небо, а Круглый пруд сиял голубизной. На нем соревновались яхты. Суденышки накренились так сильно, что паруса касались воды. Дул легкий ласковый ветерок.

— О чем же вы говорили? — спросила Мэгги.

Мартин не мог вспомнить.

— Она наклюкалась, — сказал он, указав на Сару. — А теперь засыпает.

Он сам чувствовал себя сонным. Солнце — впервые в этом году — начало припекать ему голову.

Наконец он ответил на вопрос:

— Обо всем на свете. О политике, религии, морали.

Он зевнул. Чайки кричали, взмывая и снижаясь вокруг женщины, кормившей их. Мэгги наблюдала за птицами. Мартин посмотрел на нее.

— Я не видел тебя, — сказал он, — с тех пор как родился ребенок.

Материнство изменило ее, подумал он. В лучшую сторону. Но она следила за чайками. Женщина бросила им горсть рыбы. Чайки вились и вились вокруг ее головы.

— Тебе нравится иметь ребенка? — спросил Мартин.

— Да, — сказала она, стряхнув оцепенение. — Хотя это обуза.

— Но ведь приятно иметь такую обузу, правда?

Мартин любил детей. Он посмотрел на ребенка, спавшего с запечатанными глазами и держа большой палец во рту.

— Ты хочешь иметь детей?

— Именно этот вопрос я себе и задавал перед тем, как…

Тут Сара слегка булькнула горлом во сне; Мартин понизил голос до шепота.

— Перед тем, как встретился с ней, — закончил он.

Помолчали. Ребенок спал, Сара спала. Присутствие двоих спящих как будто приблизило Мартина и Мэгги друг к другу, заключило в тесный круг уединения. Две яхты неслись друг другу наперерез, казалось, они сейчас столкнутся, но од-

на прошла перед самым носом у второй. Мартин наблюдал за ними. Жизнь вернулась в обычные измерения. Все опять оказалось на своих местах. Яхты плавали, люди гуляли; мальчишки, брызгаясь водой, ловили мелкую рыбешку. Подернутые рябью воды пруда лучились голубизной. Во всем сквозила живительная сила весны.

Вдруг он громко произнес:

— Все зло в чувстве собственности.

Мэгги посмотрела на него. Он имеет в виду ее? Ее и ребенка? Нет. В его голосе прозвучала нота, по которой она поняла, что он думает не о ней.

— О чем ты думаешь? — спросила Мэгги.

— О женщине, с которой у меня роман, — ответил Мартин. — Любовь должна прекращаться с обеих сторон — тебе не кажется? — одновременно. — Он говорил, не делая никакого ударения на словах, чтобы не разбудить спящих. — Но так не получается, в этом все зло, — добавил он тем же тихим голосом.

— Тебе надоело? — шепотом спросила Мэгги.

— Смертельно, — сказал Мартин. — Смертельно надоело. — Он замолчал и поднял камешек из травы.

— И ты ревнуешь? — Мэгги говорила очень тихим и мягким голосом.

— Чудовищно, — прошептал Мартин. Это была правда, раз уж она об этом заговорила. Ребенок начал просыпаться и вытянул одну ручку. Мэгги стала качать коляску. Зашевелилась и Сара. Их уединение было под угрозой. Мартин почувствовал, что оно может быть разрушено в любое мгновение, тогда как ему хотелось поговорить.

Он посмотрел на спящих. Глаза ребенка были закрыты, у Сары — тоже. Их с Мэгги уединение пока вроде бы сохранялось. Тихим голосом, не выделяя никаких слов, он рассказал ей о себе и об этой женщине, как она хотела привязать его к себе, а он хотел быть свободным. Обычная история, но у него она вызывала боль и множество разнородных чувств. Впрочем, рассказав все, он как будто вытащил жало. Посидели молча, глядя вперед.

На пруду начиналась еще одна гонка. На берегу сидели на корточках мужчины, у каждого в руке был шестик, которым он держал на воде игрушечный кораблик. Сцена была трогательная, веселая, невинная и немного нелепая. Дали сигнал, кораблики отплыли. Неужели он, думал Мартин, глядя на спящего ребенка, пройдет через то же самое? Он имел в виду свою ревность.

— У моего отца, — произнес он внезапно, но

по-прежнему тихо, — была женщина… Она звала его «Букой».

И Мартин поведал Мэгги о женщине, содержавшей пансион в Патни[130], — весьма респектабельной даме, к тому же растолстевшей, которая просила помочь ей с починкой крыши. Мэгги засмеялась, но очень тихо, чтобы не разбудить ребенка и Сару. Оба спали без задних ног.

— Он был влюблен, — спросил Мартин, — в твою мать?

Мэгги смотрела на чаек, чертивших линии на лазури. Его вопрос как будто утонул в том, что она видела. Затем смысл вдруг дошел до нее.

— В смысле, не один ли у нас отец? — Она громко рассмеялась. Ребенок открыл глаза и разжал кулачки.

— Мы его разбудили, — сказал Мартин.

Ребенок заплакал. Мэгги пришлось успокаивать его. Уединение кончилось. Ребенок плакал; вскоре начали бить часы. Их удары мягко доносил ветерок. Один, два, три, четыре, пять…

— Пора идти, — сказала Мэгги, когда затих последний удар. Она уложила ребенка обратно на подушку и повернулась. Сара все еще спала. Она

---

[130] Примечания: 130

Патни — богатый пригород Лондона.

лежала свернувшись калачиком, спиной к дереву. Мартин наклонился и швырнул в нее веточку. Сара открыла глаза, но тут же опять закрыла.

— Не надо! — застонала она, вытягивая руки над головой.

— Пора, — сказала Мэгги.

Сара поежилась.

— Уже пора? — вздохнула она. — Как странно… — добавила она шепотом, села и протерла глаза. — Мартин! — воскликнула она.

Он стоял над ней, в своем синем костюме, с тростью в руке. Она смотрела на него так, как будто его вид вернул ей зрение.

— Мартин! — повторила Сара.

— Да, Мартин! — откликнулся он. — Ты слышала, что мы говорили?

— Голоса, — зевнула она, помотав головой. — Только голоса.

Мартин помолчал, глядя на нее.

— Ну, я отбываю, — сказал он, беря шляпу. — Ужинать у кузины на Гроувнер-сквер.

Он повернулся и пошел прочь.

Немного отойдя, он обернулся. Мэгги и Сара все так же сидели у коляски под деревьями. Он пошел дальше. Затем обернулся опять. Теперь деревья скрылись за склоном. Очень полную женщину

тащила по тропинке собака на поводке. Сестер уже не было видно.

Час или два спустя, когда Мартин ехал через парк, солнце садилось. Ему казалось, что он забыл что-то сделать, но что именно — не мог вспомнить. Перед его глазами проходили пейзажи, один заслонял и сменял другой. Сейчас он ехал по мосту через Серпантин. Вода отражала закат, и одновременно ее освещали неровные лучи фонарей. Композицию завершал белый мостик. Экипаж въехал под тень деревьев и присоединился к длинной веренице экипажей, двигавшихся к Мраморной арке. Люди в вечерних нарядах направлялись в театры и на приемы. Свет становился все желтее и желтее. Дорога была укатана до серебряно-металлического блеска. Все выглядело празднично.

Я опоздаю, подумал Мартин: экипаж попал в затор у Мраморной арки. Он посмотрел на свои часы — было полдевятого. Но полдевятого означает без четверти, сказал себе он, когда экипаж тронулся. И правда, когда он свернул на площадь, у подъезда стоял автомобиль, из которого выходил мужчина. Значит, я как раз вовремя, рассудил Мартин и заплатил извозчику.

Дверь открылась в тот самый момент, когда он прикоснулся к звонку, как будто он наступил на пружину. Дверь открылась, и два лакея шагнули навстречу, чтобы взять его вещи, как только он вошел в устланную черно-белой плиткой переднюю. Третий лакей повел его по дуге роскошной беломраморной лестницы. На стене висели в ряд большие темные картины, а на верхней площадке, у двери — желто-голубое полотно, изображавшее венецианские дворцы и бледно-зеленые каналы.

«Каналетто или его школа?» — подумал Мартин, пропуская вперед другого гостя. Затем он назвался лакею.

— Капитан Парджитер! — громогласно объявил тот.

У входа стояла Китти. Она была в модном вечернем платье, со слегка подкрашенными губами. Она подала ему руку, но он, не задержавшись, прошел дальше, поскольку прибывали другие гости. «Похоже на вокзал», — заметил он про себя, потому что гостиная, с люстрами, желтыми стенными панелями, диванами и часто расставленными стульями, напоминала просторный зал ожидания. Уже собралось человек семь-восемь. В этот раз не подействует, подумал Мартин,

беседуя с хозяином дома, который вернулся со скачек. Лицо того сияло так, будто минуту назад он жарился под солнцем. На лбу виднелась красная полоска от шляпы. Ему вполне подошли бы темные очки, висящие на шее, подумал Мартин. Нет, не подействует, повторил он про себя, когда они говорили о лошадях. Он слышал, как внизу, на улице, кричал продавец газет, гудели рожки. Он сохранял ясное понимание сути разных предметов и различий между ними. Когда прием удавался, «действовал», все предметы, все звуки сливались воедино. Мартин посмотрел на пожилую даму с клиновидным землистым лицом, которая, уютно устроившись, сидела на диване. Рядом висел портрет Китти, написанный модным художником. Мартин то и дело поглядывал на него, перенося вес то на одну ногу, то на другую и продолжая разговаривать с седым джентльменом с изысканными манерами и глазами кровяной гончей, за которого вышла Китти, вместо того чтобы стать женой Эдварда. Затем подошла сама Китти и представила его девушке в белом, которая одиноко стояла, положив руку на спинку стула.

— Мисс Энн Хильер, — сказала Китти. — Мой кузен, капитан Парджитер.

Она ненадолго задержалась рядом с ними, чтобы помочь их знакомству. Но, как всегда, она была слегка скованна и только стояла, помахивая веером.

— Ты была на скачках, Китти? — спросил Мартин. Он знал, что она терпеть не может скачки, но ему всегда нравилось дразнить ее.

— Я? Нет, я не хожу на скачки, — довольно сухо ответила она. И удалилась, потому что заметила вновь прибывшего гостя — человека в мундире с золотым галуном и звездой[131].

Лучше бы я остался дома, подумал Мартин, читал бы книгу.

— Вы бывали на скачках? — громко спросил он девушку, которую ему предстояло проводить к столу. Она отрицательно покачала головой. У нее были белые руки, белое платье и жемчужное ожерелье. Абсолютная девственность, сказал себе Мартин, а я всего час назад лежал в чем мать родила на Эбери-стрит.

— Мне доводилось смотреть поло, — сказала она.

Мартин посмотрел на свои туфли и заметил на них морщинки. Они были старые. Он собирался

---

[131] Примечания: 131

Звезда — символ принадлежности к рыцарскому ордену.

купить новую пару, но забыл. Вот что я забыл, подумал он, вспомнив, как ехал в наемном экипаже по мосту через Серпантин.

Однако пора было спускаться к ужину. Мартин предложил девушке свою руку. Идя вниз по лестнице и глядя, как перед ними ползут со ступеньки на ступеньку шлейфы дамских платьев, он подумал: «О чем же мне говорить с ней?» Затем они прошли по черно-белым квадратам и оказались в столовой. Комната была искусно декорирована; картины освещались снизу длинными лампами в колпаках; накрытый стол сиял. Однако свет ниоткуда не бил в глаза. Если не подействует, подумал Мартин, глядя на ярко освещенный портрет вельможи в малиновом плаще и со звездой, то я не пойду больше никогда. Затем он заставил себя начать беседу с непорочной девицей, сидевшей рядом с ним. Однако ему пришлось отвергнуть почти все темы, которые приходили в голову: она была слишком молода.

— У меня есть три темы для разговора, — откровенно начал он, не придумав даже, как закончит фразу. — Скачки, русский балет и… он мгновение поколебался, — Ирландия. Что вам интересно?

Он разложил свою салфетку.

— Пожалуйста, — проговорила она, чуть к нему

наклонившись, — повторите, что вы сказали.

Он засмеялся. У нее была очаровательная манера чуть склонять голову набок, приближаясь к собеседнику.

— Оставим эти темы, — сказал Мартин. — Поговорим о чем-нибудь интересном. Вам нравятся приемы?

Девушка окунула свою ложку в суп. Подняв ее, она посмотрела на Мартина глазами, которые были похожи на блестящие камни под пленкой воды. Они похожи на кусочки стекла под водой, подумал он. Она была исключительно хороша собой.

— Но я была на приемах всего три раза в жизни! — сказала она, очаровательно хохотнув.

— Неужели! — воскликнул Мартин. — Этот, значит, третий. Или четвертый?

Он прислушался к звукам улицы. До него доносились только гудки автомобилей, но они отдалились и слились в один непрерывный гул. Прием начинал действовать. Он выставил свой бокал. Пока его наполняли, он подумал, что ему хочется, чтобы она сказала себе: «С каким приятным человеком я сидела рядом!» — когда сегодня будет ложиться спать.

— Это мой третий настоящий прием, — сказала

девушка, сделав ударение на слове «настоящий», что показалось Мартину слегка выспренним. Месяца три назад она еще сидела в детской, подумал он, и делала уроки.

— А я сегодня, бреясь, — сказал он, — решил, что больше никогда не пойду ни на один прием.

Это была правда. Он заметил пустое место на книжной полке и, задержав в воздухе руку с бритвой, подумал: «Кто взял биографию Рена?»[132] И захотел остаться дома, чтобы почитать в одиночестве. Но теперь… Какой кусочек может он отломить от своего огромного опыта, чтобы поделиться с ней?

— Вы живете в Лондоне? — спросила девушка.

— На Эбери-стрит, — сказал Мартин.

Она знала Эбери-стрит, потому что ездила по ней на вокзал Виктория, а на вокзал Виктория она ездила часто, потому что у ее семьи был дом в Сассексе.

— А скажите мне… — начал Мартин, почувствовав, что отчужденность преодолена, но тут она отвернулась, чтобы ответить на замечание мужчины, сидевшего с другой стороны. Мар-

---

[132] Примечания: 132

Кристофер Рен (1632–1723) — знаменитый английский архитектор, среди его многочисленных творений — собор Святого Павла и Гринвичская обсерватория.

тин был уязвлен. Вся конструкция, которую он выстраивал, словно играя в бирюльки, вдруг рухнула наземь. Энн говорила с тем мужчиной так, точно знала его всю жизнь. По его волосам будто прошлись граблями, и он был очень молод. Мартин сидел молча и смотрел на большой портрет напротив. Под ним стоял лакей, шеренга графинов заслоняла внизу складки плаща. Это третий граф или четвертый? — задумался Мартин. Восемнадцатый век он знал хорошо. Это четвертый граф, который удачно женился. Так или иначе, подумал Мартин, глядя на Китти, сидевшую во главе стола, Ригби более родовиты, чем мы. Он улыбнулся, мысленно одернув себя. Я вспоминаю о «родовитости», только когда ужинаю в подобных местах, подумал он. Он посмотрел на другой портрет — женщины в платье цвета морской волны. Знаменитый Гейнсборо. Однако в этот момент леди Маргарет, дама сидевшая слева, обратилась к нему.

— Я уверена, вы со мной согласитесь, капитан Парджитер, — сказала она, и он заметил, что перед тем, как назвать его, она пробежала глазами по его карточке, хотя они часто до этого встречались, — что это чудовищный поступок.

Она говорила с таким напором, что вилка в ее

руке казалась оружием, на которое она собиралась нанизать Мартина. Он окунулся в разговор. Речь, конечно, шла о политике, об Ирландии.

— Каково ваше мнение? — спросила она, потрясая вилкой. На мгновение он поддался иллюзии, будто и сам причастен к закулисью. Занавес опущен, огни горят, и он тоже находится за кулисами. Разумеется, это была иллюзия: они лишь бросали ему объедки со своего стола. Однако чувство было приятное — пока оно не растаяло. Он стал слушать. Теперь дама обращалась к респектабельному пожилому мужчине, сидевшему в конце стола. Мартин начал наблюдать за ним. В ответ на разглагольствования дамы тот надел на лицо маску бесконечно мудрого терпения. Занят он был перекладыванием трех хлебных корочек рядом со своей тарелкой — словно играл в таинственную игру, имевшую глубокий смысл. «Ну и что?» — как будто говорил он, перебирая пальцами не корочки, а судьбы человечества. Эта маска могла скрывать что угодно. Или ничто. Во всяком случае, она была преисполнена достоинства. Но леди Маргарет и его нанизала на свою вилку. Перед тем как заговорить, он поднял брови и отодвинул одну корочку в сторону. Мартин подался вперед, чтобы расслышать.

— Когда я был в Ирландии, — начал мужчина, — в тысяча восемьсот восьмидесятом году… — Он говорил очень просто; он предлагал им некое воспоминание; рассказ был безупречен и четко держал тему, не расплескивая по сторонам ни капли. Мужчина в свое время играл важную роль. Мартин внимательно слушал. Ему было интересно. Да, думал он, вот так все и идет, и идет… Он наклонился вперед, чтобы не упустить ни слова. Однако тут он почувствовал какое-то вмешательство. Энн повернулась к нему.

— Скажите, — попросила она, — кто это?

Она склонила голову на правый бок. Она явно полагала, что Мартин знает всех. Это польстило ему. Он посмотрел вдоль стола. Кто же это? Ведь он уже встречал этого человека. И видимо, тому здесь слегка не по себе.

— Я знаю его, — сказал Мартин. — Знаю…

У человека было довольно бледное толстое лицо. Он говорил очень быстро. А молодая замужняя женщина, к которой он обращался, кивала в ответ: «Понимаю, понимаю…» Однако на ее лице было заметно некоторое напряжение. Зря стараетесь, старина, хотелось сказать Мартину. Она ни понимает ни слова.

— Не могу вспомнить фамилию, — сказал он

вслух. — Но мы встречались. Постойте, где же? В Оксфорде или Кембридже?

Еле заметное приятное удивление отразилось во взгляде Энн. Она распознала разницу. Она объединила того человека и Мартина. Они не принадлежали к ее миру — отнюдь нет.

— Вы видели русский балет? — спросила она. Вероятно, она ходила на него со своим молодым человеком. И что же такое твой мир, думал Мартин, пока она изливала свой скудный запас эпитетов: «божественно», «поразительно», «восхитительно» и так далее. Тот самый *мир*? Он посмотрел вдоль стола. Так или иначе, никакой иной мир с ним не сравнится. К тому же это хороший мир: большой, щедрый, великодушный. И очень приятный на вид. Он переводил взгляд с лица на лицо. Ужин подходил к концу. Все выглядели так, будто их натерли замшей, как драгоценные камни. И все-таки благополучие шло из самой глубины, проступало сквозь грани. А камень был чистой воды, без какой-либо мути, сомнений. Тут рука лакея в белой перчатке, убиравшая тарелки, задела бокал с вином. Красные брызги попали на платье женщины. Но ни один ее мускул не дрогнул, она продолжала беседовать. Затем она непринужденно расправила на

пятне принесенную ей салфетку.

Вот что я люблю, подумал Мартин. Это его восхищало. А ведь она могла бы высморкаться в кулак, как торговка, если бы захотела. Однако Энн что-то говорила.

— А как она взлетает, — воскликнула она, подняв руку в очаровательном жесте, — и опускается! — Рука упала на колени.

— Восхитительно! — согласился Мартин. Он заметил, что перенял даже интонацию — у того молодого человека, по чьим волосам как будто прошлись граблями. — Нижинский восхитителен, — кивнул он. — Восхитителен.

— Моя тетя познакомила меня с ним на одном приеме, — сказала Энн.

— Ваша тетя? — громко переспросил Мартин.

Энн назвала известную фамилию.

— Так она ваша тетя?

Теперь все ясно. Вот, значит, каков ее мир. Он еще хотел спросить ее — потому что она показалась ему очаровательно юной и простой в общении, — но было уже поздно. Энн вставала.

— Надеюсь… — начал Мартин. Она наклонила к нему голову, как будто очень хотела остаться, уловить его последнее слово, его малейшее слово, но — не могла, поскольку уже встала леди Лассу-

эйд и ей пора было идти.

Леди Лассуэйд встала, все встали. Все платья — розовые, серые, цвета морской волны — распрямились, и какое-то мгновение высокая женщина, стоявшая у стола, была очень похожа на знаменитый портрет кисти Гейнсборо, висевший на стене. А стол, усеянный салфетками и винными бокалами, имел вид запустения. На минуту дамы столпились у двери, затем невысокая пожилая женщина в черном проковыляла мимо них с подчеркнутым достоинством, и Китти, покидавшая столовую последней, одной рукой обняла Энн за плечи и вывела ее. Дверь за дамами закрылась.

Китти секунду помедлила.

— Надеюсь, вам понравился мой пожилой кузен? — спросила она Энн, когда они вместе поднимались по лестнице. Проходя мимо зеркала, она что-то расправила на своем платье.

— Он очень мил! — воскликнула Энн. — Какое прелестное деревце! — Она отозвалась о Мартине и о дереве с одной и той же интонацией.

Они задержались, чтобы посмотреть на покрытое розовыми цветками дерево, стоявшее у двери в фарфоровом горшке. Одни цветы уже совсем распустились, другие были еще в бутонах. Пока женщины смотрели, с дерева упал лепесток.

— Жестоко держать его здесь, — сказала Китти, в такой жаре.

Они вошли в гостиную. Во время ужина слуги открыли раздвижные двери и зажгли в дальней комнате свет, поэтому казалось, что дамы вошли в помещение, только что подготовленное для них. В камине между двумя массивными подставками для дров ярко горел огонь. Но он скорее украшал гостиную и создавал уют, чем обогревал. Две или три дамы стояли у камина, протянув к огню руки и шевеля пальцами. Они подвинулись, чтобы пропустить хозяйку.

— Как мне нравится этот портрет, Китти! — сказала миссис Эйзлэби, глядя на портрет леди Лассуэйд в молодости. В то время ее волосы были ярко-рыжими, на картине она была изображена с корзиной роз. Она выглядела одновременно страстно и нежно, как бы появляясь из облака белого муслина.

Китти глянула на полотно и отвернулась.

— Свои портреты никогда не нравятся, — сказала она.

— Но ведь это вылитая вы! — возразила другая дама.

— Уже нет, — сказала Китти, неловко рассмеявшись комплименту. После ужина женщины

всегда обмениваются комплиментами по поводу платьев и внешности, подумала она. Она не любила оставаться среди женщин после ужина, потому что стеснялась их общества. Она стояла, выпрямившись, среди них, пока лакеи разносили на подносах кофе. — Кстати, надеюсь, вино… — она сделала паузу, чтобы взять кофе, — не слишком запачкало вам платье, Синтия? — Она обращалась к молодой замужней женщине, которая так хладнокровно восприняла эту неприятность.

— А платье такое прелестное, — сказала леди Маргарет, перебирая между большим и указательным пальцами складки золотого атласа.

— Вам нравится? — спросила молодая женщина.

— Просто прелесть! Я любуюсь на него весь вечер! — вступила миссис Трейер, женщина восточной внешности, у которой из прически торчало перо, гармонировавшее с ее еврейским носом.

Китти смотрела на почитательниц прелестного платья и думала: вот Элинор умеет избегать этого. Она отказалась от приглашения на ужин. Китти было досадно.

— Скажите, — перебила ее мысли леди Синтия, — кто это сидел рядом со мной? У вас в доме

всегда встречаешь таких интересных людей.

— Кто сидел с вами рядом? — Китти на секунду задумалась. — Тони Эштон.

— Тот, что читал лекции по французской поэзии в Мортимер-Хаузе? — вклинилась миссис Эйзлэби. — Я мечтала на них пойти. Говорят, удивительно интересно.

— Милдред ходила, — сказала миссис Трейер.

— Почему мы все стоим? — сказала Китти. Она сделала движение руками в сторону кресел. Она имела обыкновение производить такие жесты столь внезапно, что ее за глаза прозвали «гренадером».

Все разошлись в разные стороны, а сама Китти, проследив, как распределились пары, села рядом со своей старой тетушкой Уорбертон, которая была водружена в огромное кресло.

— Расскажи мне о моем дорогом крестнике, — попросила старуха. Она имела в виду среднего сына Китти, который служил во флоте и сейчас находился на Мальте.

— Он на Мальте… — начала Китти.

Она устроилась на низком стульчике и стала отвечать на вопросы. Но жар от камина был слишком силен для миссис Уорбертон. Она подняла свою узловатую старую руку.

— Пристли хочет зажарить нас, — сказала Китти.

Она встала и подошла к окну. Дамы улыбались, пока она шла через комнату и поднимала фрамугу. Раздвинув занавески, она мельком взглянула на площадь за окном. На мостовой тени от листьев смешивались с фонарным светом в пеструю сетку; всегдашний полицейский балансировал на своем посту; всегдашние мужчины и женщины, с высоты казавшиеся коротышками, спешили вдоль тротуарных ограждений. Утром, чистя зубы, Китти видела их так же спешащими, но в другую сторону. Затем она вернулась и села на низкий стульчик рядом с тетушкой Уорбертон. Старая жизнелюбка была по-своему искренна.

— А рыжий хулиган, которого я обожаю? — спросила она. Мальчик, учившийся в Итоне, был ее любимцем.

— Он набедокурил, — сказала Китти. — Его высекли. — Она улыбнулась. Он был и ее любимцем.

Старуха ухмыльнулась. Она питала слабость к мальчикам, которые бедокурят. У нее было желтое клиновидное лицо с редкими волосками на подбородке. Ей было за восемьдесят, но сидела она будто в седле охотничьей лошади, подума-

ла Китти, глядя на ее руки. Они были грубые, с утолщенными суставами; красные и белые искры играли на ее перстнях, когда она шевелила пальцами.

— Ну, а вы, моя дорогая, — спросила она, пронизывающе глядя на Китти из-под кустистых бровей, — как всегда, в делах?

— Да. Как обычно, — сказала Китти, избегая проницательных старых глаз, поскольку она втайне поделывала и то, что вон те дамы не одобрили бы.

Дамы болтали между собой. Хотя беседа звучала оживленно, для слуха Китти она была лишена сути. Дамы просто перебрасывались словами, точно воланом при игре в бадминтон, чтобы лишь скоротать время до того момента, когда откроется дверь и войдут мужчины. Тогда они умолкнут. Сейчас же они обсуждали дополнительные выборы. Китти слышала, как леди Маргарет рассказала историю, которая, вероятно, была грубовата — в духе восемнадцатого века, — судя по тому, как она понизила голос.

— …перевернул ее и отшлепал, — донеслось до Китти. Последовал смех, похожий на щебет.

— Я так рада, что он попал в парламент, несмотря на них, — сказала миссис Трейер. Все говорили

вполголоса.

— Я надоедливая старуха, — сказала тетушка Уорбертон, прикоснувшись узловатой рукой к плечу Китти. — Но теперь я попрошу вас закрыть это окно. — Сквозняк добрался до ее ревматического сустава.

Китти направилась к окну. «Будь прокляты эти женщины!» — сказала она про себя. Она взяла длинный шест с клювом на конце, стоявший у окна, и ткнула им в створку. Но окно заклинило. Китти хотелось бы сорвать с них наряды, драгоценности, интриги, сплетни. Окно захлопнулось. Энн стояла в сторонке, ей было не с кем говорить.

— Идите, побеседуйте с нами, Энн, — сказала Китти, подзывая ее рукой. Энн придвинула низкую скамеечку и села у ног тетушки Уорбертон. Последовала пауза. Престарелая миссис Уорбертон не любила юных девиц; однако у них были общие родственники.

— Где сейчас Тимми, Энн? — спросила она.

— В Хэрроу, — сказала Энн.

— Ах да, ваших всегда отдавали в Хэрроу, — сказала тетушка. Затем старуха, демонстрируя благородные манеры, заменявшие человеческую теплоту, польстила девушке, сравнив ее с ее баб-

кой, известной красавицей.

— Мне так жаль, что я не знала ее! — воскликнула Энн. — Расскажите — какая она была?

Старая дама начала отбирать воспоминания, создавая именно корпус избранного, текст со звездочками на месте пропусков, потому что полностью он едва ли предназначался для ушей девушки в белом атласе. Мысли Китти потекли в другом направлении. Если Чарльз надолго задержится внизу, думала она, глядя на настенные часы, то она опоздает на поезд. Можно ли доверить Пристли несколько слов, которые следует шепнуть ему на ухо? Она даст им еще десять минут. Китти вновь повернулась к тетушке Уорбертон.

— Наверное, она была чудесная! — говорила Энн. Она сидела, обхватив руками колени и глядя в глаза бородатой старой вдовы. На мгновение Китти почувствовала жалость. Ее лицо станет таким же, как у них, подумала она, посмотрев на группу людей в другом конце комнаты. Их лица выглядели утомленно, тревожно, их руки постоянно двигались. И все же это смелые люди, и великодушные. Они дают не меньше, чем берут. Какое право имеет Элинор презирать их? Разве она больше сделала в жизни, чем Маргарет

Мэррабл? Или я? — думала Китти. Или я… Кто прав? Кто заблуждается?.. Но тут пришло спасение — открылась дверь.

Вошли мужчины. Они появились как бы нехотя, весьма неторопливо, словно только что прекратили разговор, вынужденные взять курс на гостиную. Они слегка раскраснелись и еще посмеивались — видимо, беседа прервалась на середине. Они вошли вереницей, и благородного вида старик прошествовал через комнату, похожий на корабль, входящий в порт, и все дамы зашевелились на своих местах. Игра закончилась, волан и ракетки были отложены в сторону. Они похожи на чаек, высмотревших рыбу, думала Китти. Кто-то вспорхнул, кто-то хлопал крыльями. Величественный мужчина медленно опустился в кресло рядом со своей старой знакомой леди Уорбертон. Он сцепил пальцы и начал: «Итак…» — будто собирался продолжить беседу, прерванную накануне. Да, подумала Китти, в этой престарелой паре что-то есть такое — человечное? устоявшееся? — она не могла найти нужного слова — как будто они вели свой разговор последние пятьдесят лет… Все увлеченно разговаривали. У них была важная задача: добавить очередную фразу к повествова-

нию, которое должно было вот-вот закончиться, или находилось в середине, или только собиралось начаться.

Однако Тони Эштон стоял в одиночестве, не имея возможности прибавить к этому повествованию ни слова. Поэтому Китти подошла к нему.

— Вы давно видели Эдварда? — спросил он ее, как обычно.

— Нет, сегодня, — сказала Китти. — Я обедала с ним. Мы погуляли в парке… — Она замолчала. Они гуляли в парке. Там пел дрозд, и они остановились послушать. «Умный дрозд поет свою песню дважды…»[133] — сказал он. «Правда?» — невинно спросила она. А это была цитата.

Она почувствовала себя глупой. Оксфорд всегда заставлял ее чувствовать себя глупой. Она питала к Оксфорду неприязнь, однако Эдварда уважала, и Тони тоже, подумала она, глядя на него. На вид — сноб, внутри — ученый… У них есть принципы… Впрочем, пора было вернуться к настоящему.

Она хотела поговорить с какой-нибудь умной женщиной — миссис Эйзлэби или Маргарет Мэрабл. Но обе были заняты, обе весьма энергично

---

[133] Примечания: 133

Строка из стихотворения английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889) «Мысли о доме, пришедшие за границей» (1845).

нанизывали фразы. Повисла пауза. Я плохая хозяйка, подумала Китти. Такие запинки происходили на ее приемах всегда. Так, Энн. Ее сейчас займет знакомый ей молодой человек. Однако Китти подозвала ее. Энн подошла — сразу же и покорно.

— Идемте, я вас представлю мистеру Эштону, сказала Китти. — Он читал лекции в Мортимер-Хаузе, — объяснила она. — Лекции о.... — Она заколебалась.

— О Малларме, — сказал Тони, издав скрипучий звук, как будто ему сдавили горло.

Китти обернулась. К ней подошел Мартин.

— Блистательный прием, леди Лассуэйд, — сказал он со своей всегдашней надоедливой иронией.

— Этот? Ерунда, — резко ответила Китти. Это вообще был не прием. Ее приемы никогда не бывали блистательными. Мартин, как обычно, пытался поддразнить ее. Она опустила взгляд и увидела его поношенные туфли. — Иди сюда, поговори со мной, — сказала Китти, почувствовав возвращение старинных родственных чувств.

Она с приятным удивлением заметила, что он слегка раскраснелся. Немного, как говорили няни, «воображает». Сколько еще «приемов»

понадобится, думала она, чтобы превратить ее насмешливого, бескомпромиссного кузена в покорного члена общества?

— Давай сядем и как следует поговорим, — сказала она, опускаясь на небольшой диванчик. Он сел рядом. — Расскажи, что поделывает Нелл? — спросила Китти.

— Передает тебе привет. Она велела сказать, что очень хотела тебя увидеть.

— Что же она не пришла? — удивилась Китти. Она чувствовала себя уязвленной и ничего не могла поделать.

— Не нашла подходящую заколку, — сказал Мартин со смешком, глядя на свои туфли. Китти тоже посмотрела на них. — Мои туфли, как видишь, не столь важны. Но ведь я мужчина.

— Это такая чепуха… — начала Китти. — Какая разница…

Однако смотрела она уже за Мартина, на группы великолепно одетых женщин; потом — на картину.

— Твой портрет над камином — жуткая мазня, — сказал Мартин, глядя на рыжеволосую девушку. — Кто его писал?

— Я забыла… Не будем туда смотреть, — ответила Китти. — Давай говорить… — Она осеклась.

Мартин обвел комнату взглядом. Она была полна людей; на маленьких столиках стояли фотографии, на изящных горках — вазы с цветами; стены были отделаны желтой парчой. Китти почувствовала, что он осуждает и гостиную, и ее саму.

— Мне все время хочется взять нож и содрать все это, — сказала Китти. Но что толку? — подумала она про себя. Если она уберет какую-нибудь картину, ее муж скажет: «А где дядя Билл на лошади?» — и придется вешать обратно. — Похоже на гостиницу, да?

— На вокзал, — сказал Мартин. Он сам не знал, зачем ему хочется уколоть ее; но ему хотелось, в этом сомнений не было.

— Я все удивляюсь, — он понизил голос, — зачем выставлять такие картины, — он кивнул на портрет, — если у тебя есть Гейнсборо…

— И зачем, — Китти тоже понизила голос, передразнивая его интонацию, в которой слышалась и издевка, и добродушный юмор, — приходить и есть их еду, если презираешь их?

— Вовсе нет! Ничуть! — воскликнул он. — Я получаю огромное удовольствие. Мне приятно тебя видеть, Китти. — Это была правда, Китти всегда была ему по душе. — Ты не забыла бедных

родственников. Очень любезно с твоей стороны.

— Это они забыли меня, — сказала Китти.

— А, Элинор. Старая чудачка.

— Это все так… — начала Китти. Но тут она заметила какую-то неправильность в расположении гостей и не договорила. — Ты должен побеседовать с миссис Трейер, — сказала она, вставая.

Зачем я это делаю? — думала Китти, ведя за собой Мартина. Он хотел поговорить с ней, ему нечего было сказать гарпии азиатского вида с фазаньим пером на затылке. Но, если пьешь доброе вино благородной графини, кланяясь, сказал себе Мартин, надо развлекать и ее менее приятных гостей. Он повел даму к дивану.

Китти подошла к камину и ударила кочергой по углям, от чего в дымоход полетел сноп искр. Она была раздражена, ее терзало беспокойство: если они задержатся еще надолго, она опоздает на поезд. Украдкой она приметила, что стрелки часов приблизились к одиннадцати. Гости скоро должны были разойтись, ее прием был лишь прелюдией к другому приему. Но они все говорили и говорили, как будто вообще не собирались уходить. Она посмотрела на группы, казавшиеся незыблемыми. Затем часы исторгли

из себя серию капризных ударчиков. На последнем открылась дверь, и вошел Пристли. Глядя непроницаемыми глазами дворецкого и скрючив указательный палец, он вызвал Энн Хильер.

— Это мама меня зовет, — сказала Энн и порхнула через гостиную.

— Она отвезет вас? — спросила Китти. Зачем? — подумала она, глядя на миловидное личико, на котором не было ни следа ни мысли, ни характера; оно напоминало лист бумаги, на котором не написано ничего, кроме юности. Китти взяла ее за руку. — Вам обязательно уходить?

— Боюсь, что да, — сказала Энн, освобождая руку.

Гости зашевелились и начали вставать, похожие на потревоженных белокрылых чаек.

— Поедете с нами? — Мартин услышал, как Энн обратилась к молодому человеку, по чьим волосам как будто прошлись граблями. Проходя мимо Мартина, который стоял, протянув вперед руку, Энн едва кивнула ему, точно его образ уже стерся из ее памяти. Он был обескуражен. Его чувства оказались непропорциональны объекту. Он ощущал сильное желание поехать с ними куда угодно. Но его не пригласили. А Эштона пригласили, и он прошествовал за ними.

Подхалим! — подумал Мартин с обидой, которая удивила его самого. На мгновение он почувствовал странную ревность. Похоже было, что все «двинулись дальше». Остались только старички, — а, нет, величественный тоже собрался на выход. Лишь старуха ковыляла по гостиной, держась за Лассуэйда. Она хотела уточнить что-то сказанное насчет миниатюры. Лассуэйд снял картинку со стены и подставил под лампу, чтобы старуха могла вынести свое заключение. Это дедушка на лошади или дядя Уильям?

— Садись, Мартин, будем говорить, — сказала Китти.

Он сел. Но у него было ощущение, что она желает его ухода. Он заметил, как она смотрела на часы. Они немного поболтали. Затем к ним подошла старуха. Она уверяла, что, без сомнений, исходя из семейных преданий, которых она знала больше, чем кто бы то ни было, на лошади сидел дядя Уильям, а не дедушка. Она собралась уходить. Но не спешила. Мартин подождал, пока она, опираясь на руку племянника, миновала двери. Он колебался: теперь они одни, уйти ему или нет? Но Китти уже вставала и протягивала ему руку.

— Приходи еще поскорее, когда я буду одна, — сказала она.

Он почувствовал, что его отсылают прочь.

Люди всегда так говорят, думал он, медленно спускаясь по лестнице вслед за леди Уорбертон. Приходите еще. Но я не уверен, что мне стоит… Леди Уорбертон ползла вниз, как краб, цепляясь за перила одной рукой, а другой держась за локоть Лассуэйда. Мартин топтался позади. Он еще раз посмотрел на полотно Каналетто. Хорошая картина, но копия, подумал он. Он глянул поверх перил и увидел черно-белые плитки на полу в передней.

Подействовало, заключил он, проходя ступеньку за ступенькой. С переменным успехом, конечно. Но стоило ли? — спросил он себя, когда лакей подавал ему пальто. Двойные двери были широко открыты на улицу. Мимо прошел человек, потом еще один. Они с любопытством заглядывали внутрь и видели лакея в большом ярко освещенном зале и старую даму, которая остановилась на черно-белом шахматном полу. Она одевалась. Сначала приняла свое манто с фиолетовым разрезом, затем меха. С ее запястья свисала сумочка. Старуха была увешана цепочками, пальцы унизывали перстни. Острое землисто-серое лицо, расчерченное морщинами и бороздами, выглядывало из мехов и кружев,

как из уютного гнезда. Глаза еще хранили блеск.

Девятнадцатый век отправляется спать, сказал себе Мартин, глядя, как она с трудом, опираясь на лакея, одолевает ступени парадного. Ей помогли сесть в экипаж. Затем Мартин пожал руку хозяину, который выпил вина как раз столько, сколько ему требовалось, чтобы не повредить здоровью, и пошел по Гроувнер-сквер.

В спальне на верхнем этаже дома Бэкстер, горничная Китти, наблюдала из окна, как разъезжаются гости. А, вот и старуха. Бэкстер хотелось, чтобы они поспешили: если прием слишком затянется, ее собственная увеселительная поездка сорвется. Назавтра она запланировала прокатиться вверх по реке со своим молодым человеком. Бэкстер обернулась и оглядела комнату. Все было готово — пальто ее госпожи, юбка и сумка с билетом в ней. Уже давно пробило одиннадцать. Бэкстер постояла в ожидании у туалетного столика. Трехстворчатое зеркало отражало серебряные плошки, пудреницы, гребешки, щетки. Горничная наклонилась и усмехнулась своему отражению — вот так она будет выглядеть, когда отправится по реке. Затем она подобралась, потому что услышала шаги в коридоре. Госпожа шла к себе. Вот и она.

Вошла леди Лассуэйд, снимая с пальцев перстни.

— Простите, что так поздно, Бэкстер, — сказала она. — Теперь мне надо поторопиться.

Бэкстер молча расстегнула ее платье, ловко сдернула его к ногам и убрала. Китти села за туалетный столик, сбросила туфли. Атласные туфли всегда жмут. Она посмотрела на часы, стоявшие на столике. Времени как раз.

Бэкстер подала пальто. Затем — сумочку.

— Билет здесь, миледи, — сказала она, прикоснувшись к сумочке.

— Теперь шляпку, — сказала Китти.

Она наклонилась, чтобы надеть ее перед зеркалом. Маленькая дорожная шляпка из твида, балансировавшая на вершине прически, придала ей вид совершенно другого человека; ей нравилось так выглядеть. Она стояла, в своем дорожном наряде, и размышляла, не забыла ли чего. На мгновение в ее сознании возникла пустота. Где я? Что я делаю? Куда еду? Взгляд остановился на туалетном столике; она смутно вспомнила другую комнату, другое время, когда она была девушкой. Кажется, тогда она жила в Оксфорде?

— Где билет, Бэкстер? — вскользь спросила она.

— В вашей сумочке, миледи, — напомнила Бэкстер. Она держала сумочку в руке.

— Так, все, — сказала Китти, оглядываясь вокруг.

Она почувствовала мимолетное угрызение совести.

— Спасибо, Бэкстер, — сказала она. — Надеюсь, вам понравится… — Она засомневалась, потому что не знала, чему Бэкстер собиралась посвятить выходной. — …спектакль, — закончила она наугад.

Бэкстер едва заметно улыбнулась. Горничные раздражали Китти деланной учтивостью, своими непроницаемыми, насупленными лицами. Но они были весьма полезны.

— До свидания! — попрощалась Китти в дверях спальни.

Бэкстер уже отвернулась: ее ответственность за госпожу кончилась. Лестница находилась в ведении кого-то еще.

Китти заглянула в гостиную, на случай, если ее муж еще был там. Но комната оказалась пуста. Огонь продолжал гореть, кресла, расставленные в круг, как будто еще держали своими ручками остов прошедшего приема. Однако у двери ее ждала машина.

— Успеваем? — спросила она шофера, когда он укрывал ее колени пледом.

Они отъехали.

Вечер был ясный и тихий, на площади видны были все деревья до единого; одни совсем черные, другие испещренные причудливыми пятнами искусственного света. Над дуговыми фонарями вздымались столбы тьмы. Хотя дело шло к двенадцати часам, это время суток едва ли походило на ночь, скорее на призрачный, бесплотный день — благодаря множеству уличных фонарей, проезжающим автомобилям, мужчинам в белых шарфах и легких плащах нараспашку, проходившим по чистым и сухим тротуарам, и освещенным окнам в большинстве домов, потому что везде давались приемы. Когда автомобиль мягко покатил по Мейфэру, город изменился. Пивные закрывались. У фонарного столба на углу собрались люди. Пьяный мужчина горланил какую-то песню; девица навеселе с пером, ниспадавшим на глаза, покачивалась, держась за столб… Однако то, что Китти видела, не шло глубже ее глаз. После стольких разговоров, стольких усилий и спешки она не могла осознать увиденное. А ехали они быстро. Автомобиль повернул и на полной скорости понесся по длинному ярко

освещенному проспекту с большими магазинами, витрины которых были закрыты ставнями. Улицы были почти пусты. Желтые вокзальные часы показывали, что осталось пять минут.

Как раз вовремя, сказала себе Китти. Как обычно, выйдя на платформу, она почувствовала приятное возбуждение. С высоты падал рассеянный свет. В огромном пустом пространстве раздавались крики людей и лязг вагонов. Поезд ждал; пассажиры готовились к отправлению. Некоторые из них, боясь далеко отойти от своих мест, стояли одной ногой на ступеньках вагона и отпивали что-то из толстых чашек. Китти посмотрела вдоль поезда и увидела, что паровоз заправляется водой через шланг. Казалось, его мощное тело состоит из одних мышц, шея как будто была втянута в круглое гладкое туловище. Это был поезд так поезд, остальные смотрелись рядом с ним, как игрушечные. Китти втянула дымный воздух, который оставлял в горле кисловатый вкус, как будто уже отдавал Севером.

Кондуктор увидел Китти и шел к ней со свистком в руке.

— Добрый вечер, миледи, — поздоровался он.

— Добрый вечер, Первис. Еле успела, — сказала она, когда он отпирал дверь вагона.

— Да, миледи. Как раз вовремя.

Он запер дверь. Китти обернулась и оглядела маленькую освещенную комнатку, в которой ей предстояло провести ночь. Все было подготовлено: постель застелена, простыни аккуратно отвернуты, сумка ее стояла на сиденье. Кондуктор прошел мимо окна с флажком в руке. Опаздывающий мужчина пробежал по платформе, расставив руки. Хлопнула дверь.

— Как раз вовремя, — сказала себе Китти.

Затем поезд легонько дернулся. Китти даже удивилась, что такое огромное чудище способно так осторожно начать такое долгое путешествие. Она увидела, как мимо проплыл вокзальный водогрей.

— Поехали, — сказала Китти, откинувшись на спинку сиденья. — Поехали!

Все напряжение вдруг покинуло ее. Она была одна, поезд ехал. Последний фонарь на платформе скользнул прочь. Последняя человеческая фигура исчезла позади.

«Как здорово! — подумала Китти, как будто была девочкой, которая сбежала от няни. — Поехали!»

Некоторое время она неподвижно сидела в своем ярко освещенном купе. Затем потянула вниз

шторку, но та, щелкнув, свернулась обратно. Мимо скользили протяженные огни: огни заводов и складов, полутемных глухих улиц. Их сменили асфальтовые дорожки и более частые огни общественных парков, затем — кусты и живая изгородь, обрамлявшая какое-то поле. Лондон остался позади вместе со своим сиянием, которое, по мере того как поезд вонзался во тьму, как будто все уже сжималось огненным кругом. С грохотом поезд ворвался в туннель. В этот момент словно произошла ампутация: Китти была отрезана от светового круга.

Она оглядела тесное купе, место своего временного заточения. Все слегка подрагивало. Слабая, но постоянная вибрация пронизывала каждый предмет. Китти как будто оставляла один мир и вступала в другой, и сейчас был как раз момент перехода. Она посидела немного, а потом разделась и, взявшись за шторку рукой, замерла. Поезд уже набрал скорость и летел во весь опор через темные равнины. Кое-где виднелись далекие огни. Темные купы деревьев выделялись на серых полях, покрытых сочной летней травой. Свет от паровоза выхватывал то неподвижную группу коров, то изгородь из боярышника. Вокруг лежали сельские просторы.

Китти опустила шторку и забралась в постель. Она улеглась на довольно жесткой полке спиной к стене и чувствовала головой легкое подрагивание. Она слушала гул, который поезд начал издавать, набрав скорость. Мощная сила мягко несла ее по Англии на Север. Мне ничего не надо делать, думала Китти, ничего, ничего, только позволить нести себя. Она повернулась и опустила синий абажур лампы. В темноте шум поезда стал громче; его вибрирующий грохот был ритмичным, он словно перетряхивал сознание Китти, выбрасывая оттуда все мысли.

Все, да не все, подумала она, переворачиваясь на другой бок. Я уже не ребенок — она посмотрела на лампу под синим абажуром, — детство далеко позади. Годы все меняют, многое уничтожают, с годами копятся тревоги и заботы: вот они опять тут как тут. К ней возвращались обрывки разговоров, картины вставали перед глазами. Вот она захлопнула фрамугу, вот волоски на подбородке тетушки Уорбертон. Женщины встают, в гостиную входят мужчины. Китти вздохнула и опять перевернулась. Они все одинаково одеты, думала она, и живут тоже одинаково. Что же в этой жизни правильно? А что — нет? И снова она перевернулась на другой бок.

Поезд нес ее дальше. Его гул стал глубже и равномернее. Как же заснуть? Как избавиться от мыслей? Она отвернулась от света. Где мы *сейчас*? — спросила она себя. Где теперь едет поезд? *Сейчас,* прошептала она, закрывая глаза, мы проезжаем мимо белого дома на холме; а *сейчас* едем по туннелю; а *сейчас* — по мосту через реку… Затем мысли стали реже, между ними появились пробелы, они начали путаться. Прошлое и настоящее переплелись. Она увидела Маргарет Мэррабл, пробующую ткань платья на ощупь, но одновременно ведущую быка за кольцо в носу… Я сплю, сказала себе Китти, приоткрыв глаза; слава богу — глаза опять закрылись — я сплю. И она отдала себя целиком во власть поезда, чей гул стал теперь глухим и отдаленным.

В дверь постучали. Некоторое время Китти лежала, не понимая, почему комната так трясется; затем все встало на свои места: она была в поезде, ехала через поля; теперь они приближались к станции. Китти встала.

Она быстро оделась и вышла в коридор. Было еще рано. Она посмотрела на несущиеся мимо поля. Они были голые — угловатые поля Севера. Весна пришла сюда поздно, листья на деревьях еще не совсем развернулись. Шлейф дыма опу-

стился и окутал дерево белым облаком. Когда он поднялся, Китти подумала, как красиво все освещено: ясно и резко, с преобладанием белых и серых тонов. В этом краю не было и следа от мягкости, от зеленой веселости Юга. Однако вот и железнодорожный узел, и газгольдер: поезд въезжал на станцию. Он замедлил ход, и фонарные столбы на платформе постепенно остановились.

Китти вышла и глубоко вдохнула холодный свежий воздух. Ее ждал автомобиль. Увидев его, она сразу вспомнила: машина новая, подарок на день рождения от мужа. Она еще ни разу на ней не ездила. Коул прикоснулся к шляпе.

— Ну, давайте откроем ее, Коул, — сказала она.

Он откинул верх, еще тугой от новизны, и она села рядом с ним. Очень медленно — мотор работал неровно, то затихая, то опять наращивая обороты — они отъехали. Их путь лежал через городок. Все магазины были еще закрыты; женщины, стоя на коленях, скребли пороги; в спальнях и гостиных были задернуты шторы; движения на улицах почти не было, лишь погромыхивали тележки молочников. Собаки трусили прямо по середине мостовой, направляясь куда-то по своим собственным делам. Коулу то и дело приходилось гудеть.

— Со временем привыкнут, миледи, — сказал он, когда из-под колес выскочила большая пятнистая дворняга. В городе он ехал осторожно, но за его пределами прибавил газу. Китти увидела, что стрелка спидометра скакнула вверх.

— Приемистая? — спросила она, слушая мягкое урчание двигателя.

Коул приподнял ногу, чтобы показать, как легко он нажимает на педаль акселератора. Затем он придавил ее опять, и машина прибавила ход. Мы едем слишком быстро, подумала Китти; однако дорога — Китти все время смотрела вперед — была по-прежнему пуста. Им встретились лишь две-три неуклюжих крестьянских телеги; увидев автомобиль, люди останавливали лошадей, взяв их под уздцы. Впереди простиралась жемчужно-белая дорога; изгороди были покрыты острыми весенними листочками.

— Сюда весна запоздала, — сказала Китти. — Были холодные ветры?

Коул кивнул. В отличие от лондонских лакеев, в нем не было никакого подобострастия; рядом с Коулом Китти чувствовала себя легко и могла молчать. Теплые волны воздуха чередовались с холодными, он то приятно благоухал, то — когда они проезжали ферму — едко и кисло пах наво-

зом. Когда они стали штурмовать холм, Китти откинулась назад, придерживая рукой шляпку.

— Вы не сможете въехать на вершину, Коул, — сказала она.

Скорость немного упала: они взбирались на знакомый Крэббов холм, с желтыми полосами от тележных колес — там, где возницы тормозили. В былое время, когда они еще ездили на лошадях, здесь приходилось вылезать и идти пешком. Коул ничего не ответил. Он хотел показать, на что способен двигатель, поняла Китти. Машина гладко катила вверх. Однако подъем был длинный; посередине был ровный участок, а потом дорога опять пошла в гору. Автомобиль ехал из последних сил, но Коул был настойчив. Китти увидела, как он немного подается всем телом то вперед, то назад, будто подгоняя лошадь. Она почувствовала, что у него напряглись мышцы. Еще немного, и машина остановится. Но нет — они были уже на вершине. Машина справилась!

— Неплохо! — воскликнула Китти.

Коул промолчал, но он был горд, она знала.

— На старой машине не получилось бы, — сказала Китти.

— Она в этом не виновата, — ответил Коул.

Он был очень добрый человек; Китти подума-

ла, что такие, как он, ей по душе — молчаливые, сдержанные. Они помчались дальше. Теперь они проезжали серый каменный дом, где в одиночестве жила сумасшедшая женщина со своими фазанами и кровяными гончими. Дом остался позади. Справа начался лес, и воздух наполнился птичьим пением. Похоже на море, подумала Китти, посмотрев на сумрачную зеленую просеку, испещренную пятнами солнечного света. А они все ехали и ехали. Теперь у дороги лежали кучи бурых листьев, от которых лужи казались красными.

— Был дождь? — спросила Китти. Коул кивнул.

Они выехали на высокую гряду; внизу был лес, а посреди него — поляна, на которой возвышалась серая башня Замка. Приезжая, Китти всегда искала ее взглядом и приветствовала, как будто здоровалась с другом. Теперь она была на своей земле. На столбах ворот виднелись инициалы их семьи; их фамильный герб висел над входами в гостиницы и сельские дома. Коул посмотрел на часы. Стрелка спидометра опять скакнула.

Слишком быстро, слишком! — подумала Китти. Но ей нравилось, как ветер бьет в лицо. Вот и домик привратника. Миссис Приди раскрыла ворота, держа на руках светловолосого ребенка.

Автомобиль покатил по парку. Олени поднимали головы и, легко прыгая, скрывались в зарослях папоротника.

— Четверть часа без двух минут, миледи, — сказал Коул, когда они, описав дугу, подъехали к двери дома.

Китти немного постояла, оглядывая машину. Они положила руку на капот. Он был горячий. Она легонько похлопала по нему.

— Она отлично справилась, Коул. Я скажу его светлости. — Коул просиял. Он был счастлив.

Китти вошла в дом. Никого не было видно: ее ожидали позже. Она пересекла переднюю, вымощенную крупной плиткой, украшенную оружием и скульптурными бюстами, и оказалась в утренней столовой, где было накрыто к завтраку.

Ее ослепил зеленый свет. Она как будто очутилась внутри огромного изумруда. Снаружи все было зеленым. На террасе стояли французские каменные статуи женщин с корзинками. Однако корзинки были пусты. Летом в них всегда ярко горели цветы. Широкие языки зеленой травы спускались между стрижеными тисами до самой реки, а на том берегу поднимались на холм до венчавшего его леса. Сейчас над лесом клубилась дымка — легкий утренний туман. Глядя вдаль,

Китти услышала жужжание пчелы над самым ухом; до нее донеслось и журчание реки на перекате, и голубиное воркование в древесных кронах. Это были голоса раннего утра, голоса лета. Но дверь открылась. Принесли завтрак.

Китти позавтракала. Она сидела, откинувшись на спинку стула, и чувствовала себя в тепле, удобстве и уюте. И ей ничего не надо было делать — совсем ничего. Весь день принадлежал ей. А день выдался славный. Солнечный свет вдруг проник в комнату и лег на пол широкой полосой. За окном солнце играло на цветах. Бабочка-крапивница пролетела рядом с окном; Китти увидела, как она села на листок и стала медленно раскрывать и складывать крылья, раскрывать и складывать, греясь на солнце. Китти наблюдала за ней. Ее крылья были покрыты нежным рыжим пушком. Вот она опять вспорхнула. Затем невидимая рука приоткрыла дверь, и в комнату забрела чау-чау. Она сразу подошла к Китти, понюхала ее юбку и улеглась на ярком солнечном пятне.

Бессердечная тварь! — подумала Китти; однако безразличие собаки было ей приятно. Та тоже ничего не требовала от Китти. Китти протянула руку за сигаретой. Интересно, что сказал бы Мартин? — подумала она, беря эмалированную

коробочку, которая переливалась зеленью и голубизной, и открывая ее. Чудовищно? Вульгарно! Быть может — но какая разница, что кто скажет? В это утро чужое осуждение казалось лишь легким дымом, не более. Какая разница, что скажет он, что скажут они, что скажет кто угодно? — ведь день от начала до конца принадлежит ей, ведь она одна. А они там, они еще спят, в своих домах, думала Китти, стоя у окна, глядя на серовато-зеленую траву, после своих балов, приемов… Эта мысль доставила ей удовольствие. Она выбросила сигарету и пошла наверх переодеться.

Когда она опять спустилась, солнце светило гораздо сильнее. Сад уже потерял облик непорочности, дымка над лесом рассеялась. Выходя, Китти услышала стрекот газонокосилки. Пони в резиновых накопытниках ходил туда-сюда по газонам, оставляя за собой бледную полосу в траве. Птицы пели вразнобой. Скворцы в ярких крапинах искали корм в траве. На трепещущих травинках красным, фиолетовым, золотым сияла роса. Стояло безупречное майское утро.

Китти стала медленно прохаживаться по террасе. Она заглянула в высокие окна библиотеки. Все было укутано и заперто. Длинная комната выглядела еще более величественно, чем обычно,

ее пропорции были совершенны; долгие ряды книг, как будто преисполненные молчаливого достоинства, существовали сами по себе и для себя. Китти спустилась с террасы и побрела по длинной травянистой тропинке. Сад был все еще пуст, только один человек в рубашке что-то делал с деревом; однако Китти не хотелось ни с кем говорить. Чау-чау увязалась за ней, она тоже была молчальница. Китти пошла дальше, мимо клумб, к реке. Там она обычно останавливалась — на мосту, который через равные промежутки был украшен пушечными ядрами. Вода всегда зачаровывала ее. Быстрая северная река текла с вересковых пустошей; она никогда не бывала гладкой и зеленой, глубокой и покойной, как южные реки. Она неслась, торопилась, омывая красную, желтую, коричневую гальку на дне. Облокотившись на балюстраду, Китти смотрела на водовороты у быков моста, на водяные ромбы и стрелы над камнями. Она прислушалась. Она знала, как по-разному река звучит летом и зимой. Сейчас она неслась, торопилась.

Чау-чау стало скучно, она заковыляла прочь. Китти последовала за ней. Она пошла по зеленой аллее, ведшей на вершину холма к монументу в форме колпака. Каждая тропинка в лесу имела

название. Там были Тропа Лесника, Дорожка Влюбленных, Дамская Миля, а та, по которой шла Китти, называлась Графской Аллеей. Но перед тем как вступить в лес, Китти остановилась и обернулась посмотреть на дом. Она останавливалась здесь несчетное множество раз. Серый Замок выглядел величественно, он еще был погружен в утренний сон, шторы были задернуты, на флагштоке не было флага. Его облик говорил о благородстве, древности, надежности. Китти вошла в лес.

Когда она побрела под деревьями, ветер как будто задул сильнее. Он гудел в кронах, однако внизу было тихо. Под ногами шуршали палые листья; между ними виднелись бледные весенние цветы, самые прелестные цветы года — голубые и белые, дрожавшие на зеленых моховых подушках. Весна всегда печальна, подумала Китти, она приносит воспоминания. Все проходит, все меняется, думала она, пробираясь по узкой тропке между деревьями. Ничего здесь ей не принадлежало; все это унаследует ее сын, и его жена будет так же бродить здесь после нее. Китти отломила веточку; сорвала цветок и взяла стебелек в рот. Но сейчас она полна жизни, в самом расцвете сил. Она пошла дальше. Склон круто поднимался;

ступая толстыми подошвами ботинок по земле, Китти чувствовала в своем теле силу и гибкость. Она выбросила цветок. Чем выше она поднималась, тем тоньше становились деревья. Вдруг небо, которое она увидела между двумя полосатыми стволами, показалось ей необычайно синим. Она вышла на вершину. Ветер утих; внизу простиралась вся округа. Тело Китти как будто сжалось, а глаза расширились. Она опустилась на траву и стала смотреть вдаль, на огромные неподвижные волны земли, которые, вздымаясь и опадая, уходили за горизонт, чтобы где-то там встретиться с морем. С этой высоты земля выглядела невозделанной, необитаемой, как будто на ней не было ни городов, ни жилищ и она существовала сама по себе и для себя. Темные клинья тени чередовались с широкими пространствами света. Однако пока Китти смотрела, тьма и свет не стояли на месте, а перемещались, ползли по холмам и долинам. Тихий рокот звучал в ее ушах — это подавала голос сама земля, она пела в одиночестве самой себе. Китти лежала и слушала. Она была совершенно счастлива. Время остановилось.

1917

Англию окутала очень холодная зимняя ночь — безлунная и такая тихая, что воздух казался замерзшим, превратившимся в неподвижное стекло. Застыли пруды и канавы, лужи на дорогах глядели глянцевыми глазами, мостовые были покрыты скользкими буграми. Тьма давила в окна, города слились с полями и лесами. Не видно было ни огонька, только луч прожектора шарил по небу, иногда останавливаясь, будто нащупал шершавое место.

— Если там река, — рассудила Элинор, остановившись на темной улице у вокзала, — то здесь должен быть Вестминстер.

Омнибус, на котором она приехала, уже исчез, вместе со своими молчаливыми пассажирами, в синем свете похожими на мертвецов. Элинор свернула за угол дома.

Она собиралась поужинать с Ренни и Мэгги, которые жили на одной из мрачных улочек под сенью Аббатства. Она пошла дальше. Противоположная сторона улицы была почти невидима. Фонари были выкрашены синей краской. На углу Элинор направила свой фонарик на табличку

с названием улицы. Потом — на стену дома. Луч высвечивал то кирпичную кладку, то плеть плюща. Наконец блеснул номер тридцать — тот, который был ей нужен. Она одновременно постучала и позвонила, потому что тьма, казалось, мешала не только видеть, но и слышать. Тишина навалилась на нее, пока она ждала. Затем дверь открылась, и мужской голос сказал:

— Прошу!

Мужчина быстро затворил за собой дверь, чтобы скорее скрыть свет. После улицы внутри все казалось странным: детская коляска в передней, зонтики на подставке, ковер, картины; все словно имело подчеркнутый смысл.

— Прошу! — повторил Ренни и повел Элинор в залитую светом гостиную. Посреди комнаты стоял еще один мужчина, и это было для Элинор неожиданностью: она полагала, что будет единственной гостьей. Она его не знала.

Несколько мгновений они смотрели друг на друга, затем Ренни сказал:

— Вы знакомы с Николаем… — но фамилию он произнес нечленораздельно, к тому же она была очень длинная, и Элинор ничего не разобрала. Что-то иностранное, подумала она. Он иностранец. Явно не англичанин. Он пожал

руку с поклоном, как иностранец, и продолжил говорить, как человек, застигнутый посередине фразы и желающий закончить ее.

— Мы говорили о Наполеоне, — объяснил он, повернувшись к Элинор.

— Ясно, — сказала она. Но она совершенно не понимала, что он говорил. По-видимому, они были в разгаре какого-то спора. Однако спор закончился, а она так и не поняла ни слова, кроме того, что речь шла о Наполеоне. Элинор сняла и положила пальто. Разговор прекратился.

— Пойду скажу Мэгги, — произнес Ренни и быстро вышел.

— Вы говорили о Наполеоне? — спросила Элинор. Она смотрела на человека, чью фамилию не расслышала. Он был брюнет, с круглой головой и темными глазами. Нравился он ей или нет? Она не могла понять.

Я прервала их разговор, подумала она, а сказать мне нечего. Она окоченела от холода, поэтому протянула руки к огню. Он был настоящий, дрова полыхали, пламя бежало по блестящим потекам смолы. А дома Элинор приходилось довольствоваться лишь чахлым газовым огоньком.

— Наполеон… — сказала она, грея руки. Она произнесла это слово, не вкладывая в него ника-

кого смысла.

— Мы рассматривали психологию великих личностей, — откликнулся мужчина, — в свете современной науки, — добавил он с легким смешком.

Элинор хотелось бы, чтобы тема была более доступна ее пониманию.

— Это очень интересно, — робко сказала она.

— Да — если бы мы что-нибудь об этом знали.

— Если бы мы что-нибудь об этом знали… — повторила Элинор. Последовала пауза. Она чувствовала онемение не только в руках, но и в голове. — Психология великих личностей… — проговорила она, боясь, что мужчина посчитает ее дурой. — Вы ведь это обсуждали?

— Мы говорили, что… — Он сделал паузу. Вероятно, ему было трудно вкратце передать суть спора, ведь они беседовали довольно долго, судя по разбросанным вокруг газетам и сигаретным окуркам на столе. — Я говорил… — продолжил он. — Я говорил, что мы, обычные люди, не знаем себя; а если мы не знаем себя, как мы можем создавать религии, законы, которые годятся… — он жестикулировал, как человек, не слишком хорошо владеющий языком, — годятся…

— В дело, — подсказала она ему слово, которое

было наверняка короче, чем то, что он знал из словаря.

— В дело, в дело, — повторил он, благодарный за помощь.

— В дело… — еще раз сказала Элинор. Она понятия не имела, о чем шла речь. Затем, когда она наклонилась, чтобы еще приблизить к огню руки, слова вдруг сложились в ее голове в осмысленное предложение. Она рассудила, что он хочет сказать: «Мы не можем создать годные в дело религии и законы, потому что сами не знаем себя». — Удивительно, что вы это говорите! — сказала она, улыбаясь ему. — Я часто думаю то же самое.

— Что же тут удивительного? Мы все думаем одно и то же, только не высказываем это.

— Когда я ехала сюда в омнибусе, — начала Элинор, — то думала об этой войне — сама я так не считаю, в отличие от многих… — Она остановилась. Мужчина выглядел озадаченно. Возможно, она неправильно его поняла, и сама выразилась неясно. — Я хочу сказать, — продолжила она, — что думала, когда ехала в омнибусе…

Но тут вошел Ренни.

У него в руках был поднос с бутылками и бокалами.

— Как хорошо, — сказал Николай, — быть сыном виноторговца.

Фраза была словно взята из учебника французской грамматики.

Сын виноторговца, повторила про себя Элинор, глядя на румяные щеки, темные глаза и большой нос Ренни. А этот, другой, наверное, русский, подумала она. Русский, еврей, поляк? Она понятия не имела, кто он и что он.

Она выпила; вино как будто ласково погладило ее по спине. Вошла Мэгги.

— Добрый вечер, — поздоровалась она, не обращая внимания на поклон иностранца, точно знала его слишком близко, чтобы приветствовать отдельно. — Газеты! — недовольно сказала она, увидев, что они разбросаны по полу. — Газеты, газеты… — Они лежали повсюду. — Мы ужинаем внизу, — сообщила Мэгги, повернувшись к Элинор. — Потому что у нас нет слуг. — И она повела гостей вниз по узкой и крутой лестнице.

— Но, Магдалена, — сказала Николай, когда они оказались в тесной комнате с низким потолком, где было накрыто к ужину, — Сара сказала: «Мы увидимся завтра вечером у Мэгги…» А ее тут нет.

Он еще стоял, остальные сидели.

— Придет со временем, — сказала Мэгги.

— Я позвоню ей, — сказал Николай и вышел из комнаты.

— По-моему, гораздо лучше, — сказала Элинор, беря тарелку, — не иметь слуг.

— У нас есть одна женщина, которая моет посуду, — сказала Мэгги.

— Поэтому мы по уши в грязи, — сказал Ренни.

Он взял вилку и стал разглядывать ее между зубцов.

— Нет, эта вилка, как ни странно, чистая, — заключил он и положил вилку обратно.

Вернулся Николай. Он был встревожен.

— Ее нет дома, — сообщил он Мэгги. — Я позвонил, но никто не ответил.

— Наверное, она в дороге, — сказала Мэгги. — Или могла забыть…

Она передала ему тарелку с супом. Но он сел и стал смотреть в тарелку, не двигаясь. На лбу его собрались морщины. Он даже не пытался скрыть беспокойство, не ощущая никакой неловкости.

— Ага! — вдруг вскрикнул он, перебив разговор. — Это она! — Он положил свою ложку и стал ждать. Кто-то медленно спускался по крутой лестнице.

Открылась дверь, и вошла Сара. Вид у нее был совсем замерзший. Щеки местами побелели, ме-

стами разрумянились, и она моргала, привыкая к свету после синего сумрака улицы. Она протянула руку Николаю, и он поцеловал ее. Однако помолвочного кольца на руке не было, заметила Элинор.

— Да, грязи нам хватает, — сказала Мэгги, глядя на нее. Сара была в своей будничной одежде. — И лохмотьев, — добавила Мэгги: когда она наливала суп, было видно золотистую нитку, торчавшую у нее самой из рукава.

— А я как раз подумала, какое красивое… — сказала Элинор, любовавшаяся серебристым платьем с золотыми нитями. — Где ты его купила?

— В Константинополе, у турка, — ответила Мэгги.

— У турка в тюрбане, нездешнего вида, — пробормотала Сара, погладив рукав и беря тарелку. Она еще не отогрелась.

— И эти тарелки, — сказала Элинор, глядя на розовых птиц, украшавших ее тарелку. — Кажется, я их помню.

— Дома они стояли в буфете в гостиной, — напомнила Мэгги. — Но мне показалось глупо держать их в буфете.

— Мы разбиваем по одной в неделю, — сказал

Ренни.

— Войну переживут, — сказала Мэгги.

Элинор заметила, что на лице Ренни при слове «война» появилось странное выражение, похожее на маску. Она полагала, что он, как все французы, страстно любит свою родину. Но, глядя на него, она почувствовала нечто обратное. Он молчал. Его молчание угнетало ее. Что-то в этом молчании было зловещее.

— Почему же ты так опоздала? — спросил Николай, повернувшись к Саре. Он ласково укорял ее, как будто она была ребенком. Он налил ей вина.

Осторожней, хотела сказать ей Элинор, вино ударяет в голову. Сама она не пила вина несколько месяцев и уже чувствовала себя немного в тумане, слегка навеселе. Тому виной было не только вино, но и свет после темноты, и разговор после тишины; и, вероятно, война, разрушающая барьеры.

Но Сара выпила. И вдруг выпалила:

— Из-за этого дурака!

— Из-за дурака? — переспросила Мэгги. — Кто такой?

— Племянник Элинор, — сказала Сара. — Норт. Племянник Элинор Норт. — Она качнула бокалом в сторону Элинор, как будто обращалась к

ней. — Норт… — Она улыбнулась. — Сижу я одна. Тут звонок. «Это белье», — говорю я. Шаги по лестнице. Входит Норт. Норт! — Она подняла руку к виску, отдавая честь. — Заявляется вот так… «Какого черта?» — спрашиваю я. «Вечером уезжаю на фронт, — говорит он, щелкнув каблуками. — Я лейтенант какого-то там Королевского полка крысоловов или чего-то в этом роде». Фуражку он повесил на бюст нашего дедушки. Я налила ему чаю. Спрашиваю: «Сколько кусков сахара лейтенанту Королевских крысоловов?» — «Один. Два. Три. Четыре…»

Она бросала на стол хлебные катышки. Каждый, падая, точно усиливал ее обиду. В ее облике все больше проступали возраст, усталость. Она смеялась, но ей было обидно.

— Кто такой Норт? — спросил Николай. Он сказал «Норд», как будто это было направление на компасе.

— Мой племянник. Сын моего брата Морриса, — объяснила Элинор.

— И вот, сидит он, — продолжила Сара, — в своем мундире цвета грязи, с хлыстом между колен, уши торчат по бокам от его розового, глупого лица, и, что бы я ни сказала: «Хорошо, — говорит. — Хорошо. Хорошо», — пока я не взяла

кочергу и щипцы, — она взяла вилку и нож, — и не сыграла «Боже, храни короля, в счастье и славе пусть нами правит…» — Она выставила вилку и нож, точно оружие.

Жаль, что он уехал, подумала Элинор. Перед ее глазами встала картина: милый живой мальчик курит сигару на террасе. Как жаль… Затем картина сменилась другой. Она сидит на той же террасе, но солнце уже заходит; появляется прислуга и говорит: «Солдаты стоят в оцеплении с примкнутыми штыками!» Так она узнала о войне — три года назад. Она поставила кофейную чашку на столик и подумала: «Я ничего не могу поделать!» Ее вдруг охватило нелепое, но неистовое желание защитить эти холмы за лугом, на которые она смотрела до этого. Теперь она смотрела на иностранца напротив нее.

— Как ты нечестна. — Николай обращался к Саре. — Ты полна предубеждений, мыслишь узко, рассуждаешь несправедливо. — Он постукивал пальцем по ее руке.

Он говорил то самое, что чувствовала Элинор.

— Да. Разве это не естественно… — начала она. — Разве можно ничего не делать и позволить немцам вторгнуться в Англию? — Она повернулась к Ренни. И тут же пожалела, что заговорила:

слова были не те, она не то имела в виду. На его лице было выражение страдания — или гнева?

— А что я? — сказал Ренни. — Я помогаю делать снаряды.

За ним стояла Мэгги. Она принесла мясо.

— Режь, — сказала она.

Он неподвижно смотрел на мясо, которое она поставила перед ним. Затем взял нож и принялся резать с меланхолическим видом.

— Теперь няне, — напомнила ему Мэгги.

Он отрезал еще одну порцию.

— Да, — с чувством неловкости проговорила Элинор, когда Мэгги унесла тарелку. Она не знала, что сказать, и говорила, не думая. — Давайте же поскорее закончим ее и потом… — она посмотрела на Ренни. Он молчал, отвернувшись, и слушал, что говорят другие, избавляя себя этим от необходимости говорить самому.

— Белиберда, белиберда, не надо нести такую жуткую белиберду, то, что вы говорите, — белиберда, — твердил Николай. У него были большие чистые руки, с очень коротко остриженными ногтями, заметила Элинор. Возможно, врач, подумала она.

— Что такое «бели-берда»? — спросила она у Ренни, потому что не знала это слово.

— Это по-американски, — сказал Ренни. — Он американец. — Он кивнул на Николая.

— Нет, — возразил Николай, обернувшись. — Я поляк.

— Его мать была княжна, — сказала Мэгги, словно пытаясь поддразнить его. Вот откуда печатка на цепочке, подумала Элинор. Он носил на часовой цепочке большую старинную печатку.

— Верно, — весьма серьезно сказал Николай. — Одна из знатнейших семей в Польше. Однако мой отец был простым человеком — из народа… Тебе надо быть сдержаннее, — добавил он, опять повернувшись к Саре.

— Надо, — вздохнула она. — «Поводья дернул он, сказав: “Прощай же навсегда, прощай же навсегда!”»[134] — Она протянула руку и налила себе еще один бокал вина.

— Тебе не следует больше пить, — сказал Николай, отодвигая бутылку. — Она представила себя, — объяснил он, обернувшись к Элинор, — на башне, машущей белым платком рыцарю в доспехах.

— И луна всходила над темной пустошью, — тихо проговорила Сара, дотронувшись до перечн-

[134] Примечания: 134

Цитата из стихотворения Роберта Бернса (1759–1796) «За нашего законного монарха» (1796).

ницы.

Перечница — это темная пустошь, подумала Элинор. Края предметов слегка размылись. Это из-за вина. И еще из-за войны. Предметы как будто сбросили кожу, лишились твердой поверхности; даже кресло с позолоченными ножками-лапами, на которое она смотрела, казалось пористым и точно излучало тепло, точно было окружено сияющим ореолом.

— Я помню это кресло, — сказала она Мэгги. — И вашу маму… — добавила она. Однако Эжени всегда вспоминалась ей не сидящей, но в движении.

— …танцующей, — закончила Элинор.

— Танцующей… — повторила Сара. Она начала постукивать вилкой по столу.

— «Когда была я молода, любила танцевать, — напевала она. — И каждый парень лишь мечтал меня поцеловать. Везде цветы цвели тогда — когда была я молода». Помнишь, Мэгги? — Она посмотрела на сестру.

Мэгги кивнула.

— В спальне. Вальс, — сказала она.

— Вальс… — повторила Элинор. Сара выстукивала на столе ритм вальса. Элинор начала напевать в такт:

— Трам-пам-пам, трам-пам-пам…

Раздался протяжный глухой вой.

— Не надо! — возмутилась Элинор, как будто кто-то сфальшивил. Но вой прозвучал опять.

— Противотуманная сирена? — спросила она. — На реке?

Но она знала, что это было.

Сирена завыла опять.

— Немцы! — сказал Ренни. — Проклятые немцы! — Он бросил нож и вилку, нарочито показывая, как ему все это надоело.

— Опять налет, — сказала Мэгги, вставая. Она вышла из комнаты, Ренни последовал за ней.

— Немцы… — произнесла Элинор, когда дверь закрылась. У нее было такое чувство, будто какой-то зануда прервал интересную беседу. Цвета начали блекнуть. Она смотрела на красное кресло. Оно потеряло свое сияние, точно погас свет.

Послышался шум колес на улице. Все и вся куда-то торопилось. Ноги топали по мостовой. Элинор встала и чуть раздвинула занавески. Полуподвал находился ниже уровня мостовой, поэтому она увидела лишь ноги и юбки, двигающиеся за тротуарной оградой. Очень быстро мимо прошли двое мужчин, затем пожилая женщина, чья юбка раскачивалась из стороны в сторону.

— Может быть, надо пригласить людей в дом? — спросила Элинор, обернувшись. Но когда она опять посмотрела в окно, пожилая женщина уже исчезла. Мужчины тоже. Улица была пуста. В домах напротив окна были наглухо зашторены. Элинор тоже тщательно задернула занавеску. Она обернулась и увидела стол с лампой и пестрым фарфором, четко выхваченный из полутьмы кругом яркого света.

Она опять села.

— Вы боитесь налетов? — спросил Николай, испытующе глядя на нее. — Люди так в этом различаются.

— Совсем нет, — ответила Элинор. Она могла бы скатать хлебный шарик, чтобы показать ему, как она спокойна, но она действительно не боялась и посчитала это ненужным. — Вероятность, что попадет именно в тебя, так мала, — сказала она. — О чем мы говорили?

Ей показалось, что они беседовали о чем-то крайне интересном, но о чем именно — она не могла вспомнить. Некоторое время все молчали. Затем с лестницы послышалось шарканье.

— Дети… — сказала Сара. В отдалении грохнул орудийный выстрел.

Вошел Ренни.

— Берите тарелки, — сказал он.

— Сюда. — Он провел их в погреб.

Помещение было просторное. Сводчатый потолок и влажные каменные стены придавали ему монастырский вид. Здесь хранили уголь и вино. В центре свет мерцал на кучах угля, на каменных полках лежали в соломе винные бутылки. Пахло вином, соломой и заплесневелой сыростью. Здесь было заметно холоднее, чем в столовой. Сара принесла сверху одеяла и халаты. Элинор было приятно закутаться в синий халат, она села, поставив тарелку на колени. Было холодно.

— И что теперь? — спросила Сара, поставив торчком свою ложку.

У всех был такой вид, как будто они чего-то ждали. Вошла Мэгги с изюмным пудингом.

— Ужин все-таки надо доесть, — сказала она. Но было видно, что ее спокойствие напускное, а на самом деле она волнуется за детей, предположила Элинор. Они остались в кухне. Она видела их, проходя мимо.

— Они спят? — спросила Элинор.

— Да. Но если стрельба… — начала Мэгги, раздавая пудинг. Опять бухнул выстрел. На этот раз — явно громче.

— Они прорвали оборону, — сказал Николай.

Все приступили к пудингу.

Еще выстрел. Теперь в нем был какой-то лающий звук.

— Хэмпстед, — сказал Николай. Он вынул часы. Воцарилась полная тишина. Ничего не произошло.

Элинор посмотрела на каменные блоки, составлявшие свод над их головами. Очередной выстрел вызвал дуновение ветра. В этот раз грохнуло прямо над ними.

— Набережная, — сказал Николай.

Мэгги поставила блюдо и вышла в кухню.

И опять полная тишина. Никаких событий. Николай смотрел на часы, как будто засекал время выстрелов. Что-то в нем есть особенное, подумала Элинор, то ли что-то от врача, то ли от священника. На часовой цепочке он носил печатку. На ящике напротив был номер 1397. Элинор замечала все. Немцы, наверное, сейчас над нами. Она почувствовала странную тяжесть над головой. Раз, два, три, четыре, считала она, глядя на зеленовато-серые камни. Затем раздался оглушительный треск, как будто от молнии в небе. Задрожала паутина.

— Над нами, — сказал Николай, посмотрев наверх.

Все взглянули туда же. В любой момент могла упасть бомба. Тишина стояла мертвая. Послышался голос Мэгги с кухни:

— Ничего страшного. Повернись на бочок и спи. — Она говорила очень спокойно и нежно.

Раз, два, три, четыре, считала Элинор. Паутина качалась. Этот камень может упасть, думала она, остановив взгляд на одном из камней потолка. Затем опять грохнуло. Теперь слабее — дальше.

— Все, — сказал Николай. Он закрыл часы со щелчком. Все зашевелились и переменили позы, как будто у них затекли конечности.

Вошла Мэгги.

— Ну, вот и все, — сказала она. («Он проснулся на секунду, но опять заснул, — сообщила она вполголоса Ренни, — а малышка так все и проспала».) Она села и взяла у Ренни блюдо. — Теперь давайте доедим пудинг, — предложила она своим обычным голосом.

— Теперь мы выпьем вина, — сказал Ренни. Он осмотрел одну бутылку, затем другую, наконец выбрал третью и тщательно вытер ее полой халата, после чего поставил на деревянный ящик, и все расселись вокруг.

— Ничего особенного, правда? — сказала Сара, качнувшись на стуле назад с бокалом в руке.

— Но ведь мы испугались, — возразил Николай. — Посмотрите, какие мы все бледные.

Они взглянули друг на друга. Закутанные в одеяла и халаты, на фоне серо-зеленых стен, они сами приобрели зеленовато-белесый вид.

— Отчасти это из-за света, — сказала Мэгги. — Элинор, — она посмотрела на Элинор, — похожа на настоятельницу монастыря.

Темно-синий халат скрыл легкомысленные украшеньица ее наряда — всякие бархатные и кружевные полоски — и тем улучшил ее внешность. Немолодое лицо Элинор было изборождено морщинками, как старая перчатка, которую движения кисти покрывают множеством тонких складочек.

— Я растрепана? — спросила она, прикасаясь к своим волосам.

— Нет. Не трогай, — сказала Мэгги.

— О чем же мы говорили перед налетом? — спросила Элинор. Опять ей показалось, что они беседовали о чем-то очень интересном, когда им помешали. Но разговор оборвался безвозвратно: никто не мог вспомнить его тему.

— Что ж, все позади, — сказала Сара. — Давайте выпьем за… За Новый Мир! — воскликнула она и торжественно подняла бокал. Всем вдруг захоте-

лось говорить и смеяться.

— За Новый Мир! — закричали они, поднимая бокалы и чокаясь.

Пять бокалов с желтой жидкостью сошлись вместе.

— За Новый Мир! — кричали они и пили. Желтая жидкость плескалась в бокалах.

— А теперь, Николай, — сказала Сара, со стуком поставив свой бокал на ящик, — речь! Речь!

— Дамы и господа! — начал он, выбросив руку, как оратор. — Дамы и господа…

— Нам ни к чему речи, — перебил его Ренни.

Элинор была огорчена. Ей хотелось послушать речь. Впрочем, Николай воспринял вмешательство Ренни добродушно; он сидел, кивая и улыбаясь.

— Идемте наверх, — сказал Ренни, отодвигая ящик.

— Прочь из этого погреба, — подхватила Сара, потягиваясь, — из пещеры сей грязной и мерзкой…

— Слушайте! — остановила их Мэгги. Она подняла руку. — Мне показалось, я опять услышала выстрелы…

Все прислушались. Выстрелы еще грохали, но где-то совсем далеко. Это было похоже на звук

прибоя у далекого берега.

— Они всего лишь убивают других людей, — свирепо сказал Ренни и пнул ногой деревянный ящик.

Но позвольте же нам думать не только об этом, мысленно возмутилась Элинор. Ренни опять натянул на лицо свою маску.

— Что за чепуху, что за чепуху говорит Ренни, — сказал Николай, доверительно повернувшись к ней. — Это всего лишь дети, играющие с шутихами во дворе, — бормотал он, помогая ей снять халат. Они отправились наверх.

Элинор вошла в гостиную. Комната казалась больше, чем запомнилась ей, она была очень просторной и удобной. По полу были разбросаны газеты, огонь горел жарко и весело. Элинор чувствовала сильную усталость. Она опустилась в кресло. Сара и Николай задержались внизу. Остальные помогали няне перенести детей в кроватки, предположила Элинор. Она откинулась на спинку кресла. Ко всему как будто опять вернулись покой и естественность. Ее охватило ощущение величайшего спокойствия. Ей будто был выделен еще один отрезок времени, но, лишенная чего-либо личного близким присутствием смерти, она чувствовала себя — ей было

трудно подобрать слово — «неуязвимой»? Так ли это называется? Неуязвима, произнесла она, глядя на картину, но не видя ее. Неуязвима, повторила она. На картине были изображены холм и деревня, вероятно, в Южной Франции, а может быть, и в Италии. Там были оливковые деревья и белые крыши, сгрудившиеся на склоне холма. Неуязвима, повторила Элинор, глядя на картину.

Сверху слышалась легкая возня: наверное, Мэгги и Ренни укладывали детей. Прозвучал слабый писк, точно сонная птаха чирикнула в гнездышке. После канонады все это создавало впечатление особого уюта и покоя. Но вот Мэгги и Ренни вошли в гостиную.

— Они испугались? — спросила Элинор, садясь прямо. — Дети?

— Нет, — ответила Мэгги. — Они всё проспали.

— Но они могли видеть сны, — сказала Сара, придвигая стул.

Все промолчали. Было очень тихо. Вестминстерские часы, которые раньше били каждый час, теперь хранили безмолвие.

Мэгги взяла кочергу и ткнула ею в дрова. Искры полетели в дымоход сонмом золотых глазков.

— Это наводит меня… — начала Элинор.

Она сделала паузу.

— На что? — спросил Николай.

— ...на воспоминания о детстве, — закончила она.

Она думала о Моррисе, о себе самой и о старой Пиппи. Но если бы она рассказала об этом, никто не понял бы, что она имеет в виду. Все молчали. Вдруг внизу на улице прозвучала чистая нота, как будто извлеченная из флейты.

— Что это? — спросила Мэгги. Она вздрогнула и, приподнявшись, посмотрела в окно.

— Горнисты, — сказал Ренни, останавливая ее рукой.

Горнисты протрубили опять, уже под окном. Затем — дальше по улице, потом еще дальше, на соседней улице. Почти сразу после этого загудели машины, зашуршали колеса, как будто уличное движение выпустили на свободу; возобновилась обычная лондонская вечерняя жизнь.

— Кончилось, — сказала Мэгги и откинулась на спинку кресла. Секунду она выглядела очень усталой, а затем придвинула к себе корзину и принялась штопать носок.

— Я рада, что я жива, — сказала Элинор. — Это плохо, Ренни? — Она хотела, чтобы он заговорил. Ей казалось, что он скрывает огромные запасы чувств, которые не может выразить. Он не отве-

тил. Он сидел, опершись на локоть, курил сигару и смотрел на огонь.

— Я провел вечер в угольном погребе, в то время как другие люди стремились убить друг друга у меня над головой, — вдруг сказал он, после чего протянул руку и взял газету.

— Ренни, Ренни, Ренни, — проговорил Николай, как будто увещевая непослушного ребенка. Ренни продолжил чтение газеты. Шорох колес и гудки автомобилей слились в непрерывный гул.

Ренни читал, Мэгги штопала, а в комнате висело молчание. Элинор наблюдала, как пламя в камине бежит вдоль потеков смолы, вспыхивает и опадает.

— О чем вы думаете, Элинор? — вмешался в ее мысли Николай. Он называет меня по имени, подумала она, это хорошо.

— О Новом Мире… — сказала она. — Как вы думаете, мы станем лучше?

— Да, да, — кивнул он.

Он говорил тихо, словно не хотел тревожить читавшего Ренни, Мэгги, которая штопала, и Сару, дремавшую полулежа в кресле. Николай и Элинор разговаривали между собой, точно были наедине.

— Однако… — начала она, — как же нам стать

лучше… жить более… — она понизила голос, как будто боялась кого-то разбудить, — жить более естественно… правильно… Как?

— Это лишь вопрос… — Николай сделал паузу и придвинулся к ней поближе. — Вопрос просвещения. Душа… — Он опять замолчал.

— Что душа?

— Душа, всё бытие, — он сложил ладони точно вокруг шара, — стремится к расширению, к новизне, к созданию новых сочетаний…

— Так, так, — сказала Элинор, подтверждая, что он нашел верные слова.

— Тогда как сейчас, — он подобрал под себя ноги, став похожим на старушку, которая испугалась мыши, — мы живем вот так — скрученные в тугой маленький узелок…

— Да, узелок, узелок, верно, — кивнула Элинор.

— Каждый заключен в свою тесную ячейку; у каждого свой крест или свои священные книги, у каждого свой очаг, своя жена…

— Штопающая носки, — вставила Мэгги.

Элинор вздрогнула. Ей показалось, что она заглядывала в будущее, а их разговор подслушали. Уединение исчезло.

Ренни бросил газету.

— Полный бред! — сказал он.

Элинор не знала точно, относилось это к газете или к тому, о чем они говорили. Однако доверительная беседа была уже невозможна.

— Зачем вы тогда их покупаете? — спросила она, указав на газеты.

— Чтобы разжигать камин, — сказал Ренни.

Мэгги засмеялась и бросила носок в корзину.

— Ну вот! — сказала она. — Готово.

И опять все стали сидеть, молча глядя на огонь. Элинор хотелось бы продолжить беседу с этим человеком, которого она называла «Николай». Когда, хотела она спросить его, когда придет этот Новый Мир? Когда мы станем свободными? Когда будем жить интересно, полноценно, а не как калеки в пещере? Он словно что-то освободил в ней; она чувствовала в себе не только начало нового времени, но и новые силы, нечто незнакомое ей самой. Она смотрела, как поднимается и опускается его сигарета. Затем Мэгги опять взяла кочергу и ударила полено, и ворох красноглазых искр метнулся в дымоход. Мы будем свободны, будем свободны, думала Элинор.

— А о чем ты думала все это время? — спросил Николай, кладя руку на колено Сары. — Или ты спала?

— Я слышала, о чем вы говорили, — ответила

она.

— И о чем же мы говорили?

— О душе, летящей вверх, как искры в дымоход, — сказала Сара. Искры летели в дымоход.

— Досадный промах, — сказал Николай.

— Просто люди всегда говорят одно и то же. — Сара засмеялась и села прямо. — Вот Мэгги — она не говорит ничего. А Ренни говорит: «Полный бред!» Элинор говорит: «Именно об этом я думала»... А Николай, Николай... — она похлопала его по колену, — которому место в тюрьме, он говорит: «Ах, дорогие друзья, давайте усовершенствуем наши души!»

— Место в тюрьме? — переспросила Элинор, взглянув на Николая.

— Потому что он испытывает склонность... — Сара сделала паузу, — не к тому полу, видишь ли, — легко сказала она, взмахнув рукой — точно как ее мать.

По коже Элинор пробежала дрожь отвращения, как будто по ней провели лезвием ножа. Однако затем она отметила, что живая плоть не затронута. Дрожь прошла. А под ней было — что? Она посмотрела на Николая. Он наблюдал за ней.

— Это, — проговорил он после некоторого колебания, — вызывает у вас неприязнь ко мне,

Элинор?

— Нисколько! Нисколько! — искренне воскликнула она. Весь вечер она испытывала к нему то одни чувства, то другие, но теперь все они сложились в одно отношение — симпатию. — Нисколько, — повторила она.

Он слегка кивнул ей. Она в ответ ему — тоже. Однако часы на каминной полке начали бить. Ренни зевал. Было поздно. Элинор встала, подошла к окну, раздвинула занавески и выглянула. Окна во всех домах были по-прежнему зашторены. Холодная зимняя ночь была почти непроглядна. Элинор словно смотрела во впадину темно-синего камня. Здесь и там синий мрак пронзали звезды. Она ощущала беспредельность и покой — как будто что-то рассеялось…

— Поймать вам экипаж? — перебил ее мысли Ренни.

— Нет, я пройдусь, — сказала она, оборачиваясь. — Я люблю ходить по Лондону.

— Мы с вами, — сказал Николай. — Идем, Сара.

Сара все так же полулежала в кресле, качая ногой вверх-вниз.

— Но я не хочу уходить, — возразила она, махнув на него рукой. — Я хочу остаться, хочу говорить, хочу петь — хвалебный гимн, благодар-

ственную песнь…

— Вот твоя шляпка, вот сумочка, — сказал Николай, вручая ей вещи. — Идемте. — Он взял ее за плечо и вывел из комнаты. — Пошли.

Элинор подошла к Мэгги попрощаться.

— Я тоже хотела бы остаться, — сказала она. — Мне о столько хочется поговорить…

— Но я хочу спать, я хочу лечь! — возмутился Ренни. Он стоял, подняв руки над головой, и зевал.

Мэгги встала.

— Ляжешь, ляжешь, — засмеялась она.

— Не стоит, не спускайтесь, — запротестовала Элинор, когда он открыл перед ней дверь. Но он настоял. Он очень груб и в то же время очень вежлив, подумала она, спускаясь за ним по лестнице. В нем много разных чувств, и все страстные, все перемешаны, думала она… Но они уже дошли до передней. Там стояли Николай и Сара.

— Немедленно прекрати смеяться надо мной, Сара, — говорил Николай, надевая пальто.

— А ты прекрати читать мне лекции, — парировала Сара, открывая дверь на улицу.

Ренни улыбнулся Элинор, когда те на секунду остановились у детской коляски.

— Набираются опыта! — сказал он.

— Спокойной ночи, — попрощалась Элинор, с улыбкой пожимая ему руку. Вот за этого мужчину, выйдя на морозный воздух, сказала она себе с внезапной убежденностью, я хотела бы выйти замуж. Она обнаружила в себе ощущение, которого никогда еще не испытывала. Но он на двадцать лет моложе меня и женат на моей двоюродной сестре. На мгновение она возненавидела убегающее время и обстоятельства жизни, которые оттолкнули ее «от всего этого». Она представила себе сцену: Мэгги и Ренни сидят у камина. Счастливый брак, подумала она, — вот что я ощущала все время. Счастливый брак. Она подняла голову и пошла по темной улочке за Николаем и Сарой. Широкая полоса света, похожая на крыло ветряной мельницы, медленно ползла по небу. Она как будто вбирала в себя мысли Элинор и выражала их широко и просто, точно какой-то чужой голос произносил их на другом языке. Затем луч остановился и ощупал подозрительное место на небе.

Налет! — вспомнила Элинор. Я же забыла про налет!

Николай и Сара дошли до перекрестка и остановились.

— Я забыла про налет! — сказала Элинор, по-

дойдя к ним. Это удивило ее, но так и было на самом деле.

Они стояли на Виктория-стрит. Улица уходила вдаль, изгибаясь; она выглядела шире и темнее, чем обычно. По тротуарам спешили маленькие фигурки; они появлялись на мгновение под фонарем, а затем опять исчезали. Улица была почти пуста.

— Интересно, омнибусы ходят как обычно? — спросила Элинор.

Все трое посмотрели вдаль. Пока что по улице ничего не ехало.

— Я подожду здесь, — сказала Элинор.

— Тогда я пойду, — вдруг заявила Сара. — Спокойной ночи!

Она помахала рукой и пошла прочь. Элинор полагала, что, разумеется, Николай пойдет с Сарой.

— Я подожду здесь, — повторила она.

Но он не двинулся с места. Сара уже исчезла из виду. Элинор посмотрела на Николая. Он рассержен? Или расстроен? Она не знала. Но тут в темноте замаячила махина с закрашенными синей краской фарами. В омнибусе сидели нахохлившись молчаливые люди; в синем свете они были похожи на покойников.

— Спокойной ночи, — сказала Элинор, пожи-

мая руку Николаю.

Она посмотрела назад и увидела, что он все еще стоит на тротуаре со шляпой в руке. Он выглядел высоким, импозантным и одиноким. По небу все так же шарили лучи прожекторов.

Омнибус ехал. Элинор уставилась на старика, который сидел в углу и ел что-то из бумажного пакета. Он поднял голову и перехватил ее взгляд.

— Вам интересно, что у меня на ужин, леди? — спросил он, приподняв одну бровь. Глаза у него слезились и часто моргали. Он продемонстрировал Элинор кусок хлеба с ломтиком то ли ветчины, то ли колбасы.

1918

Пелена тумана покрывала ноябрьское небо; в ней было много слоев и складок, и соткана она была так плотно, что нигде не виднелось ни единого просвета. Дождя не было, но туман оседал влагой на поверхности, отчего сельские дороги были мокрыми и мостовые в городах жирно блестели. Здесь и там на травинках и листьях живых изгородей висели неподвижные капли. Стояло полное безветрие. Проходя сквозь туман, все звуки — блеяние овцы, карканье грачей —

глохли и выдыхались. Голоса уличного движения сливались в один монотонный гул. То и дело — будто открывалась и закрывалась дверь или пелена раздвигалась и сходилась опять — рокот города вдруг начинал звучать громче, но затем сразу же опадал.

— Грязное животное, — бормотала Кросби, ковыляя по асфальтовой дорожке через Ричмонд-Грин. У нее болели ноги.

С неба вроде ничего не капало, но широкое открытое пространство было заполнено туманом; поблизости никого не было, так что она могла говорить сама с собой.

— Грязное животное, — опять проворчала она. У нее развилась привычка думать вслух.

В пределах видимости не было ни души, конец дорожки терялся в тумане. Было очень тихо. Лишь грачи, сгрудившиеся на верхушках деревьев, время от времени отрывисто каркали, или листок, испещренный черными крапинами, падал на землю. Лицо Кросби во время ходьбы кривилось, как будто ее мышцы привычно восставали против терзавших ее помех и тягот. За последние четыре года она сильно состарилась. Она выглядела такой маленькой и сгорбленной, что казалось, у нее вряд ли хватит сил преодо-

леть эту бело-туманную ширь. Но ей надо было добраться до Хай-стрит и сделать там покупки.

— Грязное животное, — еще раз буркнула она.

Утром у нее был разговор с миссис Бёрт о ванне графа. Он туда наплевал, и миссис Бёрт велела ей помыть ванну.

— Тоже мне граф. Он такой же граф, как вы, — продолжала ворчать Кросби. Она обращалась к миссис Бёрт. — Вам я готова сделать одолжение.

Даже сейчас, в тумане, когда Кросби могла говорить все, что ей заблагорассудится, она избрала примирительной тон, потому что знала: от нее хотят избавиться. Сообщая Луизе, что она готова сделать ей одолжение, Кросби жестикулировала свободной от сумки рукой. И ковыляла дальше.

— И съехать я не против, — добавила она с горечью, но это — уже самой себе.

Ей больше не доставляло радости жить в этом доме, хотя податься ей больше было некуда, и Бёрты прекрасно это знали.

— Я очень даже готова сделать вам одолжение, — произнесла она громче, как будто Луиза и впрямь слышала ее. Однако на самом деле она уже не могла работать так, как раньше. У нее болели ноги. Чтобы сделать покупки для самой себя, ей требовалось собрать все силы, не говоря

уж о мытье ванны. Но теперь выбирать не приходилось. Вот в былое время она послала бы их куда подальше. — Неряха, нахалка, — бормотала Кросби.

Эти слова относились к рыжей молодой служанке, которая вчера сбежала от хозяев без предупреждения. Ей-то легко найти другую работу. Ей-то что. А Кросби придется мыть ванну графа.

— Грязное, грязное животное, — повторяла она.

Ее бледно-голубые глаза бессильно поблескивали.

Она вспомнила плевок, который граф оставил на стенке ванны, — этот бельгиец, называвший себя графом.

— Я привыкла служить благородным господам, а не таким грязным иностранкам, как ты, — говорила она ему, ковыляя в тумане.

Чем ближе она подходила к призрачному ряду деревьев, тем громче звучал гул уличного движения. Она уже видела дома за деревьями. Вглядываясь бледно-голубыми глазами вперед, она шла к ограде. Одни только глаза выражали ее несгибаемую решимость: она не сдастся, она твердо вознамерилась выжить. Мягкий туман

медленно поднимался. На асфальтовой дорожке лежали влажные багряные листья. В кронах деревьев возились и каркали грачи. Наконец в тумане показалась темная линия уличной ограды. Гул Хай-стрит все усиливался. Кросби остановилась и пристроила сумку на ограду, перед тем как ринуться в битву с толпой покупателей на Хай-стрит. Ей придется толкаться и пихаться и терпеть толчки со всех сторон, а у нее так болят ноги. Им все равно, покупаешь ты или нет, думала она; часто бывало, что ее сталкивала с места какая-нибудь наглая стерва. Тяжело дыша, держа сумку на ограде, Кросби опять вспомнила ту рыжую девчонку. Как же болят ноги. Вдруг раздался долгий и тоскливый вой сирены. Затем глухо ударило.

— Опять пальба, — пробормотала Кросби, с раздражением взглянув на бледно-серое небо. Грачи, спугнутые выстрелом, взлетели и стали кружить над деревьями. Глухой удар повторился. Человек, стоявший на лестнице у одного из домов и красивший окно, замер с кистью в руке и оглянулся. Остановилась и женщина, которая шла по улице с буханкой хлеба, наполовину завернутой в бумагу. Оба ждали, как будто что-то должно было произойти. Клок дыма вырвался из трубы

и перелетел через улицу. Опять грохнул залп. Мужчина на лестнице что-то сказал женщине на тротуаре. Она кивнула. Затем он макнул кисть в банку и продолжил красить. Женщина пошла дальше. Кросби собралась с силами и засеменила через дорогу к Хай-стрит. Пушки продолжали бухать, а сирены — выть. Война кончилась — так ей кто-то сказал, когда она заняла очередь у прилавка в бакалейном магазине. А пушки все бухали, и выли сирены.

Наши дни[135]

Был летний вечер, солнце садилось; небо еще было голубым, но уже отливало золотом, словно покрытое тонкой вуалью; здесь и там в золотисто-голубой шири висели острова облаков. Деревья в полях стояли роскошно убранные — каждый из их бесчисленных листьев был позолочен. Овцы и коровы — жемчужно-белые и пестрые — лежали на земле или, жуя, прокладывали себе путь в полупрозрачной траве. Все предметы были окружены ореолом света. Над пыльными дорогами поднималась красно-золотая дымка.

---

[135] Примечания: 135

Роман вышел в свет в 1937 г., но, по некоторым признакам, в этой главе речь идет о времени между 1931 и 1933 г.

Даже маленькие краснокирпичные виллы вдоль шоссе как будто стали пористыми и пропитались светом, а цветы в палисадниках, сиреневые и розовые, как хлопчатобумажные платья, горели всеми своими прожилками, точно свет рождался у них внутри. Когда люди, стоявшие у дверей коттеджей или бредшие по тротуарам, обращали свои лица к медленно заходившему солнцу, их озаряло то же красноватое сияние.

Элинор вышла из своей квартиры и прикрыла дверь. Ее лицо было освещено лучами лондонского заката, на секунду они ослепили ее, а потом она посмотрела на крыши и шпили за окном. В ее комнате разговаривали люди, а она хотела наедине перекинуться словом-другим со своим племянником. Норт, сын ее брата Морриса, только что вернулся из Африки, и ей все никак не удавалось пообщаться с ним. В тот вечер пришло так много людей — Мириам Пэрриш, Ральф Пикерсгилл, Энтони Уэдд, ее племянница Пегги и, кроме всех прочих, этот говорун, ее приятель Николай Помяловский, которого она для краткости называла «Браун». Она редко говорила с Нортом наедине. Некоторое время они стояли в квадрате солнечного света на каменном полу коридора. В квартире все так же гудели голоса. Элинор поло-

жила руку на плечо Норта.

— Так приятно тебя видеть, — сказала она. — А ты не изменился… — Она посмотрела на него. Она по-прежнему видела черты кареглазого веселого мальчишки в этом крупном мужчине, таком загорелом, с проседью на висках… — Мы не отпустим тебя назад, — продолжила она, начиная спускаться рядом с ним по лестнице, — на эту ужасную ферму.

Норт улыбнулся.

— Вы тоже не изменились.

Она выглядела очень бодрой. Недавно побывала в Индии. Ее лицо загорело на солнце. Благодаря светлым волосам и смуглым щекам она едва ли выглядела на свои годы, но ведь ей должно быть сильно за семьдесят, подумал Норт. Они шли по лестнице об руку. Надо было спуститься на шесть пролетов каменной лестницы, но она настояла на том, что проводит его.

— Да, Норт, — сказала она, когда они вышли в холл, — будь осторожен… — Она остановилась на пороге. — Ездить в Лондоне не то же самое, что в Африке.

У подъезда стояла маленькая спортивная машина, мимо в вечернем свете шел человек, кричавший: «Старые стулья, корзины починя-

ем!»

Норт помотал головой: голос Элинор утонул в крике. Он посмотрел на доску с фамилиями, висевшую в холле. На ней аккуратно велся учет всех, кто был дома и кто отсутствовал, — это слегка удивило его, после Африки. Голос человека, кричавшего о старых стульях и корзинах, медленно затих в отдалении.

— Ну, Элинор, до свидания, — сказал Норт, обернувшись. — Мы скоро увидимся. — Он сел в машину.

— Ой, Норт!.. — вскрикнула она, вдруг вспомнив, что хотела сказать ему. Но он уже завел двигатель и не слышал ее голоса. Он махнул ей рукой. Она стояла на верхней ступеньке парадного, седые волосы трепетали на ветру. Автомобиль тронулся рывком. Когда Норт заворачивал за угол, она помахала ему в последний раз.

Элинор все та же, думал Норт, разве что чуть больше рассеянна. В доме полно гостей — ее тесная комнатка едва вместила всех, — а она настояла на том, чтобы показать ему свой новый душ. «Нажимаешь на эту штучку, — сказала она, — и, смотри…» Вниз ударили бесчисленные водяные иглы. Он расхохотался. Они сели рядом на край ванны.

Однако сзади упорно сигналили машины; они гудели и гудели. С чего бы? — удивился Норт. Вдруг он понял, что сигналят ему. Светофор переключился, теперь горел зеленый, а Норт не давал никому проехать. Он тронулся резким рывком. Он еще не освоил искусство вождения в Лондоне.

Гул Лондона все еще казался ему оглушительным, а скорость, с которой люди ездили, устрашающей, но здесь было интереснее, чем в Африке. Даже магазины, думал он, проносясь мимо стеклянных витрин, даже магазины изумительны. А вдоль края тротуара выстроились тележки с цветами и фруктами. Везде — изобилие, избыток… Опять зажегся красный свет, Норт притормозил.

Он огляделся. Он был где-то на Оксфорд-стрит. По тротуарам двигалось множество людей; толкая друг друга, они роились вокруг витрин, которые все еще были освещены. Яркость, красочность, разнообразие казались после Африки удивительными. За все эти годы, думал Норт, глядя на развевающееся полотнище из прозрачного шелка, он привык к необработанному сырью — к шкурам и шерсти, а здесь он видел законченные изделия. Его взгляд привлек дорожный несессер

из желтой кожи, наполненный серебряными бутылочками. Но светофор вновь зажег зеленый свет. Норт поехал дальше.

Он вернулся всего десять дней назад, и у него в голове царила полная неразбериха. Ему казалось, что он без перерыва разговаривает, жмет руки, здоровается. Люди появлялись отовсюду: его отец, сестра, какие-то старики вставали с кресел и спрашивали: «Вы меня не помните?» Те, кого он оставил несмышлеными мальчишками, стали студентами, девочки с косичками — замужними женщинами. Все это еще приводило его в растерянность. Они все так быстро говорят; наверное, они считают меня тупым, думал он. Ему приходилось отступать к окну и говорить себе: «Что, что, что они хотят сказать?»

Например, этим вечером у Элинор был какой-то человек с иностранным акцентом, который выдавил себе в чай лимон. Кто бы это мог быть? — заинтересовался Норт. «Один из дантистов Нелл», — сказала его сестра Пегги, наморщив губку. Им все всегда было ясно, на все имелись готовые фразы. Нет, то был молчун, сидевший на диване, а Норт имел в виду другого, который выдавил в чай лимон. «Мы называем его Браун», — буркнула Пегги. Почему Браун, если он

иностранец? — удивился Норт. Так или иначе, они все романтизировали одиночество и дикость — «Я бы хотел оказаться на вашем месте», — сказал коротышка по фамилии Пикерсгилл, — кроме этого Брауна, который заметил что-то заинтересовавшее Норта. «Если мы не знаем самих себя, как мы можем знать других людей?» — вот что он сказал. Они обсуждали диктаторов, Наполеона, психологию великих личностей. Опять зажегся зеленый с надписью «Проезжайте». Норт вновь бросил машину вперед. А потом дама с серьгами разглагольствовала о красотах Природы. Норт прочел название улицы слева. Он должен был ужинать у Сары, но не очень представлял себе, как добраться до места. Он только услышал, как ее голос в телефонной трубке сказал: «Приходи ко мне ужинать — Милтон-стрит[136], пятьдесят два, на двери моя фамилия». Это где-то рядом с Тюремной крепостью[137]. А что касается этого Брауна — трудно было сразу отнести его к какой-то категории людей. Он говорил, растопыривая пальцы, многословно, как человек, который со временем станет занудой. А Элинор бродила по

[136] Примечания: 136
Милтон-стрит — вымышленная улица.

[137] Примечания: 137
По-видимому, имеется в виду лондонский Тауэр.

квартире с чашкой в руках, рассказывая всем о своем новом душе. Норту хотелось, чтобы они тверже держались темы. Ему было интересно беседовать. Серьезно обсуждать абстрактные вопросы. «Чем хорошо одиночество; чем плохо общество?» Вот что было интересно; однако они все время перескакивали с одного на другое. Когда крупный мужчина сказал: «Одиночное заключение — самая мучительная пытка в нашем арсенале наказаний», тощая старуха с редкими растрепанными волосами сразу вскрикнула, приложив руку к сердцу: «Его надо отменить!» Как видно, ей случалось бывать в тюрьмах.

— Черт, куда я забрался? — спросил Норт сам себя, вглядываясь в название улицы на угловом доме. Кто-то нарисовал мелом на стене круг с ломаной линией внутри[138]. Норт посмотрел вдаль. Дверь за дверью, окно за окном повторяли один и тот же образец. Все было озарено красновато-желтым сиянием, потому что солнце садилось в лондонскую мглу. Город окутывала теплая золотая дымка… Тележки, полные фруктов и цветов, стояли в ряд вдоль края тротуара. Солнце вызолотило плоды; цветы — розы, гвоздики,

[138] Примечания: 138

Молния в круге — символ Британского союза фашистов (чернорубашечников), основанного Освальдом Мозли (1896–1980) в 1932 г.

лилии — лучились жухловатым великолепием. Он думал было остановиться и купить букет для Салли, но сзади гудели машины. Он поехал дальше. Букет, зажатый в руке, думал он, смягчит неловкость встречи и обмен обычными фразами. «Как приятно тебя видеть… Ты пополнел», — и так далее. Он ведь только слышал ее голос по телефону, а люди за столько лет меняются. Он точно не знал, та это улица или нет, и медленно свернул за угол. Остановился. Проехал еще немного. Это была Милтон-стрит, сумрачная улица со старыми домами, в которых теперь сдавались квартиры; но они видали и лучшие времена.

«Нечетные на той стороне, четные на этой», — пробормотал Норт. Улица была запружена фургонами. Он посигналил. Остановился. Посигналил опять. Мужчина подошел к голове лошади, запряженной в телегу с углем, и животное неторопливо побрело вперед. Дом номер пятьдесят два был чуть дальше. Норт медленно подкатил к двери и остановил машину.

С той стороны улицы донесся голос женщины, певшей гаммы.

— Какая грязная, — произнес Норт, еще сидя в машине (улицу перешла женщина с кувшином под мышкой), — гадкая, не подходящая для жи-

тья улица.

Он заглушил мотор, вышел и стал читать фамилии на двери. Они были написаны одна над другой — некоторые на визитных карточках, иные на медных табличках: Фостер, Эбрахамсон, Робертс; «С. Парджитер» было выбито на алюминиевой полоске, на самом верху. Норт позвонил в один из множества звонков. Никто не появился. Женщина продолжала петь гаммы, медленно повышая голос. Настроение приходит и уходит, думал Норт. Иногда он писал стихи; и сейчас, пока он ожидал, к нему опять пришло поэтическое настроение. Он сильно нажал кнопку звонка два или три раза. Но никто не вышел. Тогда он толкнул дверь, она оказалась не заперта. Внутри стоял непривычный запах вареных овощей; засаленные бурые обои создавали сумрак. Норт поднялся по лестнице дома, который, вероятно, некогда служил жильем какому-то благородному господину. Балясины были резные, однако замазанные каким-то дешевым желтым лаком. Норт медленно добрался до лестничной площадки и остановился, не зная, в какую дверь постучать. В последнее время он то и дело оказывался перед дверьми незнакомых домов. У него было ощущение, что он — непонятно кто и непонятно где. С

той стороны улицы продолжал звучать голос, натужно карабкавшийся вверх по гаммам, точно по лестнице; наконец женщина умолкла — лениво и вяло, как будто донеся до вершины звук своего голоса и бросив его там. Затем Норт услышал из-за двери смех.

Это ее голос, подумал он. Но она там не одна. Ему стало неприятно. Он рассчитывал застать ее одну. Голос что-то говорил и не ответил, когда Норт постучал. Он очень осторожно открыл дверь и вошел.

— Да, да, да, — говорила Сара.

Она стояла на коленях и разговаривала по телефону, но никого, кроме нее, в квартире не было. Увидев Норта, она подняла руку и улыбнулась ему, но руку не опустила, как будто шум, издаваемый им, не позволял ей чего-то расслышать.

— Что? — спросила она в трубку. — Что?

Норт стоял молча, глядя на силуэты своих бабушки и дедушки на каминной полке. Он заметил отсутствие цветов. Надо было принести. Он прислушался к тому, что говорила Сара, стараясь понять смысл.

— Да, теперь слышу… Да, ты прав. Ко мне пришли… Кто? Норт. Мой родственник из Африки…

Это про меня, подумал Норт. «Родственник из

Африки». Это мой ярлычок.

— Вы знакомы? — спросила Сара и помолчала. — Ты так считаешь? — Она обернулась и посмотрела на Норта.

Они обсуждают меня, подумал он. Ему стало неуютно.

— До свидания, — сказала Сара и положила трубку. — Он говорит, что сегодня видел тебя. — Она подошла и взяла Норта за руку. — И ты ему понравился, — добавила она с улыбкой.

— Кто это? — спросил Норт, чувствуя неловкость. Надо было принести ей цветы.

— Человек, с которым ты познакомился у Элинор.

— Иностранец?

— Да. Мы называем его «Браун». — Она подвинула Норту стул.

Он сел на этот стул, а она устроилась напротив по-турецки. Он вспомнил ее манеру вести себя. Ее образ возвращался к нему по частям: сперва голос, затем манера, хотя что-то еще оставалось незнакомым.

— Ты не изменилась, — сказал он. Невзрачные лица слабо меняются, а вот красивые дурнеют. Она выглядела ни молодой, ни старой; только какой-то потрепанной; и комната была не при-

брана; в углу стоял горшок с пампасной травой. Обычная комната в доходном доме, убранная второпях, подумал он.

— А ты… — начала она, глядя на него. Казалось, она старается совместить две различных его версии: одну — телефонную и вторую — сидевшую на стуле. Или была еще какая-нибудь? Это полузнание людей, полузнание ими тебя и ощущение взгляда на своем теле, точно ползающей мухи — как это все неприятно, думал он; но неизбежно — после стольких лет. Столы были завалены всякой всячиной, и Норт не знал, куда положить шляпу. Сара улыбалась, глядя, как он сидит и неуверенно держит шляпу в руке.

— Кто сей молодой француз, — сказала она, — с цилиндром на картине?

— На какой картине? — спросил Норт.

— Тот, что сидит с растерянным видом, держа в руке шляпу.

Он положил шляпу на стол, но сделал это неуклюже. Книга упала на пол.

— Прошу прощения, — сказал он. Вероятно, сравнивая его с растерянным человеком на картине, она имела в виду неуклюжесть Норта; он всегда таким был. — Это не та квартира, в которой я был в последний раз? — спросил он.

Он узнал кресло — с позолоченными ножками в форме птичьих лап; было здесь и всегдашнее пианино.

— Нет, та была за рекой, — сказала Сара. — Ты тогда приходил прощаться.

Он вспомнил. Он навестил ее вечером накануне своего ухода на войну. И повесил фуражку на бюст дедушки. Бюст теперь исчез. А она издевалась над Нортом.

«Сколько кусков сахара лейтенанту Его Величества полка Королевских крысоловов?» — он живо представил ее, бросающей куски сахара ему в чай. Тогда они поссорились. И он ушел. В ту ночь был налет. Он вспомнил: темно, лучи прожекторов медленно ползут по небу, то и дело останавливаясь, чтобы ощупать подозрительное место; короткие шлепки выстрелов; люди бегут пустыми улицами, синими от защитного освещения. Он ужинал в Кенсингтоне со своими родными; попрощался с матерью; тогда он видел ее в последний раз.

Голос певицы прервался. «А-а, о-о, а-а, о-о», — пела она на другой стороне улицы, лениво ползая вверх и вниз по гамме.

— Она так каждый вечер? — спросил Норт. Сара кивнула. Звуки, проходившие сквозь гудящий

вечерний воздух, казались медлительными и чувственными. У певицы явно не было недостатка времени: она останавливалась на каждой ступени.

Никаких признаков ужина Норт не заметил, только блюдо с фруктами на дешевой скатерти, принадлежавшей доходному дому, с желтыми пятнами от какой-то подливки.

— Почему ты всегда выбираешь трущобы… — начал Норт, вздрогнув от крика детей под окном, но тут дверь открылась и вошла девушка с пучком ножей и вилок. Типичная для доходных домов прислуга, подумал Норт, — с красными руками и в щегольском белом чепце, какие нацепляют на голову девицы в доходных домах, когда у постояльца прием. В ее присутствии надо было изображать беседу. — Я виделся с Элинор, — сказал Норт. — Это у нее я встретил твоего знакомого Брауна.

Девушка стала со стуком раскладывать ножи и вилки на столе.

— Ах, Элинор, — сказала Сара. — Элинор… — Но она засмотрелась на девушку, которая неуклюже двигалась вокруг стола, при этом довольно громко сопя.

— Она только что вернулась из Индии, — сказал

Норт. Он тоже наблюдал за девушкой, накрывавшей на стол. Теперь она поставила среди дешевой хозяйской посуды бутылку вина.

— Слоняется по всему свету, — проговорила Сара.

— И развлекает всяких старомодных чудаков, — добавил Норт. Он вспомнил коротышку со свирепыми голубыми глазами, который хотел жить в Африке, и растрепанную женщину в бусах, судя по всему, посещавшую тюрьмы. — А этот человек, твой знакомый… — начал он. В этот момент девушка вышла из комнаты, но дверь оставила открытой — знак того, что она скоро вернется.

— Николай, — сказала Сара, закончив фразу Норта. — Которого все называют Брауном.

Последовала пауза. Затем Сара спросила:

— А о чем вы говорили?

Норт попытался вспомнить.

— О Наполеоне, о психологии великих личностей; если мы не знаем себя, как мы можем знать других людей… — Он замолчал. Было трудно с точностью припомнить, о чем шла беседа даже всего час назад.

— А потом, — сказала Сара, выставив одну руку и прикоснувшись пальцем к носу совершенно

так же, как это делал Браун, — «Как мы можем создавать законы, религии, которые годятся в дело, в дело, когда мы сами не знаем себя?»

— Да, да! — воскликнул Норт. Она точно уловила его манеру, легкий иностранный акцент, дважды сказанное «в дело» — как будто он был не совсем уверен в существовании коротких слов в английском языке.

— А Элинор, — продолжила Сара, — сказала: «Как же нам… Как же нам стать лучше?» — сидя на краешке дивана, да?

— На краю ванны, — поправил ее Норт со смехом. — Этот разговор у вас уже бывал, — сказал он. Именно это он и чувствовал. Все говорилось не в первый раз. — А потом, — продолжил он, — мы обсуждали…

Но тут опять появилась прислуга. На этот раз она несла тарелки: дешевые хозяйские тарелки с голубыми каемками.

— …общество и одиночество — что лучше, — закончил Норт.

Сара все так же смотрела на стол.

— И что же… — проговорила она так, как говорит человек, поверхностно наблюдающий за чем-то, но думающий о другом. — И что же выбрал ты? Проведя столько лет в одиночестве. —

Девушка вышла. — Среди своих овец, — Сара замолчала. Внизу на улице заиграл тромбонист, а женщина так и продолжала распевать гаммы, и они были похожи на людей, старающихся выразить в одно и то же время два совершенно разных мироощущения. Голос взбирался вверх, тромбон завывал. Сара и Норт рассмеялись. — …сидя на веранде, — продолжила мысль Сара, — глядя на звезды.

Норт посмотрел на потолок: похоже, она что-то цитирует. Ах, ну да — он вспомнил, что написал ей, когда впервые уехал.

— Да, глядя на звезды, — сказал он.

— Сидя на веранде в тишине, — добавила она. За окном проехал фургон, на короткое время заглушив все звуки. — А потом… — сказала Сара, когда грохот фургона начал удаляться, но сделала паузу, точно выбирая из памяти какой-то другой кусок его письма. — Потом ты оседлал лошадь и ускакал прочь!

Она вскочила, и Норт впервые увидел ее лицо полностью освещенным. Рядом с носом было пятно сажи.

— Знаешь, — сказал Норт, глядя на нее, — у тебя лицо испачкано.

Она прикоснулась не к той щеке.

— Нет, с другой стороны, — сказал Норт.

Она вышла из комнаты, не взглянув в зеркало. Из чего мы делаем вывод, заключил он про себя, будто писал роман, что мисс Сара Парджитер никогда не была объектом мужской любви. Или была? Он не знал. Эти маленькие моментальные снимки людей так недостаточны, они лишь поверхностные изображения, которые мы создаем в своем сознании, точно муха, ползущая по лицу и чувствующая: вот это нос, а это бровь.

Норт отошел к окну. Солнце, должно быть, садилось, потому что кирпичи углового дома были окрашены в яркий желтовато-розовый цвет. Одно-два окна в верхнем этаже горели золотом. Прислуга была в комнате, и она раздражала Норта — так же как и лондонский шум, к которому он все еще не привык. На фоне глухого уличного гула, шороха колес, скрипа тормозов, рядом слышались внезапный крик женщины, испугавшейся за своего ребенка, монотонные крики торговца овощами, а вдалеке — игра шарманки. Она замолкла, потом возобновилась. Я писал ей письма, подумал Норт, поздними вечерами, когда мне было одиноко, когда я был молодым. Он посмотрел на себя в зеркало и увидел загорелое лицо с широкими скулами и маленькими

карими глазами.

Девушку-прислугу поглотила нижняя часть дома. Дверь была распахнута. Ничего вроде бы не происходило. Норт стоял в ожидании. Он чувствовал себя чужаком. За столько лет все нашли себе пары, обосновались, обросли делами и занятиями. Приходишь к ним, а они звонят, они вспоминают былые разговоры, выходят из комнаты, оставляют тебя одного… Норт взял книгу и прочел несколько слов: «…Тень — ангела со светлыми кудрями…»[139]

Затем вошла Сара. Однако в последовательности событий случилась какая-то запинка. Дверь была распахнута, стол — накрыт, но ничего не происходило. Они стояли рядом, спинами к камину, и ждали.

— Как, должно быть, странно, — продолжила разговор Сара, — вернуться через столько лет — как будто упасть с неба, пролетая на аэроплане, — она указала на стол, точно это было поле, на которое приземлился Норт.

— На неведомую землю, — сказал Норт. Он наклонился вперед и дотронулся до ножа на столе.

— И обнаружить людей, которые говорят… —

---

[139] Примечания: 139

Уильям Шекспир. Ричард III. Акт I, сцена 4-я. (*Пер. А. Радловой.*)

добавила Сара.

— …говорят, говорят, — сказал Норт, — о деньгах и политике, — он слегка, но со злостью пнул каблуком каминную решетку.

Вошла прислуга. У нее был важный вид — потому что она несла блюдо, накрытое металлической крышкой. Девушка подняла крышку с явной торжественностью. Под ней лежала баранья нога.

— Давай ужинать, — сказала Сара.

— Я голоден, — согласился Норт.

Они сели, Сара взяла нож и сделала длинный надрез. Из него потекла тонкая струйка красного сока: мясо было недожарено. Сара посмотрела на него.

— Баранина не должна такой быть, — сказала она. — Говядина — да, но не баранина.

Оба смотрели, как сок стекает в углубление блюда.

— Отправим назад, — спросила Сара, — или съедим так?

— Съедим, — сказал Норт. — Мне приходилось есть куски и похуже, — добавил он.

— В Африке… — проговорила Сара, поднимая крышки над блюдами с овощами. В одном была клеклая масса капусты в зеленоватой жиже, в другом — желтые картофелины, на вид недова-

ренные. — ...в Африке, в дебрях Африки, — продолжила она, накладывая Норту капусты, — на твоей ферме, где никто не появлялся месяцами и ты сидел на веранде, слушая...

— Овец, — закончил Норт. Он резал свою баранину на продолговатые кусочки. Она была жесткая.

— И ничто не нарушало тишину, — продолжила Сара, беря себе картофеля, — кроме звука упавшего дерева или камня, сорвавшегося со склона дальней горы... — Она посмотрела на Норта, чтобы проверить, правильно ли она цитирует его письма.

— Да, — сказал он. — Там было очень тихо.

— И жарко, — добавила она. — Палящая жара в полдень, к тебе постучался старый бродяга?..

Норт кивнул. Он опять увидел себя молодым и очень одиноким.

— А потом... — вновь начала Сара, но тут по улице протарахтел большой грузовик. На столе что-то задребезжало, стены и пол задрожали. Сара раздвинула два бокала, позвякивавшие один об другой. Грузовик проехал, его громыхание стало удаляться. — И птицы, — продолжила Сара. — Соловьи, поющие под луной?

Норту стало неуютно от картины, которую

вызвала Сара.

— Наверное, я писал тебе много чепухи! — воскликнул он. — Надеюсь, ты рвала эти письма.

— Нет! Письма были прекрасные! Чудесные письма! — возразила Сара, поднимая бокал. Она всегда пьянела от наперстка вина, вспомнил Норт. Ее глаза горели, щеки разрумянились. — А потом ты устраивал себе выходной, — продолжила Сара, — и ехал, трясясь в безрессорной повозке по ухабистой белой дороге, в ближайший городок…

— За шестьдесят миль, — уточнил Норт.

— И шел в бар, где встречал человека с соседнего… ранчо? — Она засомневалась, то ли это слово.

— Ранчо, ранчо, — подтвердил Норт. — Я ездил в город, чтобы выпить в баре…

— А потом? — спросила Сара.

Он засмеялся. Кое о чем он ей не писал. Он промолчал.

— Потом ты перестал писать, — сказала она и поставила бокал.

— Когда забыл, как ты выглядишь, — сказал Норт, посмотрев на нее. — Ты тоже бросила писать.

— Да, я тоже.

Тромбон переместился и теперь заунывно играл под окном. Тоскливый звук — как будто пес, закинув голову, воет на луну — окутал Норта и Сару. Она стала помахивать вилкой в такт.

— С сердцами, полными тоски, со смехом на губах, шагали по ступеням мы… — Она тянула слова, подлаживаясь под завывание тромбона. — Шагали по ступеням мы-ы-ы. — Но тут тромбон сменил ритм на джигу. — Он — к грусти, к счастью — я, — напела она в такт. — Он — к счастью, я — к печали, шли по ступеням мы.

Сара поставила бокал.

— Еще кусок? — спросила она.

— Нет, спасибо, — отказался Норт, посмотрев на довольно мерзкие остатки по-прежнему кровоточившего жаркого. Синий китайский узор на блюде был измазан красными потеками. Сара протянула руку и позвонила. Потом еще раз. Никто не пришел.

— Твои звонки не звонят, — сказал Норт.

— Да, — улыбнулась она. — Звонки не звонят, краны не открываются. — Она постучала ногой в пол. Подождали. Никто не появился. На улице выл тромбон.

— Но от тебя было одно письмо, — продолжил Норт. — Злое, жестокое.

Он посмотрел на Сару. Она приподняла верхнюю губу, как лошадь, которая собирается укусить. Это он тоже помнил.

— Да? — сказала она.

— В тот вечер, когда ты вернулась со Стрэнда, — напомнил он.

В этот момент вошла прислуга с пудингом. Это был разукрашенный пудинг, полупрозрачный, розовый, увенчанный шариками крема.

— Я помню, — сказала Сара, вонзая ложку в дрожащее желе. — Тихий осенний вечер, фонари горят, люди бредут по тротуару с венками в руках?

— Да, — кивнул он. — Точно.

— И я сказала себе, — Сара сделала паузу, — это ад. Мы пропащие души.

Норт кивнул. Сара положила ему пудинга.

— И я, — сказал он, беря тарелку, — был среди пропащих душ. — Он тоже вонзил ложку в трепещущую массу.

— Трус, лицемер, со своим хлыстом в руке и с фуражкой на голове… — Он цитировал ее письмо. Норт замолчал. Сара улыбнулась ему.

— Но что за слово — какое слово я тогда написала? — спросила она, как будто силясь вспомнить.

— Белиберда! — напомнил он. Она кивнула.

— А потом я пошла на мост, — продолжила Сара, не донеся ложку до рта, — и остановилась в одной из этих ниш или углублений — как они называются? — и наклонилась над водой и стала смотреть вниз, — она опустила взгляд на свою тарелку.

— Тогда ты жила на той стороне реки.

— Стояла и смотрела вниз, — сказала Сара, глядя на свой бокал, который выставила перед собой, — и думала: «Вода бежит, вода течет, вода морщит огни, и лунный свет, и свет звезд…» — Она выпила и умолкла.

— Потом подъехал автомобиль, — подсказал Норт.

— Да, «роллс-ройс». Он остановился под фонарем, там сидели…

— Двое, — напомнил Норт.

— Двое. Да, — сказала Сара. — Он курил сигару. Английский аристократ с большим носом, во фраке. А рядом с ним сидела она, в манто, отороченном мехом, и она воспользовалась остановкой в свете фонаря, чтобы поднять руку, — Сара подняла руку, — и подкрасить свой рот, похожий на совок.

Сара проглотила кусок пудинга.

— А заключительная мораль?

Она покачала головой.

Они сидели молча. Норт доел свою порцию пудинга и достал портсигар. Кроме вялых фруктов на блюде — яблок и бананов, — есть, в сущности, было больше нечего.

— Мы были такими глупыми в молодости, Сэл, — сказал Норт, поджигая сигарету. — Писали витиеватые несуразности…

— На заре, под щебет воробьиный, — сказала Сара, придвигая к себе блюдо с фруктами. Она принялась очищать банан — как будто снимала с него мягкую перчатку. Норт взял яблоко и стал срезать с него кожуру, которая ложилась на его тарелку спиралью — как змеиная кожа, подумал он; а шкурка банана была похожа на разорванный палец перчатки.

На улице стало тихо. Женщина прекратила пение, тромбонист ушел. Час пик закончился, на мостовой не было никакого движения. Норт посмотрел на Сару, откусывавшую банан маленькими кусочками.

Когда она приехала на четвертое июня[140], вспомнил он, юбка на ней была надета наизнан-

[140] Примечания: 140

Четвертое июня — праздник Итонского колледжа, отмечаемый в день рождения короля Георга III (1738–1820), который особенно любил это учебное заведение.

ку. Уже тогда она была сутулая, и они над ней смеялись — он и Пегги. Она так и не вышла замуж — интересно, почему? Он сгреб в кучку яблочную кожуру на своей тарелке.

— Чем он занимается? — вдруг спросил Норт. — Человек, который размахивает руками?

— Вот так? — спросила Сара, взмахнув руками.

— Да, — кивнул Норт. Он имел в виду именно этого говорливого иностранца, из тех, что имеют теорию по каждому поводу. И все-таки он нравился Норту: от него исходил какой-то аромат, какая-то вибрация, его лицо было удивительно подвижно; у него был крутой лоб, добрые глаза и лысина. — Чем он занимается? — Норт повторил вопрос.

— Говорит, — ответила Сара. — О душе. — Она улыбнулась.

И опять Норт почувствовал себя чужаком: как много раз они, должно быть, говорили, как были близки друг другу.

— О душе, — продолжила Сара, беря сигарету. — Читает лекции, — добавила она, поджигая ее. — Десять шиллингов шесть пенсов за место в первом ряду. — Она выпустила дым. — Стоячие места — за полкроны, но оттуда, — она опять пыхнула дымом, — слышно хуже. Можно усвоить

лишь половину наставлений Учителя, Мастера. — Она засмеялась.

Теперь она издевалась над ним, давала понять, что он шарлатан. А ведь Пегги сказала, что они очень близки — Сара и этот иностранец. Образ человека, которого Норт встретил у Элинор, слегка изменился, как будто сдулся воздушный шарик.

— Я думал, он твой друг.

— Николай? — громко сказала Сара. — Я люблю его!

Ее глаза явно заблестели. Она уставилась на солонку, и во взгляде ее был восторг, который опять озадачил Норта.

— Ты любишь его… — начал он. Но тут зазвонил телефон.

— Вот и он! — воскликнула Сара. — Это он! Это Николай!

Она говорила с большим волнением.

Телефон вновь прозвенел.

— Меня здесь нет! — сказала Сара. Телефон звонил. — Меня нет! Меня нет! Меня нет! — повторяла она в такт звонкам. Она не собиралась брать трубку.

Норт больше не мог выносить ее пронзительного голоса и звонков. Он подошел к телефону. Последовала пауза — когда он стоял с трубкой

в руке.

— Скажи ему, что меня нет! — взмолилась Сара.

— Алло, — сказал Норт в трубку, но в ответ ничего не услышал. Он смотрел на Сару, сидевшую на краешке стула и качавшую ногой.

Затем зазвучал голос.

— Это Норт, — ответил Норт. — Я ужинаю у Сары… Хорошо, я скажу ей… — Он опять посмотрел на Сару. — Она сидит на краю стула, с пятном сажи на лице, и качает ногой.

Элинор стояла, держа телефонную трубку. Она улыбалась и, уже положив трубку, некоторое время еще продолжала стоять, улыбаясь, а потом повернулась к своей племяннице Пегги, которая приехала к ней в гости к обеду.

— Норт ужинает у Сары, — сказала Элинор, все еще улыбаясь картинке, которую она представила себе благодаря телефону: два человека на другом конце Лондона, Сара сидит на краешке стула, с пятном сажи на лице.

— Он ужинает у Сары, — повторила Элинор. Но ее племянница не улыбнулась в ответ, потому что она эту картинку не видела, к тому же была немного раздражена из-за того, что посреди их с Элинор беседы та вдруг поднялась и сказала: «Я

только напомню Саре».

— Вот как? — безучастно проговорила Пегги.

Элинор подошла и села.

— Мы говорили… — начала она.

— Ты ее почистила, — сказала Пегги одновременно с ней. Пока Элинор звонила, она смотрела на портрет своей бабушки над письменным столом.

— Да. — Элинор взглянула через плечо. — Да. Ты видишь цветок, упавший на траву? — спросила она. Теперь она повернулась и смотрела на картину прямо. Лицо, платье, корзина с цветами — одно мягко перетекало в другое, как будто все краски составляли единую нежную эмалевую поверхность. На траве лежал цветок — маленькая голубая завитушка.

— Он был скрыт грязью, — сказала Элинор. — Но я помнила его с детства. Кстати, если тебе нужен хороший реставратор картин…

— Она тут похожа на себя? — перебила ее Пегги.

Кто-то сказал ей, что она похожа на бабушку, а она не хотела быть на нее похожей. Она хотела быть темноволосой, с орлиным носом, но на самом деле была голубоглазой и круглолицей — как бабушка.

— У меня где-то есть адрес, — продолжала свое Элинор.

— Не стоит, не стоит, — сказала Пегги, в досаде на теткину привычку вдаваться в ненужные мелочи. Это старость, подумала она: старость, расшатывающая винтики и заставляющая весь механизм разума греметь и дребезжать. — Так похожа? — опять спросила Пегги.

— Я ее такой не помню, — сказала Элинор, опять взглянув на картину. — Возможно, когда я была маленькой — нет, даже тогда вряд ли. Что интересно, — продолжила она, — то, что когда-то считалось некрасивым — рыжие волосы, например, — мы считаем милым; поэтому я часто спрашиваю себя… — она сделала паузу, пыхнув манильской сигарой, — «Что такое красота?»

— Да, — сказала Пегги. — Это всех волнует.

Когда Элинор вдруг вздумалось напомнить Саре о приеме, они беседовали о детстве Элинор — о том, как с тех пор все изменилось: одному поколению хорошим кажется одно, другому — другое. Пегги любила разговорить Элинор о ее прошлом; эта тема казалась такой умиротворяющей, такой безопасной.

— Как ты думаешь, есть ли какой-то стандарт? — спросила Пегги, стараясь вернуть Элинор

к прерванной беседе.

— Не знаю, — рассеянно сказала Элинор. Она уже думала о чем-то другом. — Какая досада! — вдруг воскликнула она. — Я хотела что-то спросить у тебя — уже на языке вертелось. И тут вспомнила о приеме у Делии, потом Норт меня рассмешил: Салли сидит на краю стула с пятном сажи на носу — и все вылетело, — она покачала головой. — Знаешь это чувство — когда уже собираешься что-то сказать, и тебя перебивают? Кажется, слова застряли вот здесь, — она постучала себе по лбу, — и мешают всему остальному. И не то чтобы нечто важное, — добавила она. Она сделала несколько шагов по комнате. — Нет, сдаюсь, сдаюсь, — заключила она, тряся головой. — Пойду теперь соберусь, если ты вызовешь такси.

Она ушла к себе в спальню. Вскоре оттуда послышался звук текущей воды.

Пегги прикурила еще одну сигарету. Если Элинор собирается мыться — судя по звукам из спальни, — то с такси спешить ни к чему. Пегги взглянула на письма, лежавшие на каминной полке. На одном сверху выделялся адрес: «Mon Repos, Уимблдон». Один из дантистов Элинор, подумала Пегги. С которым она собирает гербарии

в парке Уимблдон-Коммон. Милейший человек. Элинор описывала его. «Он говорит, что каждый зуб не похож на остальные. А еще он все знает о растениях…» Трудно было удержать ее на теме детства.

Пегги прошла через комнату к телефону, назвала номер. Последовала пауза. Ожидая, она смотрела на свою руку, держащую трубку. И на ногти — аккуратные, похожие на раковинки, отполированные, но без лака — компромисс между наукой и… Ее мысли прервал голос: «Номер, пожалуйста», и она опять назвала номер.

Опять пришлось ждать. Сидя на месте Элинор, она представила ту же телефонную картинку: Салли сидит на краешке стула, с пятном сажи на лице. Какая дура, со злостью подумала Пегги, и по ее бедру пробежали мурашки. И на что же она злится? Она гордилась своей честностью перед собой — она была врачом и знала, что эти мурашки означают злость. То ли она завидовала Салли, потому что та была счастлива, то ли это голос наследственного ханжества, осуждающего дружбу с мужчинами, которые не любят женщин? Пегги посмотрела на портрет своей бабушки, как будто спрашивая ее мнения. Но та напустила на себя вид ни к чему не причастного произведения

искусства; она сидела, улыбалась своим розам, и ей было безразлично, что хорошо, а что плохо.

— Алло, — произнес грубый голос, сразу вызвавший из памяти Пегги образ павильона для отдыха таксистов с полом, усыпанным опилками.

Пегги дала адрес и повесила трубку, как раз когда вошла Элинор — на ней была красно-золотая арабская накидка и на волосах — серебристая вуаль.

— Как ты думаешь, когда-нибудь можно будет не только слышать, но и видеть по телефону? — спросила Пегги, вставая. Волосы у Элинор всегда были красивыми, подумала Пегги; как и ее искристые темные глаза — глаза утонченной пожилой прорицательницы, старой чудачки, почтенной и смешной одновременно. Она загорела в своих странствиях, поэтому волосы казались белее, чем обычно.

— Что ты сказала? — переспросила Элинор, не расслышав. Пегги не стала повторять.

Они стояли у окна и ждали такси. Стояли рядом, молча, глядя в окно, — потому что надо было чем-то заполнить паузу, а вид из окна, расположенного высоко над крышами, над квадратами и углами садиков, которые уходили к голубоватой кромке дальних холмов, — этот вид заполнял

паузу не хуже человеческого голоса. Солнце садилось; одно облако висело красным завитком на голубом фоне, похожее на птичье перо. Пегги посмотрела вниз. Странно было видеть автомобили, ездившие туда-сюда, поворачивавшие с улицы на улицу, и не слышать звуков, производимых ими. Она как будто смотрела на кусок большой карты Лондона. Летний день угасал; зажигались фонари — бледно-желтые, пока отделенные друг от друга, потому что воздух еще был наполнен закатным светом. Элинор указала на небо.

— Вон там я впервые увидела аэроплан — между теми трубами, — сказала она. Вдали поднимались высокие заводские трубы; огромное здание — кажется, это Вестминстерский собор — господствовало над крышами. — Я стояла здесь, смотрела в окно, — продолжала Элинор. — Наверное, я тогда только переехала в эту квартиру, был летний день, и я увидела в небе черную точку и сказала — кто же здесь был? — Мириам Пэрриш, должно быть, — да, она пришла помочь мне здесь устроиться — кстати, надеюсь, Делия не забыла пригласить ее… — Это старость, заметила про себя Пегги, одно тащит за собой другое.

— Ты сказала Мириам… — подсказала она.

— Я сказала Мириам: «Это что, птица? Нет, пти-

ца вряд ли. Слишком большая. Однако двигается». И вдруг я поняла: это аэроплан! Так и оказалось! Они ведь незадолго до этого перелетели через Ла-Манш. Тогда я гостила у вас в Дорсете: помню, как прочитала об этом в газете и кто-то — твой отец, наверное — сказал: «Мир бесповоротно изменился!»

— Ну… — Пегги засмеялась. Она хотела было сказать, что самолеты — не такая уж значительная перемена: она вообще любила подтрунивать над верой старших в науку — отчасти потому, что ее удивляло их легковерие, отчасти оттого, что она ежедневно поражалась невежеству коллег-врачей, — но тут Элинор вздохнула.

— Боже, боже, — прошептала она.

И отвернулась от окна.

Опять старость дает себя знать, подумала Пегги. Порыв ветра распахнул дверь — один из миллиона порывов ветра за семьдесят с чем-то лет жизни Элинор; в голову ей пришла печальная мысль, которую она тут же постаралась скрыть — отошла к письменному столу и стала рыться в бумагах — со скромным великодушием, с болезненным смирением стариков.

— Что такое, Нелл? — спросила Пегги.

— Ничего, ничего, — сказала Элинор. Она уви-

дела небо, а небо было покрыто для нее многими образами и картинами — ведь она видела его так часто; любая картина могла оказаться сверху, когда Элинор смотрела на небо. Сейчас — поскольку она говорила с Нортом — ей вспомнилась война, как она стояла на том же месте однажды ночью и следила за лучами прожекторов. Она только вернулась домой после налета; она ужинала у Ренни и Мэгги. Они сидели в подвале, и Николай — не тогда ли она впервые его увидела? — сказал, что война не имеет значения. «Мы дети, играющие с шутихами во дворе»… Она вспомнила его фразу и как, сидя на деревянном ящике, они пили за Новый Мир. «За Новый Мир, за Новый Мир!» — кричала Салли, барабаня ложкой по ящику. Элинор отвернулась к письменному столу, разорвала письмо и выбросила его. — Да, — сказала она, шаря среди бумаг в поисках чего-то. — Да, я ничего не знаю об аэропланах, никогда в них не летала, но вот автомобили — без них я могла бы обойтись. Меня тут чуть один не сшиб, я тебе не говорила? На Бромптон-Роуд[141]. Я сама была виновата — не смотрела… И радио — оно так надоедает: соседи снизу включают его

[141] Примечания: 141
Бромптон-Роуд — многолюдная торговая улица.

после завтрака; а с другой стороны — горячая вода, электрический свет и эти новые… — Она запнулась. — А, вот она! — воскликнула Элинор, вытащив листок бумаги, который искала. — Если там сегодня будет Эдвард, напомни мне — сейчас завяжу узелок на платке… — она открыла сумочку, вынула шелковый носовой платок и с серьезным видом завязала на нем узел, — спросить его о младшем Ранкорне.

Прозвенел звонок.

— Такси, — сказала Элинор.

Она огляделась, желая убедиться, что ничего не забыла. Сделав несколько шагов, она вдруг остановилась, потому что ее взгляд привлекла лежавшая на полу вечерняя газета, с широкой полосой типографской краски и неясной фотографией. Элинор подняла ее.

— Ну и лицо! — воскликнула она, расправляя газету на столе.

Насколько могла разглядеть Пегги — будучи близорукой, — это был обыкновенный для вечерней газеты нечеткий портрет жестикулирующего толстяка[142].

— Дьявол! — вдруг выпалила Элинор. — Него-

---

[142] Примечания: 142
Вероятно, имеется в виду Муссолини.

дяй! — Она разорвала газету одним движением и швырнула ее на пол. Пегги была поражена. От звука рвущейся бумаги она даже вздрогнула. Слово «дьявол» в устах тетки шокировало ее. В следующее мгновение это ее позабавило, но шок не прошел все равно. Ведь если Элинор, столь сдержанно пользовавшаяся английским языком, произнесла слова «дьявол» и «негодяй», это значило намного больше, чем если бы то же самое сказали Пегги и ее друзья. К тому же это резкое движение, когда она рвала газету… Какие они все странные, подумала Пегги, следуя за Элинор по лестнице. Край красно-золотой накидки волочился со ступени на ступень. Пегги приходилось видеть, как ее отец комкал «Таймс» и сидел, дрожа от гнева — из-за того, что кто-то что-то сказал и это напечатали в газете. Нелепо!

И как она разорвала ее! — подумала Пегги с улыбкой и взмахнула рукой, копируя движение Элинор. Та все еще держалась особенно прямо — от гнева. Было бы просто, думала Пегги, идя следом по каменным ступеням, и приятно быть такой, как она. Маленькая застежка накидки постукивала по лестнице. Они спускались довольно медленно.

«Взять, например, мою тетю, — Пегги про себя

обратилась к человеку, с которым она беседовала в больнице, — взять мою тетю. Она живет в квартире, предназначенной для какого-нибудь трудяги, к которой надо подниматься по шести лестничным пролетам…»

Элинор остановилась.

— Только не говори мне, — сказала она, — что я оставила наверху письмо — то письмо от Ранкорнов, которое я хочу показать Эдварду, об их сыне. — Она открыла сумочку. — Нет, вот оно. — Письмо было в сумочке. Они пошли дальше вниз.

Элинор назвала таксисту адрес и плюхнулась в угол сиденья. Пегги посмотрела на нее краем глаза.

Ее потрясала энергия, которую Элинор вкладывала в слова, а не сами слова. Как будто она — старая Элинор — до сих пор страстно верила в то, что разрушил этот толстяк. Удивительное поколение, подумала Пегги, когда машина тронулась. Они верят…

— Пойми, — перебила Элинор ход ее мыслей, желая объяснить свою реакцию, — это означает конец всему, что для нас дорого.

— Свободе? — безразлично спросила Пегги.

— Да, — сказала Элинор. — Свободе и справед-

ливости.

Такси ехало по респектабельным улочкам, где у каждого дома были эркер, полоска садика, свое имя. Когда они выехали на большую улицу, сцена в квартире сложилась в голове Пегги так, как она опишет ее тому человеку из больницы. «Вдруг она вышла из себя, схватила газету и разорвала ее поперек — моя тетя, которой за семьдесят». Пегги глянула на Элинор, чтобы проверить подробности. Тетка прервала ее внутренний монолог.

— Там мы раньше жили, — сказала она и махнула рукой в сторону длинной, усеянной фонарями улицы слева.

Пегги выглянула и увидела только однообразную величественную аллею с вереницей светлых портиков. Одинаковые оштукатуренные колонны, опрятная архитектура обладали даже некоторой уныло-торжественной красотой.

— Эберкорн-Террас, — сказала Элинор. — Почтовый ящик… — пробормотала она, когда они проезжали мимо почтового ящика.

Почему почтовый ящик? — удивилась про себя Пегги. Открылась очередная дверца. У старости, должно быть, много бесконечных улиц, простирающихся вдаль во тьме, предположила она, — и там открывается то одна дверь, то другая.

— Разве люди… — начала Элинор и замолчала. Как всегда, она начала не с того места.

— Что? — спросила Пегги. Ее раздражала эта непоследовательность.

— Я хотела сказать — почтовый ящик напомнил мне, — проговорила Элинор и засмеялась. Она оставила попытку восстановить порядок, в котором к ней приходили мысли. А порядок был, несомненно, но чтобы выявить его, нужно слишком много времени, а эта болтовня — она знала — надоедает Пегги, потому что у молодых ум работает так быстро. — Сюда мы ходили ужинать, — сменила тему Элинор, кивнув на дом на углу площади. — Твой отец и я. К одному его сокурснику. Как же его звали? Он стал судьей… Мы ужинали здесь втроем. Моррис, мой отец и я… Тогда тут устраивали большие приемы. Сплошные юристы. Он еще собирал старинную дубовую мебель. В основном подделки, — добавила она со смешком.

— Вы ужинали… — начала Пегги. Она хотела вернуть Элинор в ее прошлое. Это было так интересно, так безопасно, так нереально: восьмидесятые годы казались ей прекрасными в своей нереальности. — Расскажи о своей молодости, — попросила она.

— Но у вас жизнь куда интереснее, чем была у нас, — сказала Элинор. Пегги промолчала.

Они ехали по ярко освещенной людной улице; в одном месте толпа была окрашена в рубиновые тона — светом, падающим от кинотеатра, в другом — в желтые, от витрин, полных летних платьев: магазины, хотя и закрытые, были освещены, и люди рассматривали одежду, шляпы на шестиках, драгоценности.

«Когда моя тетя Делия приезжает в город, — продолжила про себя Пегги рассказывать своему знакомому в больнице, — она говорит: «Надо устроить прием». И тогда они все собираются вместе. Они это обожают». Сама Пегги терпеть этого не могла. Ей было приятнее посидеть дома или сходить в кино. Это дух семьи, продолжила она, посмотрев на Элинор, как будто с тем, чтобы добавить еще один штрих к портрету викторианской старой девы. Элинор глядела в окно. Потом обернулась.

— А как прошел эксперимент с морскими свинками? — спросила она. Пегги сперва была озадачена.

Затем она вспомнила, о чем речь, и рассказала.

— Понятно. Значит, он ничего не доказал. Тебе придется все начать сначала. Очень интересно. А

теперь не объяснишь ли ты мне… — Ее поставила в тупик очередная проблема.

То, что она просит объяснить, говорила Пегги своему знакомому в больнице, либо просто, как дважды два, либо так сложно, что ответа не знает никто на свете. Если ее спросить: «Сколько будет восемью восемь?» — Пегги улыбнулась, взглянув на профиль тетки на фоне окна, — она стукает себя по лбу и говорит… Но тут Элинор перебила ее мысли.

— Ты очень добра, что идешь со мной, — сказала она, чуть похлопав племянницу по колену. (Я дала ей понять, подумала Пегги, что мне неприятно идти туда?) — Это способ пообщаться с людьми, — продолжала Элинор. — А поскольку мы все стареем — не ты, мы, — не хочется упускать шанс.

Они ехали дальше. А как понять вот это? — думала Пегги, стараясь добавить еще один штрих к портрету. Это «сентиментальность»? Или, наоборот, эти чувства хороши… естественны… правильны? Она тряхнула головой. Я не умею описывать людей, сказала она своему знакомому в больнице. Они слишком сложны… Она не такая, совсем не такая, — Пегги слегка махнула рукой, как будто чтобы стереть неверно прочерченную

линию. В этот момент ее больничный знакомый исчез.

Она была наедине с Элинор в такси. И они проезжали мимо домов. Где начинается она и где кончаюсь я? — спрашивала себя Пегги… Они ехали дальше. Два живых человека, едущих по Лондону; две искорки жизни, заключенные в два отдельных тела; и эти искорки жизни, заключенные в отдельные тела, в настоящий момент, думала Пегги, проезжают мимо кинотеатра. Но что такое настоящий момент, что такое мы? Загадка была ей не по силам. Она вздохнула.

— Ты слишком молода, чтобы это понять, — сказала Элинор.

— Что? — вздрогнула Пегги.

— Понять, что значат встречи с людьми. Желание не упустить шанс.

— Молода? — сказала Пегги. — Я никогда не буду так молода, как ты! — Теперь она похлопала тетку по колену. — Ведь это же надо, в Индию ее понесло! — Она рассмеялась.

— А, в Индию. Нынче Индия — это ерунда, — сказала Элинор. — Путешествовать легко. Просто берешь билет, садишься на корабль… Но что я хочу увидеть, пока жива, — это что-нибудь необычное… — Она выставила руку в окно. Такси

ехало мимо общественных зданий, каких-то контор. — …другую цивилизацию. Тибет, например. Я читала книгу, которую написал человек по имени… как же его звали?

Она замолчала, отвлеченная видом улицы.

— Ну, разве не красиво теперь одеваются? — воскликнула Элинор, указывая на светловолосую девушку и молодого человека в вечерних нарядах.

— Да, — безучастно сказала Пегги, глядя на покрытое косметикой лицо и яркую шаль, на белый жилет и зачесанные назад волосы. Элинор все отвлекает, все интересует, подумала она. — Тебя в молодости подавляли? — спросила Пегги, вспомнив туманные образы детства: ее дед с блестящими култышками на месте пальцев, длинная и темная гостиная.

Элинор обернулась. Она была удивлена.

— Подавляли? — переспросила она. Она так редко думала о самой себе, что сейчас была удивлена. — А, я понимаю, что ты имеешь в виду, — сказала она спустя некоторое время. Картина — другая картина — выплыла на поверхность. Делия стоит посреди комнаты. «О боже! О боже!» — говорит она. Двухколесный экипаж остановился у подъезда соседнего дома.

А сама Элинор смотрит на Морриса — Моррис это был или нет? — который идет по улице, чтобы опустить письмо… Элинор молчала. Я не хочу возвращаться в прошлое, думала она. Мне нужно настоящее. — Куда он нас везет? — спросила она, выглянув в окно.

Они уже были в деловой, самой освещенной части Лондона. Свет падал на широкие тротуары, на стены сверкающих окнами конторских зданий, на мертвенно-бледную церковь, имевшую вид чего-то устаревшего, отжившего. Вспыхивала и гасла реклама. На ней бутылка пива опорожнялась, гасла, зажигалась и опорожнялась опять. Такси выехало на театральную площадь. Там царила обычная мишурная неразбериха. Мужчины и женщины в вечерних нарядах шли посередине мостовой. Такси подруливали и останавливались. Их автомобилю перегородили дорогу. Он встал как вкопанный под статуей, чью трупную бледность подчеркивал свет фонарей.

— Всегда напоминает мне рекламу гигиенических прокладок, — сказала Пегги, глядя на фигуру женщины в форме сестры милосердия с протяну-

той рукой[143].

Элинор была поражена. Как будто нож прошелся лезвием по коже, оставив мерзкое ощущение; однако за живое он не задел, поняла она через мгновение. Пегги сказала так из-за Чарльза, подумала Элинор, расслышав горечь в голосе племянницы: ее брат, милый нудноватый парень, был убит на войне.

— Единственная умная фраза, произнесенная за всю войну, — сказала Элинор, прочитав слова на постаменте.

— Толку от нее было немного, — резко откликнулась Пегги.

Такси так и стояло в заторе.

Остановка как будто удерживала их на мысли, от которой они хотели избавиться.

— Ну, разве не красиво теперь одеваются? — опять сказала Элинор, указав на другую светловолосую девушку в длинном ярком плаще с другим молодым человеком в вечернем костюме.

— Да, — сухо согласилась Пегги.

---

[143] Примечания: 143

Имеется в виду памятник Эдит Кавелл (1865–1915), английской сестре милосердия, которая работала в госпитале в Бельгии и была расстреляна немцами, оккупировавшими страну. Ее казнь вызвала бурю негодования в Англии. На постаменте памятника выбиты слова, сказанные Эдит Кавелл перед смертью: «Патриотизм — это еще не все. Я не должна испытывать ненависти и злости ни к кому».

Но почему ты не радуешься жизни? — мысленно спросила ее Элинор. Гибель ее брата, конечно, печальна, но Элинор всегда казался интереснее Норт. Такси пробралось между машин и свернуло на боковую улицу. Теперь его остановил красный свет.

— Хорошо, что Норт вернулся, — сказала Элинор.

— Да, — откликнулась Пегги. — Он считает, что мы говорим только о деньгах и политике, — добавила она.

Она винит его за то, что не он был убит, хотя так нельзя, подумала Элинор.

— Вот как? — сказала она вслух. — Однако… — Газетный плакат с большими черными буквами словно закончил за нее фразу.

Они приближались к площади, где жила Делия. Элинор принялась рыться в сумочке. Она взглянула на счетчик, на котором набежало довольно много. Водитель поехал кружным путем.

— Он найдет дорогу, в конце концов, — сказала она.

Они медленно ехали вокруг площади. Элинор терпеливо ждала, держа в руке сумочку. Она увидела полосу темного неба над крышами. Солнце уже село. Некоторое время небо имело умиротво-

ренный вид неба над полями и лесами.

— Ему надо повернуть, и все, — сказала Элинор. Я не падаю духом, — добавила она, когда такси повернуло. — Знаешь, когда путешествуешь, приходится общаться с самыми разными людьми — на борту корабля или в каком-нибудь убогом захолустном пристанище… — Такси нерешительно катило мимо домов. — Тебе стоит туда съездить, Пегги, — прервала паузу Элинор. — Стоит попутешествовать. Аборигены так красивы, ходят полуобнаженными, спускаются к реке в лунном свете… Вон тот дом. — Она постучала по стеклу, и такси замедлило ход. — О чем я говорила? Да, я не падаю духом, потому что люди так добры, сердца у них такие хорошие… Поэтому, если бы только простые люди, простые — как мы сами…

Такси подъехало к дому с освещенными окнами. Пегги потянулась вперед, открыла дверь и, выпрыгнув из машины, заплатила шоферу. Элинор неуклюже выбралась вслед за ней.

— Нет, нет, нет, Пегги, — начала она.

— Это мое такси, мое такси! — запротестовала Пегги.

— Но я настаиваю, чтобы я оплатила свою долю, — сказала Элинор, открывая сумочку.

— Это Элинор, — сказал Норт. Он положил

трубку и повернулся к Саре. Она по-прежнему качала ногой. — Она просила сказать тебе, чтобы ты пришла на прием к Делии, — добавил он.

— На прием к Делии? Зачем мне на прием к Делии? — спросила Сара.

— Потому что они старые и хотят, чтобы ты пришла, — сказал Норт, стоя над Сарой.

— Старая Элинор, бродяга Элинор, Элинор с глазами дикарки… — пробормотала Сара. — Пойти, не пойти, пойти, не пойти? — монотонно заладила она, глядя на Норта. — Нет, — заключила Сара, поставив ноги на пол. — Не пойду.

— Ты должна пойти, — сказал Норт. Ее манера раздражала его, а голос Элинор все еще звучал в ушах.

— Я должна? Должна ли я? — Сара занялась кофе.

— Тогда, — сказала она, вручая Норту чашку и одновременно беря книгу, — читай пока.

Она опять свернулась в кресле, с чашкой в руке.

Действительно, идти было еще рано. Но почему, думал он, опять открывая книгу и переворачивая страницы, почему она не хочет идти? Боится? Он посмотрел на нее, сжавшуюся в кресле. Одежда поношенная. Он стал глядеть в книгу, но почти

не мог разобрать буквы. Сара не зажгла лампу.

— Я не могу читать без света, — сказал Норт. На этой улице быстро темнело, потому что дома стояли очень близко. Проехал автомобиль, и по потолку скользнули полосы света.

— Включить свет? — спросила Сара.

— Нет, — сказал Норт. — Я попробую кое-что вспомнить. — Он начал декламировать единственное стихотворение, которое знал наизусть. Он выговаривал слова в полутьму, и ему казалось, что они звучат необычайно красиво, потому, наверное, что он и Сара не видели друг друга.

Прочитав одну строфу, он сделал паузу.

— Читай дальше, — сказала Сара.

Он продолжил. Слова, вылетавшие в комнату, казались вещественными, твердыми и независимыми; однако они изменялись от соприкосновения со слушавшей их Сарой. Но, закончив вторую строфу:

> *«Лишь грубость общество внесет В уединенья сей оплот…»*[144], —

Норт услышал какой-то звук. Происходил он из стиха или откуда-то извне? Из стиха, решил Норт

---

[144] Примечания: 144

Строки из стихотворения английского поэта Эндрю Марвелла (1621–1678) «Сад».

и уже собирался продолжить, как Сара подняла руку. Он замолчал. С лестницы до него донеслись тяжелые шаги. Кто-то намеревался войти? Сара смотрела на дверь.

— Еврей, — прошептала она.

— Еврей? — переспросил Норт. Оба прислушались. Теперь он слышал вполне отчетливо: кто-то отвернул водопроводные краны; кто-то принимал ванну за стеной.

— Еврей принимает ванну, — сказала Сара.

— Еврей принимает ванну?

— А завтра на ванне будет грязная полоса, — добавила она.

— Проклятый еврей! — воскликнул Норт. Мысль о полосе грязи с чужого тела в ванне за стеной вызвала у него отвращение.

— Давай дальше, — сказала Сара. — «Лишь грубость общество внесет, — повторила она последние строки. — В уединенья сей оплот».

— Нет, — сказал Норт.

Они слушали, как течет вода. Человек кашлял, прочищал горло, обтираясь губкой.

— Кто такой этот еврей? — спросил Норт.

— Эбрахамсон, торгует жиром.

Они прислушались.

— Помолвлен с хорошенькой девушкой из ате-

лье мужской одежды, — добавила Сара.

Все звуки доходили до них сквозь тонкую стену очень отчетливо.

Обтираясь губкой, человек громко сопел.

— Но он оставляет в ванне волосы, — заключила Сара.

По телу Норта пробежала дрожь. Волосы в еде, волосы в раковинах, чужие волосы вызывали у него тошноту.

— У тебя с ним общая ванная? — спросил он.

Сара кивнула.

Человек издал звук, что-то вроде «Фу!».

— Фу! Именно это я и сказала, — засмеялась Сара. — Фу! — войдя в ванную холодным зимним утром. Фу! — Она выбросила в сторону руку и замолчала.

— А потом? — спросил Норт.

— А потом, — Сара отхлебнула кофе, — я вернулась в гостиную. Там ждал завтрак. Яичница и гренок. Лидия в рваной кофте, простоволосая. Безработные поют псалмы под окном. И я сказала себе, — она опять выбросила руку, — «Грязный город, город без веры, город дохлой рыбы и старых сковородок» — я вспомнила берег реки во время отлива, — объяснила она.

— Так, — кивнул Норт.

— Ну, и я надела шляпу и пальто и выскочила вон в гневе, — продолжила Сара. — И стояла на мосту и говорила: «Неужели я клок травы, который носит туда-сюда волна прилива, набегающая дважды в день без всякого смысла?»

— И что? — поддержал ее Норт.

— Мимо проходили люди, самодовольные, надутые, лживые, с бегающими глазами, в котелках, бесчисленная армия работяг. И я сказала: «Должна ли я присоединиться к вашему заговору? И запятнать свою руку, свою незапятнанную руку…» — Норт заметил, что рука Сары, которой она помахивала, чуть светится в полутьме гостиной. — «…И поставить подпись и служить хозяину, и все из-за еврея в моей ванне, все из-за одного еврея?»

Она села прямо и засмеялась, ей нравился собственный голос, набравший ритм конской рыси.

— Продолжай, продолжай, — сказал Норт.

— Но у меня был талисман, сверкающий камень, горящий изумруд, — она подобрала с пола конверт, — рекомендательное письмо. И я сказала лакею в персиковых рейтузах: «Проведи меня, братец», и он повел меня багровыми коридорами, и, наконец, мы подошли к двери из красного дерева и постучали, и отозвался голос: «Войдите».

И что я там обнаружила? — Сара сделала паузу. — Толстяка с красными щеками. На столе — ваза с тремя орхидеями. Их вложила в твою руку, подумала я, твоя жена, когда вы расставались, когда авто уже перемалывало колесами гравий. И над камином — обычная картина…

— Постой! — перебил ее Норт. — Ты вошла в кабинет, — он постучал по столу. — Ты представила рекомендательное письмо. Но кому?

— А, кому? — рассмеялась Сара. — Человеку в полосатых брюках. «Я знал вашего отца в Оксфорде», — сказал он, теребя листок промокательной бумаги, в углу которого было нарисовано колесо со спицами. Но что же *вы* считаете неразрешимым? — спросила его я, глядя на этого красно-деревянного типа, гладко выбритого, с розовыми подбородками, откормленного бараниной…

— На человека из редакции газеты, — поправил ее Норт, — который знал твоего отца. А потом?

— Там стоял гул и скрежет. Работали огромные машины; прибежали мальчишки с длинными листами — с оттисками, — черными, смазанными, влажными от типографской краски. «Простите, я на минуту отвлекусь», — сказал он и стал делать пометки на полях. Но у меня в ванне еврей, сказала я, — еврей… еврей… — Она вдруг замолчала

и опустошила свой бокал.

Да, думал Норт, конечно, есть голос, есть отношение и отражение в лицах других людей; но есть и что-то еще — истинное — в тишине, возможно. Но тишины не было. Они слышали, как еврей шлепает в ванной; он, судя по всему, переступал с ноги на ногу, вытираясь. Наконец он отпер дверь и стал подниматься по лестнице. Трубы начали издавать гулкие урчащие звуки.

— И что из этого правда? — спросил Норт. Но Сара погрузилась в молчание. Произнесенные ею слова как будто сложились в его голове во фразу, значившую, что Сара бедна, что она должна зарабатывать на жизнь, но волнение, с которым она говорила — возможно, от вина, — создало образ другого человека, с другими чертами, которые надо было собрать воедино.

В доме теперь было тихо, не считая звука утекающей из ванны воды. На потолке дрожал водянистый узор. Качающиеся уличные фонари окрашивали дома напротив в странный бледно-розовый цвет. Дневной гул затих, телеги больше не громыхали по мостовой. Зеленщики, шарманщики, женщина, певшая гаммы, тромбонист — все укатили прочь свои тележки, задернули шторы, опустили крышки своих пианино. Было

так тихо, что Норту на мгновение показалось, будто он в Африке, сидит на веранде под луной. Но он вернул себя к реальности.

— Как насчет приема? — сказал он, встал и затушил сигарету. Потом потянулся и взглянул на часы. — Пора. Иди, соберись, — поторопил он Сару. Потому что, думал он, если уж идти на прием, то нелепо туда являться, когда все расходятся. А прием уже, наверное, начался.

— О чем ты говорила? О чем ты говорила, Нелл? — спросила Пегги у двери дома, чтобы отвлечь Элинор от желания заплатить за такси. — Простые люди — что должны сделать простые люди?

Элинор все еще копалась в своей сумочке и не ответила.

— Нет, я не могу этого позволить, — сказала она. — Вот, возьми.

Но Пегги оттолкнула ее руку, и монеты упали на ступеньки. Обе женщины нагнулись одновременно и столкнулись головами.

— Не трудись, — сказала Элинор, когда одна монета укатилась прочь. — Я во всем виновата.

Горничная открыла дверь и придерживала ее.

— И где же нам раздеться, — спросила Элинор, — здесь?

Они вошли в комнату на первом этаже, которая служила конторой, но сейчас была приспособлена под гардеробную. На столе стояло зеркало, а перед ним — поднос с заколками, гребнями и щетками для волос. Элинор подошла к зеркалу и быстро окинула себя взглядом.

— Форменная цыганка! — сказала она, проводя гребнем по волосам. — От загара черная, как негритос! — Она уступила место Пегги и стала ждать. — Интересно, не в этой ли комнате… — начала она.

— Что в этой комнате? — рассеянно переспросила Пегги. Она занималась своим лицом.

— …мы собирались, — сказала Элинор. Она огляделась. Комната явно по-прежнему использовалась как контора, но теперь на стене висели плакаты торговцев недвижимостью.

— Интересно, будет ли сегодня Китти, — проговорила она.

Пегги смотрела в зеркало и не ответила.

— Она теперь нечасто приезжает в город. Только на свадьбы, крестины и так далее, — продолжила Элинор.

Пегги обводила губы каким-то тюбиком.

— Вдруг встречаешь молодого человека ростом за шесть футов и понимаешь, что это тот самый

малыш, — сказала Элинор.

Внимание Пегги было поглощено собственным лицом.

— Это каждый раз приходится делать? — спросила Элинор.

— Иначе я буду страшной, — сказала Пегги. Ей казалось, что напряжение вокруг ее губ и глаз видно со стороны. У нее совсем не было настроения идти на прием…

— О, как вы любезны! — вскрикнула Элинор. Горничная принесла монету в шесть пенсов. — Так, Пегги, — Элинор протянула монету племяннице, — позволь мне оплатить свою долю.

— Не дури, — сказала Пегги, отталкивая ее руку.

— Но это же я вызвала такси, — настаивала Элинор. Пегги направилась из комнаты. — Потому что я терпеть не могу ездить на приемы, — продолжала Элинор, следуя за ней и все так же протягивая монету, — по дешевке. Ты не помнишь дедушку? Он всегда говорил: «Не надо жалеть дегтя на хорошее судно». Когда мы вместе ходили за покупками, — продолжала она уже на лестнице, — он просил: «Покажите мне самое лучшее, что у вас есть».

— Я помню его, — сказала Пегги.

— Правда? — Элинор было приятно, что кто-то помнил ее отца. — Они сдают эти комнаты, я думаю, — добавила она, проходя мимо открытых дверей. — Здесь обитает стряпчий. — Она посмотрела на ящики с папками, на которых были видны белые надписи. — Я понимаю, зачем ты красишься — ну, используешь косметику. — Теперь Элинор взглянула на племянницу. — Тебе это идет. Выгладишь как-то светлее. Молодым это к лицу. Но — не мне. Я бы чувствовала себя замалеванной — или размалеванной, как правильно? И что мне делать с этими монетами, если ты их не возьмешь? Надо было оставить их в сумке, внизу. — Они поднимались все выше и выше. — Наверное, открыли все эти комнаты, — продолжала Элинор. Они добрались до красной ковровой дорожки. — Поэтому, если в комнатке Делии станет тесно… Нет, прием, конечно, еще не начался. Мы рано пришли. Все наверху. Я слышу их голоса. Идем. Мне войти первой?

Из-за двери доносился гомон голосов. Им преградила дорогу горничная.

— Мисс Парджитер, — сказала Элинор.

— Мисс Парджитер! — объявила горничная, открывая дверь.

— Иди, соберись, — сказал Норт и прошел через

комнату к выключателю.

Он прикоснулся к выключателю, и электрическая лампа посреди потолка зажглась. С нее был снят абажур, вместо него ее обернули конусом зеленоватой бумаги.

— Иди, соберись, — повторил Норт.

Сара не отозвалась. Она подтянула к себе книгу и сделала вид, что читает.

— Он убил короля, — сказала она. — Что же он сделает дальше? — Она заложила палец между страниц и посмотрела снизу вверх на Норта. Он понимал, что это уловка, дабы оттянуть момент, когда придется что-то делать. Он тоже не хотел идти. И все-таки, раз Элинор просила, чтобы они пришли… — он колебался, глядя на свои часы. — Что он сделает дальше? — повторила Сара.

— Комедию, — коротко ответил Норт. — Контраст, — пояснил он, вспомнив прочитанное где-то. Только контраст создает целостность, — добавил он наобум.

— Ладно, почитай еще. — Сара вручила ему книгу.

Он открыл ее на первой попавшейся странице.

— Место действия — скалистый остров посреди моря, — сказал он и сделал паузу.

Всегда перед тем, как начать чтение, ему надо

было представить себе место действия: что-то убрать на задний план, что-то вывести вперед. Скалистый остров посреди моря, сказал он себе, — зеленые заливчики, пучки серебристой травы, песок и вдалеке — мягкие вздохи прибоя. Он открыл рот, чтобы читать, но услышал позади себя какой-то звук, выдавший чье-то присутствие — в пьесе или в комнате? Он поднял взгляд.

— Мэгги! — воскликнула Сара. Мэгги стояла на фоне открытой двери, в вечернем платье.

— Вы что, спали? — спросила она. — Мы звонили, звонили…

Она стояла, улыбаясь, удивленная, как будто разбудила спящих.

— Зачем иметь звонок, если он всегда сломан? — спросил мужчина, стоявший за Мэгги.

Норт встал. Сначала он едва мог их вспомнить. Их внешность не вязалась с его воспоминанием, ведь он видел их много лет назад.

— Звонки не звонят, краны не открываются, — сказал он, ощущая неловкость. — Или не закрываются, — добавил он, потому что вода по-прежнему урчала в трубах ванной комнаты.

— Хорошо, дверь была открыта, — сказала Мэгги. Она стояла у стола, глядя на куски яблочной кожуры и блюдо с вялыми фруктами. У одних

красота блекнет, подумал Норт, другие — он посмотрел на Мэгги — только хорошеют с возрастом. У нее были седые волосы; ее дети, наверное, уже выросли. Но почему женщины поджимают губы, глядя в зеркало? Она смотрела в зеркало. Она поджала губы. Потом она пересекла комнату и села в кресло у камина.

— А почему Ренни плакал? — спросила Сара. Норт посмотрел на Ренни. По обеим сторонам от его крупного носа были влажные потеки.

— Потому что мы были на очень плохом спектакле, — ответил Ренни. — И я хочу чего-нибудь выпить, — добавил он.

Сара подошла к буфету и начала звенеть бокалами.

— Вы читали? — спросил Ренни, глядя на книгу, упавшую на пол.

— Мы были на скалистом острове посреди моря, — сказала Сара, ставя бокалы на стол. Ренни начал разливать виски.

Теперь я его вспомнил, подумал Норт. В последний раз они виделись перед тем, как Норт отправился на войну. В маленьком домике в Вестминстере. Они сидели у камина. Ребенок играл с пятнистой лошадкой. И Норт завидовал их счастью. Они беседовали о науке. Ренни тогда

сказал: «Я помогаю делать снаряды», и его лицо превратилось в маску. Он делал снаряды; он любил мир; он был ученым; и он плакал…

— Не надо! — вскрикнул Ренни. — Остановись!

Сара брызнула газированной водой на стол.

— Когда вы вернулись? — спросил Ренни Норта, беря бокал и глядя на Норта глазами, еще влажными от слез.

— С неделю назад, — сказал Норт.

— Продали свою ферму? — спросил Ренни. Он сел с бокалом в руке.

— Да, продал, — сказал Норт. — А останусь ли я здесь, вернусь ли, — Норт поднес бокал ко рту, — еще не знаю.

— А где была ваша ферма? — поинтересовался Ренни, наклоняясь к нему. И они стали говорить об Африке.

Мэгги смотрела, как они пьют и беседуют. Бумажный конус вокруг электрической лампочки имел необычную окраску. Неровный свет придавал лицам зеленоватый оттенок. Два потека на щеках Ренни были еще влажными. Все его лицо состояло из заострений и ложбин, тогда как лицо Норта было круглым и курносым, с синевой вокруг рта. Мэгги слегка подвинула свое кресло, чтобы головы мужчин оказались в равном удале-

нии от нее. Они были совсем не похожи друг на друга. Африканская тема изменила их лица, как будто что-то сдвинулось в тонкой структуре под кожей, как будто какие-то гирьки переместились в другие пазы. По ее телу пробежала дрожь, точно и в нем гирьки поменяли пазы. Но ее что-то тревожило в освещении. Мэгги огляделась. Вероятно, фонарь на улице мигал. Его мерцающий свет смешивался со светом электрической лампы под пестрой зеленоватой бумагой. Вот в чем… Мэгги вздрогнула: несколько слов достигли ее сознания.

— В Африку? — переспросила она, глядя на Норта.

— На прием к Делии, — сказал он. — Я спросил, идете вы или нет. — Оказалось, она не слушала.

— Минуту, — перебил Ренни. Он поднял руку, словно полицейский, останавливающий уличное движение. И они продолжили разговор об Африке.

Мэгги откинулась в кресле. За их головами изгибались спинки стульев из красного дерева. За спинками была ваза из неровного стекла с красным краешком, за ней — прямая линия каминной доски в черно-белых квадратиках и три шеста с мягкими желтыми плюмажами на кон-

цах. Мэгги переводила взгляд с одного на другое, смотрела то ближе, то дальше, собирая, суммируя предметы в одно целое, и, когда она уже почти завершила картину, Ренни воскликнул:

— Надо идти! Надо идти!

Он поднялся, отодвинул свой бокал с виски. Он стоял, точно командующий войсками, подумал Норт, — так настойчиво звучал его голос, так властны были жесты. Хотя речь шла всего лишь о том, чтобы пойти в гости к пожилой женщине. Или есть всегда нечто, что выходит на поверхность — не к месту, неожиданно — из глубины человека и выражает обычными действиями, обычными словами всю его сущность; и поэтому, отправляясь вслед за Ренни на прием к Делии, Норт чувствовал себя так, будто он скачет через пустыню на подмогу к осажденному гарнизону?

Он остановился, взявшись рукой за дверь. Сара вышла из спальни. Она переоделась в вечернее платье. Что-то в ней появилось непривычное — возможно, из-за вечернего платья.

— Я готова, — сказала она, посмотрев на остальных.

Она остановилась, чтобы поднять брошенную Нортом книгу.

— Нам пора, — сказала Сара, обернувшись к

сестре.

Она положила книгу на стол, закрыла ее и слегка хлопнула по обложке.

— Нам пора, — повторила она и пошла вслед за мужчинами на лестницу.

Мэгги встала. Еще раз она окинула взглядом комнату в дешевом доходном доме. Глиняный горшок с пампасной травой; зеленую вазу с волнистым краем; стул из красного дерева. На столе стояло блюдо с фруктами. Тяжелые сочные яблоки лежали рядом с желтыми пятнистыми бананами. Странное сочетание — округлости и заостренности, розового и желтого. Мэгги выключила свет. В комнате стало почти совсем темно, только водянистый отблеск переливался на потолке. В этом смутном, неверном свете были видны лишь контуры: призраки яблок, призраки бананов, стул-привидение. По мере того как глаза Мэгги привыкали к темноте, цвет медленно возвращался к предметам, они наполнялись материей… Мэгги стояла и смотрела. Затем до нее долетел крик:

— Мэгги! Мэгги!

— Иду! — крикнула она в ответ и вышла на лестницу.

— А как представить вас, мисс? — спросила при-

слуга у Пегги, топтавшейся за спиной у Элинор.

— Мисс Маргарет Парджитер, — сказала Пегги.

— Мисс Маргарет Парджитер! — объявила прислуга в комнату.

Голоса загудели, лампы ярко блеснули навстречу Пегги, Делия вышла вперед.

— Ах, Пегги! — воскликнула она. — Как мило, что ты пришла!

Пегги вошла; но она чувствовала себя точно обтянутой холодной кожей. Они явились слишком рано: комната была почти пуста. В ней стояло лишь несколько человек, которые говорили слишком громко — чтобы заполнить пространство. Делают вид, подумала Пегги, пожав руку Делии и проходя дальше, будто должно произойти нечто приятное. Она необычайно четко увидела персидский ковер и резной камин, но посередине комнаты было пустое место.

В чем суть этой ситуации? — спросила она себя, будто объясняя рецепт пациенту. Собирай впечатления. Взболтай их во флаконе с зеленой глянцевой наклейкой. Собирай впечатления, и боль пройдет. Собирай впечатления, и боль пройдет, повторила она про себя, стоя в одиночестве. Мимо торопливо прошла Делия. Она говорила то с одним, то с другим, но наугад, урывками.

А это что? — удивилась Пегги: вид ее отца в довольно стоптанных туфлях вызвал у нее сильное и непроизвольное ощущение. Внезапная нежность? Она пыталась поставить диагноз. Пегги смотрела, как отец идет через комнату. Его обувь всегда производила на нее странное действие. Отчасти чувственное, отчасти жалостливое, подумала Пегги. Можно ли назвать это «любовью»? Но — она заставила себя сдвинуться с места. Ну вот, я обработала себя до относительного бесчувствия, сказала она себе, — теперь можно смело перейти на ту сторону; приблизиться к дяде Патрику, который стоит у дивана, ковыряя в зубах, и сказать ему… что же я ему скажу?

По пути в ее голове — без всякого повода — сложился вопрос: «Как поживает тот человек, что разрубил себе ступню мотыгой?»

— Как поживает тот человек, что разрубил себе ступню мотыгой? — слово в слово повторила она вслух.

Красивый пожилой ирландец наклонился, поскольку был очень высок, и приложил к уху ладонь, потому что был глуховат.

— Монтэ́го? Какой Монтэго? — переспросил он.

Она улыбнулась. Ступени лестницы, ведущей от мозга к мозгу, надо делать очень низкими,

чтобы мысль могла по ним пройти, заметила про себя Пегги.

— Разрубил себе ступню мотыгой, когда я у вас гостила, — еще раз сказала она. Она запомнила, что, когда она была у них в Ирландии, садовник разрубил себе ногу мотыгой.

— Монтэго? Монтэго? — повторил он. Он был озадачен. Наконец его осенило. — А, Монтэгю! Старина Питер Монтэгю — конечно! — Оказалось, что в Голуэе жили некие Монтэгю, и ошибка дяди, на которую Пегги не стала указывать, пришлась кстати, поскольку дала ему повод пуститься в рассказы о семье Монтэгю, когда он и Пегги сели рядом на диван.

Взрослая женщина, думала Пегги, едет через весь Лондон, чтобы поговорить с глухим стариком о неведомых ей Монтэгю, хотя собиралась спросить о садовнике, разрубившем себе ступню мотыгой. Но какая разница? Мотыга или Монтэгю? Она рассмеялась, как раз когда дядя пошутил, так что это не показалось неуместным. Но человек хочет смеяться вместе с кем-то. Удовольствие сильнее, если его с кем-нибудь делишь. Относится ли это и к страданию? — задумалась она. Не потому ли мы столько говорим о недугах? Разделить значит ослабить? Отдай часть боли, отдай

часть удовольствия иному телу, и, увеличив поверхность, ослабишь их… Но мысль ускользнула от нее. Дядя рассказывал и рассказывал. Спокойно, размеренно, как будто погоняя послушную, но изможденную клячу, он вспоминал былое время, былых собак, былые образы, которые, по мере того как он все больше воодушевлялся, медленно складывались в сценки из жизни провинциальной семьи. Слушая вполуха, Пегги представляла себе старинный фотоснимок игроков в крикет или охотничьей компании на ступенях сельского особняка.

Многие ли, думала она, вообще слушают? Этот «дележ» — всегда отчасти фарс. Она заставила себя напрячь внимание.

— Да, старое доброе время! — сказал дядя Патрик. Его угасшие глаза блеснули.

Она еще раз мысленно бросила взгляд на снимок: мужчины в гетрах, женщины в развевающихся юбках стоят на широких белых ступенях, к их ногам жмутся собаки. Но дядя опять заговорил:

— Ты слышала от своего отца о человеке по имени Родди Дженкинс, который жил в небольшом белом домике по правую руку, если идти по дороге? Ты, наверное, знаешь эту историю.

— Нет, — сказала Пегги, прищурив глаза, будто перебирала воспоминания. — Расскажите.

И он рассказал.

Собирать факты я умею хорошо, думала Пегги. Но вот понять человека в целом — она сложила ладонь лодочкой, — объемно, нет, в этом я не сильна. Взять ее тетку Делию. Пегги наблюдала, как та быстро перемещается по комнате. Что я знаю о ней? Что она носит платье в золотых блестках; что у нее густые вьющиеся волосы — некогда рыжие, теперь седые; что она красива; что она разорена; что у нее богатое прошлое? Но какое прошлое? Она вышла замуж за Патрика… Длинная история, которую все рассказывал Патрик, тревожила поверхность сознания Пегги, как весла, погружающиеся в воду. Никакого покоя. В рассказе тоже фигурировало озеро, потому что речь шла об утиной охоте.

Она вышла за Патрика, думала Пегги, глядя на его изношенное лицо с растущими тут и там одинокими волосками. Почему, интересно, Делия стала его женой? Как у них это было — любовь, рождение детей? Люди прикасаются друг к другу и возносятся в облаке дыма — красного дыма? Его лицо напоминало розовую кожуру крыжовника с волосинками. Но ни одна из его черт не обладала

достаточной четкостью, чтобы объяснить, как они с Делией сошлись и произвели на свет троих детей. Одни морщины были результатом любви к стрельбе, другие — следами тревог, ведь старое доброе время позади, как он сказал. Приходится туже затягивать пояс.

— Да, мы все с этим сталкиваемся, — произнесла Пегги рассеянно. Она незаметно повернула руку, чтобы посмотреть на часы. Прошло всего пятнадцать минут. Тем временем комната наполнялась незнакомыми ей людьми. Среди них был индиец в розовом тюрбане.

— Ох, наскучил я тебе этими старыми байками, — сказал ее дядя, помотав головой. Он был обижен, почувствовала она.

— Нет, нет, нет! — возразила Пегги. Ей стало неловко. Дядя опять пустился в разглагольствования, но теперь уже из вежливости, почувствовала она. Наверное, мучение всегда превосходит удовольствие вдвое — во всех человеческих отношениях, подумала Пегги. Или я исключение, не такая, как все? Ведь другие на вид вполне довольны. Да, думала она, глядя перед собой и опять чувствуя вокруг рта и глаз натянутую, напряженную от усталости кожу (накануне ей пришлось до поздней ночи заниматься роженицей), — да,

я исключение. Я жесткая, холодная, я двигаюсь своей колеей — в общем, врач.

Вылезать из колеи чертовски неприятно, думала она, — тут же поджидает смертный холод, точно надеваешь заледеневшие сапоги… Она склонила голову, показывая, что слушает. Улыбаться, кланяться, делать вид, будто тебе интересно, когда тебе скучно, — какая это мука. И так, и эдак — сплошная мука, думала она, глядя на индийца в розовом тюрбане.

— Кто это? — спросил Патрик, кивнув в его сторону.

— Один из индийцев Элинор, вероятно, — сказала она, а сама подумала: о, если бы милосердные силы тьмы окутали мой обнаженный нерв, я смогла бы встать и… В разговоре повисла пауза.

— Но я не имею права держать тебя здесь и докучать старыми байками, — сказал дядя Патрик. Старая кляча с разбитыми коленями остановилась.

— А скажите, старый Бидди до сих пор держит лавочку, — спросила Пегги, — где мы покупали сладости?

— Бедный старик… — начал дядя и опять пустился в рассказы. Все мои больные просят об одном, думала Пегги: «Дайте мне покоя, дайте

отдохнуть». Как притупить ощущения, как перестать чувствовать? Об этом молила рожавшая женщина: отдохнуть, перестать быть. В средние века существовали келья, монастырь; теперь — лаборатория, профессия: не жить, не чувствовать, зарабатывать деньги, только деньги — а в конце, когда я стану старой и выдохнусь, как кляча, нет — корова… — это сравнение навеял рассказ Патрика: «…Скот теперь не продашь, — говорил он. — Совсем нет спроса. А, Джулия Кромарти!» — Патрик помахал очаровательной соотечественнице рукой — своей большой кистью с разболтанными суставами.

Пегги осталась одна сидеть на диване. Дядя встал и пошел, протягивая обе руки, чтобы поприветствовать старушку птичьего вида, которая, тараторя, появилась в комнате.

Пегги осталась одна. Она была рада этому. Ей не хотелось говорить. Но через секунду рядом с ней кто-то вырос. Это был Мартин. Он сел. И ее настроение сразу совершенно изменилось.

— Здравствуй, Мартин! — сердечно сказала Пегги.

— Отдала долг старому коняке? — Мартин имел в виду истории, которые старый Патрик всегда им рассказывал.

— Я очень уныло выглядела? — спросила Пегги.

— Ну, — он посмотрел на нее, — особенного восторга заметно не было.

— Финалы всех его историй давно известны, — попыталась она оправдаться, глядя на Мартина. В последнее время он взял обыкновение зачесывать волосы назад, как официант. Он никогда не смотрел ей прямо в глаза. Никогда не чувствовал себя рядом с ней непринужденно. Она лечила его и знала, что он боится рака. Надо отвлечь его от назойливой мысли: «Не видит ли она какие-то симптомы?»

— Я все думаю: как это они поженились? — сказала Пегги. — Была ли между ними любовь? — Она говорила все что попало, стараясь отвлечь его.

— Конечно, он был влюблен, — сказал Мартин и посмотрел на Делию. Она стояла у камина и беседовала с индийцем. Она все еще была очень хороша — и внешностью, и манерами. — Все мы были влюблены, — добавил он, искоса взглянув на Пегги. Молодые так серьезны.

— О, конечно, — сказала Пегги с улыбкой. Ей нравилось то, что он вечно был в погоне за новой любовью, галантно ловил ускользающий шлейф молодости — даже сейчас…

— Но ты, — сказал он, подтянув брюки на коленях, — то есть твое поколение — вы многое теряете… многое теряете, — повторил он. Пегги подождала. — Любя только свой собственный пол, — добавил он.

Этим он подчеркивает, что сам еще молод, подумала Пегги, — говоря то, что считает очень современным.

— Я не поколение, — сказала она.

— Ладно, ладно, — усмехнулся Мартин, пожимая плечами и глядя искоса на Пегги. Он очень мало знал о ее личной жизни. Но она выглядела серьезной. И усталой. Слишком много работает, решил он.

— Я живу, как могу, — сказала Пегги. — Погрязаю в своей колее. Так мне сегодня сказала Элинор.

Но ведь и она заявила Элинор, что ту «подавляли». Одно стоит другого.

— Элинор — старая жизнелюбка, — сказал Мартин. — Смотри! — указал он.

Элинор, в своей красной накидке, говорила с индийцем.

— Только что вернулась из Индии, — продолжил он. — А на ней небось сувенир из Бенгалии?

— В будущем году она поедет в Китай, — ска-

зала Пегги.

— А Делия? — Пегги вернулась к оставленной теме, потому что Делия прошла мимо. — Она-то любила? (И что ваше поколение понимало под этим — «любить»? — мысленно продолжила она.)

Мартин поджал губы и покачал головой. Он всегда любил пошутить, вспомнила Пегги.

— Не знаю, насчет Делии не знаю, — сказал он. — У них был общий интерес, видишь ли, — «Дело», как она тогда выражалась. — Мартин сморщился. — Ну, Ирландия. Парнелл. Ты слыхивала о Парнелле?

— Да, — сказала Пегги.

— А Эдвард? — спросила она. Эдвард только что вошел. Внешность его была изысканна и исполнена простоты — тщательно продуманной и разве что чуть нарочитой.

— Эдвард — да, — сказал Мартин. — Эдвард был влюблен. Ты, разумеется, знаешь эту старую историю — об Эдварде и Китти?

— Которая вышла за… Как его звали? За Лассуэйда? — тихо проговорила Пегги, когда Эдвард проходил мимо них.

— Да, она вышла за другого, Лассуэйда. Но он был влюблен, сильно влюблен, — прошептал

Мартин. — А вот ты… — Он быстро глянул на нее. Что-то в ней остудило его. — Конечно, у тебя есть твоя профессия. — Он посмотрел в пол. Опять думает о своих страхах перед раком, предположила Пегги. Боится, что она заметила какой-нибудь симптом.

— А, врачи — большие обманщики, — обронила она на всякий случай.

— Отчего ж? Люди теперь живут дольше, чем раньше, разве нет? — сказал Мартин. — Во всяком случае, умирают не так мучительно, — добавил он.

— Мы научились нескольким трюкам, — признала Пегги.

Мартин смотрел перед собой взглядом, вызывавшим у нее жалость.

— Ты доживешь до восьмидесяти — если ты этого хочешь, — сказала она.

Он посмотрел на нее.

— Разумеется, я полон желания дожить до восьмидесяти! — воскликнул он. — Я хочу поехать в Америку. Хочу увидеть их здания. Я такой. Люблю жизнь.

Да, жизнь он любил, причем изо всех сил.

Ему, наверное, за шестьдесят, подумала Пегги. Но он прекрасно одет и выглядит лет на сорок, и

в Кенсингтоне его ждет подруга в канареечном платье.

— А я вот не знаю, — сказала Пегги.

— Брось, Пегги, брось. Не говори, что тебя не радует… А вот и Роза.

Подошла Роза. Она сильно располнела.

— Ты не хочешь дожить до восьмидесяти? — спросил ее Мартин. Ему пришлось сказать это дважды. Она была глуха.

— Хочу. Конечно, хочу! — ответила она, когда расслышала. Она повернулась к ним лицом. Странный у нее делается вид, когда она откидывает голову назад, подумала Пегги, — она становится похожа на военного. — Конечно, хочу, — повторила Роза, плюхнувшись на диван рядом с ними.

— Да, но, с другой стороны… — начала Пегги. Она сделала паузу. Роза глухая, вспомнила она. Ей надо кричать. — Люди так не валяли дурака в ваше время, — прокричала она. Но у нее не было уверенности, что Роза разобрала слова.

— Я хочу увидеть, что будет дальше, — сказала Роза. — Мы живем в очень интересном мире, — добавила она.

— Чепуха, — поддел ее Мартин. — Ты хочешь жить, — проорал он ей в ухо, — потому что лю-

бишь жизнь!

— И не стыжусь этого, — сказала Роза. — Я люблю себе подобных — в целом.

— Ты любишь драться с ними! — крикнул Мартин.

— Ты надеешься вывести меня из себя в это время суток? — спросила она, похлопав его по руке.

Сейчас они будут вспоминать детство, думала Пегги, и как они лазали по деревьям в саду за домом, как обстреливали кошек. У каждого в голове есть линии, вдоль которых текут старые мысли, производя старые фразы. Сознание, наверное, исчерчено этими линиями, как ладонь, подумала она и взглянула на свою ладонь.

— Она всегда была, как порох, — сказал Мартин, обернувшись к Пегги.

— А они всегда все сваливали на меня, — сказала Роза. — У него-то была комната для занятий. А где мне было сидеть? «Беги, поиграй в детской!» — Она взмахнула рукой.

— Поэтому она пошла в ванную и разрезала себе ножом руку, — язвительно напомнил Мартин.

— Нет, это было из-за Эрриджа и микроскопа, — поправила его Роза.

Точно котенок, ловящий свой хвост, подумала Пегги: они все вертятся и вертятся кругами. Но

им это и нравится, ради этого они и ходят в гости. Мартин продолжал дразнить Розу.

— А где же твоя красная ленточка? — спросил он.

Ее чем-то наградили, вспомнила Пегги, за работу во время войны.

— Или мы не достойны увидеть тебя в боевой раскраске? — не унимался Мартин.

— Парень завидует, — сказала Роза, опять повернувшись к Пегги. — Он за всю жизнь пальцем не пошевелил.

— Я работаю, работаю, — возразил Мартин. — Целыми днями сижу в конторе…

— Ради чего? — спросила Роза.

Вдруг они замолчали. Сцена «старший брат и сестра» была сыграна, раунд завершен. Теперь они могли только повторить все заново.

— Так, — сказал Мартин. — Надо пойти и исполнить свой долг. — Он встал. Компания распалась.

— Ради чего? — повторила Пегги, пересекая комнату. — Ради чего? — Она чувствовала полное безразличие. Все, чем бы она ни занималась, не имело значения. Она подошла к окну и раздернула занавес. Иссиня-черное небо было утыкано звездами. На переднем плане темнел ряд труб.

А за ним были звезды. Непостижимые, вечные, равнодушные — такие эпитеты им причитались. Но я этого не чувствую, подумала Пегги, глядя на звезды. Так зачем притворяться? На самом деле, думала она, щурясь, это кусочки холодной-прехолодной стали. А луна — вон она — отполированная крышка для блюда. Но она по-прежнему ничего не чувствовала — даже настолько принизив луну и звезды. Затем она обернулась и оказалась лицом к лицу с молодым человеком, которого она вроде бы знала, но не могла вспомнить, как его звали. У него был высокий чистый лоб, но скошенный подбородок и бледное, одутловатое лицо. — Здравствуйте, — сказала Пегги. Как же его фамилия — Ликок или Лэйкок? — В последний раз мы виделись на скачках. — Она с трудом связала его облик с полем в Корнуолле, каменными стенами, фермерами и прыгающими косматыми пони.

— Нет, это был Пол, — сказала молодой человек. — Мой брат Пол. — Он скорчил кислую мину. Что же он такого совершил, что так возвысило его в собственных глазах по сравнению с Полом?

— Вы живете в Лондоне? — спросила Пегги.

Он кивнул.

— Пишете? — отважилась она. Но зачем, даже

если ты писатель — она вспомнила, что видела его фамилию в газетах, — откидывать голову назад, говоря «Да»? Ей больше нравился Пол, у него был здоровый вид, а этот — со странным лицом, нервный, скованный. — Стихи? — спросила Пегги.

— Да.

Но зачем откусывать это слово точно вишню от черенка? — подумала она. К ним никто не подходил, они были обречены сидеть бок о бок на креслах у стены.

— Как же вы успеваете, работая в конторе? — спросила Пегги. — Вероятно, в свободное время.

— Мой дядя… — начал молодой человек. — Вы с ним знакомы?

Да, любезный безликий господин, однажды он помог ей с паспортом. Этот юнец, конечно — если бы она хоть вполуха слушала его, — иронизировал в адрес дяди. Тогда зачем ходить в его контору? Мои старики, говорил он… охотились… Внимание Пегги блуждало. Все это она уже слышала. Я, я, я, — продолжал он. Как будто стервятник стучит клювом, или работает пылесос, или звонит телефон. Я, я, я. Но он не может иначе — с таким-то издерганным лицом эгоиста, думала Пегги, глядя на него. Он не может осво-

бодиться, не способен оторваться. Он прикован к колесу крепкими железными кольцами. Он должен выставлять себя, демонстрировать. Но стоит ли позволять ему? — думала Пегги, пока он говорил. Какое мне дело до его «Я, я, я»? И до его стихов? Надо стряхнуть его с себя, решила Пегги, чувствуя себя, как человек, из которого сосут кровь, от чего жизнь уходит из нервной системы. Она молчала. Он заметил отсутствие симпатии с ее стороны. Наверное, считает меня глупой, предположила Пегги.

— Я устала, — извиняющимся тоном объяснила она. — Не спала всю ночь. Я врач…

Его лицо потухло, когда она сказала «я». Ну вот, сейчас он уйдет, подумала Пегги. Он не может быть «вы», он должен быть только «я». Она улыбнулась. Потому что он поднялся и ушел.

Пегги отвернулась и встала у окна. Бедный заморыш, думала она, истощенный, чахлый, холодный, как сталь, и твердый, как сталь, и лысый, как сталь. Я тоже, думала она, глядя в небо. Звезды казались натыканными наугад — кроме вон тех справа, над трубами — они похожи на возок, как же они называются? Имя созвездия выскочило у нее из головы. Я пересчитаю их, решила она, возвращаясь к своим заметкам для памяти, и на-

чала: одна, две, три, четыре… тут у нее за спиной голос воскликнул: «Пегги! У тебя уши не горят?» Пегги обернулась. Это была Делия, конечно, со своим добродушием, со своей псевдоирландской льстивостью.

— Потому что им стоит гореть, — сказала Делия, кладя руку ей на плечо, — учитывая, что он говорил, — она указала на седого мужчину, — какие он пел тебе дифирамбы.

Пегги посмотрела, куда она указывала. Там стоял учитель Пегги, ее наставник. Да, она знала, что он считает ее умной. Вероятно, она такой и была. Все так говорили. Очень умной.

— Он рассказывал мне… — начала Делия, но не договорила. — Помоги-ка мне открыть окно, — попросила она. — Становится жарко.

— Дайте я, — сказала Пегги. Она толкнула раму, но та не открылась, потому что была старая и рассохшаяся.

— Сейчас, Пегги, — сказал кто-то, подойдя к ней сзади. Это был ее отец. Он взялся за окно рукой со шрамом, толкнул, и рама подалась наверх.

— Спасибо, Моррис, так гораздо лучше, — поблагодарила Делия. — Я говорила Пегги, что у нее должны гореть уши. «Самая блестящая моя ученица!» — это его слова, — продолжала Де-

лия. — Поверь, я почувствовала гордость. «Да ведь она моя племянница», — сказала я. Он не знал этого…

Так, подумала Пегги, а вот это удовольствие. Вдоль позвоночника прошла теплая волна — когда похвалу услышал ее отец. Каждая эмоция вызывала свои физические ощущения. Издевка царапала по бедру, удовольствие согревало позвоночник, а еще — влияло на зрение. Звезды смягчились, замерцали. Опуская руку, отец потрепал ее по плечу, но ни он, ни она не сказали об этом ни слова.

— Внизу тоже открыть? — спросил Моррис.

— Нет, этого хватит, — сказала Делия. — Становится жарко, — объяснила она. — Люди начинают собираться. Надо использовать комнаты ниже. Но кто это там? — Она указала на улицу.

Напротив, у тротуарного ограждения, стояла группа в вечерних нарядах.

— Кажется, одного я узнаю, — сказал Моррис, посмотрев в окно. — Это ведь Норт?

— Да, это Норт, — подтвердила Пегги, тоже выглянув.

— Что же они не заходят? — удивилась Делия и постучала по стеклу.

— Вы должны сами съездить и посмотреть, —

говорил Норт. Его попросили описать Африку. Он сказал, что там есть горы и равнины, что там тихо, что там поют птицы. И замолчал: трудно было описать местность людям, которые ни разу ее не видели. Затем занавески в доме напротив раздвинулись, и в окне появились три головы. Все стали смотреть туда — на контуры голов. Смотревшие стояли спиной к тротуарной ограде площади. Деревья струили темные водопады листьев над ними. Деревья стали частью неба. Время от времени — когда их трогал ветерок — они будто начинали ковылять, шаркая ногами. Среди ветвей блестела звезда. Было тихо, уличный шум слился в далекий гул. Мимо прокралась кошка, ее глаза на мгновение сверкнули зеленью и потухли. Кошка пересекла освещенное пространство и исчезла. Кто-то постучал по оконному стеклу и крикнул: «Входите!»

— Пошли! — сказал Ренни и бросил сигару назад, в кусты. — Пошли. Надо.

Они поднялись по лестнице, прошли мимо дверей контор, мимо высоких окон, выходивших в сад за домом. Деревья в полной листве протягивали ветви на разных ярусах, листья — ярко-зеленые в искусственном свете или темные в тени — покачивались, движимые слабым ве-

терком. Затем новоприбывшие достигли жилой части дома, где был постелен красный ковер; из-за двери гудел хор голосов, как будто там было стадо овец. Затем наружу вырвалась музыка — танец.

— Пора, — сказала Мэгги, задержавшись на мгновение у двери. Она назвала их имена прислуге.

— А вы, сэр? — спросила горничная у Норта, стоявшего позади всех.

— Капитан Парджитер, — сказал Норт, прикоснувшись к галстуку.

— И капитан Парджитер! — объявила горничная.

Делия тут же направилась к ним.

— И капитан Парджитер! — воскликнула она, торопливо пересекая гостиную. — Как мило, что вы пришли! — Она стала жать руки — кому левую, кому правую, то левой, то правой. — Я так и подумала, что это вы там стоите на площади, — продолжала она. — Ренни я вроде узнала, а вот насчет Норта не была уверена. Капитан Парджитер! — Она мяла его руку. — Вы такой редкий гость — но весьма желанный! Так, кого вы тут знаете и кого не знаете?

Она огляделась вокруг, довольно нервно терзая

свою шаль.

— Так, тут все ваши дядья, и тетки, и кузены, и кузины; и сыновья с дочерьми — да, Мэгги, я только что видела вашу милую парочку. Они где-то здесь… Правда, в нашей семье поколения так перемешаны: кузены и тетки, дядья и братья — но, возможно, это и хорошо.

Она внезапно умолкла, словно исчерпала тему. И все крутила руками шаль.

— Сейчас будут танцевать, — сказала Делия, указав на молодого человека, который ставил новую пластинку на граммофон. — Для танцев — в самый раз, — добавила она, имея в виду граммофон. — Но не для музыки. — Вдруг она стала простодушной. — Не выношу музыку из граммофона. Танцевальная — это другое дело. А молодые — вы согласны? — должны танцевать. Так оно полагается. Впрочем, танцуйте, не танцуйте — как хотите. — Она махнула рукой.

— Да, как хотите, — откликнулся эхом ее муж. Он стоял рядом с ней, свесив руки перед собой, похожий на медведя — из тех чучел, что используются в гостиницах в качестве вешалок. — Как хотите, — повторил он, качая лапами.

— Помогите мне переставить столы, Норт, — попросила Делия. — Если будут танцы, нужно

освободить пространство, а также свернуть ковры. — Она сдвинула стол в сторону и тут же перебежала через гостиную, чтобы подровнять стул у стены.

Упала одна из ваз, по ковру потекла вода.

— Не обращайте внимания, не обращайте — это пустяки! — закричала Делия, изображая безалаберную ирландскую хозяйку. Однако Норт наклонился и стал вытирать воду.

— И куда ты денешь этот носовой платок? — спросила Элинор. Она подошла к ним в своей текучей красной накидке.

— Повешу на стул сушиться, — сказал Норт и удалился.

— А ты, Салли, — Элинор направилась к стене, чтобы не мешать танцующим, — будешь танцевать? — Она села.

— Я? — Сара зевнула. — Я хочу спать. — Она опустилась на подушку рядом с Элинор.

— Но на приемы ходят не для того, — засмеялась Элинор, глядя на нее сверху, — чтобы спать! — Она опять увидела картинку, которую представила себе, говоря по телефону. Но ей не было видно лица Сары — только макушку.

— Он у тебя ужинал, да? — спросила Элинор, когда Норт проходил мимо с носовым платком

в руке. — И о чем вы говорили? — Элинор опять увидела ее сидящей на краешке стула, качающей ногой, с пятном сажи на лице.

— О чем говорили? — повторила Сара. — О тебе, Элинор. — Мимо них все время кто-то проходил, задевая их колени; начинались танцы. От такого зрелища слегка кружится голова, подумала Элинор и откинулась на спинку.

— Обо мне? А что обо мне говорить?

— О твоей жизни, — сказала Сара.

— О моей жизни? — повторила Элинор. Пары начали медленно кружиться, двигаясь мимо них. Кажется, это фокстрот, предположила она про себя.

О моей жизни, думала Элинор. Странно, второй раз за вечер кто-то говорит о моей жизни. А у меня не было никакой жизни. Жизнь — это то, что творят, чем распоряжаются — семьдесят-то с лишним лет. А у меня есть только настоящий момент, думала она. Я живу здесь и сейчас, слушая фокстрот. Она огляделась. Рядом были Моррис, Роза; Эдвард, откинув голову назад, беседовал с человеком, которого она не знала. Я здесь единственная, подумала она, кто помнит, как он сидел на краю моей кровати в ту ночь и плакал — после того как была оглашена помолвка Китти. Да, мно-

гое вспоминается. Позади длинная полоса жизни. Плачущий Эдвард; разговоры с миссис Леви; падающий снег; треснутый подсолнечник; желтый омнибус, трясущийся по Бэйзуотер-Роуд. И я думала про себя, что я самая молодая в омнибусе, а теперь я самая старая… Миллионы мелочей возвращались к ней. Атомы рассыпались и собирались вместе. Но как они складываются в то, что люди называют жизнью? Она сжала кулаки и почувствовала в ладонях твердые маленькие монетки. Вероятно, в самой середине находится «Я», думала она, — это главный узел, центр. И вновь она увидела себя за своим столом, рисующей на промокательной бумаге, проделывающей в ней дырки, от которых отходят лучи. Все дальше и дальше они тянутся; одно следует за другим; сцена заслоняет сцену. А потом они заявляют: «Мы говорили о тебе!»

— О моей жизни… — сказала Элинор вслух, но сама себе.

— Что? — спросила Сара, подняв глаза.

Элинор замолчала. Она забылась. А ее, оказывается, кто-то слушает. Значит, надо привести мысли в порядок, найти правильные слова. Нет, подумала она, слов я найти не смогу. Я никому не могу рассказать…

— Это не Николай? — спросила она, глядя на крупного мужчину, стоявшего в дверях.

— Где? — Сара обернулась, но посмотрела не в ту сторону. А мужчина исчез. Вероятно, она ошиблась. Мою жизнь составляли жизни других, думала Элинор, — отца, Морриса, моих друзей, Николая… В ее памяти всплыли фрагменты одного разговора с ним. Мы то ли обедали, то ли ужинали вместе. В ресторане. На прилавке стояла клетка с розовым попугаем. Они сидели и говорили — это было после войны — о будущем, об образовании. Он не позволил мне заплатить за вино, вдруг вспомнила она, хотя это я заказала его…

Кто-то остановился перед Элинор. Она подняла голову.

— Я как раз думала о тебе! — воскликнула она.

Это был Николай.

— Добрый вечер, мадам, — сказал он, кланяясь на свой иностранный манер.

— Я как раз думала о тебе! — повторила Элинор. В самом деле, впечатление было такое, будто часть ее самой выплыла из глубины на поверхность. — Сядь рядом со мной, — сказала она и придвинула кресло.

— Вы не знаете, что это за человек сидит ря-

дом с моей теткой? — спросил Норт у девушки, с которой танцевал. Она обернулась, но лишь из вежливости.

— Я не знаю вашу тетку, — сказала она. — Я никого тут не знаю.

Танец закончился, и они пошли к двери.

— Я не знаю даже хозяйку, — продолжила девушка. — Хорошо бы вы мне ее показали.

— Вон она. — Норт кивнул в сторону Делии, на которой было черное платье с золотыми блестками.

— А, понятно, — сказала девушка, посмотрев на Делию. — Значит, это хозяйка?

Норт не расслышал имя девушки, и она никого не знала по именам. Он был этому рад. Это помогало ему взглянуть по-новому на самого себя и бодрило. Он проводил девушку до двери. Он старался избежать родственников, в особенности — Пегги, но та как раз стояла в одиночестве у выхода. Норт отвернулся и вывел свою спутницу из гостиной. Должен быть какой-нибудь сад или крыша, где они могли бы посидеть наедине. Девушка была исключительно хороша собой и юна.

— Идемте, — сказал он. — Идемте вниз.

— И что же ты обо мне думала? — спросил Ни-

колай, садясь рядом с Элинор.

Она улыбнулась. Он был, как всегда, в наряде из плохо сочетавшихся между собой частей, с печаткой-гербом своей матери-княжны; его смуглое, покрытое морщинами лицо всегда напоминало ей мохнатого зверя с болтающимися складками кожи, который жесток ко всем, кроме нее самой. Но что же она думала о нем? Она думала о нем в целом, она не могла разделить его на мелкие части. В ресторане, она помнила, было накурено.

— О том, как мы однажды ужинали в Сохо, — сказала она. — Помнишь?

— Все вечера с тобой я помню, Элинор, — ответил он. Но взгляд у него был слегка отсутствующий. Его внимание что-то отвлекло. Он смотрел на даму, которая только что вошла; на хорошо одетую даму, стоявшую спиной к шкафу, в котором было все на любой экстренный случай. Если я не могу описать собственную жизнь, как я могу описать его? Ведь что он собой представляет, она не знала; она знала только, что ей было приятно, когда он вошел в гостиную, что он освободил ее от необходимости думать и слегка подтолкнул ее мысли. Он смотрел на даму. Казалось, их взгляды бодрили ее, она трепетала под ними. Вдруг Элинор почудилось, что все это уже было. В тот

вечер в ресторан тоже вошла девушка и стояла, трепеща, у двери.

Элинор точно знала, что он скажет. Он уже говорил это, тогда, в ресторане. Он скажет: «Она похожа на шарик на фонтанчике в рыбной лавке». Как она и думала, он сказал это. Неужели все повторяется, лишь с небольшими изменениями? — думала она. Если так, то, значит, есть некий порядок, некий повторяющийся мотив, как в музыке, наполовину вспоминаемый, наполовину предчувствуемый?.. Огромный узор, который становится понятен в какое-то мгновение? Эта мысль доставила ей острое наслаждение: что существует порядок. Но кто его творец? Кто его замыслил? Ее разум упустил нить. Она не сумела закончить мысль.

— Николай… — произнесла Элинор. Она хотела, чтобы он додумал ее мысль, взял ее и вынес на свет невредимой, придал ей целостность, красоту, полноту. Скажи, Николай… — начала она; но она не имела ни малейшего представления ни как закончить эту фразу, ни что именно она хотела спросить. Он говорил с Сарой. Элинор прислушалась. Он смеялся над Сарой. Он показывал на ее ноги.

— …явиться на прием, — говорил он, — в одном

белом чулке, а другом — синем.

— Королева меня пригласила на чай, — проговорила Сара в такт музыке. — Говорю себе: «Быстро чулки выбирай! Золотые иль красные?» А, все равно! Все чулки мои в дырках давно.

Вот так осуществляется их любовь, подумала Элинор, слушая их смех, их пикировку. Еще один кусочек узора, заключила она, используя еще не до конца сформулированную мысль для того, чтобы приклеить ярлычок к живой сцене. И даже если эта любовная игра отличается от того, что было принято раньше, в ней тоже есть прелесть; это все же любовь — возможно, отличная от любви в старом понимании, но зато, не исключено, сильнее… Так или иначе, они думают друг о друге, живут друг в друге; а ведь это и есть любовь, разве нет? — рассуждала про себя Элинор под смех Сары и Николая.

— …Ты что, не можешь быть самостоятельной? — пенял Николай. — Не можешь сама себе подобрать чулки?

— Никогда! Никогда! — смеялась Сара.

— Потому что у тебя нет своей жизни. Она живет в мечтах, — сказал Николай, обернувшись к Элинор. — Одна.

— Профессор начал свою лекцию, — съязвила

Сара, положив руку ему на колено.

— Сара затянула свою песню. — Николай со смехом прижал ее руку своею.

Но им очень хорошо, думала Элинор. Они смеются друг над другом.

— Скажи, Николай… — опять начала она.

Но уже заиграл следующий танец. В гостиную, толпясь, стали возвращаться пары. Медленно, сосредоточенно, с серьезными лицами, будто участвуя в мистическом обряде, который освобождал их от необходимости испытывать все остальные чувства, танцующие начали кружить мимо Элинор, Сары и Николая, задевая их колени, чуть ли не наступая им на ноги. Затем кто-то остановился перед сидящими.

— А вот и Норт, — сказала Элинор, подняв голову.

— Норт! — воскликнул Николай. — Норт! Мы виделись сегодня вечером, — он протянул руку Норту, — у Элинор.

— Было дело, — приветливо сказал Норт.

Николай сдавил его пальцы; когда он убрал руку, Норт опять почувствовал свои пальцы по отдельности. Что-то в этом было чрезмерное, но Норту понравилось. Он сам ощущал прилив чувств. Глаза его блестели. Озадаченное выра-

жение исчезло с лица. Его авантюра удалась: девушка написала свое имя в его записной книжке. «Приходите ко мне завтра в шесть», — сказала она.

— Еще раз добрый вечер, Элинор, — произнес Норт, склоняясь к руке своей тетки. — Вы очень молодо выглядите. И чрезвычайно хороши собой. Мне нравится этот наряд. — Он оглядел ее индийскую накидку.

— То же могу сказать тебе, Норт. — Она посмотрела на него снизу вверх. И подумала, что еще никогда не видела его таким статным, Таким оживленным. — Ты не пойдешь танцевать? — спросила она. Музыка играла вовсю.

— Только если Салли окажет мне честь, — сказал он, кланяясь с преувеличенной учтивостью. Что с ним случилось? — дивилась Элинор. Он выглядит таким красавчиком, таким счастливым. Салли встала. Она подала руку Николаю.

— Я буду танцевать с тобой, — сказала она. Они замерли на миг в ожидании, а потом закружились прочь.

— Какая странная пара! — заметил Норт. Он наблюдал за ними с кривой усмешкой. — Они не умеют танцевать! — Он сел рядом с Элинор, на кресло, освободившееся после Николая. — Поче-

му они не женятся? — спросил Норт.

— А зачем это им?

— Ну, все женятся. И он мне по душе, хотя он немного — как бы это сказать? — мещанин, что ли, — предположил Норт, глядя не неуклюжее вальсирование Николая и Сары.

— Мещанин? — переспросила Элинор.

— А, это ты о его брелке? — догадалась она, посмотрев на золотую печатку, которая взлетала и падала, пока Николай танцевал. — Нет, он не мещанин. Он…

Однако Норт не слушал. Он смотрел на пару в дальнем конце гостиной. Двое стояли у камина. Оба — молодые, оба молчали. Казалось, их заставило замереть какое-то сильное чувство. Норта тоже охватило волнение — он стал думать о своей жизни, а потом мысленно поместил молодую пару и себя в совсем другой антураж: камин и шкаф сменили ревущий водопад, бегучие облака, скала над стремниной…

— Брак — это не для всех, — перебила его мысли Элинор.

Норт вздрогнул.

— Да, конечно, — согласился он и посмотрел на нее. Она никогда не была замужем. Почему, интересно? Вероятно, жертва на алтарь семей-

ства — ради беспалого дедушки Эйбела. Тут его посетило некое воспоминание о террасе, сигаре и Уильяме Уотни. Не в любви ли к нему состояла драма Элинор? Норт посмотрел на нее с симпатией. Сейчас он любил всех. — Какая удача обнаружить вас свободной, Нелл! — сказал он, кладя руку ей на колено.

Она была тронута. Ей было приятно прикосновение его руки.

— Милый Норт! — воскликнула она. Она почувствовала сквозь платье его волнение: он был, как пес, тянущий поводок, рвущийся вперед, с натянутыми нервами, — вот что она почувствовала, когда он положил руку ей на колено. — Только не женись на ком попало! — сказала Элинор.

— Я? — удивился Норт. — С чего вы взяли?

Она что, видела, как он, провожал эту девушку вниз? — подумал он.

— Скажи мне… — начала она. Она хотела расспросить его, спокойно и рассудительно, пока они наедине, о его планах, но вдруг увидела перемену в его лице: на нем появилось выражение подчеркнутого ужаса.

— Милли! — пробормотал Норт. — Черт ее возьми!

Элинор быстро обернулась. К ним шла ее сестра

Милли — необъятная в широких одеждах, соответствующих ее полу и положению в обществе. Она очень располнела. Чтобы скрыть ее формы, вдоль рук ниспадали полупрозрачные покровы в бисере. Руки были так толсты, что напомнили Норту спаржу — бледную спаржу, суживающуюся к концу.

— Элинор! — воскликнула Милли. Она до сих пор хранила пережитки собачьего преклонения перед старшей сестрой.

— Милли! — откликнулась Элинор, но не так сердечно.

— Как я рада тебя видеть, Элинор! — проговорила Милли со старушечьим квохтаньем. Все же в ее манере была некая почтительность. — И тебя, Норт!

Она протянула ему свою маленькую кисть. Он заметил, как врезались кольца в пальцы, точно плоть наросла на них. Плоть, наросшая на бриллианты, вызвала у него отвращение.

— Как замечательно, что ты вернулся! — сказала Милли, медленно опускаясь в кресло.

Норту показалось, будто весь мир посерел. Она набросила на них сеть, заставила их всех почувствовать себя одной семьей, вспомнить, что у них было общего; но это было неестественное

ощущение.

— Мы остановились у Конни, — сказала Милли. Они приехали на матч по крикету.

Норт опустил голову и посмотрел на свои туфли.

— А я еще ни слова не слышала о твоих поездках, Нелл, — продолжала она. Они падают, и падают, и мокро шлепаются, и покрывают собой все, думал Норт, слушая, как его тетка роняет изо рта свои безликие вопросы. Однако сам он был настолько переполнен чувствами, что даже ее слова мог заставить звенеть и перекликаться. «А водятся ли в Африке большие какаду? А видно ли там ночью Полярную звезду?» А завтрашний вечер я где проведу? — добавил уже он сам, потому что карточка в жилетном кармане испускала свои лучи, вне зависимости от окружающей нудотины. — Мы остановились у Конни, — продолжала Милли, — которая ждала Джимми, который вернулся из Уганды… — Несколько слов ускользнули от внимания Норта, потому что он представил себе некий сад и комнату, и следующее, что он услышал, было слово «аденоиды» — хорошее слово, решил он про себя, отделив его от контекста; слово с осиной талией, перетянутое посередине, с твердым, металлически блестящим брюшком,

это слово особенно хорошо для описания насекомого… однако в этот момент приблизилось нечто очень массивное, состоявшее главным образом из белого жилета, в черном ободке. Над ними навис Хью Гиббс. Норт вскочил, чтобы уступить ему кресло.

— Милый мальчик, ты думаешь, я сяду на *это*? — произнес Хью, у которого хилое сиденье, предложенное Нортом, вызвало презрительную усмешку. — Ты уж найди мне что-нибудь, — он огляделся вокруг, прижав руки к бокам, — более существенное.

Норт подвинул ему пуф. Хью осторожно опустился на него.

— О-хо-хо, — проговорил он, садясь.

Норт услышал, как Милли откликнулась: «Так-так-так».

Вот к чему сводятся тридцать лет существования в качестве мужа и жены: о-хо-хо — так-так-так. Похоже на нечленораздельное чавканье скотины в стойле. Так-так-так — о-хо-хо, как будто топчутся на мягкой влажной соломе в хлеву, как будто возятся в первозданном болоте — плодовитые, жирные, полубезмозглые, думал Норт, рассеянно слушая добродушное бормотание, которое внезапно затопило все вокруг.

— Сколько ты весишь? — спросил дядя Хью, смерив Норта взглядом. Он осмотрел его с ног до головы, точно лошадь.

— Мы должны взять с тебя обещание приехать, — добавила Милли, — когда мальчики будут дома.

Они приглашали его погостить в Тауэрсе в сентябре, чтобы принять участие в охоте на лисят. Мужчины охотятся, а женщины — Норт посмотрел на свою тетку так, будто она могла разродиться прямо здесь, — женщины рожают бесчисленных детей. Их дети рожают новых детей, и у этих новых детей — аденоиды. Слово повторилось, но теперь оно не вызвало никаких ассоциаций. Он рухнул, они повергли его своей массой; даже имя на карточке в его кармане потухло. Неужели с этим ничего не поделаешь? — спросил он себя. Тут нужна только революция, не меньше, решил он. В голову полезли оставшиеся с войны образы взрывчатки, подбрасывающей вверх горы земли, вздымающей древовидные земляные тучи. Но это все белиберда, думал он, военная белиберда, белиберда. «Белиберда» — слово Сары, оно вернулось к нему. Так что же остается? Его взгляд поймала Пегги, стоявшая и говорившая с неизвестным мужчиной. Вы, вра-

чи, ученые, подумал Норт, почему вы не можете бросить в бокал маленький кристаллик, такой иглистый-искристый, чтобы они его проглотили? Здравый смысл. Разум. Искристо-иглистый. Но станут ли они его глотать? Он посмотрел на Хью. У того была манера надувать и сдувать щеки, говоря свои «о-хо-хо» и «так-так-так». Проглотишь или нет? — мысленно спросил он у Хью.

Хью опять повернулся к нему.

— Надеюсь, теперь ты осядешь в Англии, Норт, — сказал он. — Хотя, наверное, в тех краях жить неплохо, а?

И они обратились к теме Африки и нехватки рабочих мест. Воодушевление Норта иссякало. Карточка больше не излучала образы. Падали мокрые листья. Они падают, падают и покрывают все, шептал он про себя, глядя на свою тетку — бесцветную, если не считать бурого пятна на лбу, и волосы у нее бесцветные, лишь одна прядь будто измазана желтком. Наверное, все ее тело мягкое и выцветшее, как начинающая гнить груша. А Хью, положивший свою большую руку на колено Норту, он облеплен сырыми отбивными. Норт поймал взгляд Элинор. В нем ощущалось некоторое напряжение.

— Да, как они все испортили, — говорила она.

Но из ее голоса исчезла глубина.

— Повсюду новые виллы, — говорила Элинор. По-видимому, она недавно была в Дорсетшире. — Маленькие красные виллы вдоль дороги, — продолжала она.

— Да, что меня поражает, — сказал Норт, заставив себя поддержать ее, — это как вы испортили Англию в мое отсутствие.

— В наших краях ты найдешь не слишком много перемен, Норт, — сказал Хью с гордостью.

— Да, но нам повезло, — добавила Милли, — у нас там несколько крупных имений. Нам повезло, — повторила она, — если не считать мистера Фиппса, — она едко усмехнулась.

Норт очнулся. Она говорит всерьез, подумал он. Ее ехидство придало ей подлинности. Настоящей стала не только она: вся их деревня, большой дом, малый дом, церковь и круг старых деревьев предстали перед ним совершенно реально. Он был не против пожить у них.

— Это наш священник, — объяснил Хью. — По-своему неплохой малый, но слишком близок к католичеству. Свечи и все такое.

— А его жена… — начала Милли.

Элинор вздохнула. Норт посмотрел на нее. Она засыпала. Остекленелый взгляд, застывшее вы-

ражение лица. В какое-то мгновение она была ужасно похожа на Милли, дрема выявила семейное сходство. Затем она широко раскрыла глаза, усилием воли не давая векам опуститься. Но она явно ничего не видела.

— Ты должен приехать, и увидишь, как будет хорошо, — сказал Хью. — Как насчет первой недели сентября? — Он раскачивался с боку на бок, как будто его добросердечие перекатывалось в нем. Он был похож на слона, который собирается встать на колени. А если он встанет на колени, как он поднимется обратно? — спросил себя Норт. И если Элинор заснет и захрапит, что мне тогда делать, если я буду сидеть между колен у слона?

Он огляделся, ища повода уйти.

В их сторону шла Мэгги, не ведая, что ее ждет. Они увидели ее. Норту очень захотелось крикнуть: «Берегись! Берегись!» — потому что она находилась в опасной зоне. Длинные белые щупальца, которые бесформенные твари распускают по течению, чтобы ловить себе еду, затащат, засосут ее. Всё, они ее увидели: она обречена.

— А вот и Мэгги! — воскликнула Милли, поднимая взгляд.

— Сто лет тебя не видел! — сказал Хью, пытаясь приподнять себя.

Мэгги пришлось остановиться и вложить свою руку в бесформенную лапу. Норт встал, истратив на это последнюю каплю энергии, которая осталась в нем от адреса в жилетном кармане. Он уведет Мэгги. Он спасет ее от семейной заразы.

Но она не обратила на него внимания. Она стояла на месте, отвечая на приветствия, сохраняя полное самообладание, — как будто используя специальный набор снаряжения для экстренных случаев. О господи, сказал себе Норт, она не лучше их. Она покрыта коркой неискренности. Они уже говорят о ее детях.

— Да, это тот малыш, — говорила Мэгги, указывая на юношу, танцевавшего с девушкой.

— А дочь, Мэгги? — спросила Милли, оглядываясь вокруг.

Норт заерзал. Это заговор, понял он. Это каток, который все сглаживает, стирает, обкатывает до безликости, придает всему одинаковую округлость. Он прислушался. Джимми был в Уганде, Лили была в Лестершире, мой мальчик, моя девочка… — вот что они говорили. Но им не интересны чьи-то дети, кроме своих, заметил он. Только свои, их собственность, их плоть и кровь, которых они будут защищать, выпустив когти в своем болоте, думал он, глядя на маленькие

лапки Милли, — даже Мэгги, даже она. Ведь она тоже говорила о «моем мальчике, моей девочке». Как они могут быть цивилизованными?

Элинор засопела. Она клевала носом — бесстыдно, беспомощно. В беспамятстве есть нечто непристойное, подумал Норт. Ее рот приоткрылся, голова завалилась набок.

Но настал его черед. Повисла пауза. Надо подстегнуть разговор, понял он, кто-то должен что-то говорить, иначе человеческое общество прекратит существование. Хью прекратит существование, Милли тоже. Он уже собирался найти какие-то слова, чтобы заполнить эту огромную пустоту древней утробы, но тут Делия — то ли из присущего хозяйкам желания всегда встревать, то ли из человеколюбия, Норт сказать не мог — подошла, быстро кивая.

— Ладби приехали! — прокричала она. — Ладби!

— Где они? Наши дорогие Ладби! — воскликнула Милли. И они подняли свои тела и ушли, поскольку Ладби, как выяснилось, редко выбирались из Нортумберленда.

— Ну что, Мэгги? — спросил Норт, повернувшись к ней, но в этот момент у Элинор в горле

что-то слегка щелкнуло, и ее голова наклонилась вперед. Теперь ее сон был глубок, и он добавлял ей достоинства. Она как будто была где-то очень далеко, погруженная в тот покой, который иногда придает спящим сходство с мертвыми. Минуту-другую Норт и Мэгги сидели молча. Они были наедине, им никто не мешал.

— Зачем, зачем, зачем… — наконец проговорил он, делая такое движение, будто срывает с ковра пучки травы.

— Зачем? — переспросила Мэгги. — Что зачем?

— Да Гиббсы… — сказал он, кивнув в их сторону: они стояли у камина и разговаривали. Грузные, жирные, бесформенные, они казались Норту карикатурой, шаржем, уродливым разрастанием плоти, которая разрушила форму изнутри и подавила собой, потушила внутренний огонь. — Что такое? — спросил Норт.

Мэгги посмотрела на них, но ничего не сказала. Мимо медленно двигались танцующие пары. Одна из девушек остановилась. Она подняла руку, и ее жест бессознательно выразил всю серьезность, с которой очень юное существо ждет от будущей жизни только добра. Это тронуло Норта.

— Зачем? — Он указал большим пальцем на молодежь. — Ведь они так прелестны…

Мэгги тоже посмотрела на девушку, которая прикрепляла к груди чуть было не упавший цветок. Мэгги улыбнулась. И промолчала. А затем без всякого смысла, как эхо, повторила его вопрос: «Зачем?»

На мгновение он опешил. Выходило, она отказалась помочь ему. А он так хотел, чтобы она ему помогла. Почему она не может снять бремя с его плеч и дать ему то, чего он так жаждет, — уверенности, определенности? Потому что она такой же урод, как все остальные? Он посмотрел на ее руки. Сильные и красивые. Но, подумал он, увидев, что пальцы чуть согнулись, если дело коснется «моих» детей, «моего» имущества, ее пальцы мгновенно разорвут посягнувшему брюхо, или зубы вопьются в глотку, покрытую нежной шерсткой. Мы не способны помочь друг другу, думал он, мы все уроды. И все же, хотя ему было неприятно свергать ее с пьедестала, на который он сам ее водрузил, возможно, она была права: мы, творящие идолов из людей, наделяющие кого-то — мужчину или женщину — властью над нами, мы лишь множим уродство и уничижаем самих себя.

— Я поеду к ним в гости, — сказал Норт.

— В Тауэрс?

— Да. В сентябре, охотиться на лисят.

Она не слушала. Только смотрела на него. Она относит его к какой-то категории, почувствовал он. Ему стало неуютно. Она смотрела на него так, как будто он был не он, а кто-то другой. Он чувствовал ту же неловкость, как когда Салли описывала его по телефону.

— Я знаю, — сказал он, напрягая лицо, — я похож на изображение француза со шляпой в руках.

— Со шляпой в руках?

— И с жиром в боках, — добавил он.

— …шляпа в руках? У кого шляпа в руках? — спросила Элинор, открывая глаза.

Она растерянно огляделась. Ей казалось, что секунду назад Милли говорила о церковных свечах, но с тех пор, по всей видимости, произошло многое. Хью и Милли сидели рядом с ней, а теперь их нет. Был какой-то провал, наполненный светом покосившихся свечей и неким ощущением, которое она не могла описать словами.

Элинор совсем проснулась.

— Что за чушь ты несешь? — возмутилась она. — У Норта нет шляпы в руках! И никакого жира в боках, — добавила она. — Ни капли, ни капли. — Она нежно похлопала его по колену.

Ей было необычайно хорошо. Как правило, после пробуждения в памяти остается какой-то сон — сцена или образ. Но это ее недолгое забытье, в котором были косые, все удлинявшиеся свечи, оставило по себе лишь ощущение — чистое ощущение.

— У него нет в руках шляпы, — повторила Элинор.

Норт и Мэгги засмеялись над ней.

— Ты заснула, Элинор, — сказала Мэгги.

— В самом деле? — удивилась Элинор. Да, верно, в разговоре был большой пробел. Она не могла вспомнить, о чем они беседовали. И рядом была Мэгги, а Милли и Хью ушли. — Я задремала всего на секунду, — сказала она. — Ну, а что ты собираешься делать, Норт? Какие у тебя планы? — весьма деловито спросила она. — Мы не должны отпускать его обратно, Мэгги. На эту жуткую ферму.

Она хотела выглядеть до крайности практичной — частью чтобы доказать, что она не спала, частью — желая сберечь необычное ощущение счастья, которое еще держалось в ней. Ей казалось, если скрыть его от чужих глаз, оно не исчезнет.

— Ты достаточно скопил? — спросила Элинор.

— Скопил? — переспросил Норт. Почему, интересно, люди, которых сморил сон, всегда стараются показать, что у них нет сна ни в одном глазу? — Четыре-пять тысяч, — добавил он, не думая.

— Что ж, этого хватит, — не унималась Элинор. — Пять процентов, шесть процентов… — Она попыталась сделать вычисления в уме. Пришлось прибегнуть к помощи Мэгги. — Четыре-пять тысяч, это сколько будет, Мэгги? Ведь на жизнь хватит, правда?

— Четыре-пять тысяч… — повторила Мэгги.

— Под пять или шесть процентов, — напомнила Элинор. У нее не получалось считать в уме и в лучшие времена, но сейчас ей почему-то казалось особенно важным опереться на факты. Она открыла сумочку и нашла там письмо и огрызок карандаша. — Вот, посчитай на этом, — сказала она.

Мэгги взяла бумагу и провела несколько линий карандашом, как бы пробуя его. Норт заглянул ей через плечо. Решала ли она задачу, думала ли о его жизни, его потребностях? Нет. Она рисовала шарж на крупного мужчину в белом жилете, сидевшего напротив. Она дурачилась. Норт ощутил некоторую нелепость ситуации.

— Что за глупости? — сказал он.

— Это мой брат, — ответила Мэгги, кивнув на мужчину в белом жилете. — Он когда-то катал нас на слоне… — Она добавила к жилету росчерк.

— Мы говорим о серьезных вещах! — возмутилась Элинор. — Если ты, Норт, хочешь жить в Англии, если ты хочешь…

Он перебил ее:

— Я не знаю, чего хочу.

— А, понятно! — сказала она и засмеялась. К ней вернулось ощущение счастья, тот самый необъяснимый восторг. Ей казалось, будто все они молоды и перед ними лежит будущее. Ничто еще не устоялось, впереди — неизвестность, жизнь только начинается и полна возможностей.

— Ну не странно ли? — воскликнула она. — Разве не удивительно? Не потому ли жизнь — как это выразить? — чудо? Я хочу сказать… — она попыталась объяснить, потому что Норт выглядел озадаченным: — Говорят, старость это то-то и то-то, а ведь все не так. Она другая, совсем другая. В детстве, в юности, всегда — моя жизнь была бесконечным открытием. Чудом. — Она умолкла. Опять наговорила чепухи. После того сновидения у нее слегка кружилась голова.

Когда начался танец, Пегги оказалась всеми

покинутой у книжного шкафа; она стояла как можно ближе к нему. Чтобы скрыть свое одиночество, она взяла с полки книгу. Книга была в обложке из зеленой кожи, Пегги перевернула ее и увидела вытесненные в коже золотые звездочки. Очень кстати, подумала она, потому что можно сделать вид, будто я любуюсь переплетом… Но не могу же я долго стоять и любоваться переплетом. Она открыла книгу. Пусть угадает мои мысли, подумала Пегги. Если открыть книгу наугад, прочтешь свои мысли.

«La médiocrité de l'univers m'étonne et me révolte», — прочла она. Вот именно. Точно. Она стала читать дальше: «…la petitesse de toutes choses m'emplit de dégoût». Она подняла голову. Ей наступали на ноги, «…la pauvreté des êtres humains m'anéantit»[145]. Она закрыла книгу и поставила ее на место.

Точно, подумала Пегги.

Она поправила часы на запястье и тайком посмотрела на них. Время шло. В часе шестьдесят минут, сказала она себе; в двух часах сто двадцать. Сколько мне еще придется пробыть здесь?

---

[145] Примечания: 145

«Посредственность Вселенной поражает и возмущает меня… всеобщая ничтожность наполняет меня отвращением… убожество людей меня убивает» (*фр.*). *Ги де Мопассан* (1850–1893). На воде (1888).

Нельзя ли уже уйти? Она увидела, что Элинор кивает ей. Пегги пошла к сидевшим в креслах.

— Иди сюда, Пегги, поговори с нами! — позвала Элинор.

— Элинор, ты знаешь, который час? — спросила Пегги, подходя, и показала на свои часы. — Не пора ли нам?

— Я забыла о времени, — сказала Элинор.

— Но завтра тебе будет тяжело, — предостерегла Пегги, стоя рядом с ней.

— Узнаю врача! — поддразнил сестру Норт. — Здоровье, здоровье, здоровье! Но здоровье — это не самоцель. — Он поднял на нее глаза.

Пегги не обратила на него внимания.

— Ты что, хочешь досидеть до конца? — вновь обратилась она к Элинор. — Это же на всю ночь. — Она посмотрела на пары, кружившие в такт граммофонной музыке, как будто какое-то животное умирало в медленной, но мучительной агонии.

— Но ведь нам хорошо, — сказала Элинор. — Присоединяйся, порадуйся с нами.

Она указала на пол рядом с собой. Пегги опустилась на пол. Хватит думать, анализировать, копаться в себе — вот что хотела сказать Элинор, Пегги это поняла. Радуйся мгновению. Но всякий

ли на это способен? — спросила она себя, натягивая юбки вокруг своих ног. Элинор наклонилась и похлопала ее по плечу.

— Скажи-ка мне, — она хотела втянуть племянницу, выглядевшую слишком мрачно, в разговор, — ты же врач, ты в этом разбираешься. Что означают сны?

Пегги рассмеялась. Очередной вопрос Элинор. Сколько будет дважды два и откуда взялась Вселенная?

— Точнее, даже не сны, — продолжила Элинор. — Ощущения. Ощущения во время сна.

— Дорогая Нелл, — произнесла Пегги, подняв взгляд на нее, — сколько раз я тебе говорила. Врачи очень мало знают о теле и совсем ничего — о душе. — Она опять опустила глаза.

— Я всегда считал их мошенниками! — воскликнул Норт.

— Жаль! — сказала Элинор. — Я надеялась, ты сможешь объяснить мне… — Она склонилась вперед. Пегги заметила румянец на ее щеках. Она была взволнована, но с чего, интересно?

— Что объясню? — спросила Пегги.

— А, ничего, — сказала Элинор. Ну вот, я срезала ее, подумала Пегги.

Она опять посмотрела на свою тетку. Ее глаза

блестели, щеки были красные — или это просто индийский загар? На лбу надулась синяя жилка. Но с чего такое волнение? Пегги оперлась спиной о стену. С пола ей было видно множество ног, двигающихся в разные стороны, в мужских кожаных туфлях, в дамских атласных, в носках и в шелковых чулках. Они плясали — ритмично, напористо, подчиняясь звукам фокстрота. «А как насчет попить чайку? — сказал он мне, сказал он мне…» Мелодия все повторялась и повторялась. А над головой Пегги звучали голоса. Бессвязные обрывки долетали до нее: «…в Норфолке, где у моего брата есть яхта…», «…да, полный крах, я согласен…». На приемах люди обсуждают всякую ерунду. А рядом говорила Мэгги, говорил Норт, говорила Элинор. Вдруг Элинор взмахнула рукой.

— Это же Ренни! — воскликнула она. — Ренни, которого я никогда не вижу. Ренни, которого я люблю… Иди сюда, поговори с нами, Ренни.

Пара мужских туфель пересекла поле зрения Пегги и остановилась перед ней. Ренни сел рядом с Элинор. Пегги было видно лишь его профиль: большой нос, костистую скулу. «А как насчет попить чайку? — сказал он мне, сказал он мне…» — вымучивал из себя граммофон; пары двигались мимо, кружа. Но небольшая компания

в креслах беседовала и смеялась.

— Я знаю, ты со мною согласишься… — говорила Элинор. Из-под полуопущенных век Пегги видела, что Ренни обернулся к ней. Она видела его костистую скулу, его большой нос; его ногти, заметила она, были коротко острижены.

— Смотря что ты скажешь, — откликнулся он.

— О чем мы говорили? — Элинор задумалась. Уже забыла, заподозрила Пегги.

— …Что все изменилось к лучшему, — услышала она голос Элинор.

— С тех пор как ты была маленькой? — это вроде бы спросила Мэгги.

Затем вмешался голос, шедший от юбки с розовым бантом на кайме:

— …Не знаю почему, но жара на меня больше не действует, как раньше…

Пегги подняла голову Она увидела пятнадцать розовых бантов, аккуратно пришитых к платью. И не Мириам ли Пэрриш принадлежит увенчивающая платье благообразная овечья головка?

— Я хочу сказать, что мы сами изменились, — сказала Элинор. — Мы стали счастливее, свободнее…

Что она понимает под «счастьем», под «свободой»? — подумала Пегги, опять прислоняясь

спиной к стене.

— Вот, например, Ренни и Мэгги, — продолжала Элинор. Она помолчала немного и заговорила опять. — Ты помнишь, Ренни, ту ночь, когда был налет? Я тогда познакомилась с Николаем… мы сидели в погребе, помнишь?.. Идя вниз по ступенькам, я сказала себе: «Вот счастливый брак»… — Последовала очередная пауза. — Я сказала себе… — Пегги увидела, что Элинор положила руку на колено Ренни. — «Если бы я знала Ренни в молодости…» — она замолчала. Она имеет в виду, что тогда влюбилась бы в него? — подумала Пегги. Опять вмешалась музыка: «…сказал он мне, сказал он мне…» — Нет, никогда… — Пегги опять услышала голос Элинор. — Никогда…

Хочет ли она сказать, что никогда не любила, никогда не хотела выйти замуж? — подумала Пегги. Все засмеялись.

— Да вы выглядите на восемнадцать лет, — сказал Норт.

— И чувствую себя так же! — воскликнула Элинор. Но завтра утром ты превратишься в развалину, подумала Пегги, взглянув на нее. У Элинор было красное лицо, на лбу проступили сосуды.

— У меня такое чувство… — Элинор запнулась и поднесла руку к голове, — как будто я побывала в ином мире! Мне так хорошо!

— Вздор, Элинор, вздор, — сказал Ренни.

Так и думала, что он это скажет, с каким-то удовлетворением отметила про себя Пегги. Она видела его профиль за коленями своей тетки. Французы — рационалисты, они благоразумны, думала она. Но все равно, пусть Элинор пощиплет себя за душу, если ей это нравится, почему нет?

— Вздор? Что значит вздор? — спросила Элинор, наклонившись вперед и подняв руку ладонью вверх, как бы призывая Ренни ответить.

— Ты всегда говоришь об ином мире, — сказал он. — А чем плох этот?

— Но я имела в виду этот мир! Мне хорошо в этом мире, с живыми людьми. — Она отвела руку, точно желая обнять всех присутствующих: молодых, старых, танцующих, беседующих, Мириам с розовыми бантами, индийца в тюрбане. Пегги откинулась к стене. Ей хорошо в этом мире, думала она, хорошо с живыми людьми!

Музыка прекратилась. Молодой человек, который ставил пластинки на граммофон, куда-то ушел. Пары распались и стали продвигаться к выходу. По-видимому, они намеревались поесть.

Они собирались высыпать в сад и рассесться по жестким закопченным стульям. Музыка, которая сверлила мозг Пегги, больше не звучала. Установилось временное затишье. Вдалеке Пегги слышала звуки вечернего Лондона: автомобильный клаксон, сирену на реке. Эти далекие звуки, принесенное ими напоминание о других мирах, безразличных к этому миру, о людях — тяжко трудящихся, тянущих лямку в непроглядной тьме, в толще ночи, заставили Пегги повторить слова Элинор: «Мне хорошо в этом мире, хорошо с живыми людьми». Но как человеку может быть «хорошо», спросила себя Пегги, в мире, который переполнен горем? С каждого плаката на всех перекрестках смотрит Смерть, или того хуже — тирания, жестокость, мучительство, крах цивилизации, конец свободы. Мы здесь, думала она, лишь прячемся под утлым листком, который будет уничтожен. А Элинор говорит, что мир стал лучше, потому что двум человекам на много миллионов — «хорошо». Пегги неподвижно смотрела в пол, который теперь был пуст, если не считать муслиновой нитки из чьего-то платья. Но зачем я все замечаю? — думала она. Она передвинулась на другое место. Почему я должна думать? Она не желала думать. Ей хотелось бы, чтобы

существовали шторы, как в вагонных купе, которыми можно закрыться от света и загородить сознание. Синие шторы, которые опускают во время ночных поездок. Думать — это пытка. Вот бы перестать думать и отдаться течению грез… Но мерзость мира заставляет меня думать. Или это поза? Не натянула ли она на себя удобную личину того, кто указует на свое обливающееся кровью сердце и терзается мировой скорбью, а ближних-то вовсе и не любит? Опять она увидела перед собой залитый красным светом тротуар и лица людей, толпящихся у входа в кинотеатр. Равнодушные, безвольные лица. Лица одурманенных дешевыми удовольствиями, тех, у кого даже не хватает мужества быть самими собой, кто всегда рядится, притворяется, прикидывается. А здесь, в этой гостиной… — думала она, остановив взгляд на одной из пар… Нет, я не буду думать, повторила она себе. Она заставит свой мозг освободиться, стать пустым, расслабиться и принимать все спокойно и снисходительно.

Она прислушалась. Сверху до нее долетали обрывки фраз: «…в Хайгейте квартиры с ванными комнатами… Твоя мама… Да, Кросби еще жива…» Семейные сплетни. Они это любят. Но разве я могу это любить? — спросила она себя. Она была

слишком утомлена, кожа вокруг глаз натянулась, голову сдавил обруч. Она попыталась отвлечься мыслями о темных полях. Но это было невозможно: рядом смеялись. Пегги открыла глаза, раздосадованная этим смехом.

Смеялся Ренни. Он держал в руке листок бумаги, голова его была откинута назад, рот широко открыт. Из него раздавалось: «Ха! Ха! Ха!» Это смех, сказала себе Пегги. Такие звуки производят люди, когда им весело.

Некоторое время она смотрела на Ренни. Наконец ее мышцы начали самопроизвольно подергиваться. Она сама не могла удержаться от смеха. Пегги протянула руку, и Ренни передал ей листок. Он был сложен. Оказывается, они играли. Каждый нарисовал часть картинки. Сверху была женская голова, напоминавшая королеву Александру, в ореоле кудряшек, ниже — птичья шея, затем туловище тигра, а завершали изображение толстые слоновьи ноги в детских штанишках.

— Это я нарисовал, это я! — сказал Ренни, ткнув пальцем в ноги, с которых свисали длинные тесемки. Пегги смеялась, и смеялась, и смеялась, не в силах сдержать смех.

— Сей лик погнал за море тьму судов![146] — сообщил Норт, указывая на другую часть химеры. Все опять захохотали. Пегги перестала смеяться, ее губы разгладились. Однако собственный смех возымел на нее странное действие. Он снял напряжение, будто освободил ее. Она почувствовала или, скорее, увидела — не место и людей, а состояние души, в котором был искренний смех, было настоящее счастье, и поэтому изломанный мир предстал как нечто целое, единое, обширное и свободное. Но как это выразить?

— Послушайте… — начала она. Она хотела сформулировать что-то казавшееся ей очень важным — о мире, в котором люди составляют единство, где они свободны… Но они смеялись, а она была настроена серьезно. — Послушайте… — опять начала она.

Элинор перестала смеяться.

— Пегги хочет что-то сказать, — произнесла она. Остальные замолчали, но — в неудачный момент. Пегги уже не знала, что сказать, хотя отступать было поздно.

— Послушайте, — начала она в третий раз, — вот вы тут все рассуждаете о Норте… — Норт

---

[146] Примечания: 146
Цитата из трагедии Кристофера Марло (1564–1593) «Доктор Фаустус».

удивленно взглянул на нее. Она говорила совсем не то, что хотела сказать, но надо было продолжать — раз начала. К ней были обращены лица с открытыми ртами — похожие на птиц, разевающих клювы. — Как он будет жить, где он будет жить. Но зачем, какой смысл говорить это?

Она посмотрела на брата. Ею овладело чувство враждебности к нему. Он все еще улыбался, но под ее взглядом улыбка постепенно стерлась с его лица.

— Что толку? — сказала она, глядя ему в глаза. — Ты женишься. Заведешь детей. Чем ты будешь заниматься? Зарабатывать деньги. Писать книжонки ради денег…

Она все испортила. Она хотела сказать нечто не имеющее отношение ни к кому конкретно, а вместо этого сразу перешла на личности. Но дело сделано, теперь надо выпутываться.

— Ты напишешь одну книжонку, потом другую, — сказала она со злостью, — вместо того чтобы жить… жить по-другому, иначе…

Пегги умолкла. Мысль еще крутилась в ее голове, но она не могла ухватить ее. Она словно откололa лишь маленький кусочек от того, что хотела сказать, и в придачу рассердила своего брата. И все-таки целое лежало перед ней — то,

что ей открылось и что она не выразила. Однако, резко откинувшись спиной к стене, она почувствовала, будто что-то ее отпустило; ее сердце сильно колотилось, вены на лбу надулись. Она не сумела сказать, но она попыталась. Теперь можно отдохнуть под сенью их насмешек, которые не в силах уязвить ее, можно погрезить о далеких полях. Ее глаза почти закрылись, она представила себя на террасе, вечером; сова летит — вверх-вниз, вверх-вниз, — ее белые крылья выделяются на фоне темной изгороди; с дороги доносятся пение сельских жителей и скрип телеги.

Затем постепенно проступили иные очертания: Пегги увидела контур шкафа напротив, нить муслина на полу; две больших ноги в туфлях — таких тесных, что видны были шишки на ступнях, — остановились перед ней.

Некоторое время никто не двигался и не говорил. Пегги сидела неподвижно. Ей не хотелось шевелиться, произносить слова. Она хотела отдохнуть, растянуться, видеть сны. Она чувствовала себя очень усталой. Затем рядом остановились другие ноги и край черной юбки.

— Вы спускаетесь ужинать? — спросил квохчущий голосок. Пегги посмотрела наверх. Это были ее тетя Милли с мужем.

— Ужин внизу, — сказал Хью. — Ужин внизу.

И они удалились.

— Как они раздались! — насмешливо произнес голос Норта.

— Но они так добры к людям! — возразила Элинор. Опять семейное чувство, подумала Пегги.

Зашевелилось колено, за которым она укрывалась.

— Надо идти, — сказала Элинор.

Подожди, подожди! — хотела взмолиться Пегги. Ей надо было что-то спросить у Элинор, что-то добавить к своей выходке, потому что никто не напал на нее, никто не смеялся над ней. Но было поздно: колени разогнулись, красная накидка повисла прямо. Элинор встала. Она принялась искать свою сумочку или носовой платок, шаря в подушках кресла, в котором сидела. Как всегда, она что-то потеряла.

— Простите старую копушу, — извинилась она и потрясла подушку. На пол упали монеты. Шестипенсовик покатился по ковру и остановился у пары серебристых туфелек.

— Смотрите! — воскликнула Элинор. — Смотрите! Это же Китти!

Пегги подняла голову. Красивая пожилая женщина с вьющимися седыми волосами, укра-

шенными чем-то блестящим, стояла в дверях и осматривалась — видимо, только что пришла и тщетно искала хозяйку. К ногам этой дамы и подкатилась монета.

— Китти! — Элинор поспешила ей навстречу, протягивая руки. Все встали. Пегги тоже встала. Вот и кончилось, все испорчено, поняла она. Не успело что-то соединиться, как опять рассыпалось. Она ощущала пустоту. Теперь надо подбирать осколки и составлять что-то новое, иное, думала она, пересекая гостиную и подходя к иностранцу, которого все звали Брауном, но чье настоящее имя было Николай Помяловский.

— Кто эта дама, — спросил ее Николай, — которая появляется так, будто весь мир принадлежит ей?

— Это Китти Лассуэйд, — сказала Пегги. Из-за того, что Китти стояла в дверях, никто не мог выйти.

— Боюсь, я страшно опоздала, — услышали они ее четкий, властный голос. — Но я была в балете.

Это, кажется, Китти, подумал Норт, глядя на нее. Одна из тех ладных мужеподобных старух, которые вызывали у него легкую неприязнь. Вроде была женой кого-то из наших губернаторов… Или вице-короля Индии? Он легко мог предста-

вить ее принимающей гостей в губернаторской резиденции. «Вы садитесь сюда, вы — туда. А вам, молодой человек, стоит больше двигаться». Он знал этот тип женщин. У нее были короткий прямой нос и голубые, широко поставленные глаза. Она могла выглядеть очень эффектно в восьмидесятые годы, подумал Норт, — в узкой амазонке, маленькой шляпке с петушиным пером; возможно, у нее был роман с адъютантом; а потом она остепенилась, стала деспотичной и рассказывала истории о своем прошлом. Он прислушался.

— Да, но Нижинскому он в подметки не годится! — говорила она.

Весьма в ее духе, подумал Норт. Он стал рассматривать книги в шкафу. Вынул одну и перевернул вверх ногами. Одна книжонка, потом другая, — он вспомнил колкость Пегги. Эти слова уязвили его непропорционально своему очевидному смыслу. Она напала на него с такой жестокостью, как будто презирала его, и вид у нее был, точно она вот-вот заплачет. Он открыл книжку. Латынь, что ли? Он прочел одно предложение и пустил его плыть по своему сознанию. Слова были прекрасны, хотя и не имели смысла, однако составляли некий рисунок: «…nox est perpetua

una dormienda»[147]. Норт вспомнил, как его учитель говорил: «Начинай с длинного слова в конце фразы». Слова парили в воздухе… Но когда они уже вот-вот должны были раскрыть свой смысл, у двери началось движение. Старый Патрик медленно подошел и галантно подал руку вдове генерал-губернатора, после чего они со старомодно-церемониальным видом начали спускаться по лестнице. Остальные последовали за ними. Молодое тащится за старым, подумал Норт, ставя книгу обратно на полку и направляясь к выходу. Только и они не столь молоды; у Пегги видна проседь — ей, должно быть, уже тридцать семь… Или тридцать восемь?

— Ну как ты, Пег? — спросил Норт, когда они стояли позади всех. Он чувствовал к ней смутную враждебность. Она казалась ему злой, прагматичной и очень придирчивой к другим, особенно к нему.

— Иди первым, Патрик, — услышали они благозвучный и громкий голос леди Лассуэйд. — Эта лестница не приспособлена… — она сделала паузу, вероятно, выставляя вперед ревматическую ногу, — для стариков, которым… — еще одна

[147] Примечания: 147
«…вечную ночь спать суждено» (*лат.*). Строка из Катулла.

пауза — на следующей ступени, — приходилось ползать по мокрой траве, давя слизней.

Норт посмотрел на Пегги и засмеялся. Он не ожидал такого конца фразы, впрочем, подумал он, у вдов вице-королей должны быть сады, в которых они давят слизней. Пегги тоже улыбнулась. Но ему было неуютно рядом с ней. Ведь она напала на него. А сейчас они стояли бок о бок…

— Ты видел старого Уильяма Уотни? — спросила она, поворачиваясь к нему.

— Не может быть! — воскликнул Норт. — Он еще жив? Вон тот седоусый морж?

— Да, это он, — сказала Пегги. В дверях стоял старик в белом жилете.

— Старый Квази-Черепах[148], — сказал Норт. Им надо было вытащить свои детские словечки, оживить воспоминания детства, чтобы преодолеть разделявшую их дистанцию, враждебность. — А помнишь… — начал он.

— Ночной побег? — откликнулась она. — Я тогда спустилась из окна по веревке.

— И мы устроили пикник в римском лагере.

— Нас никогда бы не уличили, если бы нас не выдал этот мерзкий мальчишка, — сказала Пегги,

---

[148] Примечания: 148

Квази-Черепаха — персонаж сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

спустившись на одну ступень.

— Гаденыш с красными глазами, — сказал Норт.

Больше им вроде и нечего было сказать друг другу.

Они стояли рядом и ждали, пока другие не пройдут и не освободят им дорогу. А ведь он читал ей свои стихи в яблочном амбаре и когда они бродили среди розовых кустов. А теперь им нечего сказать друг другу.

— Перри, — сказал Норт, спустившись на еще одну ступень и вдруг вспомнив имя красноглазого мальчишки, который утром видел, как они возвращались домой, и наябедничал.

— Альфред, — добавила Пегги.

Она до сих пор многое знает обо мне, подумал Норт, нас все еще объединяет нечто глубинное. Вот почему, понял он, меня так задело, когда она при других сказала о моем «писании книжонок». Это их общее прошлое обличало его настоящее. Он взглянул на нее.

Черт побери этих женщин, они такие жесткие, у них нет фантазии. Будь прокляты их утлые любопытные умишки. К чему приводит их «образование»? Ее оно лишь сделало придирчивой, скептичной. Старушка Элинор, со всей своей

нестройной болтовней, стоит дюжины таких, как Пегги. Ни то ни се, думал он, глядя на нее. Ни модница, ни аскетка.

Она почувствовала, что он посмотрел на нее и отвернулся. Обнаружил, что в ней что-то не так, она это знала. Руки? Платье? А, это из-за того, что она раскритиковала его. Ну, конечно, думала она, спускаясь на очередную ступеньку, теперь мне будут мстить, теперь жди расплаты за мои слова о том, что он будет писать «книжонки». Обычно на подготовку ответного удара уходит минут десять — пятнадцать. А потом вопрос потеряет актуальность, хотя и останется в разряде «неприятных», причем весьма неприятных, думала она. Мужское тщеславие не знает границ. Пегги подождала. Он опять посмотрел на нее. А теперь он сравнивает меня с той девушкой, которую я видела рядом с ним, подумала Пегги и вспомнила миловидное, но строгое лицо. Он свяжется с красногубой девицей и станет ишачить. Ему так полагается, а я так не могу, думала она. С моим вечным чувством вины. Придется платить, придется платить — я всегда так себе говорила, даже тогда, в римском лагере. У меня никогда не будет детей, а он будет плодить маленьких Гиббсов, еще и еще, думала Пегги, глядя на дверь в контору

стряпчего, — если только она через год не уйдет от него к другому мужчине… Фамилия стряпчего была Олдридж, отметила она. Все, я больше не буду ничего замечать, буду радоваться жизни, вдруг решила она. Она взяла Норта за руку.

— Встретил тут кого-нибудь интересного? — спросила Пегги.

Он догадался, что она видела его с той девушкой.

— Одну девушку, — кратко ответил он.

— Я видела, — сказала она и посмотрела в сторону. — По-моему, милая, — добавила она, вглядываясь в раскрашенное изображение птицы с длинным клювом, висевшее на стене.

— Привести ее к тебе? — спросил Норт.

Так он, значит, ценит ее мнение? Она все еще держала его чуть выше локтя и чувствовала что-то твердое и тутое под рукавом; прикосновение к его телу вернуло ей ощущение близости других людей и их же отдаленности, так что желание помочь причиняет боль, и все же они зависят друг от друга; все это вызвало в ней такую бурю чувств, что она едва удержалась от того, чтобы закричать: «Норт! Норт! Норт!»

Все, нельзя опять выставлять себя дурой, сказала она себе.

— В любой вечер после шести, — произнесла она вслух, осторожно делая шаг на еще одну ступеньку вниз. Лестница кончилась.

Из-за двери комнаты, где был устроен ужин, гудели голоса. Пегги отпустила руку Норта. Дверь распахнулась.

— Ложки! Ложки! Ложки! — закричала Делия, по-ораторски размахивая руками так, будто обращалась к людям в комнате с торжественной речью. Она увидела племянника и племянницу. — Будь ангелом, Норт, принеси ложки! — крикнула она, выбросив руки в его сторону.

— Ложки для вдовы генерал-губернатора! — гаркнул Норт, имитируя ее интонацию и жесты.

— На кухне, внизу! — Делия указала на лестницу, ведшую в полуподвал. — Пегги, иди сюда, иди сюда! — Она поймала руку Пегги. — Мы все садимся ужинать!

Она ворвалась в комнату. Там яблоку негде было упасть. Люди сидели на полу, в креслах, на конторских стульях. Длинные конторские столы, столики для пишущих машинок были тоже пущены в дело. Они были усыпаны, завалены цветами. Гвоздики, розы, маргаритки были набросаны как попало.

— Садись на пол, садись куда угодно, — рас-

порядилась Делия, неопределенно махнув рукой. — Ложки сейчас будут, — сказала она леди Лассуэйд, которая пила суп из кружки.

— Да не нужна мне ложка, — отозвалась Китти. Она наклонила кружку и сделала глоток.

— Тебе-то не нужна, — возразила Делия, — а другим нужна.

Норт принес пучок ложек, и она взяла их у него.

— Так, кому ложки нужны, кому нет? — спросила она, помахав ложками перед собой. Кто-то без них может обойтись, кто-то — нет, решила она про себя.

Те, кто сродни ей, думала она, в ложках не нуждаются, а вот другим — англичанам — они требуются. Она делила людей таким манером всю жизнь.

— Ложку? Ложку? — спрашивала она, с явным удовольствием оглядывая битком набитую комнату. Там были люди всех сортов. Она всегда к этому стремилась: перемешивать людей, избавляться от нелепых английских условностей. И в этот вечер ей это удалось, заключила она. Присутствовали и аристократы, и плебеи; кто-то был одет роскошно, кто-то — скромно; одни пили прямо из кружек, другие смирились с тем, что

суп остынет, лишь бы принесли ложку.

— Мне ложку, — сказал ее муж, посмотрев на нее снизу вверх.

Делия наморщила нос. В тысячный раз он ущемил ее идеал. Она мечтала выйти замуж за смутьяна, а вышла за первейшего роялиста, страстного империалиста, респектабельного провинциального джентльмена — хотя и это сыграло роль, потому что даже сейчас он был еще весьма импозантен.

— Дай дяде ложку, — сухо сказала она Норту, вручив ему весь металлический букет.

После этого она села рядом с Китти, которая глотала суп, как девчонка на школьном пикнике. Китти поставила пустую кружку среди цветов.

— Бедные цветочки, — сказала она, подобрав со скатерти гвоздику и поднеся ее к губам. — Они же погибнут, Делия, им нужна вода.

— Розы нынче дешевы, — возразила Делия. — По два пенса за букет с тележек на Оксфорд-стрит. — Она взяла красную розу и поднесла поближе к свету, от чего цветок засиял полупрозрачными лепестками в прожилках. — Какая богатая страна Англия! — сказала она, положила розу обратно и взяла свою кружку.

— Что я тебе всегда и говорю, — вступил в

разговор Патрик, вытирая рот. — Единственная цивилизованная страна в целом свете.

— Мне казалось, что мы на грани катастрофы, — сказала Китти. — Хотя сегодня в Ковент-Гардене особых признаков этого я не заметила.

— Увы, это правда, — вздохнул Патрик в тон каким-то своим мыслям. — К сожалению, должен признать, что мы такие дикари по сравнению с вами.

— Он не успокоится, пока не получит назад Дублинский замок[149], — съехидничала Делия.

— Вам не нравится свобода? — спросила Китти, глядя на чудаковатого старика, чье лицо всегда напоминало ей ягоду крыжовника с редкими волосками. Но фигура у него была великолепная.

— Сдается мне, что наша нынешняя свобода куда хуже, чем наше бывшее рабство, — сказал Патрик, тыкая в рот зубочисткой.

Как всегда, политика, деньги и политика, подумал Норт, который подслушал их разговор, разнося последние ложки.

— Неужели, Патрик, вы хотите сказать, что вся эта борьба была напрасна? — спросила Китти.

— Приезжайте в Ирландию, сами посмотрите,

---

[149] Примечания: 149

В Дублинском замке до 1922 г. располагалась британская администрация Ирландии.

миледи, — мрачно ответил он.

— Еще рано — слишком рано судить, — возразила Делия.

Ее муж глядел мимо нее невинными глазами охотничьего пса, чьи лучшие дни в прошлом. Но эти глаза не могли долго удерживаться на чем-то одном.

— Что это за парень с ложками? — спросил Патрик, остановив взгляд на Норте, который стоял позади, как официант.

— Это Норт, — сказала Делия. — Сядь рядом с нами, Норт.

— Добрый вам вечер, сэр, — сказал Патрик. Они уже здоровались, но он позабыл.

— Что, сын Морриса? — спросила Китти, резко повернувшись. Она с чувством пожала Норту руку. Он сел и глотнул супа.

— Он только что из Африки. У него там была ферма, — сообщила Делия.

— Ну и как вам страна отцов? — спросил Патрик, приветливо наклоняясь к Норту.

— Здесь очень многолюдно, — сказал Норт, оглядывая комнату. — И все говорят о деньгах и политике. — Это была его дежурная фраза. Он произнес ее уже раз двадцать.

— Вы были в Африке? — спросила леди Лас-

суэйд. — А из-за чего же вы оставили вашу ферму? — Она смотрела ему в глаза и говорила именно так, как он ожидал: слишком властно, чтобы это пришлось ему по душе. Какое твое дело, старуха? — мысленно спросил он.

— Надоело, — сказал он вслух.

— А я отдала бы все, чтобы стать фермером! — воскликнула она. Это немного не укладывается в ее образ, подумал Норт. Так же, как и ее глаза. Ей стоило бы носить пенсне. — Но когда я была молодой, — сказала она с досадой — руки у нее были довольно натруженные, с грубой кожей, но ведь она занималась садоводством, вспомнил Норт, — это не позволялось.

— Да, — подтвердил Патрик. — И я считаю, — продолжил он, постукивая по столу вилкой, — что мы все были бы довольны, очень довольны, если бы все вернулось на круги своя. Вот что с нами сделала война? Меня, например, разорила. — Он покачал головой с видом меланхолического смирения.

— Мне печально это слышать, — сказала Китти. — Но для меня старое время было плохое время, злое, жестокое время… — Ее глаза стали голубыми от гнева.

А как же адъютант и шляпка с петушиным

пером? — подумал Норт.

— Ты не согласна со мной, Делия? — спросила Китти, повернувшись к двоюродной сестре.

Но Делия, говоря со своим преувеличенно-певучим ирландским акцентом, обращалась к кому-то сидевшему за соседним столом наискосок от нее. Кажется, я помню эту комнату, подумала Китти; помню какое-то собрание, какой-то спор. Но о чем? О силе?..

— Дорогая Китти, — перебил ее мысли Патрик. Он похлопал ее по руке своей лапищей. — Еще один пример в пользу того, что я говорю. Теперь женщины получили избирательное право. — Он повернулся к Норту. — Стало ли им от этого лучше?

На мгновение во взгляде Китти проступила ярость, но потом она улыбнулась.

— Не будем спорить, мой старый друг, — сказала она, тоже похлопав его по руке.

— То же самое с ирландцами, — продолжал он. Он не может отвлечься от одних и тех же знакомых мыслей — бродит по кругу, как заезженная кляча, подумал Норт. — Они бы рады вернуться в Империю, уверяю вас. Я происхожу из семьи, — теперь Патрик обращался только к Норту, — которая служила королю и отечеству в

течение трехсот…

— Английские колонисты, — сухо заметила Делия и отпила супа. Предмет их ссор наедине друг с другом, подумал Норт.

— Мы жили в этой стране триста лет, — не унимался Патрик, топая по своему кругу. Норта он держал за локоть. — И что поражает меня, старика, старого перечника…

— Глупости, Патрик, — вмешалась Делия. — Ты никогда еще не выглядел моложе. Ему можно дать пятьдесят, правда, Норт?

Но Патрик покачал головой.

— Мне давно за семьдесят, — просто сказал он. — Так вот, что поражает меня, старика, — он похлопал Норта по плечу, — жизнь так прекрасна, — он неуверенно кивнул в сторону плаката, приколотого к стене, — вокруг столько красоты. — Вероятно, он имел в виду цветы, просто его голова непроизвольно дергалась во время речи. — Так чего же ради эти люди стреляют друг в друга? Я не вхожу ни в какие общества, не подписываю никакие эти… — он показал на плакат, — как они называются? Манифесты. Я просто иду к моему другу Майку, или пусть это будет Пат — они все мои добрые друзья, и мы…

Он наклонился и потер свою ступню.

— Господи, эти туфли! — пожаловался он.

— Жмут, да? — сочувственно спросила Китти. — Сбросьте их.

Зачем они притащили сюда бедного старика, подумал Норт, напялили на него тесные туфли? Наверняка точно так же он беседовал со своими собаками. Когда он поднимал глаза, стараясь вспомнить, о чем он говорил, его взгляд был похож на взгляд охотника, который увидел птиц, поднимающихся полукругом над болотом. Но птиц было не достать выстрелом.

— …И мы говорим обо всем, — продолжил Патрик. — Сидя за столом.

Его глаза смягчились и опустели, как будто мотор выключился и его ум беззвучно плыл дальше по инерции.

— Англичане тоже говорят, — вскользь заметил Норт. Патрик кивнул и рассеянно посмотрел на группу молодых людей. Но его не интересовало, что говорят другие. Его сознание уже не могло воспринять что-то извне. Тело Патрика все еще сохраняло великолепные пропорции, постарело именно его сознание. Он мог только повторить уже много раз сказанное и после этого сидеть, ковыряя в зубах, уставившись перед собой. Он сидел, держа двумя пальцами цветок, безучастно,

не глядя на него, а ум его плыл по инерции… Но тут вступила Делия.

— Норту надо пойти поговорить со своими друзьями, — сказала она. Как многие жены, она знает, когда муж начинает нагонять скуку, подумал Норт и встал. — Не жди, чтобы тебя представили, — сказала Делия, помахав рукой.

— Делайте, что хотите. Что хотите, — проговорил Патрик, постукивая стеблем цветка по столу.

Норт был рад уйти, но куда теперь направиться? Оглядев комнату, он опять почувствовал себя чужаком. Все присутствовавшие были знакомы между собой. И называли друг друга — он встал с краю небольшой компании молодых мужчин и женщин — по именам или прозвищам. Каждый принадлежал к какой-то группке, понимал Норт, прислушиваясь к разговору. Он хотел слышать, о чем они говорят, но самому в беседу не вступать. Он прислушался. Они спорили. Политика и деньги, сказал он себе, деньги и политика. Эта фраза оказалась очень кстати. Но он не мог вникнуть в спор, который уже был довольно-таки горячим. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким, подумал Норт. Старая банальность об одиночестве в толпе верна. Холмы и деревья человека принимают, а люди отвергают. Он отвернулся и

сделал вид, что читает описание дома с участком в Бексхилле, которое Патрик почему-то назвал «манифестом». «Водопровод во всех спальнях», — прочитал Норт. До него доносились обрывки разговора. Это Оксфорд, а это Хэрроу, узнавал он словечки и обороты, усвоенные в школе и колледже. Казалось, они по-прежнему обмениваются школьными анекдотами — о том, как Джонс-младший взял приз за прыжки в длину, о старике Фокси, или как там звали их директора. Беседа молодых людей о политике была очень похожа на разговор мальчишек из частной школы. «Я прав, а ты нет…» В их возрасте, думал Норт, я был в окопах, на моих глазах гибли люди. Но можно ли считать это хорошим образованием? Он перенес вес на другую ногу. В их возрасте, думал он, я оказался один на ферме со стадом овец, на шестьдесят миль вокруг не было ни единого белого… Было ли это хорошим образованием? Так или иначе, слушая издалека их спор, улавливая характерные слова, видя их жесты, он понимал, что все они — люди одного сорта. Он посмотрел через плечо. Элитарная частная школа плюс университет, без вариантов. А где же Дворники, Докеры, Доярки и Дровосеки? — подумал он, составляя список профессий на букву «д».

Потому что, хотя Делия и гордилась своей неразборчивостью в знакомствах, к ней пришли одни Патриции и Пэры. Какие еще слова начинаются на «п»? — задумался он, опять уставившись на плакат. Потаскуха, Паразит?

Норт обернулся. На него смотрел симпатичный юноша со свежим лицом и веснушчатым носом, в будничной одежде. Если он не остережется, его тоже втянут. Нет ничего проще, чем вступить в общество, чем подписать то, что Патрик называет «манифестом». Норт, однако, не верил ни в общества, ни в манифесты. Он вернулся к восхитительному особняку с садом в три четверти акра и водопроводом во всех спальнях. Он делал вид, что читает, а сам думал: люди снимают залы, устраивают там собрания. Один из них выходит на трибуну. Жмет руки — характерно, крепко, будто нажимает на рычаг или выкручивает белье. Голос оратора, многократно усиленный громкоговорителем, обычно странно отделяется от его фигурки и гремит, сотрясая зал: «Справедливость! Свобода!» Конечно, когда сидишь, стиснутый с боков чужими коленями, по коже может пробежать дрожь, душа может приятно затрепетать, но на следующее утро — думал Норт, глядя на плакат с рекламой недвижимости — не

остается ни единой мысли, ни единой фразы, которые хоть чего-нибудь стоили бы. Что они понимают под «Справедливостью» и «Свободой», эти милые молодые люди, имеющие сотни две-три в год? Что-то здесь не так, думал он; есть какой-то разрыв, несоответствие между словами и реальностью. Если они хотят преобразовать мир, почему бы не начать отсюда, из центра, с самих себя? Норт повернулся на каблуке и столкнулся нос к носу со стариком в белом жилете.

— Здравствуйте! — сказал он, протягивая руку.

Это был его дядя Эдвард. Он походил на насекомое, из которого выели всю плоть, оставив только крылышки и хитиновую оболочку.

— Очень рад видеть, что ты вернулся, Норт, — сказал Эдвард и тепло пожал ему руку. — Очень рад, — повторил он.

Он был застенчив. Он был тощ и худосочен. Его лицо как будто вырезали с помощью множества тонких инструментов, или — как будто оставили на улице зимней ночью и оно замерзло. Он откидывал голову назад, как закусивший удила конь; но он был старый конь, голубоглазый конь, давно привыкший к удилам. Он двигался, повинуясь привычке, а не чувству. Интересно, чем он занимался все эти годы? — подумал Норт, когда они

стояли, оглядывая друг друга. Издавал Софокла? А что случится, если однажды окажется, что весь Софокл уже издан? Что они будут делать, эти выеденные, пустотелые старики?

— Ты возмужал, — сказал Эдвард, осмотрев его с ног до головы. — Возмужал.

В его манере было едва заметное почтение. Эдвард, ученый, отдавал дань Норту, солдату. На нем есть какая-то печать избранности, подумал Норт; значит, все-таки удалось что-то сберечь.

— Пойдем сядем? — предложил Эдвард, словно хотел серьезно обсудить с Нортом какие-то интересные темы. Они стали искать тихое место. Он-то не транжирил свое время на беседы с дряхлыми сеттерами и пальбу из ружья, подумал Норт, оглядываясь в поисках спокойного пристанища, где они могли бы посидеть и поговорить. Но свободными оказались только два конторских стула в углу около Элинор.

Она увидела их и вскрикнула:

— Ой, Эдвард! Я же хотела тебя о чем-то спросить…

Какое облегчение, что назревавшую беседу с директором школы отменила эта импульсивная глуповатая старушка. Она держала перед собой носовой платок.

— Я завязала узелок, — сказала она. Действительно, на платке был узел. — Зачем же я его завязала? — Элинор подняла глаза.

— Завязывать узелки — похвальная привычка, — произнес Эдвард в своей учтивой манере, четко выговаривая каждое слово, и несколько деревянно опустился на стул рядом с сестрой. — Но при этом рекомендуется…

Что мне в нем нравится, подумал Норт, садясь на второй стул, так это обыкновение не договаривать вторую половину фразы.

— Он должен был мне напомнить… — Элинор запустила руку в свои густые седые волосы и замолчала. Что позволяет ему быть таким спокойным, словно вырезанным из камня? — подумал Норт, искоса взглянув на Эдварда, который с удивительной невозмутимостью ждал, пока его сестра вспомнит, зачем она завязала узел на носовом платке. В нем было что-то законченное, хотя фразы он не договаривал; нечто навсегда установленное и скрепленное печатью. Его не волнуют ни политика, ни деньги, подумал Норт. Может быть, это благодаря тому, что он имеет дело с поэзией, с прошлым? Но Эдвард улыбнулся сестре.

— Ну что, Нелл? — спросил он.

Улыбка была спокойная, терпеливая.

Норт решил начать разговор, потому что Элинор по-прежнему размышляла над своим узелком.

— На мысе Доброй Надежды я встретил человека, который оказался большим вашим почитателем, дядя Эдвард, — сказал он и сразу же вспомнил фамилию: — Арбатнот.

— Р. К.? — спросил Эдвард. Он поднес руку к голове и улыбнулся. Ему было приятно. Он тщеславен и чувствителен, он — Норт еще раз взглянул на него, чтобы дополнить образ, — признан. Покрыт блестящим лаком, который носят на себе те, кто облечен властью. Ведь он теперь кто? — Норт не мог вспомнить. Профессор? Преподаватель? Он неразрывно связан со своим положением, от которого никогда не может отвлечься. А этот Арбатнот Р. К. с чувством сообщил Норту, что он обязан Эдварду большим, чем кому бы то ни было.

— Он сказал, что обязан вам большим, чем кому бы то ни было, — произнес Норт вслух.

Эдвард никак не ответил на комплимент, но слова доставили ему удовольствие. У него была привычка, которую Норт помнил: подносить руку к голове. А Элинор называла его «Клин». Она сме-

ялась над ним. Она больше любила неудачников, вроде Морриса. Элинор сидела с платком в руке, украдкой улыбаясь какому-то воспоминанию.

— Какие же у тебя планы? — спросил Эдвард. — Ты заслужил передышку.

В его манере есть что-то льстивое, подумал Норт: как будто школьный учитель встречает бывшего ученика, который добился в жизни успеха. Но он говорит то, что думает, он никогда не говорит просто так, подумал Норт; это тоже вызывало тревогу. Помолчали.

— Делия собрала сегодня на удивление много людей, правда? — сказал Эдвард, повернувшись к Элинор. Они смотрели на разные группы гостей. Ясные глаза Эдварда обозревали присутствующих дружелюбно, но насмешливо. Но о чем он думает? — спросил себя Норт. Что-то должно быть за этой маской. То, что позволяет ему быть выше суеты. Прошлое? Поэзия? Он смотрел на утонченный профиль Эдварда. Его лицо было еще изысканнее, чем запомнилось Норту.

— Я хотел бы освежить свои знания по античной классике, — вдруг сказал Норт. — Хотя не то чтобы у меня было много чего освежать… — с простодушным видом добавил он, испугавшись учителя.

Эдвард как будто не слушал. Он подбирал и вновь ронял свой монокль, глядя на пеструю компанию гостей. Его голова со вздернутым подбородком опиралась затылком о спинку стула. Толпа, шум, перестук вилок и ножей делали беседу необязательной. Норт еще раз украдкой посмотрел на него. Прошлое и поэзия, подумал он, вот о чем я желал бы поговорить. Он хотел сказать это вслух. Но Эдвард был слишком отгорожен, слишком своеобразен, слишком черно-бел и линеен, он слишком высоко поднял подбородок, опираясь затылком о спинку стула, чтобы его просто так можно было о чем-то спросить.

Наконец Эдвард завел речь об Африке, хотя Норта больше интересовали прошлое и поэзия. Ведь они заключены в этой точеной голове, похожей на голову поседевшего греческого юноши, — прошлое и поэзия.

Так почему бы не приоткрыть свой сейф? Почему не поделиться? Что ему мешает? — думал Норт, отвечая на обычные вопросы английского интеллектуала об Африке, о состоянии дел в тех краях. Почему он не может открыть шлюзы? Почему не снимет оковы со свободного течения? Зачем все так заперто, так заморожено? Потому что он жрец, хранитель тайн, думал Норт,

чувствуя холод Эдварда. Он страж прекрасных словес.

Но Эдвард обращался к нему.

— Давай договоримся, что ты приедешь, — говорил он, — этой осенью. — И это было тоже искренне.

— Хорошо, — ответил Норт, — я с удовольствием… Осенью. — И он представил себе дом с комнатами, затененными плющом, крадущихся дворецких, графины с вином и руку, протягивающую коробку дорогих сигар.

Незнакомые молодые люди обходили гостей с подносами и настойчиво угощали их.

— Как любезно с вашей стороны, — сказала Элинор, беря бокал.

Норт тоже взял бокал с какой-то желтой жидкостью. Вероятно, это было нечто вроде крюшона. Пузырьки поднимались наверх и лопались. Норт стал смотреть, как они поднимаются и лопаются.

— Что это за красивая девушка, — спросил Эдвард, наклонив голову набок, — вон там, в углу, разговаривает с юношей?

Он был благожелателен и церемонен.

— Правда, они прелестны? — откликнулась Элинор. — Я как раз об этом думала… Все такие молодые. Это дочь Мэгги… А кто это говорит с

Китти?

— Миддлтон, — сказал Эдвард. — Ты что, не помнишь его? Вы наверняка были когда-то знакомы.

Они перебрасывались словом-другим, наслаждаясь непринужденностью. Точно кумушки, которые, судача, отдыхают на припеке после рабочего дня, подумал Норт. Элинор и Эдвард были каждый в своей нише, они источали довольство, терпимость, уверенность.

Норт следил за всплывающими в желтой жидкости пузырьками. Им-то, старикам, все это нравится, думал он, они свое пожили; другое дело — он и его поколение. Для него символом идеальной жизни были фонтан, весенний ручей, неукротимый водопад; ему требовалось совсем не то, совсем иное, чем им. Не залы, не гулкие микрофоны, не шагание в ногу за вождями — ордами, группками, разряженными в униформу колоннами. Нет — надо начать изнутри, а уж потом позволить сути принять внешнюю форму, думал Норт, глядя на молодого человека с красивым лбом и скошенным подбородком. Никаких черных рубашек, зеленых рубашек, красных рубашек, никакого позерства перед публикой, это все чушь. Конечно, разрушение барьеров, опро-

щение — это все хорошо, но мир, превращенный в однородный студень, в единую массу, это не мир, а рисовый пудинг или бескрайнее блеклое одеяло. Сохранить все отличительные признаки и характерные черты Норта Парджитера — того, над кем смеется Мэгги, француза с цилиндром в руках, но в то же время — распространить себя вовне, новой волной взбудоражить человеческое сознание, быть пузырьком и потоком, потоком и пузырьком — самим собой и всем миром. Он поднял бокал. Анонимно, подумал он, глядя в прозрачную желтую жидкость. Но что я под этим подразумеваю? — спросил он себя. Я, для кого подозрительны все церемонии, а религия мертва, я, не вписывающийся, как сказал тот человек, никуда, ни во что? Он задумался. В руке его был бокал, в голове — незаконченная фраза. А он хотел создавать и другие фразы. Но как у меня это получится — он посмотрел на Элинор, которая сидела, держа шелковый носовой платок — пока я не узнаю, что истинно и что надежно, в моей жизни и в жизни других?

— Младший Ранкорн! — вдруг выпалила Элинор. — Это сын привратника в доме, где у меня квартира, — объяснила она и развязала узел на платке.

— Сын привратника доме, где у тебя квартира, — повторил Эдвард. Его глаза похожи на поле, освещенное зимним солнцем, подумал Норт, — солнцем, в котором нет тепла, лишь бледная краса.

— Кажется, его все называют «портье», — сказала Элинор.

— Терпеть этого не могу! — Эдвард слегка передернул плечами. — Чем плохо наше слово «привратник»?

— Я же так и сказала: сын привратника в моем доме… Так вот, они хотят отдать его в колледж. Я сказала, если увижу тебя, то спрошу…

— Разумеется, разумеется, — доброжелательно произнес Эдвард.

Звучит совершенно нормально, подумал Норт. Человеческий голос, естественная интонация. Разумеется, разумеется, повторил он про себя.

— Значит, он хочет поступить в колледж? — кивнул Эдвард. — Какие же экзамены он сдавал?

Какие же экзамены он сдавал? — повторил про себя Норт. Но повторил критически, точно он был актер и судья. Он не только слушал, но и комментировал. Пузырьки всплывали в желтой жидкости уже медленнее, один за другим. Элинор не знала, какие он сдавал экзамены. О чем я

думал? — спросил себя Норт. У него было такое чувство, будто он находится посреди джунглей, во мраке, и прорубает себе путь к свету. Но у него были только обрывки фраз, отдельные слова, лишь они должны были помочь ему продраться сквозь заросли человеческих тел, человеческих стремлений и голосов, которые цеплялись и не пускали его, не пускали… Он прислушался.

— Что ж, передай, пусть зайдет ко мне, — с готовностью сказал Эдвард.

— Но я не слишком много у тебя прошу, Эдвард? — спросила Элинор.

— Я для этого и существую, — успокоил ее он.

И это нормальная интонация, подумал Норт. Никакой *униформальности.* Слова «униформа» и «формальность» соединились в его голове в одно несуществующее слово. Моя мысль состоит в том, подумал он, отпивая крюшона, что где-то в глубине бьет родник, там есть живая сердцевина. В каждом из нас — в Эдварде, в Элинор. Так зачем рядить себя в униформу? Норт поднял глаза.

Перед ними остановился толстяк. Он наклонился и учтиво подал руку Элинор. Ему пришлось наклониться, поскольку его белый жилет заключал в себе внушительную сферу.

— Увы, — сказал он сладкозвучным голосом,

который не вязался с его размерами. — Я бы с превеликим удовольствием, но завтра в десять утра у меня совещание. — Элинор и Эдвард уговаривали его сесть и побеседовать с ними. Он покачивался перед ними с пятки на носок на своих маленьких ножках.

— Наплюйте! — Элинор улыбнулась ему, как улыбалась в молодости друзьям своего брата, подумал Норт. Почему же она не вышла за одного из них? Почему мы скрываем все, что так важно для нас? — спросил он себя.

— Чтобы мои директора не дождались меня? Тогда зачем я нужен? — сказал старый друг и повернулся на каблуке с проворством дрессированного слона.

— Да, много воды утекло с тех пор, как он играл в греческой трагедии, — проговорил Эдвард. — В тоге, — добавил он с ухмылкой, следя глазами за округлой фигурой железнодорожного магната, который довольно ловко — будучи опытным светским львом — пробирался сквозь толпу к двери. — Это Чипперфилд, железнодорожная шишка, — объяснил Эдвард Норту. — Замечательный человек. Сын вокзального носильщика. — Он делал маленькие паузы после каждого предложения. — Всего достиг сам… Великолепный

особняк… Безупречно отреставрирован… Двести или триста акров, кажется… Свои охотничьи угодья… Просит меня руководить его чтением… Покупает старых мастеров.

— Покупает старых мастеров, — повторил Норт. Ладные короткие фразочки выстраивались в какую-то пагоду, ажурную и аккуратную. Вся целиком она создавала странное ощущение, в котором смешивались симпатия и насмешка.

— Подделки, наверное? — засмеялась Элинор.

— Не будем об этом, — хмыкнул Эдвард. Они помолчали. Пагода растворилась. Чипперфилд исчез за дверью.

— Какой приятный напиток, — сказала Элинор над головой Норта. Он видел ее бокал, который она держала на колене — на уровне его лба. На поверхности плавал тонкий зеленый листок. — Надеюсь, он не крепкий… — Она подняла бокал.

Норт опять взял свой бокал. О чем я думал, когда в последний раз смотрел на него? — спросил он себя. В его сознании образовался затор, как будто две мысли столкнулись и не пропускали остальные. Он ощутил пустоту в голове. Норт покачал бокал. Он был посреди сумрачного леса.

— Значит, Норт… — собственное имя заставило его вздрогнуть, — ты хочешь освежить класси-

ку? — продолжил беседу Эдвард. — Рад слышать. У этих стариков есть много интересного. Только вот молодому поколению, — он сделал паузу, — они, судя по всему, не нужны.

— Как глупо! — сказала Элинор. — Я недавно читала одного из них… В твоем переводе. Что же это было? — Она задумалась. Названия не удерживались в ее памяти. — Там про девушку, которая…

— «Антигона»? — предположил Эдвард.

— Да! «Антигона»! — воскликнула Элинор. — И я подумала — точно, как ты сказал, Эдвард, — как это верно, как прекрасно…

Она умолкла, словно испугалась закончить.

Эдвард кивнул, помолчал и вдруг откинул голову и продекламировал:

— «Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν»[150].

Норт посмотрел на него.

— Переведите, — попросил он.

Эдвард отрицательно покачал головой.

— Все дело в языке, — сказал он.

И замолчал надолго. Ничего не выйдет, подумал Норт. Он не может сказать то, что хочет: боится. Они все боятся — быть осмеянными, выдать

---

[150] Примечания: 150

«Я рождена любить, не ненавидеть» (*др. — греч.*) *Софокл.* Антигона.

себя. И он боится, подумал Норт, глядя на молодого человека с красивым лбом и скошенным подбородком, который слишком эмоционально жестикулировал. Мы все боимся друг друга. Но что именно нас страшит? Осуждение, насмешка, иной образ мышления… Он боится меня, потому что я фермер (он опять посмотрел на круглое лицо с высокими скулами и маленькими карими глазами). А я его — потому что он умен. Норт взглянул на большой лоб с залысинами. Вот что нас разделяет: страх, подумал он.

Норт сменил позу. Он хотел встать и поговорить с молодым человеком. Сказала же Делия: «Не жди, чтобы тебя представили». Но трудно было заговорить с незнакомым человеком, сказать ему: «Что это за узел у меня в голове? Развяжите его». Но ему надоело думать в одиночку. От этого в голове только завязывались узлы, и перед мысленным взором появлялись разные глупые картины. Молодой человек собрался уходить. Надо сделать над собой усилие. И все-таки Норт колебался. Его тянуло и отталкивало, тянуло и отталкивало. Он начал подниматься, но еще до того, как он встал на ноги, кто-то постучал вилкой по столу.

Крупный мужчина, сидевший в углу, стучал по столу вилкой. Он подался вперед, как будто желал

привлечь внимание и произнести речь. Это был тот, кого Пегги назвала «Браун», а другие звали Николаем и чью настоящую фамилию Норт не знал. Похоже, этот человек был навеселе.

— Дамы и господа! — начал он. — Дамы и господа! — повторил он гораздо громче.

— Это что, речь? — насмешливо изумился Эдвард. Он полуобернулся на стуле и взялся за монокль, который висел на черной ленточке, как иностранный орден.

Люди сновали вокруг с тарелками и бокалами, порой спотыкаясь о подушки, лежавшие на полу. Какая-то девушка полетела головой вперед.

— Ушиблись? — спросил молодой человек, подавая ей руку.

Нет, она не ушиблась. Но инцидент отвлек внимание от речи. Гул голосов поднялся опять — как гудение мух над сахаром. Николай сел на место. И погрузился в созерцание — то ли красного камня в собственном перстне, то ли разбросанных на столе цветов: белых и восковидных, бледных и полупрозрачных и темно-красных, которые так сильно раскрылись, что были видны золотые сердцевины, а их опадающие лепестки лежали между взятых напрокат ножей, вилок и дешевых бокалов. Затем Николай встал.

— Дамы и господа! — начал он и опять постучал вилкой по столу. На мгновение воцарилась тишина. Через комнату прошагала Роза.

— Ты собираешься сказать речь? — спросила она. — Давай-давай, я люблю слушать речи. — Она встала рядом с ним, приложив ладонь к уху — как военный. Гул разговоров возобновился.

— Тихо! — крикнула Роза. Она взяла нож и постучала по столу. — Тихо, тихо!

Комнату пересек Мартин.

— Из-за чего шумит Роза? — спросил он.

— Я прошу тишины! — сказала она, взмахнув ножом перед его носом. — Человек хочет сказать речь!

Но Николай сел и невозмутимо воззрился на свой перстень.

— Ну, правда же, она просто второе издание старого дяди Парджитера, командира кавалеристов, а? — сказал Мартин, кладя руку на плечо Розы и поворачиваясь к Элинор за поддержкой.

— И горжусь этим! — Роза опять махнула ножом в угрожающей близости от лица Мартина. — Я горжусь своей семьей, горжусь своей родиной, горжусь…

— Своим полом? — перебил ее Мартин.

— Да! — торжественно заявила она. — А вот ты

чем гордишься? — Она похлопала его по плечу. — Самим собой?

— Не ссорьтесь, дети, не ссорьтесь! — прикрикнула Элинор, чуть подвинув к ним свой стул. — Они всегда ссорились. Всегда… Всегда…

— Она была злючкой, — сказал Мартин. Он присел на корточки и стал смотреть на Розу снизу вверх. — С тугими косичками…

— И в розовом платьице, — добавила Роза. Она резко села, держа нож вверх лезвием. — В розовом платьице, в розовом платьице, — повторила она, точно эти слова ей что-то напомнили.

— Так начинай же свою речь, Николай, — сказала Элинор, повернувшись к нему.

Он помотал головой.

— Давайте лучше о розовых платьицах, — улыбнулся он.

— Помните гостиную в доме на Эберкорн-Террас, когда мы были детьми? — спросила Роза. — Ты помнишь? — Она посмотрела на Мартина. Он кивнул.

— Гостиная на Эберкорн-Террас… — проговорила Делия. Она обходила столы с большим кувшином крюшона и остановилась перед Розой и Мартином. — Эберкорн-Террас! — воскликнула она, наполняя бокал. Она вскинула голову и на

мгновение предстала поразительно молодой, красивой и дерзкой. — Это был ад! — крикнула она. — Сущий ад!

— Да ладно тебе, Делия… — возразил Мартин, подставляя свой бокал.

— Это был ад, — повторила Делия. Она как будто забыла про свой ирландский акцент и говорила совсем просто, одновременно наливая напиток. — Знаешь, — обратилась она к Элинор, — когда я еду на Паддингтонский вокзал, то всегда прошу водителя объехать это место подальше!

— Хватит, — остановил ее Мартин: его бокал был уже полон. — Я тоже ненавидел его… — начал он.

Но тут подошла Китти Лассуэйд. Она держала перед собой бокал, точно жезл.

— Что теперь ненавидит Мартин? — спросила она, встав перед ним.

Какой-то любезный господин подвинул позолоченный стульчик, на который она села.

— Он всегда что-то ненавидел. — Китти подставила бокал, чтобы его наполнили. — Что ты ненавидел, Мартин, в тот вечер, когда у нас ужинал? — спросила она. — Помню, ты меня жутко рассердил.

Она улыбнулась. Мартин с возрастом стал похож на херувимчика: розовый и пухлый, с волосами, зачесанными назад, как у официанта.

— Ненавидел? Никогда, никого, — возразил он. — Мое сердце полно любви, полно доброты. — Он засмеялся, салютуя ей бокалом.

— Чепуха! — сказала Китти. — В молодости ты ненавидел… все! — Она выбросила в сторону руку. — Мой дом… Моих друзей… — Она замолчала и слегка вздохнула. Она опять их вспомнила: мужчин, стоявших в ряд, женщин, державших края платьев двумя пальцами. Теперь она жила совершенно одна, на Севере. — И могу сказать, что мне так лучше, — произнесла она в ответ своим мыслям. — Со мной там только один слуга, чтобы колоть дрова, и все.

Последовала пауза.

— Пусть же он скажет свою речь, — сказала Элинор.

— Да. Давай свою речь! — поддержала ее Роза. Она опять постучала ножом по столу, а Николай опять привстал.

— Он что, собирается произнести речь? — спросила Китти у Эдварда, который придвинул к ней свой стул.

— Единственное место, где риторика теперь

практикуется как искусство… — Эдвард сделал паузу, придвинул стул еще чуть ближе к Китти и поправил очки, — это церковь, — закончил он.

Вот потому я за тебя и не вышла, подумала Китти. Как его голос — его надменный голос — оживил образы прошлого! Полуупавшее дерево, дождь, крики старшекурсников, колокольный звон и ее мать…

Но Николай встал. Он сделал глубокий вдох, отчего выпятилась его манишка. Одной рукой он теребил свою цепочку, другую простер в ораторском жесте.

— Дамы и господа! — вновь начал он. — От имени всех, кому сегодня здесь приятно находиться…

— Громче! Громче! — крикнул молодой человек, стоявший у окна.

(– Он иностранец? — шепотом спросила Китти у Элинор.)

— …от имени всех, кому сегодня приятно здесь находиться, — повторил Николай громче, — я хочу поблагодарить хозяина и хозяйку.

— Ой, не стоит! — сказала Делия, проносясь мимо с пустым кувшином.

И опять речь была смята. Наверняка иностранец, подумала Китти, — потому что совсем не

стесняется. Николай стоял с бокалом в руке, улыбаясь.

— Продолжайте, продолжайте, — подбодрила она его. — Не обращайте на них внимания. — Она была не против послушать речь. Речи хороши для приемов. Они подстегивают общее настроение. Китти стукнула бокалом об стол.

— Вы очень любезны, — сказала Делия, пытаясь пройти мимо Николая, но он удержал ее за руку. — Однако меня благодарить не надо.

— Но, Делия, — возразил он, не отпуская ее, — дело не в том, что этого хочется вам, этого хотим мы. И это вполне уместно, — он сделал широкий жест рукой, — потому что наши сердца полны благодарности…

Наверное, он сел на своего конька, подумала Китти. Видимо, оратор. Почти все иностранцы — ораторы.

— …потому что наши сердца полны благодарности, — повторил Николай, соединив кончики большого и указательного пальцев.

— За что? — резко спросил чей-то голос.

Николай опять замолчал.

(– Кто этот брюнет? — шепотом спросила Китти у Элинор. — Я весь вечер гадаю.

— Это Ренни, — шепнула Элинор. — Ренни, —

повторила она.)

— За что? — сказал Николай. — Вот об этом я и хотел бы рассказать. — Он сделал паузу и глубоко вдохнул, отчего опять растянулся его жилет. Глаза его лучились. Казалось, он полон идущей изнутри благожелательности. Но тут вдруг над столом показалась голова, рука сгребла горсть цветочных лепестков, а голос прокричал:

— Красная Роза, колючая Роза, храбрая Роза, рыжая Роза! — и лепестки веером полетели в полную пожилую женщину, сидевшую на краешке стула. Она подняла голову, вздрогнув от неожиданности. Лепестки обсыпали ее, задержавшись на выдающихся местах ее фигуры. Она смахнула их.

— Спасибо! Спасибо! — воскликнула Роза. Затем она взяла цветок и энергично стала бить им по столу. — Я хочу услышать речь! — заявила она, глядя на Николая.

— Нет-нет-нет, — сказал он. — Для речей сейчас не время. — И сел на свое место.

— Тогда давайте выпьем! — предложил Мартин и поднял свой бокал. — За Парджитер, командира кавалеристов! Я пью за нее! — Он со стуком поставил бокал на стол.

— Ну, если вы все пьете, — сказала Китти, — я

тоже выпью. Роза, твое здоровье! Роза — славный парень. — Она подняла бокал. — Но Роза не права, — добавила она. — Сила всегда не права, ты согласен, Эдвард? — Она похлопала его по колену. — Я забыла о последней войне, — пробормотала она себе под нос. — И все-таки, — продолжила она вслух, — Роза имела мужество отстаивать свои убеждения. Она сидела в тюрьме. И я пью за нее! — Китти выпила.

— А я — за тебя, Китти, — сказала Роза и поклонилась ей.

— Она разбила ему окно, — усмехнулся Мартин, — а потом помогала ему разбивать другие окна. Где твоя награда, Роза?

— В коробочке на каминной полке, — сказала Роза. — Ты не выведешь меня из себя в это время суток, мой милый.

— Лучше бы вы дали Николаю закончить его речь, — сказала Элинор.

Сверху через потолок — отдаленно и приглушенно — донеслись первые танцевальные ноты. Молодежь, торопливо допивая остатки из бокалов, стала подниматься и уходить наверх. Вскоре оттуда послышался тяжелый и ритмичный топот.

— Опять танцуют? — спросила Элинор. Это был

вальс, — Когда мы были молоды, — сказала она, глядя на Китти, — мы любили танцевать. — Музыка как будто подхватила ее слова и перепела на старинный лад: «Когда была я молода, любила танцевать, любила танцевать…»

— А я терпеть не могла! — сказала Китти, посмотрев на свои пальцы — короткие, исцарапанные. — Как хорошо не быть молодой! Не заботиться о том, что думают другие! Теперь можно жить, как хочешь. В семьдесят лет…

Она помолчала, а потом подняла брови, будто что-то вспомнила.

— Жаль, нельзя начать сначала… — проговорила Китти.

— Мы услышим вашу речь или нет, мистер…? — спросила она, посмотрев на Николая, чьей фамилии она не знала. Он сидел, добродушно глядя перед собой и проводя руками по цветочным лепесткам.

— Что толку? — сказал он. — Никому это не нужно.

Они стали слушать доносившиеся сверху топот и музыку, в которой Элинор все слышались слова: «Когда была я молода, любила танцевать, и каждый парень лишь мечтал меня поцеловать…»

— Но я хочу речь! — повелительно заявила

Китти. Это была правда: ей хотелось чего-то освежающего, завершающего — но чего именно, она не знала. Только не прошлого, не воспоминаний. Настоящего, будущего — вот чего ей хотелось.

— А вон Пегги! — сказала Элинор, посмотрев вокруг и увидев племянницу, которая сидела на краю стола, жуя бутерброд с ветчиной. — Иди сюда, Пегги! — позвала Элинор. — Поговори с нами!

— Выскажись от лица молодого поколения, Пегги, — попросила леди Лассуэйд, пожав ей руку.

— Я не молодое поколение, — сказала Пегги. — И я уже произнесла свою речь. Там, наверху; и выставила себя дурой. — Она опустилась на пол у ног Элинор.

— Тогда Норт. — Элинор посмотрела на пробор Норта, тоже сидевшего на полу радом с ней.

— Да, Норт. — Пегги взглянула на Норта через колено их тетки. — Норт считает, что мы не говорим ни о чем, кроме денег и политики, — сообщила она. — Скажи нам, что мы должны делать.

Норт вздрогнул. Он было задремал, убаюканный музыкой и голосами. Что мы должны делать? — мысленно спросил он себя, просыпаясь. Что же мы должны делать?

Он сел прямо. Пегги смотрела на него. Теперь

она улыбалась, ее лицо было веселым; оно напомнило ему лицо их бабушки на портрете. Но ему оно предстало иным — таким, каким он видел его наверху: красным, насупленным, как будто Пегги вот-вот заплачет. Правду говорило ее лицо, а не слова. Он вспомнил другие слова, сказанные ею: «Жить по-другому, иначе». Он помолчал. Вот для чего требуется мужество, подумал он: чтобы говорить правду. Пегги ждала ответа. Старики уже судачили о своих делах.

— …Очень милый домик, — говорила Китти. — Там раньше жила сумасшедшая старуха… Ты должна погостить у меня, Нелл. Весною…

Пегги наблюдала за Нортом поверх краешка своего бутерброда с ветчиной.

— Ты верно тогда сказала, — вдруг произнес он. — Совершенно верно. — Верно было то, что она имела в виду, мысленно поправил себя он, верны были чувства, а не слова. Сейчас он ощущал то же, что она. Это все относилось не к нему, а к другим людям, к другому, новому миру…

Престарелые тетки и дядья продолжали судачить над Нортом.

— Как звали того человека, который мне так нравился в Оксфорде? — спросила леди Лассуэйд. Норт увидел, как ее серебристое тело склонилось

в сторону Эдварда.

— Который тебе нравился в Оксфорде? — переспросил Эдвард. — Мне казалось, в Оксфорде тебе не нравился никто… — И оба засмеялись.

Пегги все смотрела на Норта и ждала, что он скажет. А он следил за пузырьками в бокале, опять чувствуя, что у него в голове затягивается узел. Ему хотелось, чтобы существовал некто бесконечно мудрый и добрый, способный думать за него, отвечать за него на вопросы. Однако молодой человек с покатым лбом исчез.

— …Жить по-другому… иначе, — повторил Норт. Это были ее слова, они совсем не выражали то, что он хотел сказать, но он должен был использовать именно их. Теперь я тоже выставил себя дураком, подумал он, и по его спине пробежало неприятное ощущение, как будто по ней полоснули ножом. Он прислонился спиной к стене.

— Да, это был Робсон! — воскликнула леди Лассуэйд. Ее трубный глас прогремел над головой Норта.

— Как же все забывается! — продолжала она. — Ну конечно — Робсон. А его дочь, которая мне тоже нравилась, звали Нелли. Она собиралась стать врачом?

— Умерла, кажется, — сказал Эдвард.

— Умерла, правда? Умерла… — Леди Лассуэйд помолчала. — Так, я хочу, чтобы ты произнес речь, — сказала она, повернувшись к Норту.

Он чуть отодвинулся. Хватит с меня речей, подумал он. В руке он по-прежнему держал бокал, до половины заполненный желтой жидкостью. Пузырьки перестали всплывать. Вино было прозрачно и неподвижно. Спокойствие и одиночество, думал Норт, тишина и одиночество… только в этом состоянии разум может быть свободен.

Тишина и одиночество, повторял он про себя, тишина и одиночество. Его веки сами почти закрылись. Он устал, его клонило в сон; люди все говорили, говорили… Он хотел отделиться от них, отстраниться, представить, что он лежит на широкой голубоватой равнине с холмами на горизонте. Норт вытянул ноги. Где-то паслись овцы, они медленно щипали траву, переставляя вперед то одну ногу, то другую. И блеяли, блеяли. До Норта не доходил смысл разговора. Из-под полуопущенных век он видел руки, державшие цветы, — тонкие, изящные руки. Но эти руки были ничьи. И цветы ли они держали? Или горы? Синие горы с лиловыми тенями… Лепестки падали. Розовые, желтые, белые, с лиловыми те-

нями, падали лепестки. Они падают, падают и все покрывают, прошептал он. Еще он видел ножку бокала, край блюдца, вазу с водой. Руки подбирали цветок за цветком: белую розу, желтую розу, розу с лиловыми долинами в лепестках. Цветы перегибались через край вазы — разноцветные, с затейливыми формами. А лепестки падали и ложились — лиловые и желтые — как лодочки, как челны на реке. И Норт плыл по течению в челне, в лепестке, спускался вниз по реке, в тишину, в одиночество… есть ли более ужасная мука — вспомнились ему слова, как будто их произнес чей-то голос, — чем та, которую способен причинить человек…

— Проснись, Норт… мы ждем твою речь! — разбудил его голос Китти. Ее милое румяное лицо склонилось над ним.

— Мэгги! — воскликнул он, сбросив остатки сна. Это она сидела рядом и опускала цветы в воду.

— Да, теперь ее очередь говорить, — сказал Николай и положил руку ей на колено.

— Говори, говори! — подбодрил ее Ренни.

Но Мэгги отрицательно помотала головой. Ею завладел смех, он сотрясал ее. Она хохотала, откинув назад голову, словно одержимая добрым духом, который заставлял ее сгибаться

и выпрямляться — точно деревце под ветром, подумал Норт. «Долой идолов, долой идолов, долой идолов!» Ее смех звенел, будто деревце было увешано множеством колокольчиков. Норт тоже засмеялся.

Они перестали смеяться. Этажом выше топотали ноги танцоров. Сирена протрубила на реке. По далекой улице загромыхал грузовик. Воздух вдруг заполнился трепетом звуков, как будто что-то выпустили наружу: близилось начало дневной жизни, и этот хор, крик, перекличка, содрогание возвещали лондонский рассвет.

Китти повернулась к Николаю.

— А о чем была бы ваша речь, мистер… К сожалению, не знаю вашего имени, — сказала она. — Та речь, которую перебили?

— Моя речь? — усмехнулся он. — Это была бы чудесная речь! Шедевр! Но как можно говорить, если все время перебивают? Я начинаю: «Давайте поблагодарим», тут Делия говорит: «Не надо меня благодарить», я начинаю опять: «Поблагодарим кого-нибудь, кого угодно…» — а Ренни спрашивает: «За что?» Я приступаю в третий раз, смотрю, а Элинор спит. — Он указал на Элинор. — Так что толку?

— Нет, толк есть… — начала Китти.

Ей все еще чего-то хотелось — завершения, росчерка, — чего именно, она сама не знала. И уже было поздно. Ей пора было уходить.

— Шепните мне по секрету, что вы хотели сказать, мистер…? — попросила она.

— Что я хотел сказать? Я хотел сказать… — Он сделал паузу, выставил руку и по очереди прикоснулся большим пальцем к остальным четырем. — Сначала я хотел поблагодарить хозяина и хозяйку. Потом я хотел поблагодарить этот дом… — он обвел рукой комнату, увешанную плакатами агента по продаже недвижимости, — который давал приют влюбленным, творцам, мужчинам и женщинам доброй воли. И, наконец, — он взял бокал, — я хотел выпить за человеческий род. За человеческий род, — Николай поднес бокал ко рту, — который теперь переживает свое младенчество, и за то, чтобы он достиг зрелости! Дамы и господа! — воскликнул он, привстав и выпятив грудь. — Я пью за это!

Николай стукнул бокалом об стол. Бокал разбился.

— Тринадцатый за вечер! — сообщила Делия, подойдя и остановившись рядом. — Но ничего, ничего. Они очень дешевые — бокалы.

— Что дешевое? — пробормотала Элинор. Она

приоткрыла глаза. Где она? Что это за комната? Которая из бесчисленных комнат? Всегда были какие-то комнаты, всегда люди. Всегда — от начала времен… Он сжала в ладони монеты, которые по-прежнему держала, и опять на нее нахлынуло чувство счастья. Может быть, оттого, что она все еще была жива — острое ощущение (она ведь только проснулась), — а та вещица, та твердая безделушка — она вспомнила изъеденного чернилами моржа — исчезла? Элинор широко открыла глаза. Да, она есть, она жива, сидит в этой комнате, и рядом живые люди. Их лица окружали ее. Сначала она не понимала, кто есть кто, а потом стала узнавать знакомые черты. Вот Роза, вот Мартин, а это Моррис. У него на темени почти не осталось волос. А лицо было странно бледным.

Затем она заметила эту странную бледность на всех лицах по очереди. Электрический свет потерял яркость, скатерти стали белее. Голову Норта — он сидел на полу у ног Элинор — окружал белый ореол. А манишка его была немного измята.

Он сидел на полу рядом с Эдвардом, обняв свои колени, и как-то слегка дергался, поднимая на Эдварда глаза, как будто о чем-то умолял его.

— Дядя Эдвард, — услышала Элинор, — расска-

жите мне…

Он был похож на ребенка, выпрашивающего сказку.

— Расскажите мне, — повторил он, вновь чуть дернувшись. — Вы же ученый. Об античной классике. Об Эсхиле, Софокле, Пиндаре.

Эдвард склонился к нему.

— И о хоре. — Норт опять дернулся. Элинор подвинулась к ним. — О хоре, — повторил Норт.

— Милый мальчик, — добродушно улыбнулся Эдвард, — не проси меня об этом. Я никогда не был в этом силен. Нет, будь моя воля… — он сделал паузу и провел рукой по лбу, — я стал бы… — Его слова заглушил взрыв хохота. Элинор не уловила окончание фразы. Что же он сказал, кем он хотел бы стать? Она упустила его слова безвозвратно.

Должна быть другая жизнь, подумала Элинор, с досадой откинувшись на спинку. Не в мечтах, но здесь и сейчас, в этой комнате, с живыми людьми. Ей показалось, будто она стоит на краю пропасти и ветер развевает ее волосы. Вот-вот она ухватит то, что только что ускользнуло от нее. Должна быть другая жизнь, здесь и сейчас, повторила она про себя. А эта — слишком коротка, слишком изломанна. Мы ничего не знаем, даже о самих себе. Мы только начинаем понимать — отрывоч-

но, местами, думала она. Она сложила ладони лодочками у себя на коленях, — как делала Роза, когда подносила руку к уху. Элинор хотелось охватить текущее мгновение, удержать его, ощутить его как можно полнее, вместе с прошлым и будущим, проникать в него, пока оно не засияет все целиком, ярко и глубоко, светом понимания.

— Эдвард, — начала она, желая привлечь его внимание. Но он не слушал ее, он рассказывал Норту какую-то старую университетскую байку. Бесполезно, подумала Элинор, расслабляя ладони. Оно должно упасть, улететь. А что потом? Ведь и ее ждет бесконечная ночь, бесконечная тьма. Она посмотрела вперед, как будто увидела перед собой вход в очень длинный темный тоннель. Но, думая о тьме, она почувствовала какое-то несоответствие. А просто уже светало. Шторы побелели.

По комнате прошло некое движение.

Эдвард повернулся к Элинор.

— Это кто? — спросил он, указав на дверь.

Она посмотрела. В дверях стояли двое детей. Делия держала их за плечи, приободряя. Она подвела их к столу, чтобы чем-нибудь угостить. Они выглядели скованно и неуклюже.

Элинор оглядела их руки, одежду, обратила

внимание на форму их ушей.

— Наверное, дети сторожа, — сказала она.

И действительно, Делия отрезала им по куску торта, и куски были больше, чем если бы она угощала детей своих знакомых. Дети взяли куски и уставились на них с недоумением, будто в них было что-то страшное. Возможно, они были напуганы тем, что их привели из цокольного этажа в гостиную.

— Ешьте! — сказала Делия, слегка хлопнув их по спинам.

Они начали медленно жевать, угрюмо озираясь вокруг.

— Здравствуйте, дети! — крикнул Мартин, кивая им.

Они так же угрюмо уставились на него.

— У вас есть имена? — спросил он. Дети продолжали молча есть. Мартин принялся шарить у себя в кармане. — Ну, говорите! Говорите!

— Молодое поколение, — сказала Пегги, — не намерено говорить.

Дети обратили взгляды на нее, по-прежнему жуя.

— Завтра не надо в школу? — спросила Пегги.

Они покачали головами.

— Ура! — воскликнул Мартин. Он выставил

перед собой пару монет, держа их двумя пальцами. — Так, спойте-ка песенку за шесть пенсов!

— Да. Что вы разучивали в школе? — спросила Пегги.

Они уставились на нее, но сохранили молчание. Есть они перестали. Их окружали взрослые люди. Оглядев их, дети быстро толкнули друг друга локтями и вдруг начали петь:

Etho passo tanno hai,
Fai donk to tu do,
Mai to, kai to, lai to see
Toh dom to tuh do.

Звучало это примерно так, но ни слова разобрать было невозможно. Странный текст как будто рождался из мелодии. Дети умолкли.

Они стояли, держа руки за спиной. Затем вдруг приступили к следующему куплету:

Fanno to par, etto to mar,
Timin tudo, tido,
Foll to gar in, mitno to par,
Eido, teido, meido.

Второй куплет они исполнили более свирепо, чем первый. Ритм песни как будто раскачивался,

непонятные слова сливались в почти истошный визг. Взрослые не знали, смеяться им или плакать. Детские голоса были так резки, акцент так причудлив…

Дети опять запели:

Chree to gay ei,
Geeray didax…[151]

И вдруг остановились, судя по всему, на середине куплета. Они стояли, молча ухмыляясь и глядя в пол. Никто не знал, что сказать. В исполненной ими песне было нечто чудовищное. Они была пронзительна, неблагозвучна, бессмысленна. Наконец семенящей походкой подошел старый Патрик.

— Очень мило, очень мило. Спасибо, мои дорогие, — проговорил он со своей обычной доброжелательностью, ковыряя во рту зубочисткой. Дети улыбнулись ему и направились к выходу. Когда они, еще медленно и осторожно, проходили мимо Мартина, он сунул им монеты. Тут они со всех ног припустили к двери.

— Но что же они пели, черт побери? — удивился Хью Гиббс. — Я, признаться, ни слова не

[151] Примечания: 151

Насколько нам известно, до сих пор никому не удалось расшифровать текст этой песни.

понял. — Он прижал ладони к своей широкой груди, обтянутой белым жилетом.

— Жаргон кокни, наверное, — сказал Патрик. — И чему их учат в школе…

— Но это было… — начала Элинор, но осеклась. Что же это было? Стоя посреди комнаты, дети были наполнены таким достоинством, но при этом производили такие жуткие звуки. Несоответствие между их лицами и голосами было поразительно. Ни одного слова нельзя было понять. — Прекрасно?.. — произнесла Элинор с оттенком вопроса, обернувшись к Мэтти.

— В высшей степени, — сказала Мэгги.

Но Элинор не была уверена, что они имеют в виду одно и то же.

Она собрала свои перчатки, сумочку, две или три монеты и встала. Комната была озарена бледным светом. Предметы словно пробуждались ото сна, сбрасывали покровы, преисполнялись трезвостью повседневной жизни. Комната готовилась вновь исполнять роль конторы по продаже недвижимости. Столы становились конторскими столами, их ножки были ножками конторских столов, но они все еще были уставлены тарелками и бокалами, усыпаны розами, лилиями и гвоздиками.

— Пора уходить, — сказала Элинор, проходя через комнату.

Делия подошла к окну и раздернула занавески.

— Рассвет! — довольно мелодраматично возгласила она.

На другой стороне площади прорисовались очертания домов. Все окна были зашторены, точно дома еще были погружены в глубокий предутренний сон.

— Рассвет! — сказал Николай, вставая и потягиваясь. Он тоже подошел к окну.

За ним последовал Ренни.

— Можно перейти к заключительному слову, — сказал он, встав рядом с Николаем. — О рассвете, о новом дне…

Он указал на деревья, крыши, небо.

— Нет, — возразил Николай, задергивая занавеску обратно. — Ошибаешься. Заключительного слова не будет. Не будет! — воскликнул он, выбрасывая вперед руку. — Потому что не было речи.

— Но ведь солнце встало. — Ренни опять указал на небо.

Это была правда. Солнце встало. Небо между трубами было ярко-голубым.

— Значит, я иду спать, — сказал Николай после некоторой паузы. Он отвернулся от окна. — Где

Сара? — спросил он, оглядываясь вокруг.

Сара явно спала, свернувшись в углу и упершись головой в стол.

— Разбуди сестру, Магдалена, — Николай обернулся к Мэгги. Та посмотрела на Сару. Затем взяла со стола цветок и бросила им в сестру. Сара приоткрыла глаза.

— Пора, — сказала Мэгги, прикоснувшись к ее плечу.

— Уже? — вздохнула Сара. Она зевнула и потянулась. Ее взгляд остановился на Николае, как будто она наводила по нему фокус. Наконец она рассмеялась и воскликнула:

— Николай!

— Сара! — ответил он. Они улыбнулись друг другу. Затем он помог Саре встать, она неуверенно оперлась на сестру и потерла глаза.

— Как странно, — пробормотала она, оглядываясь. — Как странно…

Вокруг были грязные тарелки, пустые бокалы из-под вина, лепестки, крошки. В смешанном свете они выглядели прозаично, но не реально, мертвенно, но блистательно. А у окна собрались престарелые братья и сестры.

— Смотри, Мэгги, — шепнула Сара, обернувшись к сестре. — Смотри!

Люди у окна — мужчины в черно-белых выходных костюмах, женщины в ярко-красных, золотых и серебряных нарядах какое-то мгновение были похожи на каменные изваяния. Их платья ниспадали скульптурными складками. Но затем они задвигались, изменили позы, начали говорить.

— Можно тебя подвезти, Нелл? — предложила Китти Лассуэйд. — Меня машина ждет.

Элинор не ответила. Она смотрела на завешенные окна домов на той стороне площади. Стекла были испещрены золотыми бликами. Все выглядело таким чистым, свежим, девственным. В кронах деревьев возились голуби.

— У меня машина… — повторила Китти.

— Послушай, — сказала Элинор, подняв руку. Наверху граммофон играл «Боже, храни короля», но она имела в виду голубей, их воркование.

— Это ведь лесные голуби, да? — спросила Китти. Она склонила голову, прислушиваясь. «Только ты, крошка. Только ты, кро…» — ворковали они.

— Лесные голуби? — удивился Эдвард, поднося ладонь к уху.

— Там, на деревьях, — сказала Китти. Зеленовато-синие птицы возились на ветвях, что-то поклевывая и воркуя между собой.

Моррис стряхнул с жилета крошки.

— В такой час таким старикам, как мы, место в постели, — сказал он. — Я не видел восхода уже… уже…

— Зато в молодости, — вступил старый Патрик, хлопнув его по плечу, — нам ничего не стоило прокутить всю ночь! Помню, я поехал в Ковент-Гарден купить цветов для одной дамы…

Делия улыбнулась, как будто ей напомнили романтическую историю — о ней самой или о ком-то другом.

— А я… — начала Элинор и замолчала. Она вспомнила пустой кувшин из-под молока и листопад. Значит, тогда была осень. А сейчас — лето. Небо нежно-голубое, крыши на его фоне — лиловые, а трубы — цвета красного кирпича. Во всем — неземной покой и простота. — Метро закрыто, автобусы не ходят, — сказала Элинор, отворачиваясь от окна. — Как же мы доберемся до дома?

— Можно и пешком, — предложила Роза. — Ходьба нам не повредит.

— Особенно чудесным летним утром, — сказал Мартин.

По площади пронесся легкий ветерок. В тишине было слышно, как зашуршали ветви, чуть поднимаясь и опускаясь, от чего по воздуху будто

прошла зеленая волна.

Затем распахнулась дверь. Пары, одна за другой, толпясь, стали входить в комнату — растрепанные, веселые — и брать свою одежду, шляпы, желая друг другу спокойной ночи.

— Как хорошо, что вы все пришли! — воскликнула Делия, обернувшись к ним и раскинув руки в стороны. — Спасибо, спасибо вам, что пришли! — прокричала она. — Посмотрите на букет Мэгги! — восхитилась она, беря разноцветный букет, который ей протянула Мэгги. — Как прелестно ты их подобрала! Посмотри, Элинор! — Она обернулась к сестре.

Но Элинор стояла спиной к ним. Она следила за такси, которое медленно объезжало площадь по кругу. Автомобиль остановился у подъезда через дом.

— Прелесть, правда? — сказала Делия, выставив цветы перед собой.

Элинор вздрогнула.

— Розы? Да… — Но она смотрела на такси. Из него вышел молодой человек; он заплатил шоферу. За ним появилась девушка в дорожном твидовом костюме. Молодой человек вставил ключ в дверь. — Вот… — прошептала Элинор, когда он открыл дверь и на мгновение остановился

на пороге. — Вот! — повторила она, когда дверь захлопнулась за ним с глухим стуком.

Элинор повернулась лицом к комнате.

— И что теперь? — спросила она, глядя на Морриса, который допивал из бокала последние капли вина. — Что теперь? — Она протянула к нему руки.

Солнце встало, и в небе над домами были разлиты удивительная красота, простота и покой.